



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

P Skw 176.25

Vol. 207









ЖУРНАЛЪ

ИСТОРИИ-ПОЛИТИКИ.

ЛЕТУЮЩЕ.

ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ.—КНИГА 5-я.

МАЙ, 1875.

ПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪЗДЪВАНЪ

4. 6. 1875

КНИГА 5-я. — МАЙ, 1875.

	Стр.
I.—КУДЕЯРЪ.—Историческая хроника въ трехъ книгахъ.—Книга вторая.—Н. Н. Костомарова . . . . .	5
II.—ПЬЕРРЪ-ЖОЗЕФЪ ПРУДОНЪ.—Correspondence de P.-J. Proudhon.—V-VIII.—Д—евъ . . . . .	78
III.—ИЗЪ ДАНТОВА АДА.—Пѣсьмъ третья.—Н. Н. Вейнберга . . . . .	115
IV.—В. Г. БѢЛИНСКІЙ.—Опять біографіи.—IX. Послѣдніе годы участія въ „Отечествен. Запискахъ“; болѣзнь; путешествіе на югъ Россіи: 1844-1846. Основаніе „Современника“; поѣздка за границу: 1847 г.—А. Н. Пынина . . . .	120
V.—ГЕРМАНІЯ НАКАНУНѢ РЕВОЛЮЦІИ.—Историческіе этюды.—I. Политическое развитіе Германіи.—II. Составъ имперской имперіи.—III. Императоръ и имперскій надворный совѣтъ.—IV. Имперскій судъ и имперскій сеймъ.—V. Имперская администрація.—А. С. Трачевскаго . . . . .	193
VI.—ПО СЕЛАМЪ И ЗАХОЛУСТЬЯМЪ. — I. Христославы. — II. Прощенный день.—Деревенскіе рассказы.—Ф. Забытаго . . . . .	217
VII.—ВОЛЬНЫЙ ГОРОДЪ КРАКОВЪ.—1815-46 гг.—XIV-XV.—Н. А. Попова . . .	255
VIII.—ПОСЛѢДНІЕ МОГИКАНЕ РУССКОЙ ПЕДАГОГІИ.—По поводу статей гр. Л. Н. Толстого и К. И. Цвѣткова.—Евг. Л. Маркова . . . . .	291
IX.—ХРОНИКА.—ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КРИТИКА.—Замѣчанія Ю. О. Самарина на книгу: „Задачи Психологін“.—I.—К. Д. Кавелина . . . . .	361
X.—ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ. — Преобразование въ церковномъ управленіи и устройствѣ.—Отношенія церкви и государства.—Отчетъ оберъ-прокурора св. синода за 1873 годъ.—Древніе польскіе архивы въ Россіи. — Вопросъ о передачѣ польской метрики.—Дѣло Карлова и Казыненко и приговоры присяжныхъ.—Вопросъ о дуэли.—Оговорка о росписи на 1875 г. . . . .	392
XI.—КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ ИЗЪ ЛОНДОНА.—Англія на покое.—В. . . . .	418
XII.—ПАРИЖСКІЯ ПИСЬМА.—II. Парижъ въ апрѣль.—Е. Z-I—. . . . .	432
XIII.—НѢСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ, по поводу письма проф. Вагнера о спиритизмѣ.—В. Н. . . . .	458
XIV.—БИБЛОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ. —	

ОБЪЯВЛЕНІЯ и ПРИЛОЖЕНІЯ см. ниже: I—VIII стр.

Объявленіе объ изданіи журнала „Вѣстникъ Европы“ въ 1875 г., и объ особомъ изданіи той же редакціей второго тома „Года“, истор.-полит. обозрѣнія 1873—74 гг., см. ниже.

Объявленіе о пяти первыхъ книгахъ «Русской Библіотеки»: избранныя сочиненія А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, В. А. Жуковскаго и А. С. Грибоедова—см. въ отдѣлѣ объявленій, стр. VIII.

**ВѢСТНИКЪ**  
**Е В Р О П Ы**

---

**ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ. — ТОМЪ III.**



# ВѢСТНИКЪ Е В Р О П Ы

ЖУРНАЛЪ

ИСТОРИИ-ПОЛИТИКИ-ЛИТЕРАТУРЫ

---

ПЯТЬДЕСЯТЬ-ТРЕТІЙ ТОМЪ

---

ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ

---

ТОМЪ III

---

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“: ГАЛЕРНАЯ, 20.

Главная Контора журнала:  
на Васильевскомъ Острову, 2-я линія,  
№ 7.

Экспедиція журнала:  
на Вас. Остр., Академ. переулокъ,  
№ 9.

---

С САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1875.

~~131.84~~  
Star 30.2

P. Star 176.25

1879, Oct. 6.  
Gift of  
Eugene Schnyler,  
U. S. Consul at  
Birmingham, Eng.



---

# КУДЕЯРЪ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

ВЪ ТРЕХЪ КНИГАХЪ.

---

## КНИГА ВТОРАЯ \*).

### I.

#### Неволя.

На берегу залива Чернаго моря построенъ многолюдный, обширный городъ; островоконечные минареты, куполы и зеленныя вершины тополей выбѣгаютъ въ воздушную синеву изъ кучи черепичныхъ крышъ; дома, построенные въ одинъ, а много въ два яруса, расположены узкими неправильными улицами. Окна расположены большею частью во дворъ... На западной сторонѣ города, по скалистой горѣ, тянется толстая, темно-сѣрая стѣна, заворачиваясь на сѣверо-западъ къ морю и оканчиваясь у самаго берега огромною башнею со въѣздными воротами; на южной сторонѣ, на холмѣ, черныя, угрюмыя стѣны турецкой крѣпости съ четырьмя башнями, а подъ холмомъ, надъ моремъ, другое укрѣпленіе, гдѣ находится дворъ турецкаго начальника. Это городъ Кафа, городъ знаменитый съ давнихъ временъ, нѣкогда генуэзская колонія, средоточіе торговой дѣятельности на Черномъ морѣ, а теперь центръ турецкой власти надъ Крымомъ и всѣмъ

---

\*) См. выше: апр. 461 стр.

черноморскимъ берегомъ, мѣстопробываніе беглербега или губернатора: онъ надзираетъ надъ крымскимъ ханомъ и начальствуетъ надъ турецкимъ войскомъ, состоящимъ изъ тимарли (служилыхъ помѣщиковъ, въ родѣ русскихъ дѣтей боярскихъ), сипаевъ (состоящихъ на жалованьи конниковъ) и эджидовъ (нѣчто въ родѣ нашихъ казаковъ). Древняя слава торговаго и промышленнаго города не затмилась для Кафы съ поступленіемъ ея подъ турецкое владычество; въ это время она посвящена была особенно одному промыслу, и врядъ ли въ Европѣ былъ другой городъ, гдѣ бы такъ процвѣталъ этотъ промыселъ. То была торговля невольниками; съ именемъ Кафы повсюду соединялось представленіе о живомъ товарѣ; прїѣзжаго въ Кафу съ перваго же разу поражалъ звукъ кандаловъ и цѣпей и зрѣлище безчисленнаго множества невольниковъ, переходившихъ за деньги изъ рукъ въ руки. Разныя страны, племена, физіономіи, нравы и языки имѣли въ Кафѣ своихъ представителей: черкесы, грузины, калмыки, молдаване, персіане, поляки, греки, нѣмцы, венгры, чухны — люди обоюго пола и всякаго возраста; но болѣе всего продавалось здѣсь нашего, русскаго, многотерпѣваго народа, со всякаго края, всѣхъ нарѣчій и званій: татарамъ было всего подручнѣе ловить русскихъ людей, и русскій человѣческій товаръ цѣнился выше другого; русскихъ невольниковъ съ особенною охотою покупали на галеры, не только въ мусульманскихъ, но и въ христіанскихъ странахъ. Въ приморскихъ пристаняхъ Италіи, Франціи, Испаніи можно было видѣть толпы ихъ, скованныя и сидяція на веслахъ на галерахъ; почти всѣ они переходили черезъ кафинскій рынокъ, и у рѣдкаго кафинскаго зажиточнаго купца не было этого товара, скупленнаго у татаръ и хранимаго для перепродажи съ барышомъ. Не должно однако думать, чтобы тогдашняя Кафа была исключительно мугаммеданскій городъ; половина жителей состояла изъ христіанъ разныхъ исповѣданій: греческаго, армянскаго, римскаго; свидѣтельствомъ ихъ благочестія служило обиліе церквей, которымъ не мѣшало процвѣтать въ свое время вѣротерпимое правленіе Солеймана; но благочестіе не препятствовало, съ своей стороны, христіанамъ держать въ кандалахъ и продавать мусульманамъ своихъ братій по крещенію.

Невольники были двухъ родовъ. Одни — достояніе частной торговли: татары послѣ каждаго набѣга приводили наловленныхъ русскихъ людей въ Кафу и продавали купцамъ обыкновенно на рынокъ, гдѣ почти каждый день, съ ранняго утра до вечера, воздухъ оглашался столами, воплями, жалобами и проклятіями на разныхъ языкахъ, преимущественно на русскомъ. Покупщики

были туземные, но были также и пріѣзжіе, посѣщавшіе Кафу по торговымъ дѣламъ. Другіе невольники были государственные или, какъ мы говоримъ, казенные; они пріобрѣтались также покупкою, но въ числѣ ихъ были и военнопленные. Большая часть ихъ осуждалась на галеры, а меньшая содержалась въ крѣпости для крѣпостныхъ и городскихъ работъ. Для этого рода невольниковъ отводилось помѣщеніе въ нижнихъ отдѣленіяхъ стѣнъ и башенъ, со сводами и маленькими окнами наверху.

Въ восточной башнѣ было такое отдѣленіе съ желѣзною дверью, постоянно запертою. Невольники находились тамъ въ тѣснотѣ, прикованные къ одной длинной цѣпи, которой конецъ прицѣплялся къ кольцу, вбитому въ каменный столбъ, и замыкался огромнымъ замкомъ. У каждого на ногахъ были кандалы также съ замкомъ. Цѣпь, соединявшая невольниковъ, оставляла имъ свободу двигаться, работать и ложиться, но не позволяла никому отдѣлиться отъ товарищей и покуситься на побѣгъ. Они проводили ночь на голой землѣ. Утромъ тюремные стражи выводили ихъ работать подъ наблюденіемъ надзирателей изъ тимарли; на ночь опять приводили въ тюрьму. Кандалы врѣзывались въ ноги невольникамъ, а на ихъ спинахъ часто видѣлись багровые слѣды таволожекъ, которыми сбѣли ихъ надзиратели за недостатокъ трудолюбія. Ихъ кормили хлѣбомъ да лукомъ; иногда давали дурное мясо и вонючую рыбу; вообще, здоровьемъ ихъ не очень дорожили въ Кафѣ, потому что тамъ недостатка въ нихъ не было. Въ крѣпости невольники безпрестанно перемѣнялись; одни, не вынося тягости труда и дурного содержанія, умирали; другихъ переводили на галеры, гдѣ смертность была постоянно въ громадномъ размѣрѣ: кто вынесъ бы лѣтъ восемь галерной жизни того времени, тотъ считался необычайно вѣрнымъ.

Въ тюрьмѣ, гдѣ жила толпа крѣпостныхъ невольниковъ, было отдѣленіе съ запертою желѣзною дверью и съ маленькимъ отверстиемъ, выходившимъ въ общую тюрьму. Этотъ застѣнокъ имѣлъ до трехъ сажень длины и до сажени ширины. Тамъ заключенъ былъ Кудеаръ, окованный и по рукамъ, и по ногамъ. Онъ признанъ былъ военнымъ лазутчикомъ; притомъ же, будучи въ плѣну, дерзнулъ сопротивляться и совершилъ убійство: за это ему отвели такое помѣщеніе.

Идутъ дни за днями, мѣсяцы за мѣсяцами. Кудеаръ сидитъ, а больше лежитъ въ своемъ застѣнкѣ; кандалы разѣбли ему руки и ноги, протлѣлая одежда вся наполнилась насѣкомыми; нестерпимая вонь душитъ его. Ему приносятъ въ сутені по ломту

хлѣба и по ковшу воды, а иногда забываютъ принести — и Кудеяръ сидитъ безъ пищи дня по два. Кудеяръ молить у Бога смерти, а смерти не приходитъ.

Иногда невольники заводятъ съ нимъ разговоръ. Между ними бывають русскіе. Вспоминають они далекую родину, кто родителей, а кто жену и дѣтей, и горько заплачетъ бѣдный, а потомъ затынетъ русскую пѣсню; но другіе, скованные съ ними, сердятся, бранятся на непонятномъ языкѣ за то, что пѣвцы не даютъ имъ спать. Кудеяръ слушаетъ, вспоминаетъ свое бывшее, вспомнить онъ Настю; и сердце его обольется кровью, и просить онъ у Бога смерти, а смерти не даетъ ему Богъ.

Думаетъ Кудеяръ: «почему не выкупить меня царь? Онъ былъ такъ ко мнѣ милостивъ. Царь не знаетъ, гдѣ я, а то онъ бы меня вызволилъ. Послать челобитную — но кому сказать? Кого попросить?» Пытался Кудеяръ заговорить объ этомъ со сторожемъ, но сторожъ не отвѣчалъ ему ни слова. Никакое начальствующее лицо не приходило въ тюрьму съ тѣхъ поръ, какъ его бросили въ нее.

Минулъ годъ. Кудеяръ потерялъ счетъ мѣсяцамъ. Минуло еще полгода — Кудеяръ почти теряетъ умъ, память, забываетъ, гдѣ онъ, что съ нимъ, думать не можетъ, тосковать даже не способенъ. Кудеяръ не человѣкъ болѣе; Кудеяръ словно дерево хилое, дряблѣе...

Прошло такимъ образомъ болѣе двухъ лѣтъ. Уже въ общей тюрьмѣ перемѣнялись много разъ невольники; Кудеяръ не разъ слышалъ послѣдніе стоны умирающихъ, слышалъ, какъ сторожа отпѣляли трупъ отъ живыхъ людей и зарывали въ той же темницѣ... Завидовалъ Кудеяръ счастливцу. Перемѣнялись лица, а звуки цѣпей и стоны были все тѣ же.

Вдругъ въ одно утро, когда всѣ изъ общей тюрьмы были выведены на работу, отпирается дверь, входятъ нѣсколько человѣкъ; отворенная дверь пропустила въ общую тюрьму полоску свѣта, и Кудеяръ черезъ отверстіе своего застѣвка увидѣлъ господина, въ зеленой чалмѣ, въ золотномъ кафтанѣ, изъ-подъ открытой полы котораго выглядывали голубые шелковые штаны и вышитые сафьянные сапоги. На лѣвомъ боку его была сабля съ рукояткою, украшенною драгоценными камнями. За нимъ держали бунчукъ съ тремя конскими хвостами.

— Отоприте, — сказалъ господинъ по-турецки, указавши на дверь, ведущую въ застѣнокъ, гдѣ томился Кудеяръ.

Дверь отомкнули и отворили.

— Выходи, — сказалъ господинъ Кудеяру.

Но Кудеарь не въ силахъ былъ идти; ноги его страшно опухли.

— Ахъ, бѣдный, бѣдный, — сказалъ господинъ, — какъ его измучили. Ему черви ноги съѣли.

Въ самомъ дѣлѣ, черви кишели въ ранахъ, покрывавшихъ ноги Кудеара.

Сторожа, поддерживая Кудеара, вывели его изъ застѣнка. Онъ стоналъ отъ боли, силясь ступить на ноги.

— Я новый беглербегъ, — сказалъ господинъ, — ты болѣе здѣсь не останешься, прикажу тебя обмыть, лечить; поправится твое здоровье, будешь жить у меня; я тебѣ найду легкую работу.

Кудеара вывели на воздухъ. Солнечный свѣтъ ослѣпилъ его. Онъ долго не могъ открыть глазъ. На лицѣ, отъ непривычки къ воздуху, выступила кровь.

По приказанію новаго паши, Кудеара перевезли изъ верхней крѣпости въ нижнюю, на губернаторскій дворъ. Двѣ невольницы обмыли его, надѣли чистое бѣлье. Губернаторскій врачъ далъ ему мазь, отъ которой стали заживать его раны. Его болѣе не заковывали и, вмѣсто прежняго черстваго хлѣба, кормили бараниной съ рисомъ.

Откуда такая милость, какой добрый ангелъ сжалился надъ Кудеаромъ? Все это значило не болѣе, что въ Кафу пріѣхалъ на смѣну прежнему новый губернаторъ. Въ Турціи беглербегъ и подѣдомственные имъ санджакчеси (начальники уѣздовъ) смѣнялись часто; посредствомъ подкуповъ и поклоновъ они добывали себѣ мѣста и старались поскорѣе обогатиться всеми беззаконными средствами, обдирали подчиненныхъ, обкрадывали казну и за то скоро слетали со своихъ мѣстъ, уступая ихъ другимъ искателямъ. Эти послѣдніе, принимая должность, старались дѣйствовать наперекоръ одинъ другому. И на этотъ разъ случилось такъ въ Кафѣ. Прежній губернаторъ былъ человѣкъ крутой, надменный, суровый и притомъ заклятой бусурманинъ; преміи его былъ своего рода философъ, зацѣтливый вѣротерпимости; онъ вообще назался благосклоненъ къ христіанамъ, тѣмъ болѣе, что самъ по предкамъ былъ грѣшъ и между христіанами даже зналъ себѣ родственниковъ. Притомъ же этотъ господинъ былъ склоненъ къ винопитію, а какъ оно запрещается мусульманскимъ закономъ и дозволяется христіанскимъ, то поэтому у новаго господина было сочувствіе къ христіанамъ. Вдобавокъ, онъ былъ личный врагъ уволеннаго. Вотъ почему онъ по вступленіи своемъ въ должность облегчилъ судьбу христіанскаго плѣнника, котораго такъ безчеловѣчно мучилъ его предшественникъ.

И не только Кудеяру, всѣмъ вообще невольникамъ стало полегче: они хотя продолжали ночевать въ темницѣ, скованные цѣпью, но имъ давали лучшую пищу, водили въ баню и снабжали перемѣннымъ бѣльемъ, хотя изрѣдка.

Оправившись отъ недуга, Кудеяръ разсказалъ новому губернатору свою судьбу; и губернаторъ, повидимому, повѣрилъ невинности Кудеяра тѣмъ охотнѣе, что санджакчей, арестовавшій Кудеяра какъ лазутчика въ Исламъ-Керменѣ, былъ родственникъ кафинскаго губернатора. «Я бы,—сказалъ губернаторъ Кудеяру,—отпустилъ тебя, но не смѣю этого сдѣлать, не доложивши визирю, а доложить боюсь, чтобы, вмѣсто свободы, тебѣ не было худшей неволи, чтобъ тебя не велѣли прислать въ Стамбулъ, да не отправили куда-нибудь на галеры. А ты напиши челобитную своему государю. Пусть твой государь попроситъ тебя у нашего. Быть можетъ, наши потребуютъ за тебя денегъ, потому что наши безъ денегъ никого не отпускаютъ!» Затѣмъ начали искать такого русскаго, который, будучи грамотенъ, могъ бы написать челобитную, но такого человѣка не нашли; тогда со словъ Кудеяра, не умѣвшаго ни читать, ни писать, сочинена была челобитная по-турецки, секретаремъ беглербега; вмѣстѣ съ тѣмъ Кудеяръ продиктовалъ письма: къ двумъ Адашевымъ, къ Курбскому и Сильвестру. Бѣдный плѣнникъ не зналъ, что въ Москвѣ все измѣнилось, и обращеніе къ такимъ лицамъ могло только послужить во вреду. Письма были отправлены въ Бакчисарай, къ русскому послу, съ просьбой приказать перевести ихъ на русскій языкъ и отправить по назначенію.

Живетъ Кудеяръ въ губернаторскомъ дворѣ не закованный, спитъ съ прислугою, исправляетъ разныя работы. Губернаторъ имъ доволенъ. Проходитъ такимъ образомъ годъ. Изъ Москвы нѣтъ отвѣта. «Что же — думаетъ Кудеяръ — не близко! Пока-то въ Бакчисарай переведутъ мои письма, пока-то они дойдутъ до Москвы, а изъ Москвы пошлется обо мнѣ грамота въ Турцію. Пока-то изъ Турціи придетъ грамота въ Москву — времени много нужно». Проходитъ еще три мѣсяца, проходитъ полгода. Кудеяръ груститъ. «Ужъ не убѣжать ли! — думаетъ онъ. — Хорошо, какъ удастся! А какъ поймаютъ? Тогда ужъ я пропады!» Ужасный застѣнокъ слишкомъ врѣзался ему въ память. Тутъ онъ узналъ, что есть въ Кафѣ какой-то невольникъ, бывшій русскій подъячій. Кудеяръ просилъ губернатора: нельзя ли позвать этого подъячаго, чтобъ онъ написалъ новую челобитную на имя царя. Губернаторъ дозволилъ; подъячій настроилъ челобитную, да еще

слезное письмо къ Аѳанасію Нагому, русскому послу въ Бакчисарай. Эти бумаги отправили въ Бакчисарай.

Прошелъ еще годъ послѣ второго челобитья. Отвѣта не было. Мысль о побѣгѣ неотвязно стала тѣсниться въ голову Кудеяра. Онъ рѣшился, наконецъ, исполнить свое намѣреніе, какъ только представится удобный случай. Къ этому его располагало и то, что губернаторъ, вѣроятно понявши, что въ Москвѣ не дорожатъ этимъ невольникомъ и не думаютъ освобождать его, перемѣнилъ свое обращеніе съ Кудеаромъ, держалъ его наравнѣ съ другими рабами; и однажды, находясь въ злобномъ расположеніи духа, далъ Кудеяру собственноручно нѣсколько ударовъ ни за что, ни про что. Губернатору показалось, что Кудеаръ въ его присутствіи держитъ себя слишкомъ смѣло и безъ боязни.

Вдругъ, когда Кудеаръ по обыкновенію исполнялъ на дворѣ какую-то работу, двое сипаевъ подозвали его и наложили кандалы съ цѣпью.

Кудеаръ не могъ выговорить ни слова отъ изумленія. Три года онъ ходилъ безъ цѣпей. Чтѣ же онъ сдѣлалъ теперь? Или губернаторъ волдунъ — можетъ узнавать, чтѣ у человѣка шевелится въ мозгу? или онъ въ самомъ дѣлѣ смекнулъ, что Кудеаръ поддается мысли о побѣгѣ.

Сипаи, заковавши Кудеяра, приказали ему продолжать свое дѣло. Губернатора не было дома. Кудеаръ продолжаетъ работать и видитъ: губернаторъ въѣзжаетъ на дворъ съ другимъ какимъ-то господиномъ, богато одѣтымъ. Вслѣдъ затѣмъ въ домъ пошла суетня, бѣготня...

Кудеаръ спросилъ:—что это значить?

— Новый паша пріѣхалъ, — отвѣчали ему. — Старый немедленно собирается въ Стамбулъ.

«Такъ вотъ что, — думаетъ Кудеаръ, — онъ велѣлъ меня заковать, чтобы сдать новому... значить, меня опять поведутъ въ верхнюю крѣпость. Ахъ я дуракъ, дуракъ! зачѣмъ я не убѣжалъ? Ну, пусть только оставятъ здѣсь ночевать! Я уйду, цѣпи эти порвать не штука».

Въ домѣ суетятся, укладываются въ дорогу. Ходитъ Кудеаръ какъ шальной, побрякиваетъ цѣпью; звали его обѣдать; ему ѣда на умъ неидетъ. Вечеромъ, на закатѣ солнца, четверо сипаевъ взяли его за цѣпь и повели со двора.

Привели Кудеяра въ верхнюю крѣпость, прямо въ ту тюрьму, откуда три года тому назадъ его вывелъ губернаторъ, но уже его не посадили въ застѣнокъ, а сковали съ толпою невольниковъ въ общей тюрьмѣ. Только въ уваженіе къ его силѣ на

ноги наложили ему тѣ кандалы, которые были на немъ въ за-  
стѣнѣхъ, и съ которыми всякій другой не могъ бы двигаться съ-  
мѣста.

Товарищи все новыя... Кудеяръ произнесъ горькое воскли-  
паніе, и вдругъ ему откликнулось нѣсколько голосовъ: оказалось,  
тутъ были его земляки, украинскіе казаки, даже знакомые. Ку-  
деяръ узналъ отъ нихъ много новаго и печальнаго. Онъ узналъ,  
что Вишневецкій, повинувши московское государство, воротился  
въ свою Украину и съ казаками пошелъ въ Молдавію; молда-  
ване сами позвали его на господарство, а потомъ измѣнили и  
подвели турокъ. Вишневецкій съ казаками былъ взятъ въ плѣнъ  
и отвезенъ въ Царьградъ. Турскій царь приказалъ привести его  
передъ себя, а Вишневецкій, стоя передъ турскимъ царемъ, обру-  
галъ Мугамеда; за это турскій царь велѣлъ повѣсить его за ре-  
бро на вьюкъ, и висѣлъ Вишневецкій, батько казацкій, три дня  
на вьюкѣ, пѣлъ псалмы, ругалъ мусульманскую вѣру, восхва-  
лялъ Христа, и окончилъ животъ свой святымъ мученикомъ. Быв-  
шіе съ нимъ атаманы и казаки разосланы въ неволю. Жаль  
было Кудеяру батька Вишневецкаго, а пуще всего жаль ему  
было, что батька умеръ, не простивши его. «Можетъ быть, — поду-  
малъ тогда Кудеяръ, — оттого и бѣда его постигла, что проклятіе  
батька легло на него, и въ первый разъ пожалѣлъ Кудеяръ,  
что убилъ ребенка своей Насти».

Утромъ погнали невольниковъ на работу, вечеромъ опять за-  
гнали въ тюрьму. Такъ прошло около мѣсяца. Одинъ разъ, когда  
невольники работали на стѣнахъ крѣпости, подошелъ къ нимъ  
армянинъ, торговецъ невольниками, большой знатокъ достоинствъ  
человѣческаго тѣла, какъ мужскаго, такъ и женскаго. При его  
многолѣтней опытности онъ сразу узнавалъ и опредѣлялъ, куда  
и насколько годился всякій живой товаръ. Отъ его зоркаго oka  
не скрылась тѣлесная сила Кудеяра. Купецъ разсчиталъ, что  
если приобрѣсть такой образчикъ силы, то, наткнувшись на охот-  
ника, его можно продать съ большимъ барышомъ. Купецъ сталъ  
торговать Кудеяра у беглербега. Собственно беглербегъ не имѣлъ  
права продавать казенныхъ невольниковъ, но этотъ беглербегъ  
былъ падохъ на деньги и притомъ не боялся, чтобы злоупотре-  
бленіе открылось: онъ согласился.

Вечеромъ, по окончаніи работъ, когда невольниковъ уводили  
въ тюрьму, Кудеяра отцѣпили отъ прочихъ, перековали въ кан-  
далы, принадлежащія купцу, и купецъ повелъ его въ свой дворъ,  
въ сопровожденіи сипаевъ. Дворъ этого купца былъ окруженъ  
внутри съ трехъ сторонъ каменными амбарами, съ небольшими

окнами наверху; эти амбары назначались для помѣщенія невольниковъ, которые безпрестанно то прибывали, то убывали, рѣдко проживая въ этомъ помѣщеніи болѣе недѣли. Невольники приковывались къ стѣнамъ, но довольно просторно, такъ, что могли удобно спать на грязныхъ кожаныхъ тюфякахъ. На пищу купецъ не скупился; какъ благоразумный и расчетливый торговецъ, онъ понималъ, что не слѣдуетъ давать товару захудать, потому что тогда придется спустить цѣну. Купецъ почти ежедневно ходилъ на рынокъ скупать невольниковъ изъ первыхъ рукъ, но самъ не выводилъ ихъ туда на продажу: его знали не только въ Кафѣ, но и во всемъ Крыму; даже въ далекихъ земляхъ онъ не былъ безызвѣстенъ. У него товаръ былъ отличный; оттого и цѣна была высокая. Мужчины, женщины и дѣти—всѣ помѣщались у него вмѣстѣ; въ невольничьемъ быту приличій не соблюдали.

Безпрестанно приходили въ амбаръ посѣтителі; купецъ умѣлъ завлечь покупателя краснорѣчивымъ описаніемъ достоинствъ своего товара, выставялъ свою опытность и честность, и сбывалъ товаръ удачно. Ему помогало то, что онъ объяснялся на разныхъ языкахъ. Но Кудеяру пришлось посидѣть нѣсколько недѣль. Хозяинъ ломилъ за него такую цѣну, что не находилось охотниковъ купить его. Наконецъ, явился къ нему одинъ изъ богатѣйшихъ крымскихъ мурзъ и сталъ спрашивать: «нѣтъ ли какого-нибудь силача?» Надобно знать, что у крымскихъ вельможъ было въ обычаѣ щеголять силачами при своихъ дворахъ и держать ихъ для борьбы, которая составляла одно изъ тогдашнихъ развлеченій. Купецъ показалъ ему Кудеяра, расхвалилъ до небесъ его тѣлесныя достоинства и присоветовалъ, что онъ очень кро-  
токъ, тихъ и послушенъ.

— Знаетъ онъ по-татарски?—спросилъ мурза.

— Знаетъ, знаетъ,—сказалъ купецъ.

— Немного,—сказалъ Кудеяръ.

Купецъ бросилъ на Кудеяра свирѣпый взглядъ, но покупатель сказалъ:

— Это еще лучше, лишь бы зналъ настолько, что могъ дѣлать то, что ему прикажутъ. Я нарочно подбираю себѣ невольниковъ изъ разнаго народа, чтобы не очень бесѣдовали между собою.

Кудеяру пришла мысль представиться почти ничего непонимающимъ по-татарски. «Меня», думалъ онъ, «стеречь не станутъ, разсудятъ, что я не посмѣю убѣжать, не зная языка; а

если убѣгу, то сейчасъ поймають, оттого, что видно будетъ бѣглаго невольника-чужеземца.

Мурза отсчиталъ купцу горсть золотыхъ монетъ. Кудеяра отцѣпили, заковали особо и сдали съ рукъ на руки новому господину.

Мурза въ тотъ же день отправился изъ Кафы въ свое имѣнiе на собственныхъ лошадяхъ, въ большой арбѣ, въ которой было удобно лежать троемъ. Кромѣ невольника-кучера, у него былъ еще невольникъ персiанинъ и нашъ Кудеяръ, сидѣвшiй рядомъ съ кучеромъ въ оковахъ.

Когда арбѣ приходилось спускаться съ горы, Кудеяръ слѣзъ, побрякивая своими цѣпями; хозяинъ быстро приподнялся; ему мелькнула мысль: не думаетъ ли невольникъ убѣжать?—но Кудеяръ схватилъ за колесо арбу и закричалъ кучеру: «гайда», а самъ сдерживалъ тяжелую арбу одною рукою, подъ гору.

Хозяинъ вытаращилъ глаза отъ изумленiя: «Понимаю,—сказалъ онъ самъ себѣ,—отчего купецъ дорого взялъ за него». Но тутъ же хозяинъ подумалъ: «а что, если онъ при такой силѣ разорветъ свои цѣпи, да убѣжить? не заковать ли его покрѣпче, прiѣхавши домой; но тогда что? Онъ исхудаетъ, потеряетъ силу... на что онъ будетъ годенъ. Нѣтъ, лучше я буду съ нимъ ласковъ; онъ полюбитъ меня, я ему пообѣщаю свободу за вѣрную службу. Этакъ будетъ лучше».

Мурза сталъ объяснять Кудеяру, съ разстановкой, добавляя свою рѣчь знаками для большей вразумительности, что онъ черезъ нѣсколько лѣтъ отпустить его за вѣрность, а если невольникъ вздумаетъ бѣжать, то ему будетъ смерть: для выраженiя послѣдней угрозы, мурза, съ суровымъ взглядомъ, провелъ Кудеяру пальцемъ по шеѣ.

Кудеяръ поклонился въ землю и объяснилъ знаками, что понимаетъ, но прикинулся, что не можетъ сказать правильно ни одного слова по-татарски.

— А прiѣдемъ домой, я тебя раскую,—сказалъ хозяинъ.

На ночь прiѣхалъ мурза въ помѣстье своего друга, такого же мурзы, и первымъ дѣломъ было похвастать покупкою. Кудеяра заставили поднять большой камень и бросить вдалѣ, а потомъ разломать подкову надвое. Хозяинъ былъ въ восхищенiи.

На другой день оба мурзы выѣхали изъ помѣстья, гдѣ ночевали. Въ одну арбу они сѣли сами, а править лошадьми велѣли Кудеяру. Въ другую арбу услали своихъ невольниковъ.

— Онъ ничего не понимаетъ,—сказалъ хозяинъ Кудеяра,—при немъ все можно говорить.

Кудеаръ догадался, что у муръвъ есть какіе-то секреты, которые они боялись открывать при людяхъ, знающихъ татарскій языкъ. Кудеаръ тронулъ лошадей, онѣ пошли живѣе.

— Каковъ молодецъ!—сказалъ хозяинъ Кудеара,—я его сдѣлаю кучеромъ, и у хана не будетъ такого кучера.

Затѣмъ муръвы стали говорить о своихъ дѣлахъ. Кудеаръ прислушался къ ихъ разговору, и понялъ, что у нихъ есть замыселъ противъ хана. «Э!—подумалъ Кудеаръ,—вотъ оно что!» и старался показать совершенное невниманіе къ ихъ бесѣдѣ, а между тѣмъ не проронилъ ни одного слова.

Версть черезъ десять путешественники встрѣтили идущую имъ на встрѣчу арбу. Изъ нея высунулся третій муръва: они къ этому муръву ѣхали въ гости, а муръва, не дожидаясь гостей, ѣхалъ къ хозяину того помѣстья, откуда путники выѣхали. Муръвы остановились, выскочили изъ арбы; начались восклицанія: «Акмамбетъ! Алай-Казы! Алтынъ-Ягазы!» затараторили муръвы, смѣялись, шутили, цѣловались; каждый ткнулъ гостей въ себѣ; наконецъ, порѣшили не ѣхать никуда, остановиться ближе лѣса, неподалеку отъ деревни, гдѣ можно было купить барана и устроить себѣ прохладу. У татаръ было въ обычаѣ: выѣхать въ поле, разбить шатеръ и тамъ поблагодумствовать нѣсколько времени. Часто муръвы-пріятели условливались между собою заранѣе, сѣзжались вмѣстѣ и веселились въ шатрахъ.

Нани муръвы приказали распречь лошадей и разбить три шатра. Одни слуги отправились въ деревню доставать барана, другіе пошли рубить дрова, а Кудеаръ знаками и отрывистыми словами просилъ дозволить ему устроить шатры. Несмотря на свои позные кандалы, онъ быстро досталъ изъ арбы свернутый холстъ, палки, и быстро поставилъ три шатра, изъ которыхъ одинъ былъ обширнѣе прочихъ. Муръвы хвалили его и смѣялись надъ его коверканнымъ татарскимъ выговоромъ.

Пригнали барана, зарѣзали, разложили огонь, стали жарить шашлыкъ. Въ большомъ шатрѣ, принадлежавшемъ хозяину Кудеара, Акмамбету, усѣлись муръвы, поджавши ноги, или руками шашлыкъ, или кумысъ, а потомъ принялись и за водку, которую досталъ изъ своей арбы муръва Алай-Каза, приставившій къ своимъ друзьямъ послѣднимъ. Акмамбетъ отпуская вольнодумныя выходки насчетъ запрещенія вина Мутаммедомъ; Алтынъ-Ягазы доказывалъ, что они въ дорогѣ; а дорожнымъ грѣхъ прощается по ворану; Алай-Казы приводилъ толкованіе мусульманскаго мудреца Бурханъ-аддина, что все перегнанное черезъ кубъ не есть вино и не подлежитъ запрещенію. Слуги были удалены.

Собесѣдникамъ прислуживалъ одинъ только Кудеяръ. Мурзы мѣшали дѣло съ бездѣльемъ, и тутъ Кудеяръ узналъ положительно, что у нихъ есть замыселъ убить Девлетъ-Гирея и возвести на престолъ брата его, Тохтамышъ-Гирея, находившагося тогда въ московскомъ государствѣ. Алай-Казы прочиталъ друзьямъ письмо Тохтамыша, въ которомъ обѣщались мурзамъ золотыя горы, если они изведутъ брата его, Девлетъ-Гирея. Кудеяръ видѣлъ, какъ Алай-Казы положилъ это письмо въ свой красный шелковый халатъ съ золотыми полосами.

Когда мурзы значительно подпили, то начали пѣть, дурачиться; потомъ приехали Кудеяру пѣть по-русски и плясать. Кудеяръ, зная, что татары въ минуты веселія любятъ, чтобы все вокругъ нихъ веселилось, вертѣлся передъ ними, побрякивая кандалами, припѣвая малорусскую «горлицу».

Веселье совсѣмъ не шло его суровой фізіономіи, и тѣмъ забавнѣе казался онъ подпившимъ мурзамъ. Алай-Казы до того пришелся по вкусу русскій невольникъ, что онъ сталъ просить Акмамбета продать ему Кудеяра. Акмамбетъ ни за что не соглашался. Алай-Казы сталъ сердиться, упрекалъ пріятеля въ недостатокъ дружбы, потомъ началась между ними перебранка и чуть дѣло не дошло до драки. Алай-Казы вынулъ саблю, Акмамбетъ сдѣлалъ то же, но Алтынъ-Ягазы сталъ между ними и своимъ краснорѣчіемъ старался примирить ссорившихся друзей. Ему удалось успокоить ихъ, главнымъ образомъ, тѣмъ доводомъ, что никакъ не слѣдуетъ ссориться въ такое время, когда слѣдуетъ всѣмъ соединиться для общаго важнаго дѣла. Мурзы помирились, потѣшались, и Акмамбетъ, въ припадѣхъ умиленія, оказалъ столько великодушія, что уступалъ пріятелю русскаго невольника даромъ, но Алай-Казы, съ своей стороны, не хотѣлъ брать его и изъявлялъ готовность подарить другу свою дорогую саблю. Алтынъ-Ягазы, котораго товарищи пригласили на третейскій судъ, несъ такой вздоръ, что ни Акмамбетъ, ни Алай-Казы не могли уразумѣть его рѣшенія. Акмамбетъ говорилъ: «твой, твой невольникъ!» а Алай-Казы кричалъ: «нѣтъ, твой, твой!» и Кудеяръ, глядя на нихъ, не зналъ, кому онъ теперь принадлежитъ.

Мурзы принялись опять пить и напились до того, что уже не могли ворочать языкомъ. Слуги постлали постели въ шатрахъ, каждый своему мурзѣ. Акмамбетъ отсылалъ отъ себя Кудеяра къ Алай-Казы, и говорилъ: «тамъ теперь твой господинъ, ты уже не мой!» Кудеяръ вошелъ въ шатеръ Алай-Казы; тотъ уже лежалъ раздѣтый и пробормоталъ, увидя Кудеяра: «вонъ, ступай къ своему господину, ты ужъ не мой!» Тутъ, благодаря про-

нижавшей въ шатерь полосѣ свѣта отъ полной луны, Кудеарь увидѣлъ халатъ, съ золотыми полосами, лежавшій за подушкою Алай-Казы въ углу шатра, и сообразилъ, что стоить только приподнять снизу полу шатра и легко будетъ овладѣть халатомъ. Невольники расположились около арбъ. Кудеарь пошелъ къ лошадямъ, которыя паслись невдалекѣ, спутанныя. На счастье, ему попался подъ ноги камень. Онъ безъ труда разбилъ свои кандалы и освободилъ ноги; тогда онъ подошелъ къ шатру Алай-Казы, приподнял полу шатра, вытянулъ халатъ, побѣжалъ къ лошадямъ и, за исключеніемъ одной, перебилъ ихъ ударомъ камня въ лобъ, а оставшуюся въ живыхъ распуталъ, сѣлъ на нее и во весь духъ поскакалъ.

До свѣта онъ отѣхалъ верстъ тридцать. Лошадь его не выдержала и упала. Кудеарь, снявъ съ лошади уздечку, пошелъ пѣшкомъ, на юго-западъ, гдѣ, по его соображенію, долженъ былъ находиться Бакчисарай. Вскорѣ онъ увидѣлъ въ сторонѣ пасущійся табунъ лошадей. Свернувши съ дороги, Кудеарь подошелъ табунщика. — Чей это табунъ? — спросилъ Кудеарь.

— Мурзы Алай-Казы — отвѣчалъ табунщикъ.

«Вотъ куда меня Богъ принесъ», подумалъ Кудеарь, и сказалъ табунщику:

— Вотъ этого жеребца я возьму себѣ, хозяинъ приказалъ.

— Не дамъ, — сказалъ табунщикъ.

— Какъ не дамъ, дуракъ, — сказалъ Кудеарь, — видишь халатъ твоего господина?

— Я не знаю, — сказалъ табунщикъ.

Кудеарь, не отвѣчая ему, подошелъ къ жеребцу, надѣлъ на него уздечку, распуталъ ему ноги. Жеребецъ захрапѣлъ, поднялся на дыбы, но Кудеарь изо-всей силы схватилъ его за гриву и прыгнулъ на него. Жеребецъ вмигъ присмирѣлъ. Кудеарь вскочилъ на жеребца, и, обратившись къ табунщику, сказалъ:

— У васъ тамъ въ курени сѣдло, нельзя чтобъ не было сѣдла; давай сѣдло, зови своихъ товарищей.

Кудеарь поѣхалъ на жеребцѣ къ куреню; табунщикъ шелъ сзади и звалъ товарищей. Двое табунщиковъ бѣжали къ куреню. Кудеарь соскочилъ съ жеребца и закричалъ:

— Эй, вы, давайте сѣдло, скорѣ осѣдлайте жеребца!

— Кто ты таковъ? — спрашивали табунщики. Но одинъ изъ нихъ, приглядѣвшись, сказалъ: — это халатъ нашего господина, я его знаю!

— Да, — сказалъ Кудеарь, — Алай-Казы велѣлъ взять этого жеребца и приказалъ ѣхать на немъ въ Бакчисарай. Онъ съ

Акмаметомъ и Алтынъ-Ягазы остался въ шатрахъ на полѣ, а чтобъ вы видѣли, что онъ послалъ меня самъ, вотъ онъ и далъ мнѣ свой халатъ.

Табунщики повѣрили и помогли осѣдлать жеребца. Кудеяръ сѣлъ на него и сказалъ:

— Алай-Казы велѣлъ кому-нибудь изъ васъ проводить меня до Бакчисарая. Я везу важную бумагу, скорѣе!

Одинъ изъ табунщиковъ нѣ-скоро осѣдлалъ коня и сѣлъ на него.

— Прощайте, — сказалъ Кудеяръ табунщикамъ: — когда вернется Алай-Казы, то скажите ему, что пріѣзжалъ человекъ въ его халатѣ и уѣхалъ въ Бакчисарай. Онъ самъ скоро туда пріѣдетъ.

До Бакчисарая было верстъ семьдесятъ. Кудеяръ, благодаря проводнику, не путался въ дорогѣ, остановился часа на два покормить лошадей, потомъ снова поскакалъ, и еще до солнечнаго заката въѣхалъ въ узкую улицу Бакчисарая. Въ городскихъ воротахъ караульные пропустили его, когда онъ назвался посланцемъ Алай-Казы.

У воротъ дворца стояли на караулѣ ханскіе тѣлохранители. Кудеяръ закричалъ:

— Тотчасъ доложите свѣтлѣйшему великому хану, что пріѣхалъ человекъ объявить его величеству важнѣйшее дѣло.

— Свѣтлѣйшій ханъ, — отвѣчали ему, — изволилъ уѣхать на свою потѣху, на Альму... а если тебѣ есть какое дѣло, ступай къ великому ханскому визирю.

— У меня такое дѣло, — сказалъ Кудеяръ, — что я могу объявить его одному только великому хану.

Караульные сказали, что доложить Атталыку, котораго ханъ оставилъ завѣдывать дворцомъ.

Атталыкъ, молочный братъ хана, сынъ ханской кормилицы, любимецъ Девлетъ-Гирея, услышавши, что кто-то требуетъ свиданія съ ханомъ, велѣлъ прежде обыскать его: нѣтъ ли съ нимъ оружія, а потомъ ввести на дворъ.

— Обыскивайте, — сказалъ Кудеяръ, — но этого письма я не покажу вамъ; я отдамъ его самому хану и никому больше, и вы не смѣете взять его у меня.

Тѣлохранители, обыскавъ Кудеяра, увидѣли на немъ крестъ и сообщили Атталыку, что пріѣхавшій какой-то гяуръ.

Кудеяра ввели во дворъ. Атталыкъ вышелъ изъ дворца и съ недовѣріемъ оглядывалъ Кудеяра съ ногъ до головы.

— Кто ты? Зачѣмъ? На что тебѣ нужно видѣть свѣтлѣйшаго хана?—спрашивалъ Аталыкъ.

— Кто я таковъ и зачѣмъ пріѣхалъ—не скажу ни тебѣ, ни визирю, а скажу одному хану. Идетъ дѣло о здравіи вашего великаго повелителя. Если ты меня тотчасъ не отправишь къ хану, то будешь измѣнникъ. Тотчасъ дай мнѣ свѣжую лошадь и провожатаго довести меня до того мѣста, гдѣ находится теперь вашъ государь. Коли не вѣришь, боишься меня безоружнаго, вели заковать меня, это все равно—мнѣ нужно видѣть хана, и я тебѣ еще разъ говорю: если ты меня не допустишь тотчасъ до хана, тебѣ худо будетъ.

Аталыкъ велѣлъ дать Кудеяру свѣжую лошадь и нарядилъ десять человѣкъ провожатыхъ.

Кудеяру пришлось проѣхать верстъ пятьдесятъ; утромъ рано онъ былъ уже въ ставкѣ хана.

На берегу Алмы раскинуто множество шатровъ: одинъ другого пестрѣе одинъ другого выше, а всѣхъ выше, обширнѣе, наряднѣе шатеръ Девлетъ-Гирея; онъ весь изъ шелковой ткани, на немъ ханское знамя съ изображеніемъ луны.

За шатрами вельможъ улицами расположены холщевые шатры разныхъ купцовъ, продающихъ товары, преимущественно съѣстное. Куда ханъ поѣдетъ со своимъ дворомъ, туда за нимъ ѣдутъ вупцы, появляется городъ, торговый, шумный; потомъ, съ переходомъ хана исчезаетъ и появляется въ другомъ мѣстѣ, и такъ на крымскомъ полуостровѣ появляются и исчезаютъ шатерные города, пока наконецъ ханъ не изволитъ воротиться въ Бакчисарай или не пойдетъ со своими ордами либо на москвитинъ, либо на ляховъ.

Наканунъ этого дня ханъ тѣшилсѣ охотою; вечеромъ послѣ охоты пировалъ съ вельможами, а ночь проводилъ съ одною изъ своихъ женъ.

Еще ханъ покоится сномъ, а Кудеяръ настойчиво требуетъ, чтобы его допустили къ хану. Капуджи-баши, хранитель дверей ханскаго шатра, говоритъ ему: «нельзя будить хана»,—а Кудеяръ стоитъ на своемъ:—если не разбудите, ханъ разгнѣвается; дѣло очень важное!

Капуджи-баши сообщилъ объ этомъ евнуху; евнухъ пожималъ плечами, разводилъ руками и вопросительно смотрѣлъ на Кудеяра, а Кудеяръ говорилъ:

— Тотчасъ разбудите хана, дѣло важное!

Ханскій шатеръ раздѣлялся на три покоя. Первый покой —

обширная столовая, гдѣ ханъ пируетъ; второй — диванная, гдѣ ханъ толкуетъ о дѣлахъ съ мурзами; третій — спальня.

Евнухъ вошелъ въ спальню, разбудилъ хана и увелъ красавицу заднимъ ходомъ въ гаремный шатеръ, находившійся рядомъ съ ханскимъ. Ханъ омылся розовой водой, обулся въшитые жемчугомъ сапоги, надѣлъ халатъ, препоясавшись саблею, накрылъ голову бараньей шапкой съ брильянтовымъ перомъ, расчесалъ клочковатую, окрашенную бороду, прочиталъ на-соро намазъ и вошелъ въ столовую.

— Приведите его сюда, — сказалъ ханъ.

Кудеяръ вошелъ въ столовую, поклонился до земли и произнесъ:

— Свѣтлѣйшій ханъ, могущественный повелитель! Лиходѣи хотятъ тебя извести и на твой престолъ возвести Тохтамышъ-Гирея. Вотъ письмо его.

Девлетъ-Гирей устремилъ свои выпуклые глаза на письмо. Морщины вниманія покрыли его лобъ, и къ концу чтенія замѣнились выраженіемъ свирѣпой злобы.

— Это письмо къ Алай-Казы, — сказалъ ханъ. — Еще кто съ нимъ противъ меня?

— Мурза Аемамбетъ, Алтынъ-Ягазы; за этихъ я ручаюсь, что они измѣнники; но у нихъ есть соумышленники, какъ я слышалъ, другіе твои мурзы.

— Самъ кто ты? — спросилъ ханъ.

— Бѣдный русскій невольникъ, — сказалъ Кудеяръ.

— Вижу, — сказалъ ханъ, — что ты мнѣ доносишь правду; письмо ясно это доказываетъ. Самъ Богъ тебя послалъ. Съ этихъ поръ волею нашею ты уже не невольникъ, а мой первый другъ, мой избавитель. Какъ тебя зовутъ?

— Юрій Кудеяръ.

— Какъ и гдѣ ты попалъ въ неволю?

— Я, — сказалъ Кудеяръ, — посланъ былъ царскимъ воеводою для разговора въ турецкую крѣпость на Днѣпрѣ, а меня турки не по правдѣ схватили, много лѣтъ мучили въ тюрьмѣ, а потомъ продали моему мурзѣ Аемамбету.

— Ты страдалъ тяжело, — сказалъ ханъ, — но будешь награжденъ щедро. Все суета, все прахъ передъ добродѣтелью, а ты добродѣтель.

Ханъ приказалъ созвать всѣхъ своихъ мурзъ, бывшихъ въ станѣ, глянулъ на нихъ сурово и сказалъ:

— Кто изъ васъ мнѣ другъ и слуга, кто мнѣ врагъ? Есть между вами тайные злодѣи: они раблѣпствуютъ предо мною,

ползають какъ змѣи и тайно готовятъ мнѣ ядъ. Но и вы, которые хвалитесь своею преданностью, отчего изъ васъ никто не увѣдалъ о лихомъ умыслѣ противъ меня, не поспѣшилъ отстранить отъ меня тайно заостренного кинжала? Не вы меня спасли, а этотъ иноплеменникъ, инобѣрецъ, несчастный невольникъ! Онъ мнѣ болѣе другъ, чѣмъ всѣ вы. Кланяйтесь ему, благодарите его. Величайте его: онъ спаситель вашего государя! Дамъ ему лучшія одежды изъ моихъ нарядовъ, повѣшу ему на шею толстую цѣпь чистаго золота, чтобы она замѣнила ему тѣ кандалы, въ которыхъ онъ мучился многіе годы; онъ будетъ ѣсть и пить такъ, какъ ѣстъ и пьетъ спасенный имъ государь. Дамъ ему слугъ, женъ, награжу его деньгами, помѣстьями, всѣмъ, чего онъ захочетъ. Девлетъ-Гирей умѣетъ награждать за спасеніе своей жизни.

— Великій государь, свѣтлѣйшій ханъ, — сказалъ Кудеаръ, — благодарю Бога, что повелѣлъ мнѣ послужить тебѣ. То не мое дѣло, а божіе. Если же милость твоя будетъ, отпусти меня въ мою сторону; тамъ у меня жена, домъ свой.

— Слышите, какъ онъ уменъ, — сказалъ ханъ: — не себѣ онъ приписываетъ доброе дѣло, а Богу. Умѣть, свѣдущій въ законѣ, не могъ сказать ничего мудрѣе. Все исполню, мой первый другъ, чего ты пожелаешь, но теперь мы поѣдемъ въ Бакчисарай. Вы, мурзы, произнесете праведный судъ надъ виновными, а ты, Кудеаръ, поможешь намъ обличить злодѣевъ; окончится судъ, и тогда, если захочешь, уѣдешь осыпанный по достоинству нашими милостями, а до того времени, прошу тебя, оставайся у насъ, будешь жить въ моемъ дворцѣ, въ чести, довольствѣ и славѣ!

---

## II.

## Ханское угощеніе.

И во снѣ не видѣлось Кудеяру такой роскоши, въ какой онъ очутился. Недавно еще кандалы разѣдали ему ноги; теперь его обули въ сафьянные сапоги, расшитые золотомъ, въ которые входили широкіе штаны изъ толстой шелковой ткани; къ черному кожаному поясу прицѣплена была, на серебряной цѣпи, сабля въ серебряныхъ ножнахъ, съ золотымъ ефесомъ, въ которомъ блистала дорогой изумрудъ; вмѣсто прежней рубахи изъ верблюжьяго сукна, его плечи покрывала темнокрасный шолоховый халатъ съ висячими золотыми пуговицами; мускулистую шею казака украшала золотая цѣпь, сдѣланная въ видѣ жгута, а его голову прикрывала черная баранья шапка съ золотымъ перомъ. Кудеяра помѣстили въ трехъ покояхъ ханскаго дворца; стѣны ихъ были обвѣшены, а полъ устланъ персидскими коврами; вдоль стѣнъ стояли низенькіе диваны, обитые краснымъ тисненымъ сафьяномъ; разноцвѣтныя стекла, вставленные въ полуокруглыя оконныя рамы, разливали мягкій, пріятный полусвѣтъ; прямо изъ покоевъ былъ выходъ въ садъ: тамъ счастливецъ, наѣвши въусной баранины и запивши ее кипрскимъ виномъ, могъ предаваться восточной цѣни подъ шумъ водомета, обсаженнаго чинарами. Двое невольниковъ приставлены были служить ему, а двѣ красивыя невольницы-черешенки обязаны были, по его требованію, раздѣлять съ нимъ поочереды ложе. Нѣсколько разъ ханъ удостоивалъ его приглашеніемъ къ своему столу и бралъ съ собой на охоту, гдѣ Кудеяръ изумлялъ Девлетъ-Гирея своею силою и ловкостью. Придворные, изъ угожденія къ хану, должны были оказывать ему почести и вниманіе; но у многихъ начала гнѣздиться зависть и досада: одни опасались, какъ бы этотъ гяуръ не вздумалъ принять мусульманство и не сдѣлался всемогущимъ любимцемъ при дворѣ; другіе, въ своемъ мусульманскомъ фанатизмѣ, оскорблялись тѣмъ, что невѣрный пользуется почетомъ наравнѣ съ правовѣрными.

Предусмотрительный Девлетъ-Гирей, еще не уѣзжая изъ Альма въ Бакчисарай, догадался, что враги его, почувавши объ открытіи ихъ замысловъ, поспѣшатъ убраться въ московское государство. Ханъ отправилъ своего селердаря-агу съ двумя отрядами молодцовъ своей гвардіи, называемыхъ игитами, къ Пере-

вопу: одному отряду велѣлъ стать на перешейкѣ, никого не пускать изъ Крыма безъ разспроса, поймать виновныхъ мурзъ, если они явятся и отправить ихъ въ Бакчисарай; другому отряду велѣно ѣхать къ Арбатской стрѣлкѣ, чтобъ и чрезъ нее не могли ускользнуть преступники. Девлетъ-Гирей не ошибся.

Утромъ, послѣ той ночи, когда убѣжалъ Кудеяръ, раньше всѣхъ проснулся невольникъ персіянинъ, увидаль побитыхъ лошадей, пришелъ въ ужасъ, ожидалъ отъ разъяреннаго господина всякихъ истязаній и, не сказавши никому о видѣнномъ, далъ тягу, въ страхѣ, не размышляя: удастся ли ему скрыться. Проснулся за нимъ другой невольникъ, грузинъ и, замѣтивши, что двоихъ товарищей нѣтъ, полагалъ, что они убѣжали вмѣстѣ, и пустился бѣжать самъ, разсчитывая, что если ему удастся ихъ догнать, то они, поневолѣ, возьмутъ его къ себѣ въ товарищи, а если не удастся, то онъ скажетъ, что бѣжалъ ловить бѣглецовъ. Осталось еще двое невольниковъ: что бы они дѣлали, еслибъ проснулись, не знаемъ, но раньше ихъ проснулся Алай-Казы, тотчасъ освѣдомился о своемъ халатѣ, какъ самой драгоценной вещи, и, не нашедши его подлѣ себя, поднялъ тревогу. Пробудились его товарищи, сначала вопили и кричали безъ памяти; а потомъ, пришедши въ себя, стали помышлять, что имъ дѣлать. Таеъ какъ убѣжавшіе невольники не стащили ничего, кромѣ халата, въ которомъ было письмо, то явнымъ казалось, что похищеніе учинено было съ цѣлью открыть заговоръ противъ хана. Зачинщикомъ зла мурзы считали не Кудеяра, а персіянина; оставшіеся невольники отправились искать лошадей для своихъ господъ, а мурзы стали совѣтоваться о своемъ спасеніи. Алай-Казы и Алтынъ-Ягазы рѣшились бѣжать въ московское государство степью, но Аюмамбетъ предпочелъ лучше скрыться въ Кафѣ, надѣясь на расположеніе турецкаго губернатора, и потомъ уже, если нужнымъ окажется, пробраться моремъ въ московское государство. Затѣмъ, всѣ положили остаться на мѣстѣ и дождать, пока невольники приведутъ имъ наемныхъ лошадей, чтобъ ѣхать каждому къ себѣ и собираться въ далекой путь.

Но изъ словъ, неосторожно произнесенныхъ мурзами во время суматохи, невольники поняли, что ихъ господа затѣвали что-то дурное противъ хана, и теперь боятся... Невольники, вмѣсто того, чтобъ искать господамъ своимъ лошадей, отправились въ Бакчисарай съ тою цѣлью, чтобы самимъ объявить о преступныхъ замыслахъ господъ. Мурзы потеряли цѣлый день въ ожиданіи, переночевали въ полѣ и на другой день пошли пѣшкомъ къ Алтынъ-Ягазы, котораго имѣніе было ближе отъ роковаго

для нихъ мѣста. Тамъ, взявши у хозяина лошадей, Акмамбетъ и Алай-Казы поскакали каждый къ себѣ. Алтынъ-Ягазы собрался въ путь, общаясь догнать Алай-Казы.

Алай-Казы, съ двумя вьючными лошадьми и съ однимъ русскимъ невольникомъ, которому обѣщаль свободу по прибытіи въ московскую землю, приближался къ Перекопу, но ханскій селердаръ съ отрядомъ игитовъ ждалъ уже его. Алай-Казы наткнулся на него такъ близко, что не успѣлъ повернуть коня, какъ игиты окружили его и связали. Алтынъ-Ягазы въ это время догонялъ Алай-Казы и, увидѣвши вдали суетню, быстро повернулъ въ сторону, но селердаръ-ага пустился за нимъ въ погоню. Его вьючная лошадь и невольникъ, русскій родомъ, достались игитамъ, но Алтынъ-Ягазы ушелъ отъ нихъ и доскакалъ до стрѣлки, какъ вдругъ стоявшіе тамъ игиты бросились на него. Несчастный бѣглець, видя неминуемую гибель, пришелъ въ такое отчаяніе, что, соскочивъ съ коня, хотѣлъ удавить себя уздою, но игиты не допустили его до самоубійства, связали и повели къ Алай-Казы, а потомъ обоихъ повезли въ Бакчисарай.

Заговоръ противъ хана былъ дѣломъ обычнымъ въ Крыму. Ханы, хотя и дозволяли себѣ разныя деспотическія выходки, безъ которыхъ немислимъ ни одинъ восточный властитель, но не прочно сидѣли на своемъ престолѣ, завися не только отъ царградскаго падишаха, но отъ своихъ беевъ и мурзъ. Мало того, что беи, сильные магнаты, не дозволяли ханамъ вмѣшиваться въ управленіе ихъ бейлыками, многіе мурзы, имѣвшіе помѣстья въ бейлыкахъ и происходя отъ одного рода съ беями, считали беевъ своими главами, и во всѣхъ государственныхъ дѣлахъ ханъ долженъ былъ угождать беямъ и ихъ мурзамъ, иначе, пользуясь своею матеріальною силою, они могли поднять возстаніе, свергнуть хана и посадить другого, что не разъ случалось въ крымской исторіи. Самъ Девлетъ-Гирей, при помощи заговора, низвергнулъ и перебилъ дѣтей своего брата, Саипъ-Гирея, и такимъ путемъ достигнулъ престола. Въ собственномъ своемъ удѣлѣ, который былъ значительнѣе другихъ бейлыковъ, ханъ распоряжался произвольнѣе, но и тамъ мурзы, въ случаѣ, когда ханъ раздражалъ ихъ, могли составлять заговоры въ пользу претендентовъ, въ которыхъ рѣдко бывалъ недостатокъ, тѣмъ болѣе, что новый ханъ въ признательность за содѣйствіе награждалъ мурзъ помѣстьями и дарами отъ добычи. Услуга, оказанная Девлетъ-Гирею Кудеяромъ, была важною: заговоръ былъ открытъ въ самомъ зародышѣ; безъ того онъ могъ бы расшириться, и ханъ былъ бы свергнутъ.

Алтынъ-Ягазы былъ человѣкъ трусоватаго десятка. Когда его привели къ допросу предъ верховнаго судью, кади-аскера, онъ сразу очернилъ нѣсколькихъ мурзъ, и въ томъ числѣ бросилъ подозрѣніе на чиновниковъ ханскаго двора. Не мало людей было привлечено къ слѣдствію по его показаніямъ, а нѣсколько заключено въ тюрьму. Алай-Казы, напротивъ, упорно заперся, даже и тогда, когда другіе сознавались въ преступленіи и подтверждали показаніе Алтынъ-Ягазы. Алай-Казы увѣрялъ, что никогда не получалъ писемъ отъ Тохтамыша, и когда кади-аскеръ для его уличенія далъ ему очную ставку съ Кудеяромъ, Алай-Казы плюнулъ на своего обвинителя. Но потомъ, уstraшенный пыткой, Алай-Казы измѣнилъ свое показаніе, сознался, что точно Тохтамышъ писалъ къ нему, и прибавилъ, что онъ слышалъ отъ бывшаго въ Крыму московскаго гонца, будто московскій государь обѣщалъ награду тѣмъ, которые изведутъ Девлетъ-Гирея. Поставленный предъ судью переводчикъ, чрезъ котораго Алай-Казы объяснялся съ московскимъ гонцомъ, показывалъ такіа двусмысленныя рѣчи, слышанныя имъ отъ гонца, что по нимъ невозможно было никакъ положительно признать подущеніе со стороны царя Ивана Васильевича, но кади-аскеръ ухватился за показаніе Алай-Казы съ жаромъ. Ему и многимъ мурзамъ это было на руку. Уже давно они были недовольны своимъ ханомъ, зачѣмъ онъ дружитъ съ москвитиномъ и не дозволяетъ мурзамъ нападать на предѣлы московскіе. Съ того времени, какъ уstraшенный пріѣздомъ въ Москву Вишневецкаго и приготовленіями къ завоеванію Крыма, ханъ, соображая разстроенное состояніе своего юрта, просилъ у царя Ивана мира, вѣлъ безпрерывныя дружескія сношенія съ московскимъ царемъ и высасывалъ изъ него деньги, мѣха и всякіе подарки; онъ то увѣрялъ его въ братской дружбѣ, то грозилъ ему турками, требовалъ отдать Казань и Астрахань, а московскій царь присылалъ ему все больше и больше. Хану казался выгоднымъ такой образъ сношеній: вмѣсто того, чтобы брать съ Мосевы добычу войною, подвергая своихъ людей опасностямъ, ханъ рассчитывалъ лучше обирать царя Ивана безъ войны, безъ труда. Тотъ же способъ сношеній находили для себя выгоднымъ и тѣ вельможи, которымъ царь присылалъ поминки, но крымцамъ вообще было мало пользы отъ этого; гораздо лучше казалось имъ идти въ походъ и грабить: тутъ бы имъ всѣмъ была пожива. Поэтому вѣсть о томъ, что московскій государь подущалъ лиходѣевъ на хана, была для многихъ очень отрадною: можно было надѣяться, что теперь ханъ разсорится съ московскимъ государемъ. Самъ

Девлетъ-Гирей не безъ удовольствія узналъ о показаніи Алай-Казы: ему предстоялъ удобный случай придраться къ московскому царю, чтобъ сорвать съ него лишнюю дань.

Слѣдствіе тянулось цѣлыхъ полгода. Остановка была за Акмамбетомъ; его отыскивали, узнали, что онъ убѣжалъ въ Кафу, писали къ беглербегу; беглербегъ отвѣчалъ, что его нѣтъ у него; ханъ жаловался турецкому падишаху: приказано было беглербегу выдать бѣглеца, беглербегъ отвѣчалъ снова, что не знаетъ, гдѣ онъ; писали въ Москву, оттуда отвѣчали, что въ московское государство онъ не приходилъ; между тѣмъ сообщено было, что Акмамбетъ у московскаго царя; снова послали къ царю, требовали его выдачи; ханъ требовалъ также выдачи брата своего, Тохтамышъа. Царь извѣстилъ хана, что Тохтамышъ умеръ, а Акмамбета нѣтъ въ московскомъ государствѣ; если же найдется, то выдадутъ его. Девлетъ-Гирей призывалъ къ себѣ Аванасія Нагого, сообщалъ ему о показаніяхъ Алай-Казы, о подушеніи со стороны московскаго государя, но самому царю о томъ не писалъ. Такъ проходило время. Кудеяръ поневолѣ долженъ былъ ожидать окончанія дѣла. Наконецъ, не доиславшись Акмамбета, рѣшили вершить важное дѣло о заговорѣ на жизнь хана въ курилтаѣ или ханскомъ совѣтѣ.

Въ диванной залѣ дворца собрались всѣ знатные сановники крымскаго юрта, тихо ступая по роскошнымъ персидскимъ коврамъ тонкими подошвами своихъ сафьянныхъ башмаковъ. Одѣтые въ парадные золотные халаты, усѣлись они, поджавши ноги, на низенькихъ и широкихъ диванахъ. Ханъ сидѣлъ на возвышеніи; близъ него истолкователь мудрости, муфти, съ книгою корана въ рукѣ, а съ нимъ имамы и улемы.

Позвали Кудеяра. Онъ проговорилъ довольно правильно татарски, хотя съ нѣкоторою запинкою всю исторію, какимъ образомъ онъ попалъ къ Акмамбету въ неволю, и какъ ему помогъ Богъ открыть заговоръ на жизнь хана.

Крымскіе вельможи смотрѣли исподлобья; духовнымъ не нравилось, что гяуръ такъ смѣло говорить въ курилтаѣ, но ханъ, въ высокопарныхъ выраженіяхъ, превознесъ заслуги Кудеяра и назвалъ его предъ всѣми другомъ своимъ.

Кудеяру велѣли выйти. Ввели преступниковъ. Алтынъ-Ягазы палъ ницъ и вопилъ. Алай-Казы призывалъ Бога и Мугаммеда во свидѣтельство своей невинности. Другіе соумышленники: Батырь-Мурза, Секирь-Мурза, Ярлыкъ-Мурза и нѣсколько царедворцевъ молили пощады и взваливали всю вину на Москву. Ихъ вывели. Совѣтъ сталъ разсуждать. Муфти, указывая на мѣ-

ста изъ корана, объяснялъ важность преступленія. Рѣшено было всѣхъ предать смертной казни. Алай-Казы вмѣнили въ особенную вину его заперательство и желаніе показаться невиннымъ; ему назначили жестокую казнь: вырѣзать желудокъ и положить ему на голову; Алтынъ-Ягазы и прочимъ приговорили отрубить головы и воткнуть на колья. Приговоръ былъ прочитанъ за дверьми дивана кади-аскеромъ и на другой день—исполненъ.

Но въ диванѣ поднялись крики противъ Москвы.

— Мы наказали злодѣяніе, — говорилъ муфти, — но не главныхъ злодѣевъ; это были только исполнители; все это затѣи невѣрнаго московскаго царя и его совѣтниковъ. О, правовѣрные! извлекайте мечи изъ ноженъ, устремляйтесь, какъ вихрь, на отщепеніе, пустите стрѣлы ваши по невѣрной землѣ, какъ градъ, побивающій нивы. Тамъ корень зла: тамъ да совершится правосудіе. О, правовѣрные! Доколѣ намъ терпѣть поруганіе нашей вѣры и поношеніе нашего славнаго племени? Развѣ не знаете, что тамъ, гдѣ прежде были мечети, гдѣ восхвалялось имя нашего славнаго пророка—нынѣ поставлены христіанскія капища съ идолами? Многіе изъ людей нашей вѣры и нашего рода—перешли къ христіанскому идолопоклонству. Развѣ не знаете, что все это дѣлаютъ тѣ, которыхъ предки были рабами предковъ нашихъ?

— Давно ли, — кричали другіе, — давно ли проклятые москвитины замыслили вести многочисленныя рати на нашу страну, чтобъ поработить насъ, какъ уже поработили нашихъ братій.

— И самъ этотъ гяуръ, — замѣтилъ одинъ мурза, — величаемый спасителемъ нашего свѣтлѣйшаго хана, не одинъ ли изъ тѣхъ, которые тогда шли на насъ войною?

— Онъ взять въ плѣнъ, какъ лазутчикъ, а не какъ воинъ.

— Онъ говорить, что не былъ соглядатаемъ, — сказалъ ханъ, — но ты при томъ не былъ, какъ его взяли, а потому и говорить тебѣ о томъ не стать.

— Свѣтлѣйшій ханъ, — сказалъ мурза, — говорить о себѣ рабъ, а ты вѣришь рабу.

— Онъ не рабъ, — сказалъ запальчиво ханъ, — онъ мой другъ. Никто не дерзай поносить того, кто спасъ мнѣ жизнь и царство.

— Если онъ въ самомъ дѣлѣ хорошъ чедовѣкъ, пусть остается у насъ и приметъ нашу правую вѣру, — сказалъ одинъ улемъ.

— О, чего бы я не далъ, еслибъ этотъ чедовѣкъ обратился къ истинной вѣрѣ пророка, — сказалъ ханъ. — Но на все воля Бога. А мы будемъ говорить о нашихъ дѣлахъ. Московскій царь

писалъ къ намъ, что нашего врага Акмамбета у него нѣтъ, а мы слышали, что онъ у него. Напишемъ къ нему еще объ этомъ, да пусть онъ намъ пришлетъ поминки нелегкіе, вдвое противъ того, что прислалъ; пусть нашимъ беямъ и мурзамъ, заставляющимъ въ совѣтъ, пришлетъ по росписи поминки нелегкіе, а если онъ того не сдѣлаетъ, то мы турецкаго царя на него движемъ, и всю его московскую землю разоримъ.

— Что много съ нимъ говорить, — сказалъ Карагъ-бей, ярый врагъ Москвы: — не съ нимъ бы намъ переговариваться, а съ блистательнѣйшимъ солнцемъ правотворныхъ народовъ, могущественнѣйшимъ, непобѣдимѣйшимъ нашимъ падишахомъ; пусть повелитъ воинствамъ своимъ грануть на московитовъ, и мы соберемъ всѣ наши орды, и всю московскую землю поворимъ и поработимъ; заставимъ московскаго князя подавать коня нашему свѣтлѣйшему хану.

— Въ нашихъ татарскихъ книгахъ написано, — сказалъ одинъ имамъ: — Богъ даетъ на время невѣрнымъ торжество надъ правотворными, а потомъ правотворные снова верхъ возьмутъ надъ невѣрными!

— Можно писать къ московскому князю, — сказалъ Ора-бей перекопскій, завзятый рубака, — почему не писать? А тѣмъ временемъ спать нечего — идти набѣгомъ на московскую землю; оно и лучше какъ написать; пусть себѣ Москва по нашимъ письмамъ думаетъ, что мы хотимъ съ нею въ миръ жить — не чаючи на себя грозы. Москва къ оборонѣ не приготовится, а мы тутъ какъ тутъ: города ихъ сожжемъ, села разоримъ, ясыру наберемъ, а потомъ Москва сама же, будто благодарствуя за разоренія, пришлетъ намъ подарки; значитъ — мы будемъ въ двойномъ барышѣ! Къ тому посудите: у насъ ясыру будетъ много; надобно его куда-нибудь сбывать! А мы его будемъ сбывать имъ же; они станутъ выкупать своихъ, а мы имъ же ихній товаръ продадимъ, да еще дороже, чѣмъ бы въ иное мѣсто продали.

— Правда, правда! — закричали мурзы. — Вотъ разсудилъ хорошо!

— Да, да, — сказалъ Ширинъ-бей, владѣтель Эски-крыма, сильнѣйшій изъ беевъ: — пока ханъ будетъ переписываться, наши наберутъ ясыра; это хорошо; но зачѣмъ же одному Ора-бею идти на поживу? И мы также хотимъ набрать ясыра.

— И ногаи также хотятъ, — сказалъ сераскирь, управляющій ногайскою ордою.

— Что-жъ это?—сказаль ханъ,—это значить: весь юртъ поидеть за ясыромъ, безъ меня?

— А что же,—сказаль Ширинъ-бей,—ты изволь переписываться и пересылаться съ московскимъ княземъ, да бери съ него побольше поминковъ, а мы будемъ воевать; ты самъ по себѣ, а мы всѣ сами по себѣ: твое величество объ этомъ не знай, не вѣдай.

На томъ и порѣшили.

Послѣ этого засѣданія Девлетъ-Гирей отправилъ гонца въ Москву съ грамотою, въ которой просилъ двойныхъ поминковъ, требоваль, сверхъ того, посадить его сына Адинъ-Гирея на казанскомъ столѣ; указываль на то, что, по слухамъ, Акмамбетъ скрывается въ московскомъ государствѣ, и просилъ выдачи его.

Между тѣмъ одинъ изъ беевъ, являшскій бей, былъ доброжелатель Москвы. Онъ не имѣль вкуса къ грабительствамъ и набѣгамъ, любилъ, напротивъ, жить дома въ полномъ довольствѣ, устроилъ у себя великолѣпный дворецъ съ цвѣтникомъ и водометомъ, держаль въ гаремѣ такихъ красавицъ, что и хану дѣлалось завидно, продаваль арбами плоды изъ разведенныхъ на своей землѣ садовъ, выручалъ много денегъ за шерсть и овчины со своихъ стадъ, зналь хорошо по-арабски, любилъ читать произведенія арабской литературы и самъ писываль стихи. Онъ былъ почти всегда противъ набѣговъ и говариваль такъ: «чѣмъ намъ Москву и Литву разорять, не лучше ли Москвѣ и Литвѣ продавать наши издѣлія да съ нихъ деньги лупить: и у москвитинъ и у литвиновъ будетъ чѣмъ намъ платить, и у насъ будетъ за что съ нихъ деньги брать. Все равно, трудъ принимать надобно: по степи ходить, нужду терпѣть—развѣ не трудъ? Лучше дома сидѣть да трудиться безъ нужды, и за трудъ деньги брать». За свое доброжелательство къ Москвѣ онъ не оставался въ накладе и постоянно получаль изъ Москвы подарки за то, чтобы удерживать татаръ отъ разбоевъ.

Головы казенныхъ воткнуты были на спицахъ, поставленныхъ на стѣнахъ, окружавшихъ бакчисарайскій дворецъ. Кудеяру, казалось, нечего было болѣе дѣлать въ Крыму. Онъ обратился къ визирю, съ просьбою доложить хану объ его отпускѣ. Приближенные хана совѣтовали подѣ разными благовидными предлогами попрiderжать Кудеяра, пока не выяснится, какъ поставить себя московскій государь въ отношеніи Крыма, иначе Кудеяръ можетъ рассказать о крымскихъ дѣлахъ то, чего заранѣе знать въ Москвѣ не должны. Ханъ велѣль сказать Кудеяру, что онъ съѣздитъ съ нимъ на охоту, а потомъ уже отпустить.

Между тѣмъ Кудеяру въ первый разъ дозволили видѣться съ Нагимъ, который въ то время былъ подъ почетнымъ карауломъ для того, чтобы не могъ извѣстить царя о замыслахъ сдѣлать набѣгъ на московскія земли.

Нагой принялъ Кудеяра холодно, почти недружелюбно. Онъ, видимо, не хотѣлъ вдаваться съ нимъ въ разговоры. Когда Кудеяръ напомнилъ ему, что онъ два раза просилъ его, будучи въ неволѣ, о выкупѣ, а надъ нимъ не смиловались, Нагой сказалъ:

— Я во всемъ поступаю по указу царскаго величества, великаго государя.

Кудеяръ напомнилъ о своей челобитной, о письмахъ къ Адашеву, Сильвестру, Курбскому. Нагой сказалъ ему:

— Чтѣ ты писалъ къ нимъ, того тебѣ дѣлать не годилось, для того, что тѣ люди объявились царю-государю въ противности и были подъ царскою опалою, а Курбскій царю измѣнилъ и убѣжалъ къ недругу царскому, литовскому и польскому королю, и нынѣ съ его ратами воюють города его царскаго величества. Самъ можешь разсудить, какого добра и заступленія ожидать было тебѣ отъ такихъ людей.

— Я тому былъ неизвѣстенъ, — сказалъ Кудеяръ. — Когда я былъ въ Москвѣ, они были въ приближеніи у государя. А нынѣ челомъ бью твоей милости: заступись предъ государемъ, пошли челобитную мою его величеству, чтобы дозволилъ мнѣ государь воротиться и служить ему вѣрою и правдою, а я, какъ государь царь меня пожалуетъ, велитъ къ себѣ вернуться, ударю тебѣ челомъ изъ того, чѣмъ ханъ пожалуетъ при отъѣздѣ.

Это обѣщаніе разъяснило чело Нагого, который, по московскому обычаю, не любилъ приходившихъ къ нему съ пустыми руками.

— То ты дѣлаешь гораздо, — сказалъ Нагой, — что прежде хочешь послать челобитную; а въ ней пропиши, что ты письма писалъ къ царскимъ измѣнникамъ своимъ невѣдѣніемъ, а то — неровенъ часъ! Многія измѣны и шатости объявились у насъ въ государствѣ, и того ради нашъ праведный государь сталъ грозенъ. Ты же, молодецъ, открылъ ханскихъ лиходѣевъ, а лиходѣи учили говорить бездѣлишныя, непригожія рѣчи про государя нашего, и съ того ханъ и его татарове думаютъ идти на города его величества.

— То не моя вина, — сказалъ Кудеяръ, — я былъ въ тяжелой неволѣ, а Богъ мнѣ послалъ случай освободиться. Мнѣ ханъ не свой государь, тѣмъ паче, что онъ бусурманъ; мнѣ лишь бы какимъ способомъ изъ неволи выдти. И теперь я живу у бусур-

мана, хоть и въ довольствѣ, а все сдается въ неволѣ. О томъ днею и ношно думаю, какъ бы вернуться въ христіанскую землю и служить своему великому государю. Помню его великое ко мнѣ жалованье и милость.

— Хорошо будетъ, — сказали Нагой, — коли мы съ тобой пошлемъ царю челобитную; не знаю только, какъ послать: татары меня стали держать какъ бы за-сторожи. Боятся, чтобъ я не извѣстилъ государя объ ихъ умыслахъ, что хотятъ государеву землю воевать. Проси хана, чтобъ дозволилъ тебѣ отправить челобитную къ царю-государю.

Кудеарь чрезъ ханскаго визиря просилъ хана дозволить послать царю челобитную, а его извѣстили, что ханъ приглашаетъ его къ своему столу.

За столомъ у хана въ этотъ разъ обѣдало нѣсколько мурзъ, какъ будто нарочно подобранныхъ изъ ненавистниковъ Москвы. Самъ ханъ началъ рѣчь о двоедущіи москвитиновъ и прямо сталъ укорять царя въ подущеніи лиходѣевъ на его жизнь. Мурзы подхватили ханскія слова и разводили ихъ еще болѣе укорами на счетъ московскаго государя. Кудеарь слушалъ все терпѣливо, наконецъ сказалъ:

— Свѣтлѣйшій ханъ, не изволь склонять своего высокаго слуха къ клеветамъ злодѣевъ, думавшихъ спасти свою преступную жизнь, для того-то они и лгали на нашего государя.

— Да, рассказывай, — сказали одинъ мурза, — всѣ вы за-одно, васъ сколько ни корми, вы все въ лѣсъ смотрите.

— Ничего бы я такъ не желалъ, — сказалъ Кудеарь, — какъ бы только промежъ моего государя и свѣтлѣйшаго хана учинилась твердая любовь и братская дружба.

— Хороша ваша дружба! — сказалъ брюзгливый мурза. — Давно ли твой государь собралъ на насъ рать, хотѣлъ весь Крымъ завоевать, ты самъ тогда ходилъ на насъ съ царскою ратью и бить насъ хотѣлъ, да тебѣ не посчастливилось, попался ты въ плѣнъ; теперь, какъ ты у насъ въ рукахъ, ты и говоришь то, что намъ пріятно, а только выпустишь тебя отсюда, такъ опять на насъ пойдешь воевать.

— Я не въ плѣну, — сказалъ Кудеарь, — меня освободилъ изъ неволи свѣтлѣйшій ханъ, твой повелитель, и коли его ханской милости угодно даровать мнѣ такую честь, что за столъ съ собой посадить, то какъ же можешь ты упрекать меня полономъ и неволею? Я чужой вамъ человѣкъ, но мнѣ Богъ далъ такую благодать, что я послужилъ его ханской милости паче вашихъ людей татаръ. Это случилось такъ по волѣ божіей, что я, чужой

человѣкъ, оборонилъ вашего государя отъ его же холоповъ измѣнниковъ, а вы его не оборонили. А нынѣ вы меня же упрекаете неволю!

— Кудеяръ, — сказалъ ханъ, — я полюбилъ тебя; ты правдивъ и мудръ, какъ можетъ быть только правовѣрный. Ты мнѣ спасъ жизнь, и если я тебя отпущу къ твоему государю, который не хочетъ быть мнѣ другомъ, ты поневолѣ станешь мнѣ недругомъ. Этого я не хочу. Останься у меня. Прими нашу правую вѣру; ты будешь изъ первыхъ людей въ моемъ царствѣ.

— Не гнѣвайся, великій ханъ, — сказалъ Кудеяръ, — я своей вѣры не переѣмлю и у тебя не останусь. Я простъ человѣкъ и неучень. Пусть люди мудрые и знающіе говорятъ книгами о вѣрѣ, а я такъ думаю, что въ какой вѣрѣ кто родился, въ такой значить Богу угодно, чтобъ онъ пребывалъ. Господь Богъ одинъ надъ вами и надъ нами. Какому государю далъ присягу служить, такъ и служи и безъ крайности не отходи. Я не уподоблюсь тѣмъ измѣнникамъ, отъ которыхъ спасъ тебя. Есть въ Москвѣ не мало такихъ, что отъ страха, либо изъ лакомства, бывши вашей вѣры да приняли нашу... Что-жъ, развѣ это хорошо? Не хочу быть на нихъ похожимъ.

— А ты думаешь, — сказалъ ханъ, — твой государь пожалуетъ тебя за то, что ты мнѣ спасъ жизнь? Нѣтъ. Ему то будетъ въ досаду.

— Мой государь, — сказалъ Кудеяръ, — праведенъ и милосердъ; онъ наградить меня за это. А хотя бы по какому-нибудь лукавому совѣту и не такъ стало, такъ лучше мнѣ отъ своего законнаго государя потерпѣть, чѣмъ измѣнить своей вѣрѣ. Еслибъ я не вѣренъ былъ Богу и государю своему, то какъ бы ты могъ мнѣ вѣрить.

— Счастливъ твой государь, — сказалъ ханъ, — что у него такіе слуги. Ты просилъ дозволенія послать челобитную къ своему государю. У насъ положено, до обсылки съ московскимъ, не дозволить никому посылать людей въ Москву, но я тебѣ не могу ничего отказать: ты мнѣ спасъ животъ и царство. Пиши челобитную. Позволю послать гонца.

— Храни тебя, Господи, — сказалъ Кудеяръ, — на многія лѣта! Боже, утверди миръ промежъ свѣтлѣйшаго хана и великаго московскаго царя-государя!

Челобитная была написана подъячимъ и послана съ гонцомъ, котораго отправилъ Нагой. Татары въ предостереженіе осматривали, не везетъ ли гонецъ иной грамоты отъ Нагого, но грамоты не оказалось; татары, однако, не рассчитали того, что гонецъ

везъ у себя въ памяти то, чего они искали на бумагѣ. Посылка этого гонца была необыкновенно встати. Набѣгъ, предпринятый мурзами, не удался, потому что русскій гонецъ успѣлъ прискакать въ Болховъ и дать знать, что татары идутъ степью... Воеводы успѣли стануть свои силы и отбили татаръ.

Между тѣмъ, съ наступленіемъ осени ханъ отправился на охоту въ горы. Кудеаръ былъ съ нимъ неразлученъ и ѣхалъ на превосходномъ конѣ, пожалованномъ ему ханомъ. Охотились болѣе всего за дикими козами, которыхъ было очень много въ крымскихъ горахъ. Дѣлали ставки, разбивали патры и пребывали въ разныхъ мѣстахъ по нѣскольку дней. Девлетъ-Гирей, подвигаясь все далѣе и далѣе къ югу, дошелъ до моря и, ставши на утесъ, пришелъ въ такой восторгъ, что тутъ же сталъ декламировать о морѣ, скалахъ, о величіи Аллаха, отражающемся во всемъ твореніи. Мурзы поднимали руки и глаза къ небу, какъ бы проникаясь восхищеніемъ отъ вдохновенной рѣчи ихъ повелителя, Девлетъ-Гирея.

По возвращеніи въ Багчисарай ханъ получилъ отвѣтъ отъ московскаго государя. Иванъ Васильевичъ наотрѣвъ отказывалъ дать Казань сыну крымскаго хана, замѣчая, что тамъ уже вмѣсто мечетей христіанскія церкви; общалъ поминки, но съ тѣмъ, если татары не будутъ воевать земель московскаго государства; жаловался на послѣдній набѣгъ, сдѣланный татарами на окрестности Болхова. Московскій государь не заперался, что бѣглый мурза Акмамбетъ находится у него, но извѣщалъ, что онъ принялъ христіанскую вѣру и его выдать нельзя. Московскій государь, узнавши, что татары отбиты отъ Болхова, говорилъ съ ханомъ смѣлѣе; а ханъ, съ своей стороны, получивши свѣдѣніе, что татары не только не принесли никакой добычи изъ московской земли, но воротились въ безпорядкѣ — принялся опять за прежній способъ: показывать московскому государю дружбу и по возможности обирать его. Теперь ханъ увѣрялъ, что нападеніе на Болховъ сдѣлано своевольными татарами противъ его воли и желанія, и уже не требовалъ выдачи Акмамбета. Царь московскій отвѣчалъ, что желаетъ пребывать въ братской любви съ ханомъ, и общалъ прислать подарки весною.

На челобитную Кудеяра отвѣта не было. По прошествіи зимы пріѣзжалъ къ Девлетъ-Гирею московскій посолъ съ поминками, а о Кудеарѣ въ царской грамотѣ не упоминалось, и послу никакого объ немъ наказа дано не было. Кудеаръ обратился къ хану и просилъ заступиться предъ царемъ. Ханъ написалъ царю

Ивану письмо, изложилъ въ немъ всю исторію своего спасенія, расхваливалъ Кудеяра, извѣщалъ, что Кудеяръ не желаетъ никакихъ милостей отъ хана, а проситъ только дозволенія воротиться въ московское государство и служить царю; присовокуплялъ при этомъ, что завидуетъ своему брату, у котораго такіе вѣрные и преданные слуги.

На это письмо послѣдовалъ отвѣтъ уже осенью. Царь Иванъ, изъ любви къ своему брату Девлетъ-Гирею, позволялъ Юрію Кудеяру съ наступленіемъ будущей весны пріѣхать въ Москву и служить по царскому усмотрѣнію.

Наступила весна 1568 года. Ханъ призвалъ къ себѣ Кудеяра и сказалъ:

— Ты сдѣлалъ намъ такую важную услугу, что мы поступили бы противно нашему закону, еслибъ не учинили всего, что можемъ учинить добраго для спасителя нашего живота. Наши гонцы, ѣздившіе въ Москву, привезли намъ вѣрныя вѣсти, что московскій государь сталъ лють, золь и вровожадентъ, рубить головы, вѣшаетъ, топить и мучить слугъ своихъ неизреченными муками. Онъ сдѣлался подобенъ разъяренному тигру. Мнѣ жаль тебя, Кудеяръ, если ты поѣдешь къ такому свирѣпому государю. Послѣдній разъ простираю къ уму твоему дружелюбное слово увѣщанія. Останься у насъ, мы не будемъ неволить тебя въ нашей вѣрѣ. Самъ знаешь: въ нашемъ юртѣ живутъ въ довольствіи христіане. Мы дадимъ тебѣ помѣстье, позволимъ тамъ построить церковь, держать священника по своей вѣрѣ; мы дадимъ тебѣ льготу отъ всякихъ нашихъ даней, ты не будешь подъ вѣдѣніемъ нашего татъ-агасы, вѣдающаго всѣхъ нашихъ татовъ, подданныхъ христіанскаго закона: знай только нашу особу и больше никого не знай, и такъ будетъ не только тебѣ, но и всѣмъ потомкамъ твоимъ до тѣхъ поръ, пока царствовать будетъ надъ крымскимъ юртомъ родъ Гиреевъ. Если же тебѣ ни за что не хочется оставаться въ нашей землѣ, не ѣзди въ московскую землю, а поѣзжай въ литовскую; ты говорилъ намъ, что ты казаеъ изъ Украины, а не москвитинъ; тамъ, коли хочешь, живи, а до нашего Крыма тебѣ всегда путь чистъ.

— Челомъ бью тебѣ, свѣтлѣйшій ханъ, — сказалъ Кудеяръ, — но у меня жена въ московскомъ государствѣ.

— Быть можетъ, — сказалъ ханъ, — твою жену достать можно; у меня довольно московскаго полона, я весь выпущу за одну жену твою.

— Коли ты изволишь говорить, свѣтлѣйшій ханъ, — сказалъ Кудеарь, — что мой царь-государь сталъ грозенъ и немилостивъ, то какъ мнѣ отважиться на противность ему, чтобъ, побивши челомъ о службѣ, да остаться у тебя и не поѣхать на службу послѣ того, какъ онъ изволилъ меня допустить по моему челобитью. Онъ тогда надъ моей женой лихое учинить. Нѣтъ, свѣтлѣйшій ханъ, мой благодѣтель, объ одномъ только прошу твою милость: отпусти меня къ Москвѣ. Я не думаю, чтобъ все то была правда, что про моего государя слышали твои гонцы; коли онъ грозенъ и жестокъ для своихъ сопостатовъ и лиходѣевъ, такъ и вездѣ такихъ не терпятъ. И ты, свѣтлѣйшій ханъ, достойно наказалъ своихъ злодѣевъ.

— Какъ хочешь, такъ и поступай, — сказалъ ханъ, — твоя воля надъ собою. Но если тебѣ худо покажется въ московской землѣ — бѣги къ намъ. Тебѣ здѣсь будетъ безопасность и честь. Пока я живъ, Кудеару въ Крыму будетъ такъ хорошо, какъ нигдѣ въ свѣтѣ, а когда я закрою глаза — дѣти мои будутъ покровителями тебѣ и твоимъ дѣтямъ и твоему потомству. Вотъ мой старшій сынъ и наслѣдникъ, царевичъ Газы-Гирей.

Ханъ обратился къ сидѣвшему близъ него царевичу.

— Слышишь, мой старшій сынъ, — сказалъ ханъ, — таково мое великое родительское и прародительское слово тебѣ и твоимъ дѣтямъ, внукамъ и правнукамъ: не забывайте, что этотъ человѣкъ спасъ жизнь мою, будьте къ нему и къ потомкамъ его милостивы и щедры; если дѣти, и внуки, и правнуки его придутъ къ вамъ просить пріюта, не отгоните ихъ отъ себя, пріютите ихъ, наградите, успокойте; таковъ завѣтъ мой. Доколѣ потомство Гиреевъ будетъ сидѣть на престолѣ крымскаго юрта, потомство Кудеара всегда пусть найдетъ здѣсь хлѣбъ, покой и безопасность. Таково мое желаніе, паче всякаго иного желанія.

Ханъ подарилъ Кудеару превосходнаго коня, трехъ крѣпкихъ вьючныхъ лошадей, далъ ему мѣшокъ денегъ, въ которомъ на татарскій счетъ было двадцать тысячъ козлуковъ (тогдашнихъ русскихъ 10,000 руб.), большой чемоданъ платья, мѣшокъ съ золотыми и серебряными вещами, великолѣпно снаряженную саблю, кожанъ стрѣлъ, лукъ, обложенный перламутромъ и ружье.

Кудеарь, по обѣщанію, поднесъ Аеанасію Нагому нѣсколько одеждъ и дорогихъ вещей. Вмѣстѣ съ нимъ поѣхалъ отправленный въ Москву ханскій посолъ Ямболдуй-мурза, которому приказано было пребывать въ Москвѣ постоянно, какъ московскій

посолье Аеанасій Нагой пребывалъ въ Бакчисараѣ: это было знакомъ добраго согласія между московскимъ царемъ и крымскимъ. При посольѣ было посольскихъ людей татаръ до пятидесяти человекъ. Они не брали повозокъ; всѣ пожитки, предназначенные для царя, какъ равно и свои пожитки везли на множествѣ вьючныхъ лошадей. Длинная дорога по безлюдной степи требовала многихъ запасовъ и хозяйственныхъ орудій. На вьючныхъ лошадяхъ везли искусно свернутыя палатки, ковры, кухонную и столовую утварь, сухари, вяленую рыбу, мясо, сушеные плоды, сыръ, пшено, соль, пряности — и гнали барановъ, которыхъ назначали рѣзать въ дорогѣ для прокормленія.

---

## III.

## Возвращеніе.

Главная дорога изъ Крыма въ московское государство шла тогда по такъ-называемому муравскому шляху, на который выѣзжали изъ Крыма двумя путями: черезъ Перекопъ и черезъ Арабатъ. Муравскій шляхъ шелъ вдоль Молочныхъ-Водъ, потомъ поворачивался вправо къ верховью р. Конки, далѣе шелъ къ верховью Волчьихъ-Водъ, вдоль р. Быка, къ верховью Самары, поворачивалъ влѣво по Самарѣ до р. Орели, и потомъ шелъ вдоль этой рѣки до ея верховьевъ. Все это было собственно земля ногайская, безлѣсная вплоть до самой Самары; только за Самарою начинались рощи, и чѣмъ далѣе къ сѣверу—край становился лѣсистѣе. На степномъ безлѣсномъ пространствѣ путникъ не встрѣчалъ ни города, ни селенія, ни даже хаты, а между тѣмъ край былъ вовсе не безлюдный. Здѣсь, по степи, изобильной солончаками, перемѣшанными съ богатыми пастбищами, сновали многочисленныя кочевья ногаевъ; тамъ-и-сямъ появлялись и исчезали огромныя купы кибитокъ, сдѣланныхъ изъ тростника и покрытыхъ кожами и рогожами; около нихъ паслись стада воловъ, овецъ и преимущественно конскіе табуны. Ногаи представляли въ своемъ быту не только отличія, но отчасти даже противоположность съ бытомъ крымцевъ; у крымцевъ кочевые дикіе нравы все болѣе и болѣе уступали мѣсто признакамъ осѣдлаго быта. Крымцы заимствовали культуру Востока; напротивъ, ногаи оставались въ первобытномъ видѣ, не сѣяли хлѣба, не заводили садовъ и огородовъ, не строили домовъ, не занимались ремеслами, всегда на коняхъ, всегда въ одной и той же овчинѣ съ тою разницею, что лѣтомъ одѣвали ее шерстью вверхъ, а зимою шерстью къ тѣлу, равнодушные къ холоду и зною, не терпѣли они никакого труда, ни тѣлеснаго, ни умственнаго; жены ихъ не умѣли ни пряхъ, ни ткать; и если у нихъ являлись какиенибудь предметы житейскихъ удобствъ, то все это было награблено у русскихъ. Набѣги и грабежи знакомили ихъ съ этими предметами, но не подвигали къ лучшей жизни. Ногаи принимали свои набѣги не столько изъ корысти, сколько оттого, что иного ничего не умѣли дѣлать, и не знали чѣмъ пополнить жизнь, неудовлетворяемую лежаніемъ на степи и пожираніемъ ягнятъ и

жеребятъ. Ногаи уводили изъ Руси множество плѣнниковъ, но отъ этого получали пользу больше крымцы, перекупавшіе у ногаевъ за безцѣнокъ ихъ добычу. При своихъ воинственныхъ успѣхахъ, ногаи часто были въ крайней нуждѣ; они богаты были только стадами, но не знали, какъ съ ними обращаться: скотскіе и конскіе падежи были обычнымъ явленіемъ въ ихъ степяхъ, и послѣ такихъ падежей обыкновенно наступалъ моръ на самихъ ногаевъ, лишенныхъ средствъ пропитанія. Нерѣдко случалось, что во время жестокой зимы ногаи во множествѣ пропадали отъ стужи: у нихъ не было топлива, кромѣ сухого бурьяна и тростника; ногаи ненавидѣли лѣсъ, и гдѣ начинались лѣса, тамъ уже не было ногайскихъ жилищъ.

Пока нашъ Кудеяръ проѣзжалъ по ногайской землѣ, ему была возможность доставать барановъ и жеребятъ; за Самарою страна дѣлалась безлюдною. Путешественники дѣлали продолжительные отдыхи для корма лошадей; и тогда они стрѣляли стрепетовъ, тетеревовъ и драхвъ, которыхъ было чрезвычайное множество: для этого употреблялись стрѣлы; ручное огнестрѣльное оружіе того времени больше годилось для войны, чѣмъ для охоты.

У верховьевъ Орели Кудеяръ встрѣтилъ купеческій караванъ, состоявшій изъ множества вьючныхъ лошадей и двухколесныхъ возовъ. Съ караваномъ былъ царскій гонецъ; провожали его вооруженные стрѣльцы. Купцы были по преимуществу кафинскіе армяне: они везли изъ московскаго государства рогожи, покупаемыя у нихъ ногаями для покрывши кибитокъ, разные мѣха, муку, конопляное масло, воскъ, а также въ небольшомъ еще количествѣ издѣлія европейской промышленности, купленной у англичанъ въ Москвѣ. Но у нихъ, кромѣ того, былъ живой товаръ—невольники, военно-плѣнные нѣмцы и чухна, взятые русскими на войнѣ въ Ливоніи и проданные крымскимъ купцамъ; они шли соединенные длинною цѣпью, которая обвязывалась вокругъ шеи каждого; съ ними были и природные русскіе—кабальные люди, проданные своими господами: хотя это закономъ не дозволялось, но постоянно дѣлалось. Муравскій шляхъ не считался тогда безопаснымъ и удобнымъ путемъ для торговли: торговля Москвы съ Востокомъ удобнѣ велась черезъ Москву и Кіевъ, но во время частыхъ войнъ между Москвою и Литвою купцы поневолѣ должны были избирать другой путь. Кромѣ того, въ Литвѣ имъ приходилось платить большія пошліны за товары, и для избѣжанія лишнихъ затратъ купцы возили свои

товары по муравскому шляху. На этомъ пути ихъ могли грабить и русскіе удалцы, и ногаи; но жадность къ приобрѣтенію заставляла ихъ забывать объ опасности. На этотъ разъ купцы особенно смѣло пустились по опасному пути, потому что съ ними ѣхалъ гонецъ, а гонца провожали стрѣльцы. Сами купцы были вооружены и каждую минуту готовились защищать жизнь и достояніе. Кудеарь, повидавшись съ царскимъ гонцомъ и купцами, узналъ, что на южныхъ предѣлахъ московскаго государства развелись разбойничьи шайки и на самый караванъ сдѣлано было нападеніе.

Кудеарь, попрощавшись съ караваномъ, двинулся на сѣверъ со своими товарищами, а караванъ слѣдовалъ на югъ; вопли и стоны живого товара неслись въ воздухъ вмѣстѣ со скрипомъ одноволокъ, напряженныхъ волами, и жалобнымъ крикомъ степныхъ чаекъ.

Отъ верховьевъ Орели Кудеарь ѣхалъ извилинами промежъ верховьевъ разныхъ рѣкъ, впадавшихъ съ одной стороны въ днѣпровскую, съ другой въ донскую систему. Такимъ образомъ, онъ слѣдовалъ по правой сторонѣ р. Уды, на лѣвой минулъ Ворсклу и Псѣль, и достигъ вершины Донца. На этомъ пространствѣ лѣса перемеживались съ открытыми полями, растительность была въ полномъ блескѣ; кормъ для лошадей роскошный, звѣрей было такое множество, что лисицы и зайцы безпрестанно перебѣгали путь, а волки и медвѣди не давали путникамъ спокойно спать; они каждую минуту должны были быть готовы, по крику караульныхъ, схватиться за оружіе и вступить въ борьбу со звѣрьемъ за пасущихся лошадей и за себя самихъ. Далѣе открылось ровное поле верстъ на пятьдесятъ, чрезвычайно плодородное и нѣкогда пахатное, но давно уже покинутое по причинѣ опустѣнія края. Путники подъѣхали къ огромному кургану, который носилъ названіе Думчаго; здѣсь увидали они спутанныхъ лошадей, курени, дымъ отъ костровъ и толпу людей: то были царскіе станичники, отправленные изъ Рыльска для наблюденія за татарскими набѣгами. Увидя татаръ, провожавшихъ Кудеяра, они вскочили съ мѣста, схватились за самопалы и готовились недружелюбно встрѣчать гостей, но Кудеарь закричалъ имъ: «здравствуйте, земляки-товарищи; не татары набѣгомъ идутъ, невольникъ, бывший его царскаго величества служилый человекъ, ворочается изъ неволи бусурманской въ край крещенный».

Дѣти боярскіе, начальствовавшіе отрядомъ, собраннымъ изъ севрюковъ (поселенцевъ сѣверской Украины), приказали своимъ

подначальнымъ оставить оружіе. Кудеяръ сошелъ съ коня и началъ лобызаться со всѣми, какъ будто съ давними знакомыми, хотя никого изъ нихъ не видалъ прежде. Станичники, съ своей стороны, были очень рады, встрѣтивъ въ пустынь освобожденнаго изъ неволи русскаго человѣка. Кудеяръ разсказать имъ свои приключенія, снялъ съ одной изъ своихъ вьючныхъ лошадей баклагу съ водкой и началъ поить своихъ земляковъ. Тутъ Кудеяру стало разъясняться то, что еще въ Крыму доходило до него какъ-бы въ туманѣ. Станичники разсказали ему, что на Руси все перемѣнилось съ тѣхъ поръ, какъ Кудеяръ оставилъ русскую землю. Люди, бывшіе тогда у царя въ приближеніи, казнены или изгнаны; царь раздѣлилъ свое государство на опричнину и земщину: опричнину держать въ милости, а земщину въ опалѣ; многихъ бояръ, думныхъ людей и дворянъ показнилъ государь лютыми казнями и семьи ихъ истребилъ, и даже на крестьянъ и на людей ихъ положилъ свой лютый гнѣвъ; многія села разорены и сожжены по его царскому повелѣнію, а люди и крестьяне отъ разоренія пошли въ разбой; и теперь около Москвы, говорятъ, проѣзду нѣтъ, а иные бѣгутъ сюда въ украинныя земли и проживаютъ воровски въ лѣсахъ, обгородясь острогами, пахутъ на себя хлѣбъ, заводятъ дворы и пасѣки, даней никакихъ не платятъ, работъ не дѣлаютъ и царскимъ намѣстникамъ подъ судъ не идутъ.

Попрощался Кудеяръ со станичниками и поѣхалъ своимъ путемъ. Вѣсти, слышанныя имъ, сильно смутили его, и стали ему входить въ голову инныя думы. «Если такъ», говорилъ онъ самъ себѣ, «то какого праха буду я служить московскому государю, что я, москвитинъ, что ли? Развѣ батька нашъ, Вишневецкій, не покинулъ московскаго царя, когда ему у него не по праву пришлось? А мнѣ-то что? Развѣ мнѣ помѣстье царское нужно? пропадай оно прахомъ! Правду говорилъ Девлетъ-Гирей. У крымскаго я ни за что не остался бы, хоть онъ меня золотомъ обсыпъ, но какъ тутъ дѣлать! Настю надобно выволить: поѣду въ помѣстье, коли она тамъ, возьму ее и удеру съ нею на Украину. Денегъ ханскихъ хватитъ на нашъ вѣтъ!»

Такъ разсуждалъ Кудеяръ. Слѣдуя по своему пути, онъ вѣхалъ въ Пузацкій лѣсъ, обширный и густой лѣсъ, преимущественно дубовый. Орлы кружились надъ ихъ головами, вспокошенные человѣческимъ присутствіемъ. Звѣриный вой доносился до ушей путниковъ со всѣхъ сторонъ. Миновали они верховья Сеймы, Оскола, вѣхали снова въ поле и достигли р. Тима. Му-

равскій шляхъ шелъ вдоль этой рѣки, то приближаясь къ ней, то отдаляясь отъ нея параллельно къ рѣкѣ Щенѣ. Такъ, наконецъ, Кудеарь съ товарищами добрался до р. Быстрой-Сосны. На томъ мѣстѣ, гдѣ черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ того построень былъ городъ Ливны, Кудеарь увидѣлъ большую станицу; вмѣсто куреней поставлены были избы, а необходимость защиты заставила станичниковъ обрыть все строеніе ровомъ и обсадить частоколомъ. Отсюда станичники посылали развѣдныхъ провѣдывать про татарскіе загоны и про русскихъ воровскихъ людей.

Кудеарь, повидавшись со станичниками, узналъ отъ нихъ еще подробнѣе о томъ, что дѣлается въ московскомъ государствѣ и послѣ новыхъ свѣдѣній рѣшился во что бы то ни стало взять свою Настю и уйти въ Украину. Предполагая, что она въ помѣстьѣ, Кудеарь отпустилъ ѣхавшаго съ нимъ крымскаго посла, вмѣстѣ съ татарами, по прямой дорогѣ въ Москву, а самъ договорилъ одного изъ станичниковъ проводить его до Бѣлева.

— Какъ-то мы прїѣдемъ къ Бѣлеву?—говорилъ станичникъ дорогою.—Подъ Бѣлевымъ шайка разбойниковъ завелась. Намѣстникъ Постниковъ посылалъ высылку ловить ихъ, да у воеводъ людей немного, дѣтей боярскихъ не соберешь; мало ихъ въ уѣздѣ: кто на Москвѣ въ опричнинѣ у государя, а кого посылалъ царь войною на нѣмцевъ. Атаманъ у разбойниковъ—Окулка Семеновъ, изъ бѣлевскихъ дѣтей боярскихъ, что государь велѣлъ вывести его изъ Бѣлева, а онъ, Окулка, учинился государю силенъ, да набралъ себѣ ватагу изъ людей и крестьянъ опальныхъ, да изъ всякихъ бѣглыхъ; а къ нему присталъ другой атаманъ, нововрещенъ Урманъ, а крещеное имя ему Иванъ, тожъ изъ дѣтей боярскихъ бѣлевскихъ, а тотъ Урманъ, говорятъ, не простъ человекъ, вѣдовскія слова знаетъ.

Имена Окула и Умана поразили Кудеара: перваго онъ зналъ мало, но вспомнилъ, что такъ называли одного изъ боярскихъ дѣтей, которыхъ онъ привелъ на Пселъ къ Данилу Адашеву; а второй былъ, по его соображенію, не кто иной, какъ тотъ самый крещеный татаринъ, который плавалъ съ нимъ по Дѣбюру къ Исламъ-Керменю и совѣтовалъ воротиться, не довѣряясь рѣчамъ Азанасія Ивановича. «Они узнаютъ меня», думалъ Кудеарь, «и едва ли станутъ трогать, а если не такъ, то вѣдь сила у меня не пропала».

Волнуемый и страхомъ, и надеждою, Кудеарь гналъ своихъ лошадей, давалъ имъ мало времени на кормъ. Уже не далеко оставалось до Бѣлева. Кудеарь помышлялъ миновать его и прямо

ѣхать на свое помѣстье. Между тѣмъ, солнце было на закатѣ, путники доѣзжали до опушки лѣса.

— Намъ,—сказалъ провожатый,—лучше бы проѣхать лѣсъ засвѣтло, а то тутъ разбойники держатъ притонъ.

На опушкѣ лѣса стояла изба со дворомъ. Выѣшденный шесть съ коломъ сѣна показывалъ постоянный дворъ: тутъ большая болховская дорога, ведущая къ литовской границѣ, сходилась съ новосильскою, по которой, миновавши Новосиль, ѣхалъ Кудеяръ. Лошади были сильно притомлены. Кудеяръ въѣхалъ на постоянный дворъ.

Вошедши въ избу и помолившись, какъ слѣдовало, образамъ, Кудеяръ обвелъ глазами внутренность избы и увидѣлъ коренастаго хозяина, съ дулавыми, не смотрящими прямо глазами, и приземистую, худощавую хозяйку, а въ углу, подъ образами, онъ увидѣлъ двухъ людей, одѣтыхъ въ одинаковыя черныя однорядки: одинъ изъ нихъ былъ рыжій, высокій, длиннолицый, съ большою бородой; другой—приземистый, смуглый, плотно стриженный, съ четвероугольнымъ обликомъ лица, узкими глазами и ключевой бородой. Кудеяръ въ послѣднемъ узналъ Урмана.

И Урманъ сразу узналъ Кудеяра. Оба смотрѣли нѣсколько минутъ другъ на друга съ вопрошающимъ выраженіемъ лица.

Наконецъ, Кудеяръ обратился къ Урману по-татарски. Урманъ тоже отвѣтилъ по-татарски.

Вслѣдъ затѣмъ Урманъ сказалъ своему товарищу по-русски:—это нашъ давній добрый пріятель. Если помнишь, тотъ, что былъ надъ нами головою, когда мы ходили съ Адашевымъ на Днѣпръ. Тогда его турки взяли обманомъ. Теперь, какъ видишь, онъ на волѣ.

Окулъ недовѣрчиво посмотрѣлъ на Кудеяра. Кудеяръ разговаривалъ съ Урманомъ по-русски, сталъ ему рассказывать свою судьбу. Окулъ слушалъ со вниманіемъ, но все еще посматривалъ на Кудеяра искоса.

Разбойники нарочно пріѣзжали къ хозяину постоянного двора, чтобы высмотрѣть кто будетъ проѣзжать: они не нападали на проѣзжихъ на постояломъ дворѣ, а поговоривши съ ними, показывали видъ, будто они также проѣзжіе, расплачивались съ хозяиномъ, уѣзжали заранѣе, а потомъ стерегли свою добычу въ лѣсу. Хозяинъ поневолѣ потакалъ имъ изъ боязни, что если онъ станетъ имъ перечить, то они сожгутъ его домъ или убьютъ его самого.

Рассказавши въ общихъ чертахъ свою судьбу Урману, Кудеяръ добавилъ, что ѣдетъ въ помѣстье за женой.

— Не пытайся, напрасно, товарищъ, — сказалъ Урманъ, — меня прежде разспроси; твоей жены нѣтъ тамъ, и помѣстье не у нея, да и не у тебя.

— Гдѣ же она? — жива ли? — воскликнулъ Кудеарь.

— Можетъ, и жива, — сказалъ Урманъ: — слушай, какъ тебя взыли турки, мы воротились домой по царскому наказу. Я первый привезъ женѣ твоей горькую вѣсть про тебя. Я далъ ей совѣтъ: «поѣзжай въ Москву просить царицу. Пусть бы государь приказалъ списаться съ турецкимъ государемъ, чтобъ твоего мужа выписать изъ неволи». Она поѣхала. А царица заболѣла, а потомъ и умерла. Твоя жена ходила, и къ тому, и къ другому; ей все общали, а ничего не сдѣлали. Она поѣхала въ помѣстье, живетъ бѣдняжка да ждетъ. Годъ ждетъ, другой ждетъ; опять поѣхала въ Москву, стала просить то того, то другого. Ей опять общали. «Ступай, говорятъ, въ свое помѣстье и живи тамъ, а мужъ къ тебѣ пріѣдетъ». Вотъ она ждетъ годъ, другой, третій, тебя нѣтъ... А тутъ вышла отъ царя опричнина; стали у помѣщиковъ помѣстья отбирать и другимъ давать. Будетъ тому безъ малаго года два: взыли твою жену и увезли въ Москву, говорятъ, отправили куда-то въ монастырь жить, пока ты вернешься, а въ какой монастырь, того мы не вѣдаемъ... а твое помѣстье дали какому-то новокрещеному татарину.

— И ты говоришь правду? — сказалъ Кудеарь.

— Богъ убей меня на этомъ мѣстѣ... Съ чего мнѣ выдумывать. Ты давно у насъ не былъ, такъ и не знаешь, что тутъ дѣлается. Ты говорилъ про себя, а я теперь про себя скажу. Я не московскаго роду человекъ, слыхалъ ты, можетъ быть, былъ на Казани царемъ Шигъ-Алей: вѣрный онъ былъ человекъ московскимъ государямъ; мой отецъ у него жилъ и умеръ близъ него, а меня сиротой оставилъ. Взыли меня русскіе люди, крестили и воспитали, а царь пожаловалъ меня помѣстьемъ. Чѣмъ не хорошо! Я женился на русской, жилъ съ царскаго жалованья и вѣрно служилъ его царскому величеству; вдругъ ни съ того, ни съ сего, ни за что, ни про что отняли у меня помѣстье и велѣли съ другими идти на выводъ въ нѣмецкую новозавоеванную землю; все у насъ хозяйство пропало, а намъ и на дорогу-то не дали припасовъ, хоть голодомъ умирай; а такъ-таки женишку свою съ дочушкой покинуть, оттого что кормить было нечѣмъ, и теперь не знаю, гдѣ они: говорятъ, къ кому-то въ кабалу пошли. И наши бѣлевскіе, дѣти боярскіе, что ихъ погнали въ нѣмецкую землю, свои семьи покинули, а иные и сами на

дорогѣ померли; а которые живы остались, всѣ до одного бѣжали и стали жить въ лѣсу въ землянкахъ, а ѣсть надобно же что-нибудь, вотъ мы и поневолѣ и на разбой пошли. Насъ грабать, отчего же и намъ не грабить другихъ.

— Со мной хуже случилось, — сказалъ Окулъ: — у меня жена была больна, четвертый годъ съ печи не вставала, а двое дѣтей малыхъ. Отъ царя пришелъ указъ отдать мое помѣстье опричному человѣку царскому, прислано городничаго выгнать меня съ семьею. «Безъ мотчанія, говорить, выступайте», а съ нимъ новый помѣщикъ пріѣхалъ, ременный внудъ держитъ надо мною и кричитъ: «выбирайтесь, по мнѣ хотъ на морозѣ околѣвайте»; а тутъ зима, жену чуть съ печи стащу, дѣти ревуть. «Поѣзжай въ городъ», — кричитъ опричникъ. Насилу одну вляченку далъ съ телѣгой жену да дѣтей въ городъ свезти. А крестьяншки мои, злодѣи, тому рады, еще насмѣхаются надъ моей бѣдой; не безъ того, что иному затрепину въ зубы далъ, все саяіе-такіе дѣти припомнили. Только послѣ ужъ при новомъ господинѣ объ насъ пожалѣли. А въ городѣ собираются дѣти боярскіе, велѣно гнать въ нѣмецкую землю на выводъ, и меня съ ними. «Куда я жену дѣну?» — спрашиваю. А намѣстникъ говоритъ: «куда хочешь». Я и повинулъ ее, больную, въ городѣ. Послѣ ужъ я узналъ, что намѣстникъ отослалъ ее въ монастырь, а тамъ ее кормили на дворѣ съ собаками. Болѣзнь у нея была такая, что духъ отъ нея шелъ такой; ее въ келью не пускали. Такъ и померла. А я съ двумя дѣтками пошелъ пѣшкомъ зимою въ далекую сторону. Денегъ нѣтъ, хлѣба не даютъ, развѣ Христовымъ именемъ выпросишь, а и то рѣдко кто дастъ, — у самихъ людей мало было хлѣба отъ неурожая. Дѣти не выдержали, померли отъ холода и голода, а мы бѣжали съ дороги. Такихъ, какъ я, много по всей Руси. Чаю, кабы всѣхъ собрать, то и царская рать ничего бы съ нами не подѣлала.

— Что, товарищъ, — спрашивалъ Урманъ у Кудеяра, — хорошо у насъ поводится? Каково потерпѣлъ Окулъ! Были и такіе, что потерпѣли похуже Окула. У насъ ватага человѣкъ сотъ двѣ. Пришло ихъ не мало изъ одной вотчины и рассказываютъ: опалился царь на боярина ихъ; самого боярина казнилъ лютою смертию, а потомъ поѣхалъ царь съ опричниною въ боярское село: село окружили, а народу велѣли выходить вонъ съ женами и дѣтьми, и старыми и малыми. Опричники перво сожгли боярскій дворъ, а дворню начали бить до смерти, мало не всѣхъ перебили, только развѣ какой успѣлъ убѣжать. Потомъ пошли

по крестьянскимъ дворамъ, все рубятъ: двери, столы, какая посуда была,—все перебили, переломали; овецъ, лошадей, скоть, птицу,—все порубили, даже кошекъ и собакъ побили, а потомъ село зажгли и крестьянамъ сказали: «идите куда хотите, хоть съ голоду пропадите; каковъ-де вашъ бояринъ былъ, таковы и вы такіе-сякіе дѣти». Да еще царь не велѣлъ другимъ людямъ принимать ихъ и кормить. И половина ихъ околѣла, особливо малыя да хворые. Оттого что въ тѣ поры былъ великій постъ, время холодное, а прочіе съ голоду да холоду напали на одно село, берутъ насильно, что можно стѣсть и во что одѣться: хозяева не даютъ своего добра, а тѣ отнимаютъ. Начали драться дубьемъ, и кулаками, и чѣмъ попало; опальные подолѣли и все село разграбили и въ такой задоръ вошли, что краснаго пѣтуха по селу пустили и до тла сожгли. «Каково,—кричатъ, — намъ было отъ цара-государя, таково пусть и вамъ будетъ! Мы потерпѣли, такъ и вы заодно съ нами потерпите». Тогда изъ того же разореннаго села были такіе, что къ нимъ же пристали, прежде бились съ ними за свое добро, а какъ у нихъ все отняли и сожгли, такъ значить нѣтъ ничего, и жалѣть не о чемъ. Пошли на другое село боярское, да ужъ на опричное, прикащика убили, дворъ боярскій сожгли, а съ крестьянами биться стали; дѣло было горячее. Человѣкъ съ сотню положили: кого тутъ же на смерть прихлопнули, кому руки и ноги подломили, глаза вышибли, а изъ того села многіе утеклецы прибѣжали въ городъ Серпуховъ, дали знать губному старостѣ, и губной староста приказалъ скликать уѣздныхъ людей. Тогда опальные и къ нимъ приставшіе люди видятъ, что не сладить имъ силою, побѣжали лѣсами въ украинные города и пристали къ намъ. Теперь мы сидимъ въ землянкахъ и тѣмъ и живемъ, что кого на дорогѣ ограбимъ, либо на дворъ опричный нападёмъ. Прежде были чуть не голые и босые, а теперь и одѣты, и сыты, и вонны.

— Ну, не по всякъ часъ сыты,—сказалъ Окулъ.—Ино время голодная ватага съ насъ, атамановъ, харчи спрашиваетъ: «корми братью, говорятъ, а то тебя съѣдимъ». Прѣздъ былъ не великъ въ Литву отъ войны. А вотъ какъ теперь царь замирился съ Литвою, стали торговые людишки ѣздить.

— И теперь двохъ ждемъ,—сказалъ Урманъ.—Онамедни купецъ подъ огнемъ сказалъ: будетъ ѣхать изъ Кіева купецъ, а съ нимъ монахи. Вотъ мы ихъ и ждемъ.

— Такъ вы и монахамъ не спускаете?—спросилъ Кудеяръ.

— Монаховъ?—прервалъ Окулъ,—кого же намъ и тормошить какъ не монаховъ. У кого деньги, у кого всякое добро, какъ не у нихъ!

— Вотъ,—сказалъ Урманъ,—тебя такъ не тронуть, ты полоненникъ.

— У тебя,—сказалъ Окулъ,—кони чуть ноги волочатъ отъ ханскихъ даровъ. Былъ бы ты не полоненникъ, такъ не проѣхалъ бы. А у насъ такой зарокъ изстари ведется: полоненника, который изъ полона идетъ, нельзя тронуть, хоть онъ груды золота вези—онъ божій человекъ. Коли полоненника ограбить или убить, то намъ самимъ удачи не будетъ: такъ старые люди говорятъ. А монаховъ...—что они?—Вотъ, какъ бы монахъ или попъ съ ризой шелъ, съ образами—ино дѣло.

— Погоди,—сказалъ Урманъ,—про то Богъ вѣсть, что впереди будетъ, можетъ и самъ Кудеяръ съ нами за-одно станеть.

— Никогда съ вами не стану,—возразилъ Кудеяръ.

— А, чай, на насъ пойдетъ, коли царь уважить?—спросилъ Окулъ.

— И на васъ не пойду, царю служить не буду. Возьму жену и пойду въ свою землю.

— Право-слово не пойдешь на насъ?—спросилъ Окулъ.

— Право-слово не пойду, оттого что служить царю не стану,—отвѣтилъ Кудеяръ.

— А ты думаешь тебя такъ съ женой и отпустить по добру по здорову. Когда придется бѣжать, къ намъ приходи. Мы тебя до границы проведемъ.

— Самъ пройду,—сказалъ Кудеяръ,—а вы сами зачѣмъ не уйдете въ Литву?

— Боимся,—отвѣчалъ Окулъ,—царь напишетъ въ Литву, что мы разбойники, а насъ и выдадутъ какъ лихихъ людей.

Въ это время послышался топотъ лошадей.

— Приѣхали,—закричалъ Окулъ,—наша добыча приѣхала.

Въ избу вошло трое человекъ. Одинъ низенькій, горбатый, одѣтъ былъ въ монашеское платье. Концы клобука, подвязанные подъ бороду, скрывали черты лица его. Другой былъ высокаго роста съ островонечнымъ лбомъ, длиннымъ носомъ и пугливыми глазами. Третій былъ работникъ. Хозяинъ, давши ему приказаніе насчетъ лошадей, сѣлъ на лавку и снявши мѣшокъ, положилъ возлѣ себя, бросая кругомъ тревожные взгляды. Хозяйка предложила приѣзжимъ поужинать и поставила передъ ними мису постныхъ щей и ячменную кашу, такъ какъ была пятница. Ку-

печь досталъ изъ мѣшка води, выпилъ вмѣстѣ съ монахомъ и, ободрившись, сталъ заговаривать съ присутствующими.

— Откуда ѣдете?—спросилъ купецъ.

— Мы чужеземцы,—сказалъ Урманъ,—изъ цезарской земли ѣдемъ въ Москву по торговымъ дѣламъ.

— Чай, не въ первый разъ у насъ, — спросилъ купецъ, — когда по нашему говорить умѣете.

— Живали по долгу,—сказалъ Урманъ, и добавилъ, указывая на Окула:—русскій человекъ, нашъ пріятель.

Купецъ ободрился, началъ говорить о торговлѣ; вмѣшался въ разговоръ монахъ и повелъ рѣчь о кievскихъ святыхъ: оказалось, что онъ ѣздилъ съ купцомъ на богомолье.

— Говорятъ, у васъ подъ Бѣлевымъ нечисто,—спросилъ купецъ хозяина:—ребята пошаливаютъ?

— Все это люди врутъ,—отвѣчалъ хозяинъ:—было прежде немного... да губной староста переловилъ лихихъ людей и посадилъ въ тюрьму. Теперь благодарить Бога, хоть ночью одинъ поѣзжай, никто пальцемъ не тронетъ.

— Тутъ, говорили, шалить какой-то Окулъ.

— Окулъ? — возразилъ Окулъ:—уже недѣли двѣ, какъ его повѣсили въ Бѣлевѣ.

— Слава тебѣ Господи!—сказалъ купецъ, и перекрестился.

— Мы не боимся и свѣта ждать не станемъ, — сказалъ Окулъ.—Теперь прохладно, лошадямъ легче ѣхать.

— Наши лошади утомились, — сказалъ купецъ. — Мыждемся свѣта. Да и вамъ чего спѣшить. Честный отецъ намъ бы немного почиталъ: у него книжка есть, такая книжка умная, такъ въ ней все хорошо написано, что какъ слушаешь, такъ слеза тебя прошибаетъ.

— Нѣтъ, благодаримъ на добромъ словѣ,—сказалъ Окулъ.—Намъ надобно спѣшить.

Онъ вышелъ изъ избы, а Урманъ по-татарски позвалъ въ сѣни Кудеяра.

— Слушай, Кудеяръ, — сказалъ Окулъ: — ты полоненникъ, путь тебѣ чистъ, но хлѣба отъ насъ не отбивай. Проѣзжимъ объ насъ не говори и въ наше дѣло не мѣшайся, а не то не прогнѣвайся.

— Ты хочешь, чтобы я съ вами былъ за-одно, — сказалъ Кудеяръ:—да еще пугать меня думаешь.

— Други, слушайте,—сказалъ Урманъ:—ты Кудеяру не перечь, а то у него сила такова, что онъ насъ обоихъ въ бараній

рогъ согнетъ. А ты, Кудеяръ, тоже разсуди. Купецъ и монахъ тебѣ не братья, не кумовья, у тебя свое горе, тебѣ надобно жену достать, а какъ ты ее достанешь, Богъ вѣсть. Можетъ, и мы тебѣ погодимся.

Кудеяръ насупился, помолчалъ и спросилъ:

— Вы ихъ хотите загубить?

— Нѣтъ, нѣтъ, — сказалъ Окулъ: — мы напрасно людей не бьемъ; мы его только облегчимъ маленько.

— Ну, дѣлайте какъ знаете, — сказалъ Кудеяръ: — мое дѣло сторона.

— Ну, смотри и помни, — сказалъ Окулъ: — за это мы у тебя въ долгу будемъ, и, когда нужно, оплатимъ тебѣ всякимъ добромъ.

Кудеяръ воротился въ избу. Купецъ и монахъ, поужинавши, легли спать, а Кудеяръ, полежавши немного, всталъ, рассчитался съ хозяиномъ, потомъ заплатилъ своему провожатому, все время не отходившему отъ лошадей, и отпустилъ его, сказавши, что теперь самъ доѣдетъ до Бѣлева; затѣмъ, осѣдлавъ и навьючивъ лошадей, пустился въ путь по лѣсной дорогѣ.

Проѣхавши верстъ десять и спускаясь въ долину, онъ увидалъ огни: то былъ горящій костеръ, возлѣ котораго сидѣла толпа разбойниковъ. Увидя проѣзжаго, она бросилась на него съ дикимъ крикомъ.

— Не тронь, — раздался знакомый Кудеяру голосъ Урмана: — это ѣдетъ тотъ полоненникъ, что я вамъ говорилъ объ немъ.

— Когда полоненникъ, — закричали изъ толпы: — то милости просимъ къ намъ хлѣба-соли ѣсть и винца выпить.

Напрасно Кудеяръ отговаривался. Атаманы клялись ему отцомъ, матерью, что никто у него не возьметъ нитки. Онъ сошелъ съ коня и выпилъ предложенную имъ чару вина.

— Слушайте, братцы, — сказалъ Урманъ: — это нашъ давній другъ, старый товарищъ; коли будетъ ему какова нужда, мы всѣ ему въ помощь будемъ, для того, что онъ обѣщалъ намъ на насъ не ходить по царскому указу и царю не служить. Согласны ли на то, братцы?

— Согласны, согласны, — закричала толпа.

— Затѣмъ тебѣ ѣздить къ царю, — сказалъ одинъ разбойникъ: — узнай только, гдѣ твоя жена. Мы ее достанемъ тебѣ и проводимъ обоихъ васъ въ Литву.

— А гдѣ мнѣ узнать про то? — спросилъ Кудеяръ.

— Въ Бѣлевѣ должны знать, — сказалъ Окулъ. — Ты вотъ

что, братъ: поѣзжай въ Бѣлевъ, да узнай, куда услали жену твою, а потомъ къ намъ пріѣзжай, такъ мы вмѣстѣ съ тобою отыщемъ жену тебѣ.

— Охъ, братцы,—сказалъ Урманъ. — Боюсь я Бѣлева. Не было-бъ тебѣ тамъ того, что было въ Исламъ-Керменѣ!

— Живой не дамъ другой разъ въ неволю, — сказалъ Кудеарь.

Простившись съ разбойниками, Кудеарь сѣлся уже на лошадь, какъ вдругъ караульный изъ разбойниковъ закричалъ: «ѣдутъ, ѣдутъ наши»!

— Ступай съ Богомъ, Кудеарь, — сказалъ Окулъ: — и про насъ не забывай. А мы тебѣ въ угоду купчишки не убьемъ.

— Развѣ только маленько огонькомъ подсмолимъ, — сказали одинъ изъ разбойниковъ.

Кудеарь поспѣшно поѣхалъ своей дорогой, и когда поднялся на гору, до него долетѣли жалобные вопли купца и монаха и громкій хохотъ расправлявшихся съ ними разбойниковъ.

Проѣхавши еще верстъ десять, Кудеарь развьючилъ одну изъ лошадей, вырылъ въ лѣсу яму и зарылъ въ нее большую часть полученныхъ отъ хана денегъ, золотыхъ и серебряныхъ вещей; закладъ яму дерномъ и сдѣлалъ помѣтку на деревѣ, отсчитавши отъ того дерева до клада десять деревъ и вымѣрялъ между ними разстояніе, затѣмъ пустилъ лошадь на произволь судьбы, а самъ съ другою вьючною лошадью поѣхалъ далѣе и черезъ пять верстъ достигъ Бѣлева.

Остановившись въ посадѣ на постояломъ дворѣ, Кудеарь отправился къ намѣстнику и поднесъ ему вышитый золотомъ халатъ и серебряный кубокъ. Намѣстникъ былъ въ восторгѣ, но когда намѣстникъ услышалъ, кто онъ таковъ, то произнесъ неопредѣленное восклицаніе и, пригласивши Кудеара сѣсть на скамью, сказалъ ему:

— На поминкахъ благодаримъ. О тебѣ, Кудеарь, прислана отъ царя-государя грамота и, чай, такова писана не ко мнѣ одному, а во всѣ украинныя города. Прочитай.

Онъ подалъ Кудеару грамоту.

— Я не умѣю читать!—сказалъ Кудеарь.

— Такъ подъячій прочтетъ.

Позвали подъячаго, и тотъ прочиталъ:

«И буде Юрій Кудеарь прибудетъ къ тебѣ въ городъ и тебѣ-бъ его, Юрія, ни часу не мѣшкая, отправить къ намъ, великому государю, въ Александровскую слободу, на спѣхъ съ про-

вожатыми, давъ ему провожатыхъ человѣкъ десять и больше. А ему, Кудеяру, объявить, что онъ надобенъ намъ, великому государю, для нашихъ важныхъ государскихъ дѣлъ, и ему, Кудеяру, съ тѣми провожатыми ѣхать къ намъ, никуда не заѣзжая и не останавливаясь нигдѣ, а приѣхавъ въ нашу Александровскую слободу, явиться къ нашему ближнему человѣку, князю Аѳоньѣ Вяземскому»...

— Слышишь, — сказалъ намѣстникъ, — садись на лошадь и поѣзжай.

Кудеяръ сталъ-было спрашивать о своей женѣ, но намѣстникъ отговаривался, сказавши, что ничего о томъ не знаетъ, оттого что самъ приѣхалъ вновъ.

Кудеяръ сообщилъ, что разбойники напали на него и отняли отъ него вычную лошадь, а на той лошади были самые богатые ханскіе подарки.

— Жалѣю о твоёмъ горѣ, — сказалъ намѣстникъ: — пошлю служилыхъ людей тѣхъ воровъ изловить и губному старостѣ велю написать, чтобъ послалъ уѣздныхъ людей на тѣхъ воровъ; а какъ тѣхъ воровъ изловятъ и животы твои у нихъ обрѣдутся, въ тѣ поры всѣ животы твои тебѣ отданы будутъ по роспискѣ. А теперь ступай къ царю съ провожатыми.

---

## IV.

## Александровская слобода.

Не разъ случалось въ исторіи, что незначительныя поселенія быстро обращались въ многолюдные города съ богатыми торжищами. Такой примѣръ былъ и съ Александровской слободой. Уже давно существовала она какъ заурядная дворцовая слобода, какъ вдругъ царь Иванъ, вообразивши себѣ въ Москвѣ гнѣздо злодѣевъ и заговорщиковъ, превратилъ слободу въ царскую столицу. Царскіе любимцы волею-неволею заводили себѣ тамъ дворы и деревянные дома: нигдѣ въ угоду царя не расточалось на Руси столько искусства рѣзьбы по окнамъ, гзымзамъ и столбамъ. Одна улица этой слободы, ведущая отъ рынка ко дворцу, приняла такой праздничный видъ, какого не имѣла ни одна улица старой Москвы: все здѣсь было ново и не успѣло загрязниться. Улица была вымощена распиленными бревнами, положенными плоской стороной вверхъ; мостовая эта еще не успѣла подгнить и не угрожала пока ногамъ людей и лошадей, какъ это бывало во всѣхъ городахъ московскаго государства. Прямо, въ концѣ этой улицы, подъ высокою башнею, съ большимъ образомъ на верхнемъ щитѣ, глядѣли на путника главные ворота, а передъ ними былъ мостъ, поднимавшійся и опускавшійся на цѣпяхъ. Дворецъ былъ окруженъ рвомъ въ двѣ сажени ширины и столько же глубины. На днѣ рва была вода. За рвомъ, по внутренней сторонѣ шель земляной валь, одѣтый съ обѣихъ сторонъ бревенчатыми стѣнами съ шестью кирпичными башнями въ два яруса. По срединѣ двора возвышалась и бѣлѣла большая церковь съ пятью вызолоченными куполами, а близъ нея тянулись царскіе хоромы съ высокою гонтовою кровлею, размалеванные разными красками, съ вышками, подзорами, съ крыльцами, подъ круглообразными навѣсами и съ четверугольными окнами, которыхъ карнизы были размалеваны снаружи затѣйливыми узорами. Много щегольства было приложено къ этому деревянному зданію; по, несмотря на все желаніе разукрасить его, фізіономія его заключала въ себѣ нѣчто подавляющее, отталкивающее, какъ часто бываетъ, что домъ, построенный хозяиномъ по своему вкусу, мимо воли самого хозяина, носить его характеръ. Она царскаго жилища, глубокая, вдавшіяся внутрь, невольно носили въ себѣ отпечатокъ чего-то таинственнаго, зловѣщаго. Все въ этомъ дворцѣ, начиная

отъ чванныхъ трубъ на расцвѣченной кровлѣ до кирпичнаго подклѣта съ чрезвычайно маленькими окошечками, снабженными желѣзнымъ переплетомъ, глядѣло какъ-то высокомѣрно и недружелюбно. За хорами былъ недавно разведенный садъ, а за садомъ длинное и низкое кирпичное строеніе, вросшее въ землю, съ желѣзными дверями, куда нужно было входить нѣсколькими ступенями внизъ отъ уровня земли. Кровля надъ зданіемъ была земляная. Въ этомъ зданіи было нѣсколько отдѣленій: оружейное, пыточное, съ адскими орудіями мукъ, и тюрьмы; впрочемъ, тюрьмы были не только здѣсь, но и въ башняхъ, и въ пещерахъ, сдѣланныхъ въ земляномъ валу и даже въ подклѣткахъ подъ самими хорами. Обширный царскій дворъ былъ весь обстроенъ жилищами царскихъ опричниковъ и множествомъ службъ. За валомъ, окружавшимъ дворъ, было два пруда, которые современники называли адскою гееною, такъ какъ царь топилъ тамъ людей и бросалъ туда тѣла казненныхъ, потому что рыбы и раки, поѣвши человѣческаго мяса, стануть вкуснѣе и пригоднѣе въ царскомъ столу.

Провожавшіе Кудеяра служилые бѣлевцы не покидали его ни на минуту, понимая, что везутъ къ царю такого молодца, которому едва ли будетъ выходить оттуда, куда онъ прибудетъ, но не отбирали у него оружія, такъ какъ объ этомъ имъ ничего не было сказано. Кудеяръ во время дороги могъ не только уйти отъ нихъ, но перебить ихъ самихъ, еслибы захотѣлъ употребить въ дѣло свою необычную силу. Но то не было въ его цѣляхъ: безъ воли царя, онъ не надѣялся узнать о мѣстопребываніи своей Насти, притомъ же онъ все еще не выполнѣ вѣрилъ разсказамъ о свирѣпости царя, и соображалъ, что царь оцѣнитъ его видимую преданность, когда удостовѣрится, что онъ не хотѣлъ служить крымскому хану, у котораго ему не могло быть худо, а предпочелъ воротиться на службу къ христіанскому царю.

Кудеяръ прибылъ наконецъ въ страшную Александровскую слободу, доѣхалъ до воротъ дворца. Караульные велѣли ему оставить лошадей и снять съ себя оружіе. Исполнивши приказаніе, Кудеяръ шелъ пѣшкомъ съ непокрытою головою до главнаго крыльца и встрѣтилъ здѣсь двоихъ людей, странно одѣтыхъ. На нихъ были монашескія, черныя ряссы изъ грубой шерстяной ткани, на головахъ скуфы съ кlobуками, а изъ-подъ распахнутыхъ рясъ видѣлись шитые золотомъ кафтаны, а за поясами винжалы съ богато-оправленными рукоятками.

— Я,—сказалъ Кудеяръ,—прибылъ по повелѣнію его царскаго величества, великаго государя-царя и великаго князя всея

Руси. Я, Юрій Кудеарь, вернулся изъ татарскаго плѣна на службу его царскаго величества. Мнѣ велѣно сказать о себѣ князю Аѳанасію Вяземскому.

— Рады гостю дорогому и изъ далекой стороны. Я самъ и есть князь Аѳанасій Вяземскій, — сказалъ, привѣтливо улыбаясь, одинъ изъ стоявшихъ у дверей, человекъ лѣтъ тридцати, съ темнорусой бородой и лицомъ, силившимся казаться добродушнымъ.

— Одея, поиди доложить царю-государю, — сказалъ онъ своему товарищу, парню лѣтъ восемнадцати, блѣлокурому, румянному, съ голубыми глазами, выразившими наглость и бестыдство.

Ододоръ Басмановъ, царскій потѣшникъ, побѣжалъ впередъ, за нимъ пошелъ Вяземскій, а за Вяземскимъ медленно шелъ Кудеарь.

Они вошли въ просторныя сѣни съ частыми окнами, въ которыхъ рядомъ съ матовыми стеклами были вставлены цвѣтныя: голубыя, красныя, зеленныя.

Черезъ нѣсколько минутъ вошелъ царь, сопровождаемый двумя любимцами, одѣтыми такъ же какъ и Вяземскій: одинъ изъ нихъ, невысокій, тучный, толстогубый, съ сѣрыми глазами, выразившими смѣсь злобы съ низкопоклонничествомъ; другой высокаго роста, статный, чернобородый, съ азіятскимъ лицомъ. Первый былъ Малюта Скуратовъ, второй — шуринъ царя, черкасскій князь Мамстрюкъ Темрюковичъ. Самъ царь одѣтъ былъ въ желтый шелковый кафтанъ, изъ-подъ котораго видѣлся бѣлый zipунъ; на головѣ у него была черная шапочка, саженная жемчугомъ, а на ногахъ высокіе черные сапоги, шитые серебромъ. Трудно было узнать въ немъ того царя, котораго нѣкогда видѣлъ Кудеарь: онъ весь высохъ и пожелтѣлъ; щеки впали, скулы безобразно выдавались впередъ. На бородѣ не было ни одного волоса, изъ-подъ шапочки также не видно было волосъ; глаза его страшно и какъ будто произвольно бѣгали изъ стороны въ сторону, губы дрожали, голова тряслась. Онъ шелъ сторбившись, переваливаясь съ боку на бокъ и опираясь на желѣзный посохъ. Физиономія его была такова, что, увидавши ее въ первый разъ, трудно было рѣшить: пугаться ли этой фигуры, или расхохотаться при ея видѣ.

— Здорово, здорово, Кудеарь, — сказалъ царь, подходя къ нему и расширяя свои дрожащія губы въ видѣ улыбки. — Ну, какъ поживаетъ нашъ братъ, бусурманъ Девлетъ-Гирей, ханъ крымскій, твой государь. Ты... какъ это?... пріѣхалъ къ намъ править посольство отъ него.

— Я пріѣхалъ,—отвѣчалъ Кудеяръ, поклонившись до земли, —изъ бусурманскаго полона на службу къ тебѣ, моему великому государю.

— Какой я тебѣ государь! — сказалъ царь:—ты пріѣзжалъ ко мнѣ когда-то съ собакою Вишневецкимъ, а Вишневецкій, присягнувши намъ на вѣрность, убѣжалъ отъ насъ съ своимъ казачьимъ собацкимъ обычаемъ. Мы узнали, что его въ турецкой землѣ за ребро на крюкъ повѣсили.—На здоровье ему!... и его казачью туда дорога — и ты бы себѣ пошелъ за ними... Ха, ха, ха!

— Великій государь, — сказалъ Кудеяръ,—ты пожаловалъ меня милостями, поверсталъ помѣстьями въ своей землѣ и въ свои служилые люди велѣлъ меня записать. Я твой рабъ, и кромѣ тебя, единого православнаго царя, у меня нѣтъ государя. Воленъ ты, великій государь, дѣлать со мной что угодно. Твой царскій указъ былъ мнѣ объявленъ, чтобы я прибылъ и явился передъ твои ясныя очи.

— Мой указъ, мой указъ,—говорилъ царь:—ты изъ Крыма челобитье мнѣ послалъ, просилъ, чтобы тебѣ пріѣхать въ мое царство. Ну, говори теперь, зачѣмъ тебѣ въ мое царство? Ты соглядатаемъ сюда пріѣхалъ отъ нашего прирожденнаго недруга, крымскаго хана. А? Бусурманъ писалъ къ намъ, что ты ему животь и царство спасъ. А мы послали тебя въ походъ не царство его спасать, а царство его темное воевать. Такъ ты, исполняя нашъ указъ, вмѣсто того, чтобы воевать крымскаго хана, сталъ спасать ему животь и царство...

Кудеяръ попытался-было изложить случай, по которому онъ оказалъ услугу хану, но царь перебилъ его и сказалъ:

— Ты думаешь, я ничего этого не знаю; твой господинъ Акмамбетъ, котораго ты, какъ невѣрный рабъ, предалъ, пріѣзжалъ къ намъ и про все намъ повѣдалъ; онъ принялъ у насъ христіанскую вѣру, и мы ему пожаловали помѣстье, что прежде за тобой было справлено, для того, что онъ, заплативши за тебя деньги, потерялъ ихъ, да и вотчину свою черезъ тебя утратилъ въ Крыму. Такъ мы и пожаловали его за то, что онъ понесъ убытокъ черезъ тебя, раба лукаваго и лѣниваго.

— Твоя воля, великій государь,—отвѣтилъ Кудеяръ:—я рабомъ у него прирожденнымъ не былъ, а всегда былъ и остаюсь теперь рабомъ твоимъ, великій государь. Акмамбетъ хотѣлъ своего прирожденнаго государя убить, а я, будучи вѣренъ своему государю, думалъ, что и другіе всѣ должны быть вѣрны своимъ государямъ, для того, что коли-бъ я узналъ, кто невѣренъ моему

великому государю-царю и великому князю всея Руси, то не то, что былъ бы онъ мой господинъ, а мой родной отецъ, то я и того бы не пожалѣлъ за здоровье моего государя.

— Молодецъ! молодецъ!—въ одинъ голосъ произнесли и Малюта, и Вяземскій и Басмановъ, а Мамстрюкъ издалъ какой-то неопредѣленный, дикій, но одобрительный звукъ.

— Ты хорошо говоришь, — сказалъ царь—а у меня много злодѣевъ, больше чѣмъ у крымскаго хана: бояре-измѣнники изгнали меня изъ столицы, гдѣ царствовали мои предки и гдѣ покоются тѣлеса ихъ; я сиротою скитаюсь по лицу земли, а они все не оставляютъ меня въ покоѣ, какъ львы рыкаютъ, алчутъ моей крови, хотятъ все мое сѣмя царское истребить. Злой умыселъ составили: меня вмѣстѣ съ сыномъ лишить престола и отдать недругу моему, Жигимонту королю. Съ крымскимъ ханомъ въ уговоръ вошли, чтобы онъ пришелъ съ ордою и меня изъ земли моей выгналъ... Хотѣли посадить на моемъ престолѣ своего брата, подлаго раба, моего конюшаго. Но Богъ не допустилъ ихъ до того не по грѣхамъ нашимъ, а молитвами святыхъ заступниковъ церкви и державы россійской! Вотъ каково дѣется у насъ. Ты давно не былъ у насъ въ землѣ и ничего того не знаешь.

— Меня,—сказалъ Кудеарь,—бусурманъ хотѣлъ наградить помѣстьемъ, чтобы мнѣ и потомству моему была вѣчная льгота, позволялъ и церковь построить по нашей вѣрѣ, а я сказалъ ему: лучше чернымъ хлѣбомъ буду кормиться по волѣ моего христіанскаго государя, и умру на его службѣ.

— Напрасно не согласился, — сказалъ царь,—можетъ тебѣ тамъ и лучше было бы, чѣмъ у насъ будетъ. Ну, а все-таки, чай, бусурманъ, отправляя тебя, далъ тебѣ на дорогу чего-нибудь, а?

— Онъ далъ мнѣ денегъ и разнаго узорочья,—сказалъ Кудеарь. Но подъ Бѣлевымъ напали на меня разбойники и отбили одну лошадь съ ханскою казною. А теперь у меня осталось меньше половины того, что ханъ мнѣ далъ.

— Ой, не врешь ли ты? — сказалъ царь:—можетъ гдѣ-нибудь въ лѣсу зарылъ: какъ же ты такой силачъ, что съ медвѣдями боролся, а не могъ отбиться отъ разбойниковъ?

— Я отбился отъ нихъ, живъ остался,—сказалъ Кудеарь,—только лошади одной не могъ отбить для того, что много ихъ было, а у нихъ огненный бой.

— Ну, а что хорошаго, самаго лучшаго изъ ханскихъ даровъ у тебя осталось? — спросилъ царь.

— Все здѣсь со мной привезено, а дорожке всего сабля булату дамаскаго, рукоятъ у ней съ камнемъ самоцѣпнымъ, сма-  
рагдомъ зѣло великимъ и съ цѣпью золотою.

— Покажи,—сказалъ царь.

Пошли за саблей. Царь продолжалъ:

— А вѣстно ли тебѣ, что ханскіе лиходѣи говорили на насъ безлѣпныя рѣчи, будто мы ихъ научали на убійство хана?

Кудеяръ отвѣчалъ:

— Я былъ во дворцѣ ханскомъ, какъ-бы въ неволѣ, и ни-  
чего мнѣ не говорили, только ужъ когда ханъ отправлялъ меня,  
то сказалъ: «мои лиходѣи наговаривали на царское величество, но  
я ихъ рѣчамъ не вѣрю; только то—говорить—мнѣ кручинно,  
что государь моего недруга Акмамбета у себя держитъ». Таково  
слово мнѣ ханъ сказалъ, а болѣе того ничего не говорилъ.

— Ему то кручинно? А онъ самъ зачѣмъ моихъ недруговъ  
принималъ, и съ боярами-измѣнниками ссылся? Акмамбетъ те-  
перь крещеный человѣкъ—нова тварь, а крещеніе—второе рож-  
деніе. Мы подарили ему твое помѣстье, только ты Кудеяръ на  
насъ за то не кручинься. Мы пожалуемъ тебя паче прежняго.

Кудеяръ поклонился царю до земли.

Принесли саблю. Царь разглядывалъ ее и хвалилъ. Любимцы  
также хвалили саблю.

Кудеяръ еще разъ поклонился и сказалъ:

— Великій государь, пожалуй меня, холопа своего, позволь  
мнѣ челомъ ударить тебѣ, государю, этой саблей.

— Спасибо, Юрій,—сказалъ царь ласково.—Вяземскій, от-  
неси эту саблю въ оружейную. Чай, она тамъ не послѣдняя  
спица въ колесницѣ будетъ. Ну, Кудеяръ, чего бы ты отъ насъ  
хотѣлъ?

Кудеяръ поклонился до земли и отвѣтилъ:

— Великій государь, смилуйся надо мною, холопомъ твоимъ,  
вели видѣться съ моею законною женою.

— А! вотъ онъ чего захотѣлъ!—сказалъ царь, засмѣявшись.—  
Вотъ о чемъ онъ паче всего думаетъ! Онъ вѣрно за тѣмъ и ко  
мнѣ пріѣхалъ, что жена его оставалась здѣсь, у меня въ ру-  
кахъ, на моей волѣ. А гдѣ она, онъ не зналъ и теперь не  
знаетъ! Безъ этого и воронъ костей его не занесъ бы сюда. Ой,  
казака! казака! ты думаешь провести насъ: жену твою мы тебѣ  
отдадимъ, а ты съ нею уйдешь отъ насъ къ своему пріятелю,  
Девлетъ-Гирею, либо къ королю Жигимонту-Августу, да на насъ  
будешь зло мыслить.

— Царь-государь,—сказалъ Кудеарь,—буду служить тебѣ единому до послѣдняго издыханія и никуда не уйду отъ тебя. Какой тебѣ угодно искусь на меня положи.

— Искусъ-то я положу на тебя,—сказалъ царь,—да какъ-то ты его вынесешь. Люди знатныхъ княжескихъ и боярскихъ родовъ намъ измѣняютъ; такъ мы близко себя держимъ людей худородныхъ, отъ гноища сотворихомъ себе князи, отъ каменія чада Авраамли. И тебя возьмемъ близко къ намъ. Какой твой родъ? Кто твои прародители? Чай, лапти плели, или свиней пасли? А вотъ мы тебя возьмемъ въ наши опричные, и ты будешь каждый день наше лицо видѣть.

— Челомъ бью на такой великой милости,—сказалъ Кудеарь, и поклонился до земли.

— Но ты,—сказалъ царь,—можетъ быть, думаешь, что эта великая милость достается даромъ? Нѣтъ, казая, даромъ ничего не даютъ. Аeonька, скажи ему, какъ нужно быть у насъ въ приближеніи.

Вяземскій сказалъ:

— Достойтъ тебѣ дать присягу или паче вѣтву служить государю до послѣдней капли крови и до послѣдняго твоего издыханія, царя любить паче всего, паче жены и дѣтей, паче отца и матери. Писано бо: аще не возненавидитъ отца своего и матери, и жены, и чадъ, и всѣхъ сродниковъ мене ради, нѣстъ мене достойнъ. Сіе потребно и для истиннаго, нелицемѣрнаго слуги царскаго. Коли-бъ тебѣ государь-царь сказалъ: убей отца своего или мать свою, или жену, или дѣтей—соверши царское повелѣніе, не размысливши въ сердцѣ своемъ. Кто царю недругъ, тотъ и тебѣ лютой врагъ. Аще царскій недругъ придетъ къ тебѣ хладенъ, гладенъ или нагъ и ты дашь ему одежду или укрухъ хлѣба, или чашу воды—повиненъ еси лютой смерти. Достойтъ тебѣ повсюду смотрѣть и слушать: не говоритъ ли кто про царя непригожія рѣчи, не глядитъ ли кто исподлобья, когда его высокое имя произносится... Ищи царскихъ недруговъ, какъ гончій песь ищетъ звѣря, терзай царскаго врага, аки тигръ лютой. Попа, въ ризахъ облаченнаго, но зло царю мысляща, не убойся, старца, сѣдинами убѣленна, не пощади, младенца ссущаго, отродіе измѣнническо, не пожалѣй. Вотъ чтó значитъ быть вѣрнымъ, истиннымъ слугою царскимъ.

— Буду такъ творить, какъ царю-государю угодно,—сказалъ Кудеарь.

— Будешь,—сказалъ царь, захохотавши,—теперь ты намъ все обѣщать будешь, а какъ жену свою возьмешь, такъ и ста-

нешь помышлять, какъ бы отъ насъ утѣчь вмѣстѣ съ нею. Знаю и вижу, что у тебя на умѣ! Но ты самъ сказалъ намъ: какой намъ угодно положить на тебя искусь. Хорошо. Я на тебя положу три искуса одинъ за другимъ. Коли всѣ три исполнишь, такъ будешь у насъ въ великомъ приближеніи. Жена твоя не должна быть тебѣ дороже насъ, помазанника Божія. Слышишь!

— Буду все творить по твоему повелѣнію, — сказалъ Кудеяръ.

— Помѣстите его у меня во дворцѣ съ прочими опричными, — сказалъ царь. — Перво онъ увидитъ, какъ у насъ Богу молятся, а потомъ я ему дамъ первый искусь. Черезъ день — другой искусь, а тамъ, черезъ день или два, — третій.

Кудеяра отвели въ двухъ-этажный домъ, съ переходами внизу и наверху. Въ этомъ домѣ помѣщались царскіе опричные люди. Кудеяра ввели въ одинъ изъ нижнихъ покоевъ; за нимъ внесли его пожитки. Покой былъ перегороженъ на-двое, кругомъ были лавки; въ углу висѣлъ, надъ мѣдною лаханью, умывальникъ, на подобіе чайника; съ двумя носками. Въ покоѣ уже былъ жилецъ, опричникъ, изъ дѣтей боярскихъ, Димитрій Зуевъ. Онъ разсказалъ Кудеяру, что во дворцѣ у государя какъ-бы монастырь; всякій долженъ носить, поверхъ мірскаго одѣянія, монашеское, соблюдать иноческіе уставы и правила, ходить къ заутренѣ, обѣднѣ и вечернѣ и обѣдать за царскимъ столомъ, какъ-бы за монастырскою трапезою. Они должны были, въ угоду царю, творить расправу надъ царскими недругами. Много стало, — говорилъ Зуевъ, — измѣнниковъ, и они довели царя до грозы. Прежде нашъ государь былъ милостивъ зѣло, и было веліе отъ того послабленіе, и того ради онъ сталъ грозенъ, какъ громъ небесный. Тѣла казненныхъ не погребаютъ, а псамъ бросаютъ или въ прудъ повергаютъ, а рѣдкій день обойдется, чтобы казней не было. Кудеяръ слушалъ, и у него самого едва языкъ ворочался; на него нашло какое-то одурѣніе. Его могучая натура переживала рововыя минуты нравственнаго перелома: противъ собственной воли ему казалось, что онъ стоитъ на краю бездонной пучины, откуда выглядываетъ отвратительное чудовище.

Раздался благовѣстъ къ вечернѣ. Кудеяръ пошелъ вслѣдъ за Зуевымъ. Въ просторной церкви, блиставшей обильною, еще не потускнѣвшею позолотою, стояла толпа любимцевъ, съ клобуками на головахъ; впереди самъ царь, также въ монашескомъ одѣяніи, вольнѣ него старшій сынъ, черноволосый парень, съ злымъ выраженіемъ глазъ. Царь билъ поклоны, ударяя лбомъ о-полъ, такъ что по церкви раздавался отголосокъ; любимцы старались подражать ему, и Кудеяръ дѣлалъ то же.

Послѣ вечерни всѣ пошли въ царскій домъ, гдѣ въ сѣняхъ накрытъ былъ столъ. День былъ постный; подавали рыбное кушанье, сильно приправленное перцомъ и шафраномъ. Пили въ изобиліи вино. Царя не было. Повечерявши, всѣ снова пошли слушать повечеріе, а потомъ разошлись,—одни въ свои кельи, а другіе по разнымъ царскимъ порученіямъ.

Въ полночь раздался благовѣстъ.

Кудеарь, со своими товарищами, отправился въ церковь. Князь Вяземскій, въ званіи параклисиарха, зажигалъ и тушилъ свѣчи, клалъ угли въ кадило, а царь очень медленно читалъ шестипсалмие и каанізмы. Послѣ перваго часа всѣ ушли въ келью, но скоро потомъ заблаговѣстили къ часамъ и къ обѣдни. Царь всю литургію стоялъ, поднимая глаза къ небу и испуская громкіе вздохи, на ектеніяхъ за каждымъ «Господи помилуй» билъ земные поклоны, но во время херувимской Малюта Скуратовъ подходилъ къ царю, и царь, съ выраженіемъ злобы на лицѣ, отдавалъ ему какія-то приказанія: впослѣдствіи Кудеарь узналъ, что это были распоряженія о назначенныхъ въ этотъ день казняхъ.

По окончаніи литургіи, всѣ пошли въ трапезу, и, когда любимцы сидѣли и молча ѣли, царь съ возвышенія читалъ имъ житіе преподобнаго отца, котораго память приходилась на этотъ день и который отличался большимъ постничествомъ, а между тѣмъ за столомъ было множество кушаньевъ и всѣ напивались вдоволь. Послѣ обѣда, выйдя изъ-за стола, всѣ подошли къ другому столу, пили изъ одной серебряной чаши, такъ-называемую чашу Богородицы, и пѣли «Достойно есть».

По выходѣ изъ трапезы, Кудеарь съ Зуевымъ отправились въ свою келью, какъ вдругъ раздался трубный звукъ.

— Это значитъ,—сказалъ Зуевъ со вздохомъ,—приспѣ часъ суда и кары.

Служитель позвалъ Кудеара къ царю...

Кудеарь, по приказанію царя, отправился въ длинное каменное строеніе, входившее въ землю. Тамъ, въ огромномъ длинномъ покоѣ, освѣщенномъ въ верхней части одной стѣны маленькими окнами, съ желѣзнымъ переплетомъ, Кудеарь увидалъ огромныя сковороды, въ ростъ человѣческой, орудія въ родѣ копачьихъ когтей, привязанныхъ къ ремнямъ, пилы, большія иглы и гвозди, какую-то сбитую изъ досокъ стѣнку, усыпанную гвоздиками остріемъ къверху. Въ углу топилась огромная печь. Полъ былъ весь измазанъ кровью. Посрединѣ залы стоялъ тронъ.

Царь съ сыномъ сидѣли на лавкѣ, прямо противъ трона; за ними стояла молчаливая толпа любимцевъ.

Изъ противоположной двери вывели старика, высокаго роста, лысаго, съ клинообразною сѣдою бородою, блѣднаго, изможденнаго; его голубые глаза смотрѣли прямо и бодро; на лицѣ было выраженіе выстраданной рѣшимости и равнодушія къ ожидаемой участи. Сзади его шла старуха въ черномъ лѣтницѣ, съ глазами обращенными къ небу; въ нихъ не видно было слезъ; она встала на колѣни, сложила наврестъ руки и шептала молитвы.

Царь, обратившись къ старику, сказалъ:

— Конюшій Иванъ Петровъ! Вѣдомо намъ учинилось, что ты, забывъ Господа Бога и наше превеликое къ тебѣ жалованье, вмѣстѣ съ единомышленниками своими, призвавъ на помощь недруговъ нашихъ, Жигимонта-Августа, короля польскаго, и Девлетъ-Гирея, хана крымскаго, хотѣлъ насъ, прирожденнаго государя, свергнуть съ прародительскаго престола и погубить со всѣмъ нашимъ царскимъ сѣменемъ, а самъ думалъ сѣсть въ Москвѣ на царствѣ. Завиденъ показался тебѣ нашъ престолъ, захотѣлось тебѣ посидѣть на немъ. Нынѣ мы, по нашей царской милости, сдѣлаемъ тебѣ угодное, посадимъ тебя на престолъ. Надѣньте на него царскій нарядъ.

Старикъ ничего не говорилъ и не противился, когда на него одѣвали царское облаченіе.

— Садись,—сказалъ царь,—бери въ одну руку державу, въ другую скипетръ.

Старикъ повиновался.

Иванъ Васильевичъ поклонился ему до земли и сказалъ:

— Здравствуй, царь и великій князь всея Руси. Посмотрите на него: правда, хорошъ! Что же ты сидишь, словно на образѣ написанный? Поверни головою вправо, влѣво, поведи бровями грозно, достойно... Ну; я тебя посадилъ на престолъ, я тебя и свергну съ престола.

Съ этими словами царь ударилъ его кинжаломъ въ грудь. Старикъ упалъ, заливаясь кровью. Опричники бросились на полумертваго, вололи, топтали ногами, потомъ поволокли трупъ къ раствореннымъ дверямъ, за которыми виднѣлась стая собакъ, на привязи у псарей. Собакамъ умышленно передъ тѣмъ долго не давали ѣсть, и онѣ отъ голода были.

— Псамъ его на сѣденье,—сказалъ царь.

Опричники выбросили трупъ; собаки накинулись на него и двери затворились.

Старуха во все продолженіе этой сцены не пошевелила голо-

вою, продолжала держать глаза обращенными вверх и шептала молитву.

— А вот и царица его,—сказалъ царь,—Кудеарь, задуши своей желѣзной рукой эту царицу всея Руси.

Старуха не измѣнилась въ лицѣ, продолжала смотрѣть вверх и шептала молитву.

Услышавъ повелѣніе, Кудеарь сначала отъ ужаса отшатнулся, но въ головѣ у него пробѣжало такое разсужденіе: если онъ не погубить старухи, другой погубить ее, царь не спуститъ ему, и онъ не увидитъ своей Насти. Онъ бросился на старуху, сдавилъ ей горло, и она мгновенно лишилась жизни.

— Молодецъ!—сказалъ царь.

— Молодецъ!—повторили любимцы.

Ввели другого старика, нѣсколько моложе прежняго, но его ноги чуть двигались. Онъ былъ въ черномъ платьѣ, глаза его были опущены, голова клонилась на грудь.

Царь сказалъ:

— Князь Петръ Щенятевъ! Каково спасаешься? Ты хотѣлъ идти въ монастырь и постричься, думалъ тѣмъ избѣжать праведнаго суда моего, вотъ же не ушелъ! Не довелось тебѣ, обманывая міръ, сидѣть въ монастырѣ въ теплѣ и холѣ, да ѣсть монастырскихъ карасей, запиваючи виномъ — вотъ я изъ тебя самого сдѣлаю монастырскаго карася.

Опричники бросились на князя, сорвали съ него платье, обнажили, потомъ схватили за голову, руки и ноги, положили на сковороду и сунули въ горящую печь. Раздались ужасные крики. Царь повернулся спиною къ печи.

Ввели высокаго человѣка съ клочковатой бородкой, среднихъ лѣтъ. Подлѣ него шла женщина съ растеряннымъ выраженіемъ лица и парень лѣтъ семнадцати.

— Батюшка-царь, смилуйся,—говорилъ введенный,—ей-же Богу не лгу, оговорили меня напрасно... никогда ничего не бралъ. Государь, земной Богъ, помилуй,—и кланялся въ землю.

— Царь-государь, помилуй,—вопила женщина и била поклоны.

За нею парень молча кланялся.

Царь сказалъ:

— Казаринъ-Дубровскій, ты, забывъ свою крестную присягу, учинилъ противъ насъ воровство, мимо нашего увазу отпустилъ со службы дѣтей боярскихъ, взявши съ нихъ посулы, а то учинилъ ты, норовя недругу нашему Жигимонту-Августу, и за то довелся ты лютой казни.

— Батюшка-государь! — сказалъ Казаринъ-Дубровскій, — виновать я въ одномъ, что отпустилъ десять душъ, давши имъ выписи, не за посулы, а по ихъ просьбѣ, что они сказались больны и къ ратному дѣлу негодны, а чтобъ я то дѣлалъ, норовя твоему недругу, того и на умѣ у меня не было.

— Лжешь, песь, — закричалъ царь.

— Батюшка, кормилецъ! Богъ милосердный, пощади! — кричала женщина, валяясь у ногъ царскихъ.

По царскому приказанію опричники притащили стѣнку съ гвоздями и привязали къ ней раздѣтаго Казарина спиною, а по груди, животу и рукамъ водили зажженнымъ трутомъ. Раздражающіе крики страдальца покрывали замирающіе стоны и вопли жарившагося въ печи Щенятева.

Царь сказалъ:

— Кудеяръ, и ты, Мамстрюкъ! лупите до смерти кошками жену и сына Казарина передъ его глазами. Истребляйте собачье отродье.

На женщинѣ разорвали одежду отъ затылка до пятъ, связали руки и ноги и положили ее на полъ. То же сдѣлали съ парнемъ. Кудеяръ со всей силы билъ кошками женщину, Мамстрюкъ парня, а другіе опричники переворачивали ихъ то грудью, то спиною вверхъ. И такъ били ихъ, пока они не лишились жизни.

Затѣмъ ввели цѣлую семью: отецъ, низкорослый, сутуловатый, съ русой окладистой бородкой, съ короткой шеей, съ глазами на выкатѣ, въ которыхъ севозъ страшный испугъ пробивалось выраженіе хитрости; близъ него немолодая жена со смуглымъ толстымъ лицомъ, двѣ дочери подростки, съ заплаканными глазами, блѣдныя, какъ полотно, и двое ребятишекъ, которые ревѣли и утирали слезы кулакомъ, не понимая, что съ ними дѣлается.

Царь сказалъ:

— Хозяинъ Тютевъ! былъ ты пожалованъ нами: велѣно быть тебѣ у нашей государевой казны, и ты, забывъ Господа Бога и святую его заповѣдь и наше великое жалованье, учалъ нашу казну воровать и корыстоваться съ соумышленниками своими, и хотѣли нашу казну передать Жигимонту-Августу и крымскому хану, чтобъ имъ насъ, государя, свергнуть съ нашего прародительскаго престола. Думалъ ты, діаволь сосудъ, обогатиться и пожить въ лакомствѣ и довольствѣ, забывъ, что кто не въ Бога богатѣетъ, тотъ самъ себя уготовляетъ въ семъ мірѣ кару отъ земного владыки и на томъ свѣтѣ мучимъ будетъ вѣчно; и за то ты довелся лютой казни!

— Во всемъ твоя воля, государь, — сказалъ хозяинъ Тютевъ, — ты нашъ Богъ земной, а мы рабы твои; благодарить за все тебя должны, и за милость, и за казни.

Онъ поклонился царю въ землю.

Жена кланялась въ землю и вопила о пощадѣ, но отъ страха не могла произносить связно словъ. За нею кланялись дочери, а ребята съ плачемъ ползали по землѣ.

— Вотъ, мы начнемъ съ дочерей твоихъ, — сказалъ царь. — Повѣсьте ихъ верхъ ногами и распилите пополамъ.

Пока опричники исполняли повелѣніе, царь, близко подойдя къ стоявшему на колѣняхъ Тютеву и указывая на терзаемыхъ дочерей, говорилъ:

— Смотри на муки и на срамъ рожденія твоего! вотъ что бываетъ невѣрнымъ и лукавымъ рабамъ: не точію они, но и сѣмя ихъ проявляе мѹку пріиметь за нихъ, ничѣмъ не согрѣша.

Мать въ безпамятствѣ бросилась къ дочерямъ, съ которыхъ струилась потокомъ кровь. Мамстрюкъ сильною рукою оттолкнулъ ее.

— Ребятъ малыхъ въ печь! — заревѣлъ царь.

Женщина совершенно потеряла рассудокъ, понесла безмыслицу, въ которой слышались проклятія.

— А! она еще языкомъ ворочаетъ, — сказалъ царь: — вложите ей веревку въ ротъ и раздерите его до ушей, а ты, Кудеарь, коли ее иглою.

Опричники исполнили приказаніе царя, а Кудеарь кололъ женщину огромною иглою по всему тѣлу.

— Довольно, — сказалъ царь, — забей ей гвоздь въ темя.

Кудеарь исполнилъ царское приказаніе, а вслѣдъ затѣмъ двое опричниковъ держали за руки хозяина Тютева, двое раскрыли ему ротъ, а Мамстрюкъ, по царскому приказанію, изъ глинянаго горшечка влилъ ему въ ротъ расплавленного олова.

— Полей, полей горяченькаго сбיתеньку! — говорилъ царь.

Хозяинъ Тютевъ упалъ, испустивши глухой крикъ, и нѣсколько минутъ метался по полу. Царь любовался его судорогами.

Все наконецъ замолкло. Ввели красиваго черноволосаго челоука лѣтъ двадцати-пяти. Рядомъ съ нимъ вели пожилую женщину, которой правильныя черты лица и большіе черные глаза выказывали былую красоту. Она глядѣла смѣло и держала голову такъ высоко, какъ будто шла принимать подарки.

Царь сказалъ:

— Князь Борисъ Тулуповъ, ты забылъ Господа Бога, и презрѣвъ наши великія къ тебѣ и твоему роду милости, хотѣлъ

убѣжать изъ царства нашего къ недругу нашему Жигимонту-Августу по стопамъ измѣнника нашего Курбскаго, и твоя мать была тебѣ въ томъ помощница. Но Богъ вашу измѣну открылъ, и ты пойманъ на пути вмѣстѣ со своею матерью, и за то ты довелся лютой казни. Посадить его на колъ!

— Царь-государь, — сказалъ осужденный, — я тебѣ не измѣнялъ, а изъ твоего царства хотѣлъ бѣжать отъ великой кручины, что ты, царь-государь, на насъ напрасно гнѣваешься и свою царскую опалу кладешь на насъ безъ всякой нашей вины. Собаку напрасно бить начать, такъ и та со двора сбѣжить. Нынѣ я подъ твоею рукою. Твори съ нами что хочешь. Есть судья надъ тобою: Богъ на небѣ. Онъ воздастъ тебѣ за всѣхъ насъ.

Тулупова посадили на колъ.

— Ты не царь, — крикнула мать, — ты дьяволъ, ты звѣрь лютый. Мучь насъ, терзай. Будь ты проклятъ отъ Бога. Погибнешь ты самъ и весь твой кровопійственный родъ...

— Ха, ха, ха! — закричалъ царь Иванъ. — Княгиня, у тебя языкъ настоящій бабій! Ты видно женщина шутливая, я тебѣ и дамъ веселую смерть. Защекотать ее до смерти. Кудеяръ, начинай ты.

Тяжелая работа выпала на долю Кудеяра. Княгиня металась во всѣ стороны около сидѣвшаго на колу сына. Кудеяръ бѣгалъ за нею. Къ нему присоединились и другіе. Княгиня отмахивалась, вскрикивала, дико хохотала, наконецъ упала безъ чувствъ. Ей дали отдыхъ. Придя въ себя, она приподнялась, бросилась къ сыну, но опричники поймали ее, повалили на полъ и щекотали до смерти.

Царь нѣсколько минутъ тѣшился этой сценой, потомъ далъ знакъ, чтобы ему приводили другихъ. Ввели одиннадцать чело-вѣкъ дворянъ, обвиненныхъ въ соумышленіи съ казненными вельможами. Царь приказалъ всѣхъ ихъ раздѣть до-нага; пятерыхъ велѣлъ передъ своими глазами облить кипяткомъ, но при этомъ досталось и двумъ оприщикамъ, исполнявшимъ царское приказаніе: они нечаянно плеснули кипяткомъ на себя, и царь, увидя это, смѣялся. Троицъ изъ осужденныхъ струбилъ руки, и троимъ ноги и, постегивая тѣхъ и другихъ вѣнцомъ, заставляли первыхъ бѣгать, а вторыхъ ползать, пока они не лишились чувствъ отъ сильной потери крови: тогда царь приказалъ Кудеяру покончить ихъ ударами кулака въ головы.

Царь, обратившись къ оприщикамъ, громко спросилъ:

— Правилень ли мой судъ?

— Праведень, государь, — закричали опричники, — какъ судъ божій.

— Праведенъ ли мой судъ?—спросилъ царь Кудеяра.

— Праведенъ,—сказалъ Кудеяръ, а на душѣ у него было такъ скверно... Онъ чувствовалъ, что опустился въ такую яму, изъ которой выдти уже нѣтъ возможности. Онъ ненавидѣлъ царя, презиралъ себя, но желаніе увидѣть жену преодолевало въ немъ все.

— Довольно пока,—сказалъ царь,—время къ вечернѣ.

Всѣ вышли, оставивши въ пыточной лужи крови, обгорѣлые изуродованные трупы, дымъ, удушающій смрадъ и одно еще живое существо—Тулупова на колу, въ страшныхъ мукахъ смотрѣвшаго на лежащую у ногъ его мертвую мать.

Ударили къ вечернѣ. Опричники, какъ и прежде, вляли поклоны, а царь съ умиленіемъ читалъ псаломъ: «Благослови, душе моя, Господа!» Послѣ ужина и повечерія царь приказалъ позвать Кудеяра.

— Садись,—сказалъ ласково царь Кудеяру,—садись да расскажи намъ про свои походы: чай, не мало ты, бѣдный, горя претерпѣлъ, за то много диковинъ видѣлъ.

Кудеяръ началъ рассказывать свое странствованіе. Царь слушалъ со вниманіемъ. Когда Кудеяръ говорилъ о той мукѣ, какую онъ терпѣлъ въ кафинской тюрьмѣ, царь прерывалъ его вздохами и восклицаніями: «ахъ злодѣй! ахъ, лютые челоуѣкоядцы!»

Кудеяръ воспользовался такимъ благодушіемъ царя и заговорилъ о своей женѣ.

— Бѣдная! какъ она горевала по тебѣ!

— Царь-государь,—сказалъ Кудеяръ, и бросился къ ногамъ царя:—яви отеческую милость. Буду за тебя вѣкъ Бога молить! Кровь пролью за тебя, государя моего! Дозволь мнѣ видѣть жену мою.

— Увидишь, увидишь,—сказалъ царь. — Потерпи немного. Вотъ одинъ искусь тебѣ уже былъ. Будетъ другой. Исполнишь—будетъ третій, тогда и жену увидишь. А теперь рассказывай дальше.

Кудеяръ продолжалъ свою повѣсть, и когда кончилъ, государь приказалъ дать ему стопу крѣпкого меда и сказалъ:

— Ступай, Кудеяръ, отдыхать. Ты сдѣлалъ большой путь къ намъ и сегодня-таки потрудился. Завтра тебѣ опять работа будетъ. Ступай, Господь съ тобой.

Отпустивши Кудеяра, царь позвалъ къ себѣ нѣмецкаго пастора Эбергарда. Этотъ пасторъ изъ плѣнныхъ ливонцевъ, учившійся замѣчательно хорошо по-русски, былъ однажды призванъ царемъ и такъ ему понравился, что царь неоднократно

призывалъ его къ себѣ по вечерамъ, позволялъ ему смѣло хвалить аугсбургское исповѣданіе, осуждать по всѣмъ правиламъ лютеранскаго мудрословія монашество, даже касаться умѣренно почитанія иконъ, соблюденія постовъ и т. п. Православный царь самъ вольнодумствовалъ съ нѣмцемъ, что такъ противорѣчило тому монастырскому обиходу, какой царь завелъ у себя въ слободскомъ дворцѣ. Въ то время царь былъ недоволенъ митрополитомъ Филиппомъ, и ему хотѣлось, чтобы церковь не только не противорѣчила ему, но находила хорошимъ все, что ему вздумается дѣлать. Хитрый нѣмецъ выставлялъ ему свое лютеранство такою религіею, гдѣ царь можетъ быть безусловнымъ, непогрѣшимымъ государемъ церкви, гдѣ нѣтъ ни митрополитовъ, ни архіереевъ, поставленныхъ, по преданію, отъ Христа, а есть только такіе служители алтаря, которые за собою не имѣютъ другого достоинства, кромѣ того, какое имъ дастъ верховная свѣтская власть. Въ этомъ-то и заключалась вся тайна, какимъ образомъ поддѣлался нѣмецкій пасторъ къ московскому царю. Всѣ удивлялись Эбергарду, котораго положеніе напоминало положеніе смѣльчака, усѣвшагося на краю жерла огнедышащей горы. Милостивое обращеніе царя съ пасторомъ не спасало до сихъ поръ единовѣрцевъ и земляковъ пастора отъ царскихъ мучительствъ. Не разъ царь, для потѣхи, приказывалъ убивать передъ своими глазами нѣмецкихъ плѣнниковъ или отдавалъ на продажу въ Крымъ. Эбергардъ никогда не ходатайствовалъ за опальныхъ, не надѣлалъ царю просьбами о своихъ землякахъ, напротивъ, всегда говорилъ царю, что всѣ его поступки исходятъ отъ воли божіей, и если царь бываетъ грозенъ, то это значить, что Богъ караетъ людей за ихъ прегрѣшенія. Умѣлъ, какъ подобало лютеранскому пастору, толковать на всѣ лады тексты св. писанія: Эбергардъ приводилъ ихъ и объяснялъ въ пользу безпредѣльности царской власти такъ удачно, какъ не сдумѣлъ бы ни одинъ православный мудрецъ того времени. Такою угодливостью и покорностью Эбергардъ надѣялся мало-по-малу расположить царя къ нѣмцамъ. Въ этотъ вечеръ Эбергарду казалось, что онъ приблизился къ своей цѣли: царь до такой степени признавалъ превосходство нѣмцевъ передъ русскими, такъ ласково общалъ покровительство и безопасность для нихъ въ своемъ государствѣ, какъ будто для нѣмецкаго племени въ московской странѣ наступала новая, счастливая эпоха.

На другой день, послѣ заутрени, двое опричниковъ объявили Будаюру, что онъ долженъ ѣхать съ ними въ Переяславль; Будаюръ поѣхалъ верхомъ съ двумя только опричниками. Въ полѣ

его воображенію невольно представилась возможность бѣжать изъ проклятаго московскаго пѣкла, но онъ отогналъ отъ себя эту мысль, вспомнивъ, что Настя въ рукахъ у мучителя.

Кудеяра привезли въ Переяславль и помѣстили въ намѣстничьемъ дворѣ. Къ вечеру того же дня пріѣхалъ царь въ ва-ретѣ съ Мамстрюкомъ, Вяземскимъ и молодымъ Басмановымъ, провожаемый верховымъ отрядомъ опричниковъ. Царь помѣстился въ особомъ дворцѣ, нарочно построенномъ для его пріѣзда близъ намѣстничьяго двора.

На другой день царь отслушалъ обѣдню въ переяславльскомъ соборѣ и вкусилъ «Богородицына хлѣбца», а потомъ, ставши вмѣстѣ съ любимцами на переходахъ, окружавшихъ внутренность верхней части дворца, построеннаго на низменномъ подкѣлтѣ, велѣлъ позвать ко дворцу Кудеяра. Царь ничего не сказалъ Кудеяру, когда онъ явился, но, обратившись къ своему шурина, далъ ему такое приказаніе:

— Вонъ, въ той башнѣ сидятъ шестнадцать нѣмецкихъ полоненниковъ: приважи снять съ нихъ цѣпи и привести сюда, а вы, — прибавилъ царь, — обращаясь къ намѣстничьимъ людямъ, за-творите всѣ городскія ворота.

Черезъ нѣсколько минутъ Мамстрюкъ вывелъ изъ башни шестнадцать человѣкъ, блѣдныхъ, изможденныхъ, едва волочившихъ ноги отъ боли, причиненной имъ только-что снятыми съ нихъ кандалами.

— Нѣмцы, — сказалъ царь, — я жалую васъ, освобождаю отъ неволи и отпускаю домой. — Понимаете, нѣмцы.

Изъ нѣмцевъ только одинъ понималъ немного по-русски, и передалъ царское слово землякамъ на ихъ языкѣ. Всѣ подняли вверхъ руки и закричали: *Noch lebe!*

Царь, указывая на ворота, далъ знакъ нѣмцамъ, что они могутъ уходить. Нѣмцы поклонились царю до земли и повернулись съ тѣмъ, чтобы идти. Тогда царь крикнулъ: «Кудеяръ, — бей этихъ нехристей!».

Кудеяръ бросился за нѣмцами и ударами кулака въ спину убилъ двоихъ, одного за другимъ. Остальные, не понимая, что съ ними дѣлается, пустились бѣжать, насколько позволяли имъ больныя ноги. Кудеяръ догналъ ихъ, и еще положилъ двоихъ. Двѣнадцать остальныхъ нѣмцевъ, спохватившись, бросились на Кудеяра, но Кудеяръ схватилъ одного изъ нихъ за ноги, началъ имъ бить нѣмцевъ, свалилъ съ ногъ двоихъ, потомъ, бросивъ о-земь уже умершаго нѣмца, котораго держалъ въ рукахъ, схватилъ другого, размахнулъ имъ, какъ и первымъ, и уходилъ еще дво-

ихъ. Остальные шесть нѣмцевъ, добѣжавши до воротъ, увидали, что ворота заперты, пустились вдоль стѣны искать выхода; Кудеяръ забѣжалъ имъ впередъ, свиснуль въ високъ одного, другого... Четверо прочихъ уже не защищались, бросились на колѣни и просили пощады, произнося: «Jesus». Кудеяръ побилъ ихъ своимъ могучимъ кулакомъ. Шестнадцать труповъ лежали трофеями его силы и покорности царской волѣ. Кудеяръ воротился къ царю и молча, съ непокрытою головою, стоялъ у крыльца царскихъ хоромъ.

— Молодецъ, — сказали царь, и приказалъ подать Кудеяру стопу меда, а трупы нѣмцевъ побросать въ озеро. Вслѣдъ затѣмъ царь обѣдалъ у себя во дворцѣ съ любимцами, а Кудеяру принесли обѣдъ съ царскаго стола. Послѣ обѣда царь выѣхалъ и приказалъ слѣдовать за своею каретою Кудеяру, но не на своемъ татарскомъ конѣ, а верхомъ на быкѣ.

— Господи! — думалъ Кудеяръ, ѣдучи на быкѣ, — каково мнѣ горе послано! — Столько людей безвинныхъ побилъ, а теперь какой срамъ терплю! Все за тебя, моя Настя, все для того, чтобы тебя увидѣть. И сталъ онъ мысленно утѣшать себя: вотъ уже два искуса онъ совершилъ, будетъ еще третій, а какъ третій совершитъ, царь будетъ доволенъ и отдастъ ему Настю, а онъ переодѣнетъ ее и уйдетъ съ нею въ Украину. О, какое будетъ счастье, когда онъ вырвется изъ проклятой московщины! Какъ онъ заживетъ въ двоёмъ съ Настей въ ея батьковскомъ хуторѣ! Довольно онъ уже повоевалъ, пора въ мирѣ пожить хозяиномъ; да и съ кѣмъ воевать. На татаръ онъ не будетъ нападать, пока его другъ и благодѣтель царствуетъ въ Крыму. Развѣ сами нападутъ, тогда иное дѣло! На Москву развѣ пошлютъ, но онъ найметъ вмѣсто себя наймита; на его вѣкъ съ Настей хватить того, что ему ханъ далъ, а если въ Украинѣ ему почему-нибудь станетъ не хорошо, такъ онъ махнетъ къ своему другу Девлету: вѣдь общался онъ дать ему помѣстье въ Крыму.

Такъ грезилъ Кудеяръ о возможности счастья, стараясь подавить гнетущее чувство нравственнаго униженія, и пріѣхалъ въ Александровскую слободу не въ видѣ витязя, а въ видѣ шута. Уже не это ли третій искусъ мой, — подумалъ Кудеяръ, и ему входила въ голову надежда — что, если царь позоветъ его и скажетъ: «Кудеяръ, ты исполнилъ этотъ третій искусъ, подвергся сраму, покоряясь моей волѣ, возьми свою Настю».

Однако въ тотъ день не позвали Кудеяра къ царю.

На слѣдующій день заутрени — и Кудеяръ прослушалъ царя, читающаго шестипсалмие и каѣнзмы. Пришло время обѣдни. При са-

момъ началъ ея Кудеаръ замѣтить, что царь подозвалъ къ себѣ Малюту, говорилъ съ нимъ, поглядывая на Кудеара съ какимъ-то выраженіемъ злобной насмѣшки, потомъ Малюта ушелъ, бросивши на Кудеара злорадственный взглядъ.

Послѣ обѣдни, всѣ по обычаю усѣлись обѣдать. Кудеаръ тоже сѣлъ. Царь взялъ прологъ, чтобы читать житіе святого того дня, и вдругъ, вмѣсто чтенія, взглянувши на Кудеара—сказалъ:

— Кудеаръ, наступаешь твой третій, послѣдній искусь. Если ты его выдержишь, то будешь у меня лучший слуга, первый человѣкъ. Знай это. Ты сегодня обѣдать будешь не у меня, не здѣсь, а поведутъ тебя въ иное мѣсто.

Кудеаръ всталъ, встали Малюта, Мамстрюкъ и четверо опричниковъ: они повели Кудеара въ одну изъ избъ, построенныхъ на царскомъ дворѣ.

Тамъ, въ свѣтлицѣ, на столѣ, покрытомъ красною скатертью, стояла оловянная миса щей; подлѣ нея лежалъ ломоть хлѣба, а надъ столомъ, на ерюкѣ, вбитомъ въ матицу, висѣлъ трупъ женщины.

Кудеаръ, взглянулъ на трупъ повѣшенной, и узналъ свою Настю.

На человѣческомъ языкѣ не найдется словъ, чтобы выразить то, что почувствовалъ тогда Кудеаръ.

— Садись и обѣдай,—сказалъ ему Малюта.

Въ головѣ Кудеара свернула такая мысль: чтобы отмстить убійцѣ Насте, нужно быть къ нему допущеннымъ, а допущеннымъ онъ можетъ быть, исполнивъ до конца его волю. Кудеаръ сѣлъ за столъ, взялъ ложку и сталъ подносить ко рту щи, задѣвая рукою холодную ногу своей мертвой Насте. Онъ не въ состояніи былъ проглотить щей, и они текли по бородѣ его.

— Смотрите, смотрите,—говорили опричники,—вотъ что называется: по бородѣ текло, а въ ротъ не попало.

Трудно было Кудеару пересиливать себя. Онъ положилъ ложку и сказалъ:

— Доложите великому государю, что я совершилъ свой третій искусь.

— Мало ѣлъ, еще покушай,—сказалъ Малюта,—а то голоденъ будешь. Мясца кусочекъ съѣшь!

Кудеаръ сталъ доставать изъ миски кусокъ мяса, и при этомъ снова зацѣпилъ ногу покойницы, и нога, заколывавшись съ тѣломъ, ударила его въ губы.

— Ха, ха, ха! поцѣловался съ женою,—сказалъ Малюта.

— Смотри, жены не съѣшь вмѣсто говядины, — сказалъ одинъ изъ опричниковъ.

— Выпей, Кудеяръ, винца, — сказалъ Малюта, — выпей во здравіе государя.

Кудеяръ, повинаясь приказанію, налилъ вина и выпилъ.

— Ну, коли наѣлся и напился, такъ пойдемъ, доложимъ царю-государю, а на ночь съ царскаго дозволенія возьмешь жену на постелю.

Они вышли. Малюта пошелъ докладывать царю. Кудеяръ съ опричниками стоялъ на дворѣ. Въ глазахъ его не было ни слезинки. Онъ молча и какъ-бы равнодушно смотрѣлъ вдаль. Черезъ нѣсколько минутъ воротился Малюта и сказалъ: «Кудеяръ, тебя зоветъ царь-государь, иди смѣло; царь-государь будетъ къ тебѣ несказанно милостивъ».

Кудеяра ввели во дворецъ, повели черезъ царскіе покои, обитые сафьяномъ съ тисненными золотыми узорами, и ввели въ угольный покой. Царь стоялъ у окна, опершись на свой посохъ; противъ него у дверей, въ которыя долженъ былъ входить Кудеяръ, стояли Вяземскій, Басмановъ и Василій Грязной.

— Ну, Кудеярушка, — сказалъ царь ласково, — ты совершилъ свой третій искусь...

— Совершу четвертый, — прервалъ Кудеяръ, — и сжавъ кулаки, бросился на царя; но вдругъ полъ подъ нимъ раскрылся и онъ упалъ стремглавъ въ подклѣтъ, на полторы сажени ниже комнаты.

— Ха, ха, ха! — воскликнулъ царь, — забылъ, собака, а можетъ, и не зналъ, мужикъ-невѣжа, что Богъ повсюду охраняетъ помазанника своего. Ангеломъ своимъ заповѣсть о тебѣ, да не преткнеши о камень ногу твою.

Въ то время, какъ Кудеяръ бросился на царя, Вяземскій и Басмановъ дернули за доску, прикрывавшую отверстіе на полу. Все было предусмотрено заранѣе. Ожидали именно того, что случилось.

— Закройте его, пусть пропадаетъ тамъ голодною смертію, — сказалъ царь, и вышелъ изъ комнаты.

## V.

## Побѣгъ.

На другой день царь, приказавши разослать по всему государству грамоты о молебствіи по поводу спасенія его отъ рукъ убійцы, отправился сожигать дворы и разорять вотчины недавно казненныхъ, а дворецъ на время былъ порученъ Мамстрюку Темрюковичу. При немъ было оставлено нѣсколько опричниковъ.

Татарскій посланникъ Ямболдуй-мурза, выѣхавшій изъ Бакчисарая вмѣстѣ съ Кудеяромъ, тотчасъ узналъ, что сдѣлалъ царь съ женою Кудеяра и что потомъ случилось съ самимъ Кудеяромъ. При отправленіи своего посла изъ столицы, ханъ Девлетъ-Гирей поручилъ ему наблюдать, какъ московскій царь приметъ Кудеяра, отдастъ ли ему тотчасъ его жену, и не станеть ли стѣснять его свободы. Въ такомъ случаѣ Ямболдуй-мурза долженъ былъ немедленно требовать отъ московскаго государя освобожденія Кудеяра и отпуска его изъ государства, въ противномъ случаѣ угрожать царю, что за Кудеяра ханъ отмститъ на двухъ сыновьяхъ царскаго шурина, взятыхъ въ плѣнъ ханскимъ сыномъ Адиль-Гиреемъ. Ямболдуй-мурза съ жаромъ ухватился за это дѣло; кромѣ своей обязанности, онъ хотѣлъ угодить хану, зная, какъ ханъ полюбилъ своего избавителя.

О плѣнныхъ черкесскихъ князькахъ, сыновьяхъ Мамстрюка, уже шли переговоры, и царь, желая сдѣлать угодное своему шурина, общалъ за избавленіе племянниковъ царицы отпустить татарскихъ плѣнниковъ, поименованныхъ въ спискѣ, нарочно присланномъ при грамотѣ крымскаго хана: дѣло останавливалось только затѣмъ, чтобы сыскать ихъ всѣхъ. Ямболдуй-мурза пришелъ къ Мамстрюку въ домъ, находившійся въ слободѣ, и сказалъ на татарскомъ языкѣ, который разумѣлъ черкесскій князь.

— Князь Мамстрюкъ! свѣтлѣйшій мой повелитель, ханъ Девлетъ-Гирей, далъ мнѣ такое повелѣніе: коли Кудеяру стануть въ Москвѣ причинять какое-нибудь зло, то мнѣ придти къ тебѣ и сказать, чтобы Кудеяра отпустили къ намъ, коли онъ вамъ не нуженъ на службѣ, а буде не отпустите и Кудеяра лишите живота, то ханъ прикажетъ казнить лютою смертію твоихъ двухъ сыновей, которыхъ Адиль-Гирей взялъ въ полонъ, да еще пошлетъ свою орду разорить въ конецъ улусъ твоего отца; да еще велѣно мнѣ сказать тоже и великому государю вашему, что коли

вашъ государь Кудеяра безвинно казнить, то свѣтлѣйшій ханъ самъ пойдетъ войною на землю московскаго государства.

Мамстрюкъ сначала сталъ-было доказывать, что Кудеяра предають казни не безвинно, что онъ покусился на жизнь государя, а такихъ злодѣевъ нигдѣ не милуютъ. Но Ямболдуй-мурза прервалъ его и указалъ на то, что царь безъ всякой вины убилъ жену Кудеяру, и если Кудеяръ точно покушался на жизнь государя, то сдѣлавъ это самъ себя не помня, и ему того ставить въ вину нельзя.

Мамстрюкъ понялъ, что крымскому послу все извѣстно, и не сталъ болѣе спорить.

— Но какъ же быть, — сказали онъ: — нашъ государь бываетъ не въ мѣру гнѣвенъ. Ты посоль, а коли такое ему скажешь, то онъ и съ тобою не вѣсть что учинить; а мнѣ ему сказать то, — онъ мнѣ за такое слово велитъ языкъ урѣзать.

— Ну, такъ попрощайся со своими сыновьями, — сказали Ямболдуй-мурза: — ханъ велитъ ихъ казнить самыми лютыми муками. Если хочешь, чтобы сыновья твои были живы, спаси Кудеяра и отпусти къ намъ.

Мамстрюкъ отговаривался тѣмъ, что надобно во всякомъ случаѣ подождать царя, что если ханъ далъ такое порученіе Ямболдуй-мурзѣ, то пусть самъ говорить царю, когда онъ вернется изъ похода.

— Пока онъ вернется, Кудеяръ умретъ съ голоду, — сказали Ямболдуй-мурза. Освободи Кудеяра, а я отправлю его въ Крымъ, иначе сыновья твои погибли.

— Такъ вотъ что, — сказали Мамстрюкъ: — царю объ этомъ сказать невозможно и отпустить Кудеяра къ тебѣ тако-жъ нельзя: мнѣ за то голову снесетъ царь... А вотъ, слушай... Ямболдуй-мурза, будь мнѣ другъ, и я тебѣ другъ буду! Поклянись по своей вѣрѣ, что никому не скажешь; будемъ знать про то я, да ты, да третій, кого я выберу, а больше никто.

— Я клянусь тебѣ, что никому не скажу, — сказали Ямболдуй-мурза: — только чтобы Кудеяръ былъ живъ и свободенъ.

— Онъ будетъ живъ и свободенъ, — сказалъ Мамстрюкъ. — Мои сыновья — своя кровь, мнѣ дороже всего! Царь-государь далъ мнѣ дворцомъ управлять; какъ царь вернется, я донесу ему, что Кудеяръ въ подклѣтѣ умеръ, скажу — самъ себя разбилъ голову съ голоду и досады, а я велѣлъ тѣло его бросить въ озеро. Только въ Крымъ отпустить Кудеяра невозможно, тамъ Аванасій Нагой — нашъ посоль — узнаетъ, что Кудеяръ въ Крыму и тотчасъ напишетъ царю. А пусть Кудеяръ бѣжитъ въ Литву; вѣдь онъ

къ намъ и пришелъ изъ литовской земли, вѣдь онъ литовскій человѣкъ, а не московскій, пусть, тамъ живучи, имя себѣ перемѣнить, а Кудеяромъ не зовется. Дай ему листъ свой, будто ты своего татарина за дѣломъ въ Литву посылаешь, и я тебѣ велю дать грамоту, что позволено тебѣ гонца послать; а государю скажу, что ты посылаешь о моихъ сыновьяхъ черезъ Литву гонца.

— Пусть такъ будетъ,—сказалъ Ямболдуй-мурза,—лишь бы я видѣлъ Кудеяра и зналъ, что онъ на волѣ, тогда и сыновья твои будутъ отпущены на волю; а буде Кудеяръ изъ московскаго государства благополучно не выбудетъ, твоимъ сыновьямъ на волѣ не быть и тебѣ ихъ не видать.

Былъ у Мамстрюка вѣрный, преданный слуга, родомъ черкесь, по имени Алимъ, въ крещеніи Наумъ. Мамстрюкъ довѣрилъ ему тайну и сталъ совѣтоваться, какъ бы сдѣлать такъ, чтобы и самъ Кудеяръ не зналъ и никому сказать не могъ, кто его спасъ.

Алимъ, подумавши, далъ такой совѣтъ:

— Помнишь ли, съ мѣсяцъ тому назадъ нашъ опричный человѣкъ Федька Ловчиковъ доносилъ на другого опричнаго человѣка, Самсонку Костомарова, будто онъ, Самсонка, хотѣлъ бѣжать въ Литву и для того ѣздилъ къ литовскому гонцу, а Самсонка въ отвѣтъ государю заперся и сказалъ, что у литовскаго гонца не былъ и бѣжать не умышлялъ. Царь-государь велѣлъ отдать Самсонку на поруки, но изъ опричнины его не выбилъ, а я подлинно знаю, что Самсонка былъ у литовскаго гонца и бѣжать хотѣлъ, и теперь живетъ въ опричинѣ не по охотѣ и всѣхъ боится. Еслибы тому Самсонкѣ дать денегъ, съ чѣмъ бы ему уйти, онъ ушелъ бы вмѣстѣ съ Кудеяромъ. Кудеяръ думалъ бы, что его Самсонка освободилъ, а Самсонка зналъ бы только про меня, а про тебя не зналъ бы ничего.

Мамстрюкъ далъ полную волю своему Алимѣ.

Самсонъ Мартыновичъ Костомаровъ былъ широкоплечій дѣтина, лѣтъ тридцати, родомъ изъ каширскихъ дѣтей боярскихъ, служилъ въ войскѣ и попался въ плѣнъ литовцамъ. Судьба бросила его во дворъ одного литовскаго пана, гдѣ обращались съ нимъ очень ласково. Тамъ ему зазнобила сердце дочь одного литовскаго земанина, жившая на воспитаніи при дворѣ жены пана, у котораго находился Самсонъ. Дѣвица была не прочь выйти за молодого москвитина, да и панья, ея покровительница, не находила этого неудобнымъ, зная, что Самсонъ съ охотою останется навсегда въ Литвѣ, но родители дѣвицы воспротивились такому браку. Наступилъ размѣтъ плѣнныхъ. Самсонъ съ не-

охотою вернулся на родину, гдѣ у него оставалась немилая, постылая жена, съ которою противъ его воли соединили родители еще въ юныхъ лѣтахъ. Установляя опричнину, царь зачислилъ въ нее Самсона, а изъ опричныхъ вмѣстѣ съ другими выбралъ въ число тѣхъ, которые должны были находиться неотлучно при его дворѣ въ Александровской слободѣ. Казни царя претили Самсону; горячаго нрава и невоздержный на языкъ, онъ съ трудомъ могъ скрывать свое омерзѣніе къ той средѣ, въ которой находился, и наконецъ, потерявши терпѣніе, пошелъ къ литовскому гонцу просить, чтобы онъ увезъ его съ собою. Гонецъ не рѣшился брать царскаго человѣка, потому что это было прямое нарушеніе посольскихъ правъ, но увѣрилъ Самсона, что если онъ самъ найдетъ способъ убѣжать, то король Жигимонтъ-Августъ приметъ его ласково и надѣлится помѣстьемъ. Этотъ же гонецъ сообщалъ ему, что отецъ панны, на которой хотѣлъ жениться Самсонъ, уже умеръ, и панна еще не вышла замужъ. Послѣ сдѣланнаго на него доноса Ловчиковымъ, положеніе Костомарова было до крайности опасно; у царя оставалось на него подозрѣніе, и при первомъ случаѣ, когда царю что-нибудь не понравилось бы, царь немедленно приказалъ бы казнить его.

Алимъ, обратясь къ этому Самсону, посулилъ ему три тысячи рублей, если онъ согласится при его содѣйствіи освободить Кудеяра и бѣжать съ нимъ въ Литву подъ видомъ татаръ, посылаемыхъ въ Литву ханскимъ посломъ.

Самсонъ сначала не поддавался, подозрѣвая, не испытываютъ ли его, но когда Алимъ положилъ передъ нимъ деньги и проѣзжую грамоту, Самсонъ согласился. Между тѣмъ уже третій день Кудеяръ оставался безъ пищи въ своемъ заточеніи. Надобно было торопиться; время же было удобное, такъ какъ во дворцѣ людей было немного. Въ вечеръ этого дня назначена была выручка Кудеяра.

Мамстрюкъ заранѣе приготовилъ татарское платье для двоихъ, а Ямболдуй-мурза двухъ отличныхъ лошадей. Мамстрюкъ вмѣстѣ съ Алимомъ прошелъ заднимъ ходомъ во дворецъ, а потомъ Алимъ другимъ ходомъ провелъ Костомарова въ ту комнату, гдѣ отерывался полъ въ подклѣтъ. Алимъ поставилъ тамъ лѣсенку и положилъ на столъ большой кусокъ мяса, ломоть хлѣба и стекляницу вина, а самъ вышелъ прочь, запретивши Костомарову называть себя и приказывая увѣрить Кудеяра, что Костомаровъ одинъ, безъ участниковъ, избавляетъ его.

Самсонъ открылъ отверстіе, спустил лѣсенку въ подклѣтъ и сталъ звать Кудеяра по имени.

Отвѣта не было.

Самсонъ сталъ вливать сильнѣе. Изъ подклѣта раздался глухой голосъ: «я».

Съ минуты заключенія Кудеарь находился въ какомъ-то безсознательномъ состояніи, ни на что не надѣялся, ничего не желалъ, ни о чемъ не жалѣлъ, потому что на свѣтѣ для него ничего не осталось, чего бы можно было жалѣть. Кудеарь даже почти не чувствовалъ мученій голода. Внезапное произнесеніе его имени вывело Кудеара изъ этого, полу-летаргическаго сна.

— Вылѣзай скорѣе, скорѣе—говорилъ Костомаровъ.

Кудеарь уцѣпился за лѣсенку, и въ первый разъ почувствовалъ, что голодъ отнялъ у него обычную силу.

— Идемъ, идемъ скорѣе,—говорилъ Самсонъ,—насъ ждутъ лошади.

Вѣсть о свободѣ привела Кудеара въ себя. Первая мысль его о мщеніи убійцъ Насти.

— Гдѣ онъ? гдѣ онъ?—говорилъ Кудеарь, вылѣзши изъ подклѣта и озираясь кругомъ.

— Молчи, молчи,—останавливалъ Самсонъ,—прежде съѣшь и выпей, потомъ перемѣни платье.

Кудеарь съ жадностью принялся за ѣду, выпилъ вина, и черезъ пять минутъ былъ одѣтъ въ татарское платье.

— Если,—сказалъ Самсонъ,—насъ будутъ спрашивать караульные у воротъ, — ты ничего не говори, показывай видъ, что ты прибывшій татаринъ и по-русски не разумѣешь.

Они вышли; за ними слѣдомъ шелъ Алимъ, чтобы выручить ихъ своимъ присутствіемъ отъ вопросовъ караульныхъ.

Но караульные не спрашивали идущихъ, такъ какъ за ними шелъ Алимъ, котораго они хорошо знали. Алимъ проводилъ бѣглецовъ до самаго подворья, гдѣ жилъ ханскій посолъ, и ушелъ, не сказавъ имъ ни слова.

Ямболдуй-мурза, знавшій хорошо въ лицо Кудеара, ахнулъ отъ удивленія, когда увидалъ, что у Кудеара борода была сѣдая и изъ-подъ татарской шапки высывалась посѣдѣлая прядь казачкаго чуба. Это сдѣлалось съ нимъ въ нѣсколько дней отъ сильнаго потрясенія.

— Я тебя выручилъ, — сказалъ Ямболдуй-мурза, — ты спасъ нашего свѣтлѣйшаго государя отъ смерти, теперь я тебѣ заплачу за своего государя. Ступай только не въ Крымъ, а въ Литву и называйся тамъ какимъ-нибудь другимъ именемъ, а не Кудеаромъ, мѣшать нельзя. Ступай тотчасъ. Провожатыхъ я

тебѣ не могу дать, кромѣ твоего товарища. Вотъ тебѣ московская грамота, вотъ тебѣ сабля, лукъ, колчанъ, ружье.

— А у меня пистолеты, — сказалъ Самсонъ.

— Отъ разбойниковъ, буде нападутъ, отбивайтесь вдвоемъ, — сказалъ Ямболдуй.

— Я не боюсь разбойниковъ, — сказалъ Кудеяръ: — московское государство таково, что въ немъ разбойники лучшіе люди.

Бѣглецы сѣли на лошадей и поскакали. Самсонъ не могъ объяснить Кудеяру, кто руководилъ его спасеніемъ, не назвалъ даже Алима, сказавши только, что ему помогъ какой-то татаринъ. И Кудеяръ клялся Самсону въ вѣчной признательности за избавленіе. Когда друзья открыли другъ другу свои задушевные намѣренія, то увидали, что имъ предстоятъ различныя дороги. Костомаровъ только и думалъ какъ бы добраться до Литвы, гдѣ у него была своя зазнобушка, гдѣ онъ надѣялся получить отъ короля помѣстье и разомъ навсегда избавиться отъ постылой жены и отъ ненавистной царской службы. Онъ убѣждалъ и Кудеяра поступить также, и искать милости у литовскаго короля.

— Тебѣ эта дорога встаетъ, — сказалъ Кудеяръ, — а мнѣ нужна другая. Была бы жива моя Настя, я бы такъ и сдѣлалъ, но лютый змѣй съѣлъ мою добрую, бѣдную жену! Теперь, что мнѣ королевскія милости! Что мнѣ помѣстья! Къ чему мнѣ богатства? Одна дума осталась на душѣ: отмстить злодѣямъ. Не удалось мнѣ задушить его своими руками въ тотъ день, какъ онъ извелъ мою Настю... У мучителя хитрости такія, что не смеешь заранѣе... Но теперь — развѣ живъ не буду, а то я его, изверга, тѣмъ или другимъ способомъ, а докажу. Вотъ ты, другъ, зовешь меня въ Литву, а я бы тебѣ иное сказалъ: не ѣздить бы тебѣ въ Литву, а остаться и спасать свою землю отъ мучителя. Ты вѣдь прирожденный московскій человѣкъ. Тебѣ бы за твою землю постоять! Много теперь такихъ, что мучитель обидѣлъ. Ихъ бы всѣхъ собрать да идти съ ними на мучителя!

— Э, другъ, — сказалъ Костомаровъ, — чортъ съ ними, со всѣми этими московскими людьми. Приглядѣлся я въ Литвѣ, какъ вольные люди-то живутъ: совсѣмъ не по здѣшнему. Тамъ шляхтичъ, что у насъ сынъ боярскій, а таковъ ли какъ нашъ? Нѣтъ, онъ знаетъ свою честь и говоритъ: шляхтичъ у себя на загородѣ равенъ самому воеводѣ. А сенаторъ — что у насъ бояринъ, таковъ ли какъ нашъ? Вздумалъ бы тамъ король такъ дуровать, какъ царь у насъ дуруетъ! Эге! какъ бы не такъ! А у насъ — и бояринъ, и князь все равно, что подлый человѣкъ передъ царемъ. Какого добра надѣяться отъ такой земли! Тамъ

изъ прадѣдовъ, изъ прапрадѣдовъ есть вольные люди, а у насъ всякій московскій человѣкъ, каковъ ни буди изъ прадѣдовъ и изъ прапрадѣдовъ — рабъ подлый, и только! Больше ничего! Нѣтъ, другъ, ты какъ себѣ знаешь, а я отрекаюсь навсегда отъ проклятой московской земли и отъ людей ея: дѣтямъ своимъ, если у меня будутъ, и внукамъ и правнукамъ дамъ зарокъ не ворочаться въ Московщину...

Костомаровъ однако очень пригодился Кудеяру: на будущее время онъ познакомилъ его своими разсказами съ состояніемъ московскаго государства. Онъ сказалъ ему, что у царя-мучителя есть двоюродный братъ Владимиръ Андреевичъ, котораго мучитель не любитъ, а многіе его любятъ и хотѣли бы посадить на престолъ Владимира. Онъ объяснилъ ему, кромѣ того, что многіе втайнѣ считаютъ Ивана незаконнымъ по рожденію, такъ какъ отецъ его, великій князь, развелся съ законной своей женой Соломоніей, заточилъ ее насильно въ монастырь, а самъ женился отъ живой жены на другой, а отъ этой другой родился мучитель. X

— Бають, — говорилъ Костомаровъ, — что какъ Соломонію государыню заперли въ монастырь, а она объявилась въ тягости, родила сына, а новая государыня со своими клеветы, не допустивъ о томъ вѣсти до великаго князя Василія, велѣла тайно извести младенца, а великій князь Василій, хотъ и узналъ про то, что прежняя жена родила сына, но ему сказали, что тотъ сынъ, родившись, тотчасъ умеръ, а говорятъ, будто тотъ сынъ живъ; да это, знаешь, только такъ бають, а правда ли тому — Богъ вѣсть!

— Вотъ, кабы отыскать этого сына! — сказалъ Кудеяръ, — но какъ его нѣтъ и найти невозможно, такъ надобно за Владимира Андреевича браться.

Ни Кудеяръ не уговорилъ Костомарова остаться въ московскомъ государствѣ и стать за Владимира Андреевича противъ мучителя, ни Костомаровъ не уговорилъ Кудеяра покинуть московское государство и уйти въ Литву. Друзья разстались. Костомаровъ повернулъ ближайшею дорогою въ Литву, а Кудеяръ на югъ, по направленію къ Бѣлеву.

Н. Костомаровъ.



---

# ШЕРРЪ-ЖОЗЕФЪ ПРУДОНЪ

## ВЪ ПИСЬМАХЪ

---

*Correspondance de P.-J. Proudhon, précédée d'une Notice sur P.-J. Proudhon*  
par J.-A. Langlois. Paris. A. Lacroix et C<sup>ie</sup>. 1875. Tomes I-VIII.

---

V \*).

Мы подошли къ тому моменту умственной жизни Прудона, когда онъ приступилъ къ замыслу перваго своего критическаго труда по наукѣ общества, того труда, который окрестилъ его прозвищемъ отчаяннаго коммуниста (какимъ онъ никогда не былъ), благодаря слишкомъ рѣзкой и неясной въ то же время формулѣ. Переписка его, относящаяся къ 1840 году, если и бѣднѣе численно, чѣмъ въ предыдущемъ году (на 1840 г. приходится всего 20 писемъ и одна докладная записка), то гораздо полнѣе и характернѣе для исторіи Прудонова развитія. Съ самымъ близкимъ пріателемъ своимъ—Бергманомъ, Прудонъ переписывается въ этомъ году особенно усердно. Цѣлыхъ восемь писемъ значатся подъ 1840 годомъ. Изъ нихъ первое по числу отправки сейчасъ же даетъ намъ полнѣйшее понятіе о томъ, что дѣлается въ умѣ Прудона. Письмо это трудно не назвать *драгоценнымъ*, какъ читатель самъ увидитъ изъ нашихъ пространныхъ выписокъ.

Помѣчено письмо 9-мъ февраля 1840 г. и писано въ Парижѣ, во второй годъ жизни Прудона насчетъ стипендіи Сюара.

---

\*) См. выше: мартъ, 154 стр.

Отвѣчая Бергману на выраженіе его сочувствія некрасной долѣ парижскаго стипендіата-пріятеля, Прудонъ сначала высказывается о себѣ и о своей вѣроятной будущности, а потомъ незамѣтно переходитъ къ жалобамъ на недостатокъ мыслителей, *какіе ему нужны*, и къ программѣ своего труда о «собственности».

«Нѣтъ,—вырывается у него душевный возгласъ,—я ничего не жду, ни отъ публики, которая *никогда меня не узнаетъ*, потому что меня отдѣляетъ отъ нея непроходимая застава, ни отъ патронѣвъ моихъ, потому что они трусы, эгоисты, тѣла безъ разума; ни отъ специалистовъ, которые могли бы, пожалуй, понять меня; но ихъ душить чувство литературной и философской собственности; ни отъ запѣвалъ общественнаго мнѣнія, потому что они ничего во мнѣ не поймутъ, кромѣ развѣ моей къ нимъ ненависти и презрѣнія. Но у меня всегда будетъ нѣсколько чистыхъ душъ среди друзей моихъ, а въ ихъ числѣ и высокія интеллигенціи».

Потребность въ знакомствѣ съ научнымъ, синтетическимъ умомъ, уже отмѣченная нами, сказывается въ этомъ письмѣ еще живѣе и ярче. И приходится выразить то же сожалѣніе: зачѣмъ Прудонъ не искалъ хорошенько въ тогдашнемъ Парижѣ и сочиненій, и людей, способныхъ удовлетворить его.

«Бѣдность по части философской (*expérience en philosophie*, какъ онъ выражается) всего того, что меня окружаетъ, лишаетъ меня бесѣды и контроля надъ самимъ собою. Можно ли мнѣ обращаться къ какому-нибудь Жюффруа, когда онъ самъ не вѣритъ въ науку, преподаваемую имъ, когда онъ говорить съ неприличнымъ нахальствомъ, что *философія — очень-таки пустая вещь* <sup>1)</sup>, находя, вѣроятно, что его жалованье въ 15 — 20,000 франковъ, получаемое въ разныхъ мѣстахъ — дѣло гораздо болѣе солидное. Развѣ такое существо пойметъ, что я ищу для вопросовъ морали общества, метафизики, непогрѣшимыхъ методовъ рѣшенія, подобныхъ методамъ математиковъ? Развѣ онъ повѣритъ той простой истинѣ, что законы ариметики и алгебры управляютъ движеніями обществъ точно такъ, какъ химическими комбинаціями атомовъ, что ничего въ нравственномъ мірѣ, равно какъ и въ мірѣ механическомъ, не дѣлается *sine pondere, et numero, et mensurâ*? Какъ ему понять, что *свойства чиселъ* (въ подлинникѣ: *propriétés des nombres*) образуютъ связь, соединяющую практическую философію съ философіей органической? Въ состояніи ли онъ, наконецъ, допустить, что законъ не мо-

<sup>1)</sup> Курсивъ въ подлинникѣ.

жеть имѣть своимъ источникомъ никакую волю: народа ли, представителей его, или короля, а что источникъ его — открытіе и признаніе истины разумомъ? Онъ не признаетъ даже того, что политическая и нравственная истина можетъ быть познана».

И, распространяя свое недовольство на всѣхъ современныхъ ему французовъ, принадлежавшихъ къ интеллигентному міру, Прудонъ спрашиваетъ:

«Кто пойметъ въ настоящее время книгу, пропитанную методомъ, гдѣ не претендуютъ вовсе сразу дать всевозможныя рѣшенія, но гдѣ съ достовѣрностью говорятъ о вещахъ, до сихъ поръ еще очень темныхъ и навѣки объявленныхъ неразъяснимыми? Ты, схватившій за крылья геній языковъ (онъ обращается къ Бергману), признаешь же, что человѣческій умъ можетъ открывать странныя вещи; но чернь (а черню — *le vulgaire* — я называю все, что стоитъ въ уровень съ *журнальнымъ* знаніемъ — *savoir journalistique*) — допускаетъ ли она, что можно знать больше ея?»

Въ этомъ отрывкѣ интимѣйшаго письма ярко проявляется умственный кризисъ, происходящій въ Прудонѣ. Давно ли онъ съ горячностью искренняго вѣрованія формулировалъ свои теоріи объ истинахъ, до вѣка существовавшихъ и восстанавливаемыхъ посредствомъ лингвистики, — и вотъ онъ уже на пути научнаго мышленія. Въ качествѣ самородка, во-время не познакомившагося съ строго-научнымъ синтезомъ, онъ позволяетъ себѣ такіа наивныя положенія, какъ, напримѣръ, признаніе числовыхъ ариметическихъ данныхъ — законами, управляющими прогрессомъ человечества. Но все это — обмолвки. Суть мыслительнаго направленія показнулась, и показнулась въ сторону положительную, научную, серьезную. Если Прудонъ и впослѣдствіи будетъ все ходить вокругъ да около настоящаго научно-философскаго метода, это не отниметъ у его личной умственной инициативы достоинства, какихъ мы не найдемъ у критиковъ, занимавшихся тѣми же, или почти тѣми же обобщеніями.

Обращаемъ вниманіе читателя на то, что исходный нравственный мотивъ къ первому социальному труду Прудона былъ мотивъ правды и справедливости, того, что обозначаетъ болѣе полное французское слово — «justice». Эта идея, выношенная имъ всей своей трудовой жизнью, проникаетъ въ сущности всю его мыслительную дѣятельность. Весь запасъ знаній и выводовъ служилъ ему какъ въ началѣ его поприща, такъ и въ послѣдующія эпохи, орудіемъ для защиты этой коренной идеи. Въ борьбѣ за «справедливость», Прудонъ ставилъ всегда одинъ принципъ выше

всего остального, выдѣлялъ его, доказывалъ его *имманентность*, первичность его существованія, дѣлалъ изъ него причину, а не слѣдствіе, какъ бы должно было, и роковымъ образомъ впадалъ въ метафизику, не желая того. Идея справедливости дала толчокъ его изслѣдованію о «собственности»; она же, въ тотъ періодъ, когда принципы Прудона сложатся вполнѣ, заставитъ его написать цѣлый трактатъ, специально посвященный тому, что онъ разумѣлъ подъ прирожденной и «нерукотворенной», такъ сказать, *justice*.

Высказавшись въ горячемъ, задушевномъ тонѣ пріятелю, Прудонъ переходитъ прямо къ программѣ своего труда:

«*Предметъ всего сочиненія*—опредѣлить идею справедливаго, его принципъ, его характеръ и его формулу.

«*Методъ*. Опредѣленіе идеи справедливаго въ собственности, и, во-1-хъ, въ правѣ занятія; я нахожу путемъ анализа, что всѣ теоріи, выдуманныя философами, легистами и проч. предполагаютъ по смыслу своему (*implicitement*) *равенство*. Равенство есть необходимый законъ, категорическая форма, которой всѣ повинуются не зная того, даже когда удаляются отъ нея во всѣхъ ученіяхъ о собственности.

«Во-2-хъ, опредѣленіе справедливаго въ собственности, основанной на трудѣ. Я доказываю тѣмъ же аналитическимъ методомъ, что право труда, къ которому зываютъ экономисты, *какъ бы они его ни разумѣли* и даже *по ихъ собственнымъ даннымъ*, въ результатѣ своемъ имѣетъ равенство. Но равенство не существуетъ; утверждаютъ даже, что оно *невозможно*. Въ такомъ случаѣ я доказываю, что сама собственность невозможна, не *per abusum rei*, но *in se*; что она—нелѣпость, небытіе, что въ ея опредѣленіяхъ заключается противорѣчіе, что она приводитъ къ цѣлому муравейнику бессмыслицъ и метафизическихъ невозможностей; словомъ, что она *фактически существуетъ*, но что она *невозможна*.

«Въ этомъ мѣстѣ—изложеніе, на основаніи всѣхъ предварительно собранныхъ доводовъ, общественности, равенства, свободы, справедливости и принципа власти.

«Продолженіе: примѣненіе законовъ или метафизическихъ формулъ, полученныхъ посредствомъ метода, къ политической экономіи, гражданскому праву, политикѣ, и критика этихъ наукъ.

«Конецъ: общіе взгляды на философію исторіи и ходъ чело-вѣчества.

«Въ первый разъ настоящій методъ будетъ употребленъ въ философіи, и дѣйствительно *покажетъ*, посредствомъ должнаго

анализа то, что было навсегда сокрыто путемъ интуитивнымъ и гадательнымъ, ибо и тотъ и другой путь ничего не доказываютъ.

«Однимъ словомъ, я во все это не влагаю ничего своего; я ищу, а для того, чтобы лучше искать, я дѣлаю себѣ инструментъ, беру руководителя, я привязываю шнурокъ къ двери того лабиринта, куда я пускаюсь. Кромѣ того, я никогда не отрицаю, я никого не опровергаю, я допускаю всякія мнѣнія и довольствуюсь изслѣдованіемъ того, что въ нихъ заключается. А то, что всѣ онѣ по необходимости заключаютъ въ себѣ, дѣлается для меня истиннымъ принципомъ, аксіомой, окончательную причину которой ищу я въ физиологическомъ или естественномъ фактѣ; послѣ чего я выхожу изъ этого факта съ той же строгостью дедукціи для всего моего ученія, съ какою строилъ я мои наведенія для опредѣленія принципа».

Вслѣдъ за этимъ письмомъ, черезъ три дня, Прудонъ пишетъ другое, отъ 12-го февраля, Аккерману. Въ немъ онъ горько сътуетъ на свою долю, говоря, что она «отнимаетъ у его головы силу и парализуетъ его способности». И тутъ же сообщаетъ ему о своемъ новомъ трудѣ. «Трудъ мой о собственности начать; я вышлю вамъ его заглавіе и оглавленіе въ слѣдующемъ письмѣ...»

«Слогъ будетъ рѣзокъ и крутъ; иронія и гнѣвъ — дадутъ себя знать; но это зло — неотвратимое. Когда левъ голоденъ, онъ реветъ. Впрочемъ, я стараюсь какъ можно больше избѣгать краснорѣчія и красиваго стиля; я разсуждаю, я заключаю, я различаю, я опровергаю: мнѣ нѣтъ надобности прибѣгать къ риторикѣ; сюжетъ, самъ по себѣ — волей-неволей долженъ заинтересовать самыхъ величайшихъ пошляковъ. *Въ философскомъ смыслѣ не существуетъ ничего подобнаго моей книгѣ. Горе собственности! Проклятіе!*»

Еслибъ личность Прудона не дышала (въ особенности въ этотъ періодъ) такой убѣжденностью и правдой, можно было бы, конечно, принять строки, подчеркнутыя нами, за одно хвастовство. Но онъ нисколько не сомнѣвается въ великомъ философскомъ значеніи своего перваго этюда о собственности. Обыкновенно, комментаторы Прудона напираютъ на страстный импульсъ, какой дали ему натура и личная судьба къ безпощадному уничтоженію одного изъ главныхъ устоевъ современнаго общества. Но, по нашему мнѣнію, такое толкованіе недостаточно и односторонне. Не слѣдуетъ увлекаться возгласами Прудона въ родѣ: «Горе собственности!» или «Проклятіе!» Это — проявленія сильнаго, рьянаго темперамента; но подкладъ въ процессѣ Прудоновой работы была по преимуществу діалектическая, отвлеченная, фило-

софски-моральная. Ему мало было того, чтобы разрушить известное установление. Онъ даже къ этому, строго говоря, и не стремился, не взирая на нѣкоторые свои «страшныя» фразы. Главная, первенствующая задача его: провести *идею справедливости* въ социальный фактъ собственности и доказать ея торжество даже въ самыхъ уклоненіяхъ отъ ея *законовъ*, которыхъ онъ всю свою жизнь и добивался.

Съ Аккерманомъ Прудонъ не входитъ въ такія подробности, какъ съ Бергманомъ; онъ ограничивается больше внѣшнею стороною дѣла, и въ концѣ того же письма отъ 12-го февраля мы находимъ интересное сообщеніе объ его мозговой экономіи:

«Я замѣчаю въ себѣ особенное психическое явленіе, и прошу васъ провѣрить его на себѣ: то небольшое, что я зналъ изъ древнихъ и новыхъ языковъ, исчезаетъ въ умѣ моемъ, какъ сонъ; въ то же время сдается мнѣ, что категорическая форма моихъ идей дѣлается все болѣе и болѣе французской, до такой степени, что еслибъ не рефлексія и не мой собственный опытъ, я бы не понималъ, какъ это можно говорить иначе, какъ по-французски. Въ классѣ реторики я думалъ свои упражненія по-латыни; теперь я думаю латинскихъ и греческихъ писателей, когда читаю ихъ, по-французски. Французскія слова обособляются, такъ сказать, въ моемъ разумѣніи; латинскія же, греческія или еврейскія слова кажутся мнѣ гіероглифами. Я отнынѣ не въ состояніи выучиться какому-нибудь языку. Поэтому, торопитесь учиться по-нѣмцѣи: говорить на двухъ языкахъ, значитъ — имѣть двѣ души и два ума. Когда ваши идеи будутъ выработаны и установлены, умъ вашъ не въ состояніи уже допустить какіе-либо другіе членораздѣльные знаки кромѣ тѣхъ, съ помощью которыхъ онъ созналъ и выразилъ эти идеи: вотъ это-то и происходитъ теперь со мною. Черезъ два года нужно будетъ расшибить мнѣ голову, чтобы заставить меня выучиться новому языку. Вотъ почему также языки усваиваются легче въ юности: не оттого только, что память — свѣжѣе, а главное оттого, что идеи пріобрѣтаются помощью словъ, и оттого, что нѣсколько позднѣе изученіе языковъ есть уже не что иное, какъ холодная синонимія».

Прудонъ *убѣдился* въ этомъ, и оставилъ попеченіе о новѣйшихъ языкахъ.

Слѣдующее, по порядку чиселъ, письмо къ Бергману, помѣченное 22-мъ февраля, заключаетъ въ себѣ опять заявленіе того, что Прудонъ обладаетъ новымъ и несокрушимымъ методомъ изслѣдованія социальныхъ и психическихъ вопросовъ, подобнымъ методу математиковъ. Онъ не задумывается надъ такимъ увѣреніемъ: «я

не сказалъ ничего лишняго, объявивъ, что ничего подобнаго не было сдѣлано до сегодня, и по формѣ, и по содержанію». Что же мудренаго, если въ томъ же письмѣ стоитъ знаменитый возгласъ: «*Prie Dieu que j'aie un libraire; c'est peut-être le salut de la nation*». Эта фраза заканчиваетъ тираду, которую мы приведемъ, и гдѣ Прудонъ въ первый разъ сообщаетъ Бергману полное заглавіе своего этюда:

«Вотъ какое заглавіе у моего новаго сочиненія, о которомъ я желаю, чтобъ ты помолчалъ: *Что такое собственность? Кража!* или *Теорія политическаго, гражданскаго и промышленнаго равенства*. Я посвящаю его безансонской академіи. Заглавіе это—ужасно; но къ нему нельзя будетъ придаться; я—демонстраторъ, я излагаю факты: въ настоящее время уже болѣе не наказываютъ за то, что высказываешь, никого не оскорбляя, реальныя вещи, хотя бы и непріятныя. Но если заглавіе произведетъ переполохъ, то само сочиненіе окажется еще хуже. Если я найду ловкаго и изворотливаго издателя, ты увидишь, что публика будетъ вскорѣ совсѣмъ растеряна. Бери положеніе, служащее мнѣ заголовкомъ въ буквальномъ смыслѣ, и жди того, что оно будетъ доказано *математическими доводами*, а это гораздо поубѣдительнѣе для людей нашей эпохи, чѣмъ нравственные и метафизическіе доводы. Мы посмотримъ, правда ли, что даже математическія истины сдѣлались бы сомнительными, еслибъ людямъ было выгодно отрицать ихъ».

Подготавливая такой *сюрпризъ* безансонской академіи, Прудонъ пишетъ отъ 23-го февралѣ родъ рапорта ея непремѣнному секретарю, гдѣ онъ продолжаетъ характеризовать интеллигентный Парижъ съ обычной своей рѣзкостью. Тутъ всѣмъ достается: и Виктору Гюго, и журналистикѣ, и министерству, и всѣмъ знаменитымъ профессорамъ: Мишлѣ, Росси, Ленорману, Сентъ-Маркъ-Жирандену. Прудонъ опять повторяетъ, что всѣ эти профессора не лишены ума, но валяютъ свои чтенія кое-какъ (*par dessous la jambe*); исключеніе составляютъ однако, и по признанію Прудона, профессора точныхъ наукъ. Политическія свои мнѣнія и симпатіи высказываетъ онъ съ необычайной откровенностью, если сообразить, что его письмо предназначалось на прочтеніе всей академіи, а она врядъ-ли желала развивать на свои стипендіи республиканца и радикала. Вотъ тутъ-то, въ концѣ большой политической тирады, Прудонъ и проговаривается о своемъ сочиненіи, которое онъ желаетъ посвятить безансонской академіи. Болѣе жестокую мистификацію трудно себѣ и представить, но если Прудонъ и руководилъ извѣстнаго рода практической разсчетъ, то въ

искренности его и своего рода *наивности* сомнѣваться тоже никакъ нельзя. Мы вѣдь знаемъ же, что и впоследствии Прудонъ считалъ себя человѣкомъ, которымъ правительство не только можетъ, но и должно воспользоваться.

Сообщивъ непремѣнному секретарю о своемъ желаніи, и спросивъ его: можетъ ли онъ это сдѣлать, не испрашивая согласія у академіи, онъ пишетъ: «суюжетъ мой состоитъ въ психологическихъ изысканіяхъ по началу *справедливаго* (*du juste*) и его прогрессивному развитію въ человѣчествѣ». И не желая прятаться, онъ кончаетъ такъ: «если вамъ угодно получить отъ меня болѣе подробныя объясненія, я вамъ скажу, что въ этомъ сочиненіи представляю я посредствомъ метафизическихъ, правовыхъ, экономическихъ и историческихъ демонстрацій — доказательство всѣхъ тѣхъ положеній, которыя были въ моей рѣчи о *Воскресеніи* критикованы комиссіей. Объявляю вамъ, кромѣ того, что откровенность моя будетъ не меньшая, но и не менѣе сдержанная. Если я говорю правду, я хочу, чтобы академія сдѣлалась сама моимъ начальникомъ, *petra mea et robur meum*; если же я говорю ложь, она ничѣмъ не компрометтирована».

Можно было-бы придраться къ одному изреченію, стоящему въ письмѣ къ Морису отъ 4-го марта, чтобы обвинить Прудона въ предательскомъ макіавелизмѣ. Онъ говоритъ ему: «позвоительно быть иногда коварнымъ, чтобы дѣлать добро». Но въ дѣлѣ посвященія своего этюда академіи Прудонъ ошибался, какъ всякій умъ и характеръ высшаго порядка. Въ эту минуту онъ не могъ себя вообразить, чтобы безансонскіе академики стали преслѣдовать его, и не потому, чтобы ему недоставало здраваго смысла, а потому, что умъ его страстно воспринялъ идею точнаго метода, которая *eo ipso* исключаетъ всякое представленіе о личномъ раздраженіи, о случайностяхъ пошлой людской борьбы...

## VI.

Но періодъ времени между 22-го февраля и 7-го апрѣля сдѣлалъ-таки то, что Прудонъ яснѣе уразумѣлъ: чего ему ждать отъ академиковъ. Въ письмѣ къ Морису отъ 7-го апрѣля мы читаемъ такую тираду: «если академія, вѣрная своимъ принципамъ ханжества и подавляющаго деспотизма, откажется обратить вниманіе на мои новыя изслѣдованія, я тотчасъ же покидаю литературу, которую я не люблю, и возвращаюсь къ моимъ буржуазнымъ занятіямъ, ожидая того времени, когда покой и досугъ

позволять мнѣ писать». Дѣйствительность брала свое. Прудону приходилось уѣзжать изъ Парижа, но онъ не желалъ прощаться съ нимъ, не найдя издателя для своего этюда. Въ письмѣ къ Бергману, отъ 3-го мая, онъ, не вдаваясь въ особую наивность, насчетъ безансонской академіи говоритъ: «нѣтъ, нѣтъ, меня не будутъ мучить, меня не станутъ не только беспокоить, но даже и читать. Безансонская академія будетъ продолжать думать, что у меня есть оригинальность и смѣлость, но что я человѣкъ парадоксовъ; самые мудрые пожалѣютъ обо мнѣ искренно за то, что я такъ безумно теряю силы, и всѣ скажутъ подъ конецъ: очень ты подвинулся впередъ, великій реформаторъ!»

Прудонъ только-что передъ этимъ письмомъ кончилъ свое сочиненіе. Въ немъ мыслитель и изслѣдователь дали мѣсто лирику, проникнутому торжественностью и величіемъ своего открытія. Темпераментъ увлекаетъ его сразу, именно настолько, насколько онъ будетъ увлекать его во всѣхъ его «открытіяхъ». Изліянія его, какъ они ни отзываются скороспѣлостью и самоувѣренностью, все-таки чрезвычайно колоритны:

«Сочиненіе мое кончено и, признаюсь, я имъ доволенъ. Не могу о немъ думать *безъ содроганій ужаса*. Когда я соображаю, какое бы впечатлѣніе оно произвело неминуемо, еслибъ было напечатано какимъ-нибудь Араго, я ощущаю тѣ же бѣшенія, что и Фіески — наванути дѣйствія адской машины. До той минуты, когда я захотѣлъ добратъ до философскаго камня политики, *я дѣйствительно не имѣлъ о ней никакого понятія*; я по этой части пребывалъ въ такомъ же мракѣ, въ какой погружены всѣ мои ближніе, начиная съ трапичника и вплоть до Мерлена и Порталиса. Уже нѣсколько лѣтъ умъ мой волновали сомнѣнія, неясные просвѣты, летучіе отблески; я принялся за дѣло и добился того, что мои усилія увѣнчались успѣхами. Истина открывается тому, кто ее ищетъ, но надо умѣть ее искать. Она требуетъ усилій, стараній, упорства, добросовѣстности *и большого недоверія къ нашему разуму* («une grande défiance de notre raison»). Сколько разъ я долженъ былъ поправлять самого себя! Благодареніе небу, я думаю, что отнынѣ, за исключеніемъ слога и нѣкоторыхъ пунктовъ по эрудиціи, нельзя будетъ взять назадъ ни одного положенія, выставленнаго мною. Мы имѣемъ *принципъ* для соціальной науки, остается создать ее».

Въ чемъ заключается этотъ *принципъ* — Прудонъ не говоритъ своему другу, но мы знаемъ, что онъ состоитъ не въ указаніи непреложнаго научнаго метода, а въ разлагательномъ процессѣ, какой авторъ примѣняетъ къ соціальному неравенству и неразум-

ности отношеній, въ процессѣ, назрѣвшемъ въ Прудонѣ подѣ влияніемъ *априорическаго* принципа—справедливости. Принципъ этотъ есть требованіе, нравственный протестъ, опытъ для будущаго развитія общества, но никакъ не положительный выводъ изъ явленій прошедшаго и настоящаго. Этой рѣзкой разницы Прудонъ не видалъ и не могъ видѣть. Онъ не только не видалъ ее, а горячо вѣрилъ, что одного провозглашенія добытаго имъ принципа достаточно, чтобы разрушить до основанія все старое общество. Предъ другомъ своимъ, Бергманомъ, Прудонъ не стѣсняется и говорить ему съ неподдѣльнымъ добродушіемъ:

«Ты станешь смѣяться, видя во мнѣ эту чрезвычайную увѣренность (насчетъ судьбы его этюда); дѣло въ томъ, другъ мой, что въ наукахъ (онъ хочетъ сказать *точныя*—«les sciences») я не знаю ничего такого, открытіе чего могло бы произвести впечатлѣніе, подобное тому, какое чтеніе моего сочиненія способно произвести. Не говорю: пусть поймутъ его; говорю лишь: *пусть его прочтутъ*, и старому обществу—конецъ (et c'est fait de la vieille société). Не можетъ быть ничего проще, яснѣе, демонстративнѣе, сплоченіе пяти главъ, изъ которыхъ состоитъ мой первый мемуаръ — я рѣшилъ раздѣлить мой трудъ на выпуски, и это столько же въ интересѣ метода, сколько и по арифметическимъ соображеніямъ.

«Мнѣ совѣстно такъ восхвалять самого себя, но другъ прости мнѣ. Впрочемъ, сказать тебѣ всю правду: какъ только истина будетъ узнана, понята и приложена къ дѣлу, книга моя сдѣлается навѣки ненужною, даже тривіальной и глупой. Такою она и мнѣ кажется: сдается мнѣ, что это вовсе не наука, а просто толкованіе (*démonstration*), достойное арлекина, такъ что я смотрю на мой трудъ, не какъ на *этюдъ*, но какъ на *жестъ*<sup>1)</sup>. Надобно же кому-нибудь пожертвовать собою, чтобы другіе какъ слѣдуетъ занимались; *работай за меня, а я буду воевать*. Ты найдешь меня, современемъ, весьма невѣжественнымъ, но ты вспомнишь тогда, что моя невѣжественность произошла отъ глупости другихъ».

Можно ли, спросимъ мы, ярче и живѣе опредѣлить себя и свое житейское призваніе, даже бокъ-о-бокъ съ сильнѣйшимъ самообманомъ научно-мыслительнаго порядка? Какъ это глубоко, умно и вѣрно! Фразу Прудона: «работай за меня, а я буду воевать» — могъ бы сочинить только гениальный художникъ, еслибъ онъ, взявъ Прудона героемъ романа или драмы, вложилъ ему

<sup>1)</sup> Курсивы въ подлинникѣ.

ее въ уста! Но еслибъ и этой даровитой тирады не стояло въ письмѣ, и тогда мы не стали бы нападать на Прудона за все предыдущее. Наша задача не прокурорское изобличеніе, а *демонстрированіе* (какъ любилъ выражаться самъ Прудонъ) процесса умственного развитія, въ которомъ обстоятельства и темпераментъ играли слишкомъ большую роль. Увѣренность Прудона въ себя и значеніе своихъ «открытій» заявляется такъ цѣльно и оригинально, что нѣтъ надобности помногу комментировать проявленія его душевной жизни. Совершенно ли серьезно и даже торжественно, или полусутоливо, — но Прудонъ говоритъ всегда такъ, что недоразумѣній быть не можетъ. Въ письмѣ къ кузену своему, Ж. Б. Прудону, отъ 29-го мая, онъ, отвѣчая на его насмѣшливыя замѣчанія, такъ себя характеризуетъ:

«Я ни сень-симонистъ, ни фурьеристъ, ни бабувистъ, не принадлежу ни къ какому реформаторскому предпріятію или конгрегациі. Я признаю лишь то, что въ дѣлѣ экономіи, политики и даже морали, а также въ химіи и въ астрономіи, послѣдній по времени знаетъ всегда больше другихъ. Самые великіе умы не должны быть непремѣнно и самыми учеными, и тотъ, кто удивлялъ бы Аристотелей и Цицероновъ, еслибъ былъ ихъ современникомъ, умеръ бы въ наше время въ полной безвѣстности. Мы стоимъ чего-нибудь не тѣмъ, чему насъ учатъ, а тѣмъ, что мы сами дѣлаемъ. Поэтому, мой кузень, сколько бы вы надомной ни смѣялись, съ тѣмъ, что я знаю, хотя это и не Богъ знаетъ что, я думаю уйти дальше моихъ предшественниковъ; это отзывается гордостью; согласенъ, но такъ оно будетъ, или я сошлѣмъ себя на этомъ загублю».

Вездѣ звучить одна нота: потребность сказать новое слово, которое въ данной области перевернуло бы все вверхъ дномъ во имя социальной справедливости, и горячее убѣжденіе въ своихъ умственныхъ силахъ. Черезъ мѣсяцъ, когда этюдъ о «Собственности», былъ уже выпущенъ, Прудонъ въ письмѣ къ Бергману, отъ 29-го іюня, не входитъ больше въ анализъ своихъ идей и положеній; онъ изливаетъ только свою лирическую горечь и, собираясь въ Безансонъ на отыскиваніе себя заработка, восклицаетъ: «J'ai vécu dans le vide». Его одностороннее отношеніе къ Парижу осталось, стало быть, неизмѣннымъ, и ни однимъ словомъ не даетъ онъ почувствовать того, что безъ этого «пустого» Парижа его критика врядъ ли бы когда обратилась на *такой* объективъ. Посылая другому, менѣе близкому пріятелю, Аккерману, экземпляръ «Собственности», Прудонъ пишетъ ему черезъ два дня, отъ 2-го іюля: «я искалъ истину, чтобы выска-

зять ее, какова бы она ни была; но случилось такъ, что необходимо было формулировать однѣ непріятныя вещи... Видѣть и знать—вотъ вся жизнь мыслящихъ существъ; но какъ коротка эта жизнь! Съ того дня, когда Ж. Ж. Руссо написалъ исповѣдь своего «*Vicaire savoyard*», никто, быть можетъ, больше меня не признавалъ истину своихъ писаній, никто не былъ обреченъ на болѣе глубокую печаль».

Вотъ мы и дошли до 3-го августа, когда Прудонъ, вернувшись въ Безансонъ, пишетъ въ академію родъ объяснительной записки, вызванной слухомъ, что академикамъ сильно не понравилось и самое сочиненіе, и то, что предисловіе автора обращено было къ нимъ. Его объясненія и оправданія интересны и важны для насъ не съ анекдотической, и не съ моральной точекъ зрѣнія (какъ для большинства писавшихъ въ послѣднее время о Прудонѣ), а какъ новая подробность, указывающая на его мировоззрѣніе въ рѣшительную минуту его развитія.

«Что же касается до самой книги (говорить онъ послѣ объясненія насчетъ того, въ какомъ смыслѣ «посвятилъ» онъ свой этюдъ академіи), я не стану здѣсь защищать избранный мною вопросъ; я не имѣю ни малѣйшаго желанія являться передъ вами ни въ качествѣ противника, ни въ качествѣ обвиненнаго; мое убѣжденіе—что я говорю?—увѣренность въ истинахъ, развитыхъ мною, непреодолима, и я слишкомъ уважаю ваше мнѣніе, господа, чтобы когда-либо прямо нападать на него. Но если я выступаю съ неслыханными парадоксами о собственности, этой основѣ нашего теперешняго политическаго порядка, развѣ изъ этого непремѣнно слѣдуетъ, что я беспощадный революціонеръ, тайный заговорщикъ, врагъ общества? Нѣтъ, господа; если принять, даже безъ ограниченія, мои доктрины, то все, что можно было бы вывести изъ нихъ, и что я самъ изъ нихъ вывожу, это то, что существуетъ естественное, неотчуждаемое право *владѣнія* и труда, къ пользованію которымъ пролетарій долженъ быть подготовленъ, совершенно такъ, какъ *чернокожій* колоній долженъ быть приготовленъ къ свободѣ, право на которую теперь уже никто у него не оспариваетъ. Это воспитаніе пролетарія есть задача, порученная всѣмъ людямъ, сильнымъ интеллигенціей и состояніемъ, подѣ страхомъ быть рано или поздно поглощенными наводненіемъ тѣхъ варваровъ, какихъ мы условились называть *пролетаріями*».

Если слова эти сопоставить съ цитатами изъ письма къ Бергману, то не трудно будетъ найти нѣкоторое противорѣчіе; иные

заподозрять, пожалуй, самую искренность Прудона... Но это такъ только кажется на первый взглядъ. Вѣдь онъ и академикамъ говорить, что по его доктринѣ существуетъ неотчуждаемое право *владѣнія*, которое рано или поздно будетъ принадлежать и пролетарію. Вотъ этотъ-то принципъ *владѣнія* и заключаетъ въ себѣ, по Прудону, ту основу справедливости, которая нарушается теперешними формами собственности. Доктрина его въ *демонстративномъ* изложеніи не представляла, стало-быть, ничего революціоннаго. Одно можно сказать: нечего было и тогда Прудону кончать свое письмо академикамъ признаніемъ ихъ единственной поддержкой, отъ которой онъ ждетъ и «благожелательности, и солидной репутаціи». Его надежды и предположенія по этой части такъ и остались однѣми надеждами.

Подробности того, какое волненіе вызвалъ эту Прудона во всемъ безансонскомъ ученомъ мірѣ — находятся въ письмѣ его къ профессору философіи Тиссо, отъ 10-го августа. Въ письмѣ этомъ мы наталкиваемся на два опредѣленія: философіи и метафизики, показывающія развитіе той же тенденціи къ положительному методу. «Я собираюсь, — сообщаетъ Прудонъ, — писать второй мемуаръ о собственности, болѣе интересный, чѣмъ первый; и для меня было бы торжествомъ исправить нѣсколько положеній въ собственномъ сочиненіи, чтобы лучше дать уразумѣть публикѣ, что философія — наука наблюдательная, выведенная, или лучше, наведенная изъ множества фактовъ, и что метафизика основана на извѣстнаго рода умственной операціи, потруди́те алгебры, но такой же достовѣрной».

Программа второго мемуара о «Собственности» подробно сообщается въ письмѣ Бергману, отъ 19-го августа. Непріятности и дразги не только не мѣшаютъ Прудону работать, но какъ бы подталкиваютъ его къ выполненію задачи. Всѣ шесть главъ приведены съ обозначеніемъ ихъ содержанія.

«Въ этомъ, второмъ мемуарѣ, — поясняетъ Прудонъ, — я выдвину впередъ ту основную мысль моего перваго мемуара, что всѣ бѣдствія чело́вѣчества происходятъ первоначально отъ простой *ошибки въ счетъ* (отъ неравенства ли въ распредѣленіи достатковъ, вслѣдствіе неравенства способностей, оттого ли въ особенности, что *одинъ индивидъ овладѣваетъ коллективнымъ продуктомъ*)<sup>1)</sup>; я постараюсь... привлечь людей посредствомъ убѣжденія, разъ поколебавъ ихъ доводами».

Но чтобы не увлекаться внѣшними фактами Прудоновой дѣя-

<sup>1)</sup> Курсивъ въ подлинникѣ.

тельности, стоить только дочесть все это письмо. Въ немъ найдется нѣсколько строкъ, прямо показывающихъ, что Прудонъ и въ 1840 г. еще не смотрѣлъ на публицистику и социальную критику, какъ на свое первенствующее дѣло, а внутренне стремился еще къ отвлеченнымъ трудамъ: «еще разъ повторяю, — говоритъ онъ съ особою силою, — мемуары мои о «Собственности» ничего не стоютъ въ моихъ глазахъ; я думаю главнѣе всего о психологій, о логикѣ, о метафизикѣ, созданныхъ за-ново». Въ слѣдующемъ письмѣ къ Бергману, отъ 30-го сентября (съ знаменитой подробностью о путешествіи въ Парижъ *пшикомъ*), Прудонъ продолжаетъ на ту же тему: «мнѣ начинаютъ наскучивать политическія распри. Съ одной стороны, любовь къ наукѣ прельщаетъ меня и *приказываетъ перейти къ другому*, увѣряя меня, что я достаточно сдѣлалъ по вопросу о собственности; съ другой стороны, чувство несправедливости и пылкость темперамента вовлекаютъ меня въ новую войну, и социальный вопросъ доставляетъ мнѣ такую обильную почву, что я не могу отказаться отъ этого предмета, дающаго мнѣ возможность пустить въ ходъ всѣ богатства стили и всю силу краснорѣчія. *Чистый разумъ — вотъ мое божество*, но мнѣ хочется попробовать себя еще разъ въ искусствѣ». Дополненіемъ къ такому характерному изліянію служить фраза изъ начала того же письма: «только вотъ несчастіе, — восклицаетъ Прудонъ, — что я дебютирую такими важными вопросами». И тутъ же рассказываетъ онъ про визитъ одного «фаланстерьянца», собиравшагося нападать на него, замѣчая при этомъ: «эти люди понимаютъ, что исправленіе социальныхъ неправдъ требуетъ простого третейскаго суда, экспертизы, и что для этого не нужно ни войны, ни революціи. Я бы имъ пожелалъ менѣе поклоняться святому Фурье, и тогда можно бы было столковаться съ ними».

Дальнѣйшій комментарий на второй мемуаръ о «Собственности» вошелъ въ письмо Прудона къ Бергману, отъ 10-го ноября, изъ Парижа.

«Я начинаю, — пишетъ онъ, — *сверху* (въ подлинникѣ: „*com-pulsoire*“) моего второго волюма. Въ первый разъ я перечитывалъ себя, и, признаюсь, — я нахожу себя гораздо ученѣе, чѣмъ мнѣ казалось это въ работѣ. Есть прекрасныя части, сильныя мѣста въ этомъ волюмѣ; но вообще я его сравниваю съ томомъ алгебры. Кеплеръ работалъ семнадцать лѣтъ надъ формулой своихъ знаменитыхъ трехъ законовъ, и какая громадная масса вычисленій и цифръ понадобилась ему для этого открытія; а чтобы понять что-нибудь въ социальномъ движеніи, надо также пройти

черезъ цѣлую серію операцій, не алгебраическихъ, но метафизическихъ. То, что я уже сдѣлалъ, убѣждаетъ меня въ томъ, что все надо создать съизнова въ этой наукѣ, такъ осмѣянной подъ именемъ метафизики, а также и въ томъ, что я — на настоящей дорогѣ; но публика-то гдѣ стоитъ?»

Кромѣ вопроса собственности, и другія могучія соціальныя задачи начинаютъ волновать его, какъ это мы видимъ изъ того же мѣста его письма: «у меня есть нѣсколько начатыхъ работъ о супружескомъ правѣ и о преступленіяхъ и наказаніяхъ, работъ, которыя я веду по методу, совершенно схожему съ тѣмъ, какой я примѣнилъ въ «Собственности»; странно — къ какимъ это приводитъ парадоксамъ. Въ особенности моя работа «О наказуемости» до такой степени вѣдъ ходячихъ идей, что я не знаю, поймутъ ли меня сто человѣкъ во всей Франціи. Это — предметъ, гдѣ еще никто, до сихъ поръ, ни зги не видалъ; и я нахожу въ немъ одно лишь глубокое невѣжество и ужасающія противорѣчія докторовъ. Но для того, чтобы выступить съ моими идеями, мнѣ необходимо пріобрѣсти авторитетъ; а главное, — надо, чтобы немного освоились съ моими методами».

Тутъ мы наталкиваемся на ту же рьяную самостоятельность Прудона, желающаго вдругъ, безъ предварительныхъ и обширныхъ изслѣдованій, рѣшать такіе вопросы, какъ бракъ и право наказывать, съ помощію одного *метода*, въ правильности котораго онъ убѣдился. Съ его точки зрѣнія, оно вполне понятно и нисколько даже не легкомысленно. Онъ жаждетъ точности, чего-нибудь такого, что бы равнялось методамъ математическихъ наукъ; но идея *соціологіи* въ немъ не созрѣла, іерархическаго знанія и мышленія онъ даже и не предчувствуетъ. Припустилъ онъ себя къ какому-нибудь общественному вопросу, и уже съ своей логикой и чувствомъ правды онъ видитъ, что все тутъ произвольно, запутано, нераціонально, попираетъ законнѣйшія стремленія трудоваго и мыслящаго человѣчества. Онъ возмущенъ, какъ гражданинъ, но еще болѣе возмущенъ, какъ мыслитель. У него въ рукахъ найденный имъ *методъ*: — долго не думая, онъ прилагаетъ его къ самому сложному вопросу; а процессъ своего критическаго расчищенія принимаетъ за научно-несокрушимый процессъ созиданія доктрины. Точно то же происходитъ съ Прудономъ и въ дѣлѣ созиданія новой метафизики, подъ которою онъ разумѣетъ (какъ мы уже замѣтили) нѣчто діаметрально ей противоположное. Задумалъ онъ это опять-таки слишкомъ рано, когда у него не доставало даже эрудиціи для расчистки и критики существующихъ доктринъ. Нѣмцевъ онъ въ эту эпоху ува-

жасть, да и всегда находился подъ вліяніемъ нѣмецкихъ метафизическихъ доктринъ, но по-нѣмцу онъ не читалъ, и долженъ былъ, кромѣ переводовъ, добывать, что могъ, изъ вторыхъ рукъ. Въ томъ же письмѣ къ Бергману мы находимъ:

«Желалъ бы я знать твое сужденіе въ нѣсколькихъ словахъ—о нѣмецкой философіи, именно о философіи Шеллинга и Гегеля, но главнымъ образомъ о Кантѣ, котораго я каждый день читаю (вѣроятно «Критику чистаго разума»). Мнѣ засѣло въ голову—пересоздать метафизику; я уже тебѣ объ этомъ говорилъ. Но такъ какъ и въ ней я чувствую себя совершеннымъ эксцентрикомъ, то я нуждаюсь нѣсколько въ поддержкѣ смѣлыхъ мнѣній, которыя бы придали мнѣ бодрости. Я нахожу Канта ужасающимъ по своей возвышенности, мнѣ трудно за нимъ слѣдовать, а все-таки я думаю, что онъ избралъ дурной путь, и что есть другой, и проще, и короче. Я не хочу ограничиваться эклектизмомъ, гдѣ бы собраны были кое-какъ—Кантъ и три его знаменитыхъ продолжателя; но я увѣренъ:—когда-нибудь философія, сдѣлавшись точной наукой, докажетъ, что эти четверо нѣмцевъ приблизились къ истинной системѣ болѣе, чѣмъ кто-либо. Я думаю въ то же время, что не слѣдуетъ начинать философію высшими отвлеченностями, что нужно, напротивъ, *кончить* ее этими абстракціями. Отысканіемъ метафизическаго метода я, главнымъ образомъ, и занимаюсь, не озабочиваясь, впрочемъ, никакимъ частнымъ вопросомъ, увѣренный, что разъ найденъ будетъ методъ, все остальное пойдеть само собою. Такимъ-то путемъ, съ помощью системы въ десять цифръ и ихъ методическихъ сочетаній, поднялись до вычисленій, утравившихъ прежде воображеніе, недоступныхъ самому тонкому пониманію.

«Я исключаю,—продолжаетъ Прудонъ,—изъ метафизики психологію, мораль, эстетику, однимъ словомъ, *всѣ науки* (?); по моему, матеріалы метафизики доставляются ей всѣми другими науками, такъ что метафизикъ долженъ начать съ того, чтобы знать что-нибудь, и тотъ, кто вздумаетъ строить метафизику внѣ всякой науки, будетъ, какъ св. Павелъ говорить: „*velut aes sonans aut cymbalum tintiens*“.

«Я изгоняю логику въ томъ видѣ, какъ ее преподаютъ съ Аристотеля, изъ всякаго преподаванія; я готовъ приписать этой логикѣ всѣ бѣдствія и всѣ заблужденія рода человѣческаго. Логика силлогизмовъ есть первая форма размышленія, употребляемая разумомъ, освобождающимся изъ своей непосредственности (*spontanéité*); Аристотель свелъ ее къ искусству и къ правиламъ—вотъ и все, но отсюда-то и произошли заблужденія. А

если логика жива даже въ своихъ приѣмахъ, что я легко докажу посредствомъ самыхъ совершенныхъ *силлогизмовъ*, приводимыхъ въ примѣръ логиками, то и значительная часть философіи Канта—обращается въ ничто. Словомъ, Кантъ, да и всѣ другіе, въ своей логикѣ, въ практическомъ и чистомъ разумѣ начали, по-моему, съ того, чѣмъ я желалъ бы кончить».

Въ этомъ знаменательномъ отрывкѣ еще сильнѣе проявляется стремленіе Прудона: создать систему мышленія, которая бы обобщала только научные факты и не позволяла себѣ апіорическихъ и узко-логическихъ положеній. Какое же это стремленіе? Безспорно—*анти-метафизическое*, и Прудонъ только по недоразумѣнію называетъ метафизикой *такую* философію, о какой онъ мечтаетъ. Вся бѣда въ томъ, что Прудону, какъ въ эту эпоху, такъ и въ послѣдующія, недоставало послѣдовательной обработки всей области точнаго знанія. Будь она у него, онъ не ходилъ бы «вокругъ, да около» истины, не тратилъ бы силъ на «выдумываніе» системъ способами, въ которыхъ все держалось за смѣсь метафизики съ научными порываніями. Но для насъ важнѣе всего та неутомимость мысли, какую мы находимъ въ этомъ богато-одаренномъ умѣ. Разъ идея, чисто-философскаго свойства, засѣла въ него, онъ ее не броситъ до тѣхъ поръ, пока, по мѣрѣ своихъ силъ, не облечетъ ее въ цѣлую доктрину, въ цѣлый трактатъ. Мы видимъ, что среди изслѣдованій социальнаго критика, въ жару разработки жгучаго вопроса о собственности, Прудона не перестаетъ тревожить мысль—ни больше, ни меньше какъ: очистить и пересоздать метафизику. Пройдетъ нѣсколько лѣтъ, и въ сочиненіи „De la création de l'ordre dans l'humanité“ мы найдемъ осуществленіе этой идеи. Въ первыхъ двухъ отдѣлахъ книги и старая логика, и старая метафизика подвергаются рѣзкому разбору какъ разъ по той программѣ, какая намѣчена въ приведенномъ нами отрывкѣ.

Намъ не слѣдуетъ бросать нашей точки зрѣнія на Прудонно-развитіе, даже и тогда, когда мы читаемъ его лирическія изліянія, его жалобы на свою житейскую долю, какими начинается, напримѣръ, послѣднее письмо изъ 1840 года, адресованное къ Аккерману и писанное изъ Парижа, отъ 30-го ноября.

Прудонъ говоритъ Аккерману, послѣ объясненій насчетъ разностей тона и языка:

«По прошествіи трехъ мѣсяцевъ, я въ первый разъ перечелъ самого себя, и вотъ что я замѣтилъ въ моемъ сочиненіи. Оно гораздо ученѣе, чѣмъ я думалъ, когда я работалъ надъ нимъ (онъ повторяетъ то, что уже говорилъ Бергману); это настоящій

трактатъ *метафизической алгебры* <sup>1)</sup>, каковаго, быть можетъ, до сихъ поръ еще не появлялось. Въ немъ такая масса идей, составляющихъ одно цѣлое и такъ между собой связанныхъ, что не мало нужно вниманія для того, чтобы прослѣдить нить и схватить единство. Кое-гдѣ—недурно написанныя мѣста, иногда краснорѣчіе, вообще же большая метафизическая точность и *неуязвимый методъ*.

Въ этомъ же письмѣ находится и знаменитая тирада, цитируемая обыкновенно изъ переписки Прудона о политическомъ Парижѣ того времени. Она характерна и рѣзка, но слишкомъ обща и голословна. Здравый умъ провинціала изъ Франшъ-Конте сказывается въ каждой строчкѣ, и въ то же время увлекаетъ его за черту болѣе объективныхъ сужденій. Несомнѣнно лишь то, что три года пребыванія въ Парижѣ не только не превратили Прудона въ якобинца или патентованнаго революціонера, но сдѣлали его въ сто разъ болѣе скептичнымъ, и даже развили въ немъ преувеличенный пессимизмъ: онъ видитъ опасность для націи слишкомъ рано. Его выходки можно было бы выразить обычной нашей поговоркой: «оба хуже», когда онъ говоритъ о тогдашнемъ правительствѣ и о демократическомъ лагерѣ. Вотъ образчикъ: «правительство безъ великодушія, безъ благородныхъ чувствъ, безъ малѣйшей интеллигенціи; у демократовъ и есть только, что ихъ демагогическія неистовства и громкія слова, на подкладѣ жажды власти, золота и наслажденій». Изъ всего коловорота парижской политики, по его мнѣнію, выйдетъ то, что Франція станетъ *столостепенной* державой; а этого онъ вынести не можетъ съ «философской флегмой». То же ультра-отрицательное отношеніе и въ тогдашней литературѣ, разрѣшающееся такимъ обобщеніемъ:

«Три или четыре челоѣка, по-моему, бичи Франціи, и я охотно подпишусь на цивическій вѣнокъ тому, кто желѣзомъ ли, огнемъ, или ядомъ избавитъ насъ отъ нихъ, это—Ламеннѣ, Кормененъ и А. Маррастъ. Послѣдній вступилъ въ *National*, и этотъ журналъ, подъ его управленіемъ, не замедлитъ доставить намъ прежнюю *Tribune*. Утѣшаю себя тѣмъ, что существуетъ Провидѣніе для честолюбцевъ, шарлатановъ и глупцовъ».

Такія выходки Прудона очень немногія, по нашему, значать, для серьезной исторіи его внутренняго «я», равно какъ и возгласы въ родѣ: «надо непремѣнно повалить собственниковъ», каковой мы находимъ все въ томъ же письмѣ къ Аккерману.

<sup>1)</sup> Курсивъ въ подлинникѣ.

## VII.

Открывается 1841-й годъ, тотъ самый, въ который Прудону привелось такъ много возиться съ безансонской академіей изъ-за своего злосчастнаго «Мемуара». На долю этого года приходится, кромѣ большой оправдательной записки въ академію, всего 15 писемъ, изъ которыхъ четыре опять-таки къ непремѣнному секретарю этой академіи. Въ самый новый годъ Прудонъ пишетъ Бергману: какъ его удивило приглашеніе, присланное ему черезъ секретаря академіи—явиться 15-го января для отвѣтовъ на вопросы, которые ему будутъ предложены по поводу его книги, а если онъ не можетъ дать устнаго объясненія, пусть пришлетъ письменную защиту. Хотя этотъ сюрпризъ и разсердилъ Прудона, но вовсе не настолько взволновалъ его, чтобы поглотить собою весь интересъ минуты. Въ его головѣ кипятъ чисто-отвлеченныя мысли; онъ отвѣчаетъ Бергману по философскимъ вопросамъ, и въ его отвѣтѣ мы находимъ опять цѣлый отрывокъ его мыслительнаго кодекса, характерный для его тогдашняго развитія:

«Ты развиваешь дедуктивно то, что я обрабатываю въ свойственной мнѣ индуктивной формѣ. Я признаю *последовательно*,—такъ такъ нельзя сдѣлать иначе,—всѣ элементы идеи, принципа, закона; я ихъ анализирую, я ихъ сравниваю; по мѣрѣ того, какъ я ихъ классифирую, я устанавливаю общія понятія, съ которыми я потомъ поступаю такимъ же манеромъ, и прихожу, шагъ за шагомъ, къ самому обобщенному (*générique*), къ самому понятному выраженію, которое и есть какъ разъ то, съ чего ты начинаешь твое *интуитивное* обозрѣніе, являющееся по необходимости такимъ же *последовательнымъ*. Твой путь—преподавательскій; мой—путь развѣдчика и искателя приключеній.

«Но въ то время, какъ обыкновенная индукція приводитъ всегда къ заключеніямъ, стоящимъ за предѣлами признанныхъ ею фактовъ, а силлогизмъ отправляется отъ гипотетическихъ или плохо опредѣленныхъ общихъ положеній, я *никогда не придаю моимъ выводамъ болѣе того, что доставляетъ мнѣ наблюдение*. Напримѣръ, обыкновенно говорили такъ: справедливо, чтобы тотъ, кто работаетъ, пользовался плодомъ этого труда; справедливо, чтобы купцу платили за его хлопоты; справедливо, чтобы лучший продуктъ получилъ и лучшую награду; все это было вѣрно. Но вмѣсто того, чтобы до мелочей обслѣдовать всѣ аналогическіе случаи—до единого, индукцію заставляли перепрыгивать и за-

ключали: слѣдовательно тотъ, кто строитъ домъ, расплатившись съ рабочими, дѣлается законнымъ собственникомъ; слѣдовательно, барышъ купца честенъ; слѣдовательно, генералу надо платить гораздо больше, чѣмъ солдату и проч. Въ первомъ случаѣ не брали въ расчетъ новаго элемента коллективной силы; во второмъ нарушали принципъ обмѣна; въ третьемъ оскорбляли свободу, отрицая равное значеніе (équivalence) личностей и должностей.

«Ты не меньше меня понимаешь, какъ все это можно бы было подвергнуть другой обработкѣ: это зависитъ отъ умственного склада, присущаго каждому изъ насъ. Главное дѣло состоятъ въ томъ, чтобы, отправившись отъ первоначальной идеи, отъ абсолютнаго закона, хорошенько разглядѣть всѣ подробности, и, разсуждая примѣрами, никогда не заключать отъ одного порядка фактовъ къ другому.

«Примѣняя, въ общихъ чертахъ, къ философіи, морали, теодицеи—эти принципы, связь которыхъ, мнѣ кажется, мною установлена, вскорѣ признаешь радикальный порокъ цѣлой массы теорій и системъ; изъ нихъ инныя все еще въ большомъ ходу и никто не подозрѣваетъ ихъ пустоты. Цѣлый мѣсяцъ читалъ я Ламеннэ, П. Леру и Бюшэза, и трудно сказать, до какой степени эти люди, со всѣми ихъ дѣйствительными талантами и знаніями, посредственны по метафизикѣ. Мнѣ хочется сдѣлать критическими мои *метафизическіе опыты* и обзрѣть всѣ французскія знаменитости отъ Декарта до Жоржъ-Занда. Это вышла бы презанимательная книга. Въ наше время судятъ огуломъ, безъ всякихъ разъясненій. Декартъ также мало поколебленъ современными критиками, какъ Платонъ и Кантъ, котораго взяли въ патроны. Хорошо было бы показать, въ чемъ, какъ и почему ошибается тотъ или иной философъ. Я уже могу выполнить часть этой программы; но сколько еще остается сдѣлать!»

Въ общихъ соображеніяхъ и въ частныхъ примѣрахъ, у Прудона проглядываетъ вездѣ одна мысль: придать метафизической индукціи какъ можно болѣе научную форму. Въ тогдашнихъ модныхъ обобщителяхъ, въ родѣ Ламеннэ или Пьера Леру, онъ не могъ видѣть серьезныхъ мыслителей. Такъ какъ для него «метафизика» значила совсѣмъ не то, что для насъ, то онъ вполне правъ, находя въ этихъ составителяхъ социальнo-нравственныхъ доктринъ людей, мыслящихъ безъ научной индукціи. Еслибъ, въ эту эпоху своего развитія, Прудонъ совсѣмъ распрощался съ нѣмцами и ихъ системами мышленія, онъ неминуемо бы при-

шелъ къ положительному міровоззрѣнію и пересталъ бы тратить свои силы на отыскиваніе разныхъ «сущностей» и «принциповъ» quasi-точными методами, которые, тѣмъ не менѣе, *сочинялись* имъ путемъ діалектическимъ.

Переписка Прудона съ непремѣннымъ секретаремъ безансонской академіи и съ самой академіей представляетъ, главнымъ образомъ, анекдотическій интересъ. Интеллигентная сторона имѣетъ второстепенное значеніе и осложняется, вдобавокъ, совершенно внѣшней цѣлью, которою задался Прудонъ. Ему хочется выдти сухимъ изъ воды—и въ то же время не торговать совѣстью, не позволять себѣ какихъ-нибудь позорныхъ компромиссовъ. Тонъ его объяснительной записки и писемъ къ секретарю гораздо приподнятѣе, чѣмъ можно бы было ожидать, судя по его письмамъ къ Бергману. Въ дѣйствительности онъ и не былъ вовсе сильно смущенъ; но такъ всегда выходитъ у всякой крупной натуры: разъ она возьмется за что-либо, хотя бы и чисто внѣшнее, искренность и одушевленіе непремѣнно скажутся, здоровый и находчивый умъ воспользуется малѣйшей подробностью, чтобы придать всему колоритъ энергической защиты. Для насъ интересны приемы Прудоновой діалектики и все то, что въ его объяснительной запискѣ проявляетъ его основныя идеи въ этотъ моментъ его развитія. Вопросъ же: въ какой степени былъ онъ прямъ и добросовѣстенъ съ академіей—мы поднимать не станемъ. Мы уже задѣвали этотъ вопросъ, и намъ, по необходимости, пришлось бы повторить въ общихъ чертахъ—то же самое. Одно, что слѣдуетъ прибавить, это то, что Прудонъ утратилъ двѣ-трети *непосредственности*, какая жила въ немъ годъ назадъ, относительно той-же академіи. Онъ сознательнѣе держитъ «камень за пазухой», но чувство самосохраненія вовсе не заставляетъ его прибѣгать къ мелкимъ уловкамъ. Онъ не лавируетъ передъ академиками; онъ *демонстрируетъ*, какъ лекторъ.

Послѣ цѣлаго ряда доказательствъ того, что собственность теряетъ свою первоначальную неприкосновенность, что администрація, законодательство, экономическая наука, философія, политическое движеніе—все тронутو стремленіемъ: измѣнить ея формы, ограничить ея права, поставить выше ея интересы государства, города, трудового класса или цѣлой націи, Прудонъ такъ формулируетъ мыслительную *суть* своего мемуара:

«Отыскивая непоколебимую аксіому для нашихъ общественныхъ основъ (*certitudes*), я, прежде всего, свелъ къ одному коренному вопросу всѣ второстепенные вопросы, подвергаемые, въ

наше время, такому рѣзкому и противорѣчивому обсужденію: вопросъ этотъ былъ для меня—право собственности. Потомъ я сталъ искать, посредствомъ анализа и особаго рода метафизической экспериментации, выдѣляя однородные элементы:—что заключается въ идеѣ собственности необходимаго, недвижнаго, безусловнаго, и я дозналъ, что идея эта сводится къ идеѣ *личнаго владѣнія, передаточнаго, подлежащаго не отчужденію, а обмѣну, обусловленнаго трудомъ, а не фиктивнымъ занятіемъ или праздною волей*. Я сказалъ, кромѣ того, что эта идея—средняя пропорціональная нашихъ революціонныхъ движеній, та точка, къ которой стремятся, освобождаясь мало по-малу отъ взаимныхъ противорѣчій, всѣ новыя мнѣнія, и я постарался доказать это духомъ законовъ, психологіей, политической экономіей и исторіей.

«Если я ошибся въ моихъ наведеніяхъ, надо это указать и вывести меня изъ заблужденія; я самъ достаточно поработалъ, и дѣло стоить труда; наказывать же тутъ не за что: конвентинецъ, которому присекучили гильотина, говорилъ: *убивать не значитъ отвѣчать*. До тѣхъ поръ я буду продолжать смотрѣть на мой трудъ, какъ на произведеніе полезное для общества, достойное награды и поощренія...

«Что же до меня, я знаю одно: народы живутъ абсолютными идеями, а не приблизительными и частичными воззрѣніями; стало быть, необходимы писатели, которые бы опредѣляли принципы или, по крайней мѣрѣ, очищали ихъ на огнѣ преній. Таково правило: сначала идея, чистая идея, познание божескихъ законовъ, теорія; практика слѣдуетъ затѣмъ медленными шагами, осторожная, внимательная къ послѣдовательному ходу событій и всегда готовая схватывать, на вѣчномъ меридіанѣ, знаки, намѣчаемые высшимъ Разумомъ».

Въ краткомъ философскомъ *résumé*, приведенномъ нами, онъ и не думаетъ маскировать своихъ идей и воззрѣній. Несмотря на его постоянное стремленіе къ отысканію точнаго метода, метафизическія «сущности» еще владѣютъ имъ. Онъ совершенно серьезно толкуетъ объ «абсолютныхъ идеяхъ», руководящихъ народами, не дѣлая ни малѣйшаго намека на то, какимъ научно-философскимъ методамъ слѣдуетъ доходить до открытія настоящихъ соціологическихъ законовъ.

Во всей этой длинной оправдательной запискѣ есть одна тирада, заключающая въ себѣ своего рода пророчество: «бойтесь,—восклицаетъ Прудонъ, обращаясь къ академикамъ,—для вашей славы—печальной ошибки; люди проходятъ, мысль остается; вы

меня похулите большинствомъ голосовъ; а время, этотъ передѣлыватель формъ, заново создать *мнѣ* большинство». Въ заключительныхъ же словахъ его: «господа, я ничего не ниспровергаю, какъ всѣ въ настоящее время, я произвожу *реформу*» — звучить опять искренняя нота мыслителя, не желающаго нисколько, чтобы его считали вульгарнымъ революціонеромъ.

О столкновении съ академіей, кончившемся пока лучше, чѣмъ можно бы было ожидать, Прудонъ говоритъ затѣмъ въ двухъ письмахъ: къ непремѣнному секретарю академіи и къ другу своему Бергману. Во второмъ письмѣ къ секретарю академіи, отъ 28-го марта, онъ уже рассказываетъ о томъ судебномъ сановникѣ, у котораго онъ сталъ работать въ качествѣ домашняго секретаря, т.-е. ни больше, ни меньше какъ писать за него цѣлое юридическое сочиненіе по своимъ идеямъ, предоставляя патрону тщеславное убѣжденіе въ томъ, что секретарь его работаетъ по *его* идеямъ. Но все это — внѣшнія подробности его парижской жизни; настоящаго Прудона узнаемъ мы опять въ письмѣ къ Бергману отъ 24-го апрѣля:

«Отдавать тебѣ отчетъ въ моихъ мысляхъ, въ моихъ открытіяхъ, не значить вовсе говорить о самомъ себѣ; это значить лишь разговаривать съ тобою о томъ, что насъ обоихъ занимаетъ: знаніе чловѣка и природы».

Вотъ настоящая нота; и если Прудонъ шель окольнымъ путемъ, то его два *объектива* все-таки достойны серьезнаго научнаго мыслителя.

«Мнѣ сдается, — продолжаетъ онъ, — что мои идеи все болѣе и болѣе опредѣляются, и что я иду прямымъ путемъ къ возстановленію — если намъ не слѣдуетъ сказать — къ созданію философіи, какъ науки <sup>1)</sup>. Г. Жюффруа очень хорошо это высказалъ, и все, что онъ сдѣлалъ въ философіи, сводится къ одному положенію, разведенному имъ на двѣсти страницъ: философія еще не опредѣлена, ни въ своей цѣли, ни въ своемъ объектѣ, ни въ своемъ методѣ. И вотъ какъ я, въ свою очередь, думаю создать философію: примѣнить размышленіе и методъ ко всѣмъ частямъ религіи и морали точно такъ, какъ я это теперь дѣлаю съ политикой, какъ спеціальныя ученые дѣлали это съ естественной исторіей, физикой и математикой, какъ лингвисты, вотъ уже нѣсколько лѣтъ, дѣлаютъ съ языками; потомъ обобщать, посредствомъ сравненія и индукціи, методы и законы всѣхъ этихъ наукъ,

<sup>1)</sup> Курсивъ въ подлинникѣ.

и изъ всѣхъ этихъ видовъ образовать родъ, который и будетъ—*in abstracto*—философія».

Замыселъ, заключающійся въ этихъ строкахъ, поражаетъ своимъ содержаніемъ. Мы знаемъ, что Прудонъ, находясь все еще подъ вліяніемъ апіорического идеализма, не былъ, въ эту эпоху своего развитія, знакомъ съ положительнымъ міровоззрѣніемъ, въ томъ видѣ, какъ оно было уже тогда формулировано творцомъ позитивной философіи. И чтó же находимъ мы въ его метафизической программѣ? Начертаніе пути, по которому умъ человѣческій доходитъ до научно-философскаго синтеза, до здраваго, положительнаго міросоверпанія. То, чтó Прудонъ называетъ *родомъ*, составленнымъ изъ всѣхъ *видовъ*, представленнымъ отдѣльными сферами науки, и есть синтезъ, выведенный изъ области конкретнаго знанія. Этой формулѣ недостаетъ только указанія на необходимость іерархической послѣдовательности законовъ, доставляемыхъ различными отдѣлами знанія, отъ простѣйшихъ къ болѣе сложнымъ. Но общая мысль, типъ системы, ея *предчувствіе* значатся на лицо, и въ такомъ яремѣ опредѣленіи, въ такихъ ясныхъ формулахъ, что никакое ложное толкованіе, никакое произвольное навязываніе — немислимы. Конечно, не у своихъ метафизиковъ, не у Жюффруа и не у Шеллинга вычиталъ онъ таковой замыселъ. Его крѣпкій умъ самъ дошелъ до убѣжденія въ томъ, что только конкретныя области знанія, доступнаго человѣку, могутъ дать незыблемую почву для исполнѣ точныхъ наведеній и сравненій, посредствомъ которыхъ и можно, какъ онъ выражается: *in abstracto superiori*—создать философію. Только онъ, какъ питемецъ метафизики, считаетъ достаточнымъ обобщать сразу, такъ сказать *концентрически*, а не *іерархически*, не со строгимъ методомъ — отъ простѣйшаго къ болѣе сложному. До этого существеннаго различія, дающаго обобщенію дѣйствительную научно-философскую цѣну, онъ и впоследствии не додумается,—мы это увидимъ, когда дойдемъ до того момента, какъ онъ приступить къ своей книгѣ: «De la création de l'ordre», на которую слѣдуетъ смотрѣть какъ на срединный пунктъ его развитія, какъ на его руководящій философскій трактатъ.

Обращаясь опять къ своему другу, Прудонъ продолжаетъ:

«Ты видишь, что мои экономическія и законодательныя работы, въ сущности, представляютъ собою серію логическихъ опытовъ, которые не знаю куда приведутъ меня, но навѣрно—куда-нибудь. Съ тобой пріятно толковать о такихъ вещахъ, потому что ты ихъ отлично понимаешь, тогда какъ для школьныхъ философовъ міръ—неразъяснимая путаница.

«Сегодня я писалъ профессору Бланки, посылая ему экземпляръ:

«Для того, чтобы законовѣдѣніе и политика сдѣлались наукой, имъ нужны *матеріалы для опытовъ и поле наблюденія*. Матеріалъ для опытовъ — человекъ и общество; поле наблюденія — исторія, религія, законы, обычаи, вѣрованія, политическая экономія и проч.

«Что до сихъ поръ дѣлали легисты? Они умѣли одно: отъправляться отъ того, что они называютъ *закономъ*, т.-е. *отъ традиціи* <sup>1)</sup>, и примѣнять ее, до малѣйшихъ подробностей, путемъ силлогистической дедукціи. Но часто случается, что *закону* въ его *выводахъ* противорѣчить другой законъ, или противится здравый смыслъ и даже сама природа: какъ же тогда поступаютъ юриконсульты? — Они подвергаютъ критикѣ и тотъ, и другой законъ? Нисколько; они ищутъ въ своемъ мѣшкѣ съ традиціями какое-нибудь старое рѣшеніе комментатора и изворачиваются, слѣдуя тому мнѣнію, какое приходится имъ больше по вкусу».

Вслѣдъ за тѣмъ, Прудонъ подробно рассказываетъ: какъ онъ собирается разрушать юридическія традиціи подъ прикрытіемъ либерально-тщеславнаго патрона, непонимающаго коварныхъ замысловъ своего секретаря. Эта подробность изъ парижской жизни Прудона достаточно извѣстна по выпискамъ, уже являвшимся на русскомъ языкѣ. Въ ней для насъ существенно лишь то, что Прудонъ и къ законовѣдѣнію хочетъ приложить свой опытный методъ и возмущается общими мѣстами, традиціями, затхлыми остатками лживой и мертвенной казуистики. Столкновенія съ людьми буржуазнаго типа развиваютъ въ немъ ненависть ко всему, что отзывается узурпаціей. «Повѣрь мнѣ, дорогой Бергманъ», восклицаетъ онъ, «если моя добродѣтель ослабнетъ и воля моя подастся — то ненависть моя къ собственности непримирима». Но эту ненависть опять-таки не слѣдуетъ считать выраженіемъ мечтательнаго коммунизма. Прудонъ остается критикомъ и мыслителемъ, не желающимъ покидать почвы фактовъ и опыта. Мы находимъ явное доказательство этому въ слѣдующемъ же по порядку письмѣ къ профессору Тиссо, отъ 25-го апрѣля. Прудонъ посылаетъ ему, экземпляръ новаго мемуара о собственности и говоритъ: «вы увидите, что за исключеніемъ общаго тона, который я принужденъ былъ измѣнить, я поддерживаю тѣ же положенія; вы замѣтите, кромѣ того, что я начинаю приобрѣтать ужасно много сообщни-

<sup>1)</sup> Курсивъ въ подлинникѣ.

ковъ, быть можетъ даже не догадывающихся о томъ. Одинъ изъ тѣхъ, кто вполне присталъ къ моимъ доктринамъ—мнѣ совѣстно называть ихъ *моими*, такъ какъ онѣ лишь выраженіе экономическихъ фактовъ—г. Пьеръ Леру, котораго я разъ встрѣтилъ и бесѣдовалъ о васъ. Не только я доказываю моею книгой, что онъ *противусобственникъ не-коммунистъ*, что и заключается въ теоріи, развитой въ пятой главѣ моего перваго мемуара; но я имѣю его собственное формальное признаніе».

Онъ отвѣчаетъ на возраженія Тиссо, находя его нападки недостаточно ясными, и съ искренностью человѣка, доходящаго до всего «своимъ умомъ», замѣчаетъ:

«Вы находите еще, быть может, не безъ удивленія, что мои философскія претензіи, хотя и скрытыя, усилились; это разсмѣшитъ такого ученаго, такого эрудита, такого опытнаго практика, какъ вы. Положимъ такъ; довольствуюсь тѣмъ, что говорю вамъ: въ настоящую минуту я ученикъ и *tutus tiro*, я изучаю философію; я буду философомъ, когда угодно будетъ Богу, вѣроятно никогда. Когда я умру, прошу друзей моихъ написать на моей могилѣ: *Studebat philosophiae*».

Въ этой характерной фразѣ сказывается, по нашему мнѣнію, настоящая мыслительная фizioномія Прудона: философомъ онъ не былъ, въ смыслѣ законченной системы; но изучалъ все, что могъ, съ всегдашними научно-философскими стремленіями, по крайней мѣрѣ съ того времени, когда идеализмъ началъ терять для него обаяніе...

Въ письмѣ къ Тиссо, Прудонъ дѣлаетъ опять ту же выписку изъ своего обращенія къ Бланки, и спрашиваетъ дижонскаго философа:

«Вы изучали право, вы можете рѣшить, вѣрна ли эта картина. Каковы бы ни были юрисконсульты, вы не станете, надѣюсь, оспаривать того, что необходимо вернуться къ бѣоононскому методу. Выраженные мною идеи—для васъ банальны; но теперь нельзя ихъ вбить въ голову ни судѣй, ни адвокату. Слѣдующему плану работъ, изложенному мною въ общихъ чертахъ, я думаю, что дѣйствительно *философствую*. Я могу ошибаться въ подробностяхъ, точно такъ, какъ математикъ можетъ сдѣлать ошибку въ специальномъ вычисленіи; нужды нѣтъ! Метода, система, совокупность истинъ остаются все-таки неприкосновенными. Меня могутъ поправлять съ помощью моихъ же принциповъ; бѣльшого я и не желаю ничего».

Въ этомъ письмѣ къ Тиссо онъ входитъ также въ подробно-

сти своего сотрудничества тому комическому парижскому чиновнику, который желалъ загребать жаръ руками секретаря, не понимая того, что секретарь его дурачить. Прудонъ съ большимъ юморомъ говоритъ о процессѣ составленія книги съ громкимъ титуломъ: «*Философія уголовного слѣдствія*». Выписки изъ этихъ мѣстъ письма уже извѣстны русскому читателю. Прудонъ не стѣсняется тутъ въ заявленіи того житейскаго правила, что съ людьми нужно обходиться какъ съ ребятами и надувать ихъ (piper), въ ихъ же интересъ. Эти практическіе афоризмы оставались для него въ теоріи: на дѣлѣ же мы видимъ, что долгіе годы Прудонъ, со всей своей дѣльностью, работалъ на другихъ, помогалъ имъ богатытъ, а самъ перебивался, какъ истый пролетарій. Да и въ письмѣ къ Тиссо, вслѣдъ за выходами quasi-безцеремоннаго «себѣ на умъ» мы читаемъ: «я всѣми средствами стараюсь объ одномъ: о торжествѣ истины. Два года тому назадъ, я видѣлъ въ институтѣ, какъ два натуралиста оспаривали другъ у друга первенство въ открытіи, которое каждый изъ нихъ приписывалъ себѣ; дѣло шло о *мускуль*, находящемся въ *слуховомъ органѣ* рыбы *мерлана*. Что за мелочность! Какъ бѣденъ тотъ, кто считаетъ себя уничтоженнымъ, потерявъ право на открытіе! Міръ безконеченъ во всѣхъ смыслахъ; говорите, что вамъ угодно, отрывайте, что вамъ полюбится; мнѣ все-таки останется больше славъ, чѣмъ сколько вы ее добились. Я не боюсь вашихъ успѣховъ; мнѣ нужно одно лишь время».

Отъ 2-го мая, Прудонъ пишетъ къ своему пріятелю Антонену Готье, одному изъ братьевъ, у которыхъ онъ впослѣдствіи служилъ судо-привазчикомъ, по пароходству. Это—первое письмо къ Готье во всемъ томѣ. Прудонъ съ нимъ на «ты», совершенно по-дружески, даже съ большимъ оттѣнкомъ товарищества, чѣмъ съ Бергманомъ, хотя и замѣтно, что Бергмана онъ гораздо больше уважаетъ, какъ умъ и характеръ. Видно, что Готье писалъ ему о тѣхъ буряхъ негодованія и буржуазнаго ужаса, которыя Прудонъ успѣлъ уже вызвать. Въ отвѣтъ Прудона есть нѣсколько живыхъ, цѣнныхъ штриховъ для біографа. Онъ описываетъ себя, какъ онъ есть, простымъ, добрымъ провинціаломъ, охотникомъ поболтать и посидѣть въ кафе въ веселой компаніи. Ему нисколько не страшно ни за настоящую минуту, ни за будущее. «Неуязвимый со стороны самолюбія», спрашиваетъ онъ, «такъ какъ я презираю ихъ похвалы (т.-е. зомловъ своихъ), неуязвимый и въ частной жизни, чего же мнѣ бояться, скажи на милость?» Свою манеру онъ характеризуетъ лучше всякаго комментатора:

«я знаю, что меня упрекають за мою полемику, въ которой я являюсь черезчуръ *палачемъ череповъ* (*bourreau des crânes*); но, вдумавшись немного, не трудно увидать, что это только одна тактика, извѣстная манера защиты моихъ доводовъ. И потомъ, въ теперешнихъ критикахъ столько дряблости, трусости, перепархиванья (*rapillotage*), что необходимъ поваръ, который бы подбавлялъ въ соусы уксусу и лимону».

Тому, кто желаетъ знать, какъ Прудонъ смотрѣлъ на свои этюды о собственности, всего лучше прочесть его отвѣтъ Готье, желавшему, чтобы пріятель разъяснилъ ему: *какъ пересоздать общество*.

«Я отвѣчу тебѣ въ нѣсколькихъ словахъ, пишетъ Прудонъ, и постараюсь изложить тебѣ по этому предмету здравыя идеи.

«Такъ какъ ты читаешь мою книгу, ты понимаешь, что дѣло теперь не въ томъ, чтобы *выдумывать*, составлять въ нашемъ мозгу систему, которую мы потомъ и представимъ публикѣ; такъ не реформируютъ міръ. Общество можетъ исправиться лишь само собою; т.-е. надо изучать человѣческую природу во всѣхъ ея проявленіяхъ, въ законахъ, религіяхъ, обычаяхъ, политической экономіи: извлечь изъ этой огромной массы, *посредствомъ метафизическихъ операций*, то, что истинно, и откинуть то, что испорчено, ложно или неполно; изъ всѣхъ же оставшихся, послѣ такого отбора, элементовъ образовать общіе принципы, служащіе *правилами*. Трудъ этотъ, для своего выполненія, возьметъ цѣлые вѣка.

«Тебя это приводитъ въ отчаяніе; успокойся. Въ каждой реформѣ есть двѣ различныя вещи, которыя слишкомъ часто смѣшиваютъ: *переходное состояніе* и *совершенство* или *законченность*.

«Первое — какъ разъ то единственное дѣло, которое *теперешнее* <sup>1)</sup> общество призвано выполнить; но какъ же осуществимъ мы этотъ переходный процессъ? — Ты найдешь отвѣтъ на этотъ вопросъ, сопоставляя нѣкоторые мѣста моего второго мемуара: стр. 10—11, преобразовать всѣ ренты и понизить всѣ доходы; стр. 16, банковая реформа; стр. 28—29, выпускъ капиталовъ за малый процентъ, переворотъ въ банкирскомъ мірѣ; стр. 33—37, прогрессивное уничтоженіе таможенъ; стр. 179, нападать на собственность со стороны процента; стр. 184, тоже и проч. <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Курсивъ въ подлинникѣ.

<sup>2)</sup> Сноски эти сдѣланы по первоначальному изданію.

«Ты понимаешь, что система прогрессивнаго уничтоженія того, что я называю выморочнымъ правомъ (*aubaine*), т.-е рентъ, фермерствъ, наймовъ, большихъ жалованій, конкуренціи и проч. превратила бы въ ничто дѣйствіе собственности, ибо если она и вредна, то въ особенности процентомъ.

«Однако же, это прогрессивное уничтоженіе было бы лишь однимъ отрицаніемъ зла, но еще не *положительной организаціей*. Для этого, любезный другъ, я могу, конечно, указать принципы и общіе законы; но одинъ я не въ состояніи войти во всѣ подробности. Это такой трудъ, который поглотилъ бы пятьдесятъ Монтескьё. Я выставлю аксіомы, доставлю примѣры и методъ, я пушу дѣло *въ ходъ*; весь свѣтъ долженъ додѣлать остальное.

«Поэтому, повѣрь мнѣ, что никто въ мірѣ не способенъ, какъ толковали про Сень-Симона и Фурье: дать полную, во всѣхъ частяхъ готовую систему, которую остается только пустить въ дѣйствіе. Это—самая проклятая ложь, какую только когда-либо говорили людямъ, почему я таеъ и разнюсь въ моихъ идеяхъ съ фурьеризмомъ. Соціальная наука—безконечна: никто не обладаетъ ею вполнѣ, все равно, что медициной, физикой, или математикой. Но мы можемъ отерывать ея *принципы*, потомъ *элементы*, потомъ обработать одну какую-либо *часть*, которая и будетъ все увеличиваться. Я теперь и не занимаюсь ничѣмъ инымъ, какъ опредѣленіемъ *элементовъ* политической и законодательной науки.

«Напримѣръ, я удерживаю право наслѣдства, а требую, въ то же время, равенства; какъ согласить это? Вотъ тутъ-то и нужно приступить къ организаціи. Задача эта будетъ рѣшена въ третьемъ мемуарѣ, вмѣстѣ со многими другими. Въ эту минуту я не могу все тебѣ излагать: мнѣ понадобилось бы двадцать страницъ.

«Наконецъ, если политика и законодательство составляютъ *науку*, ты понимаешь, что принципы могутъ быть очень просты, понятны самымъ слабымъ интеллигенціямъ; но что, съ другой стороны, для рѣшенія извѣстныхъ вопросовъ, касающихся подробностей, или принадлежащихъ къ высшему порядку, необходима цѣлая серія соображеній и наведеній, совершенно сходныхъ съ тѣми вычисленіями, посредствомъ которыхъ опредѣляютъ движеніе звѣздъ. То, что я тебѣ говорю о трудностяхъ соціальной науки, будетъ составлять одну изъ любопытнѣйшихъ темъ моего третьяго мемуара; тутъ выкажется моя добросовѣстность и пустота политическихъ *выдумокъ*.

«Въ двухъ словахъ: *уничтожатъ прогрессивно и вплоть до исчезновенія выморочнаго права (aubaine)*,—вотъ въ чемъ заключается переходное движеніе. Организація вытечетъ изъ прин-

ципа *раздѣленія труда и коллективной силы*, въ ихъ сочетаніи съ непривосновенностью *личности* въ человѣкѣ и гражданинѣ.

«То, что я тебѣ сказалъ, покажется тебѣ, пожалуй, гіероглифомъ, а между тѣмъ это — объясненіе загадки; въ этомъ-то и кроется вся тайна; ты увидишь, какъ я начну примѣненіе, и ты можешь тогда сказать про себя: чтобы докончить дѣло, нужны лишь люди и научныя работы».

### VIII.

Намъ осталось всего четыре письма, значащихся подъ 1841 годомъ; несомнѣнно, что не вся переписка Прудона, относящаяся къ этому году — сохранилась: послѣднее письмо помѣчено 9-го августа; на долю остальныхъ пяти мѣсяцевъ больше ничего не приходится.

Пріятелю своему, Аккерману, Прудонъ говорить, въ письмѣ отъ 16-го мая, о враждебномъ столкновеніи съ безансонской академіей, начиная сызнова всю исторію. Онъ ему давно не писалъ, и обозрѣваетъ всѣ событія своей парижской жизни, сообщаетъ ему о работѣ у либеральнаго судейскаго чиновника на тѣму: «*Philosophie de l'instruction criminelle*», смѣется опять надъ этимъ тщеславнымъ «патрономъ», прибавляя однако, что цѣль его — не дурачить человѣка, а воспользоваться успѣхомъ книги для реформы соціального равенства. По поводу изданія второго мемуара о собственности, онъ передаетъ пріятелю мнѣніе о немъ Бланки и надѣется, что третій мемуаръ, по словамъ Бланки, дастъ автору мѣсто въ наукѣ. Но Прудонъ нисколько не ослѣпленъ и очень хорошо видитъ, въ какомъ онъ находится одиночествѣ и пренебреженіи.

«Могу по правдѣ сказать, что у меня нѣтъ ни одного сторонника, по крайней мѣрѣ открытаго; народъ не можетъ слѣдить за такими длинными и отвлеченными наведеніями; компетентные люди слишкомъ благоразумны, чтобы высказываться; словомъ, *кажется такъ же труднымъ принять мои идеи, какъ и опровергнуть ихъ*. А пока я получаю, прямо или косвенно, весьма лестныя поощренія: даже тѣ, кто не за меня, приглашаютъ меня продолжать; между прочимъ, г. Бланки сказалъ мнѣ, что я могъ бы принести большую пользу, какъ только нечего будетъ бояться моихъ намѣреній и злоупотребленій, къ какимъ можетъ повести моя книга. На это я отвѣтилъ, что повзбочусь о чемъ слѣдуетъ».

Сообщаетъ онъ Аккерману и про полемику свою съ журналомъ «National», и про свое критическое отношеніе къ философіи Ламеннэ. Этого патера, перешедшаго въ лагерь свободныхъ мыслителей, онъ вообще не долюбиваетъ и прямо говорить, что ему противны «отступники». Въ выходкахъ Ламеннэ онъ видитъ разглагольствованія на тѣмъ изъ *Vicaire savoyard*, и кончаетъ свою тираду замѣчаніемъ: «ему бы не слѣдовало никогда нападать на христіанство, такъ какъ оно нуждается въ болѣе глубокомъ пониманіи, а не въ нападкахъ». Пьера Леру онъ находитъ любезнымъ и остроумнымъ.

Недостатокъ успѣха и тяжелая трудовая доля нисколько не умаляютъ въ глазахъ Прудона значенія его мыслительной дѣятельности. Вотъ какъ онъ высказываетъ это Аккерману:

«Вы видите, стало-быть, каково мое положеніе: числюсь авторомъ двухъ мемуаровъ, оставшихся безъ отвѣта, хотя ихъ читали съ любопытствомъ и придиричивостью; состою на разработкѣ еще неизвѣданной области (дѣло идетъ о передѣлкѣ всего законодательства, замѣняя старыя принципы новыми); и послѣ заявленія о дальнѣйшихъ трудахъ, болѣе ясныхъ и положительныхъ—я уже не могу пятиться назадъ. Я смотрю на свою задачу, какъ на очень большую и полную славы. Мнѣ остается быть ея достойнымъ. Родъ *мемуара*—всего подходящее для меня: на-половину наука, на-половину памфлетъ; благородный, веселый, грустный или возвышенный по тону, говорящій и разуму, и воображенію, и чувству; мнѣ кажется, я хорошо сдѣлаю, если буду держаться этой формы. Чистая наука слишкомъ суха; журналы—слишкомъ отрывочны; длинные трактаты—черезчуръ педантичны: Бомарше, Паскаль—вотъ кто мои учителя. Но сколько у меня преимуществъ передъ ними: нѣтъ такого вопроса по философіи, морали, политики, котораго я бы не могъ ввести въ эти мемуары».

Парижъ представляется Прудону все въ томъ же мрачномъ свѣтѣ: деморализація, чувственные аппетиты, неспособность радикаловъ направить страну къ болѣе чистому политическому и соціальному идеалу—все это возмущаетъ его и заставляетъ страдать; но его пессимизмъ, какъ мы уже видѣли—слишкомъ рѣшителенъ; въ немъ не видно критики отдѣльныхъ явленій, свободной отъ всякой предвзятой точки зрѣнія. Возьмемъ, напримеръ, фразу: «литература болѣе ничего не производитъ». Позвоительно спросить: *какая* литература? Вѣроятно та, которую нужно было Прудону. Не забудемъ, что мы въ 1841 году. Тогда были въ полномъ блескѣ таланта такіе дѣятели, какъ Ламартинъ, Гюгô, Мишле, Кинэ, Жоржъ-Зандъ, Бальзакъ, Сю,

Мериме, Сентъ-Бёвъ, не считая цѣлой массы второстепенныхъ именъ. Личная судьба и непріязненное отношеніе публики и журналовъ сказываются слишкомъ сильно въ сужденіяхъ Прудона. Это не мѣшаетъ ему говорить очень мѣтко и дѣльно, когда рѣчь идетъ о немъ самомъ и его отношеніяхъ къ парижскому интеллигентному міру. «Мои критики и я,—замѣчаетъ онъ въ томъ же письмѣ къ Аккерману,—мы похожи на людей, одинаково желающихъ обить углы у многоугольника, съ той лишь разницей, что когда операція кончится, первые будутъ утверждать, что оставшаяся фигура — все еще многоугольникъ; а я стану говорить, что она—кругъ. Вотъ чѣмъ я въ сущности отличаюсь отъ г. Бланкі и отъ столькихъ другихъ». И тутъ же онъ перечисляетъ: кто изъ компетентныхъ людей что про него сказалъ и какихъ онъ нашелъ тайныхъ сторонниковъ. Онъ началъ сознавать и то, что его рѣзкая манера многимъ нравится. «Негодование честнаго человѣка,—говоритъ онъ,—производитъ очень удачное впечатлѣніе; я испытываю это каждый день». Одиночество все-таки давить и раздражаетъ его, несмотря на его смѣлость и «неуязвимость», какъ частнаго человѣка. Онъ приглашаетъ Аккермана принять участіе въ его борьбѣ, сожалѣя тотчасъ же о томъ, что это невозможно. «Я оставленъ. Надѣюсь, что черезъ годъ публика выскажется наконецъ; но какъ пишущая братія труслива и себялюбива!» Вотъ какой крикъ вырывается у него. Только несокрушимая вѣра въ свои силы позволяетъ ему кончить письмо словами, въ которыхъ опять-таки больше смѣлости, чѣмъ предвидѣнія: «если я продержусь въ этомъ году—я отвѣчаю за мою карьеру».

Въ письмѣ къ Бергману, отъ 18-го іюля, вызванному главнымъ образомъ извѣстіемъ объ его женитьбѣ, Прудонъ позволяетъ себѣ нѣсколько сурово-добродушныхъ замѣчаній о женщинѣ, любви и супружеской жизни, и переходитъ къ замыслу новаго сочиненія, имѣющаго, по нашему мнѣнію, первенствующій смыслъ въ критикѣ его міросозерцанія.

«На этотъ разъ я хочу изложить экономическіе и всемірные законы всей общественной организаціи. Я написалъ г. Бланкі, прося у него аудіенціи; мнѣ нужно съ нимъ посоветоваться, мнѣ столько нужно сказать новыхъ вещей, что и тѣ, кто меня всего внимательнѣе читали, ничего еще не знаютъ. Соціальная наука дѣйствительно безконечна, ибо она есть раскрытіе тайнъ Провидѣнія въ дѣлахъ этого міра. Въ послѣднія двѣ недѣли я столько узналъ новаго, такъ широко раскрылъ завѣсу, что у меня помутилось въ глазахъ. Мнѣ надо успокоиться, выносить

мой зародышъ, прежде чѣмъ родить его. Ты часто испытывалъ то же самое: мы подолгу оставались безъ всякаго видимаго шага впередъ; потомъ, вдругъ завѣсы падали; послѣ долгой работы размышленія является нaitie (intuition). Эта минута — божественна... Когда человѣкъ достаточно знаетъ, порядочно поработалъ, слѣдуетъ только — ставить ему вопросы и заявлять передъ нимъ трудности задачъ. Если у него есть талантъ — онъ всплыветъ какъ солнце и распространитъ цѣлыя волны свѣта. Мое сочиненіе будетъ озаглавлено: «*De la création de l'ordre dans l'humanité*». Это будетъ умозрительная человѣческая экономія».

Стало-быть, когда Прудонъ писалъ свои мемуары о собственности, общіе принципы его философской энциклопедіи уже слагались въ его головѣ, а въ половинѣ 1841 года и весь планъ уже выработался вплоть до заглавія, которое и было имъ удержано. Впослѣдствіи, при изданіи книги, онъ только прибавилъ къ нему объясненіе такого рода: «*Ou principes d'organisation politique*»; но это слово «*politique*» надо брать въ болѣе широкомъ общественномъ смыслѣ.

Непремѣнному секретарю безансонской академіи Прудонъ пишетъ, отъ 19-го іюля, въ спокойномъ тонѣ суховатыхъ сообщеній о своей парижской жизни и сношеніяхъ. Онъ горячѣе защищаетъ только свои интересы передъ академіей, которая напечатала неодобрительный приговоръ о мемуарѣ Прудона, не взирая на его объяснительную записку. Свою дорогу къ извѣстности и социальной пользѣ онъ характеризуетъ такими крупными чертами:

«Неизвѣстный журнальному міру и литературно-политическимъ кружкамъ, безъ сторонниковъ, безъ покровителей, безъ друзей, безъ гласности, я пробиваюсь полегоньку; брошюры мои продаются, и мой издатель кажется доволенъ. Наконецъ, власть дѣлаетъ мнѣ честь: признавать меня однимъ изъ злѣйшихъ своихъ враговъ, въ чемъ, конечно, она ошибается. Въ народѣ на меня смотрятъ скорѣе съ недовѣріемъ, чѣмъ съ симпатіей; маленькіе журналы мастерскихъ меня не долюбиваютъ; коммунисты считаютъ меня слишкомъ для нихъ ученымъ и причисляютъ къ *аристократамъ* особаго свойства; всѣ пользуются моими идеями, не выражая за это никакой признательности. Такъ какъ я никогда не желалъ *популярности*, то я смѣюсь надъ всѣми этими мелкими завистями политическихъ вожаковъ, и чувствую себя очень хорошо».

Письмомъ къ Тиссо, отъ 9-го августа, какъ мы сказали, заканчивается корреспонденція 1841 года, а вмѣстѣ и цѣлый мы-

слительный періодъ жизни Прудона, его парижская эпопея истателя принциповъ и методовъ. Оно писано изъ Безансона и не заключаетъ въ себѣ ничего знаменательнаго, кромѣ мимоходнаго обличенія самого себя «въ ужасной склонности къ болтовнѣ».

Мы не покидали во все время ни на шагъ подлинныхъ документовъ, составленныхъ самимъ Прудономъ и какъ нельзя лучше характеризующихъ всю первую половину того періода его развитія, который мы позволили себѣ назвать «жиздательнымъ». Нѣтъ ни одной замѣтки, ни одного обобщенія въ этомъ первомъ этюдѣ, не вытекающихъ изъ того или иного письма. Наше внимательство заключалось только въ указаніи того мыслительнаго пути, по которому двигался умъ Прудона. Конечно, если обрабатывать его переписку съ иной точки зрѣнія, напримѣръ, въ интересѣ чисто-анекдотическомъ, или полемическомъ, то можно придать ей совершенно иной колоритъ. Въ такомъ случаѣ на первый планъ выступили бы рѣзкія черты характера, а еще чаще настроенія минуты; но подобная обработка грѣшила бы въ самомъ существенномъ, въ изображеніи главнаго «момента»,—выражаемся нѣсколько забытымъ терминомъ. Моментъ этотъ и заключается въ выработкѣ самимъ Прудономъ прочнаго и руководящаго міровоззрѣнія. Прудонъ принадлежитъ именно къ тѣмъ личностямъ, на которыя частности житейской судьбы дѣйствуютъ всего менѣе. Пускай біографы напираютъ на его личную долю и обстановку жизни, безпристрастному читателю стоитъ только просмотрѣть первые два тома переписки, чтобы убѣдиться въ справедливости нашего мнѣнія. Возьмите любое письмо Прудона, гдѣ сказывается внутренняя его жизнь: развѣ не каждое такое письмо дышетъ сильнѣйшей умственной энергіей, развѣ оно не проникнуто чисто-умственнымъ интересомъ, развѣ все остальное не на заднемъ планѣ? Мы видѣли, конечно, какъ темпераментъ и нравственный складъ вліяли на сужденія Прудона, въ особенности въ его крупныхъ выходкахъ противъ Франціи и Парижа того времени; но это нисколько не противорѣчитъ нашему опредѣленію. Увлекался Прудонъ очень часто въ своихъ замыслахъ, также часто давалъ волю своему одностороннему пессимизму, преувеличивалъ противъ воли силу и направленіе своихъ quasi-разрушительныхъ тенденцій; но все это не значитъ, что личная судьба играла первенствующую роль въ его внутренней жизни. Впереди всего во весь періодъ его развитія до эпохи, когда онъ сталъ политическимъ дѣятелемъ — стоитъ

интересъ мыслительный, выражающійся въ неустанномъ, жадномъ отыскиваніи законовъ общественнаго движенія для торжества *соціальной правды*. Кто болѣе Сентъ-Бёва былъ охотникъ до частныхъ характера, до анекдотической пестроты біографій; а онъ, съ полнѣйшимъ убѣжденіемъ и опредѣленностью такъ выразилъ *суть* переписки Прудона: «L'histoire de son esprit est dans ses lettres: c'est là qu'il faut la chercher».

Что же представляетъ собою эта «исторія ума», если на нее взглянуть съ точки зрѣнія болѣе опредѣленной доктрины? Чтобы не забѣгать впередъ и дать самому читателю полную возможность провѣрить наше воззрѣніе, мы ограничимся пока тѣмъ только періодомъ, который вошелъ въ нашъ первый этюдъ. Мы видѣли, что въ первыхъ письмахъ своихъ Прудонъ является человѣкомъ вовсе еще не освобожденнымъ отъ представлений, связанныхъ съ исторической традиціей. Онъ совершенно серьезно говоритъ о вѣчныхъ истинахъ, искони открытыхъ всѣмъ народамъ, затерянныхъ потомъ ими и предназначенныхъ къ восстановленію посредствомъ философской работы. Затѣмъ, съ каждымъ полугодіемъ мы замѣчаемъ въ немъ все большее и большее метафизическое броженіе, въ которомъ идеализмъ сначала торжествуетъ, но, по мѣрѣ знакомства съ областію положительныхъ фактовъ, онъ уступаетъ мѣсто живому стремленію къ отыскиванію и установленію *научныхъ* методовъ, а съ помощью ихъ къ формулированію общихъ элементовъ, принциповъ и «правилъ» (какъ онъ выражается), т.-е. законовъ, какъ называемъ мы ихъ. На этомъ полпути и остановилось развитіе Прудона, разобранное нами. Не будетъ вовсе натяжкой, если мы позволимъ себѣ видѣть въ этомъ конкретномъ развитіи мощнаго ума прохожденіе тѣхъ неизбѣжныхъ *фазъ*, чрезъ которые и человѣчество должно, въ разныхъ своихъ частяхъ, пройти неминуемо, съ большей или меньшей скоростью. Отъ первой фазы въ Прудонѣ къ 1842 году уже ничего не осталось. Его замѣчанія насчетъ Ламеннэ—нравственно-критическаго, а никакъ не теологическаго свойства. Метафизика продѣлана имъ во всемъ ея объемѣ, насколько возможно это было, по условіямъ его начитанности. Позитивное міровоззрѣніе началось для него въ видѣ личныхъ попытокъ, лишенныхъ руководящаго, строго-научнаго метода. Дальше мы не пойдемъ; скажемъ только, что позднѣе Прудонъ, познакомившись съ позитивной доктриной, прибѣгалъ къ ней, какъ къ философскому ученію, всего болѣе авторитетному въ его глазахъ, по крайней мѣрѣ въ тѣхъ чисто-философскихъ вопросахъ, которые онъ произвольно окрестилъ общимъ именемъ «метафизики», разумѣя подъ нею

философію научнаго знанія, а подъ именемъ «философіи» уже ненавистную ему метафизику.

Разъ убѣдившись въ томъ, что Прудонъ жилъ, главнымъ образомъ, такими умственными работами, которыя ведутъ интеллигенцію къ строгой критикѣ, къ методу, къ принципамъ *демонстративнаго*, а не апріорическаго характера, не трудно, и безъ свидѣтельства его писемъ и сочиненій, сообразить: *какъ* онъ долженъ относиться ко всѣмъ политическимъ и социальнымъ идеямъ, формуламъ, доктринамъ, въ которыхъ больше благихъ желаній, чѣмъ положительнаго знанія и дѣла. Онъ считалъ себя республиканцемъ, но нисколько не преклонялся передъ революціонными фетишами. Иначе и быть не могло. Ему нужна была прочная культурная и экономическая почва; безъ нея никакія *формы* государственнаго устройства не прельщали его. Точно также и въ социальныхъ вопросахъ. Кто больше его зналъ нужду народа, кто строже относился къ общественной неправдѣ, къ неравенству и прерогативамъ собственности? но его умъ опять-таки требовалъ фактовъ, изслѣдованій, точнаго метода, научной системы; организаціи, по которымъ сразу можно водворить блаженство на землѣ, возмущали не чувство его, а здоровый, всегда ищущій твердаго грунта умъ. Поэтому-то онъ и называетъ такія системы (говоря о сентъ-симонизмѣ и фурьеризмѣ)—«проклятой ложью». Въ этомъ отрицательномъ или лучше сказать критическомъ отношеніи къ произвольнымъ, мечтательнымъ, хотя и благороднымъ доктринамъ Прудонъ является истымъ французскимъ простолюдиномъ. Пролетаріи въ городахъ увлекаются легко системами, дающими сразу предвкушеніе райскаго житія на землѣ; но ихъ увлеченія вызваны назойливой нуждой и беспомощностью поденнаго труда. Они любятъ мечтателей и систематиковъ идеализма, а къ мыслителямъ, какъ Прудонъ, относятся недовѣрчиво и даже враждебно, пока не поймутъ ихъ. Ихъ обычные вожаки, люди, *сочиняющіе* всемірныя организаціи, конечно, не обманщики и не эксплуататоры. Но они идеалисты, мистики или самоучки дешеваго реформаторства. Въ нихъ—гораздо меньше истыхъ французскихъ свойствъ народнаго ума и характера, чѣмъ въ Прудонѣ. Люди, какъ Сентъ-Симонъ, Фурье, Пьеръ Леру, Викторъ Консидеранъ, Луи Бланъ могли явиться среди всякаго европейскаго народа. Въ ихъ умственной работѣ, если и значатся французскія свойства, то больше въ отрицательномъ смыслѣ. Они всѣ страдаютъ тѣмъ *абсолютизмомъ* идей, опредѣленій и правилъ, который съ 89 года сильно овладѣлъ французской интеллигенціей. Въ Прудонѣ же народный умъ, смыслъ и складъ французскаго крестьянина выразились го-

раздо непосредственнѣе, свободнѣе отъ всякихъ примѣсей. Даже въ тенѣтахъ метафизики онъ не перестаетъ гоняться за дѣловой стороной мыслительныхъ построений. Ему хотѣлось бы все свести въ ясности и неопровержимости арифметическихъ истинъ. Въ немъ нельзя не признать, поэтому, родоначальника тѣхъ критиковъ социальнаго движенія, въ которыхъ любовь къ народу, горячее сознаніе общественной неправды живутъ бокъ-о-бокъ съ строго-научными стремленіями, которые не довольствуются доктринами, подсказанными идеализмомъ или скороспѣлымъ догматизмомъ. Словомъ, еслибъ въ «руководящихъ слояхъ» французской націи преобладали люди такого сорта, какъ Прудонъ, мы не были бы свидѣтелями томительной борьбы между ретроградствомъ и революціоннымъ мистицизмомъ. Такіе люди, какъ Прудонъ, могутъ въ извѣстную минуту заплатить дань увлеченію или давленію событій,—но мысль, методъ, законъ природы и общественнаго развитія не перестанутъ привлекать ихъ; даже въ самой ненавистной для нихъ неправдѣ социальнаго порядка, порождающей неравенство, эксплуатацію и страданія массы, они видятъ, прежде всего, «ошибку въ счетѣ» — «une erreur de comptabilité».

Д — Е ВЪ.



---

# ИЗЪ ДАНТОВА АДА

ПѢСНЬ ТРЕТЬЯ \*).

---

Въ дремучемъ лѣсу (аллегорическое изображеніе скопища человѣческихъ пороковъ) Данте встрѣтилъ Виргиліа, который беретъ на себя вести его сначала въ Адъ, потомъ въ Чистилище и, наконецъ, въ Рай, гдѣ творцу „Комедіи“, названной современниками „Божественной“, суждено приблизиться къ престолу его возлюбленной, Беатриче. Они отправляются въ путь и подходятъ къ первымъ воротамъ, преддверію Ада, надъ которыми читаютъ слѣдующую надпись:

«Мы—путь въ юдоль печалей и скорбей,  
Мы—путь къ слезамъ и мукамъ безконечнымъ,  
Мы—путь въ народъ съ погибшею душой!  
Великій нашъ строитель правосудья  
Исполненъ былъ; божественная мощь,  
И первая любовь, и высшій разумъ  
Намъ дали жизнь; въ твореніи до насъ  
Лишь Вѣчное существовало; вѣчность  
И намъ въ удѣлъ досталася... Простись  
Со всякою надеждою, входящій!»

---

\*) Въ русской литературѣ существуетъ уже нѣсколько (именно, три) стихотворныхъ переводовъ „Ада“; предлагаемый отрывокъ переведенъ въ первый разъ бѣлыми стихами. Сличеніе вышеупомянутыхъ трехъ трудовъ съ подлинникомъ, а равно и мой собственный опытъ убѣдили меня, что съ точностью передать произведеніе Данте русскимъ *рифмованнымъ* стихомъ невозможно—если подъ точностью, какъ это и слѣдуетъ, понимать не только вѣрность духу подлинника, но и сохраненіе всѣхъ внѣшнихъ особенностей, т.-е. тѣхъ условій, безъ которыхъ добросовѣстный переводчикъ не имѣетъ права относиться къ такому классическому произведенію, какъ „Божественная Комедія“. Уже одно обиліе въ ней собственныхъ именъ и богословско-философскихъ

Вотъ что прочелъ я на однихъ вратахъ,  
 Начертанное черной краской.—Страшенъ  
 Смыслъ этихъ словъ, учитель!—я сказалъ.  
 И отвѣчалъ всевѣдущій: «Сомнѣнью  
 Здѣсь мѣста нѣтъ; здѣсь умереть должна  
 Презрѣнная трусливость; мы достигли  
 Обители, о коей я тебѣ  
 Ужь говорилъ: здѣсь встрѣтишь ты несчастныхъ,  
 Утратившихъ познанья высшій даръ».  
 И за руку, съ улыбкой безмятежной,  
 Онъ взялъ меня, и, ободренный, я  
 Вступилъ за нимъ въ жилище тайнъ глубокихъ...  
 По воздуху безвѣздному неслись  
 Стенанія, и вопли, и проелятя;  
 И въ первую минуту слѣзъ не могъ  
 Я удержать. Различныя нарѣчья,  
 Ужасныя хуленія, слова  
 Отчаянья, неистовые крики,  
 Охрипшіе и злые голоса,  
 И всплескиванье рукъ—все здѣсь сливалось  
 Въ немолчный шумъ, и проносился онъ  
 По мрачному пространству, какъ несется  
 Свирѣпый вихрь, вздымаючи песокъ.  
 Невѣдѣньемъ тревожнымъ отуманенъ,  
 Я спросилъ:—Учитель мой, чему  
 Здѣсь внемлю я? Кто эти люди—жертвы  
 Столь тяжкихъ мукъ?—И онъ отвѣтилъ мнѣ:  
 «Таковъ, увы, удѣлъ созданій жалкихъ,  
 Что на землѣ не слышали себѣ  
 Ни похвалы, ни порицанья. Нынѣ  
 Смѣшали ихъ съ порочною толпой  
 Тѣхъ ангеловъ, которые на Бога  
 Не злобились, но не были Ему  
 И вѣрными служителями. Небо  
 Изгнало ихъ, чтобъ красоту свою  
 Не омрачить; и мрачный адъ не хочетъ

разсужденій ставить передъ переводчикомъ дилемму—или жертвовать нѣкоторыми  
 изъ этихъ подробностей для рими—(да еще притомъ такой, которая въ *терцинахъ*  
 „Ада“ чередуется не совсѣмъ обыкновеннымъ образомъ),—или втискивать все въ  
 стихъ, становящійся отъ этого крайне тяжелымъ, почти невозможнымъ для чтенія.  
 Покойный король Саксонскій, одинъ изъ первыхъ знатоковъ Данта, употребилъ въ  
 дѣло также бѣлый стихъ.—П. В.

Имъ дать пріютъ, чтобъ грѣшники собой  
 Въ сообществѣ такомъ не закинулись».  
 И я спросилъ:—Учитель, чѣмъ же ихъ  
 Терзаетъ здѣсь, чтобъ извлекать такіа  
 Стенанія и вопли? «Это я,—  
 Онъ отвѣчалъ,—немногими словами  
 Тебѣ скажу: надежды умереть  
 Имъ не дано, а жизнь идетъ такъ мрачно,  
 Мрачно такъ, что зависти они  
 Исполнены ко всякой худшей долѣ.  
 Міръ предалъ ихъ забвенію; на нихъ  
 Съ презрѣніемъ глядятъ и милосердіе,  
 И правый судъ...Но перестань меня  
 Разспрашивать.—Взгляни и слѣдуй дальше».

И увидалъ я знамя предъ собой:  
 Оно несло, кружась быстро, быстро,  
 Какъ будто бы малѣйшій отдыхъ былъ  
 Ему врагомъ; а вслѣдъ за нимъ бѣжали  
 Несчетныя толпы людей; никакъ  
 Не думалъ я, что смерть ужъ истребила  
 Такъ много душъ!.. Иныя лица мнѣ  
 Знакомыми казались, и, всмотрѣвшись,  
 Узналъ я тѣнь того, кто запятналъ  
 Свой слабый духъ *великимъ отреченьемъ* <sup>1)</sup>.  
 Тутъ разсудилъ и убѣдился я,  
 Что предо мной тѣ грѣшники, которыхъ  
 Отринулъ Богъ, отвергли и его  
 Противники,—плачевныя созданья,  
 Не бывшія живыми никогда.  
 Теперь они томились здѣсь нагѣ,  
 И въ ихъ тѣла и осы, и шмели  
 Впивались жестоко; кровь струилась  
 По ихъ щекамъ и, со слезами тутъ  
 Смѣшавшись, текла къ ногамъ, гдѣ черви  
 Поганые кидались на нее.  
 И сталъ смотрѣть я дальше,—и увидѣлъ  
 На берегу большой рѣки толпу  
 Другихъ людей.—Учитель, объясни мнѣ,—  
 Я спросилъ:—кто это? Почему,—

<sup>1)</sup> Папа Целестинъ V.

Насколько я при этомъ слабомъ свѣтѣ  
Распознаю,—нестерпѣливо такъ  
Стопились они у переправы?—  
Онъ отвѣчалъ: «Объ этомъ я тебѣ  
Скажу, когда достигнемъ Ахерона  
Печальнаго».

Смутясь отъ словъ такихъ,  
Я опустилъ глаза и, изъ боязни,  
Чтобъ говоръ мой ему не досадила,  
До берега уже хранилъ молчанье.  
И вотъ, глядимъ, на встрѣчу въ челноѣ  
Плыветъ старикъ съ сѣдыми волосами,  
Взываючи сердито: «Горе вамъ,  
Неправедныя души! Не надѣйтесь  
Когда-нибудь увидѣть небеса!  
Я къ вамъ плыву, чтобъ всѣхъ васъ переправить  
Черезъ рѣку,—туда, гдѣ вѣчный мракъ,  
Огонь и ледъ; а ты, душа живая,  
Пришедшая сюда же, удались  
Отъ мертвецовъ!»

И, видя, что межъ ними  
Я остаюсь, онъ продолжалъ: «Не здѣсь  
Твой путь лежитъ; тебѣ иная пристань  
И путь иной открытъ; долженъ ты  
Найти челноѣ полегче этой лодки!»  
Мой проводникъ сказалъ ему: «Харонъ,  
Напрасный гнѣвъ! Знай, этого желаютъ  
Тамъ, гдѣ желать и выполнять—одно,—  
И болѣе не спрашивай».

Умоленулъ

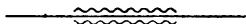
Суровый перевозчикъ водъ гнилыхъ,  
И сдѣлалось спокойнѣй на косматомъ  
Его лицѣ, котораго глаза  
Огнѣвыми кругами окаймлялись.  
Но сонмъ тѣней усталыхъ и нагихъ,  
Услышавъ рѣчь жестокою Харона,  
Заскрежеталъ и страшно поблѣднѣлъ.  
И раздались проклятія на Бога,  
И ихъ отцевъ, и родъ людской, и часъ,  
И мѣсто ихъ рожденія, и сѣмя  
Ихъ сѣмени; и вслѣдъ затѣмъ они  
Съ рыданьями направились къ ужаснымъ

Водамъ рѣки, которая къ себѣ  
 Ждетъ всякаго, кто Бога не боялся.  
 А бѣсъ Харонъ, глазами засверкавъ,  
 Какъ углями, сталъ собирать ихъ въ лодку,  
 И медлившихъ сердито билъ весломъ.  
 Какъ осенью листь за листомъ валится,  
 Пока землѣ деревья всѣхъ одеждъ  
 Не отдадутъ,—такъ это злое сѣмя  
 Адамово, по знаку старика,  
 Въ челнѣ съ берега кидалось другъ за другомъ,  
 Подобное той птицѣ, что летить  
 На зовъ ловца.

И вотъ, по мрачнымъ волнамъ  
 Они плывутъ,—и къ берегу еще  
 Не добрались, а ужъ толпа другая  
 Скопилась тутъ. Учитель добрый мнѣ  
 Сказалъ: «Мой сынъ, умершіе въ опалѣ  
 Создателя стекаются сюда  
 Изъ всѣхъ земель; а правосудье Неба  
 Ихъ гонить прочь, и переплыть они  
 Торопятся, и ужасъ переходитъ  
 Въ желаніе. Здѣсь никогда еще  
 Безгрѣшная душа не появлялась;  
 И ежели Харонъ не захотѣлъ  
 Тебя принять,—то можешь ты отнынѣ  
 Вполнѣ понять значеніе словъ его».

Окончилъ онъ—и мрачная обитель  
 Такъ дрогнула, что и теперь еще  
 Въ мозгу моемъ отъ страха выступаетъ  
 Холодный потъ; по плачущей землѣ  
 Пронесся вихрь; багровымъ блескомъ воздухъ  
 Свернуло,—и я, лишившись чувствъ, упалъ,  
 Какъ человѣкъ, внезапно сномъ обятый.

ПЕТРЪ ВЕЙНБЕРГЪ.



---

# В. Г. БѢЛИНСКІЙ

ОПЫТЪ БІОГРАФІИ.

---

## IX \*).

ПОСЛѢДНІЕ ГОДЫ УЧАСТІЯ ВЪ «ОТЕЧЕСТВЕННЫХЪ ЗАПИСКАХЪ»; ВОЛѢЗНЬ;  
ПУТЕШЕСТВІЕ НА ЮГЪ РОССИИ: 1844-1846. — ОСНОВАНІЕ «СОВРЕМЕН-  
НИКА»; ПОѢЗДКА ЗА ГРАНИЦУ: 1847.

Послѣдніе годы, которые работалъ Бѣлинскій въ «Отеч. Запискахъ», были и лучшими годами этого журнала. Шесть лѣтъ трудовъ Бѣлинскаго и его друзей доставили журналу господство въ литературѣ, а также и прекрасное матеріальное положеніе дѣлу. «Направленіе» «Отеч. Записокъ» выяснилось, и становилось извѣстнымъ руководствомъ. Содержаніе журнала, можно сказать безъ преувеличенія, представляло собою высшій уровень русской образованности, насколько она могла тогда проявляться въ литературѣ. Журналъ сложился въ одно цѣлое, связанное замѣчательнымъ моральнымъ и умственнымъ единствомъ, какъ главные участники его составляли одинъ, тѣсно сплоченный кругъ людей, богатыхъ талантами, исполненныхъ лучшими стремленіями. Содержаніе это, хотя неизбѣжно стѣсненное условіями печати, затрагивало однако и серьезные вопросы отвлеченнаго знанія, и насущные вопросы нашей общественной жизни. Время отвлеченностей, глубокихъ, но индифферентныхъ, проходило; наука являлась въ своемъ широкомъ, жизненномъ значеніи. Правда, въ объ-

---

\*) См. выше: 1874, мартъ, 206; апр., 602; іюнь, 573; окт., 469; ноябрь, 68; дек. 491; 1875, февр., 591; апрѣль, 549 стр.

ясненій ея не было и не могло быть системы, и были скорѣе только эпизодическія изображенія и вызовы къ самостоятельной работѣ; но философская точка зрѣнія вообще уходила далеко впередъ отъ обычной школьной рутины. Статьи о «Дилеттантизмѣ въ наукѣ» сохраняютъ (для нашей литературы) свою цѣну и теперь, какъ защита самообытности и полной свободы науки противъ школьныхъ ограниченій, лицемѣрныхъ или боязливыхъ извращеній ея принципа, отъ которыхъ вообще нерѣдко страдаетъ наука, и которыя у насъ въ особенности дѣлали изъ нея не только *ancillam theologiae*, но и *ancillam* чего угодно. Эта защита науки нападала на самое больное мѣсто не только образованности того времени, но и всей русской образованности. Въ «Письмахъ объ изученіи природы», задачи философіи и естествознанія были поставлены такъ, какъ лучшіе умы ставятъ ихъ и въ настоящую минуту...

Бѣлинскій, въ полномъ согласіи съ этой точкой зрѣнія, велъ свою критическую дѣятельность. Русская литература представляется ему теперь уже не столько какъ предметъ художественной критики, сколько какъ выраженіе общества, какъ предметъ критики общественной. Въ 1843 году былъ имъ начатъ извѣстный рядъ статей о Пушкинѣ. Разсмотрѣніе поэзіи Пушкина онъ начинаетъ съ ея антецедентовъ въ прежней литературѣ, такъ что этотъ рядъ статей составлялъ почти полный обзоръ новѣйшей литературы (до Гоголя). Бѣлинскій и теперь восхищался художественными достоинствами формы, но онъ далеко уже не довольствуется ею, и за эстетической оцѣнкой является оцѣнка мысли, оцѣнка отношенія поэта къ изображаемой жизни, а наконецъ и оцѣнка самой жизни. Чѣмъ дальше подвигались эти статьи, тѣмъ все больше его критика изъ эстетической становится общественной, публицистической. Онъ уже не вѣруетъ теперь въ абсолютную поэзію, въ творчество безстрастное, какъ творчество природы; поэтъ не есть для него, какъ нѣкогда, Пифага, передающая невѣдомыя ей самой изреченія божества, но—живой человѣкъ, членъ своего общества и его дѣятель; какъ членъ общества—живущій его интересами и обязанный его долгомъ...

Труды Бѣлинскаго за эти годы наполняютъ VIII, IX и X томы его «Сочиненій»; главное мѣсто принадлежитъ здѣсь статьямъ о Пушкинѣ, начатымъ еще ранѣе, въ концѣ 1843 года, и оконченнымъ въ началѣ 1846 <sup>1)</sup>. Обзоръ его критическихъ мнѣній и

<sup>1)</sup> Въ началѣ 1846 года написана была послѣдняя статья этого ряда; но помѣщена была она только въ 10-й книгѣ „От. Записокъ“, т. е. уже въ концѣ этого года, когда сотрудничество Бѣлинскаго въ этомъ журналѣ давно прекратилось.

ихъ значенія для тогдашней литературы читатель найдетъ въ прежнихъ трудахъ, къ которымъ мы и обращаемъ его <sup>1)</sup>).

Въ свою поѣзду въ Москву лѣтомъ 1843 Бѣлинскій окончательно закрѣпилъ тѣсную связь съ московскими друзьями, Грановскимъ, Г., и др. Выше было упомянуто объ его отношеніяхъ къ Грановскому. Несмотря на все различіе характеровъ, между ними тѣмъ не менѣе образовалась глубокая нравственная солидарность, основаніе которой лежало въ одинаковомъ ихъ положеніи среди тогдашняго общества: ихъ тяготила одна и та же «дѣйствительность», и одушевляло одно глубокое стремленіе работать для лучшаго будущаго. Къ тому, что связано было прежде, мы можемъ прибавить еще слова изъ воспоминаній г. Кавелина.

«Между Бѣлинскимъ и Грановскимъ была великая дружба; но я думаю, что непосредственной симпатіи между ними не было, да и не могло быть. Это были двѣ натуры совершенно противоположныя. Грановскій былъ натура, въ высшей степени художественная, гармоническая, нѣжная, сосредоточенная. Мысль всегда представлялась ему въ художественномъ образѣ, и въ немъ онъ передавалъ свои мысли и взгляды. Это не была маска, за которой онъ прятался, а свойство его природы. Всякая рѣзкость была ему непріятна, всякая односторонность его шокировала. Многіе считали его за это дипломатомъ, чуть-чуть не двоедушнымъ и хитрымъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, слабымъ, безхарактернымъ. Но такіе сужденія не шли въ глубь этой натуры, удивительно изящной и рѣзко отличавшей его отъ диковаго русской и въ особенности московской среды. Представьте же себѣ рядомъ съ Грановскимъ — Бѣлинскаго, страстнаго, нервнаго, вѣчно переходившаго изъ одной крайности въ другую, необузданнаго и гораздо менѣе образованнаго. Онъ не могъ не смущать иногда Грановскаго своими выходками, точно также какъ и самъ вѣроятно бѣсился и выходилъ изъ себя отъ сосредоточенной умѣренности и идеальности Грановскаго. Грановскій къ тому же былъ плохой философъ, плохой діалектикъ, и часто былъ побиваемъ въ отвлеченныхъ спорахъ, даже когда былъ правъ. О Бѣлинскомъ Грановскій говорилъ всегда съ большимъ уваженіемъ, съ большою любовью, но прибавлялъ, что онъ страшно увлекается и впадаетъ въ крайности. Еслибы эти натуры не сплочали въ тѣснѣйшій союзъ внѣшнія обстоятельства, благородство общихъ стремленій,

<sup>1)</sup> Статьи въ „Современникѣ“ о Гоголевскомъ періодѣ русской литературы, 1855, кн. 12, и 1856, кн. 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11; также статьи г. Скабичевскаго, въ „Отеч. Зап.“ 1871.

личная безукоризненность, а также гнетъ мысли, науки, литературы,—Бѣлинскій и Грановскій навѣрно бы разошлись, какъ Грановскій впоследствии разошелся съ Г.»

Гораздо ближе и проще была дружба Бѣлинскаго съ Г. Но въ это время Бѣлинскій одинаково разошелся съ ними обоими въ одномъ пунктѣ, который считалъ очень существеннымъ, именно (какъ было отчасти указано въ предыдущей главѣ) Бѣлинскому крайне не понравилось сближеніе его московскихъ друзей, т.-е. главнымъ образомъ Г. и Грановскаго, съ славянофильскимъ кружкомъ. Сближеніе произошло очень легко черезъ общія знакомства. Грановскій и Г. сблизились, впрочемъ, не съ г. Погодинымъ и Шевыревымъ, а съ новымъ кругомъ славянофиловъ, съ Кирѣевскими, К. Аксаковымъ, г. Самаринымъ, Хомяковымъ, Дм. Валуевымъ. Все это были, какъ говорили они, *pos ennemis les amis*, или наоборотъ. Дружескія встрѣчи всегда были вмѣстѣ съ тѣмъ постояннымъ диспутомъ и препирательствомъ, особенно между Г. съ одной стороны и Хомяковымъ (и кажется также г. Самаринымъ) — съ другой. Мы напомнимъ извѣстные рассказы объ этихъ отношеніяхъ «западнаго» кружка съ славянофилами,—особенно рассказы, оставленные однимъ изъ главныхъ участниковъ этихъ отношеній<sup>1)</sup>,—о томъ, какъ мирно встрѣчались тогда эти партіи. Завязавшіяся между ними дружескія отношенія были весьма естественны: обѣ стороны видѣли другъ въ другѣ мыслящихъ людей, а это была такая рѣдкость въ тогдашнемъ обществѣ, что они возымѣли весьма понятное любопытство другъ къ другу; на первое время не представлялось еще такихъ столкновеній, которыя дѣлали бы невозможными личныя отношенія (тогдашнюю полемику западнаго кружка противъ «Москвитянина» славянофилы, кажется, не желали брать на свой счетъ); личный характеръ нѣкоторыхъ изъ противниковъ, напр. Кирѣевскихъ, К. Аксакова и др., былъ внѣ всякаго возраженія и внушалъ уваженіе. Славянофилы съ своей стороны, пока не увлеклись черезъ мѣру самонадѣянной исключительностью; находили также интересъ въ этомъ личномъ сближеніи... Но Бѣлинскій не понималъ его. Мнѣнія его противниковъ были ему такъ враждебны, что онъ не считалъ возможнымъ никакое примиреніе: онъ искалъ прямой сущности дѣла, и у него не было бы терпѣнія на остроумную философскую казуистику, какой въ особенности занимались Г. и Хомяковъ; онъ не находилъ удовольствія въ спорѣ для спора... Рассказываютъ, что Хомяковъ, обладавшій и въ самомъ дѣлѣ об-

<sup>1)</sup> См. также біографію Грановскаго, написанную А. В. Станкевичемъ.

ширной начитанностью, иногда злоупотреблялъ ею въ спорѣ, дѣлалъ цитаты, которыхъ въ данную минуту невозможно было провѣрить и которыя были фантастическими, — его противникъ не бывалъ на то въ претензіи, принималъ это добродушно, какъ полемическую изворотливость, смѣлость, или шутку—но на другихъ, и конечно на Бѣлинскаго, подобные приемы производили совсѣмъ иное впечатлѣніе. Наконецъ, Бѣлинскій просто не вѣрилъ въ искреннее сближеніе столь враждующихъ мнѣній,—и послѣдствія оправдали его.

Въ концѣ 1843 года Грановскій читалъ свой первый публичный курсъ, который Чаадаевъ назвалъ «событіемъ», и который дѣйствительно имѣлъ огромный и далеко не ожидаемый успѣхъ въ публикѣ, — въ тѣ времена, въ самомъ дѣлѣ, слишкомъ «беззаботной на счетъ литературы». При тогдашнемъ настроеніи партій въ Москвѣ, славянофилы признали этотъ успѣхъ и приняли участіе въ публичныхъ оваціяхъ профессору. Г. написалъ тогда въ «Моск. Вѣдомостяхъ» восторженную статью объ успѣхѣ лекцій (но продолженіе его отчетовъ уже найдено было неудобнымъ) и желалъ, чтобы подобный отзывъ сдѣланъ былъ въ «Отеч. Запискахъ». Къ его большому недоумѣнію и неудовольствію, такого отзыва не было сдѣлано: дальше увидимъ, какъ Бѣлинскій объяснялъ это неполной свободой для журнала говорить о подобныхъ предметахъ; вѣроятно, другой причиной, помѣшавшей журналу раздѣлить восторги Г., было опасеніе къ «дарамъ данайцевъ» или къ тогдашнимъ сочувствіямъ славянофиловъ <sup>1)</sup>. Такъ или

<sup>1)</sup> Чтобы представить и съ «другой стороны» тогдашнія отношенія кружковъ, приводимъ отрывки изъ незаданной переписки Хомякова, сообщеніемъ которой мы обязаны М. А. Веневитинову. Въ этомъ отрывкѣ есть любопытныя черты тогдашняго настроенія славянофиловъ и ихъ, тогда мирнаго, отношенія къ противникамъ.

Въ письмѣ къ одному изъ петербургскихъ друзей (отъ начала 1844 года), Хомяковъ говоритъ, какъ въ ихъ кругу «отвлеченности вселаго рода», космополитизмъ, національность, «замѣняютъ мѣсто положительныхъ интересовъ», замѣчаетъ, что конечно въ этомъ толку немного, но думаетъ, что можно чего-нибудь ожидать отъ столкновенія мнѣній и дѣятельности,—хотя по правдѣ и дѣятельности все-таки нѣтъ.

„Даже „Москвитянинъ“, послѣдній, и по правдѣ довольно жалкій признакъ жизни умственной, [клонится къ упадку. Говорятъ, что нынѣшній годъ будетъ предѣломъ его существованія. Пожальтъ объ насъ. Не останется даже журнала. Никто въ немъ не пишетъ и не хлопочетъ объ его поддержкѣ, а когда онъ скончается, вѣрно всѣ будутъ также разстроены, какъ Иванъ Никифоровичъ, еслибы у него украли ружье, изъ котораго онъ отъ роду не стрѣливалъ. Вѣдь куда было ружье, можно бы было стрѣлять, если захотѣлось. Лучшимъ проявленіемъ жизни московской были лекціи Грановскаго. Такихъ лекцій, конечно, у насъ не было со временъ самого Калиты, основателя нервопрестольнаго града, и бесспорно мало во всей Европѣ. Впрочемъ, я его хвалю съ тѣмъ болѣе большимъ безпристрастіемъ, что онъ принадлежитъ къ мнѣнію,

иначе, но произошло разногласіе, которое подѣйствовало непріятно на московскихъ друзей. Г. сблизился съ однимъ изъ молодыхъ членовъ славянофильства, тогда только-что начинавшимъ свое литературное поприще, и съ обычной искренностью своего характера отдался впечатлѣнію, какое производилъ въ немъ умъ и талантливость новаго знакома. Г. рекомендовалъ петербургскимъ друзьямъ сблизиться съ нимъ, когда онъ отправлялся въ Петербургъ. Около этого времени вышла диссертация г. Самарина («Стефанъ Яворскій и Теофанъ Прокоповичъ какъ проповѣдники», М. 1844), книга очень талантливая и произведшая большое впечатлѣніе въ учено-литературномъ мірѣ; изъ Москвы прислана была въ «Отеч. Записки» рецензія, въ которой отдавалась полная справедливость достоинствамъ этой книги—безъ всякой примѣси вражды партій<sup>1)</sup>. Мы не имѣемъ прямыхъ отзывовъ Бѣлинскаго (за то время) объ авторѣ и о книгѣ, но изъ тогдашней переписки кружкѣ видно, что Бѣлинскій, несмотря ни на что, упорно оставался при своихъ враждебныхъ мнѣніяхъ и опасался

которое во многомъ, если не во всемъ, противоположно моему. Мурмолка (вѣроятно ты знаешь, что это такое) не мѣшала намъ, мурмоконосцамъ, хлопать съ величайшимъ усердіемъ краснорѣчію и простотѣ рѣчи Грановскаго. Даже П. В. Кирѣевскій, прославившійся, какъ онъ самъ говоритъ, не-изданиемъ русскихъ пѣсень и прозвищемъ великаго печальника земли Русской, даже и онъ хлопалъ не менѣе, другихъ. Ты видишь, что крайности мысли не мѣшаютъ какому-то добродушному русскому единству. Все это безразлично. Не то, что у васъ въ Питерѣ, гдѣ мысль, если когда проявится, гнѣвлива какъ практический интересъ. Къ вамъ нельзя писать, чтобы не влючить прошенія или порученія. Я думаю, это тебѣ кажется иногда страннымъ, но это очевидное слѣдствіе сосредоточія всей положительной жизни. Какую напр., дать комиссію въ Москву? Развѣ отслужить гдѣ-нибудь молебенъ? Другого и не придумаешь“...

Затѣмъ онъ самъ дѣйствительно и дѣлаетъ порученіе своему другу...

Въ другомъ письмѣ того же времени (по возвращеніи изъ-за границы Дмитрія Валугева) Хомяковъ говоритъ:—

„Наше московское житье-бытье идетъ по старому, въ 'сладкой и ненарушимой праздности, въ отвлеченностяхъ, въ бесѣдахъ довольно живыхъ, вертящихся все около однихъ какихъ-нибудь предметовъ, которые идутъ на мѣсяцы и годы... Записка ежедневныхъ (бесѣдъ) можетъ быть легко заключена въ слѣдующей формѣ: „тѣ же о томъ же“. Ежедневное повтореніе однихъ и тѣхъ же бесѣдъ очень похоже на оперу въ Италіи. Одна идетъ на цѣлый годъ, а слушателямъ не скучно. Это не похоже на Питеръ. Мы называемъ такіа бесѣды движеніемъ мысли; но Ляжковъ увѣряетъ, что это не движеніе, а 'просто моціонъ. Одно только явленіе истинно оживило нынѣшнюю московскую зиму—лекціи Грановскаго объ исторіи среднихъ вѣковъ. Профессоръ и чтеніе достойны лучшаго европейскаго университета и, къ крайнему моему удивленію, публика оказалась достойною профессора. Я не ожидаю ни такого успѣха, ни такого глубокаго сочувствія къ наукѣ о развитіи человѣческихъ судебъ и человѣческаго ума. Ты видишь, что я не пристрастенъ къ Москвѣ“...

<sup>1)</sup> См. „Отеч. Зап.“ 1844, кн. 7 (Библиографія).

даже, что самъ Г., впадетъ или уже впалъ въ славянофильство. На всѣ мирныя извѣстія изъ Москвы онъ отвѣчалъ невѣриемъ, и упрекалъ друзей за безхарактерность. «Я жидъ по натурѣ,—писалъ онъ въ то время къ одному изъ московскихъ друзей,—и съ филистимлянами за однимъ столомъ ѣсть не могу... Грановскій хочетъ знать, читалъ ли я его статью въ «Москвитянинѣ»<sup>1)</sup>? Нѣтъ, и не буду читать; скажи ему, что я не люблю ни видѣться съ друзьями въ неприличныхъ мѣстахъ, ни назначать имъ тамъ свиданія».

Предположенія Бѣлинскаго о непрочности мира съ славянофилами были не лишены основанія. Миръ удержался не долго. Грановскій—въ Москвѣ наиболѣе видное лицо «западной» партіи—сдѣлался предметомъ самыхъ непріязненныхъ нападеній съ славянофильской стороны, въ университетѣ, въ печати, и за угломъ, въ стихотвореніяхъ, ходящихъ по рукамъ. Въ университетѣ хотѣли не принять его диссертациі («Волинъ, Іомсбургъ и Винета») и съ позоромъ возвратить ему ее, какъ неудовлетворительную; въ печати (нѣсколько позднѣе) напалъ на него Хомяковъ; поэтъ Языковъ, «славянофилъ по родству», написалъ стихотвореніе, одинаково отличавшееся и злобой, и неприличіемъ<sup>2)</sup>... Съ этимъ мирныя отношенія, кажется, окончательно порвались...

Г., не смотря на все желаніе быть въ мирѣ съ славянофилами (нѣкоторыхъ изъ нихъ онъ искренно уважалъ и прежде, и послѣ), не распространялъ своихъ личныхъ наклонностей на «Москвитянинъ», и охотно принималъ участіе въ полемикѣ «Отеч. Записокъ» противъ этого журнала. Въ концѣ 1843 года напечатаны были его небольшія, очень остроумныя статейки, посвященныя «Москвитянину»<sup>3)</sup>. Съ 1845 года «Москвитянинъ» долженъ былъ перейти въ завѣдываніе Ивана Кирѣевскаго и его друзей,—которые, впрочемъ, остались во главѣ его очень ненадолго. Но Г. не былъ расположенъ теперь и къ новой редакціи, состоявшей изъ его друзей. Въ его статьѣ о 1-й книгѣ «Москвитянина» не забыто неблагоприятное нападеніе Языкова на «западный» кружокъ<sup>4)</sup>.

1) Объ этой статьѣ Грановскаго сказано было въ предыдущей главѣ.

2) Оно было напечатано въ біографіи Чаадаева, г. Жихарева.

3) «От. Зап.» 1843, кн. 11, смѣсь: «Москвитянинъ о Коперникѣ», стр. 56—58; «Путевыя записки г. Вѣдрина», стр. 58—60.

4) Въ статьѣ говорится по поводу напечатаннаго въ «Москвитянинѣ» новаго стихотворенія Языкова:

„Разсказъ г. Языкова о капитанѣ Сурминѣ — трогателенъ и наставителенъ; кажется, успокоившаяся отъ суетъ муза г. Языкова рѣшительно посвящаетъ нѣбогда забубенное перо свое поэзіи исправительной и обличительной. Это истинная цѣль

ВѢлинскій подсмѣивался и даже сердился на воображаемыя примиренія, на торжественныя обѣды и лобызанія съ своими противниками, и теперь московскимъ друзьямъ пришлось согласиться съ нимъ. Имъ пришлось нѣсколько разочароваться и въ публикѣ, которая повидимому съ такимъ сознательнымъ сочувствіемъ принимала Грановскаго на его лекціяхъ. Успѣхъ Грановскаго былъ не совсѣмъ пріятенъ его противникамъ, и вслѣдъ за лекціями Грановскаго объявленъ былъ публичный курсъ Шевырева о древней русской словесности. Оказалось, что лекціи Шевырева—изложенныя въ извѣстномъ духѣ и напечатанныя потомъ въ его извѣстной книгѣ—имѣли не меньшій успѣхъ и сопровождались почти такими же оваціями...

Но московскіе друзья, въ особенности Г., съ своей стороны дѣйствовали на мнѣнія ВѢлинскаго. Г. объяснялъ ему лучшія стороны мнѣній своихъ славянофильскихъ друзей, упрекалъ ВѢлинскаго въ исключительности, и между прочимъ настаивалъ на болѣе вниманіи къ «народу», указывая ВѢлинскому на неловкости его приговоры о «невѣжественной толпѣ», о «народности лаптей и зипуна». Впослѣдствіи, въ «Московскихъ Сборникахъ» славянофилы не упустили напасть на подобныя выраженія, и хотѣли приписать вообще всей «западной» партіи пренебреженіе къ народу;—но, во-первыхъ, это въ самомъ дѣлѣ были только излишнія, неосторожныя выраженія; во-вторыхъ, эта ошибка (какъ мы нашли тому доказательства въ тогдашней перепискѣ) гораздо раньше была замѣчена въ самой западной партіи... Подобныя выраженія имѣли чисто полемическій источникъ и направлялись собственно противъ мнимо-патріотическаго нелѣпаго хвастовства «Маяка», «Москвитянина», «С. Пчелы» и т. п.,—въ родѣ того, что намъ не чему учиться и заимствоваться отъ Европы, что Западъ сгинетъ въ одно прекрасное утро, что европейская цивилизація ничто передъ нашей «народностью», что русскій «мужичокъ» лучше всякаго нѣмца сдѣлаетъ то-то и то-то, и т. д. Когда славянофилы, т.-е. собственно К. Аксаковъ, надѣлъ тотъ русскій костюмъ, въ которомъ настоящіе мужики, говорятъ, принимали его за

---

искусства; пора поэзіи сдѣлаться трибуналомъ de la poésie correctionnelle. Мы имѣли случай читать еще поэтическія произведенія того же исправительнаго направленія, ждемъ ихъ въ печати; это громъ и молнія; озлобленный поэтъ не остается въ абстракціяхъ; онъ указываетъ негодующимъ перстомъ лица—при полномъ изданіи можно приложить адресы.. Исправлять нравы! Что можетъ быть выше этой цѣли? разве не ее имѣлъ въ виду самоотверженный Коцебу и авторъ «Выжигинныхъ» и другихъ нравственно-сатирическихъ романовъ?»—„От. Зап.“ 1845, кн. 3: „Москвитянинъ и Вселенная“, Ярополка Водянскаго (смѣсь, стр. 48—51).

иностранца, Бѣлинскій въ этой символиѣ увидѣлъ новое упрямое подтвержденіе этого хвастовства, и съ раздраженіемъ нападалъ на «терлики» и «мурмолки»... Ему ненавистны были эти легкомысленныя нападки на западную образованность, которой мы сами имѣли только крохи, на западную общественность, которой не умѣли даже понимать по совершенной отвычкѣ «смыслъ свое сужденіе имѣть», и ненавистна была эта похвальба, которая грозила отупленіемъ и послѣднихъ инстинктовъ умственного развитія...

Бѣлинскій безъ сомнѣнія нисколько не спорилъ, когда московскіе друзья замѣтили ему, что не слѣдуетъ нападать на лапти или зипунъ, которые мужикъ носить не по любви къ нимъ, а по невозможности имѣть сапоги или хорошую шубу. Рѣчь шла лишь о томъ, чтобъ измѣнить способъ выраженія, дававшій поводъ къ перетолкованіямъ. Но мимо этого, Бѣлинскій по всему вѣроятію заимствовалъ у Г. долю тѣхъ воззрѣній на «народный» вопросъ, какія отчасти сближали самого Г. съ славянофильскимъ взглядомъ...

Факты, здѣсь указанные, отчасти взяты нами изъ переписки друзей Бѣлинскаго. Его собственная переписка, какъ было замѣчено, на это время очень скудна. Приводимъ изъ нея немногія цитаты.

Въ декабрѣ 1844, онъ пишетъ небольшое письмо къ своимъ деревенскимъ друзьямъ, и начинается съ извиненія за свою невѣжливость — что отвѣчаетъ уже только на третье письмо, отъ нихъ полученное.

„Что дѣлать? Русскій человѣкъ — и мнѣ приличнѣе обращаться съ лошадьми, нежели съ дамами. То боленъ (а я дѣйствительно съ самаго лѣта такъ боленъ, какъ еще никогда не бывалъ), то дѣла по горло, то не въ духѣ, а главное — проклятая журнальная работа — этотъ источникъ моего нездоровья и физическаго, и нравственнаго, — то наконецъ и самъ не знаю почему, но только не могъ приняться за перо. Съ нѣкотораго времени я со всѣми таковъ въ отношеніи къ письмамъ. Но вы такъ добры и, вѣрно, простили меня, не дожидаясь извиненій“...

Нездоровье уже давно одолевало Бѣлинскаго, но теперь оно почти не покидаетъ его и періодически возвращается все въ болѣе тяжелыхъ формахъ...

Въ письмѣ отъ января 1845 г., къ одному изъ московскихъ друзей, мы имѣемъ между прочимъ указанія на упомянутыя выше московскія отношенія кружка. Въ началѣ письма рассказывается, какъ было — обрадовался Бѣлинскій, когда однажды ку-

харка, она же и камердинеръ, «доложила» ему, что его спрашиваютъ господинъ съ именемъ, похожимъ на имя Г. На минуту Бѣлинскій изумился. «У меня вздрогнуло сердце: какъ Г.? быть не можетъ — субъектъ запрещенный..., — при томъ же онъ оборвалъ бы звонокъ, залился бы хохотомъ и, снимая шубу, отпустилъ бы кухарку съ полсотню остротъ, — нѣтъ, это не онъ!» Это дѣйствительно не былъ онъ. Бѣлинскій упоминаетъ при этомъ о своей перепискѣ съ Г., письма котораго всегда доставляли ему большое удовольствіе: «въ нихъ всегда такъ много какого-то добродушнаго юмору, который хоть на минуту выведетъ изъ апатіи и возбудитъ добродушный смѣхъ»... Новый знакомецъ, явившійся къ Бѣлинскому, былъ пріѣзжій изъ Москвы и привезъ Бѣлинскому письма отъ московскихъ друзей, и московскія новости.

Вѣсти... о лекціяхъ Ш., о фурорѣ, который онъ произвели въ *зрительной* московской публикѣ, о рукоплесканіяхъ, которыми прерывается каждое слово сего московскаго скверноуста—все это меня не удивило нисколько: я увидѣлъ въ этомъ повтореніе исторіи съ лекціями Грановскаго. Наша публика — мѣщанинъ во дворянствѣ: ее лишь бы пригласили въ парадно-освѣщенную залу, а ужъ она, изъ благодарности, что ее, холопа, пустили въ барскія хоромы, непременно останется всѣмъ довольною. Для нея хорошъ и Грановскій, да не дуренъ и Шевыревъ; интересенъ Вильменъ, да любопытенъ и Гречъ. Лучшимъ она всегда считаетъ того, кто читалъ послѣдній. Иначе и быть не можетъ, и винить ее за это нельзя. Французская публика умна, но вѣдь къ ея услугамъ и тысячи журналовъ, которые имѣютъ право не только хвалить, но и ругать; сама она имѣетъ право не только хлопать, но и свистать. Сдѣлай такъ, чтобы во Франціи публичность замѣнилась авторитетомъ полиціи, и публика, въ театрѣ и на публичныхъ чтеніяхъ, имѣла бы право только хлопать, не имѣла бы права шикать и свистать: она скоро сдѣлалась бы такъ же глупа, какъ и русская публика. Если бы NN <sup>1)</sup> имѣлъ право, между первою и второю лекціею Ш., тиснуть стайку, — вторая лекція, навѣрное, была бы принята съ меньшимъ восторгомъ. По моему мнѣнію, стыдно хвалить то, чего не имѣешь права ругать: вотъ отъ чего мнѣ не понравились статьи (Г.) о лекціяхъ Грановскаго <sup>2)</sup>. Но довольно объ этомъ. Москва сдѣлала наконецъ рѣшительное прононціаментъ <sup>3)</sup>: хорошій городъ! Питеръ тоже не дуренъ. Да и все хорошо. Спасибо тебѣ за стихи Яз. Жаль, что ты не вполне ихъ прислалъ»...

Въ Петербургѣ нѣкто написалъ пародію на злостное стихотвореніе Языкова (упомянутое выше). Бѣлинскій посылаетъ ее мо-

<sup>1)</sup> Имя одного изъ друзей Бѣлинскаго.

<sup>2)</sup> Въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“...

<sup>3)</sup> Быть можетъ, разумѣются здѣсь лекціи Шевырева, или „Москвитанинъ“, получавшій тогда новую редакцію.

сковскимъ друзьямъ, совѣтуеъ распространить ее, и послать для напечатанія въ «Москвитининъ». Онъ продолжаетъ:

„А что ты пишешь..., будто моя статья не произвела на ханжей впечатлѣнія и что они гордятся ею — вздоръ; если ты этому повѣрилъ, значитъ, ты плохо знаешь сердце человѣческое и совѣмъ не знаешь сердца литературнаго — ты никогда не былъ печатно обруганъ. Штуки, судырь ты мой, изъ которыхъ я вижу ясно, что ударъ былъ страшенъ. Теперь я этихъ людей <sup>1)</sup> не оставляю въ покоѣ“...

Рѣчь идетъ безъ сомнѣнія о статьѣ Бѣлинскаго въ 1-й книгѣ «Отеч. Записокъ» 1845 года: «Русская литература въ 1844 году,» — гдѣ между прочимъ былъ мѣткій и суровый разборъ вышедшихъ тогда стихотвореній Языкова и Хомякова. И тѣ и другія Бѣлинскому очень мало нравились: звонкая поверхностность одного автора, славянофильскій притязательный мистицизмъ другого только подтверждали антипатіи Бѣлинскаго; разбирая Языкова, Бѣлинскій очевидно хотѣлъ, кромѣ того, и осудить поэта за недостойное злоупотребленіе своей «лирой».

Далѣе, въ томъ же письмѣ упоминается о другомъ предметѣ тогдашнихъ интересовъ Бѣлинскаго:

Н. <sup>2)</sup> писалъ тебѣ о парижск. Ярбюхерѣ, и что будто я отъ него воскресъ и переродился. Вздоръ! Я не такой человѣкъ, котораго тетрадка можетъ удовлетворить. Два дня я отъ нея былъ бодръ и веселъ, — и все тутъ. Истину я взялъ себѣ... (рѣзкія выраженія противъ „тѣмы, мрака, цѣпей“ и пр.)... Все это такъ, но вѣдь я, по прежнему, не могу печатно сказать все, что я думаю и какъ я думаю. А чортъ ли въ истинѣ, если ея нельзя популяризировать и обнародывать? — мертвый капиталъ!..“

Парижское изданіе, о которомъ здѣсь упоминается, былъ новый журналъ Арнольда Руге. Когда «Deutsche Jahrbücher» были въ 1843 году запрещены саксонскимъ правительствомъ, Руге рѣшился продолжать свое дѣло во Франціи; въ новыхъ «Jahrbücher» должны были соединиться лѣвая сторона гегелиянства съ французскимъ социализмомъ. Кружокъ Бѣлинскаго еще раньше былъ знакомъ (хотя въ общихъ чертахъ) съ тѣмъ и другимъ, сочувствовалъ обоимъ, и понятно, что ихъ соединеніе могло произвести на Бѣлинскаго впечатлѣніе, указанное въ послѣдней цитатѣ. Въ воспоминаніяхъ г. Тургенева рассказывается, какъ, напримѣръ, Бѣлинскій и его друзья увлекались тогда (впрочемъ, не особенно долго) Пьеромъ Леру, о которомъ таинственно переписывались, давая ему наименованіе «Петра Рыжаго», и т. п. <sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Замѣняемъ рѣзкое выраженіе.

<sup>2)</sup> Имя одного изъ общихъ друзей.

<sup>3)</sup> „В. Евр.“, 1869, апр. 719.

Между тѣмъ, здоровье все больше измѣняло БѢлинскому. Осенью 1845 года онъ выдержалъ сильную болѣзнь, которая грозила опасностью самой жизни. Журнальная работа утомляла его до послѣдней степени. Наконецъ, стали разстроиваться отношенія съ редакціей «Отечеств. Записокъ». Дѣло кончилось тѣмъ, что въ началѣ 1846 года БѢлинскій оставилъ совсѣмъ этотъ журналъ.

Мы не будемъ входить въ разборъ этихъ несогласій, тѣмъ больше, что подробности ихъ все еще не вполне извѣстны. Мы укажемъ только на извѣстные отзывы объ этихъ отношеніяхъ въ воспоминаніяхъ современниковъ, друзей БѢлинскаго (какъ Панаевъ, Тургеневъ, Г.), и прибавимъ, что слышали отъ другихъ современниковъ, не причастныхъ этимъ отношеніямъ, отзывы гораздо болѣе умѣренные и нѣсколько измѣняющіе дѣло, — хотя должно сказать, что другая сторона до сихъ поръ не представила достаточнаго разъясненія дѣла <sup>1)</sup>. Какъ бы то ни было, БѢлинскій къ началу 1846 года уже рѣшилъ покинуть «Отеч. Записки». Его сильно заняли планы о томъ, какъ могъ бы онъ устроить себѣ иное литературное положеніе, которое лучше бы его обезпечило и дало возможность болѣе спокойной, свободной работы и отдыха.

Въ самомъ началѣ 1846 года, 2-го января, онъ пишетъ объ этомъ къ своимъ ближайшимъ московскимъ друзьямъ, подъ величайшей тайной <sup>2)</sup>.

„Я теперь рѣшился оставить „Отечественныя Записки“, — говорить онъ въ этомъ письмѣ. — Это желаніе давно уже было моею *idée fixe*; но я все надѣялся выполнить его чудеснымъ способомъ, благодаря моей фантазіи, которая у меня услужлива не менѣе фантазіи г. Манилова, и надеждамъ на богатыхъ земли. Теперь я увидѣлъ ясно, что это все вздоръ, и что надо прибѣгнуть къ средствамъ, болѣе обыкновеннымъ, болѣе труднымъ, но за то и болѣе дѣйствительнымъ. Но прежде о причинахъ, а потомъ уже о средствахъ... Журнальная срочная работа высасываетъ изъ меня жизненные силы, какъ вампиръ кровь. Обыкновенно, я недѣли двѣ въ мѣсяцъ работаю съ страшнымъ лихорадочнымъ напряженіемъ, до того,

<sup>1)</sup> Объ отношеніяхъ БѢлинскаго къ „Отеч. Запискамъ“, и потомъ къ „Современнику“, есть уже цѣлая литература. Кромѣ упомянутыхъ въ текстѣ воспоминаній современниковъ, см. статьи въ „Голосѣ“ 1869, по поводу „Воспоминаній“ г. Тургенева, въ „Космосѣ“ 1869, прил. № 1, и второе полугодіе, № 1; полемику между „Голосомъ“ и „Спб. Вѣдомостями“ по поводу письма БѢлинскаго къ Боткину (отъ 4—5 ноября 1847), напечатаннаго въ „Спб. Вѣд.“ 1869, № 187—188.

<sup>2)</sup> Это письмо, и нѣкоторые слѣдующія извѣстны намъ только въ неполныхъ копіяхъ.

что пальцы деревенѣютъ и отказываются держать перо; другія двѣ недѣли я, словно съ похмѣлья послѣ двухнедѣльной оргіи, праздно шатаюсь и считаю за трудъ прочесть даже романъ. Способности мои тупѣютъ, особенно память, страшно заваленная грязью и соромъ россійской словесности. Здоровье видимо разрушается. Но трудъ мнѣ не опротивѣлъ. Я больной писалъ большую статью о жизни и сочиненіяхъ Кольцова <sup>1)</sup>, и работалъ съ наслажденіемъ; въ другое время, я въ три недѣли чуть не изготовилъ къ печати цѣлой книги, и эта работа была мнѣ сладка, сдѣлала меня веселымъ, довольнымъ и бодрымъ духомъ. Стало быть, мнѣ невыносима и вредна только срочная журнальная работа; она тупитъ мою голову, разрушаетъ здоровье, искажаетъ характеръ, и безъ того брюзгливый и мелочно-раздражительный, но трудъ не ех officio былъ бы мнѣ отраденъ и полезенъ. Вотъ первая и главная причина...

Къ пасхѣ этого года Бѣлинскій намѣренъ былъ издать «толстый, огромный альманахъ», который долженъ былъ на первое время, по оставленіи журнала, дать ему помѣщеніе для работы и вмѣстѣ нѣкоторыя средства.

Подобные альманахи были тогда въ ходу. Передъ тѣмъ, въ такомъ же родѣ былъ задуманъ и изданъ (къ началу 1846 года) г. Некрасовымъ «Петербургскій Сборникъ» (въ которомъ участвовалъ и Бѣлинскій); въ Москвѣ, въ 1846 и въ слѣдующемъ году, явились два «Московскіе Сборника». За трудностью (которая и тогда была очень велика) получить разрѣшеніе на изданіе новаго журнала, альманахъ оставался единственной формой, въ которой возможенъ былъ сборный трудъ. Понятно, что въ сборникахъ московскихъ и петербургскихъ выразилось и дѣленіе литературныхъ партій—такъ это и понималось: московскіе сборники были заявленіемъ новой славянофильской программы; петербургскіе сборники, какъ и сборникъ, предложенный Бѣлинскимъ, представляли мнѣнія «западной» партіи.

Было еще обстоятельство, которое ободряло Бѣлинскаго въ его предпріятіи. Эти годы (1845, особенно 1846, потомъ 1847) были въ особенности отмѣчены изобиліемъ литературныхъ явленій, въ которыхъ несомнѣнно сказывалось новое движеніе, новый шагъ развитія послѣ Гоголя. Съ 1845 года г. Тургеневъ начинаетъ покидать стихи и поэмы, и обращается къ повѣсти; въ томъ же году явилась первая половина романа «Кто виноватъ?»; въ томъ же году, въ кружкѣ Бѣлинскаго появился г. Достоевскій съ повѣстью «Бѣдные люди» (напечатанной въ «Петербургскомъ Сборникѣ»). Въ 1846 году Бѣлинскій, съ восхищеніемъ встрѣтилъ «Обыкновенную Исторію» г. Гончарова, и въ концѣ того

<sup>1)</sup> Для отдѣльнаго изданія стихотвореній. Сочин., т. XII.

же года явилась первая замѣчательная повѣсть г. Григоровича, «Деревня».

Бѣлинскій, всегда съ восторгомъ встрѣчавшій новые таланты, теперь не зналъ мѣры своимъ увлеченіямъ, быть можетъ, потому (какъ замѣчаетъ Тургеневъ въ своихъ воспоминаніяхъ), что наступавшее ослабленіе организма увеличивало его нервную восприимчивость, а вѣроятноже потому, что быстрое появленіе, одно за другимъ, явленій дѣйствительно замѣчательныхъ, само по себѣ усиливало, возбуждало его впечатлительность.

Такой, до крайности доходившій, восторгъ произвела въ немъ прежде всего первая повѣсть Достоевскаго «Бѣдные люди»; Бѣлинскій узналъ о ней отъ издателя «Петербургскаго Сборника», въ который она предназначалась. Бѣлинскому сообщили ее, какъ замѣчательное произведеніе.

«Бѣлинскій принялъ ее несовсѣмъ довѣрчиво, — рассказываетъ Панаевъ <sup>1)</sup>. — Нѣсколько дней онъ, кажется, не принимался за нее.

«Онъ въ первый разъ взялся за нее, ложась спать, думая прочесть немного, но съ первой же страницы рукопись заинтересовала его... Онъ увлекался ею болѣе и болѣе, не спалъ всю ночь и прочелъ ее разомъ, не отрываясь.

«Утромъ Некрасовъ засталъ Бѣлинскаго уже въ восторженномъ, лихорадочномъ состояніи.

«Въ такомъ положеніи онъ, обыкновенно, ходилъ по комнатѣ въ безпокойствѣ, въ нетерпѣніи, весь взволнованный. Въ эти минуты ему непремѣнно нуженъ былъ близкій человѣкъ, которому бы онъ могъ передать переполнявшія его впечатлѣнія... Нечего говорить, какъ Бѣлинскій обрадовался Некрасову.

«— Давайте мнѣ Достоевскаго! — были первыя слова его.

«Потомъ онъ, задыхаясь, передалъ ему свои впечатлѣнія; говорилъ, что «Бѣдные люди» обнаруживаютъ громадный, великій талантъ, что авторъ ихъ пойдетъ далѣе Гоголя, и прочее. «Бѣдные люди», конечно, замѣчательное произведеніе и заслуживало вполне того успѣха, которымъ оно пользовалось, но все-таки увлеченіе Бѣлинскаго, относительно его, доходило до крайности.

«Когда къ нему привезли Достоевскаго, онъ встрѣтилъ его съ нѣжною, почти отцовскою любовью, и тотчасъ же высказался передъ нимъ *весь*, передавъ ему вполне свой энтузіазмъ»...

Но энтузіазмъ Бѣлинскаго не былъ однако слѣпымъ и не-

<sup>1)</sup> Восп. о Бѣл., «Совр.», 1860, № 1, стр. 369. Ср. «Воспоминанія» г. Тургенева, «Вѣстн. Евр.» 1869, апрѣль, стр. 720.

исправимымъ увлеченіемъ. Уже вскорѣ Бѣлинскій самъ сильно измѣнилъ свое мнѣніе объ этомъ талантѣ, при появленіи другихъ повѣстей Достоевскаго, слѣдовавшихъ за «Бѣдными людьми»: ихъ болѣзненная, натянутая фантастика подѣйствовала на него непріятно и очень умѣрила его представленіе о талантѣ Достоевскаго. Впослѣдствіи Бѣлинскій называлъ эту фантастику «нервической чепухой» <sup>1)</sup>...

Около того же времени, или немного позднѣе, произвелъ на Бѣлинскаго столь же сильное, но гораздо болѣе прочное впечатлѣніе первый трудъ г. Гончарова. Авторъ самъ, въ теченіе нѣсколькихъ вечеровъ, читалъ Бѣлинскому свою «Обыкновенную исторію»... Бѣлинскій былъ въ восторгѣ отъ новаго таланта, выступавшаго такъ блистательно, — говоритъ Панаевъ: — «Бѣлинскій все съ болѣе и болѣе возроставшимъ участіемъ и любопытствомъ, слушалъ чтеніе Гончарова и по временамъ привскакивалъ на своемъ стулѣ, съ сверкающими глазами, въ тѣхъ мѣстахъ, которыя ему особенно нравились»... <sup>2)</sup> Мнѣнія своего о талантѣ г. Гончарова онъ не измѣнилъ и впослѣдствіи.

Возвращаемся къ письму 2-го января:

„Къ Пасхѣ я издаю толстый огромный альманахъ. Достоевскій даетъ повѣсть, Тургеневъ повѣсть и поэму, Н.... юмористическую статью въ стихахъ (*Семейство*, онъ на эти вещи собаку съѣлъ), П... повѣсть; вотъ уже пять статей есть; шестую напишу самъ; надѣюсь у Майкова выпросить поэму“...

Онъ ждалъ содѣйствія и отъ московскихъ друзей: отъ Грановскаго онъ желалъ исторической статьи; отъ Г.—вторую часть романа «Кто виноватъ?» и вообще чего-нибудь живого и легкаго о русской жизни, литературѣ и проч. Упомянувъ о Грановскомъ, Бѣлинскій продолжаетъ:

„На всякій случай, скажи юному профессору К.—ну, нельзя ли отъ него поживиться чѣмъ-нибудь въ этомъ <sup>3)</sup> родѣ. Его лекціи, которыхъ начало онъ прислалъ мнѣ (за что благодаренъ ему до нельзя), чудо какъ хороши; основная мысль ихъ о племенномъ и родовомъ характерѣ русской исторіи въ противоположность личному характеру западной исторіи—геніальная мысль, а онъ развиваетъ ее превосходно. Если бы онъ далъ мнѣ статью, въ которой бы развилъ эту мысль, сдѣлавъ сокращеніе изъ своихъ лекцій, я бы не зналъ, какъ благодарить его“...

<sup>1)</sup> Даже сильнѣе.

<sup>2)</sup> „Восп.“ Панаева, тамъ же, стр. 368. Дальше, мы представимъ читателю еще другія подробности о томъ, какъ Бѣлинскій восторгался „Обыкновенной Исторіей“.

<sup>3)</sup> Т.-е. историческомъ.

Это и было сдѣлано въ очень извѣстной статьѣ «Юридическій бытъ древней Россіи», напечатанной въ 1-й книгѣ возникшаго потомъ «Современника».

Самъ БѢлинскій думалъ написать о современномъ значеніи поэзіи. Онъ ожидалъ, кромѣ того, получить повѣсть отъ Кудрявцева, жившаго тогда въ Берлинѣ,—что-нибудь, въ родѣ путевыхъ замѣтокъ отъ П. В. А—ва, который уѣзжалъ тогда за границу. БѢлинскій надѣялся, что со всѣмъ этимъ матеріаломъ, повѣстями, стихотвореніями, статьями серьезными и юмористическими «альманахъ выйдетъ бы на славу».

Въ ту минуту онъ дѣлалъ изданіе Кольцова съ книгопродавцемъ Ольхинымъ; къ Паскѣ же надѣялся кончить первую часть своей исторіи русской литературы. Вообще онъ былъ исполненъ надеждами:

„Лишь бы извернуться на первыхъ-то порахъ, а тамъ, я знаю, все пойдетъ лучше, чѣмъ было; я буду получать не меньше, если еще не больше, за работу, которая будетъ легче и пріятнѣе“...

Отвѣтъ московскихъ друзей не замедлилъ и очень обрадовалъ БѢлинскаго. Ему писали, что Г. хочетъ дать ему другую повѣсть (это была «Сорока-воровка», напечатанная потомъ въ «Современникѣ»); и предложили «Письма объ Испаніи» Боткина. БѢлинскій, въ письмѣ отъ 14-го января, опасается только, что останется мало времени. «Пора уже собирать и въ цензуру представлять. Цензоровъ у насъ мало, а работы у нихъ гибель, оттого они страшно задерживаютъ рукописи»... Затѣмъ слѣдуютъ строки, въ которыхъ высказались мрачныя мысли, уже овладѣвавшія имъ теперь:

„Ахъ, братцы, плохо мое здоровье—бѣда! Иногда, знаете, лѣзетъ въ голову всякая дрянь, напр., какъ страшно оставить жену и дочь безъ куска хлѣба и пр. До моей болѣзни прошлою осенью, я былъ богатырь въ сравненіи съ тѣмъ, что я теперь. Не могу поворотиться на стулѣ, чтобъ не задохнуться отъ истощенія.

„Полгода, даже четыре мѣсяца за-границею, и можетъ быть, я лѣтъ на пять или болѣе, опять пошелъ бы какъ ни въ чемъ не бывало. Бѣдность не порокъ, а хуже порока. Бѣднякъ подлець, который долженъ самъ себя презирать, какъ паря, не имѣющаго права даже на солнечный свѣтъ. Журнальная работа и петербургскій климатъ доканали меня“.

Слѣдующее письмо къ московскимъ друзьямъ писано отъ 6-го февраля. БѢлинскій «радъ несказанно», что можетъ быть увѣренъ въ полученіи «Сороки-воровки», которая уже кончена.

„А все-таки грустно и больно, что „Кто виновать“ <sup>1)</sup> ушла у меня изъ рукъ. Такія повѣсти (если 2 и 3 часть не уступаютъ первой) являются рѣдко, и въ моемъ альманахѣ она была бы капитальной статью, раздѣляя восторгъ публики съ повѣстью Достоевскаго „Сбитые бакенбарды“ <sup>2)</sup>, а это было бы больше, нежели сколько можно желать издателю альманаха даже и во снѣ, не только на яву. Словно бѣсъ какой дразнить меня этою повѣстью, и, разставшись съ нею, я все не перестаю строить на ея счетъ предположительные планы...

„Что статья К—на будетъ хороша—въ этомъ я увѣренъ, какъ нельзя больше. Ея идея (а отчасти и манера К—на развивать эту идею) мнѣ извѣстна, а этого довольно, чтобы смотрѣть на эту статью какъ на что-то весьма необыкновенное“...

Въ концѣ письма Бѣлинскій говоритъ съ величайшимъ сочувствіемъ о талантѣ Г. Онъ еще не имѣлъ въ рукахъ «Сороки-воровки», но былъ убѣжденъ, что это — «граціозно-остроумная и, по его обыкновенію, дьявольски умная вещь» и т. д. Далѣе, онъ высказываетъ желаніе имѣть что-либо отъ Грановскаго. «Статьѣ С—ва я радъ несказанно и прошу тебя поблагодарить его отъ меня за нее» <sup>3)</sup>.

Московскіе друзья не знали, радоваться или нѣтъ, что Бѣлинскій оставилъ журналъ. У нихъ было естественное опасеніе, что Бѣлинскій можетъ остаться безъ средствъ, не имѣя правильнаго помѣщенія для своей работы. Онъ отвѣчаетъ на это въ новомъ письмѣ, отъ 19-го февраля, гдѣ опять говоритъ о своемъ альманахѣ:

„...Отвѣчаю утвердительно: радоваться; дѣло идетъ не только о здоровьи, о жизни, но и умѣ моемъ. Вѣдь я тупѣю со дня на день. Памяти нѣтъ, въ головѣ хаосъ отъ русскихъ книгъ, а въ рукѣ всегда готовыя общія мѣста и казенная манера писать обо всемъ. „Въ Дорогѣ“ Н—ва <sup>4)</sup> превосходно; онъ написалъ и еще нѣсколько такихъ же, и напишетъ ихъ еще больше; но онъ говоритъ, это отъ того, что онъ не работаетъ въ журналѣ. Я понимаю это. Отдыхъ и свобода не научатъ меня стихи писать, но дадутъ мнѣ возможность такъ хорошо писать, какъ мнѣ дано. Ты не знаешь этого положенія. А что я могу прожить и безъ „Отечественныхъ Записокъ“, можетъ

<sup>1)</sup> Первая часть этого романа появилась въ „Отеч. Зап.“ 1845, кн. 12, стр. 195—245. Продолженіе („Владимиръ Бельтовъ“. Эпизодъ между первой и второю частями)—въ „Отеч. Зап.“ 1846, кн. 4, стр. 155—192. Объ этомъ продолженіи Бѣлинскій здѣсь и говоритъ. Наконецъ полный романъ, въ двухъ частяхъ, изданъ былъ въ приложеніи къ 1-й книгѣ „Современника“ 1847.

<sup>2)</sup> Такой повѣсти, кажется, послѣ не появилось.

<sup>3)</sup> „Даніилъ Романовичъ Галицкій“; статья эта явилась потомъ въ „Современникѣ“ 1847 г.

<sup>4)</sup> Это стихотвореніе находилось въ „Петербургскомъ Сборникѣ“ г. Некрасова. Эта книга только-что передъ тѣмъ вышла.

быть, еще лучше, это кажется ясно. Въ головѣ у меня много дѣльныхъ предпріятій и затѣй, которыя при прочихъ занятіяхъ никогда бы не выполнились, и у меня есть теперь имя, а это много“.

БѢлинскій говорилъ далѣе о присланныхъ статьяхъ. «Сорока-воровка», по его словамъ, отзывалась анекдотомъ, но разсказана мастерски и производить глубокое впечатлѣніе. Онъ боялся одного: «всю запретить»<sup>1)</sup>. Ему понравилась и мысль—«Записокъ медика» (это были—явившіяся потомъ Записки доктора Крупова); понравилась и историческая монографія «Даніилъ Галицкій». «О статьѣ К—на нечего и говорить, это—чудо». Далѣе онъ опять возвращается къ своему альманаху,—отвѣчая на мнѣніе московскихъ друзей.

„Итакъ, вы, лѣнвые и бездѣятельные москвичи, оказались исправнѣ нашихъ петербургскихъ скорописцевъ. Спасибо вамъ!

„А что мой альманахъ долженъ быть слономъ или левіаганомъ, это такъ. Пьеса какъ „Въ дорогѣ“ нисколько не виновата въ успѣхѣ альманаха<sup>2)</sup>. „Бѣдные люди“—другое дѣло, и то потому, что о нихъ заранѣе прошли слухи. Сперва покупаютъ книгу, а потомъ читаютъ; люди, поступающіе наоборотъ, у насъ рѣдки, да и тѣ покупаютъ не альманахи. Повѣрь мнѣ, между покупателями „Петербургскаго Сборника“ много есть людей, которымъ только и понравится что статья „О парижскихъ увеселеніяхъ“<sup>3)</sup>. Мнѣ рисковать нельзя, мнѣ нуженъ успѣхъ вѣрный и быстрый... Одинъ альманахъ разошелся, глядь, за нимъ является другой, покупатели ужъ смотрятъ на него недоувѣрчиво. Имъ давай новаго, повтореній не любятъ, у меня тѣ же имена, кромѣ Г. и М. С.<sup>4)</sup>. Когда альманахъ порядкомъ разоидется, тогда статья К—на поможетъ его окончательному ходу, а сперва она только пугаетъ всѣхъ своимъ названіемъ; скажутъ: ученость, сушь, скука! Итакъ, мнѣ остается разсчитывать на множество повѣстей, да на толщину баснословную...

„Я знаю только одну книгу, которая не нуждается даже въ объявленіи для столицъ: это вторая часть „Мертвыхъ Душъ“. Но вѣдь такая книга только одна и была на Руси“.

Повидимому, московскіе друзья придумывали, что бы сдѣлать и для поправленія здоровья БѢлинскаго. Въ одномъ изъ предыдущихъ писемъ онъ говорилъ о томъ, что нѣсколько мѣсяцевъ за границей на нѣсколько лѣтъ поправили бы его здоровье; друзья повидимому находили труднымъ для него сдѣлать эту поѣздку,

<sup>1)</sup> Она явилась потомъ въ февральской книгѣ „Современника“, 1848.

<sup>2)</sup> Т. е. „Петербургскаго Сборника“.

<sup>3)</sup> Статья Панаева.

<sup>4)</sup> М. С. Щенкина, который прислалъ БѢлинскому разсказъ изъ своихъ воспоминаній, явившійся потомъ въ „Современникѣ“, 1847, кн. 1, стр. 77—94: „Изъ записокъ артиста“,—на.

а съ своей стороны предложили ему отправиться на нѣсколько мѣсяцевъ на югъ Россіи вмѣстѣ съ М. С. Щепкинымъ, который также хотѣлъ отдохнуть въ южномъ климатѣ и вмѣстѣ сдѣлать небольшое артистическое путешествіе. Эта мысль Бѣлинскому понравилась; Щепкинъ былъ его старинный и близкій другъ, добродушный человѣкъ, неистощимо веселый собесѣдникъ. Бѣлинскій его искренно любилъ и уважалъ, и въ началѣ лѣта эта поѣздка устроилась.

Въ письмѣ онъ говоритъ объ этихъ планахъ:

„Коли мнѣ не ѣхать за границу, такъ и не ѣхать. У меня давно уже нѣтъ жгучихъ желаній, и потому мнѣ легко отказываться отъ всего, что не удастся. Съ М. С. въ Крымъ и Одессу очень бы хотѣлось; но семейство въ Петербургѣ оставить на лѣто не хочется, а переѣхать ему въ Гапсаль двойные расходы.

„Впрочемъ, посмотрю“...

Далѣе, Бѣлинскій пишетъ къ московскимъ друзьямъ отъ 20-го марта. Онъ получилъ конецъ статьи Кавелина, «Записки доктора Крупова», отрывокъ изъ записокъ М. С. Щепкина, статью Мельгунова <sup>1)</sup>. Всѣ эти вещи ему чрезвычайно нравятся.

„Статья К—на—эпоха въ исторіи русской исторіи, съ нея начнется философическое изученіе нашей исторіи. Я былъ въ восторгѣ отъ его взгляда на Грознаго. Я по какому-то инстинкту всегда думалъ о Грозномъ хорошо, но у меня не было знанія для оправданія моего взгляда. „Записки доктора Крупова“ — превосходная вещь, больше пока ничего не скажу... Отрывокъ М. С. прелесть: читая его, я будто слушалъ автора, столько же милого, сколько и талантливаго. Статья М—ва мнѣ очень понравилась, я очень благодаренъ ему за нее. Особенно мнѣ нравится первая половина и тотъ старый румянцовскій генералъ, который Суворова, Наполеона, Веллингтона и Кутузова называетъ мальчишками. Вообще, въ этой статьѣ много мемуарнаго интереса; читая ее, переносишься въ доброе старое время и впадаешь въ какое-то тихое раздумье... Имя моему альманаху „Левіаѳанъ“. Выйдетъ онъ осенью, но въ цензуру пойдетъ на дняхъ и немедленно будетъ печататься.

„На счетъ путешествія съ М. С., кажется, что поѣду. Мнѣ обѣщаютъ денегъ, и какъ получу, сейчасъ же пишу, что ѣду. Семейство отправляю въ Гапсаль: это и дача въ порядочномъ климатѣ, и курсъ леченія для жены, что будетъ ей очень полезно. Тарантасъ, стоящій на дворѣ М. С., видится мнѣ и днемъ и ночью, это не Соллогубовскому тарантасу чета. Святители! Сдѣлать верстъ тысячи четыре, на югъ, дорогою спать, ѣсть, пить, глазѣть по сторонамъ, ни о чемъ не заботиться, не писать, даже не читать русскихъ книгъ для би-

<sup>1)</sup> „Иванъ Филиповичъ Вернетъ, швейцарскій уроженецъ и русскій писатель“. Эта статья, подъ буквой Л., помѣщена была въ „Соврем.“ 1847, кн. 2.

біографіи, да это для меня лучше Магометова рая, и гурій не надо, чортъ съ ними!

„Мнѣ непремѣнно нужно знать, когда именно думаетъ ѣхать М. С., я такъ и буду готовиться. Альманаха при мнѣ напечатается листовъ до 15, остальные безъ меня (я поручаю надежному человеку), а къ приѣзду моему онъ будетъ готовъ, а въ октябрѣ выпущу“.

Въ слѣдующемъ письмѣ къ московскимъ друзьямъ, отъ 6-го апрѣля, БѢлинскій опять говорить о своей поѣздкѣ со Щепкинымъ:

„...Я ѣду не только за здоровьемъ, но и за жизнію. Дорога, воздухъ, климатъ, лѣнь, законная праздность, беззаботность, новые предметы, и все это съ такимъ спутникомъ какъ М. С., да я отъ одной мысли объ этомъ чувствую себя здоровѣе. Мой докторъ (очень хорошій докторъ, хотя и не Круповъ) сказалъ мнѣ, что по роду моей болѣзни такая поѣздка лучше всякихъ лекарствъ и леченій. Итакъ, М. С. ѣдетъ рѣшительно, и я знаю теперь, когда я могу готовиться. Развѣ только что-нибудь непредвидѣнное и необыкновенное заставитъ меня отказаться; но во всякомъ случаѣ я на дняхъ беру мѣсто въ маль-постъ... На лѣто мнѣ и семейству денегъ станетъ; можетъ быть, станетъ ихъ на мѣсяцъ и по приѣздѣ въ Питеръ, а тамъ, что будетъ, то и будетъ, *voilà la galère!* Нашему брату „подлецу“, т. е. нищему (а не то чтобы мошеннику), даже полезно иногда довѣриться случаю и положиться на авось. Дѣлать-то больше нечего, а притомъ, если такая поведенція можетъ сгубить, то она же иногда можетъ и спасти“...

Московскіе друзья, какъ видно изъ этихъ писемъ, приняли самое горячее дружеское участіе въ дѣлахъ БѢлинскаго, — и въ его альманахѣ, которымъ онъ надѣялся приобрѣсти средства существованія, и въ поѣздкѣ, отъ которой ждалъ исцѣленія. Они отдавали въ его распоряженіе свои труды, — и, сколько мы знаемъ, ближайшіе друзья отказывались отъ всякаго гонорара, — эти труды были большею частью капитальныя работы, литературныя и ученыя. Предполагая, что, несмотря на надежды БѢлинскаго получить деньги, его средства все-таки очень невѣрны и невелики, московскіе друзья написали ему объ «обрѣтеніи явленныхъ 500 р. с.», которые назначались на его путешествіе. Это была уже прямая помощь; БѢлинскій не усумнился принять ее, потому что зналъ степень привязанности къ нему его друзей. Это окончательно обезпечивало его поѣздку.

Остальная часть письма 6-го апрѣля занята любопытной характеристикой таланта Г., который теперь высказывался съ новыхъ сторонъ. Послѣ недавнихъ работъ серьезнаго философскаго содержанія, онъ написалъ теперь цѣлый рядъ разсказовъ, упомянутыхъ сейчасъ въ перепискѣ, и хотя БѢлинскій уже зналъ

первую половину романа «Кто виновать?» онъ тѣмъ не менѣе былъ изумленъ новыми разсказами, живостью и разнообразіемъ ума и фантазіи.

Бѣлинскій между прочимъ получилъ интермедію къ «Кто виновать?» <sup>1)</sup>; она опять доставила ему большое удовольствіе, и онъ пишетъ слѣдующія разсужденія, любопытныя не только по ихъ частному примѣненію, но и по общему смыслу.

„Я изъ нея окончательно убѣдился, что Г.—большой человѣкъ въ нашей литературѣ, а не дилеттантъ, не партизанъ, не наѣздникъ отъ нечего дѣлать. Онъ не поэтъ: объ этомъ смѣшно и толковать; но вѣдь и Вольтеръ не былъ поэтъ не только въ „Генріадѣ“, но и въ „Кандидѣ“;—однако его „Кандидъ“ потягается въ долговѣчности со многими великими художественными созданіями, а многія невеликія уже пережили и еще больше переживетъ ихъ. У художественныхъ натуръ умъ уходитъ въ талантъ, въ творческую фантазію,—и потому въ своихъ твореніяхъ, какъ поэты, они страшно, огромно умны; а какъ люди—ограничены и чуть не глухи (Пушкинъ, Гоголь). У Г., какъ у натуры по преимуществу мыслящей и сознательной, на оборотъ—талантъ и фантазія ушли въ умъ, оживленный и согрѣтый, *осердеченный* гуманистическимъ направленіемъ, не привитымъ и не вычитаннымъ, а присущимъ его натурѣ. У него страшно много ума, такъ много, что я и не знаю, зачѣмъ его столько одному человѣку; у него много и таланта и фантазіи, но не того чистаго и самостоятельнаго таланта, который все родитъ самъ изъ себя и пользуется умомъ какъ низшимъ, подчиненнымъ ему началомъ—нѣтъ, его талантъ—чортъ его знаетъ—такой же бастардъ или пасынокъ, въ отношеніи къ его натурѣ, какъ и умъ въ отношеніи къ художественнымъ натурамъ. Не умѣю яснѣе выразиться... И такіе таланты необходимы и полезны не менѣе художественныхъ. Если онъ лѣтъ въ десять напишетъ три-четыре томика, поплотнѣе и порядочнаго размѣра, онъ—большое имя въ нашей литературѣ и попадетъ не только въ исторію русской литературы, но и въ исторію Карамзина. Онъ можетъ оказать сильное и благотворное вліяніе на современность. У него свой особенный родъ, подъ который поддѣлываться такъ же опасно, какъ и подъ произведенія истиннаго художества. Какъ *Носъ* въ Гоголевой повѣсти, онъ можетъ сказать: „я самъ по себѣ!“... У него все оригинально, все свое—даже недостатки. Но поэтому-то и недостатки у него часто обращаются въ достоинство. Такъ, напримеръ, въ числу его личныхъ недостатковъ принадлежитъ страстишка безпрестанно острить, но въ его повѣстяхъ такого рода выходки бывають удивительно хороши“...

Незадолго передъ тѣмъ, 26-го марта, Бѣлинскій писалъ къ Боткину; это—единственное извѣстное намъ письмо изъ тѣхъ немногихъ, какія были имъ писаны къ Боткину за границу. Изъ

<sup>1)</sup> Интермедія (т. е. вѣроятно, глава: „Бельтовъ“) попала однако, какъ выше замѣчено, въ „Отеч. Зап.“ 1846—не знаемъ, какимъ образомъ.

самаго начала видно, впрочемъ, что переписка эта была очень скучная. Приводимое письмо почти ничего не говоритъ о частностяхъ его жизни, но въ немъ проходитъ печальная нота, — разочарованія и утомленія жизнью.

„Давно мы не видались, другъ Василій Петровичъ, и давно не подавали другъ другу голоса. Что до меня, мнѣ всѣ переписки надобѣли и я сталъ на письма такъ же лѣнивъ, какъ во время оно (глупое время!) былъ ретивъ. Сверхъ того, я и боюсь переписки: она годна только для недоразумѣній. Чтѣ при свиданіи рѣшается двумя-тремя словами къ обоюдному удовольствію, то въ разлукѣ служить поводомъ къ огромной перепискѣ, гдѣ все перепутывается. Это я много разъ испыталъ, и пора мнѣ воспользоваться урокомъ опыта. О себѣ писать мнѣ просто противно, а больше вѣдь у насъ не о чемъ писать. Скоро увидимся—тогда вновь познакоимся другъ съ другомъ—говору познакоимся, потому что послѣ трехлѣтней разлуки ни я, ни ты — не то, чтѣ были. Мая 30-го, а по вашему, по басурманскому, іюня 11-го, стукнетъ мнѣ 36 лѣтъ, осенью—три года какъ я женатъ, и моей дочери теперь девять мѣсяцевъ. Въ это время я пережилъ да передумалъ (и уже не головою, какъ прежде) право лѣтъ за 30. Пройдутъ незамѣтно и еще 4 года—и мнѣ 40 лѣтъ:—страшно! Вотъ она и старость! Ну, да довольно объ этомъ“...

Бѣлинскій не подозрѣвалъ, что ему оставалось прожить едва только половину этихъ четырехъ лѣтъ...

Онъ благодаритъ Боткина за письма объ Испаніи и о Тангерѣ (для альманаха); извѣщаетъ его о своемъ планѣ ѣхать со Щепкинымъ въ Одессу и Крымъ; онъ думалъ вернуться изъ поѣздки въ сентябрѣ и ему очень хотѣлось встрѣтиться тогда съ Боткинымъ въ Петербургѣ или въ Москвѣ.

„Странное дѣло! При мысли о свиданіи съ тобою, мнѣ все кажется, будто мы разстались молодыми, а свидимся стариками, и отъ этой мысли мнѣ и грустно и больно, и почти—что страшно. Молодыми! Нѣтъ! я не былъ молодъ никогда, потому что всегда жилъ головой и сдумалъ даже и изъ сердца сдѣлать голову — отъ чего и вышла, преуродливая голова“...

Поѣздка наконецъ устроилась. Въ послѣднихъ числахъ апрѣля Бѣлинскій выѣхалъ изъ Петербурга. Семейство его въ началѣ мая должно было переѣхать на все лѣто въ Гапсаль. Съ 1-го мая до начала сентября идетъ рядъ писемъ его домой (и два-три письма къ друзьямъ), изъ Москвы и съ дальнѣйшаго пути. Это цѣлый дневникъ, изъ котораго приводимъ нѣсколько цитатъ, рисующихъ его настроеніе и нѣкоторыя подробности путешествія.

Дорога до Москвы была беспокойна; погода стояла дождливая и холодная. Дилижансъ запоздалъ.

1-го мая... Москва. „Дорога до того испорчена, особенно между Клиномъ и Москвою, что мы прѣѣхали въ воскресенье, въ 6 часовъ вечера. Друзья мои дожидались меня въ почтамтѣ съ двухъ часовъ. Принять я былъ до того ласково и радушно, что это глубоко меня тронуло, хотя я и привыкъ къ дружескому вниманію порядочныхъ людей. Безо всякой ложной скромности скажу, что мнѣ часто приходится въ голову мысль, что я не стою такого вниманія. Что это за добрый, за радужный народъ москвичи! Что за добрейшая душа Г.... Да и всѣ они что за славный народъ! Лучше, т.-е. оригинальнѣе всѣхъ принялъ меня Михаилъ Семеновичъ: готоваясь облобызаться со мною, онъ пресерьёзно сказалъ: какая мерзость! Онъ глубоко презираетъ всѣхъ худыхъ и тонкихъ <sup>1)</sup>. Дамы просто носятъ меня на рукахъ, братецъ ты мой: озябну, укутываютъ меня своими шальями, надѣваютъ на меня свои мантильи, приносятъ мнѣ подушки, подаютъ стулья. Таковы права старости!.. Н. А. такъ была мнѣ рада, что я даже почувствовалъ къ себѣ нѣкоторое уваженіе. Вотъ какъ!

„Ѣдемъ мы 16, 17 или 18-го мая, не прежде. Боюсь, что возвратимся довольно поздно. М. С. хочетъ лечиться, кромѣ купанья, и виноградомъ. Это и мнѣ будетъ очень полезно...

„Завтра друзья мои дадутъ мнѣ торжественный обѣдъ“...

4-го мая. „... Здѣшній кружокъ живѣе нашего, и здѣшнія дамы тоже поживѣ нашихъ... И для отдыха Москва вообще чудный городъ. Впрочемъ, и то сказать, теперь какъ нарочно почти всѣ съѣхались туда въ одно время, и оттого такъ весело <sup>2)</sup>.

„Сегодня дадутъ мнѣ обѣдъ; ему надо было быть въ четвергъ, да по болѣзни К. отложили до сегодня, а К. то все-таки не выздоровѣлъ“...

На свое здоровье онъ жалуется; кромѣ того, беспокоило его отсутствіе писемъ изъ дома; первыя извѣстія изъ Петербурга онъ получилъ уже 7-го мая; и послѣ, медленность тогдашнихъ почтовыхъ сообщеній оставляла его надолго безъ писемъ, и это нерѣдко приводило его въ тягостную тревогу.

Наконецъ Щепкинъ, которому нужно было дожидаться въ Москвѣ бенефиса Мартынова, былъ свободенъ, и они выѣхали изъ Москвы 16-го мая. Проводы Бѣлинскаго московскими друзьями были также радужны и полны расположенія какъ и описанная выше встрѣча.

«Проводы Бѣлинскаго были необыкновенно веселы и шумны, — рассказываетъ Панаевъ, участвовавшій въ нихъ <sup>3)</sup>. — Они нача-

<sup>1)</sup> Щепкинъ былъ невысокъ и очень толстъ; одинъ изъ кружка друзей говорилъ въ шутку, что онъ отъ природы положенъ на вѣтъ.

<sup>2)</sup> Къ московскому кружку прибавились тогда еще Панаевъ, г. Тургеневъ, и др.

<sup>3)</sup> „Совр.“ 1860, кн. 1, стр. 370—372.

лись небольшимъ завтракомъ въ квартирѣ Щепкина. Я въ это время также былъ въ Москвѣ. Всѣ московскіе друзья БѢлинскаго присутствовали тутъ; между прочимъ—Грановскій, Е. Θ. Коршъ, К. и Г., съ которымъ БѢлинскій въ это время былъ уже въ самыхъ близкихъ, дружескихъ отношеніяхъ <sup>1)</sup>. Они совершенно сошлись въ своихъ убѣжденіяхъ и БѢлинскій всею силою души привязался къ нему. Они сдѣлались другъ для друга необходимыми людьми.

«Г., несмотря на перенесенные имъ перевороты и страданія, сохранялъ веселость и живость необыкновенную. Въ этотъ разъ онъ говорилъ во время завтрака неумолчаемо, съ свойственнымъ ему блескомъ и остроуміемъ — и его звонкій, пріятный голосъ покрывалъ всѣ голоса...

«Тарантасъ Щепкина былъ уже готовъ, экипажи провожавшихъ также. Наступала минута отъѣзда. — Г. все продолжалъ говорить съ неистощимою увлекательностью. — Ыдемъ, Михайла Семенычъ, пора! — сказалъ БѢлинскій, всегда нетерпѣливый въ подобныхъ случаяхъ. — Позвольте, господа, перебить К., — какъ же мы поѣдемъ по городу съ Г.? Съ нимъ по городу нельзя ѣхать. — Отчего же? — спросили всѣ съ недоумѣніемъ. — Да вѣдь съ колокольчиками запрещено ѣздить по городу. — Всѣ расхохотались и двинулись къ экипажамъ. Мы взяли съ собой провизію и запасъ вина. Обѣдать мы рѣшили на первой станціи — и тамъ уже окончательно проститься съ отъѣзжающими... Поѣздка наша была необыкновенно пріятна. Всегда неистощимый остроуміемъ Г. въ этотъ день былъ еще блестяще обыкновеннаго»...

Проводы заключились, по приѣздѣ на первую станцію, обѣдомъ на открытомъ воздухѣ. Наконецъ БѢлинскій и Щепкинъ уѣхали.

Изъ Калуги БѢлинскій писалъ домой о своемъ выѣздѣ изъ Москвы и дальнѣйшемъ странствіи; но это письмо, какъ онъ самъ послѣ увидѣлъ, вѣроятно пропало, будучи адресовано въ Гапсаль, тогда какъ его семейство осталось на лѣто въ Ревелѣ. Поэтому въ слѣдующемъ письмѣ, изъ Харькова, онъ повторяетъ, но только вратцѣ, дневникъ своего путешествія отъ Москвы.

Харьковъ, іюня 11-го. „...“Выѣхали мы изъ Москвы 16-го мая (въ четв.), въ 12 ч. Насъ провожали до первой деревни, за 13 верстъ, и провожавшихъ было 16 человекъ... Пили, ѣли, разстались. Погода страшная, грязь, дорога скверная, за лошадьми остановки. Въ Калугу приѣхали въ субботу (18 мая), прожили въ ней одиннадцать

<sup>1)</sup> Дружескія отношенія начались между ними давно, около 1840-1841 г., и окончательно утвердились въ 1843.

дней. Еслибъ не гнусная погода, мнѣ было бы не скучно. Еще въ Москвѣ я почувствовалъ, что поправляюсь въ здоровьѣ и возстановляюсь въ силахъ, а въ Калугѣ въ сносную погоду я уходилъ за городъ, всходилъ на горы, лазилъ по оврагамъ, уставать до нельзя, задыхался на смерть, *но не кашлянулъ ни разу*. Съ возвращеніемъ холода и дождя возвращался и кашель. Пребываніе въ Калугѣ для меня останется вѣчно памятнымъ по одному знакомству, котораго я и не предполагалъ, выѣзжая изъ Питера. Въ Москвѣ М. С. П. познакомился съ А. О. Смирновой. Свѣтъ не убилъ въ ней ни ума, ни души, а того и другого природа отпустила ей не въ обрѣзъ. Она—большая пріятельница Гоголя, и М. С. былъ отъ нея безъ ума. Такъ какъ она пригласила его въ Калугу (гдѣ мужъ ея губернаторомъ), то я еще въ Москвѣ предвидѣлъ, что познакомлюсь съ нею. Когда мы пріѣхали въ Калугу, ея еще не было тамъ; въ качествѣ хвоста толстой кометы, т.-е. М. С., я былъ приглашенъ губернаторомъ на ужинъ,... потому мы у него обѣдали. Во вторникъ пріѣхала она, а въ четвергъ я былъ ей представленъ. Чудесная, превосходная женщина—я безъ ума отъ нея... Пишу все это не больше, какъ матеріалъ для разговоровъ и разсказовъ при свиданіи, и потому въ подробности не пускаюсь“...

Погода все еще бывала дурная. Изъ Калуги они «поплыли» (по грязи) въ Воронежъ; только около Воронежа, куда они пріѣхали 1-го іюня, начиналась хорошая дорога. Іюня 4-го они выѣхали въ Курскъ, куда опять пришлось «плыть»; изъ Курска они ѣздили взглянуть на Коренную ярмарку, — «и ужъ подлинно поплыли, потому что жидкая грязь по колѣно, и лужи выше брюха лошадямъ были безпрестанно». Сама ярмарка «буквально по поясъ сидѣла въ грязи». Возвращаясь въ Курскъ, встрѣтили крестный ходъ, съ которымъ обыкновенно носятъ изъ Курска на ярмарку явленный образъ Божіей Матери: — «тысячъ 20-ть народу, въ-розбитъ идущаго по колѣно въ грязи и который, пройдя 27 верстъ, ляжетъ спать подъ открытымъ небомъ, въ грязи, подъ дождемъ, при 5 градусахъ тепла». По пути въ Харьковъ опять «плаваніе»; въ Харьковѣ погода стала поправляться, а также и дорога.

Въ Харьковѣ они пріѣхали 9-го іюня, гдѣ Бѣлинскій увидѣлся съ Кронебергомъ и получилъ письмо изъ дома, нѣсколько успокоившее его тревоги о домашнихъ; но затѣмъ новое письмо растревожило его извѣстіями о болѣзни домашнихъ... Въ Харьковѣ они должны были остаться на нѣсколько дней, потому что Щепкинъ хотѣлъ явиться въ пяти спектакляхъ. Здѣсь Бѣлинскій въ первый разъ увидѣлъ Малоросію, и она произвела на него очень пріятное впечатлѣніе.

Іюня 14-го. „... Изъ плодовъ, въ Харьковѣ мы нашли только землянику, да и ту подаютъ только въ гостинницахъ. Нынѣшняя

весна и въ Харьковѣ была не лучше петербургской. Верстъ за 30 до Харькова я увидѣлъ Малороссію, хотя еще и перемѣшанную съ грязнымъ москальствомъ. Избы хохловъ похожи на домики фермеровъ—чистота и красивость неописанныя... Другія лица, смотрятъ иначе. Дѣти очень милы, тогда какъ на русскихъ и смотрѣть нельзя—хуже и гаже свиной...

„Изъ моей поѣздки хочу сдѣлать статью. Въ головѣ плановъ бездна. Словомъ: оживаю и вижу, что могу писать лучше прежняго, могу начать новое литературное поприще. А закабались опять въ журнальную работу—идіотъ, кретинъ!“

Изъ Харькова БѢлинскій и Щепкинъ выѣхали 16-го; слѣдующее письмо писано изъ Одессы, 24-го іюня. Они ѣхали черезъ Екатеринославль, который БѢлинскому очень понравился. Еще болѣе пріятное впечатлѣніе произвела на него Одесса—своей европейской внѣшностью, оживленіемъ, и наконецъ моремъ: купанье въ морѣ доставило БѢлинскому большое удовольствіе,—хотя докторъ совѣтовалъ ему быть при этомъ очень осторожнымъ. Его продолжаетъ беспокоить положеніе домашнихъ, переписка съ которыми все болѣе замедлялась по мѣрѣ того, какъ онъ уѣзжалъ дальше. Но здоровье его было лучше.

Іюня 24-го, Одесса. „... Здоровье мое очень поправилось: я и свѣжѣе, и крѣпче, и бодрѣе. Что же касается до кашля — въ отношеніи къ нему я сдѣлался совершеннымъ барометромъ: солнце жжетъ, вѣтру нѣтъ—грудь моя дышетъ легко, мнѣ отрадно, и кажется, что проклятый кашель *навсегда* оставилъ меня; но лишь скроется солнце хоть на полчаса за облако, пахнѣтъ вѣтеръ—и я кашляю. Впрочемъ, сильные припадки кашля оставили меня—уже съ мѣсяцъ..“

Въ Одессѣ они прожили довольно долго, затѣмъ предстояли еще новыя странствія, потому что Щепкинъ заключилъ условіе съ однимъ содержателемъ труппы и по условію долженъ былъ играть въ Николаевѣ, Херсонѣ, Симферополѣ и Севастополѣ, и еще гдѣ-то. Поѣздка въ Крымъ очень завлекала БѢлинскаго; тамъ, между прочимъ, онъ надѣялся еще лечиться виноградомъ. Въ Одессѣ онъ объѣдался плодами. «Вотъ въ Крыму — другое дѣло, надо будетъ быть осторожнѣе; да съ нами будетъ докторъ, да и М. С. смотреть за мной словно дядька за недорослемъ. Что это за человѣкъ!..»

Въ письмахъ отъ первой половины іюля БѢлинскій опять говорить о купаньи въ морѣ; «купанье уже оказало благотворное вліяніе на мои нервы: я сталъ крѣпче, свѣжѣе и здоровѣе». Около 12-го іюля они выѣхали изъ Одессы въ Николаевъ.

Изъ Одессы БѢлинскій писалъ, отъ 4-го іюля, и московскимъ друзьямъ. Здѣсь онъ также говорить о своемъ намѣреніи

написать свои путевыя впечатлѣнія, впрочемъ вовсе не о самомъ путешествіи.

„... Путевыя впечатлѣнія у меня будутъ только рамкой статьи, или, лучше сказать, придиркою къ ней. Онѣ будутъ состоять больше въ толкахъ о скверной погодѣ и еще сквернѣйшихъ дорогахъ.

„А буду писать я вотъ о чемъ: 1. о театрѣ русскомъ, причинахъ его гнуснаго состоянія и причинахъ скорого и совершеннаго паденія сценическаго искусства въ Россіи. Тутъ будетъ сказано многое изъ того, что уже было говорено и другими, и мною, но предметъ будетъ разсмотрѣнъ à fond. М. С. игралъ въ Калугѣ, въ Харьковѣ, теперь играетъ въ Одессѣ, и можетъ быть, будетъ играть въ Николаевѣ, Севастополѣ, Симферополѣ, и чортъ знаетъ гдѣ еще. Я видѣлъ много, ходя и на репетиціи и на представленія, толкаясь между актерами. Сверхъ того, М. С. преусердно снабжаетъ меня комментаріями и фактами, что все будетъ ново и сильно.

„2. Въ Харьковѣ я прочелъ „Московский Сборникъ“. Статья С. умна и зла, даже дѣльна, несмотря на то, что авторъ отправляется отъ неблагопріистойнаго принципа кротости и смиренія и зацѣпляетъ меня въ лицѣ „Отечественныхъ Записокъ“. Какъ умно и зло казнилъ онъ аристократическія замашки С—ба! Это убѣдило меня, что можно быть умнымъ, даровитымъ и дѣльнымъ человѣкомъ, будучи славянофиломъ <sup>1)</sup>. За то Х... я-жъ ему дамъ зацѣплять меня—узнаетъ онъ мои крючки <sup>2)</sup>!

„3. Я не читалъ еще ругательства Сенковского; но радъ ему, какъ новому матеріалу для моей статьи.

„Изъ этого видите, что моя статья будетъ журнально-фельетонною болтовнею о всякой всячинѣ, одобренною полемическимъ заборомъ.

„Въ Калугѣ столкнулся я съ И. А. Славный юноша! Славянофилъ—а такъ хорошъ, какъ будто никогда не былъ славянофиломъ. Вообще я впадаю въ страшную ересь и начинаю думать, что между славянофилами дѣйствительно могутъ быть порядочные люди. Грустно мнѣ думать такъ, но истина впереди всего!

„Здоровье мое лучше. Я какъ-то свѣжѣе и замѣтно крѣпче, но кашель все еще и не думаетъ оставлять меня. Съ 25-го іюня начались было въ Одессѣ жары, но съ 30-го опять посвѣжѣло; впрочемъ, все тепло, такъ что ночью потѣнешъ въ лѣтнемъ пальто. Началъ было я читать Данта, т.-е. купаться въ морѣ <sup>3)</sup>, да кровь прилила къ груди, и я цѣлое утро харкалъ кровью; докторъ велѣлъ на время прекратить купанья“.

12-го іюля они выѣхали изъ Одессы въ Николаевъ. Дальнѣйшій маршрутъ зависѣлъ отъ дѣлъ театральнаго антрепренера, съ кото-

<sup>1)</sup> „Московский литер. и ученый Сборникъ“, 1846, стр. 545—579, критическая статья о „Тарантасѣ“ гр. Соллогуба, М... З... К...

<sup>2)</sup> Въ статьѣ „Мнѣніе русскихъ объ иностранцахъ“, тамъ же, стр. 179, 183.

<sup>3)</sup> Намекъ на очень извѣстный тогда стихъ Шевырева: „что въ морѣ купаться, то Данта читать“.

рымъ заключилъ условіе Щепкинъ. БѢлинскій начиналъ скучать своей поѣздкой и разлукой съ домашними, съ которыми такъ мудро было списываться; но все поддерживалъ себя надеждой на Крымъ, на купанье въ морѣ, виноградъ и кумысъ...

„Со дня на день,—пишетъ онъ 17-го іюля изъ Николаева,—все сильнѣе и сильнѣе начинаю скучать; хочется домой, поѣзда надобла, и меня утѣшаетъ только то, что большая половина поѣздки уже совершена, и что я еще увижу, хотя и мимоходомъ, южный берегъ Крыма. Здоровье мое хорошо, кашля нѣтъ. Жду много добра отъ купанья въ морѣ въ Севастополѣ... А какъ жарко — мочи нѣтъ; а нынѣшнее лѣто еще не изъ жаркихъ здѣсь“...

Около 1-го августа БѢлинскій и Щепкинъ отправились въ Херсонъ. Содержатель труппы получилъ отъ губернатора разрѣшеніе давать спектакли съ 4-го до 15-го августа, приходившіеся на лѣтній постъ; но потомъ губернаторъ передумалъ, взялъ свое разрѣшеніе назадъ, и спектакли пришлось отложить до второй половины августа, такъ что путешественники должны были пробывать въ Херсонѣ до конца мѣсяца.

„... Да будетъ вамъ извѣстно,—пишетъ БѢлинскій изъ Херсона, отъ 6-го августа,—что я хожу съ бородою. Съ выѣзда изъ Калуги не брился, въ Воронежѣ, на Коренной и въ Харьковѣ я походилъ на бѣлаго солдата, но въ пріѣзду въ Одессу у меня явилось что-то въ родѣ бороды, а теперь совсѣмъ борода. Я боялся, что моя борода выйдетъ въ родѣ моихъ усовъ, то-есть мерзость страшная; но борода вышла на славу“...

Въ Херсонѣ онъ скучалъ еще болѣе; между тѣмъ, ему предстояло удалиться отъ Петербурга еще на 360 верстъ, и тогда только должно было начаться обратное путешествіе.

„Скучно, — начинаетъ БѢлинскій письмо изъ Херсона отъ 22-го августа.—Михайлъ Семеновичъ страдаетъ теперь на сценѣ пакостнѣйшаго театра (сдѣланнаго изъ сарая), играя съ безтолковѣйшими и пошлѣйшими въ мірѣ актерами; а я остался дома... Въ понедѣльникъ поутру ѣдемъ изъ Херсона; остается трое сутокъ, а мнѣ все кажется, какъ будто остается еще три года! Ай да Херсонъ — буду я его помнить! Вообще Новороссія страшно мнѣ опротивѣла. Безлѣсная, опаленная солнцемъ, вѣчно сухая и пыльная сторона. За нимѣніемъ лучшаго утѣшенія, утѣшаюсь мыслію, что ближе, чѣмъ черезъ недѣлю, увижу деревья, лѣса, виноградные сады. Но еслибъ было возможно, кажется, уѣхалъ бы сейчасъ же домой, не посмотрѣвши ни на что на это. Въ день нашего выѣзда, т.-е. въ понедѣльникъ, 26-го августа, исполнится ровно *четыре мѣсяца*, какъ я выѣхалъ изъ Питера, а мнѣ кажется, что прошло съ тѣхъ поръ, по крайней мѣрѣ, четыре года. Надѣюсь, что сентябрь пройдетъ для меня скорѣе, нежели августъ...

„Кто хочет насладиться долголѣтіемъ, тому совѣтъ поѣхать въ Херсонъ: если онъ въ немъ проживетъ годъ, ему покажется, что онъ прожилъ Маѳусайловы вѣки, жизнь утомить его и душа его востоскуетъ по успокоительной могилѣ“.

Слѣдующее письмо писано было изъ Симферополя отъ 4-го и 5-го сентября. Переездъ изъ «ужаснаго» Херсона въ Симферополь «былъ бы переходомъ изъ ада въ рай», еслибы не случился съ Бѣлинскимъ сильный припадокъ геморроидальныхъ страданій. Въ Симферополь, гдѣ припадокъ повторился, они встрѣтили опытнаго врача—Арендта, «предобрѣйшаго старика, который полюбилъ насъ такъ, что и сказать нельзя». Этотъ Арендтъ, братъ извѣстнаго петербургскаго лейбъ-медика, принялся за лечение Бѣлинскаго и помогъ ему.

Здѣсь, какъ въ Николаевѣ и Херсонѣ, Бѣлинскій восхищается изобиліемъ и дешевизной плодовъ, превосходнымъ виноградомъ, какой ему удалось здѣсь попробовать.

„Въ Севастополь будемъ числу къ 15-му (сентября), а тамъ, октября 2-го или 3-го, маршъ домой! Дождусь ли этого! Нѣтъ, впередъ ни за какія блага одинъ на долго въ вояжъ не пущусь. Особенно по Россіи, гдѣ существуетъ только какое-то подобіе почтовыхъ сношеній между людьми... Не могу смотрѣть безъ тоски на маленькихъ дѣтей, особенно дѣвочекъ. Охъ, дожить бы поскорѣе до октября!“

Во время путешествія онъ прочелъ нѣсколько французскихъ книгъ, между прочимъ «Les Confessions», не знаемъ—чи, Руссо или, можетъ быть, Альфреда Мюссе <sup>1)</sup>, — о которыхъ замѣчаетъ: «не много книгъ въ жизни дѣйствовали на меня такъ сильно, какъ эта».

Въ это же время онъ писалъ (отъ 6-го сентября) къ московскимъ друзьямъ:

„...Вѣхавши въ Крымскія степи, мы увидѣли три новыя для насъ націи: крымскихъ барановъ, крымскихъ верблюдовъ и крымскихъ татаръ. Я думаю, что это разные виды одного и того же рода, разные колѣна одного племени: такъ много общаго въ ихъ фizioноміи. Если они говорятъ и не однимъ языкомъ, то тѣмъ не менѣе хорошо понимаютъ другъ друга. А смотреть рѣшительно славянофилами. Но—увы!—въ лицѣ татаръ даже настоящее, коренное, восточное, патріархальное славянофильство поколебалось отъ вліянія лукаваго Запада. Татары большею частію носятъ на головѣ длинные волосы, а бороду брѣютъ! Только бараны и верблюды упорно держатся святыхъ праотеческихъ обычаевъ временъ Кошкина—своего мнѣнія не имѣютъ, буйной воли и буйнаго разума боятся пуще чумы, и безконечно уважаютъ старшаго въ родѣ, т.-е. татарина, позволяя ему

<sup>1)</sup> О чтеніи „Исповѣди“ Руссо мы встрѣтимъ дальше другое упоминаніе.

вести себя куда угодно, и не позволяя себѣ спросить его, почему, будучи ничѣмъ не умнѣ ихъ, гоняетъ онъ ихъ съ мѣста на мѣсто. Словомъ, принципъ смиренія и кротости постигнуть ими въ совершенствѣ, и на этотъ счетъ они могли бы проблѣтать что-нибудь поинтереснѣе того, что блѣтеть Ш..., и вся почтенная славянофильская братія.

„Не смотря на то, Симферополь, по своему мѣстоположенію, очень миленькій городокъ; онъ не въ горахъ, но отъ него начинаются горы, и изъ него видна вершина Чатырь-Дага. Послѣ степей Новороссіи, обожженныхъ солнцемъ, и пыльныхъ, и голыхъ, я бы видѣлъ себя теперь какъ бы въ новомъ мірѣ, еслибъ не страшный припадокъ гемороя, который теперь проходитъ, а мучить началъ меня съ 24-го числа прошлаго мѣсяца.

„Настоящая цѣль этого письма — напомнить вамъ о *Букиньонн* или *Букильонн* — пьесѣ, которую С. видѣлъ въ Парижѣ и о которой онъ говорилъ М. С., какъ о такой пьесѣ, въ которой для него есть хорошая роль. А онъ давно ужъ подумываетъ о своемъ бенефисѣ и хотѣлъ бы узнать во время, до какой степени можетъ онъ надѣяться на ваше содѣйствіе въ этомъ случаѣ.

„Нѣтъ! я не путешественникъ, особенно по степямъ. Напишешь домой письмо, и получаешь отвѣтъ на него черезъ полтора мѣсяца: слуга покорный пускаться впередъ въ такія Австраліи!..“

Мы не имѣемъ дальнѣйшихъ свѣдѣній объ его путешествіи; изъ рассказовъ его друзей знаемъ только, что у него остались лучшія воспоминанія о черноморскихъ морякахъ, которые съ большимъ радушіемъ встрѣчали заслуженнаго артиста и извѣстнаго писателя <sup>1)</sup>. Но изъ приведенныхъ сейчасъ словъ Бѣлинскаго можно судить, съ какимъ нетерпѣніемъ онъ долженъ былъ возвращаться въ Петербургъ, гдѣ, между прочимъ, ждали его важныя литературныя новости.

Въ его отсутствіе рѣшено было основаніе или преобразованіе «Современника». Этотъ журналъ, основанный Пушкинымъ въ послѣдній годъ его жизни, перешелъ по смерти его въ завѣдываніе его друзей, которые однако уже вскорѣ, повидимому, наскучили этимъ дѣломъ, и журналъ поступилъ въ полное распоряженіе и собственность Плетнева. Журналъ, долженствовавшій сохранять Пушкинскія традиціи, издавался двѣнадцатью тоненькими книжками, держался внѣ литературныхъ партій, не дружился и не ссорился ни съ кѣмъ и вообще оставался весьма безцвѣтнымъ и вѣроятно не весьма доходнымъ изданіемъ. Въ 1846 году Плетневъ согласился передать его на аренду другой редакціи, которая обратила его въ «толстый журналъ» — того типа, который

<sup>1)</sup> Подтверженіе можно видѣть въ воспоминаніяхъ о Бѣлинскомъ, напечатанныхъ въ „Крѣпостадскомъ Вѣстникѣ“ 1862, № 47.

былъ начать «Библіотекой для чтенія» и завершѣнъ «Отеч. Записками». При обновленіи журнала, предполагалось, что онъ сдѣлается органомъ Бѣлинскаго, доставить помѣщеніе для его трудовъ и вѣроятно привлечетъ сотрудничество его друзей...

По словамъ Панаева <sup>1)</sup>, Бѣлинскій, вернувшись изъ поѣздки, былъ чрезвычайно обрадованъ неожиданнымъ для него извѣстіемъ о предстоящемъ возникновеніи «Современника» «Всѣ эти приготовления, толки объ новомъ изданіи, мысль, что онъ, освободясь отъ непріятной ему зависимости, будетъ теперь свободно дѣйствовать съ людьми, къ которымъ онъ питалъ полную симпатію, которые глубоко уважали и любили его; наконецъ, довольно забавная полемика, возникшая тогда между ними и «Отеч. Записками» — все это поддерживало его нервы, оживляло и занимало его <sup>2)</sup>. Бѣлинскій принялся съ жаромъ за статью о русской литературѣ для «Современника» (см. 1 кн. «Совр.» 1847)»...

Дѣйствительно, Бѣлинскій оказалъ новому журналу поддержку, которая послужила главнымъ основаніемъ его успѣха. Мы видѣли, что для предполагаемаго имъ альманаха, Бѣлинскій имѣлъ уже въ рукахъ много чрезвычайно любопытнаго матеріала. Отъѣздя изъ Петербурга помѣшалъ ему исполнить тогда же изданіе «Левіаѳана»; теперь весь замѣчательный матеріалъ, имъ собранный, онъ предоставилъ новому журналу, который такимъ образомъ съ перваго шага могъ дать читателямъ превосходный выборъ статей, притомъ соединенныхъ общимъ тономъ и направленіемъ, что съ самаго начала должно было сообщить журналу и самый живой интересъ и единство содержанія. Правда, этотъ матеріалъ, отданный первоначально въ распоряженіе Бѣлинскаго для его собственнаго предпріятія, поступалъ теперь въ журналъ на другихъ матеріальныхъ условіяхъ, но во всякомъ случаѣ онъ перешелъ сюда только черезъ Бѣлинскаго.

Когда появились первыя книжки журнала, въ который перенесена была дѣятельность Бѣлинскаго, гдѣ собрались такіе произведенія, какъ «Кто виноватъ?» (полное изданіе) и другіе рассказы Г., «Обыкновенная Исторія» г. Гончарова, первые «Рассказы охотника», повѣсти Григоровича, Дружинина, воспоминанія Щепкина, стихотворенія г. Некрасова, статьи г. Кавелина («Юридическій бытъ древней Россіи» и критическія статьи о книгахъ по русской исторіи), Соловьева и проч., журналъ съ перваго

<sup>1)</sup> «Совр.» 1860, кн. 1, стр. 372.

<sup>2)</sup> О полемикѣ см. «Отеч. Записки» 1846, кн. 12, журнальныя замѣтки, стр. 118—120, и упомянутыя тамъ статьи противниковъ.

раза произвелъ сильное впечатлѣніе и успѣхъ его могъ считаться обезпеченнымъ. Изъ сказаннаго выше ясно, какая большая доля этого успѣха была дѣломъ БѢлинскаго, нравственный и литературный авторитетъ котораго собралъ эти замѣчательныя силы. Но уже вскорѣ изъ этихъ отношеній журнала возникли тягостныя для БѢлинскаго недоразумѣнія. Московскіе друзья, горячо принимавшіе къ сердцу интересы БѢлинскаго, считали новый журналъ не иначе какъ журналомъ БѢлинскаго и, недовольные устройствомъ дѣлъ редакціи, начали даже устраняться отъ «Современника». Не входя въ разборъ этихъ отношеній, намъ еще не совершенно извѣстныхъ, довольно замѣтить, что эти недоразумѣнія стали для БѢлинскаго предметомъ большихъ огорченій и досадъ, тѣмъ больше, что и его матеріальныя дѣла не поправились настолько, чтобъ онъ могъ считать себя обезпеченнымъ отъ недостатка. Въ приводимыхъ дальше письмахъ мы часто будемъ встрѣчаться съ этой темой.

Наконецъ, въ послѣдніе мѣсяцы 1846 года, БѢлинскій увидѣлся и съ своимъ старымъ другомъ, вернувшимся изъ-за границы. Мы упоминали, что съ конца 1843 г. сношенія БѢлинскаго съ Боткинымъ почти прекратились; съ отъѣзда Боткина за границу, они ни разу не помѣнялись письмами до половины 1844 года; только въ іюнѣ этого года Боткинъ узналъ о женитьбѣ БѢлинскаго, и то отъ другихъ. Самъ Боткинъ переживалъ тогда тяжелое личное испытаніе, которое, вѣроятно, и оставило свой слѣдъ на его характерѣ, потому что по возвращеніи изъ-за границы Боткинъ, сколько мы знаемъ, былъ уже не собою тотъ: въ немъ развилась или усилилась желчность; онъ сталъ равнодушенъ къ идеалистическимъ стремленіямъ недавняго времени; потребность развлеченія, забвенія отъ его личной тревоги развила страсть къ удовольствію, которая въ жизни сдѣлала его эпикурейцемъ, въ эстетическихъ вопросахъ защитникомъ «чистаго» искусства; въ общественныхъ взглядахъ онъ сталъ консерваторомъ. Мы не имѣемъ писемъ БѢлинскаго къ нему за эти годы; но по отвѣтамъ Боткина видно, что они посылали другъ другу три-четыре письма въ годъ, содержаніемъ которыхъ была почти исключительно личная исторія Боткина, гдѣ послѣдній видѣлъ отъ БѢлинскаго столько участія, сколько и могъ ожидать...

Изъ дальнѣйшей переписки БѢлинскаго видно (и то же слышали мы отъ нѣкоторыхъ изъ его друзей), что при свиданіи послѣ долгой разлуки между имъ и Боткинымъ оказалось различіе мнѣній и вкусовъ, очень непохожее на ихъ прежнее единство. Но тѣсныя дружескія отношенія сохранились, и въ первое время

Бѣлинскій даже очень рассчитывалъ на то, что Боткинъ поселится въ Петербургѣ, приметъ ближайшее участіе въ редакціи «Современника»; Бѣлинскій очень желалъ этого, особенно цѣня свидѣнія своего друга въ иностранной литературѣ. Но переездъ не состоялся: собственныя дѣла удерживали Боткина въ Москвѣ, и, кромѣ того, у него возникло личное недоразумѣніе, какъ-будто взаимное недовѣріе съ однимъ изъ издателей новаго журнала. Бѣлинскій узналъ объ этомъ изъ письма самого Боткина, и съ этихъ вопросовъ объ участіи Боткина въ «Современникѣ» между ними возобновилась переписка, въ которой Бѣлинскій опять обнаружилъ чрезвычайную дѣятельность...

Разъясненію этихъ недоразумѣній посвящено письмо Бѣлинскаго отъ 29-го января, въ которомъ любопытно замѣчаніе, относящееся къ Боткину. Стараясь разубѣдить его, будто къ нему относились съ недовѣріемъ, Бѣлинскій говоритъ о новомъ направленіи мыслей Боткина:

„Скажу тебѣ правду: твое новое практическое направленіе, соединенное съ враждою ко всему противоположному, произвело на всѣхъ насъ равно непріятное впечатлѣніе, на меня перваго. Но я понялъ, что на дѣлѣ съ тобою также легко сойтись, какъ трудно сойтись на словахъ, ибо, несмотря на твое ультра-практическое направленіе, ты все остался отчаяннымъ теоретикомъ, нѣмцемъ, для котораго споръ о дѣлѣ гораздо важнѣе самаго дѣла, и который только въ спорѣ и вдается въ чудовищныя крайности, а въ дѣлѣ является человекомъ порядочнымъ...“

Въ письмѣ упоминается дальше о несогласіи, какое случилось въ редакціи новаго журнала при первой же его книжкѣ. Поводъ къ несогласію дала повѣсть г. Григоровича «Деревня», напечатанная передъ тѣмъ въ «Отеч. Запискахъ» (1846, кн. 12). На Бѣлинскаго она произвела очень пріятное впечатлѣніе попыткой изображенія народнаго быта въ его крѣпостныхъ формахъ. Одинъ изъ издателей «Современника», считая повѣсть вовсе не стоящей того отзыва, какой дѣлалъ о ней Бѣлинскій въ своемъ обзорѣ ній литературы за 1846 г., для первой книжки журнала, какъ разсказывали, не желалъ дать мѣста этому отзыву въ печати. Бѣлинскій съ неудовольствіемъ говоритъ объ этомъ несогласіи <sup>1)</sup>...

Здоровье его, несмотря на путешествіе лѣтомъ 1846 г., не поправилось. Его докторъ уже въ началѣ 1847 г. говорилъ, что ему необходимо отправиться на воды въ Силезію; но средствъ

<sup>1)</sup> Другія подробности о „Деревнѣ“ г. Григоровича, см. въ Воспом. Тургенева, „В. Евр.“ 1869, апр., 704..

для этого не было: «поѣзда моя на воды—миѣ». Если бы дѣйствительно было необходимо поѣхать на воды, то единственная надежда была бы только на помощь друзей: «скажу тебѣ откровенно, — говорить при этомъ БѢлинскій, — эта жизнь на подаяніяхъ становится мнѣ невыносимою»...

Въ концѣ письма замѣтка о книгѣ Гоголя «Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями» (о которой БѢлинскій въ это время писалъ для «Современника»):—«славянофилы напрасно сердятся на Гоголя: онъ только консеквентнѣе и добросовѣстнѣе ихъ — вотъ и все».

Черезъ недѣлю, 6-го февраля, БѢлинскій опять пишетъ Боткину о тѣхъ же журнальных недоразумѣніяхъ, опасаясь, что Боткинъ какъ-нибудь неправильно пойметъ его прежнее письмо. Онъ хочетъ только точнѣе объяснить ему положеніе вещей. Онъ жалѣетъ, что Боткинъ не поселится въ Петербургѣ, но не думаетъ убѣждать его въ этому: «у меня и у моихъ друзей было слишкомъ много опытовъ, чтобы вразумить меня, какъ опасно подобное вмѣшательство въ жизнь другого»...

„А на счетъ рѣшенія (т.-е. рѣшенія Боткина остаться въ Москвѣ)—я завидую тебѣ. Сказать правду, я счелъ бы себя блаженнѣйшимъ изъ смертныхъ, еслибъ безъ труда получалъ въ годъ тахіиш того, что могу выработать. Мое отвращеніе отъ литературы и журналистики, какъ отъ ремесла, вырастаетъ со дня на день, и я не знаю, что изъ этого выйдетъ наконецъ. Съ отвращеніемъ бороться труднѣе, чѣмъ съ нуждою; оно — болѣзнь. То ли дѣло ты — счастливый человѣкъ! Квартира съ отопленіемъ, столъ — готовый, на одежду и прихоти всегда хватить, занимайся, чѣмъ хочется, а ничего не хочется — ничего не дѣлай. Твоя строка, что ты хочешь заняться органическою химіею, обдала меня кипяткомъ зависти“...

Онъ завидовалъ тому, что это намѣреніе Боткина обнаруживало полнѣйшую свободу въ выборѣ занятій. БѢлинскій считалъ себя неспособнымъ заниматься наукой: «наука для меня не существуетъ, я не такъ воспитываюсь, не такъ развивался, чтобы быть способнымъ заняться ею»; но для него была бы наслажденіемъ возможность заниматься одной исторической эпохой, заниматься не ученымъ образомъ, а просто, безъ претензій: — «я напелъ бы для себя въ этомъ занятіи замѣну всего, чего такъ глупо добивался всю жизнь и чего такъ умно не дала мнѣ судьба, зане такого мудренаго кушанья у нея не оказалось».

„Да, поди—займись тутъ чѣмъ-нибудь!.. А тебѣ опять-таки скажу: благою избралъ ты часть. Если обстоятельства настоятельно потребуютъ твоего переѣзда въ Питеръ, тогда дѣло другое; но безъ крайней нужды запрягаться въ телѣгу срочной работы—это безуміе, хотя

бы работа давала и чортъ знаетъ что!.. Еще разъ поздравляю тебя за мудрое рѣшеніе, и жалѣю, что не могу послѣдовать твоему примѣру.

„2-я книжка „С.“ („Современника“) вышла во-время. Она лучше первой. Но NN <sup>1)</sup> такъ поправилъ одно мѣсто въ моей статьѣ о Гоголѣ, что я до сихъ поръ хожу какъ человѣкъ, получившій въ обществѣ оплеуху. Вотъ въ чемъ дѣло: я говорю въ статьѣ <sup>2)</sup>, что де мы, хваля Гоголя, не ходили къ нему справляться, какъ онъ думаетъ о своихъ сочиненіяхъ, то и теперь мы не считаемъ нужнымъ дѣлать это; а онъ, добрая душа! въ первомъ случаѣ мы замѣнилъ словомъ *нѣкоторые*—и вышла, во-первыхъ, галиматья, а во-вторыхъ, что-то въ родѣ подлаго отпирательства отъ прежнихъ похвалъ Гоголю и сваленія вины на другихъ. А тамъ еще цензора подрадли—и все это произвольно, безъ основанія. Вотъ они — поощренія къ труду!“

Любопытны въ томъ же письмѣ сужденія Бѣлинскаго о Литтрѣ и Луи-Бланѣ.

„Статья о физиологіи, Литтрѣ <sup>3)</sup>—премесь! Вотъ человѣкъ! Отъ него морщится Revue des Deux Mondes, хотя и печатаетъ его статьи; а социальные и добродѣтельные ослы не въ состояніи и понять его. Я безъ ума отъ Литтрѣ, именно потому, что онъ равно не принадлежитъ ни... ворами-умникамъ J. d. Débats и Revue d. D. M., ни социалистамъ (по мнѣнію Бѣлинскаго, выродившимся изъ фантазій генія Руссо)... Кстати: въ G. de France я прочелъ отрывокъ изъ 1-го тома „Исторіи револ.“ Луи-Блана. Это—его сужденіе о Вольтерѣ! Святители... да это Шевыревы! Все, что говоритъ Луи-Бланъ въ порицаніе Вольтера, справедливо, да глупо то, что онъ не судить о немъ, а осуждаетъ его, и притомъ какъ нашего современника, какъ сотрудника J. d. Débats. Я въ первый разъ понялъ всю гадость и пошлость духа партій. Въ то же время, я понялъ, отчего „Hist. des dix ans“ такъ хороша, несмотря на всѣ ея нелѣпости: оттого, что это памфлетъ, а не исторія. Луи-Бланъ—историкъ современныхъ событій; но за прошедшее, сдѣлавшееся исторією, ему, кажется, не слѣдовало бы браться. Вотъ ужъ сколько времени лежитъ у меня книжка „Revue des Deux Mondes“ съ статьею объ Огюстѣ Контѣ и Литтрѣ—и не могу прочесть, потому что запнулся на гнусномъ взглядѣ этого журнала съ первыхъ же строкъ статьи. Бѣда мнѣ съ моими нервами! Что не по мнѣ—дѣйствуетъ на меня болѣзненно; пересилю себя и прочту.“

„О себѣ мнѣ нечего тебѣ сказать новаго. Впрочемъ, вотъ уже съ недѣлю, какъ здоровье мое какъ будто лучше и желудокъ какъ будто поправляется. За то скучаю смертельно. Безъ Тургенева я осиротѣлъ плачевно. Можетъ быть, отъ этого во мнѣ опять пробудилась давно

<sup>1)</sup> Одно изъ лицъ, принимавшихъ участіе въ редакціи журнала.

<sup>2)</sup> Въ статьѣ о „Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ друзьями“. См. „Совр.“ 1847, кн. 2, крит., стр. 122. Сочин., XI, стр. 100.

<sup>3)</sup> „Важность и успѣхи физиологіи“, во 2-й книгѣ „Современника“.

оставившая меня охота писать длинные письма. Пожалуйста, пиши ко мнѣ: въ теперешнемъ моемъ положеніи, ты сдѣлаешь мнѣ этимъ много добра.

„Читалъ ли ты *Переписку* Гоголя? Если нѣтъ, прочти. Это любопытно и даже назидательно... А славянофилы... напрасно на него сердятся. Имъ бы вспомнить пословицу: неча на зеркало пенять, коли рожа крива. Они... трусы, люди не консеквентные, боящіеся крайнихъ выводовъ собственного ученія; а онъ человѣкъ храбрый, которому нечего терять...“

На другой день Бѣлинскій пишетъ опять къ Боткину, и еще къ Г—ву и К—ну. Предметомъ этихъ писемъ были опять дѣла журнала <sup>1)</sup>, а письмо къ Боткину занято, кромѣ того, предположеніями о поѣздкѣ на воды.

„... Твое послѣднее письмо глубоко меня тронуло,—пишетъ Бѣлинскій.—Человѣкъ лѣнивый и тяжелый на подъемъ, я во всю жизнь мою ни разу не хлопоталъ такъ усердно о себѣ, какъ хлопочешь ты обо мнѣ, при этомъ рѣшаясь по прежнему на жертвы для меня, которыя должны поставить тебя въ стѣсненное положеніе. Понялъ ли я все это и какъ отозвалось все это во мнѣ — объ этомъ распространяться не буду“...

У Бѣлинскаго не было, конечно, возможности устроить эту поѣзду на свои средства; онъ жалуется, что отъ журнала—«и такъ забрался страшно—за полгода впередъ, а заработалъ только два мѣсяца. Да... бѣдный человѣкъ — парія общества». Эти средства на поѣзду надѣялся найти для него Боткинъ...

Черезъ нѣсколько дней, 17-го февраля, Бѣлинскій снова пишетъ Боткину большое письмо, въ родѣ тѣхъ «тетрадей», какія писывалъ къ нему прежде. Онъ рассказываетъ нѣкоторые анекдоты, происходившіе въ редакціонной части журнала; извѣщаетъ, что они надѣются помѣстить статью Боткина («Письма объ Испаніи») въ слѣдующей 3-й книгѣ,—что редація «Современника» и съ своей стороны хочетъ принять участіе въ устройствѣ поѣздки Бѣлинскаго за границу. Затѣмъ литературныя новости:

„Тургеневъ хочетъ перевести нѣмцамъ статью Кавелина: „Юрид. бытъ Россіи до Петра В.“ Скажи ему это, равно какъ и то, что помѣщеніемъ своихъ критическихъ статей на книгу Погодина въ „От. Зап.“ онъ растерзалъ мое сердце и усилилъ мои немощи. Кронебергъ—только переводчикъ, а какъ сотрудникъ—хуже ничего нельзя придумать. Современное для него не существуетъ, онъ весь въ римскихъ древностяхъ да въ Шекспирѣ. При этомъ, страшно лѣнивъ... Повѣсть Кудрявцева никому не нравится. Поди ты тутъ!“

Для объясненія словъ Бѣлинскаго о г. Кавелинѣ надо опять

<sup>1)</sup> Два послѣднія письма не существуютъ.

припомнить отношеніе московскихъ друзей къ «Современнику». По своему взгляду на дѣла журнала, они находили, что Бѣлинскій не играетъ въ редакціи журнала той господствующей роли, какая по ихъ мнѣнію ему подобала; недовольные этимъ, и относя свое собственное участіе въ журналъ къ Бѣлинскому, они уже вскорѣ если не совсѣмъ отделились отъ «Современника», то по крайней мѣрѣ стали смотрѣть на него такъ же, какъ на «От. Записки», и не находили основанія поддерживать исключительно первый, когда оба журнала представляли тогда одно въ сущности направленіе... Этотъ вопросъ очень волновалъ Бѣлинскаго и былъ предметомъ длинныхъ разсужденій и страстныхъ выходокъ въ перепискѣ Бѣлинскаго за 1847 годъ. Во-первыхъ, онъ никакъ не могъ помириться съ тѣмъ, чтобы его лучшіе друзья, въ союзъ которыхъ онъ не сомнѣвался при началѣ дѣла, могли давать поддержку своихъ именъ и трудовъ журналу, который теперь вызывалъ въ немъ крайнюю вражду. Онъ не разъ возвращается къ тому же предмету въ другихъ письмахъ, усиливаясь возобновить ту солидарность и связь съ московскими друзьями, на которую такъ надѣялся. Во-вторыхъ, и самъ Бѣлинскій въ вопросѣ о своихъ личныхъ отношеніяхъ къ журналу бывалъ въ разныхъ настроеніяхъ. Между петербургскими друзьями его также были люди, раздѣлявшіе непріязненный взглядъ московскихъ. Бѣлинскій иногда соглашался съ ними, бывалъ недоволенъ, недоумѣвалъ; но вообще судилъ съ другой точки зрѣнія, и старался разувѣрить друзей въ ихъ предубѣжденіи. Его во всякомъ случаѣ огорчало то, что московскіе друзья охладѣвали къ «Современнику», и тяготило его собственное положеніе между двумя сторонами, которыя ему хотѣлось тѣсно связать...

Затѣмъ слѣдуетъ длинный трактатъ объ Огюстѣ Контѣ. Бѣлинскій прочелъ въ *Revue d. Deux Mondes* статью Cécile (Saisset) о положительной философіи; у него составилось о Контѣ неблагоприятное мнѣніе.

„Сколько можно получить понятіе о предметѣ изъ вторыхъ рукъ, я понималъ Конта, въ чемъ мнѣ особенно помогли разговоры и споры съ тобою, которые только теперь уяснились для меня. Контъ—человѣкъ замѣчательный; но чтобы онъ былъ основателемъ новой философіи—далеко кулику до Петрова дня! Для этого нуженъ гений, котораго нѣтъ и признаковъ въ Контѣ“...

Контъ замѣчательенъ, какъ реакція теологическому вмѣшательству въ науку, реакція энергическая и тревожная; но его умъ сухой, и въ немъ нѣтъ творчества. Литтре хотя и ограничивается смиренной ролью его ученика, но это очевидно натура

болѣе богатая. Къ автору статьи, Сессе, БѢлинскій возымѣлъ великую антипатію, какъ метафизическому эклектику, который говоритъ съ презрѣніемъ о нѣмецкой философіи, не имѣя о ней никакого понятія.

Контъ находитъ природу несовершенною, и БѢлинскій видитъ въ этой мысли явное доказательство, что онъ не можетъ основать новаго философскаго ученія. Эта мысль есть только крайность, противопоставленная крайности пѣтистовъ, находящихся, что въ природѣ все совершенно, все премудро размѣрено и рассчитано, что во всѣхъ ея явленіяхъ, даже въ страшномъ расположеніи крысъ и мышей, скрывается великая польза. Наперекоръ мнѣнію пѣтистовъ, Контъ утверждаетъ другую нелѣпость, что природа несовершенна, и могла бы быть совершеннѣе:

„Послѣднее — чепуха, первое справедливо, — замѣчаетъ БѢлинскій, — да въ несовершенствѣ-то природы и заключается ея совершенство. Совершенство есть идея абстрактнаго трансцендентализма, и потому оно — подлѣйшая вещь въ мірѣ. Человѣкъ смертенъ, подверженъ болѣзни, голоду, долженъ отстаивать съ бою жизнь свою — это его несовершенство, но имъ-то и великъ онъ, имъ-то и мила и дорога ему жизнь его. (Если застраховать человѣка отъ смерти, болѣзни и проч....) онъ — турецкій паша, скучающій въ вѣковомъ блаженствѣ, хуже — онъ превратится въ окота. Контъ не видитъ историческаго прогресса, живой связи, проходящей живымъ нервомъ по живому организму исторіи человѣчества. Изъ этого я вижу, что область исторіи закрыта для его ограниченности“...

Въ общемъ выводѣ БѢлинскій думаетъ, что основатель новой философіи долженъ освободить науку отъ призраковъ трансцендентализма, отъ всего фантастическаго и мистическаго, но что Контъ этого не сдѣлаетъ, а только, со многими другими замѣчательными умами, поможетъ сдѣлать это призванному.

Въ томъ же французскомъ журналѣ напечалъ онъ статью о новомъ, выпедшемъ тогда, сочиненіи Шеллинга.

„У меня было какое-то смутное понятіе о новомъ мистическомъ ученіи Шеллинга. Тамъ (авторъ статьи) говоритъ, что Шеллингъ деизмъ называетъ imbecile (съ чѣмъ и поздравляю Пьера Леру) и презираетъ его больше атеизма, который онъ несказанно презираетъ. Кто же онъ? онъ пантеистъ-христіанинъ, и создалъ для избранныхъ натуръ (аристократіи человѣчества) удивительно изящную церковь, въ которой обитателей много. Бѣдное человѣчество! Добрый Одоевскій разъ не шутя увѣрялъ меня, что нѣтъ черты, отдѣляющей сумасшествіе отъ нормальнаго состоянія ума, и что ни въ одномъ человѣкѣ нельзя быть увѣреннымъ, что онъ не сумасшедшій. Въ приложеніи не къ одному Шеллингу, какъ это справедливо! У кого есть система, убѣжденіе, тотъ долженъ трепетать за нормальное состояніе своего разсудка“...

Онъ совѣтуетъ Боткину прочесть статью Губера о книгѣ Голя (въ «Спб. Вѣд.» 1847, № 35): эта статья кажется ему «замѣчательнымъ и отраднымъ явленіемъ»; спрашиваетъ, прочесть ли Боткинъ книгу Мавса Штирнера...

На тѣхъ же дняхъ, 19-го февраля, Бѣлинскій писалъ къ г. Тургеневу, который незадолго передъ тѣмъ уѣхалъ за границу. Большая доля этого письма напечатана въ воспоминаніяхъ г. Тургенева <sup>1)</sup>; главнымъ образомъ оно занято извѣстіями объ отношеніяхъ Бѣлинскаго къ редакціи «Современника» и спорахъ объ этомъ съ московскими друзьями. Прибавимъ изъ этого письма нѣсколько отзывовъ Бѣлинскаго о тогдашнихъ литературныхъ новостяхъ:

„...Достоевскаго переписка шуллеровъ <sup>2)</sup>, къ удивленію моему, мнѣ просто не понравилась—насилу дочелъ. Это общее впечатлѣніе...

„Некр. написалъ недавно страшно-хорошее стихотвореніе. Если не попадетъ въ печать (а оно назначается въ 3 №), то пришлю къ вамъ въ рукописи <sup>3)</sup>. Что за талантъ у этого человѣка! И что за топоръ его талантъ!

„Повѣсть Кудрявцева <sup>4)</sup> не имѣла никакого успѣха: откуда ни послышишь—не то, что бранять, а холодно отзываются“.

Въ слѣдующемъ письмѣ къ Боткину, отъ 26 февраля, Бѣлинскій опять благодаритъ своего друга за хлопоты объ его дѣлахъ. «Меня не одно то трогаетъ,—говоритъ онъ,—что ты всюду собираешь для меня деньги, и жертвуешь своими, но еще больше то, что ты занятъ моею поѣздкою, какъ своимъ собственнымъ сердечнымъ интересомъ. А я все браню тебя, да пишу тебѣ грубости». Онъ и теперь бранитъ его за нечеткую рукопись «Писемъ объ Испаніи», которая сдѣлала для него корректуру очень трудной: особенно онъ проситъ Боткина избѣгать частаго употребленія испанскихъ словъ — и не отвѣчаетъ за то, какъ они явились въ печати: «если увидишь, что отъ нихъ равно отвѣжуются и въ Мадридѣ и въ Марокко, или равно признаютъ ихъ своими и тамъ и сямъ, то пеняй на себя». При этомъ онъ сообщаетъ и другое свѣдѣніе относительно «Писемъ объ Испаніи»:

„Скажу тебѣ пренепріятную вещь: статью твою К. (цензоръ) порядочно поцарапалъ — говоритъ: политика. Дѣйствительно, у тебя много вышло рѣзко, особенно эпитеты, прилагаемые тобою къ испанскому правительству—терпимость на этотъ разъ измѣнила тебѣ. Вотъ

<sup>1)</sup> „Вѣст. Евр.“, тамъ же, стр. 726—728.

<sup>2)</sup> „Романъ въ девяти письмахъ“, — „Совр.“ 1847, кн. 1, смѣсь, стр. 45—54.

<sup>3)</sup> Рѣчь идетъ вѣроятно о стих. „Нравственный человѣкъ“, которое и было помѣщено въ 3-й книгѣ „Современника“.

<sup>4)</sup> „Безъ разсвѣта“, въ 1-й кн. „Совр.“.

тутъ и пиши! Впрочемъ, Некр. говорить, что выкинуто строкъ 30, но ты понимаешь, какихъ. Не знаю, какъ это извѣстіе подѣйствуетъ на тебя, но знаю, что если ты и огорчишься, то не больше меня: я до сихъ поръ не могу привыкнуть къ этой отеческой расправѣ, которую испытываю чуть не ежедневно“.

Затѣмъ, опять рѣчь о поѣздѣ. Боткинъ писалъ ему, какое участіе выразилъ къ дѣламъ Бѣлинскаго А—въ (въ письмѣ къ Боткину). «Я понимаю, какое содержаніе письма А—ва. Это меня нисколько не удивило. Я давно знаю, что за человекъ А.—въ, и знаю, что онъ любитъ меня. Тѣмъ не менѣе, съ нетерпѣніемъ жду этого письма».

Вскорѣ Бѣлинскій получилъ и письмо А—ва, пересланное Боткинѣмъ, и 28-го февраля снова пишетъ Боткину. Онъ былъ сильно тронутъ тѣми выраженіями дружеской привязанности, какія встрѣтилъ въ письмѣ А—ва. «Говорю тебѣ безъ фразъ и безъ лицемерія,—пишетъ онъ Боткину по этому поводу,—что любовь ко мнѣ друзей моихъ часто меня конфузитъ и грустно на меня дѣйствуетъ, ибо, по совѣсти, не чувствую, не сознаю себя стоющимъ ея».

Далѣе, почти все письмо 28-го февраля (или та часть его, какая намъ извѣстна,—потому что въ немъ какъ будто недостаетъ конца) занято предметомъ, который въ это время безпрестанно вращался въ мысляхъ Бѣлинскаго,—«Перепиской» Гоголя, возмутившей его до послѣдней степени. Боткинъ заговорилъ о статьѣ Бѣлинскаго въ «Современникѣ» (кн. 2) по поводу этой книги; слѣдующія слова Бѣлинскаго даютъ новыя разъясненія его мнѣнія объ этой книгѣ и, вмѣстѣ, одной стороны его литературнаго характера:—

„О статьѣ моей о Гоголѣ мнѣ не хотѣлось бы писать къ тебѣ, ибо я положилъ себѣ за правило—никогда и ни съ кѣмъ не спорить о моихъ статьяхъ, защищая ихъ. Но на этотъ разъ нарушаю мое правило, потому что ты боленъ и что въ твоемъ положеніи письмо пріятеля тѣмъ пріятнѣе, чѣмъ больше въ немъ разныхъ вадоровъ... Видишь ли, въ чемъ дѣло: ты рѣшительно не понимаешь меня, хотя и знаешь меня довольно. Я не юмористъ, не острякъ; иронія и юморъ—не мои оружія. Если мнѣ удалось въ жизнь мою написать статей пачокъ, въ которыхъ иронія играетъ видную роль и съ бѣльшимъ или меньшимъ умѣньемъ выдержана,—это произошло совсѣмъ не отъ спокойствія, а отъ крайней степени бѣшенства, породившаго, своею сосредоточенностію, другую крайность—спокойствіе. Когда я писалъ „типъ“ на Шев. и статью о „Тарантасѣ“<sup>1)</sup>,

<sup>1)</sup> О взглядѣ Бѣлинскаго на „Тарантасъ“ гр. Соллогуба, см., во-первыхъ, самны статьи Бѣлинскаго (небольшая библиографическая статья въ „От. Зап.“ 1845, кн. 4,

я былъ не красенъ, а блѣденъ, и у меня сохло во рту, отчего на губахъ и не было пѣны. Я могу писать порядочно только на основаніи моей натуры, моихъ естественныхъ средствъ. Выходя изъ нихъ по расчету или по необходимости,—я дѣлаюсь ни то, ни сѣ, ни ракъ, ни рыба. Теперь слушай: кромѣ того, что я боленъ и что мнѣ опротивѣла и литература и критика, такъ что не только писать, читать ничего не хотѣлось бы,—я еще принужденъ дѣйствовать вѣдъ моей натуры, моего характера. Природа осудила меня лаять собакою и вить шакаломъ, а обстоятельства велятъ мнѣ мурлыкать кошкою, вертѣть хвостомъ по-лиси. Ты говоришь, что статья „написана безъ довольной обдуманности и нѣсколько съ плеча, тогда (какъ) за дѣло надо было взяться съ тонкостью“. Другъ ты мой, потому-то, напротивъ, моя статья и не могла никакъ своею замѣчательностію соотвѣтствовать важности (хотя и отрицательной) книги, на которую писана, что я ее обдумалъ. Какъ ты мало меня знаешь! Всѣ лучшія мои статьи нисколько не обдуманы. Это импровизаціи; садясь за нихъ, я не зналъ, что я буду писать. Если первая строка хватить издалека—статья болтлива, о дѣлѣ мало сказано; если первая строка ближе къ дѣлу,—статья хороша. И чѣмъ больше я ее запущу, чѣмъ меньше мнѣ времени писать ее, тѣмъ она энергичнѣе и горячѣе. Вотъ какъ я пишу!.. Статья о гнусной книгѣ Гоголя могла бы видѣти замѣчательно хорошею, еслибы я въ ней могъ, зажмуривъ глаза, отдаться моему негодованію и бѣшенству <sup>1)</sup>. Мнѣ очень нравится статья Губера (читалъ ли ты ее?) именно потому, что она писана прямо, безъ лисскихъ верченій хвостомъ. Мнѣ кажется, что она—моя, украдена у меня и только немножко ослаблена. Но мою статью я обдумалъ, и потому впередъ зналъ, что отличною она не будетъ, и бился изъ того только, чтобы она была дѣльна и показала гнусность... И она такую и вышла у меня, а не такую, какою ты прочелъ ее. Вы живете въ деревнѣ и ничего не знаете. Эффектъ этой книги былъ такоу, что Н., ее пропустившій, вычеркнулъ у меня часть выписокъ изъ книги, да еще дрожалъ и за то, что оставилъ въ моей статьѣ. Моего, онъ и цензоръ вычеркнули цѣлую треть, а въ статьѣ обдуманной помарка слова—важное дѣло. Ты упрекаешь меня, что я разсердился и не совладѣлъ съ своимъ гнѣвомъ? Да (я) этого и не хотѣлъ. Терпимость къ заблужденію я еще понимаю и цѣню, по крайней мѣрѣ въ другихъ, если не въ себѣ, но терпимости къ подлости я не терплю. Ты рѣшительно не понимаешь этой книги, если видишь въ ней *только* заблужденіе... Гоголь—совсѣмъ не К. С. А.—въ. Это—Талейранъ, кардиналъ Фешъ, который всю жизнь обманывалъ Бога, а при смерти надулъ сатану... И отзывъ Анненкова о книгѣ Гоголя тоже не отзывается терпимостью. Повторяю тебѣ: умѣю вчужѣ понимать и цѣнить терпимость, но останусь гордо и убѣжденно нетерпимымъ. И если сдѣлаюсь терпимымъ,—знай, что

не помѣщенная въ изданіи, и большая критич. статья въ кн. 6-й; Сочин. IX, стр. 309—370); во-вторыхъ, Очерки Гогол. періода, „Соврем.“ 1856, кн. 11, стр. 3—8, и Восп. Панаева, „Совр.“ 1860, кн. 1, стр. 363—364.

<sup>1)</sup> Такъ это было въ другомъ случаѣ—въ известномъ письмѣ его къ Гоголю, отъ іюня 1847.

съ той минуты... во мнѣ умерло то прекрасное человѣческое, за которое столько хорошихъ людей (а въ числѣ ихъ и ты) любили меня больше, нежели сколько я стоилъ того".

На другой день, 1-го марта, онъ писалъ къ г. Тургеневу длинное письмо, сущность котораго приведена въ воспоминаніяхъ г. Тургенева <sup>1)</sup>. БѢлинскій отчасти выяснилъ себѣ свои личныя отношенія съ редакціей «Современника», но его смущало теперь другое—ему казалось, что редація относится къ дѣлу слишкомъ лѣнливо, апатически, что сдѣлано было много «ужасныхъ» ошибокъ, вслѣдствіе которыхъ успѣхъ журнала былъ не такъ великъ, какъ могъ бы быть,—хотя вообще БѢлинскій былъ доволенъ его успѣхомъ (къ марту «Современникъ» имѣлъ до 1,700 подписчиковъ). Самой важной ошибкой онъ считалъ то, что не была въ первыхъ же нумерахъ напечатана повѣсть г. Гончарова, которая,—говоритъ БѢлинскій,—«по всѣмъ признавамъ должна произвести сильное впечатлѣніе». Она подѣйствовала бы иначе и на подписку. «Будь она напечатана въ первыхъ двухъ №№, вмѣсто... повѣсти Панаева, можно клясться всѣми клятвами, что уже мѣсяць назадъ всѣ 2,100 экз. были бы разобраны, и, можетъ быть, надо было бы печатать еще 600 экз., которые тоже разошлись бы, хотя и медленно, и доставили бы собою не большую, но уже чистую прибыль».

Въ этотъ же день БѢлинскій писалъ П. В. А—ву. Онъ высказываетъ и ему, что говорилъ уже въ письмахъ къ Боткину и Тургеневу,—какое отрадное впечатлѣніе произвело на него теплое участіе А—ва къ его дѣламъ. Дѣло въ томъ, что А—въ, кромѣ другого содѣйствія поѣздкѣ БѢлинскаго, измѣнилъ для него планъ своего собственнаго путешествія: отложилъ свое намѣреніе ѣхать въ Грецію и Константинополь и общалъ выѣхать на встрѣчу БѢлинскому и устроить его на водахъ въ Силезіи,—что послѣ и исполнилъ.

Въ письмѣ къ А—ву, БѢлинскій говоритъ о состояніи своего здоровья:

„Да, я было струхнулъ порядкомъ за свое положеніе, но теперь поправляюсь. Тильманъ ручается за выздоровленіе весной даже и въ Питерѣ, но всегда прибавляетъ: „а лучше бы ѣхать, если можно“. Когда я сказалъ ему, что нельзя, онъ видимо насупился, а когда потомъ сказалъ, что ѣду—онъ просіялъ. Изъ этого я заключаю, что въ Питерѣ можно меня починить до осени, а за границею можно закрѣпить готовый развязаться и распознаться узелъ жизни. Вотъ уже съ мѣсяць чувствую я себя лучше, но упадокъ силъ у меня—

<sup>1)</sup> „Вѣстн. Евр.“, стр. 728—729.

страшный: устаю отъ всякаго движенія, иногда задыхаюсь оттого, что переверорочусь на кушеткѣ съ одного бока на другой“...

Онъ общается А—ву привезти съ собой и запасъ петербургскихъ новостей. «Я знаю, что вы многое знаете черезъ Боткина, но я вамъ многое изъ этого многого передамъ совсѣмъ съ другой точки зрѣнія». Это относилось, конечно, къ его отношеніямъ съ редакціей «Современника».

Черезъ нѣсколько дней Бѣлинскій снова пишетъ Боткину, отъ 4-го марта:

„Поѣздка не выходитъ у меня изъ головы. Энтузіазма нѣтъ и не будетъ никакого: въ этомъ отношеніи, я сильно измѣнился—самъ себя не узнаю. Но тѣмъ не менѣе, все вертится у меня около этой *idée fixe*, и я чувствую, что мнѣ тяжело было бы, еслибъ дѣло разстроилось. Письмо А—ва озаарило какимъ-то веселымъ и теплымъ колоритомъ мою поѣздку,—и я жду ея, какъ счастья дня“...

Это письмо любопытно слѣдующимъ дальше трактатомъ о повѣстяхъ Кудрявцева. Этотъ писатель, которымъ нѣкогда Бѣлинскій такъ безгранично восхищался и къ которому до сихъ поръ питалъ теплую личную привязанность, окончательно пересталъ удовлетворять его своими повѣстями. Мы видѣли сейчасъ (въ письмахъ къ Боткину и Тургеневу), съ какимъ недоумѣніемъ говорить онъ о повѣсти Кудрявцева «Безъ разсвѣта», помѣщенной въ «Современникѣ» и не имѣвшей почти никакого успѣха. Теперь, въ 3-й книгѣ «Отеч. Зап.» этого года, была помѣщена повѣсть Кудрявцева «Сбоевъ»; чтеніе ея навело Бѣлинскаго на слѣдующія размышленія:

„Кажется, таланту Кудрявцева—вѣчная память. Этотъ человѣкъ, видно, никогда не выйдетъ изъ своей коры. Онъ и въ Парижѣ привезъ съ собою свою Москву. Что за узкое созерцаніе, что за бѣдныя интересы, что за ребяческіе идеалы, что за исключительность типовъ и характеровъ. (Для объясненія своей мысли, Бѣлинскій дѣлаетъ сравненіе между повѣстями Кудрявцева и Гончарова...). Сильно ли понравится тебѣ повѣсть Гончарова, или и вовсе не понравится <sup>1)</sup>—во всякомъ случаѣ, ты увидишь великую разницу между Гонч. и Кудр. въ пользу перваго. Эта разница состоитъ въ томъ, что Г—въ—человѣкъ взрослый, совершеннолѣтній, а К—въ духовно-малолѣтній, нравственный и умственный недоросль. Это досадно и грустно. Читая его повѣсти, чувствуешь, что они могутъ быть понятны и интересны только для людей, близкихъ къ автору. Вотъ отъ чего нѣкогда я съ ума сходилъ отъ повѣстей К—ва: я зналъ и любилъ его, въ немъ и въ нихъ было много моего, т.-е. такого,

<sup>1)</sup> Въ это именно время выходила „Обыкновенная Исторія“ (1-я часть—въ 3-й книгѣ „Современника“; въ 4-й книгѣ—2-я часть).

что было моимъ конькомъ. Того конька давно нѣтъ, и повѣсти не тѣ. Талантъ вижу въ нихъ и теперь, но чорта ли въ одномъ талантѣ. Земля цѣнится по ея плодородности, урожаюмъ; талантъ—та же земля, но которая вмѣсто хлѣба родить истину. Порождая однѣ мечты и фантазіи, талантъ, даже большой—песчаникъ или солончакъ, на которомъ не родится ни былинки. Двѣ повѣсти выходятъ изъ ряда обычныхъ повѣстей К—ва: *Послѣдній визитъ*, въ которомъ конецъ онъ все-таки испортилъ эффектомъ, и *Безъ расцѣта*, въ которой прекрасное намѣреніе осталось гораздо выше исполненія. Стало быть, ничего удовлетворительнаго вполнѣ и вмѣстѣ дѣльнаго. Что же это? Слабость таланта?—Нѣтъ, вся бѣда въ томъ, что К—въ москвичъ... Ахъ, господа, изображайте любовь и женщинъ, а вамъ не запрещаю этого на томъ основаніи, что я начисто раздѣлялся съ подобными интересами; но изображайте не какъ дѣти, а какъ взрослые люди. Вонъ и въ повѣсти Гончарова любовь играетъ главную роль, да еще такая, какая субъективно всего менѣе можетъ интересоваться меня: а читаешь, словно ѣшь холодный, полу-пудовой сахаристый арбузъ въ знойный день“.

Дальше—отзывы о 3-й книгѣ «Современника», которой онъ доволенъ, и жалобы на «палача»—цензора...

Слѣдующее письмо къ Боткину, отъ 8-го марта, опять любопытно по тѣмъ выраженіямъ личныхъ душевныхъ мыслей и отзывамъ о самомъ себѣ,—въ которыхъ мы уже не разъ видѣли чрезвычайно характеристическія опредѣленія его личности.

Въ началѣ письма онъ опять говоритъ о 3-й книгѣ (гдѣ было помѣщено начало «Обыкновенной Исторіи»), которая «произвела самое благоприятное впечатлѣніе на питерскую публику»; извѣщаетъ Боткина, что есть надежда—восстановить, въ слѣдующихъ статьяхъ, то, что вычеркнулъ цензоръ въ первомъ «Письмѣ изъ Испаніи»: одинъ изъ близкихъ участниковъ журнала надѣялся отстоять въ цензурномъ комитетѣ выброшенные мѣста,—на томъ основаніи, что въ нихъ заключается «исторія» (которая не запрещалась совершенно), а не «политика» (которая совершенно запрещалась).

Бѣлинскій недоволенъ въ 3-й книгѣ только повѣстью Диккенса, и по поводу ея даетъ любопытное свидѣтельство о своихъ «національных» взглядахъ, которое, вмѣстѣ съ другими подобными признаніями, объясняетъ, кажется, почему друзья его видѣли въ немъ въ это время наклонность къ идеализму почти славянофильскаго свойства.

Прочти пожалуйста повѣсть Диккенса *Битва жизни*; изъ нея ты ясно увидишь всю ограниченность, все узкоболіе этого дубоваго англичанина, когда онъ является не талантомъ, а просто человекомъ. Это едва ли не единственная плохая вещь, помѣщенная въ 3 №

*Свер.*, — что мнѣ очень досадно. Уважаю практическія натуры, въ *hommes d'action*, но если вкушеніе сладости ихъ роли непременно должно быть основано на условіи безвыходной ограниченности, душевной узкости—слуга покорный, я лучше хочу быть созерцающею натурою, человѣкомъ просто, но лишь бы все чувствовать и понимать широко, привольно и глубоко. Я—натура русская. (Онъ прибавляетъ, что и гордится этимъ...) Не хочу быть даже французомъ, хотя эту націю люблю и уважаю больше другихъ. Русская личность пока—эмбрионъ, но сколько широты и силы въ натурѣ этого эмбриона, какъдушна и страшна ей всякая ограниченность и узкость. Она боится ихъ, не терпитъ ихъ больше всего—и хорошо, по моему мнѣнію, дѣлаетъ, довольствуясь пока ничѣмъ, вмѣсто того, чтобы закабалиться въ какую-нибудь дрянную односторонность. А что мы всеобъемлющи потому, что намъ нечего дѣлать,—тѣмъ больше объ этомъ думаю, тѣмъ больше сознаю и убѣждаюсь, что это ложь. Грузинцамъ тоже нечего дѣлать, и мало ли другихъ народовъ, ничего не дѣлающихъ, и все-таки бѣдныхъ замѣчательными личностями. Русакъ пока еще дѣйствительно—ничего; но посмотри, какъ онъ требователенъ, не хочетъ того, не дивится этому, отрицаетъ все, а между тѣмъ чего-то хочетъ, къ чему-то стремится. Но о такомъ предметѣ надо говорить много, или совсѣмъ не говорить, и потому мнѣ досадно на себя, что я заговорилъ. Не думай, чтобы я въ этомъ вопросѣ былъ энтузіастомъ. Нѣтъ, я дошелъ до его рѣшенія (для себя) тяжкимъ путемъ сомнѣнія и отрицанія. Не думай, чтобы я со всѣми объ этомъ говорилъ такъ: нѣтъ, въ глазахъ нашихъ квасныхъ патріотовъ, славянофиловъ..., витязей прошедшаго и обожателей настоящаго, я всегда останусь тѣмъ, чѣмъ они до сихъ поръ считали меня“...

Въ слѣдующемъ письмѣ, отъ 15-го марта, Бѣлинскій говорить объ извѣстныхъ статьяхъ Н. Ф. Павлова (въ «Моск. Вѣдомостяхъ» 1847), вызванныхъ «Перепиской съ друзьями» Гоголя: статьи ему чрезвычайно понравились.

„Здоровье мое,—начинаетъ онъ,—въ сравненіи съ прежнимъ лучше, но безотносительно—плохо. Тоска страшная, и не знаю, какъ дожидаться вождѣннаго дня отъѣзда. Только этою мыслию и живу; безъ нея, право, не знаю, что бы со мной теперь было. Новостей у насъ... нѣтъ никакихъ, а если какія и есть, онѣ извѣстны и у васъ. Книга Гоголя какъ будто пропала,—и я немного горжусь тѣмъ, что вѣрно предсказалъ (не печатно, а на словахъ) ея судьбу. Русскаго человѣка не надуешь такими продѣлками, а если и надуешь, такъ на минуту. Если еще не вовсе забыто существованіе этой книги, такъ это потому, что отъ времени до времени напоминаютъ о ней журнальныя статьи. Статья Н. Ф. Павлова—образецъ мастерства писать. Я перечелъ ее нѣсколько разъ, и съ каждымъ разомъ она кажется мнѣ все лучше и лучше. Сколько ума, какая послѣдовательность, какъ все ровно и цѣло; дочитывая конецъ, ясно помнишь начало и середину! Словомъ—чудо, а не статья! Сначала на меня произвѣло было непріятное впечатлѣніе взглядъ на мертвопочитаніе *русской природы*; но я сообразилъ, что вся сила статьи въ томъ и заключается,

что П. бьетъ Г. не своимъ, а его же оружіемъ, и имѣетъ въ виду доказать не столько нелѣпость книги, сколько ея противорѣчіе съ самой собою. Но особенно понравилась мнѣ въ статьѣ одна мысль—умная до невозможности. Это ловкій намекъ на то, что перенесенная въ сферу искусства книга Г—ля была бы превосходна, ибо ея чувства и понятія принадлежать законно Хлестаковымъ, Коробочкамъ, Маниловымъ и т. п. Это такъ умно, что мочи нѣтъ! Жаль одного: что эта превосходная статья напечатана въ „Моск. Вѣд.“,—изданіи, сохраняющемъ свято внѣшнія формы времени Петра Великаго, и читаемомъ только въ Москвѣ, да и то больше людьми солидными. Чтобъ, какъ бы позволилъ намъ Н. Ф. перепечатать его статью въ „Совр.“?.. Право, отъ этого не однимъ намъ было бы хорошо: статья получила бы больше народности“...

Павловъ дѣйствительно предоставилъ «Современнику» перепечатать свои «Письма къ Н. В. Гоголю», которые вскорѣ и появились въ этомъ журналѣ <sup>1)</sup>.

Бѣлинскій продолжаетъ письмо черезъ два дня — рассказомъ о чрезвычайномъ успѣхѣ «Обыкновенной исторіи»:—

„Повѣсть Гонч. произвела въ Питерѣ фуроръ—успѣхъ неслыханный! Всѣ мнѣнія слились въ ея пользу. Даже свѣтлѣйшій князь В—скій, черезъ дядю Панаева, изъавилъ ему, Панаеву, свое удовольствіе... Дѣйствительно, талантъ замѣчательный. Мнѣ кажется, что его особенность, такъ сказать личность, заключается въ совершенномъ отсутствіи семинаризма, литературщины и литераторства, отъ которыхъ не умѣли и не умѣютъ освобождаться даже гениальные русскіе писатели. Я не исключаю и Пушкина. У Г—ва нѣтъ и признаковъ труда, работы; читая его, думаешь, что не читаешь, а слушаешь мастерской изустный рассказъ. Я увѣренъ, что тебѣ повѣсть эта сильно понравится. А какую пользу принесетъ она обществу! Какой она страшный ударъ романтизму, мечтательности, сентиментальности, провинціализму!“...

Бѣлинскій говоритъ дальше о матеріальномъ положеніи «Современника», который «нравственно процвѣтаетъ», т.-е. приобретаетъ въ публикѣ авторитетъ и положительно считается лучшимъ журналомъ; успѣхъ его и за первый годъ (у него было теперь 1800 подписчиковъ) онъ называетъ небывалымъ и неслыханнымъ.

„Тургеневъ пишетъ, что... хочетъ жить въ Штетинѣ и, подобно Моинѣ, бродя по морскому берегу, ждать Фингала, т.-е. меня“...

Въ концѣ марта или началѣ апрѣля, Бѣлинскому пришлось вынести еще одно бѣдствіе, сильно его поразившее—потерю маленькаго сына (у него осталась дочь, родившаяся въ половинѣ 1845 года). Онъ пишетъ къ Тургеневу отъ 12-го апрѣля <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Письма первое и второе—въ майской книгѣ 1847 г.; четвертое (прямо послѣ второго)—въ августовской. Но третьяго письма, кажется, такъ и не было (!).

<sup>2)</sup> Отрывокъ этого письма въ „В. Евр.“, стр. 729.

„Вскорѣ по полученіи вашего второго ко мнѣ письма, въ которомъ вы извѣщаете свое удовольствіе о здоровьи моего сына <sup>1)</sup>,— онъ умеръ. Это меня уходило страшно. Я не живу, а умираю медленною смертію. Но довольно объ этомъ. Къ дѣлу. Я взялъ билетъ на первый штетинскій пароходъ (Владиміръ); онъ отходитъ <sup>4/16</sup> мая. „Я уже публикуюсь <sup>2)</sup>; свидѣтельство Тильмана вчера отправлено въ физикатъ“ <sup>3)</sup>...

Отъ 22-го апрѣля Бѣлинскій опять пишетъ Боткину очень длинное письмо, посвященное вопросамъ о журналѣ и личномъ дѣламъ. Журналомъ онъ вообще доволенъ, и думаетъ, что впредь онъ долженъ пойти еще лучше, предполагая, что московскіе друзья окажутъ ему свое содѣйствіе. Онъ сравниваетъ «Современникъ» съ тогдашними «Отеч. Записками» и отдаетъ первому рѣшительное предпочтеніе. — Самое начало письма занято длиннымъ объясненіемъ отношеній редакціи (и самого Бѣлинскаго) къ одному изъ московскихъ пріятелей и сотрудниковъ, Н. А. М—ву, который хотя отличался большою ревностью къ журналу, но редакціи не казался особенно полезнымъ сотрудникомъ, и Бѣлинскій проситъ Боткина деликатнымъ образомъ умѣрить его усердіе.

Между прочимъ Бѣлинскій въ это время возымѣлъ планъ— оставить совсѣмъ Петербургъ и переселиться въ Москву.

„Скажу тебѣ о себѣ новость, которая удивитъ тебя. Я рѣшился переѣхать жить въ Москву, и это можетъ быть, если не встрѣтятся особенныхъ препятствій, по послѣднему снѣжному пути конца будущей зимы 1848 года. Я привыкъ къ Питеру, люблю его какою-то странною любовью за многое даже такое, за чтó бы нечего любить его; въ немъ много удобствъ. Въ Москвѣ меня, кромѣ друзей, ничто не привлекаетъ; какъ городъ, я не люблю ея. Но жить въ петербургскомъ климатѣ, на понтинскихъ болотахъ, гнилыхъ и холодныхъ, мнѣ больше нѣтъ никакой возможности. Если я поправлюсь за границу, въ Питерѣ черезъ годъ, будущю же весною, могу придти опять въ прежнее положеніе“...

Прежнее положеніе дѣйствительно вернулось, но еще въ худшей степени; Бѣлинскій не успѣлъ исполнить своего плана...

Вотъ еще отрывокъ изъ того же письма.

„О, еслибы только мнѣ ожить,—да лишь бы московскіе друзья наши не охладѣли въ своей рѣшимости поддерживать „Совр.“,—осенью же нынѣшнюю это былъ бы журналъ, именно такой, какого въ наше время нужно! Вникая въ себя, я чувствую, что во мнѣ убита только

<sup>1)</sup> Онъ былъ крестникомъ г. Тургенева.

<sup>2)</sup> Тогда отъѣзжающимъ за границу нужно было предварительно публиковаться о томъ въ газетахъ.

<sup>3)</sup> Другое условіе, нужное для отъѣзда.

сила работать, но не сила души; меня все занимаетъ, волнуетъ, бѣсить по прежнему, голова работаетъ безпрестанно. Но если не поправляюсь физически—погибъ всячески, погибъ страшно!

„Хотѣлось бы обо многомъ поговорить съ тобою, особенно на счетъ *Хоря и Каминича*; мнѣ кажется, что въ отношеніи къ этой пьесѣ, такъ рѣзко замѣчательной, ты совсѣмъ не правъ. Но писать некогда; времени не много, а работы бездна, благо я могу теперь хоть черезъ силу работать.

„Нынѣшній годъ въ денежномъ отношеніи для меня ужасенъ, хуже прошлаго: я забралъ *всѣ* деньги по 1-е января 1848 года <sup>1)</sup>, безъ меня жена, а потомъ я по приѣздѣ осенью, будемъ забирать сумму 1848 года. У меня на лекарства выходитъ рублей 30 и 40 серебромъ въ мѣсяцъ, если не больше, да рублей 50 сер. стоитъ докторъ. Домъ мой—лазаретъ“...

Послѣднія письма изъ Петербурга писаны имъ въ день отъѣзда, 5-го мая. Въ письмѣ къ Боткину онъ говоритъ:

„Если я ворочусь возстановленнымъ и мое бѣдное семейство уѣдится, что его опора съ нимъ,—это твое дѣло. Вотъ лучшая благодарность съ моей стороны за все то, что ты для меня сдѣлалъ... Ёду я въ Зальцбруннъ, около Шведница и Фрейбурга, недалеко отъ Бреслава. Пробыть *постараюсь* до половины ноября по старому стилю... Утѣшь и успокой меня, докончи и доверши... все, что уже сдѣлалъ ты для меня... Въ мое отсутствіе перенеси свою заботливость на мое семейство. Ты такой человѣкъ, на котораго можно положиться больше, чѣмъ на кого-нибудь. За это и терпи въ чужомъ пиру похмѣлье.

„Хотѣлъ бы обо многомъ писать къ тебѣ, да некогда, не до того. Прощай. Обнимаю тебя крѣпко. Всѣмъ нашимъ поклонъ и братское привѣтствіе отъ меня. Ка—на обними за меня. Это сынъ моего сердца, у меня къ нему особенная симпатія, и я знаю, за что онъ меня любитъ и за что я его люблю. Еще разъ прощай“...

Бѣлинскій сѣлъ на пароходъ 5-го мая; 9-го онъ былъ въ Штетинѣ, 10-го приѣхалъ по желѣзной дорогѣ въ Берлинъ, гдѣ нашелъ г. Тургенева <sup>2)</sup>.

Собственные рассказы Бѣлинскаго объ его путешествіи за границу находятся въ его письмахъ къ домашнимъ, и въ двухъ-трехъ письмахъ къ друзьямъ. Приводимъ нѣкоторыя подробности.

Бѣлинскій, на первыхъ же порахъ, замѣчаетъ, что онъ вовсе не путешественникъ, и дѣйствительно, большей частью путешествіе было для него тягостно: прежде всего онъ уже скоро на-

<sup>1)</sup> Т.-е. изъ редакціи „Современника“; на первый годъ онъ долженъ былъ получать 8000 руб., на второй 12,000 асс.

<sup>2)</sup> Въ воспом. г. Тургенева неточность. „В. Евр.“ стр. 729.

чинаетъ скучать по дому, и чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣе; во-вторыхъ, незнаніе иностранныхъ языковъ неизбежно стѣсняло его и, по его словамъ, съ перваго же раза надѣлало ему «много хлопотъ и комическихъ несчастій». Наконецъ, онъ не былъ никогда практическимъ человѣкомъ, и тяготился дорожными неудобствами, которыя бывали устранимы. Путешествіе до Штетина не было особенно пріятно: «пароходъ «Владиміръ» внутри убранный великолепно,—пишетъ Бѣлинскій,—но удобства никакого и тѣснота страшная; за столъ въ шубѣ сѣсть нельзя—и тѣсно и жарко, а положить ее некуда; я понялъ, какъ корабли набиваютъ неграми торгующіе этимъ товаромъ; буфетъ снабженъ гадею»;—на воздухѣ было холодно; наконецъ была и качка съ ея послѣдствіями. Съ пріѣзда въ Штетинъ начинаются «комическія несчастія»: надо было торопиться на желѣзную дорогу, Бѣлинскій добрался до нея не безъ приключеній; въ Берлинѣ ему попался на станціи трактирный слуга, говорившій по-русски, и только съ его помощью Бѣлинскій разыскалъ г. Тургенева: «я почувствовалъ себя въ пристани; со мною была моя нянька».

Отправляться въ Силезію было еще рано; поэтому, проживши дня три въ Берлинѣ, Бѣлинскій и Тургеневъ поѣхали въ Дрезденъ. Здѣсь случилось новое «комическое несчастіе»: въ дрезденской галлерей они встрѣтились съ г-жей Віардо, которая между прочимъ заговорила съ представленнымъ ей Бѣлинскимъ, чѣмъ и повергла его въ величайшее затрудненіе... «*Все шло хорошо*,—рассказываетъ съ сокрушеніемъ Бѣлинскій,—какъ вдругъ, уже въ послѣдней залѣ, *т-те* Віардо, быстро обратившись ко мнѣ, сказала: лучше ли вы себя чувствуете? Я такъ потерялся, что ничего не понялъ, она повторила, а я еще больше смѣшался; тогда она начала говорить по-русски очень смѣшно, и сама хохотала. Тутъ я наконецъ понялъ, въ чемъ дѣло, и подлѣйшимъ французскимъ языкомъ... отвѣчалъ ей, что мнѣ лучше»... Изъ Дрездена Бѣлинскій и г. Тургеневъ сдѣлали обычную экскурсію въ саксонскую Швейцарію. «Я ходилъ пѣшкомъ,—говоритъ Бѣлинскій,—ѣздилъ верхомъ, носили меня на носилкахъ... видѣлъ чудную природу, прекрасныя и грандіозныя мѣстоположенія... но все это скоро надоѣло мнѣ. У меня ужасная способность скоро привыкать къ новости. И потому, мнѣ въ тотъ же день показалось, что я лѣтъ сто сряду видѣлъ всѣ эти дива дивныя, и они давно мнѣ наскучили какъ горькая рѣдка»... Понятно, что дѣло было вовсе не въ этой «ужасной способности привыкать къ новости»,—а просто въ томъ, что Бѣлинскій вовсе и не думалъ о томъ, что было передъ его глазами: онъ былъ разсѣянъ, скучалъ,

ему хотѣлось быть дома—съ этимъ онъ сдѣлалъ все свое путешествіе. Послѣ онъ и самъ въ этомъ сознается.

Наконецъ 22-го мая, они пріѣхали въ Зальцбруннъ. БѢлинскій подсмѣивается надъ тѣмъ, что Тильманъ, въ запискѣ объ его болѣзни, счелъ нужнымъ упомянуть «о романтическихъ окрестностяхъ Зальцбрунна, которыя невольно влекутъ *чувствительное сердце* къ наслажденію природою». Оказывалось, что природа вся загорожена, занята домами и полями; БѢлинскаго удивила страшная тѣснота, но онъ признавалъ, что мѣстоположеніе дѣйствительно хорошо и манитъ къ прогулкѣ.—Изъ своего еще очень короткаго путешествія, БѢлинскій уже теперь извлекаетъ «глубокое убѣжденіе», что онъ вовсе не путешественникъ: «въ другой разъ меня и валачемъ не выманишь изъ дому. Еще другое дѣло съ семействомъ; а одному—слуга покорный! Мнѣ становится страшно... Я не гоюсь въ путешественники еще и по слабости моего здоровья: вставай, ложись, ѣшь безъ порядку, когда можно, а не когда хочешь. Еслибъ не желаніе основательно вылечиться, я въ августѣ махнулъ бы домой, не жалѣя, что я не видѣлъ того и этого».

Зальцбруннскій докторъ, по виду БѢлинскаго, ручался за его выздоровленіе,—предписалъ діету, сыворотку изъ козьего молока и минеральную мѣстную воду. На первое время БѢлинскій чувствовалъ себя тяжело, потомъ ему казалось, что леченіе дѣйствуетъ на него хорошо; онъ чувствовалъ себя здоровѣе и крѣпче; но лѣто было очень дурное, вмѣсто лѣта стояла «осень, осень и осень, да еще какая—петербургская»: отъ холода и сырости не было спасенія—за отсутствіемъ печей въ домѣ, гдѣ онъ жилъ. Погода мѣшала и прогулкамъ въ окрестности, которыхъ они и видѣли мало. Къ концу мая (29-го) пріѣхалъ изъ Парижа въ Зальцбруннъ П. В. А.—въ, который съ тѣхъ поръ и взялъ БѢлинскаго на свое попеченіе. Докторъ, лечившій БѢлинскаго, сначала, какъ водится, внушилъ ему большое довѣріе; потомъ это довѣріе поколебалось; подъ конецъ, БѢлинскій говорилъ о немъ съ овлбленіемъ, какъ о невѣждѣ и шарлатанѣ. Онъ поилъ БѢлинскаго минеральной водой и сывороткой изъ своего заведенія (причемъ оказывалось, что за козье молоко выдавалось иной разъ и коровье), но не могъ объяснить теченія болѣзни и явившихся припадковъ. Къ концу пребыванія въ Зальцбруннѣ БѢлинскій такъ описываетъ состояніе своего здоровья: «На этотъ счетъ я и теперь не могу сказать ничего опредѣленнаго и положительнаго, ни въ хорошемъ, ни въ худомъ отношеніи. Съ одной стороны, мое здоровье плохо, ибо одышка, судорожное дыханіе и стукотня

въ голову, не позволяющая откашливаться, мучить меня почти такъ же, какъ мучила въ Петербургѣ;.. съ другой стороны я чувствую себя крѣпче не только того, какъ я былъ въ Петербургѣ, но и чуть ли не крѣпче того, какъ я чувствовалъ себя въ прошлое лѣто, во время поѣздки (а я тогда чувствовалъ себя очень недурно)... Аппетитъ и сонъ у меня совершенно въ порядкѣ». «Но главное,—прибавляетъ онъ въ другомъ письмѣ,—я сталъ несравненно крѣпче тѣломъ и бодрѣе духомъ». Онъ возлагалъ надежды на то, что Зальцбруннъ на иныхъ дѣйствуетъ заднимъ числомъ, т.-е. уже спустя нѣкоторое время, и что теплая погода, которая когда-нибудь наступитъ, довершитъ дѣйствіе леченія.

Однажды, когда погода въ Зальцбруннѣ была особенно мрачная, — Бѣлинскій говоритъ о себѣ: «я раскисъ и изнемогъ душевно, насилу отчитался Мертвыми Душами». Любопытно сопоставить съ этимъ фактъ, что именно въ это время произошла у Бѣлинскаго извѣстная переписка съ Гоголемъ. Мы видѣли, какъ «Выбранныя мѣста» возмутили Бѣлинскаго, который, кромѣ своей статьи объ этой книгѣ перепечаталъ еще «Письма» Н. Ф. Павлова. Гоголь, огорченный, но явно раздосадованный статьею Бѣлинскаго, написалъ ему слегка колючее письмо, на которое Бѣлинскій отвѣтилъ, въ Зальцбруннѣ <sup>1)</sup>, длиннымъ посланіемъ. Это посланіе, написанное съ энергіей чувства и выраженія, дѣлающей до сихъ поръ невозможнымъ его появленіе вполне на страницахъ нашихъ изданій <sup>2)</sup>, представляетъ замѣчательный образчикъ того, чѣмъ могъ быть талантъ Бѣлинскаго, не стѣсняемый внѣшними препятствіями. Гоголь отвѣчалъ Бѣлинскому отъ 10-го августа, изъ Остенде, письмомъ, которое было получено Бѣлинскимъ въ Парижѣ.

3-го іюля Бѣлинскій выѣхалъ изъ Зальцбрунна и на нѣсколько дней остановился въ Дрезденѣ съ П. В. А—вымъ; а г. Тургеневъ уѣхалъ въ Лондонъ, откуда надѣялся вскорѣ опять съѣхаться съ ними. Дальнѣйшей цѣлью путешествія Бѣлинскаго былъ Парижъ. Дѣло въ томъ, что неувѣренный въ успѣшности своего леченія въ Зальцбруннѣ, Бѣлинскій хотѣлъ сдѣлать все, что представлялось возможнымъ для восстановленія здоровья, и рѣшилъ обратиться еще къ одному парижскому врачу, Тира де-Мальмору, который славился тогда леченіемъ чахотки. О немъ рассказывали

<sup>1)</sup> Оно помѣчено: 15-го іюля. Это или по новому стилю, т.-е. 3-го іюля по ст. — день выѣзда Бѣлинскаго изъ Зальцбрунна; или ошибка вм. 15-го іюня.

<sup>2)</sup> Въ извлеченіи это письмо Бѣлинскаго къ Гоголю было помѣщено въ „Вѣстн. Евр.“ 1872, іюль, стр. 439 — 443. Тамъ, по ошибкѣ письмо помѣчено изъ Зальцбурга, вм. Зальцбрунна.

чудеса; онъ возвращалъ здоровье людямъ, уже не подававшимъ никакой надежды...

Изъ Дрездена Бѣлинскій съ П. В. А—вымъ выѣхали (7-го или 8-го іюля) на Веймаръ и Эйзенахъ, по желѣзной дорогѣ; отсюда въ дилижансѣ (желѣзная дорога еще не была готова) во Франкфуртъ, далѣе въ Майнцъ, отсюда на пароходѣ въ Кельнъ. Плаваніе по Рейну было неудачно. «День былъ гнусный, — пишетъ Бѣлинскій: — осенній мелкій дождь, вѣтеръ, холодъ. Въ каютѣ душно, на палубѣ мокро, сыро и холодно; одно спасеніе въ боковой каютѣ на палубѣ, но тамъ курители сигаръ, эти мои естественные враги. Все это сдѣлало то, что я холодно смотрѣлъ на удивительныя мѣстоположенія, на виноградники, на средневѣковые замки,\* какъ ресторированные, такъ и въ развалинахъ. Вечеромъ прибыли въ Кельнъ. Когда я сказалъ А—ву, что рѣшительно не намѣренъ терять цѣлый день, чтобы полчаса посмотреть на Кельнскій соборъ, — съ нимъ чуть не сдѣлался ударъ», — такъ вѣроятно удивило его полное равнодушіе Бѣлинскаго къ знаменитой достопримѣчательности. Изъ Кельна они направились черезъ Брюссель въ Парижъ, гдѣ въ первый разъ нашли настоящее теплое лѣто. Въ Парижѣ они были около 17-го іюля. Бѣлинскій встрѣтилъ здѣсь цѣлое общество московскихъ друзей, которые были ему крайне рады — семейство Г., М. О. К., Н. П. Боткина, стараго философскаго друга, Н. Сазонова; вскорѣ былъ въ Парижѣ и г. Тургеневъ.

Несмотря на доказанное уже равнодушіе къ вещамъ, возбуждающимъ обыкновенно восторгъ или любопытство путешественниковъ, Бѣлинскій испыталъ этотъ восторгъ, увидѣвши Парижъ, — отчасти вѣроятно потому, что его разогрѣла наступившая теплая погода, и теплая встрѣча друзей. «Меня съ перваго взгляда никогда и ничто не удовлетворяло, — пишетъ онъ, — даже кавказскія горы; но Парижъ съ перваго же взгляда превзошелъ всѣ мои ожиданія, всѣ мечты»...

На другой же день одинъ изъ друзей отправился за докторомъ. Тиръ де-Мальморъ нисколько не нашелъ опаснымъ положеніе Бѣлинскаго, и надѣялся въ полтора мѣсяца совершенно его поправить, — и потомъ онъ нашелъ даже возможнымъ и сократить этотъ срокъ: онъ потребовалъ однако, чтобы Бѣлинскій переселился въ его лечебное заведеніе въ Пасси, и для удобства леченія, и для болѣе свѣжаго воздуха. Бѣлинскій поселился у него, началъ принимать его пилули, микстуры, окуриванья, и съ первыхъ же дней сталъ чувствовать себя легче, его вѣшель сильно уменьшился, если не прекратился совсѣмъ... Каждый день на

вѣщалъ его П. В. А.—въ, который въ особенности былъ его собесѣдникомъ и нянькой, такъ какъ Г. уѣзжалъ на нѣсколько времени на морской берегъ, г. Тургеневъ также отлучался изъ Парижа.

Своимъ докторомъ, его лекарствами и внимательностью Бѣлинскій былъ очень доволенъ. «Здоровье мое, — пишетъ онъ въ началѣ августа, — видимо поправляется. Я могу сказать положительно и утвердительно, что теперь чувствую себя въ положеніи едва ли не лучшемъ, нежели въ какомъ я былъ до моей страшной болѣзни осенью 1845 года; если же не въ лучшемъ, то уже нисколько и не въ худшемъ. Каплю почти нѣтъ вовсе, а если и случится иной день разъ закашляться, — это такъ легко въ сравненіи съ прежними припадками кашля, что и сказать нельзя. Иные же дни не случается кашлянуть ни разу, — чего со мной уже сколько лѣтъ какъ не бывало. Лучше всего то, что меня оставилъ утренній кашель, самый мучительный... Прежде меня мучило такого рода ощущеніе въ груди, какъ будто мои легкія засыпаны пескомъ, — теперь этого ощущенія нѣтъ вовсе, — я дышу свободно и могу вдохнуть глубоко... Сплю какъ убитый, ѣмъ славно». Но онъ сильно скучалъ, ему хотѣлось скорѣе домой...

Въ другомъ письмѣ (10-го августа) онъ говоритъ опять о своемъ положеніи, объ остающихся припадкахъ болѣзни, и заключаетъ: «я еще не выздоровѣлъ, но крѣпко и видимо выздоравливаю. Узнать же, выздоровѣлъ ли я, можно только проведя осень и зиму въ Петербургѣ». Разсуждая о своихъ домашнихъ дѣлахъ, Бѣлинскій находилъ, что теперь возможно пожалуй и не переселяться въ Москву, какъ онъ рѣшалъ это прежде; но въ другое время прежній страхъ возвращался: «я сильно боюсь Пitera», писалъ онъ.

Около 12 августа онъ оставилъ лечебное заведеніе; докторъ находилъ это возможнымъ, Бѣлинскій былъ очень тому радъ, потому что въ Пасси было скучно, притомъ хотѣлось ему и посмотреть Парижъ, театры, окрестности и т. д. Не знаемъ, успѣлъ ли онъ это сдѣлать, но по разсказу г. Тургенева Бѣлинскій очень плохо осматривалъ Парижъ: ему было видимо не до того.

«Странное дѣло! — разсказываетъ г. Тургеневъ, почти все время издавшій Бѣлинскаго въ его заграничную поѣздку. — Онъ изнывалъ за-границей отъ скуки, его такъ и тянуло назадъ въ Россію... Уже очень онъ былъ русскій человекъ, и въ Россіи замиралъ какъ рыба на воздухѣ. Помню, въ Парижѣ онъ въ первый разъ увидалъ площадь Согласія, и тотчасъ спросилъ меня:

«Не правда ли? Вѣдь это одна изъ красивѣйшихъ площадей въ мірѣ?» — И на мой утвердительный отвѣтъ воскликнулъ: «Ну, и отлично; такъ ужъ я и буду знать, — и въ сторону, и баста!» и заговорилъ о Гоголѣ. Я ему замѣтилъ, что на самой этой площади во время революціи стояла гильотина и что тутъ отрубили голову Людовику XVI; онъ посмотрѣлъ вокругъ, сказалъ: а! — и вспомнилъ сцену Остаповой казни въ «Тарасѣ Бульбѣ». Историческія свѣдѣнія Бѣлинскаго были слишкомъ слабы: онъ не могъ особенно интересоваться мѣстами, гдѣ происходили великія событія европейской жизни; онъ не зналъ иностранныхъ языковъ и потому не могъ изучать тамошнихъ людей; а праздное любопытство, глазѣніе, *badauderie*, было не въ его характерѣ <sup>1)</sup>...»

Наконецъ, онъ сталъ думать о возвратѣ. Изъ Парижа онъ долженъ былъ отправиться на Брюссель до Берлина, и затѣмъ изъ Штетина — моремъ. Какъ ни тяжело показалось ему первое морское путешествіе, но теперь таковъ былъ въ немъ «страхъ дилижанса», что онъ, не колеблясь, рѣшалъ ѣхать моремъ, какимъ бы качкамъ ни пришлось ему подвергнуться. Путь до Берлина онъ было надѣялся сдѣлать съ вѣмъ-нибудь изъ русскихъ знакомыхъ, но расчеты не состоялись, и парижскіе друзья, чтобъ не оставить его одного, дали ему до Берлина провожатаго, говорившаго по-французски и по-нѣмцѣи. Бѣлинскій выѣхалъ изъ Парижа около 11 сентября. Тира-де-Мальморъ далъ ему лекарствъ на дорогу и на зиму въ Петербургъ; русскіе друзья посылали съ нимъ вучу гостинцевъ и игрушекъ его маленькой дочери. Дальше мы перескажемъ его дорожныя приключенія, въ которыхъ эти игрушки имѣли свою роль...

Изъ того, что писалъ Бѣлинскій изъ-за границы къ своимъ друзьямъ въ Россію, намъ извѣстно только письмо къ Боткину, изъ Дрездена (послѣ Зальцбрунна), отъ 7-го іюля. Онъ рассказываетъ уже извѣстное намъ о положеніи своего здоровья, бранить нѣмцевъ, которыхъ зналъ въ переводѣ, черезъ Тургенева и А—ва, и которые ему очень не нравились, приходитъ въ ужасъ отъ страшной нищеты, которую видѣлъ въ Силезіи и которая въ первый разъ объяснила ему, что значить пролетаріатъ. Вотъ замѣчаніе о Сикстинской Мадоннѣ, не лишнее интереса:

„Былъ я въ Дрезденской галлерей, и видѣлъ Мадонну Рафаэля. Что за чепуху писали о ней романтики, особенно Жуковский! По моему, въ ея лицѣ также нѣтъ ничего романтическаго, какъ и классическаго. Это — не мать христіанскаго Бога: это аристократическая

<sup>1)</sup> „В. Евр.“, стр. 722—723.

женщина, дочь царя, „ideal sublime du comme il faut.“ Она глядитъ на насъ не то, чтобы съ презрѣніемъ — это къ ней не идетъ, она слѣпкомъ благовоспитанна, чтобы кого-нибудь оскорбить презрѣніемъ, даже людей..... : нѣтъ: она глядитъ на насъ съ холодною благосклонностію, въ одно и то же время опасаясь и замараться отъ нашихъ взоровъ и огорчить насъ, плебеевъ, отворотившись отъ насъ. Младенецъ, котораго она держитъ на рукахъ, откровеннѣе ея: у ней едва замѣтна горделиво сжатая нижняя губа, а у него весь ротъ дышетъ презрѣніемъ къ намъ... Въ глазахъ его виденъ не будущій Богъ любви, мира, прощенія, спасенія, а древній, ветхозавѣтный Богъ гнѣва и ярости, наказанія и кары. Но что за благородство, что за грація кисти! Нельзя наглядѣться! Я невольно вспомнилъ Пушкина: тоже благородство, тоже грація выраженія, при той же вѣрности и строгости очертаній! Не даромъ Пушкинъ такъ любилъ Рафаэля: онъ родня ему по натурѣ...”

Такъ вездѣ вспоминались ему любимые писатели.

Возвращаемся къ путешествію. Г. Тургеневъ приводитъ, изъ письма Бѣлинскаго къ одному изъ друзей о своемъ обратномъ путешествіи, образчикъ того, какъ Бѣлинскій юмористически относился къ самому себѣ. Въ этомъ именно тонѣ Бѣлинскій описывалъ свои дорожныя походы въ письмѣ къ П. В. А—ву, изъ Берлина, отъ 29-го сентября <sup>1)</sup>).

Мы замѣтили выше, что друзья не пустили Бѣлинскаго одного изъ Парижа и дали ему провожатаго. Но въ послѣднюю минуту на желѣзной дорогѣ, провожатый куда-то затерялся или запоздалъ, такъ что Бѣлинскому пришлось ѣхать одному до Брюсселя.

„Надо рассказать вамъ мой плачевно-комическій вояжъ отъ Парижа до Берлина,—пишетъ Бѣлинскій.—Начну съ минуты, въ которую мы съ вами расстались. Огорченный неприятною случайностію, заставившею меня ѣхать безъ Фредерика, и боясь за себя остаться въ Парижѣ, заплативши деньги за билетъ, я побѣжалъ къ поѣзду и задохнулся отъ этого движенія до того, что не могъ сказать ни слова, ни двинуться съ мѣста; я думалъ, что пришелъ мой послѣдній часъ... Только-что кондукторъ толкнулъ меня въ карету и захлопнулъ двери, какъ поѣздъ двинулся. Я пришелъ въ себя совершенно не прежде, какъ около первой станціи. Тогда овладѣли мною двѣ мысли: таможня и Фредерикъ. Спать хотѣлось смертельно, но лишь задремлю—и греза переноситъ меня въ таможню; я вздрагиваю судорожно и просыпаюсь. Такъ мучился я до самаго Брюсселя, не имѣя силы ни противиться сну, ни заснуть. Таково свойство нервической натуры! Что мнѣ дѣлать въ таможнѣ? Объявить мои игрушки <sup>2)</sup>? Но для этого меня ужасали 40 фр. пошлины, заплаченные Г—мъ

<sup>1)</sup> Вѣроятно, новаго стиля.

<sup>2)</sup> Эти игрушки составляли его главнѣйшую заботу.

за игрушки же? Но это вещи (особенно та, что съ музыкою) большія—найдутъ и конфискуютъ. Это еще хуже... потому что я очень дорожу этими игрушками,—и когда подумаю о радости моей дочери, то дѣлаюсь ея ровесникомъ по лѣтамъ... (Оказалось, что таможенный осмотръ долженъ былъ произойти не на границѣ, а въ Брюсселѣ)... Наконецъ, я въ Брюсселѣ. „Нѣтъ ли у васъ товаровъ—объявите!“ сказалъ мнѣ, голосомъ пастора или исповѣдника, таможенный. Подлая манера! коварная, предательская уловка! Скажи—нѣтъ, да найдешь, — вещь-то и конфискуютъ, да еще штрафъ сдерутъ. Я говорю—нѣтъ. Онъ началъ рыться въ бѣльѣ, по краямъ чемодана, и ужъ совсѣмъ-было собирался перейти въ другую половину чемодана, какъ чортъ дернулъ его на полвершка дальше засунуть руку для послѣдняго удара—и онъ оцупалъ игрушку съ музыкой... Вынувши игрушку, онъ обратился къ офицеру и донесъ ему, что я не рекламировалъ этой вещи. Вижу—дѣло плохо. Откуда взялся у меня французскій языкъ (какой, не спрашивайте, но догадайтесь сами). Говорю—я объявлялъ. „Да, когда я напелъ“. Офицеръ спросилъ мой паспортъ. Дѣло плохо. Я объявилъ, что у меня и еще есть игрушка. Я уже почувствовалъ какую-то трусливую храбрость—стою словно подъ пулями и ядрами, но стою смѣло, съ отчаяннымъ спокойствіемъ... Офицеръ потребовалъ, чтобы я объявилъ цѣнность моихъ вещей... Вижу, что смиловались и дѣло пошло къ лучшему—и отъ этого опять потерялся. Въмѣсто того, чтобы оцѣнить... я началъ толковать, что не знаю цѣны, что это подарки, и что я купилъ только оловянные игрушки за 5 фр. Поспоривши со мною и видя, что я глупъ до святости, они оцѣнили все въ 35 фр. и взяли пошлины 3½ франка. Такъ вотъ изъ чего я страдалъ и мучился столько—изъ трехъ съ половиною франковъ!“

Въ Брюсселѣ провожатый догналъ Бѣлинскаго, и, благодаря его услугамъ, Бѣлинскій ѣхалъ дальше довольно удобно, еслибъ не пугавшія его таможни. Подъѣзжая къ нѣмецкой границѣ, Бѣлинскій принялся-было себя успокоивать, что «Германія — страна больше религіозная, философская, честная и глупая, нежели промышленная», слѣдовательно и таможни не могутъ быть такъ свирѣпы, какъ въ Бельгіи,—но въ таможнѣ опять струсиль и уже рѣшилъ объявить свои игрушки: дѣло однако обошлось благополучно: «въ мой чемоданъ плутъ-таможенный и не заглянулъ, но схвативши его понесъ въ дилижансъ, за что я далъ ему франкъ». Дальше, въ Брауншвейгѣ, Бѣлинскій, сверхъ всякаго чаянія, встрѣтилъ еще таможду.

Въ Берлинѣ онъ увидѣлся съ старымъ знакомымъ, Дмитріемъ Щепкинымъ, который изучалъ тогда въ Берлинѣ археологію. Это былъ человѣкъ съ серьезными учеными вкусами, съ большими свѣдѣніями и—самолюбіемъ, которое дѣлало его иногда тяжелымъ; но Бѣлинскаго онъ принималъ самымъ дружественнымъ образомъ, и

непремѣнно хотѣлъ, чтобъ Бѣлинскій поселился у него <sup>1)</sup>. Бѣлинскій остался въ Берлинѣ нѣсколько дней (вѣроятно въ ожиданіи срока отплытія штетинскаго парохода), наслушался отъ Щепкина политическихъ новостей о берлинскихъ дѣлахъ, о процессѣ Мирославскаго, и ученыхъ разсказовъ объ египетскихъ древностяхъ, которыми Щепкинъ тогда занимался. Бѣлинскій не забывалъ о таможенныхъ, которыя вызывали въ немъ забавное, ожесточенное негодованіе.

«Теперь, — пишетъ онъ, — мнѣ грозитъ послѣдняя и самая страшная таможня — русская. Щепкинъ говоритъ, что она да англійская — самыя свирѣпыя. Будь что будетъ. Меня немножко успокоиваетъ то, что не будутъ спрашивать и исповѣдывать... Воля ваша, а я родился рано — куда ни повернусь, все вижу, что жить нельзя, а путешествовать и подавно. Чтѣ ни говорите о таможенныхъ, а въ моихъ глазахъ это гнусная, позорная для человѣческаго достоинства вещь. Я отвергаю ее не головою, а нервами; мое отвращеніе къ ней — не убѣжденіе только, но и болѣзнь вмѣстѣ съ тѣмъ»... Состояніемъ своего здоровья онъ доволенъ. «Вообще, если я въ такомъ состояніи дойду до дома, то ни для меня, ни для другихъ не будетъ сомнѣнія, что я-таки поправился немного, и въ этомъ отношеніи не даромъ ѣздилъ за-границу».

Конецъ своего путешествія Бѣлинскій досказалъ въ письмѣ къ А — ву, уже отъ 20-го ноября, изъ Петербурга.

Онъ начинаетъ это длинное письмо извиненіями, что такъ долго оставлялъ парижскихъ друзей безъ извѣстій о себѣ: его самого укоряетъ совѣсть...

„Гибельная привычка быть подробнымъ и обстоятельнымъ въ письмахъ — главная причина моей несостоятельности въ перепискѣ. Отправивши къ вамъ письмо изъ Берлина, въ которомъ я расхвастался моимъ здоровьемъ, я черезъ нѣсколько же часовъ почувствовалъ, что мнѣ хуже, что я, значитъ, простудился. Такова моя участь... Въ Берлинѣ погода стояла гнусная. Мы съ Ш. выходили только обѣдать, да еще по утрамъ онъ ходилъ къ своему египтологу, Лепсиусу, а я все сидѣлъ дома...

„Въ пятницу я уѣхалъ въ Штетинъ, а на другой день, ровно въ часъ, тронулся нашъ „Адлеръ“. Лишь только начали мы выбираться изъ Свиinemюнде, какъ началась качка. Я пообедалъ въ субботу, часа въ два, а потомъ позавтракалъ во вторникъ часовъ въ 10 утра. Въ промежуткѣ я лежалъ въ моей койкѣ... Въ Кронштадтѣ прибыли мы

<sup>1)</sup> Дмитрій Щепкинъ извѣстенъ въ нашей археологической литературѣ книгой: „Объ источникахъ и формахъ русскаго баснословія“, 2 вып. М. 1859—61. Щепкинъ умеръ въ началѣ шестидесятихъ годовъ.

въ среду, часовъ въ 6. Началась переписка и отиѣтка паспортовъ — церемонія длинная и варварски скучная. Между тѣмъ переложились на малый пароходъ. Да, я забылъ-было сказать, что при видѣ Кронштадта намъ представилось странное зрѣлище: все покрыто снѣгомъ, а накануне (намъ сказали) въ Петербургѣ была санная ѣзда. Страдая морскою болѣзнію, я поправился въ моей хронической болѣзни, и прибылъ здоровехонекъ...

„Но вотъ и Питеръ. Что-то у меня дома? Такъ и полетѣлъ бы; а изволь идти въ таможеню. Часа 4 прошло въ мѣкѣ ожиданія и хлопотъ, но дѣло сошло съ рукъ лучше, нежели гдѣ-нибудь...

„Дома я нашелъ все и всѣхъ въ положеніи довольно порядочномъ...”

Но черезъ нѣсколько дней БѢлинскій опять былъ боленъ: «я хрипѣлъ, задыхался, — пишетъ онъ, — словомъ, это былъ вечеръ хуже самыхъ худыхъ дней прошлой зимы, когда я безпрестанно умиралъ». Тильманъ, лечившій его, называлъ парижскаго врача шарлатаномъ, но потомъ, — узнавши, какъ онъ говорилъ, рецепты Тирá-де-Мальмора, — разрѣшилъ БѢлинскому принимать его средства. Здоровье БѢлинскаго, очевидно, было подорвано такъ, что жизнь въ Петербургѣ была немыслима: онъ совсѣмъ падалъ духомъ, но временами оправлялся, и опять начиналъ надѣяться.

„Тильманъ говорилъ..., что такого больного у него не бывало, что онъ уже не одинъ разъ назначалъ день моей смерти — и я его неожиданно обманывалъ. Это хорошо, но это только одна сторона медали, а вотъ и другая: не разъ считалъ онъ меня внѣ всякой опасности и назначалъ время совершеннаго моего выздоровленія — и я опять каждый разъ его обманывалъ. С. тиснулъ въ „Москвитянинѣ“ статью... о „Современникѣ“; мнѣ надо было отвѣтить ему. Взялся было за работу — не могу — лихорадочный жаръ, изнеможеніе. Какъ я испугался! Стало быть, я не могу работать! Стало быть, мнѣ надо искать мѣста въ больницѣ!... Но дня черезъ два, черезъ три лихорадка прошла совершенно; Тильманъ велѣлъ мнѣ оставить всѣ лекарства, я принялся за работу, и въ шесть дней намахалъ три съ половиною печатныхъ листа. И все это съ отдыхами, съ лѣнью, съ потерей времени <sup>1)</sup>... И во все это время я чувствовалъ себя не только здоровѣе и крѣпче, но бодрѣе и веселѣе обыкновеннаго. Это меня сильно поощрило. Значить — я могу работать, стало быть, могу жить. Вообще, чтобъ ужъ больше не возвращаться къ этому предмету, скажу вамъ, что, какъ ни хилъ и ни плохъ я, а все гораздо лучше, нежели какъ былъ до поѣздки за границу — просто, сравненія нѣтъ!”

Письмо продолжается еще длинными разсказами о журнальных новостяхъ и отношеніяхъ.

<sup>1)</sup> Статья, о которой идетъ рѣчь, есть „Отвѣтъ „Москвитянину“, Соврем. 1847, кн. 11; Сочин., XI, стр. 195—268.

Хотя болѣзнь, какъ мы видѣли, тотчасъ напомнила о себѣ, но въ первые мѣсяцы по прїѣздѣ Бѣлинскій обнаружилъ чрезвычайную дѣятельность—много работалъ для журнала, и съ величайшей ревностью хлопоталъ объ интересахъ «Современника». Съ самой редакціей журнала Бѣлинскій, повидимому, въ это время уже не имѣлъ прежнихъ недоразумѣній. Свидѣтельствомъ его горячаго интереса къ журналу остался рядъ длинныхъ писемъ къ московскимъ друзьямъ, отъ ноября и декабря 1847 года. Это опять были «тетради», въ которыхъ Бѣлинскій старался убѣдить друзей въ необходимости поддержать этотъ журналъ ихъ болѣе дѣятельнымъ, если не исключительнымъ участіемъ.

Таково длинное письмо къ Боткину, отъ 4—5 ноября. Мы не будемъ его излагать, такъ какъ оно почти вполнѣ было уже однажды напечатано <sup>1)</sup>. Въ началѣ письма онъ говоритъ о результатахъ путешествія, о своемъ здоровьѣ, о работахъ—что мы знаемъ уже изъ приведеннаго выше письма къ А—ву (писаннаго позднѣе). Бѣлинскаго тревожилъ вопросъ—возвратились ли его силы, можетъ ли онъ работать. Онъ упоминаетъ о томъ, что вскорѣ по прїѣздѣ, послѣ болѣзни, среди хлопотъ о квартирѣ, могъ очень быстро написать большую статью, и продолжаетъ:

„...Теперь одеревенѣлая рука отошла, дѣла нѣтъ, (въ квартирѣ) все уложено и уставлено, и я пишу къ тебѣ.

„Я приступалъ къ работѣ со страхомъ и трепетомъ; но къ счастью, она-то и убѣдила меня несомнѣнно, что поѣздка моя за границу, въ отношеніи къ здоровью, была благотѣтельна, и что я не даромъ скучалъ, зѣвалъ и апатически страдалъ за границею. Во время усиленной работы я чувствовалъ себя даже здоровѣе, крѣпче, сильнѣе, бодрѣе и веселѣе, чѣмъ въ обыкновенное время. Итакъ, я еще могу работать; стало быть, пока еще не пропасть“.

Затѣмъ идетъ длинное разсужденіе и разсказъ о дѣлахъ журнала: Бѣлинскій относится съ крайней враждой къ «Отеч. Запискамъ», укоряетъ своихъ друзей за союзъ съ ними (московскіе друзья въ 1847 продолжали писать въ «Отеч. Запискахъ», хотя работали также и въ «Современникѣ»). Теперь, Бѣлинскій обращается къ нимъ опять по тому поводу, что передъ тѣмъ появилось объявленіе «Отеч. Зап.» о подпискѣ на слѣдующій годъ, причемъ, по тогдашнему обычаю, редакция выставила рядъ обшанныхъ ей статей и имена сотрудниковъ, и въ числѣ ихъ стояли

<sup>1)</sup> „Спб. Вѣд.“ 1869, № 187—188. [Намъ {это письмо извѣстно по достовѣрной старой копіи (писанной однимъ изъ московскихъ друзей Бѣлинскаго), которая сполна называетъ имена и заключаетъ многія подробности, которыхъ нѣтъ въ напечатанномъ текстѣ.

имена тѣхъ московскихъ друзей, которыхъ БѢлинскій желалъ видѣть исключительными сотрудниками «Современника»... Текстъ этого письма, сообщенный въ «Спб. Вѣдомостяхъ» 1869, далеко не передаетъ всей рѣзкости словъ, какую вызвало здѣсь у БѢлинскаго его раздраженіе...

Приводимъ нѣсколько словъ изъ заключенія этого длиннаго письма:

„Уфъ, какъ усталъ!—пишетъ БѢлинскій. Но за то, болтая много, все сказалъ. Знаю, что не убѣжду этимъ москвичей, но люблю во всемъ, и хорошемъ и худомъ, лучше *знать*, нежели *предполагать*; это необходимо для истинности отношеній. Знаю горькимъ опытомъ, что съ славянами пива не сварить, что славянинъ можетъ дѣлать только отъ себя, а для совокупнаго, дружнаго дѣйствія обнаруживаетъ сильную способность только по части обѣдовъ на складчину. Никакого практическаго чутья: чтó заломилъ, то и давай ему — никакой уступки ни въ самолюбіи, ни въ убѣжденіи; лучше ничего не станеть дѣлать, нежели дѣлать на столько, на сколько возможно, а не на столько, на сколько хочетъ. А посмотришь на дѣлѣ — возить на себѣ П. или К., которые ѣдутъ да посмѣиваются надъ нимъ же. А послушать: общее дѣло, мысль, стремленіе, симпатія, мы, мы и мы — соловьями поютъ. Эхъ, братецъ ты мой, В. П., когда бы ты зналъ, какъ мнѣ тяжело жить на свѣтѣ, какъ все тяжелѣй и тяжелѣй день ото дня, чѣмъ больше старѣю и хирѣю!...“

Въ концѣ онъ сообщаетъ нѣкоторыя литературныя новости:

„Вѣроятно, ты уже получилъ XI № „Современника“. Тамъ повѣсть Григоровича <sup>1)</sup>, которая измучила меня; читая ее, я все думалъ, что присутствую при экзекуціяхъ. Страшно! Вотъ поди ты <sup>2)</sup>... Цензура чуть ее не прихлопнула; конецъ передѣланъ — выкинута сцена разбоя, въ которой Антонъ участвуетъ. Мою статью <sup>3)</sup> страшно ошельмовали. Горше всего то, что совершенно произвольно. Выкинуто о Мицкевичѣ, о шапкѣ журмолекѣ, а мелкихъ фразъ, строкъ — безъ числа. Но объ этомъ я еще буду писать къ тебѣ, потому что это довело меня до отчаянія, и я выдержалъ нѣсколько тяжелыхъ дней“ ...

Но другое письмо къ Боткину онъ пока отложилъ, потому что дошелъ до него слухъ, что Боткинъ самъ собирается въ Петербургъ.

Въ письмѣ къ А—ву, отъ 20-го ноября, изъ котораго выше приведенъ рассказъ БѢлинскаго о возвращеніи его домой, — опять

<sup>1)</sup> „Антонъ Горемыка“.

<sup>2)</sup> Онъ изумлялся, что у Григоровича — совершенное отсутствіе рефлексій, размышленія — и однако сильный талантъ.

<sup>3)</sup> Упомянутый „Отвѣтъ „Москвитяину“.

повторяются жалобы на москвичей, за ихъ слабое содѣйствіе «Современнику»...

Черезъ нѣсколько дней, отъ 22 ноября, Бѣлинскій посылаетъ К. Д. К.—ну длинное, тепло написанное и очень любопытное письмо, гдѣ, между прочимъ, опять идетъ рѣчь о тѣхъ же журнальных отношеніяхъ,—но уже въ значительно иномъ тонѣ, чѣмъ въ послѣднемъ письмѣ къ Боткину. Бѣлинскій получилъ отъ московскихъ друзей отвѣтъ на свое посланіе 4—5 ноября. Московскіе друзья продолжали держаться своего взгляда на дѣло, объясняли его Бѣлинскому еще разъ, и Бѣлинскій увидѣлъ, что они могли быть—болѣе или менѣе справедливо—недовольны, раздосадованы или огорчены его нападками. Бѣлинскій очень сожалѣетъ, что написалъ прежнее письмо: успокоившись, онъ видѣлъ теперь, что не во всемъ былъ правъ; онъ объясняетъ свои побужденія, и проситъ забыть его ошибку или несправедливость... Этими предметами занята вторая половина письма, а въ началѣ идетъ рѣчь о впечатлѣніи, какое произвела на московскихъ друзей названная выше статья Бѣлинскаго противъ славянофиловъ.

Впечатлѣніе было благопріятное, и Бѣлинскій былъ очень тронутъ сочувственнымъ отзывомъ К.—на объ этой статьѣ, хотя тутъ же находилъ его отзывъ преувеличеннымъ. Удовольствіе Бѣлинскаго объясняется тѣмъ, что это была первая крупная статья, написанная по возвращеніи изъ-за границы,—и судя по всему, московскіе друзья съ большимъ интересомъ, и нѣкоторой тревогой, ждали первыхъ статей Бѣлинскаго, которыя должны были показать, береглась ли у него прежняя энергія, или болѣзнь подорвала ее, и дѣятельность его должна кончиться. Мы знаемъ дѣйствительно, что нѣкоторые изъ друзей, и именно ближайшій изъ нихъ, Боткинъ, высказывались въ этомъ смыслѣ противъ нѣкоторыхъ мнѣній Бѣлинскаго за это время, въ которыхъ видѣлось ему паденіе таланта и отсталость... Бѣлинскій по-видимому, если не зналъ, то подозрѣвалъ эти опасенія и, какъ мы видѣли, самъ не скрывалъ отъ себя возможности упадка, который былъ бы очень естественнымъ послѣдствіемъ и физическаго изнеможенія, и нравственной усталости, и съ «трепетомъ» приступалъ къ работѣ: оттого ему и было такъ отрадно услышать слова сочувствія.

„Дѣло прошлое,—говоритъ онъ:—а я и самъ ѣхалъ за границу съ тяжелымъ и грустнымъ убѣжденіемъ, что поприще мое кончилось, что я сдѣлалъ все, что дано было мнѣ сдѣлать, что я выписался и... сталъ похожъ на выжатый и вымоченный въ чаѣ лимонъ. Каковы мнѣ было такъ думать, можете посудить сами: тутъ дѣло шло не

объ одномъ самолюбіи, но и о голодной смерти съ семействомъ. И надежда возвратилась мнѣ съ этою статьею. Неудивительно, что она всѣмъ вамъ показалась лучше, чѣмъ есть, особенно вамъ, по молодости и темпераменту болѣе другихъ наклонному къ увлеченію. Спасибо вамъ...

Онъ указываетъ на преувеличеніе похвалы, вызывающее улыбку, и затѣмъ продолжаетъ: «такъ! но есть преувеличенія, лжи и ошибки, которыя иногда дороже намъ вѣрныхъ и строгихъ опредѣленій разума; это—тѣ, которыя исходятъ отъ любви: видишь ихъ несостоятельность, а чувствуешь себя человѣчески тепло и хорошо».

Бѣлинскій жалуется дальше на цензурныя перемѣны въ его статьѣ:

„Вотъ вамъ два примѣра. Я говорю о себѣ, что опираюсь на истиннѣйшую истину, я имѣлъ на общественное мнѣніе больше вліянія, чѣмъ многіе изъ моихъ *дѣйствительно ученыхъ* противниковъ: подчеркнутыя слова не пропущены, а для нихъ-то и вся фраза составлена. Я мѣтилъ на ученыхъ...—Надеждина и Шевырева. С. говорить, что согласіе князя съ вѣчемъ было идеаломъ новгородскаго правленія. Я возразилъ ему на это, что и теперь, въ конституціонныхъ государствахъ, согласіе короля съ палатою есть осуществленіе идеала ихъ государственнаго устройства: гдѣ же особенность новгородскаго правленія? это вычеркнуто. Цѣлое мѣсто о Мицкевичѣ и о томъ, что Европа и не думаетъ о славянофилахъ, тоже вычеркнуто <sup>1)</sup>. Отъ этихъ поमारокъ статья лишилась своей ровноты и внутренней діалектической полноты. Ну, да чортъ съ ней! Мнѣ объ этомъ и вспоминать—ножъ вострый! Скажу кстати, что и вамъ угрожаетъ такая же участь“...

Бѣлинскій рассказываетъ, что Панаевъ встрѣтился съ однимъ петербургскимъ славянофиломъ, который сказалъ ему, что читалъ отвѣтъ К—на «Москвитяину» (когда онъ былъ только-что присланъ и еще не былъ напечатанъ). Панаевъ удивился, гдѣ онъ могъ это сдѣлать. Оказалось, что славянофилъ, по знакомству, видѣлъ статью у цензора и «уговорилъ его кое-что смягчить». — «Видите ли, сколько у насъ цензоровъ»,... — прибавляетъ съ негодованіемъ Бѣлинскій.

Далѣе, Бѣлинскій отвѣчаетъ на другое мнѣніе своего корреспондента, который не соглашался съ отзывомъ о «натуральной школѣ», сдѣланномъ въ «Отвѣтѣ Москвитяину». Бѣлинскій совершенно соглашается съ возраженіемъ, и объясняетъ, что онъ затруднялся вполнѣ высказать свое мнѣніе въ печати. «Дѣло въ томъ,—пишетъ Бѣлинскій,—что статья писана не для насъ,

<sup>1)</sup> Эти цензурныя исключенія должны относиться въ Соч., XI, стр. 257, 260—263.

а для враговъ Гоголя и натуральной школы, въ защиту отъ ихъ фискальскихъ обвиненій. Поэтому, я счелъ за нужное сдѣлать уступки, на которыя внутренно и не думалъ соглашаться», — но которыя считалъ необходимыми ради главной своей цѣли.

Наконецъ, изъ Москвы обвиняли Бѣлинскаго (вѣроятно все за ту же статью) въ славянофильствѣ. Онъ отвѣчаетъ на это любопытными строками.

„Это <sup>1)</sup> не совсѣмъ неосновательно; но только и въ этомъ отношеніи я съ вами едва ли расхожусь. Какъ и вы, я люблю русскаго человѣка и вѣрю великой будущности Россіи. Но какъ и вы, я ничего не строю на основаніи этой любви и этой вѣры, не употребляю ихъ какъ неопровержимыя доказательства. Вы же пустили въ ходъ идею развитія личнаго начала, какъ содержаніе исторіи русскаго народа. Намъ съ вами жить не долго, а Россіи — вѣка; можетъ быть тысячелѣтія. Намъ хочется поскорѣе, а ей торопиться нечего. Личность у насъ еще только наклеивается, и оттого Гоголевскіе типы — пока самые вѣрные русскіе типы. Это понятно и просто, какъ дважды два четыре. Но какъ бы мы ни были нетерпѣливы, и какъ бы ни казалось намъ все медленно-идушимъ, а вѣдь оно идетъ страшно быстро. Екатерининская эпоха представляется намъ уже въ миѣической перспективѣ, не стариною, а почти древностью. Помните ли вы то время, когда я, не зная исторіи, посвящалъ васъ въ тайны этой науки? Сравните-ка то, о чемъ мы тогда съ вами толковали, съ тѣмъ, о чемъ мы теперь толкуемъ. И придется воскликнуть: свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ! Терпѣть не могу я восторженныхъ патріотовъ, выѣзжающихъ вѣчно на междометіяхъ или на квасу да кашѣ; ожесточенные скептики для меня въ 1000 разъ лучше, ибо ненависть иногда бываетъ только особенною формою любви; но, признаюсь, жалки и непріятны мнѣ спокойные скептики, абстрактные человѣки, безпаспортные бродяги въ человѣчествѣ. Какъ бы ни увѣряли они себя, что живутъ интересами той или другой, по ихъ мнѣнію, представляющей человѣчество страны, — не вѣрю я ихъ интересамъ. Любовь часто ошибается, видя въ любимомъ предметѣ то, чего въ немъ нѣтъ, — правда; но иногда только любовь же и открываетъ въ немъ то прекрасное или великое, которое недоступно наблюденію и уму. Петръ Великій имѣлъ бы больше, чѣмъ кто-нибудь, право презирать Россію, но онъ —

Не презиралъ страны родной:

Онъ зналъ ея предназначенье.

„На этомъ и основывалась возможность успѣха его реформы. Для меня Петръ — моя философія, моя религія, мое откровеніе во всемъ, что касается Россіи. Это примѣръ для великихъ и малыхъ, которые хотятъ что-нибудь дѣлать, быть чѣмъ-нибудь полезными. Безъ непосредственнаго элемента — все гнило, абстрактно и безжизненно, также какъ при одной непосредственности все дико и нелѣпо. Но

<sup>1)</sup> Обвиненіе въ славянофильствѣ.

что-жъ я разоврался? Вѣдь вы и сами тоже думаете, или, по крайней мѣрѣ, чувствуете, можетъ быть, наперекоръ тому, что думаете“...

Около этого же времени, въ концѣ ноября или началѣ декабря, БѢлинскій писалъ въ одному изъ парижскихъ друзей длинное письмо, наполненное необычнымъ содержаніемъ.

„Не удивляйтесь сему посланію,—говоритъ БѢлинскій въ самомъ началѣ,—столь интересному по его содержанію: вы его получаете изъ Берлина <sup>1)</sup>. Больше ничего не скажу на этотъ счетъ; но прямо приступаю къ изложенію тѣхъ необыкновенно интересныхъ русскихъ новостей, которыя заставили меня на этотъ разъ взяться за перо“.

Новости, о которыхъ БѢлинскій не рѣшался писать по почтѣ, относились въ крестьянскому вопросу. Это былъ тогда опасный вопросъ, о которомъ невозможно было заикнуться въ литературѣ, да и въ частномъ кругу надо было говорить съ осторожностью. У тогдашнихъ «охранителей» это былъ одинъ изъ краеугольных камней русской народности. Для БѢлинскаго и его друзей,—это былъ вопросъ давно рѣшенный, *primum desiderium*, которое стояло на первомъ планѣ въ ихъ желаніяхъ для русскаго общества. БѢлинскій съ восторгомъ принималъ первыя несмѣлыя попытки литературы касаться изданаго этого вопроса—даже простымъ повѣствовательнымъ изображеніемъ крестьянскаго быта, отдаленнымъ намекомъ на его тягость, внушеніемъ понятія о человѣческомъ достоинствѣ и чувства человѣколюбія, опытами внести въ народную сельскую среду нѣкоторыя понятія образованности. Оттого, восхищался онъ «Деревней», потомъ «Антономъ Горемыкой» Григоровича, нѣкоторыми стихами Некрасова, рассказами Тургенева, «Сельскимъ Чтеніемъ» кн. Одоевскаго и Заблочеаго. Теперь казалось, что этому вопросу предстояло выступить наконецъ на очередь—и это ожиданіе радостно поразило БѢлинскаго. По пріѣздѣ изъ-за границы БѢлинскій услышалъ рассказы, что въ правительствѣ идетъ большое движеніе по вопросу объ уничтоженіи ерѣвостнаго права. БѢлинскій съ ревностью собиралъ ходившіе въ Петербургѣ слухи—о твердомъ намѣреніи имп. Николая Павловича рѣшить этотъ вопросъ, о скрытномъ сопротивленіи разныхъ высокопоставленныхъ тогда лицъ, о томъ, что именно дѣлалось въ видахъ приготовленія этой мѣры; онъ собиралъ анекдоты, сюда относившіеся... Въ своемъ письмѣ онъ спѣшилъ передать всѣ эти новости парижскому другу: —

„Такъ вотъ-съ, мой дражайшій,—пишетъ БѢлинскій, кончивъ свой довольно длинный рассказъ,—и у насъ не безъ новостей, и даже не

<sup>1)</sup> Писано оно въ Петербургѣ. До Берлина его, очевидно, довезъ кто-нибудь изъ знакомыхъ, ѣхавшихъ за границу.

безъ признаковъ жизни. Движеніе это отразилось, хотя и робко, и въ литературѣ. Проскальзываютъ тамъ и самыя то статьи, то статьи, очень осторожныя и умѣренныя по тону, но понятныя по содержанию. Вы, вѣрно, уже получили статью Заблоцкаго <sup>1)</sup>. Въ другое время нельзя было бы и думать напечатать ее, а теперь она прошла. Мало этого: недавно, въ „Журн. Мин. Нар. Просв.“ ее разбирали съ похвалою и выписали мѣсто о злѣ *обязательной ренты*. Помѣщики наши проснулись и затолковали. Видно по всему, что патриархально-сонный бытъ весь изжитъ, и надо взять иную дорогу. Очень интересна теперь „Землед. Газета“ — органъ мнѣній помѣщиковъ. Толкуютъ о сѣздахъ помѣщиковъ и т. д. Обо всемъ этомъ вамъ дадутъ понятіе XI и особенно XII Мѣ „Совр.“ (Смѣсь) <sup>2)</sup>“...

Извѣстно, что эти надежды на рѣшеніе крестьянскаго дѣла продолжались недолго. Съ началомъ 1848 года мысли тогдашняго правительства обратились въ другую сторону, и планы относительно крестьянскаго вопроса были, кажется, совершенно отложены. Въ томъ же письмѣ Бѣлинскій уже говоритъ о начинавшихся строгостяхъ цензуры, — хотя онѣ вызывались пока еще частными случаями.

Парижскіе друзья, между прочимъ, желали имѣть свѣдѣнія о судьбѣ Шевченка, сосланнаго не задолго передъ тѣмъ. Одинъ изъ этихъ друзей, котораго Бѣлинскій называетъ «вѣрующимъ другомъ», былъ очень расположенъ въ пользу Шевченка. Бѣлинскій, по пріѣздѣ въ Петербургъ, «наводилъ справки» о Шевченкѣ и пришелъ къ самому неблагоприятному выводу: по справкамъ (которыя, какъ видно, не были совершенно точны), вышло, что Шевченко былъ авторомъ «пасквилей» и за это былъ посланъ солдатомъ на Кавказъ. Такого рода люди, по мнѣнію Бѣлинскаго, — «враги всякаго успѣха», потому что, своими поступками «раздражаютъ правительство, дѣлаютъ его подозрительнымъ, готовымъ видѣть бунтъ тамъ, гдѣ ровно ничего нѣтъ, и

<sup>1)</sup> „Отеч. Зап.“ 1847, кн. 5 и 6: „Причины колебанія цѣнъ на хлѣбъ въ Россіи“. Эта замѣчательная статья имѣетъ свое историческое мѣсто въ развитіи крестьянскаго вопроса. Не называя крѣпостнаго права (что было невозможно), авторъ указывалъ, съ чисто экономической и статистической точки зрѣнія, основную причину бѣдственнаго положенія нашего „сельскаго хозяйства“ — въ *обязательной рентѣ*, т. е. въ крѣпостномъ трудѣ. Замѣтимъ притомъ, что это — статья чисто специальная, наполненная статистическими цифрами. Бѣлинскій не смотря на то въ восторгѣ отъ нея: „архи- и просто-превосходнѣйшая статья (говоритъ онъ въ письмѣ къ Боткину, отъ 4—5 ноября) — во мнѣніи о которой, я увѣренъ, ты à la lettre согласишься и пересогласенъ со мною“.

<sup>2)</sup> Кн. 11, смѣсь, стр. 102 — 105; кн. 12, стр. 176 — 186, гдѣ передаются изъ „Земледѣльской Газеты“ и другихъ изданій тогдашнія толки о мѣрахъ къ „улучшенію нашего сельскаго хозяйства“ — т. е. главнымъ образомъ о крѣпостномъ трудѣ, очень осторожно и съ „хозяйственной“ точки зрѣнія.

вызываютъ мѣры, крутыя и гибельныя для литературы и просвѣщенія». — Сколько мы знаемъ, дѣло было не совсѣмъ такъ, какъ рассказываетъ БѢлинскій, но онъ тогда не имѣлъ другого толкованія этого факта, и самымъ рѣзкимъ образомъ возстаегъ противъ Шевченка. Кромѣ того, опасеніе возбудить подозрительность и вызвать крутыя мѣры видимо овладѣвало БѢлинскимъ подѣ влияніемъ ожиданій, что тогда предстояло разрѣшеніе крестьянскаго вопроса... Въ доказательство своихъ опасеній БѢлинскій приводитъ одну исторію изъ тогдашней цензурной практики. Незадолго передъ тѣмъ вышла одна книжка о малороссійской исторіи, въ которой, по словамъ БѢлинскаго, была между прочимъ высказана мысль, что Малороссія или должна отторгнуться отъ Россіи, или погибнуть. Книжка прошла благополучно; но впоследствии на нее сдѣланъ былъ доносъ, и цензору (человѣку очень уважаемому) грозило преслѣдованіе, которое едва могло быть отклонено: цензоръ уцѣлѣлъ, но вышелъ въ отставку, чтобы уйти отъ фальшиваго положенія между требовательными цензурными властями и литературой, которой не хотѣлъ тѣснить мелочными придирками. Въ цензурѣ вообще начинались строгости; БѢлинскій характеризуетъ при этомъ тогдашняго начальника цензуры, Мусина-Пушкина. Между прочимъ вскорѣ за упомянутымъ случаемъ съ малорусской книжкой открылось гоненіе противъ французскихъ романовъ—запрещены были «Манонъ-Леско», и романы Ж. Занда: «Пиччинино» и «Леонъ-Леони»:—по словамъ БѢлинскаго, цензура вообразила, что авторъ упомянутой книжки «набрался хохлацкаго патріотизма изъ французскихъ романовъ».

БѢлинскій повторяетъ свое осужденіе противъ тѣхъ «либераловъ», которые легкомысленными крайностями вызываютъ подобныя возмездія,—но онъ еще не чувствовалъ, что его объясненіе не совсѣмъ идетъ въ дѣлу; онъ не замѣчалъ какъ будто, что сопоставленіе французскихъ романовъ съ «хохлацкимъ патріотизмомъ» (еслибъ оно было,—а возможности его БѢлинскій именно не отвергалъ) само по себѣ было такъ смѣло, что едва ли бы могла его предупредить какая угодно осторожность литературы... Въ томъ же письмѣ онъ приводитъ другіе случаи цензурной и иной подозрительности, направленной противъ славянофиловъ. Вскорѣ, въ самомъ началѣ 1848 года, онъ долженъ былъ увидѣть цѣлый рядъ фактовъ, которые ужъ никакъ не подходили подѣ его толкованіе...

Въ концѣ письма, онъ возвращается къ литературнымъ новостямъ:

„Читали ли вы *Домби и Сынъ*? Если нѣтъ, спѣшите прочесть. Это чудо. Все, что написао до этого романа Диккенсомъ, кажется теперь блѣдно и слабо, какъ будто совѣтъ другого писателя. Это что-то до того превосходное, что боюсь и говорить—у меня голова не на мѣстѣ отъ этого романа“<sup>1)</sup>.

Въ декабрѣ (вѣроятно въ началѣ) Бѣлинскій пишетъ опять «тетрадь» Боткину. Онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ предполагаемаго имъ пріѣзда Боткина, и, не дождавшись ни пріѣзда, ни письма, сталъ писать. Ему пришла въ голову мысль—не думаетъ ли Боткинъ, что Бѣлинскій сердится на него за участіе въ «Отеч. Запискахъ», о чемъ онъ писалъ ему длинное письмо 4—5 ноября.

„Я дѣйствительно горячъ и раздражителенъ,—объясняетъ Бѣлинскій,—и когда взбѣшусь на пріятеля, то непременно выстрѣлю въ него длиннымъ письмомъ, отъ котораго смертельно устану... Послѣ этого я уже не чувствую никакой досады, кромѣ какъ на себя—потому что припомнится вдругъ, что тѣ сказалъ рѣзко, а вотъ этого вовсе бы не слѣдовало говорить. И потому сердиться (въ смыслѣ сохраненія надолго непріятнаго чувства) вовсе не въ моей натурѣ. Я способенъ вовсе разойтись навсегда съ пріятелемъ, если поступокъ его противъ меня будетъ таковъ, что долженъ охолодить меня къ нему, нежели сердиться... (Теперь онъ нимало не сердился на Боткина и вообще на московскихъ друзей)... Повторяю еще разъ—я могъ на минуту вспылить на всѣхъ на васъ за вашъ поступокъ, какъ необдуманный и нелѣпый; но у меня никогда не было въ головѣ дикой мысли—видѣть въ немъ личную обиду мнѣ“...

Дѣла журнала были, по мнѣнію Бѣлинскаго, не совсѣмъ хороши. Началась подписка на слѣдующій годъ, но шла не только хуже, чѣмъ въ «Отеч. Зап.», но чѣмъ даже въ «Библ. для Чтенія». Все письмо затѣмъ наполнено разсужденіями по поводу различныхъ литературныхъ новостей. Бѣлинскаго очень интересуетъ мнѣніе Боткина о повѣсти Дружинина «Полинька Саксъ»<sup>2)</sup>: самому Бѣлинскому она очень нравилась «дѣльностью» своего содержанія, хотя было въ ней кое-что незрѣлое, натянутае и мелодраматическое. Въ мнѣніи о повѣсти Григоровича («Антонъ Горемыка») Боткинъ не былъ согласенъ съ Бѣлинскимъ, и находилъ въ повѣсти длинноту. Бѣлинскій спорить противъ этого и объясняетъ, что взгляды ихъ на русскую повѣсть вообще различны.

„Для меня,—говоритъ Бѣлинскій,—иностранныя повѣсти должны быть слишкомъ хороша, чтобы я могъ читать ее безъ нѣкотораго усилія, особенно вначалѣ; и трудно вообразить такую гнусную русскую, которой бы я не могъ осилить (доказательство—я прочелъ съ

<sup>1)</sup> „Домби и Сынъ“ переводился тогда и въ „Современникъ“ и въ „Отечествен. Запискахъ“.

<sup>2)</sup> „Совр.“ 1847, кн. 12.

начала до конца *Впру* въ „От. З.“ — да и задамъ же я ей при обзорѣ!), а будь повѣсть русская хоть сколько-нибудь хороша, главное — сколько-нибудь *тъмна* — я не читаю, а пожираю... Ты — сибарить, сластѣна... — тебѣ, вишь, давай поэзій да художества — тогда ты будешь смаковать и чмокать губами. А мнѣ поэзій и художественности нужно не больше, какъ настолько, чтобы повѣсть была истинна, т.-е. не впадала въ аллегорію, или не отзывалась диссертациею... Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатлѣніе. Если она достигаетъ этой цѣли и вовсе безъ поэзій и творчества, — она для меня *тъмъ не менѣе* интересна... Я съ удовольствіемъ прочелъ, напр., повѣсть не повѣсть, даже рассказ не рассказъ, и разсужденіе не разсужденіе — *Записки человека*, Г—ва (въ 12 № „О. З.“)<sup>1)</sup>, да еще съ какимъ удовольствіемъ!<sup>1)</sup> Разумѣется, если повѣсть возбуждаетъ вопросы и производитъ нравственное впечатлѣніе на общество, при высокой художественности, — тѣмъ она для меня лучше; но главное-то у меня все-таки въ дѣлѣ, а не въ щегольствѣ. Будь повѣсть хоть разхудожественна, да если въ ней нѣтъ дѣла, — то я къ ней совершенно равнодушенъ<sup>2)</sup>... Я знаю, что сижу въ односторонности, но не хочу выходить изъ нея и жалѣю, и болѣю о тѣхъ, кто не сидитъ въ ней. Вотъ почему въ *Антоннѣ* я не замѣтилъ длиннотъ, или, лучше сказать, упивался длиннотами... Боже мой! какое изученіе русскаго простонародья въ подробныхъ до мелочности описаніяхъ ярмарки!.. Но перечитывать *Антонна* я не буду, хотя всегда перечитываю по-нѣскольку разъ всякую русскую повѣсть, которая мнѣ понравится. Ни одна русская повѣсть не производила на меня такого страшнаго, гнетущаго, мучительнаго, удушающаго впечатлѣнія: читая ее, мнѣ казалось, что я въ конюшнѣ, гдѣ благонамѣренный помѣщикъ поретъ и истязуетъ цѣлую вотчину — законное наслѣдіе его благородныхъ предковъ“...

Въ этихъ словахъ, вѣроятно, всего рѣшительнѣе высказался послѣдній взглядъ Бѣлинскаго на искусство или, точнѣе, на русскую повѣсть. Защитники чистаго искусства хотѣли осудить этотъ взглядъ, — называя его утилитарнымъ; нѣкоторые изъ друзей Бѣлинскаго хотѣли какъ будто прикрыть его, представить или какъ временный порывъ, или какъ слѣдствіе упадка силъ и вмѣстѣ таланта. Но очевидно, что если въ приведенномъ отрывкѣ этотъ взглядъ высказанъ нѣсколько рѣзко, онъ вовсе не принадлежалъ только послѣднему времени, — напротивъ, теорія чистаго искус-

<sup>1)</sup> Этотъ рассказъ, подписанный извѣстнымъ тогда псевдонимомъ „Сто-одинъ“ и задавшійся намѣреніемъ представить возникновеніе разлада съ окружающею жизнью и понятіями въ тогдашнемъ поколѣніи, на первыхъ же порахъ привлекъ на себя неблагосклонное вниманіе московскаго архипастыря Филарета, который, какъ извѣстно, съ своей стороны очень слѣдилъ за явленіями литературы и разнымъ образомъ обличалъ ихъ. Когда онъ высказалъ свое неудовольствіе отъ разсказа „Сто-одного“, это обстоятельство побудило автора въ продолженіи разсказа („Отеч. Зап.“ 1848) очень измѣнить принятый въ немъ тонъ, — чтобы избѣжать обнаруженія гнѣва архипастыря.

<sup>2)</sup> Въ подлинникѣ гораздо болѣе энергическое выраженіе.

ства была оставляема Бѣлинскимъ мало-по-малу еще съ первыхъ сороковыхъ годовъ, когда онъ отказался отъ прежняго отвлеченнаго идеализма и въ первый разъ созналъ, какъ много ихъ кружковъ, и онъ самъ, злоупотребляли словомъ «художественность». Бѣлинскій выражалъ свою мысль менѣе и болѣе сильно, но онъ съ тѣхъ поръ неизмѣнно требовалъ отъ литературнаго произведенія — содержанія. Онъ и теперь не отвергалъ великаго могущества художественнаго генія, и удивлялся, какъ у сильныхъ талантовъ, богатыхъ художественнымъ творчествомъ, многозначительное содержаніе являлось при отсутствіи всякаго намѣренія, даже всякаго сознанія, — какъ у Гоголя; но Бѣлинскаго уже нельзя было подкупить теперь, какъ прежде, внѣшней отдѣлкой художественной формы, такъ-называемой «объективной» поэзіей, за которой такъ нерѣдко скрывался сухой индифферентизмъ содержанія. Тамъ, гдѣ не было первостепеннаго таланта (а такого не встрѣчалось послѣ «Мертвыхъ Душъ»), Бѣлинскій тѣмъ болѣе требовалъ «дѣльности», т.-е. сознательнаго содержанія, т.-е. по крайней мѣрѣ вѣрныхъ изображеній жизни и нравовъ, а такіе изображенія уже сами по себѣ должны были принести свою пользу обществу. Ему наскучило, и казалось нелѣпнымъ — мѣрять обыкновенныя явленія литературы тѣмъ масштабомъ, какой прилагается къ Шекспиру.

Приводимъ изъ того же письма еще нѣкоторые литературные отзѣвы. Выше былъ приведенъ восторженный отзѣвъ о «Домби и Сынѣ»; здѣсь Бѣлинскій опять говорить о немъ:

«А читаешь ли ты *Домби и Сынъ*? Это что-то уродливо, чудовищно-прекрасное! Такого богатства фантазіи на изобрѣтеніе рѣзко, глубоко, вѣрно нарисованныхъ типовъ я и не подозревалъ не только въ Диккенсѣ, но и вообще въ человѣческой натурѣ. Много написалъ онъ прекрасныхъ вещей, но все это въ сравненіи съ послѣднимъ его романомъ блѣдно, слабо, ничтожно. Теперь для меня Диккенсъ — совершенно новый писатель, котораго я прежде не зналъ»...

Онъ жалѣетъ только, что Диккенсъ — «такъ мало личенъ, такъ мало субъективенъ, такъ мало человѣкъ, — и такъ много англичанинъ», зачѣмъ онъ ближе къ Вальтеръ-Скотту, чѣмъ къ Байрону: съ сознательными стремленіями и симпатіями Диккенсъ сталъ бы еще несравненно выше. Бѣлинскій огорчается потомъ, что послѣдніе романы Ж.-Занда плохи, недостойны ея таланта; бранить «сквернаваца» Дюма, котораго называетъ *protégé* Боткина, наконецъ говорить о знаменитомъ романѣ Гёте, переведенномъ тогда въ «Современникѣ» <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> «Совр.» 1847, кн. 7—8.

«Die Wahlverwandschaften» Гёте еще со временъ московскаго кружка очень занимали Бѣлинскаго и его друзей. Поезія Гёте была тогда для кружка такимъ же откровеніемъ, какъ философія Гегеля, и понятно, что Бѣлинскій и его друзья ожидали найти здѣсь рѣшеніе вопросовъ о женщинѣ, о любви, о бракѣ. Бѣлинскій въ то время, повидимому, зналъ только въ общихъ чертахъ, по разсказамъ, содержаніе романа Гёте; и послѣ того у него шли объ этомъ романѣ толки и споры съ Боткинымъ, съ Г.; но кажется уже довольно давно Бѣлинскій усумнился въ поэтическіхъ и художественныхъ достоинствахъ этого романа. Въ письмѣ изъ-за границы (отъ 24-го мая) Бѣлинскій сообщаетъ издателямъ «Современника» мнѣніе Тургенева, который рекомендовалъ перевести «Тома Джонса», Фильдинга (что и было сдѣлано), но не совѣтовалъ переводить романа Гёте. Романъ былъ однако переведенъ, и вотъ—впечатлѣніе Бѣлинскаго:

„Ахъ, встати: недавно я одержалъ блистательную побѣду, по части терпѣнія—прочелъ *Оттилію* <sup>1)</sup>. Святители! Думалъ ли я, что великій Гёте, этотъ олимпіецъ нѣмецкій, могъ явиться такою нѣмчурою въ этомъ прославленномъ его романѣ. Мысль основная умна и вѣрна, но художественное развитіе этой мысли—Аллахъ, Аллахъ—зачѣмъ ты сотворилъ нѣмцевъ?... Умолкаю“ <sup>2)</sup>...

Далѣе, слѣдуетъ въ письмѣ цѣлый длинный трактатъ въ зачиту «Писемъ изъ Avenue Marigny», рядъ которыхъ печатался тогда въ «Современникѣ» <sup>3)</sup>. Оказывалось, что эти письма не совсѣмъ понравились московскимъ друзьямъ, которые находили, кажется, что онѣ не достаточно серьезно говорятъ о предметѣ, который тогда очень занималъ у насъ образованные кружки, и конечно также московскихъ друзей; что авторъ «Писемъ» слишкомъ поспѣшно осуждаетъ извѣстныя политическія партіи тогдашней Франціи, преувеличиваетъ и т. д. Бѣлинскій горячо защищаетъ автора «Писемъ»: «эти письма,—говоритъ онъ,—особенно послѣднее, писались при мнѣ, на моихъ глазахъ», — подъ живымъ впечатлѣніемъ фактовъ, которые не подлежали сомнѣнію и ближе были видны автору «Писемъ»; не отвергая возможныхъ преувеличеній со стороны автора, Бѣлинскій рѣшительно не согласенъ съ тѣми осужденіями, какія вызваны были «Письмами» у московскихъ друзей. Увлеченный этой защитой, Бѣлинскій пишетъ цѣлое длинное разсужденіе о буржуазіи и другихъ общественныхъ вопросахъ того времени, о національных харак-

<sup>1)</sup> Такъ названы были *Wahlverwandschaften* въ русскомъ переводѣ.

<sup>2)</sup> Ср. отзывъ объ этомъ романѣ въ „Соврем.“ 1848, кн. 1. Сочин. XI, стр. 361—362.

<sup>3)</sup> „Совр.“ 1847, кн. 10 (первыя три письма), кн. 11 (письмо четвертое).

терахъ, о борьбѣ капитала и труда—въ томъ смыслѣ, какъ разсуждалъ объ этихъ вещахъ и авторъ «Писемъ».

Въ это же время Бѣлинскій писалъ (отъ 7-го декабря) длинное письмо К. Д. К—ну, одно изъ его любопытнѣйшихъ писемъ этого времени. Бѣлинскій уже отвѣчалъ ему на письмо, но, не имѣя отвѣта, снова пишетъ К—ну, недоумѣвая объ его молчаніи. «Ужъ не больны ли вы,—спрашиваетъ Бѣлинскій...—или вамъ не до писемъ по случаю отставки С—ва? Это я считаю очень возможнымъ». Въ то время эта отставка произвела большое впечатлѣніе, которое раздѣлялъ и Бѣлинскій. «Я человѣкъ посторонній московскому университету, а вѣсть объ отставкѣ С. огорчила меня даже помимо моихъ отношеній къ вамъ, Гр. (Грановскому) и К. Это событіе прискорбное для всѣхъ друзей общаго блага и просвѣщенія въ Россіи»...

Бѣлинскій переходитъ затѣмъ къ ихъ общей полемикѣ противъ славянофильскаго противника, который выступилъ противъ «Современника» въ «Москвитяинѣ», подъ буквами М... З... К... Бѣлинскій очень доволенъ статьей своего друга, но ему не нравится, что тотъ не достаточно категорически высказывалъ свои опроверженія, какъ будто оставляя за противникомъ извѣстный авторитетъ. Самъ Бѣлинскій признаетъ большой умъ противника, но считаетъ его умъ чисто парадоксальнымъ; самая роль этого противника въ литературѣ <sup>1)</sup> представляется Бѣлинскому какъ нѣчто въ родѣ прихоти дилеттанта. То, что сказано имъ въ самомъ «Отвѣтѣ Москвитянину», сказано здѣсь съ большей опредѣленностью: Бѣлинскому видимо казалось, что со стороны его славянофильскаго противника было больше холодной, хотя и умно защищаемой доктрины, чѣмъ живого одушевленія, больше самолюбиваго упорства системы, чѣмъ горячаго стремленія къ истинѣ—какова бы она ни вышла въ результатъ <sup>2)</sup>. Не будемъ разбирать, насколько былъ онъ правъ или неправъ въ подобныхъ предположеніяхъ,—но намъ кажется, что именно ими объясняется его страстная полемика и съ этимъ противникомъ, а отчасти и со всѣмъ славянофильствомъ.

Бѣлинскій потомъ возвращается еще къ письму 4—5 ноября. Онъ говоритъ, что это письмо, писанное въ Боткину, предназначено было главнымъ образомъ для К—на и Грановскаго,—и опять сожалѣетъ, что огорчилъ друзей. Съ тѣхъ поръ для него совершенно разъяснилось ихъ несогласіе, хотя они и высказывались очень сдержанно. Бѣлинскій не соглашался съ ними

<sup>1)</sup> 1847.

<sup>2)</sup> Ср. Сочин. XI, стр. 252—258.

и теперь, но понималъ возможность ихъ взгляда на дѣло, и видѣлъ ихъ побужденія: онъ не хотѣлъ однако спорить больше съ своими друзьями. Бѣлинскій говорить теперь объ ихъ несогласіи въ мягкомъ, примирительномъ тонѣ, съ спокойнымъ обсужденіемъ обстоятельствъ и съ большою любовью къ своимъ друзьямъ...

Наконецъ, онъ подробнѣе, чѣмъ прежде, останавливается на спорномъ пунктѣ, который былъ затронутъ въ письмѣ К—на, именно на вопросѣ о Гоголѣ, натуральной школѣ и вообще тогдашней литературѣ. Слѣдующая цитата представляетъ любопытныя разъясненія къ литературнымъ мнѣніямъ Бѣлинскаго, которыхъ онъ не могъ досказывать въ печати:—эти слова интересны и теперь, и могли бы быть весьма поучительны для нынѣшнихъ противниковъ реалистическаго направленія литературы, которое теперь такъ и называютъ «отрицательнымъ».

„Принимаясь за это письмо,—говоритъ онъ,—я перечелъ снова ваше, и хочу, ужъ за разъ, еще кое-что сказать по его поводу, въ дополненіе моего прежняго отвѣта. Вы спрашиваете: „представляетъ ли современная русская жизнь такую *другую* сторону, которая, будучи художественно воспроизведена, представила бы намъ положительную сторону нашей народной фязіономіи?“ — и видите съ моей стороны уступку славянофиламъ въ утвердительномъ моемъ отвѣтѣ <sup>1)</sup>. Но, не смотря на то, я не думалъ съ ними соглашаться, по причинамъ, изложеннымъ въ вашемъ письмѣ и съ которыми я всегда былъ вполне согласенъ. Но поймите, что въ отношеніи къ этому вопросу въ печати необходимо или обходить его, или рѣшать утвердительно. Но этотъ вопросъ многими поставляется проще, т.-е. многіе, не видя въ сочиненіяхъ Гоголя и нат. школы такъ называемыхъ „благородныхъ“ лицъ, а все плутовъ или плутишекъ, приписываютъ это будто бы оскорбительному понятію о Россіи, что въ ней-де честныхъ, благородныхъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ умныхъ людей быть не можетъ. Это обвиненіе нелѣпое, и его-то старался я и буду стараться устранить. Что хорошіе люди есть вездѣ, объ этомъ и говорить нечего; что ихъ на Руси, по сущности народа русскаго, должно быть гораздо больше, нежели какъ думаютъ сами славянофилы (т.-е. истинно хорошихъ людей, а не мелодраматическихъ героев), и что наконецъ Русь есть по преимуществу страна крайностей и чудныхъ, странныхъ, непонятныхъ исключеній, — все это для меня аксіома, какъ дважды два четыре. Но вотъ горе-то: литература все-таки не можетъ пользоваться этими хорошими людьми не впадая въ идеализацію, въ реторику и мелодраму, т.-е. не можетъ представлять ихъ художественно—такими, какъ они есть на самомъ дѣлѣ, по той простой причинѣ, что ихъ тогда не пропуститъ цензурная таможня. А почему? Потому именно, что въ нихъ человѣческое въ прямомъ противорѣчій съ тою общественною средою, въ которой они живутъ. Мало того: хорошій человѣкъ на Руси можетъ быть иногда героемъ добра, въ полномъ смыслѣ слова, но это не мѣшаетъ ему быть съ другихъ

<sup>1)</sup> Сочин., XI, стр. 221 и слѣд.

сторонѣ Гоголевскимъ лицомъ; честенъ и правдивъ, готовъ за правду на пытку, на колесо, на невѣжда, колотить жену, варваръ съ дѣтьми и т. д. Это потому, что все хорошее въ немъ есть даръ природы, есть чисто человѣческое, которымъ онъ нисколько не обязанъ ни воспитанію, ни преданію; словомъ, средѣ, въ которой родился, живеть и долженъ умереть; потому, наконецъ, что подъ нимъ нѣтъ terra in, а какъ вы говорите справедливо, не пловучее море, а огромное стекло. Вотъ, напр., честный секретарь уѣзднаго суда. Писатель реторической школы, изобразивъ его гражданскіе и юридическіе подвиги, кончить тѣмъ, что, за его добродѣтель, онъ получаетъ большой чинъ и дѣлается губернаторомъ, а тамъ и сенаторомъ. Это цензура пропустить со всею охотою, какими бы негодаями ни былъ обставленъ этотъ идеальный герой повѣсти, ибо онъ одинъ выкупаетъ съ лихвою наши общественные недостатки. Но писатель натуральной школы, для котораго всего дороже истина, подъ конецъ повѣсти представить, что героя опутали со всѣхъ сторонъ, и запутали, засудили, отрѣшили съ безчестіемъ отъ мѣста, которое онъ *портить*, и пустили съ семьею по міру, если не сослали въ Сибирь, а общество наградило его за добродѣтель справедливости и неподкупности эпитетами безпокойнаго челоуѣка, ябедника, разбойника и пр. и пр. Изобразить ли писатель реторической школы доблестнаго губернатора—онъ представить удивительную картину преобразованной кореннымъ образомъ и доведенной до послѣднихъ крайностей благоденствія губерній. Натуралистъ же представить, что этотъ, дѣйствительно благонамѣренный, умный, знающій, благородный и талантливый губернаторъ видитъ, наконецъ, съ удивленіемъ и ужасомъ, что не поправилъ дѣла, а только еще больше испортилъ его, и что, покораясь невидимой силѣ вещей, онъ долженъ себя считать счастливымъ, что, по своему крупному чину, вмѣстѣ съ породой и богатствомъ, онъ не могъ не покончить точь-въ-точь, какъ вышеупомянутый секретарь уѣзднаго суда. Кто-жъ будетъ пропускать такіа повѣсти? Во всякомъ обществѣ есть солидарность—въ нашемъ страшная: она основывается на пословицѣ—съ волками надо быть по-волчьи. Теперь вы видите ясно, какъ я понимаю этотъ вопросъ, и почему рѣшаю его не такъ, какъ бы слѣдовало“...

Слѣдуетъ еще рядъ любопытныхъ замѣчаній, вызванныхъ тѣмъ же предметомъ—о Гоголѣ, творчество котораго онъ окончательно признаетъ безсознательнымъ, — о свойствахъ гениальной натуры, о Петрѣ Великомъ, объ общественномъ идеалѣ Ж. Занда (напоминающемъ ему «Переписку» Гоголя); но мы оставимъ все это,—опасаясь, что глава и безъ того покажется слишкомъ длинною читателю...

Приведенное письмо—послѣднее въ нашемъ матеріалѣ, писанное рукою Бѣлинскаго. Послѣ него есть еще одно,—которымъ кончается собранная нами переписка: оно писано уже подъ диктовку.

Намъ остается досказать немного.

А. Пыпинъ.

---

# ГЕРМАНІЯ

## НАКАНУНЪ РЕВОЛЮЦІИ

---

L'Allemagne — c'est un désert en politique que les grandes monarchies doivent être bien aises de conserver en friche.

*Н. Румянцевъ Остерману,*  
19/30 іюня, 1785 г.

Нашему поколѣнію суждено быть свидѣтелемъ одного изъ важнѣйшихъ явленій въ судьбахъ европейскихъ народовъ. На нашихъ глазахъ образовалось и продолжаетъ образовываться колоссальное государство, выдвигается на первый планъ многочисленная нація. Мы чувствуемъ, что этотъ переворотъ имѣетъ міровое значеніе, и касается всѣхъ, какъ близкихъ, такъ и далекихъ сосѣдей Германіи. Но мы еще не вполне сознаемъ значеніе переворота, и не можемъ опредѣлить съ точностью его характеръ. Вокругъ насъ какъ будто распадается старый политическій строй Европы; рушатся долговѣчные преданія; возникаютъ новыя историческія задачи. Одни за другими уплываютъ въ вѣчность аксіомы, вѣрованія и критериумы прошлаго, а блѣдный обликъ будущаго скрывается еще за развалинами; мы живемъ въ смутномъ царствѣ загадокъ. Мы видимъ только противорѣчія, которыя плодятся особенно въ центрѣ Европы. Передъ нами идеи правды и добра ведутъ открытую борьбу съ макіавелизмомъ, космополитическія мечты — съ узкимъ національнымъ духомъ, культурныя стремленія — съ солдатчиной... Мы спѣшимъ выйти изъ царства загадокъ, и хватаемся, какъ за объясненія, за первый фактъ, подброшенный намъ нынѣшнимъ днемъ. Мы выбираемъ одно изъ противорѣчій просто по

складу нашей нравственной природы. Мы создаемъ себѣ кумиры изъ историческихъ дѣятелей, еще не сошедшихъ со сцены. И, право, нѣрѣдко въ этомъ вихрѣ, крутящемся въ центрѣ Европы, мы видимъ одну только мефистофельскую фигуру канцлера юной нѣмецкой имперіи, а за нею уже не замѣчаемъ ни Германіи, ни нѣмцевъ.

Только слѣдуя историческимъ путемъ, можно постигнуть историческое явленіе. Эта простая истина далеко не такъ проникла въ жизнь, какъ то кажется: иначе сама историческая наука давно покинула бы допотопныя преданія, которыя все еще стѣсняють ея развитіе. Многія загадки и противорѣчія, которыя рождаются чуть не ежедневно, чтобы смущать насъ, сгладятся или разсыются сами собой при изученіи прошлаго германской націи.

Укажемъ здѣсь на одно только обстоятельство, которое значительно ослабляетъ подавляющее впечатлѣніе отъ современныхъ событій.

Не теперь только, но всегда германская нація играла видную роль въ исторіи. Она появилась въ Европѣ весьма рано. Слѣды глубочайшей древности остались отъ нея отъ Чернаго моря до Сѣвернаго, отъ Урала до Пиренеевъ. Уже до Рождества Христова она начала протѣсняться къ центру древней цивилизаціи, къ Риму, и вскорѣ потомъ почти искоренила своихъ предшественниковъ въ Европѣ, кельтовъ. Въ теченіе среднихъ вѣковъ, нѣмцы участвовали почти въ каждомъ изъ главныхъ событій и привлекали къ себѣ всеобщее вниманіе. Борьба римско-нѣмецкой священной имперіи съ папствомъ служила средоточіемъ средневѣковой эпохи. Чтобы понять значеніе германской націи въ новой исторіи, довольно указать на такія явленія, какъ реформація, габсбургское могущество, эпоха Фридриха Великаго и высокое развитіе культуры, начиная съ половины прошлаго вѣка.

И прежде, такъ же, какъ теперь, успѣхи германской націи поражали современниковъ. Это потому, что нѣмцы никогда не выдерживали указанной имъ роли. Въ ихъ исторіи постоянно замѣчаются колебанія, движенія впередъ смѣняются отступленіями. Германія то становилась во главѣ европейскаго просвѣщенія и вырабатывала самобытную культуру, то погружалась во мракъ невѣжества и подчинялась чуждымъ вліяніямъ. Иногда она была рѣшительницею судебъ Европы, въ другой разъ — попадала въ рабскую зависимость отъ другихъ государствъ.

Эти колебанія такъ значительны, что ихъ нельзя объяснить однимъ общимъ закономъ движенія и реакціи, господствующимъ въ развитіи народовъ. Здѣсь дѣйствовалъ еще частный, мѣстный

законъ. Его можно вывести изъ сравненія развитія различныхъ сторонъ нѣмецкой жизни.

Весьма важно, что не всѣ изъ этихъ сторонъ подвергались указанному процессу. Его вполне испытывала только сфера культурная, бытовая: въ политической—его почти не было. Государственный бытъ Германіи — одно изъ самыхъ важныхъ и любопытныхъ явленій въ исторіи. Онъ представляетъ поразительный и, за исключеніемъ Польши, единственный въ Европѣ примѣръ вѣкового застоя, свойственнаго только Востоку. Конечно, въ тысячелѣтней исторіи Германіи встрѣчается борьба различныхъ политическихъ стремленій. Но это борьба бесплодная, движеніе въ очарованномъ кругу. Она не приводила къ новымъ формамъ государственнаго быта. Скорѣе она даже закрѣпляла старыя основы. Государственная Германія сохранила отчасти даже до нашихъ дней преданія весьма сѣдой старины. Она заботливо перенесла черезъ рядъ вѣковъ мудреный механизмъ *феодальной* федераціи. До позднѣйшаго времени это былъ ходячій анахронизмъ, который пережилъ даже изобрѣтеніе пороха, и окончательно палъ только подъ ударами Крупной пушки и игольчатого ружья.

Но если въ Германіи политическая сфера была консервативнѣе, чѣмъ во всѣхъ, даже самыхъ консервативныхъ государствахъ Европы, то въ ней и должно искать причины особенностей въ развитіи германской націи. Она-то была вѣчнымъ грузомъ, тормазившимъ правильное движеніе народа. Борьба съ ней новыхъ стремленій и дарованій націи—вотъ исторія Германіи. И чѣмъ же теперь поражаютъ насъ нѣмцы, какъ не своимъ *политическимъ* превращеніемъ? Что, какъ не *государственный* бытъ, разумеетъ мы, когда говоримъ безъ умолку о наступленіи эпохи германскаго преобладанія въ Европѣ? Что, какъ не громкія побѣды нѣмцевъ въ Австріи и Франціи, ихъ блестящая военная организація да государственное объединеніе, ослѣпляютъ насъ въ настоящее время?

Основательная и безпристрастная исторія политическаго развитія Германіи требуется теперь жизнью. Она же составляетъ и одну изъ современныхъ задачъ науки. Она далеко не разработана съ должной полнотой и серьезностью. Нѣмцы долго занимались исторіей другихъ народовъ и запустили свою собственную. Затѣмъ они увлекались судьбами своего отечества въ средніе вѣка, въ эпоху реформаціи и отчасти въ XIX столѣтіи. Менѣе всего было сдѣлано для Германіи XVIII вѣка. А между тѣмъ это — исходная точка нынѣшняго политическаго переворота въ Европѣ: предреволюціонная эпоха—и самый любопытный, и са-

мый важный моментъ въ государственной исторіи нѣмцевъ. Здѣсь отчетливо обрисовываются оба типа — старая и новая Германія. Здѣсь можно прекрасно наблюдать какъ средневѣковщину — въ формѣ священной римско-нѣмецкой имперіи, такъ и новый государственный идеалъ — въ лицѣ Пруссіи, съ ея Фридрихомъ Великимъ.

Въ настоящее время вниманіе нѣмецкихъ историковъ устремлено на этотъ политическій моментъ. Ревностно разрабатываются ими отечественные архивы эпохи Фридриха II и Іосифа II. Появляются монографіи и статьи, проливающія новый свѣтъ на вѣщныя событія того времени <sup>1)</sup>. Иностранные архивы, и въ томъ числѣ русскій, также начали доставлять свои любопытные вклады въ общую сумму свѣдѣній о политикѣ предреволюціонной Германіи. Намъ удалось, съ своей стороны, познакомиться съ московскимъ архивомъ министерства иностранныхъ дѣлъ, съ цѣлью уяснить вопросъ о Союзѣ Фюрстовъ (Fürstenbund), — этомъ предсмертномъ созданіи Фридриха Великаго, намекавшемъ на современныя событія. Пользуясь отчасти этими свѣдѣніями, въ особенности же трудами нѣмецкихъ ученыхъ <sup>2)</sup>, мы хотимъ обрисовать здѣсь политическій бытъ Германіи наканунѣ революціи. Культурной стороны мы будемъ касаться лишь изрѣдка и, такъ сказать, по необходимости. Именно при попыткахъ болѣе глубокаго объясненія политическихъ явленій намъ нельзя будетъ обойтись безъ характеристики знаменитаго Aufklärung, «просвѣщенія» второй половины прошлаго вѣка.

<sup>1)</sup> Укажемъ на работы Шефера, Беэра, Ранке, Дройзена (въ прошедшемъ году вышелъ новый томъ его *Geschichte der Preussischen Politik*, посвященный началу царствованія Фридриха Великаго), на рядъ изданій Арнета (переписка между Іосифомъ II, Екатериной II, Леопольдомъ и др.) и проч.

<sup>2)</sup> Кромѣ мемуаровъ и брошюръ того времени (Dohm, Lang, Asseburg, Götz, Ségur, отецъ и сынъ Moser и др.), сюда относятся труды Шлюссера, Раумера, Гейссера, Фрейтага, Шерра, Vehse и др. Особенно важны сочиненія Бидерманна (*Deutschland im XVIII Jahrhundert*) и Пертеса. Одинъ изъ превосходѣйшихъ трудовъ послѣдняго — *Das deutsche Staatsleben vor der Revolution*, изданный въ 1845 году, до сихъ поръ не утратилъ своей свѣжести и значенія.

I.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТІЕ ГЕРМАНИИ.

Картина политическаго быта предреволюціонной Германіи была бы лишена перспективы и непонятна въ частностяхъ, еслибы ей недоставало историческаго фона. Остановимся прежде всего на бѣгломъ очеркѣ государственнаго развитія нѣмцевъ, не прибѣгая пока къ его объясненію, которое завело бы насъ далеко отъ нашей задачи.

Европейская политика въ средніе вѣка характеризуется борьбой первобытныхъ, варварскихъ элементовъ съ тѣми началами, которыя могли послужить прочной основой для новыхъ государствъ. И между тѣмъ какъ въ другихъ сферахъ средневѣковой строй отмѣнялся только въ XVIII столѣтіи, въ политикѣ онъ палъ уже въ XV и XVI вѣкахъ. Переворотъ 1789 года былъ протестомъ только противъ бытового феодализма; въ политикѣ же это былъ протестъ противъ созданія новой исторіи — монархизма, притомъ уже успѣвшаго достигнуть чрезмѣрнаго развитія. Если пылкіе французы дошли въ борьбѣ съ политическимъ феодализмомъ до другой крайности, и передали монарху «вулачное право», отнятое у мятежныхъ бароновъ, то все-таки они сбросили съ себя гораздо болѣе тяжелыя оковы. Къ тому же, у нихъ монархизмъ побѣдилъ только при помощи низшихъ сословій. Онъ былъ принужденъ покровительствовать имъ, организовать ихъ. Наконецъ, онъ содѣйствовалъ образованію національности. Народъ, который прежде подчинялся многимъ господамъ, почувствовалъ облегченіе, когда понесъ тяжесть одной власти. Въ Англіи борьба съ феодализмомъ въ политикѣ окончилась еще удачнѣе. Она привела къ сліянію сословій и подчинила общему благу монархизмъ, который былъ здѣсь лишь орудіемъ искорененія феодализма.

Не то видимъ мы въ Германіи. Судя по историческимъ и національнымъ условіямъ, здѣсь раньше и сильнѣе, чѣмъ гдѣ-либо, была потребность въ монархизмѣ. Карлъ, прозванный нѣмцами же Великимъ, и началъ гениальнымъ размахомъ борьбу съ аристократическимъ и племеннымъ элементами. Но у него оказалось мало подражателей, въ особенности же достойныхъ. Если кто изъ его премниковъ и сознавалъ цѣль, то не умѣлъ выбирать средства. Императоры не вступали въ союзъ съ низшимъ слоемъ общества, съ городомъ и селомъ, и народъ былъ противъ нихъ. Не они, а старые племенные герцоги были героями на-

родныхъ пѣсенъ, перешедшихъ въ сказанія. Не имѣ, а вассальнымъ князьямъ народъ служилъ безропотнымъ орудіемъ въ борьбѣ за верховную власть. И вопреки всеобщему историческому закону, мятежные бароны не ослабѣвали, а все усиливались въ этой борьбѣ. Императоры не могли также вовлечь церковь въ свои интересы, которая оказала столько услугъ монархизму въ другихъ странахъ. Она была для нихъ такимъ же опаснымъ врагомъ, какъ свѣтская аристократія. Попытки нѣкоторыхъ императоровъ измѣнить традиціонную политику, прильнуть къ народу, не могли имѣть успѣха, какъ рѣдкія и случайныя исключенія. Усилія Лудвига Баварца и Венцеля, поднять значеніе городовъ, окончились двойною побѣдой бароновъ—и надъ монархизмомъ, и надъ народомъ. Именно въ ту эпоху (при отцѣ Венцеля, Карлѣ IV, въ 1356 г.) появилась *Золотая Булла*—этотъ первый законодательный оплотъ могущественной аристократіи. Она формально утвердила избирательную форму нѣмецкой имперіи, и въ сущности перенесла верховную власть въ коллегію *курфюрстовъ*,—въ этотъ свѣтскій конклавъ, который былъ такимъ же деспотомъ для императора, какъ кардиналы для папы. Такъ, къ концу среднихъ вѣковъ феодальная аристократія проложила себѣ путь къ безраздѣльному господству,—и въ Германіи настала полная анархія, мѣтко названная нѣмцами «кулачнымъ правомъ» (*Faustrecht*).

Государственная жизнь стала невозможна — и съ половины XV вѣка изъ глубины націи послышались серьезныя требованія реформъ. Они клонились къ объединенію распавшихся частей имперіи и къ примиренію монархизма съ притязаніями могущественныхъ вассаловъ. На общихъ сеймахъ нѣмецкой имперіи показались даже представители городовъ. Но долго эти требованія были голосами въ пустынѣ. Лишь наканунѣ новой исторіи появилась государственная реформа. Она должна была предшествовать религіозному перевороту и отнять у него политическое значеніе, вредное для него самого. Но лучшія патріотическія надежды были обмануты ею. Уложеніе Максимилиана I (1495—1500) было скорѣе шагомъ назадъ, чѣмъ впередъ <sup>1)</sup>. Оно осыатило печатью законности то зло, которое царствовало прежде только какъ печальный фактъ. Оно было формальнымъ ограниченіемъ монархизма. Верховная власть совсѣмъ перешла къ княжеской олигархіи, минуя народъ, и затвердѣла тамъ. Нація не

<sup>1)</sup> Въ сущности это было то самое государственное устройство, сохранившееся до революціи, которое описывается нами въ слѣдующихъ главахъ.

только ничего не выиграла отъ реформы, но даже проиграла. Именно съ той поры началось быстрое паденіе *земства* (Landstände) <sup>1)</sup>.

Правда, это средневѣковое учрежденіе представляло весьма слабый намекъ на конституціонализмъ. Оно было ненадежною опорою народа, и даже соперничало съ императорствомъ въ отчужденіи отъ него. Тѣмъ не менѣе это была единственная сила, которая могла нѣсколько сдерживать произволъ могущественныхъ аристократовъ. И по мѣрѣ того, какъ разлагались земскія собранія, олигархія искусно укрѣплялась въ своей новой позиціи: она предусмотрительно замѣнила древній обычай дѣлить землю между сыновьями строгимъ правомъ первородства (майоратъ).

Послѣднія попытки монархизма сломить закоренѣлую силу феодализма принадлежатъ Карлу V и Фердинанду II. Ихъ также постигла неудача. Они запоздали. Къ тому же, и эти императоры ошибались въ средствахъ. Карлъ V могъ бы разыграть роль народнаго героя, которая была весьма выгодна тогда для монархизма даже въ матеріальномъ отношеніи: стоило ему только овладѣть національнымъ стремленіемъ къ исправленію церкви. Но онъ бросился въ лагерь враговъ этого движенія, поднялъ свой могущественный мечъ за идеалы средневѣковой реакціи. Нація выступала противъ своего монарха подъ знаменами олигарховъ — и религиозная реформація превратилась въ политическую революцію. А Фердинандъ II задумалъ истребить поль-націю, чтобы султанствовать на развалинахъ Германіи, опираясь на австрійскіе штыки и папскія проклятія. Различное впечатлѣніе, которое производятъ на историка Карлъ и Фердинандъ, зависитъ отъ ихъ личностей и воспитанія; политика же ихъ схожа по сущности, только одинъ былъ австрійскимъ, а другой — испанскимъ іезуитомъ. Результатъ этой политики былъ самый печальный: онъ называется ненавистнымъ, для нѣмецкихъ патріотовъ, именемъ *Вестфальскаго мира* (1648 г.). Германія на половину обратилась въ пустыню и лишилась трехъ четвертей своего населенія. Началась эпоха иностраннаго вмѣшательства въ ея внутреннія дѣла. Громкій титулъ «священной римско-нѣмецкой имперіи» обратился въ горькую иронию надъ страной, которая стала добычей сильныхъ сосѣдей и посмѣшищемъ Европы. Этого мало. Германія утратила надежду на лучшее будущее. Феода-

<sup>1)</sup> Ниже, при изображеніи типа „фюрста“, будетъ указано подробнѣе на значеніе земства и вообще на процессъ развитія нѣмецкой аристократіи, который очерченъ здѣсь лишь въ самыхъ главныхъ чертахъ.

лизмъ, такъ долго тормазившій ея развитіе, укрѣнился больше прежняго.

Тогда-то окончательно сложился тотъ типъ нѣмецкой имперіи, который сохранился до самой революціи. Переходимъ къ его описанію.

## II.

### СОСТАВЪ НѢМЕЦКОЙ ИМПЕРІИ.

Передъ революціей, какихъ-нибудь сто лѣтъ тому назадъ, нѣмецкая имперія занимала 12,000 кв. миль. Въ ней было 30 милліоновъ жителей, 2300 городовъ, 3000 мѣстечекъ, около 100 тысячъ селъ и до 40 тысячъ рыцарскихъ помѣстій. Это была сложная держава. Она состояла изъ множества независимыхъ государствъ. Здѣсь насчитывалось болѣе трехсотъ крупныхъ владѣній, и въ числѣ ихъ видимъ около дюжины такихъ, въ которыхъ было отъ мили до версты пространства и отъ одной до двухъ тысячъ жителей. Сверхъ того, всюду были раскинуты мелкія или «рыцарскія» владѣнія. Ихъ было до полуторы тысячи. Всѣ они вмѣстѣ занимали около 200 кв. миль, т.-е. на каждое приходилось среднимъ числомъ менѣе версты.

Вся эта масса государствъ въ нѣмецкомъ государствѣ распадалась, со времени уложенія Максимилиана I, на десять *имперскихъ округовъ* (Kreisordnung des Reichs). Удобнѣ всего обозрѣть ихъ, если провести дугу черезъ Триестъ, Пассау, Лейпцигъ, Кассель, Кёльнъ и Люксембургъ. Она раздѣлитъ Германію на двѣ половины съ различнымъ территоріальнымъ характеромъ. Къ сѣверо-востоку отъ нея лежали сравнительно большія области. Здѣсь было всего четыре округа. Самымъ обширнымъ былъ *австрійскій* (2025 кв. миль). Сюда относились: эрцгерцогство Австрія, Штирія, Каринтія, Крайна, Истрія, Фріоуль, побережье Адриатическаго моря, Тироль, Форарльбергъ, Бреслау и Верхняя Швабія. На противоположномъ концѣ дуги лежалъ *бургундскій* округъ, который состоялъ все изъ австрійскихъ же владѣній — Брабанты, Мехельна и Гельдерна, Фландріи и Геннегау, Лимбурга, Намюра и Люксембурга. Между этими двумя округами помѣщалась саксонская земля. Она распадалась на два округа. Въ *Нижнесаксонскомъ* хотя и насчитывалось цѣлыхъ 22 государства, но преобладали владѣнія Пруссіи и Ганновера. Вокругъ нихъ группировались также значительныя княжества — Брауншвейгъ, оба Мекленбурга и обѣ Голштиніи. Здѣсь мелкихъ владѣній было немного, и къ нимъ принадлежало шесть важнѣй-

нихъ имперскихъ городовъ (Гамбургъ, Бременъ, Любекъ и др.). Въ *Верхнесаксонскомъ* округѣ (1950 кв. м.), гдѣ было 23 государства, также преобладали большія владѣнія, принадлежавшія Пруссіи и курфюршеству Саксоніи. Мелкихъ <sup>1)</sup> было немного.

Совсѣмъ другой территоріальный характеръ видимъ мы къ юго-западу отъ описанной дуги. Здѣсь преобладала раздробленность. Вотъ *Вестфальскій* округъ. Въ немъ было всего 1,200 кв. миль, но на нихъ помѣщалось 52 государства! Тутъ было много графствъ, аббатствъ, имперскихъ городовъ (Кельнъ, Ахенъ и др.), а также владѣній наассаускихъ, ольденбургскихъ, пфальцскихъ (Юлихъ и Бергъ) и прусскихъ (Клеве, Минденъ, Остфрисландія и др.). Впрочемъ, здѣсь были и столь значительныя духовныя области, какъ епископства Мюнстеръ и Оснабрюкъ, Падерборнъ и Люттихъ. Далѣе же на югъ разстилалась обѣтованная земля нѣмецкаго «мелкодержавія» (Kleinstaaterei). Это—пять любопытныхъ округовъ по Рейну, Неккару, Майну и Дунаю. Между тѣмъ, какъ въ саксонскихъ округахъ приходилось по 65 и 86, и даже въ болѣе раздробленномъ Вестфальскомъ—по 23 кв. мили на государство, здѣсь мы видимъ: во Франконіи 16, а въ Швабіи—всего 8 кв. миль на владѣніе. Изъ этихъ пяти округовъ, *Куррейнскій* и *Баварскій* еще можно считать сносными. Въ первомъ, кромѣ значительныхъ четырехъ курфюршествъ (Майнцъ, Кельнъ, Триръ и Пфальцъ), было только шесть мелкихъ владѣній <sup>2)</sup>; во второмъ хотя и насчитывалось до 20 государствъ <sup>3)</sup>, но среди нихъ была большая Баварія. Остальные же три округа были истиннымъ вавилонскимъ столпотвореніемъ. Въ *Верхнерейнскомъ* округѣ была цѣлая куча ландграфствъ и просто графствъ (Вальдекъ, Сольмсъ, Лейнингенъ и др.), «господствъ» и княжествъ (Гомбургъ, часть Нассау и др.) имперскихъ городовъ (Вормсъ, Шпейеръ, Ветцларъ, Франкфуртъ), епископствъ (Вормсъ, Шпейеръ, Страсбургъ, Базель, Фульда), аббатствъ, пробствъ и даже одно владѣніе Іоаннитскаго Ордена (Johannitermeisterthum). Чтобы судить о величинѣ этихъ государствъ, довольно сказать, что среди нихъ великими державами считались ландграф-

<sup>1)</sup> Тюрингенскія княжества, Шведская Померанія, Ангальтъ, оба Шварцбургъ, и другіе.

<sup>2)</sup> Но любопытно, что всѣ эти владѣнія были разныхъ ранговъ: 2 княжества, 1 графство, 1 бурграфство, 1 господство (Herrschaft), 1 округъ (Ballei) нѣмецкаго ордена.

<sup>3)</sup> Изъ свѣтскихъ—курфюршество-герцогство Баварія, имперскій городъ Регенсбургъ и др.; изъ духовныхъ—архіепископство Зальцбургъ, епископства Регенсбургъ и Нассау, аббатства Нижній и Верхній Мюнстеръ и др.

ства Гессенъ-Кассель и Гессенъ-Дармштадтъ, да городъ Франкфуртъ. Въ округѣ *Франконскомъ* важнѣйшими владѣніями были епископства Вюрцбургъ и Бамбергъ. Къ нимъ примыкало множество княжествъ, принадлежавшихъ Гогенцоллернамъ, Шварценбергамъ и Гогенлое, затѣмъ графствъ и имперскихъ городовъ; во главѣ послѣднихъ стоялъ Нюрнбергъ. Всего здѣсь было 29 государствъ на 484 кв. мили. *Швабскій* округъ былъ средоточіемъ мелкодержавія въ Германіи. Здѣсь на 729 миляхъ гнѣздилося 89 владѣній, въ томъ числѣ 4 духовныхъ (Аугсбургъ, Констанцъ и др.), 13 свѣтскихъ княжествъ (герцогство Вюртембергъ, маркграфство Баденъ и др.), болѣе 20 аббатствъ, безчисленное множество графствъ и 31 имперскій городъ (Аугсбургъ, Ульмъ, Рейтлингенъ, Нёрдлингенъ, Оберлингенъ и другіе «лингены», «бахи» и «геймы»). Мы не говоримъ о цѣломъ муравейникѣ «имперско-рыцарскихъ» владѣній, который копошился именно въ Швабіи, а также во Франкіи и Верхнемъ Рейнѣ.

Такимъ образомъ, Германія еще сто лѣтъ тому назадъ вполнѣ сохраняла феодальную раздробленность, давно исчезнувшую въ другихъ земляхъ. Этого мало. Въ ней уцѣлѣла, какъ египетская мумія, и внѣшняя форма феодализма, тотъ любопытный имперскій нарядъ, который былъ изобрѣтенъ предками для объединенія массы германскаго мелкодержавія. Посмотримъ, въ чемъ состояли имперскія учрежденія, и какое значеніе имѣли они передъ революціей.

### III.

#### ИМПЕРАТОРЪ И ИМПЕРСКІЙ НАДВОРНЫЙ СОВѢТЪ.

Нѣмцы всегда гордились громкимъ именемъ священной римско-нѣмецкой *имперіи*, представителемъ которой былъ, въ лицѣ австрійскаго Габсбурга, *императоръ*, напоминавшій феодальнаго короля. Территоріи «фюрстовъ», какъ вообще назывались мелкіе владѣльцы въ Германіи, считались имперскими ленами. Мало того. Всякій фюрстъ обязанъ былъ, въ теченіе одного года и одного дня, лично совершить обрядъ ленной присяги, который повторялся при каждой перемѣнѣ вассала или его леннаго господина. Но уже судьба этого обряда въ прошломъ вѣкѣ свидѣтельствовала о паденіи феодализма. Онъ обратился въ пустую, нелѣпую формальность, тягостную для обѣихъ сторонъ. Нерѣдко фюрстъ уклонялся отъ него. Онъ посылалъ къ своему ленному господину въ Вѣну письменное извиненіе и

своего уполномоченнаго. Послѣдній нѣсколько разъ спрашивалъ у обристъ-гофмейстера, когда угодно императору совершить пышный обрядъ. Получивъ, наконецъ, императорскую «резолуцію», онъ подъѣзжалъ ко двору въ экипажѣ шестерней. У дверей его встрѣчалъ обристъ-кеммереръ и возвѣщалъ, что онъ допускается къ императору. А императоръ уже сидѣлъ на тронѣ, въ черной испанской мантии. Замѣстникъ вассала на колѣняхъ просилъ его о пожалованіи лена. Императоръ сообщалъ свое согласіе на ухо преклонившему колѣни имперскому вице-канцлеру, который громко провозглашалъ его, причемъ касался евангелія и прикладывался къ мантии. Пожалованный благодарилъ императора, приносилъ ленную присягу и получалъ ленную грамоту <sup>1)</sup>).

Но значеніе императора ограничивалось только этою и ей подобными церемоніями. Ленный господинъ въ Германіи лишился своихъ послѣднихъ правъ, когда исчезла сущность ленныхъ отношеній. Сами нѣмцы мѣтко называли своего императора «пустымъ призракомъ» (*inane simulacrum*). Онъ не имѣлъ права требовать отъ фюрстовъ ни дани, ни военной службы. Всѣ его доходы ограничивались ленною таксой, податю имперскихъ городовъ, жидовскою пошлиной и подобными ничтожными источниками, доставлявшими не болѣе 13,000 гульденовъ въ годъ. Лишь изрѣдка бѣдные «рыцари» давали ему скудную «полюбовную поддержку» (*Charitatissubsidien*). При такихъ доходахъ римскій императоръ долженъ былъ на собственный счетъ содержать свой пышный дворъ. Права императора также ограничивались ничтожными формальностями. Онъ раздавалъ дворянскія грамоты, возводилъ въ высшіе «чины», разрѣшалъ открытіе ярмарокъ и монетныхъ дворовъ, да сборъ податей, усыновлялъ незаконныхъ дѣтей. Но и здѣсь онъ не могъ отказать фюрсту въ просьбѣ. Фюрсты обходили даже ненарушимое по феодальному принципу право императора отбирать выморочные лены. При вымираніи какой-нибудь вассальной династіи они совершали наслѣдственные договоры и передаточныя записи. Императоръ былъ до того связанъ во всемъ, что не могъ даже самъ подбирать себѣ помощниковъ. Курфюрстъ майнцскій, въ качествѣ эрцъ-канцлера имперіи, назначалъ по своей прихоти чиновниковъ имперской канцеляріи и ея главу, вице-канцлера, — этого единственнаго министра имперіи, безъ котораго императору не дозволялось приступать къ

<sup>1)</sup> О другой, пышной, но пустой формальности, — о коронаціи римскаго императора въ прошломъ вѣкѣ, читатели могутъ судить по описанію *Geme* въ его „Wahrheit und Dichtung“, Buch V.

имперскимъ дѣламъ. Послѣ всего сказаннаго всякому становится понятнымъ, почему въ 1781 г. представитель «просвѣщенія» въ Австріи, Іосифъ II, едва не разсорился съ Екатериной II изъ-за дипломатическаго этикета, требуя, чтобы въ союзномъ договорѣ его имя стояло выше имени русской императрицы. Нельзя не признать, что искренность руководила его перомъ, когда онъ писалъ Екатеринѣ, по этому поводу: «титულъ — единственное преимущество сана римскаго императора, этого призрака почетной власти (*fantôme d'une puissance honorifique*) <sup>1)</sup>».

Но фюрсты тяготились даже властью «пустого призрака». Они постоянно твердили, что она опасна ихъ самодержавію, и всячески подкапывались подъ нее. Эти прирожденные враги императора выставляли новыя «капитуляціи» или ограничительныя условія при каждомъ выборѣ главы имперіи. По словамъ современника, «чтобы онъ не могъ дѣлать зла, у него отняли возможность дѣлать что-нибудь» <sup>2)</sup>. Дѣйствительно, могущественнѣйшіе изъ фюрстовъ (Бранденбургъ, Ганноверъ) увлонялись даже отъ ничтожнаго, но унижительнаго въ ихъ глазахъ обряда ленной присяги. Въ депешахъ нашего посланника во Франкфуртъ, Николай Румянцева, есть примѣръ, который хорошо показываетъ, какъ фюрсты не довѣряли императору, ограничивали его, не помогали ему даже за его собственныя деньги. Въ 1784 г., Іосифъ потребовалъ у «чиновъ» провіанта для своихъ войскъ, двинутыхъ въ Голландію. Онъ предложилъ плату, на которую согласились фюрсты послѣ долгихъ совѣщаній между ихъ уполномоченными и посланниками императора. Но войска двигались поспѣшно. Іосифу некогда было возиться съ подрядчиками, къ чему принуждала его капитуляція. Къ счастью, чины «добровольно» взяли сами доставить продовольствіе натурой; баварскій даже расщедрился и прибавилъ отъ себя по пяти крейцеровъ на солдата, и увеличилъ паякъ. Но курфюрсту майнцскому не понравилась такая уступчивость фюрстовъ. Онъ собралъ ихъ уполномоченныхъ и потребовалъ, чтобы придерживались капитуляціи. Тѣ отвѣчали, что фюрсты желаютъ помочь Іосифу, но уже съ ограниченіемъ: пусть онъ самъ сдѣлаетъ предложеніе въ этомъ смыслѣ, и «въ учтивыхъ терминахъ, а не образомъ повелѣнія». Но блюститель имперскаго формализма упорствовалъ, не соглашался ни на что <sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> *Joseph II und Katharina von Russland. Ihr Briefwechsel*, hrg. v. *Arneht*, 1869, p. 54. Этотъ любопытный споръ объ этикетѣ подробно разсказанъ въ депешахъ нашего посланника въ Вѣнѣ, Голицына (см. Моск. архивъ мин. иностр. дѣлъ).

<sup>2)</sup> *Chr. Wilh. von Dohm: Denkwürdigkeiten meiner Zeit*, 1814, III, 6.

<sup>3)</sup> *Румянцевъ Остерману 6-го дек. 1784 г.* Моск. арх. мин. иностр. дѣлъ.

Да императоръ и самъ подрывалъ свою ничтожную власть. Онъ первый показывалъ примѣръ неповиновенія имперскимъ учрежденіямъ, когда они рѣшали противъ него. Въ своихъ владѣніяхъ онъ уклонялся отъ имперскаго закона, какъ «австрійскій государь», хотя въ Австріи онъ любилъ расширять свою власть въ качествѣ нѣмецкаго императора.

Только одно учрежденіе намекало на важное значеніе императора. То былъ *имперскій надворный советъ* въ Вѣнѣ (Reichshofrath). Его появленіе свидѣтельствуетъ о серьезныхъ попыткахъ леннаго господина превратиться въ монарха. По идеѣ, онъ былъ побѣдой императора надъ вассалами въ судебной сферѣ. Первоначально, надворный советъ составлялъ высшую инстанцію въ судебномъ устройствѣ Австріи, нѣчто въ родѣ нашего сената. Но императорамъ удалось оттянуть у имперской юстиціи много дѣлъ и подчинить ихъ своему совету. Такимъ образомъ, ихъ домашнее, австрійское учрежденіе превратилось въ имперское. Такъ какъ императоръ содержалъ его на свой счетъ и самъ назначалъ совѣтниковъ, то онъ получалъ возможность рѣшать имперскія дѣла по своему желанію. Къ несчастію для него, имперскій надворный советъ былъ важенъ только по своей идеѣ. На практикѣ же онъ скорѣе ронялъ, чѣмъ поддерживалъ его значеніе. Это было истинное эльдорадо взяточничества, тупоумія и бездѣльничанья. Въ этомъ отношеніи надворный советъ сумѣлъ приобрѣсти славу даже въ Германіи, гдѣ вообще трудно было блеснуть съ этой стороны. По средневѣковому обычаю, онъ состоялъ изъ двухъ частей—«изъ лавки господъ» и «лавки ученыхъ». Первая лавка была не что иное, какъ сплошная синекура. Здѣсь засѣдали дворянскіе сынки, родственники да крестники министровъ. Ихъ называли «неучами». Ничего не понимая въ дѣлахъ и не желая понять, они отличались невольнымъ пристрастіемъ къ своимъ протоколамъ. За эту службу ихъ награждали хорошими окладами и званіями камергеровъ да императорскихъ тайныхъ совѣтниковъ. Лавка ученыхъ была «солю» надворнаго совѣта. Тутъ засѣдали дѣльцы,—тѣ заклятые подъячіе, которые теоретически, а еще болѣе практически, знали всю подноготную въ лабиринтѣ тогдашняго крючкотворства. Но «ученые» получали ничтожное жалованье, и потому считали себя въ правѣ торговать юстиціей. Имъ не было другого названія, какъ «продажныя души» (feile Seelen). Но они не обижались этимъ. Они сами признавались, съ замѣчательной наивностью, что смотрятъ на свои должности, какъ на доходныя «мызы». Они въ глаза говорили Іосифу II, что пользуются «доходами (Accidentien),

подарками, благодарностью (Erkenntlichkeiten), добровольными удовольствиями (willkürliche Douceurs). Впрочемъ, дѣла въ совѣтѣ рѣшались не однѣми деньгами. Часто приговоръ диктовалъ императоръ, ибо совѣтники были просто чиновники, а не самостоятельные судьи. Естественно, что никто не слушался приговоровъ такого судилища. Если же на нихъ настаивали, то обвиненный прибѣгалъ къ покровительству самого имперскаго сейма. Значеніе и характеръ надворнаго совѣта прекрасно обрисовываются слѣдующимъ примѣромъ, который описанъ очевидцемъ, нашимъ посланникомъ въ Вѣнѣ, Голицынымъ. Въ 1770 г. въ Вѣнѣ умеръ совѣтникъ саксенъ-веймарскаго и саксенъ-готскаго посольства. Тотчасъ возникла распря «о его пожиткахъ» между надворнымъ совѣтомъ съ одной стороны и министрами, резидентами, агентами курфюрстовъ и другихъ владѣтельныхъ князей имперіи, акредитованными въ Вѣнѣ. Этотъ курьезный вопросъ возобновился черезъ 13 лѣтъ, по поводу смерти Лита, агента марекграфа аншпахъ-байрейтскаго. Прямое начальство покойника — марекграфскій резидентъ опечалалъ «пожитки», оставшіеся послѣ Лита. Но надворный судъ объявилъ, что ему подвѣдомы всѣ германскія посольства, сорвалъ печати резидента и наложилъ свои. Резидентъ снова приложилъ свои печати, рядомъ съ совѣтскими, а его государь пожаловался императору и многимъ германскимъ дворамъ. Герцогъ саксенъ-готскій и берлинскій дворъ поддержали его жалобу императору. Но надворный судъ знать ничего не хочетъ, стоитъ на своемъ. И «кажется, — иронически замѣчаетъ Голицынъ, — что дѣло уладится только при сочиненіи новой капитуляціи для избираемаго впредь короля римскаго».

Въ 1781 г. Голицынъ извѣщалъ свое правительство о другомъ любопытномъ случаѣ. У герцога виртембергскаго уже около сорока лѣтъ тянулось дѣло съ рыцарскимъ кантономъ Крейхгау. Поводомъ къ тяжбѣ былъ его отказъ платить сборъ съ имѣнія, купленнаго имъ въ кантонѣ. Кантонъ протестовалъ и «выходилъ» отъ вѣнскаго надворнаго повелѣнія, чтобы герцогъ возвратилъ имѣніе: въ противномъ случаѣ его постигнетъ экзекуція. Но герцогъ «соединился съ другими имперскими чинами, въ равномъ случаѣ съ нимъ находящимися», прибѣгнулъ къ имперскому сейму въ Регенсбургѣ. Сеймъ, «съ конфирмаціи императорской», опредѣлилъ полюбовное примиреніе, «въ разсужденіи недостатка въ надлежащемъ на такіе споры законѣ». Но вѣнскій совѣтъ не прекращалъ своихъ приказаній и угрозъ. Наконецъ, герцогу удалось «выходить особливую для того комиссію». Но ее, вѣроятно, подкупилъ кантонъ. «Не пригласивъ герцога», она стала

сама исполнять прежнее постановленіе надворнаго совѣта, «убава только число проторей и убытковъ». Кончилось тѣмъ, что дѣло должна была рѣшить *русская императрица*, къ которой обратился герцогъ за помощью. Екатерина II приняла его прошеніе, «по милостивому снисхожденію къ толь знатному, ищущему ея покровительства, имперскому чину и по свойству съ симъ княжескимъ домомъ» <sup>1)</sup>.

Понятно, что имперскій надворный совѣтъ только вредилъ своему господину. Онъ постоянно доставлялъ фюрстамъ случай оправдывать свою ненависть къ императору и окончательно разстраивать имперію, парализуя своимъ витѣшательствомъ имперское правосудіе.

Итакъ, императоръ съ своимъ диковиннымъ судилищемъ нисколько не ограничивалъ верховной власти фюрстовъ. Но онъ былъ лишь ничтожнымъ колесомъ въ громоздкой машинѣ имперскаго наряда, завѣщанной средними вѣками. Былъ еще цѣлый рядъ учреждений, составлявшихъ витѣшную форму нѣмецкаго феодализма. Посмотримъ, было ли содержаніе въ этой формѣ, могла ли хоть она сдерживать произволъ фюрстовъ. Мы только-что говорили объ *императорской* юстиціи. Прежде всего опишемъ, въ рендантъ къ ней, имперское правосудіе. Оно олицетворялось въ имперскомъ судѣ или рейхсъ-каммергерихтѣ (Reichskammergericht), который помѣщался въ Ветцларъ (въ Нассау).

#### IV.

##### Имперскій судъ и имперскій сеймъ.

Идея имперскаго суда или рейхсъ-каммергерихта была прекрасна и важна, такъ же, какъ и идея надворнаго совѣта. Это учрежденіе должно было охранять миръ во всей имперіи и разсматривать тяжбы общаго характера, — именно споры между васалами, которые иначе разрѣшались бы кровопролитіемъ. Оно было предназначено къ отбѣнъ средневѣковаго обычая прибѣгать къ суду божію, къ поединку, или кулачному праву. Слѣдовательно, въ немъ былъ залогъ перехода Германіи къ новому порядку вещей. Мало того. Въ имперскомъ судѣ была еще высшая, гуманная идея защиты слабого. Кромѣ Бога, только ему могли жаловаться подданные фюрстовъ на незаконныя и безчеловѣчныя притѣсненія правительства. Но это-то послѣднее обстоя-

<sup>1)</sup> См. въ Моск. архивѣ депеши Голицына указанныхъ годовъ.

тельство и восстанавливало князей противъ имперскаго суда. Большія державы, въ родѣ Австріи и Пруссіи, считали унижительнымъ этотъ контроль надъ ихъ самодержавіемъ: они привыкли распоряжаться своими подданными безъ всякихъ стѣсненій, а имъ подражали мелкія государства Германіи. Каждый фюрстъ старался приобрести «привилегію быть свободнымъ отъ жалобъ» подданныхъ (*privilegium de non evocando* и *non appellando*), или же парализовалъ дѣйствія суда «обращеніемъ (*Rescript*) къ имперскому сейму. Впрочемъ, у фюрстовъ было и болѣе дѣйствительное средство противъ имперскаго правосудія: они вымаривали его голодомъ. Такъ какъ рейхсъ-каммергерихтъ былъ собственнымъ созданіемъ фюрстовъ, и они назначали его членовъ, то они же должны были и содержать ихъ. Но фюрсты то затягивали взносы изъ года въ годъ, то платили испорченной монетой. Въ народѣ толковали: «все сговорилось погубить имперскій судъ—пожаръ, война и моръ, а голодъ терзаетъ его постоянно». И являлся проектъ за проектомъ, чтобы помочь горю. Одни предлагали содержать судей на проценты съ спеціального капитала; другіе совѣтовали ввести особенный налогъ, напримѣръ, новую жидовскую подать; третьи рекомендовали устроить имперскую лотерею. Неудивительно, что вмѣсто 50 членовъ въ судѣ засѣдало 12 и даже 8, да и тѣмъ лишь изрѣдка выдавалось жалованье.

Впрочемъ, не за чтó было и платить имъ. Они ничего не дѣлали. Ихъ проволочки вошли въ пословицу. Умирали челобитчики и сами судьи, проходили поколѣнія, а процессы все не прекращались. Одно дѣло о владѣніяхъ какого-то имперскаго графа тянулось 188 лѣтъ. Подвалы ветцларскаго судилища были завалены нерѣшенными дѣлами, которыхъ въ 1772 году насчитали 61.233. Если когда и являлись ускоренные приговоры, то лишь благодаря постороннимъ вліяніямъ—«рекомендаціи» императора или какого-нибудь «чина», а чаще всего—деньгамъ. Своей продажностью имперскіе судьи славились немного меньше вѣнскихъ надворныхъ совѣтниковъ. За «благодарность» въ Ветцларѣ даже выкрадывали документы. Чтобы поправить это скандальное положеніе имперскаго суда, прибѣгали къ ревизіямъ или «визитаціямъ». Но онѣ оказывали вліяніе лишь до тѣхъ поръ, пока соблюдалось первоначальное правило—производить ихъ ежегодно. Еще съ 1588 года это правило исчезло. Случайныя ревизіи не могли имѣть значенія. Къ тому же, онѣ производились вяло и бессмысленно. Въ 1767 г., горячій Іосифъ II, тотчасъ по вступленіи на престолъ, задумалъ немедленно устроить настоящую ревизію. Приготовленія были обширны. Собирали лучшихъ юристовъ со

всей Германіи. Въ имперіи только и было толковъ, что про знаменитую «визитацію». И что же! Наѣхало въ Ветцларъ 24 ревизора. Они запаслись инструкціями, изданными еще въ 1654 году, начали обсуждать дѣла всѣмъ скопомъ, тотчасъ же запутались и перессорились. Послѣ 9-тилѣтней возни они разошлись «съ великимъ ожесточеніемъ, не оправдавъ надеждъ Германіи», по словамъ современника <sup>1)</sup>).

И у такого-то судилища были еще опасные соперники, которые подрывали его послѣднее значеніе. Кругъ его дѣйствій постоянно суживался. Много дѣлъ вырывала у него то императорская, то мѣстная юстиція фюрстовъ. Особенно гибельно было вліяніе надворнаго совѣта, такъ какъ онъ прямо присвоилъ себѣ главныя имперскія дѣла. Челобитчики судились, по желанію, кто въ Ветцларѣ, кто въ Вѣнѣ, не то разомъ въ обоихъ мѣстахъ. Проигравшій дѣло въ Ветцларѣ непременно переносилъ его въ Вѣну.

Таковъ былъ «палладіумъ нѣмецкой свободы», «перлъ нѣмецкой конституціи», какъ называли рейхсъ-каммергерихтъ сначала серьезно, а потомъ въ насмѣшку. Взглянемъ теперь, какова была основа этой конституціи, которою такъ дорожили и тщеславились нѣмцы. Законодательство нѣмецкой имперіи олицетворялось въ германскомъ парламентѣ, который носилъ названіе *имперскаго сейма* или *рейхстага* (Reichstag), и собирався въ Регенсбургѣ (въ Баваріи).

Имперскій сеймъ наглядно представлялъ объединеніе Германіи. Онъ былъ собраніемъ всѣхъ сколько-нибудь значительныхъ «имперскихъ чиновъ» (Reichsstände), которые распадались здѣсь на три самостоятельныя «имперскія коллегіи». Старшую, «курфюрстскую» коллегію составляли восемь курфюрстовъ, подъ предсѣдательствомъ архіепископа майнцскаго. За нею слѣдовала «фюрстская» или княжеская коллегія. Въ ней числилось сто голосовъ, изъ которыхъ 34 принадлежали духовнымъ фюрстамъ, 60—свѣтскимъ, 2 прелатамъ и 4 имперскимъ графамъ. Предсѣдательство дѣлилось между Австріей и Зальцбургомъ. Третья часть сейма называлась коллегіей «имперскихъ городовъ». Въ ней былъ 51 голосъ. Предсѣдательство принадлежало городу Регенсбургу. Президентомъ всего сейма, или «принципаль-коммиссаріусомъ» былъ какой-нибудь фюрстъ, служившій представителемъ императора. У него былъ помощникъ, «вонкоммиссаріусъ».

Въ средніе вѣка это многочисленное собраніе имперскихъ

<sup>1)</sup> Ср. *Dohm*, III, 12.

чиновъ имѣло смыслъ. Всѣ чины были независимы и равноправны не только по закону, но и фактически. Тогда никто не выдавался особенно матеріальною силою и не подавлялъ другихъ. Сверхъ того, такъ какъ сеймъ собирался рѣдко и не въ опредѣленные сроки, то каждый чинъ дорожилъ имъ, какъ важнымъ событіемъ, и являлся лично защищать свои права и участвовать въ рѣшеніи дѣлъ, касающихся всей имперіи. Но въ XVIII вѣкѣ внутреннія отношенія Германіи измѣнились. Одни князья дошли до ничтожества, другіе достигли могущества. Въ курфюрстской коллегіи Австрія, Пруссія и Ганноверъ, связанный съ короной Великобританіи, подавляли свободу своихъ товарищей. Эти же государства входили и въ составъ фюрстской коллегіи, благодаря нѣкоторымъ изъ своихъ владѣній, причемъ у Австріи было 3 голоса, у Пруссіи и Ганновера даже по 6. Здѣсь, рядомъ съ ними, стояла сильная Баварія, Саксонія и Пфальцъ. Чтò значили подлѣ этихъ имперскихъ тузовъ какіе-нибудь фюрсты Шпильбергенскіе. Къ тому же, княжеская мелочь дѣлилась на два враждебныхъ лагеря—на католиковъ и протестантовъ: первые, конечно, подавали голоса по знаку Австріи, вторые повиновались Пруссіи. Но эти господа составляли еще крупныя единицы въ коллегіи фюрстовъ. За ними слѣдовали ничтожныя аббаты, аббатиссы, командоры подлѣ громкимъ именемъ прелатовъ, да еще «графы и господа» (Негген). Послѣдніе нерѣдко прямо обязывались подавать голосъ «по желанію и благоусмотрѣнію» какаго-нибудь туза. Къ тому же, нигдѣ не было столько шума и раздоровъ, какъ въ этомъ скопищѣ маленькихъ владѣльцевъ. Всѣ-то графы располагали только четырьмя сборными голосами, а между тѣмъ они раздѣлялись на 4 враждебныя коллегіи. Городская коллегія находилась не въ лучшемъ положеніи. Имперскіе города давно пали и тяготились бесполезною ролью членовъ сейма. Обыкновенно они передавали свои голоса членамъ регенсбургскаго магистрата, которые славились своими аккуратными засѣданіями въ полпивныхъ. Одинъ изъ этихъ «герровъ» представлялъ собой на сеймѣ цѣлую половину городовъ. Къ тому же, и въ городской коллегіи были раздоры: она раздѣлялась на двѣ враждебныя «лавки» — швабскую и рейнскую.

Въ средніе вѣка имперскій сеймъ былъ хотя нагляднымъ свидѣтельствомъ единства Германіи. Тутъ дѣйствительно сходились всѣ чины имперіи со всѣхъ нѣмецкихъ странъ. Это торжественное собраніе, окруженное прихотливымъ блескомъ и шумомъ феодальныхъ обычаевъ, доказывало и иностранцамъ, и самимъ нѣмцамъ, что въ центрѣ Европы существуетъ обширная и сильная нація.

Но нѣмцы вообразили, что стѣбитъ только постоянно имѣть подъ рукою это почтенное собраніе—и анархія исчезнетъ у нихъ. Въ 1663 г. сеймъ сталъ «бесзмѣннымъ». Съ этихъ поръ чины, конечно, не могли засѣдать въ немъ, навсегда покинуть свои земли. Ихъ замѣнили «послы» (Gesandte), которыхъ справедливо называли «дипломатическими» агентами, ибо каждый чинъ былъ независимымъ государствомъ. Вскорѣ имперскіе чины охладѣли къ дѣламъ, въ которыхъ они не участвовали лично. Снаряженіе пословъ, которыхъ притомъ нужно было содержать на свой счетъ, казалось имъ тяжелой и дорогой повинностью. Они стали всячески уклоняться отъ него. Обыкновенно въ сеймъ являлось нѣсколько пословъ, нагруженныхъ чужими голосами: у прусскаго и вѣльнскаго бывало по 10 голосовъ, у ганноверскаго — по 9 и т. д. И все-таки никогда не доходило и до половины комплекта; а въ 1788 г. набралось всего 29 голосовъ. Учрежденіе пословъ приносило еще другой вредъ. Они были лишены самостоятельности, должны были строго держаться инструкціи. Это затягивало дѣла и приводило къ злоупотребленіямъ. Чинъ, которому непріятно было извѣстное постановленіе, отговаривался недомолвками въ своихъ инструкціяхъ. Впрочемъ, и безъ этого тормазя трудно было двигаться почтенному сейму, вслѣдствіе неудобной процедуры. Въ каждой коллегіи требовалось большинство; затѣмъ, всѣ три коллегіи должны были рѣшать единогласно, а въ религіозныхъ дѣлахъ весь сеймъ распадался на двѣ новыя коллегіи «Corpus Catholicorum» и «Corpus Evangelicorum». Кромѣ того, императоръ долженъ былъ присоединиться къ сеймовому единогласію, чтобы вышло наконецъ «имперское рѣшеніе» (Reichsconclusum). Но тогда приходила другая бѣда. У фюрстовъ былъ обычай, или вовсе не подчиняться рѣшеніямъ своего собственнаго сейма, или же исполнять ихъ такъ, какъ будто они этимъ оказывали милость сейму.

Можно себѣ представить, какъ шло законодательство имперіи! Засѣдало въ Регенсбургѣ десятка два-три голодныхъ имперскихъ пословъ, которыхъ содержали такъ же скудно, какъ и имперскихъ судей. Дремали они надъ кучей протоколовъ, сообщеній и отношеній, мнѣній, реляцій и корреляцій. Часто на жалобы о вопіющихъ злоупотребленіяхъ получался отвѣтъ: «чины *намырены* заняться этимъ дѣломъ». Какъ надворный совѣтъ славился особенно своей продажною, такъ сеймъ—своей неповоротливостію. Но если какое-нибудь счастливое дѣло получало ходъ, тогда возникалъ шумъ. Коллегіи ссорились между собой; католики препирались съ протестантами, города съ князьями. Сеймъ представ-

лялъ самую оживленную картину, когда возникали вопросы о рангахъ и церемоніяхъ. Прибытіе новаго посла приводило всѣхъ въ движеніе: наводили справки, какого онъ ранга, какъ обходиться съ нимъ, какъ держать рѣчи, дѣлать визиты и ревизиты. Новый годъ и радостное событіе въ семьѣ императора были также фактами первостепенной важности: тутъ сочинялись кудрявыя поздравленія. Затѣмъ шли длинные дебаты о томъ, подавать ли руку рыцарямъ, или—однихъ ли курфюрстовъ подобаетъ величать «вашимъ сіятельствомъ»? Фюрсты спрашивали, отчего бы имъ, кромѣ своихъ зеленыхъ креселъ, не сидѣть еще на красныхъ, предоставленныхъ курфюрстамъ? Не смѣя поставить своихъ креселъ на «имперскомъ коврѣ», они примащивались на его каемкахъ. Уже во время Фридриха II-го какъ-то обошли одного духовнаго фюрста при приглашеніи на обѣдъ: объ этомъ появилось десять политическихъ брошюръ. Споры изъ-за формализма доходили до того, что иногда дѣятельность сейма совсѣмъ прекращалась на нѣсколько лѣтъ <sup>1)</sup>. Какъ щекотливъ былъ сеймъ въ отношеніи формалистики, видно изъ опыта нашего посланника во Франкфуртъ, Николая Румянцева. Когда прислали ему, въ 1783 г., кредитивныя грамоты къ имперскимъ округамъ, онъ смутился. Въ нихъ грамота къ Верхне-Рейнскому округу была адресована на имя *курфюрста майнцскаго*, тогда какъ этотъ архіепископъ былъ «содиректоромъ» упомянутаго округа лишь потому, что считался еще *епископомъ вормскимъ*. Румянецъ опасался, что изъ этой ошибки въ титулѣ «родится новое затрудненіе». «Вы не можете себѣ представить,—писалъ онъ Остерману,—до какой крайности къ мелочамъ и къ обрядамъ, издавна принятымъ, чины германской имперіи привязанность имѣютъ» <sup>2)</sup>.

Позорное состояніе сейма было такъ очевидно, что его нельзя было скрывать. Императоры говорили въ официальныхъ бумагахъ, что «сеймъ только подаетъ поводъ иностранцамъ презирать и осмѣивать нѣмецкую націю». Со всѣхъ сторонъ сыпались на сеймъ жалобы и укоры, въ литературѣ появлялось много проектовъ исправленія этого застарѣлаго зла,—но все напрасно.

<sup>1)</sup> См. любопытные примѣры у *Asseburg'a*: *Denkwürdigkeiten*, hrsg. v. Varnhagen von Ense, 1842, p. 299—300. Еще см. *Dohm*, III, 13—14.

<sup>2)</sup> *Румянецъ Остерману*, въ маѣ 1783 г. Моск. архивъ мин. иностр. дѣлъ.

V.

ИМПЕРСКАЯ АДМИНИСТРАЦІЯ.

Имперская администрація соотвѣтствовала правосудію и законодательству. Въ административномъ дѣленіи, описанномъ нами выше, были весьма существенные недостатки. Оно не охватывало всей Германіи. Мало того: въ составъ десяти имперскихъ округовъ не входили весьма важныя земли. Королевство Богемія, герцогства Пруссія и Силезія, маркграфства Моравія и Лаузицъ считались не областями имперіи, а провинціями австрійской и прусской монархій. Далѣе: распредѣленіе областей по округамъ было неравномѣрно. Мы видѣли, что на сѣверо-востокѣ были большія земли, а на юго-западѣ слишкомъ мелкія. Австрійскій округъ почти нельзя было и считать, по его управленію: это была австрійская монархія, въ которой господствовалъ свой собственный, а не имперскій нарядъ. Точно также бургундскій округъ въ сущности былъ не что иное, какъ провинція австрійской монархіи. Конечно, эти два округа знать не хотѣли распоряженій имперскихъ администраторовъ. А Нижнюю Саксонію можно было назвать прусской областью. Здѣсь вся власть сосредоточивалась во владѣніяхъ прусскаго короля, который, впрочемъ, дѣлился ею съ сильнымъ ганноверо-британскимъ домомъ. Здѣсь, эти двѣ державы, да еще Брауншвейгъ, даже содержали собственные войска, не участвуя въ «имперской» арміи. Въ Верхней Саксоніи Пруссія играла ту же роль, только раздѣляя ее съ другимъ товарищемъ—съ курфюршествомъ Саксоніей. Благодаря ей нѣкоторымъ мелкимъ владѣніямъ, вліяніе Пруссіи простиралось еще на Вестфалію и Франкію.

Но не больше силы имѣла имперская администрація и въ мелкихъ государствахъ. Она сосредоточивалась въ *окружныхъ сеймахъ* (Kreistag). Эти сеймики были очень тщеславны. Они старались копировать до мелочей пышный имперскій сеймъ. У нихъ точно также процвѣталъ формализмъ да споры изъ-за ранговъ и церемоній. Они любили не управлять, а плодить писмоводство. Ихъ учителемъ былъ главный тузъ имперскаго сейма, курфюрстъ майнцскій, которому принадлежала должность «директора имперіи» (Reichsdirectorium), т.-е. главы администраціи. Какъ хороша и сильна была эта администрація, видно изъ того, что она не могла охранять даже земскаго мира. Въ прошломъ вѣкѣ случались просто разбойничьи набѣги членовъ имперіи другъ на

друга, напоминавшіе времена кулачнаго права. Два духовныхъ фюрста, майнцскій и вюрцбургскій, вели формальную войну между собой изъ-за какого-то лѣса, а вѣльнскій и пфальцскій — изъ-за сооружений на Рейнѣ, которыя одинъ строилъ, а другой разрушалъ. Однажды швейнфуртцы несправедливо отняли затравленного зайца у какого-то вюрцбургскаго охотника. За это вюрцбургцы запретили обидчикамъ продавать у нихъ фрукты. Этимъ они такъ проняли швейнфуртцевъ, что тѣ принуждены были, наконецъ, просить у нихъ прощенія. Вообще, случаи самоуправства и неповиновенія имперскимъ властямъ встрѣчались на каждомъ шагу. Послѣ этого нечего и описывать, какъ ничтожна была имперская администрація относительно защиты Германіи отъ внѣшнихъ враговъ. Довольно сказать, что въ случаѣ опасности прибѣгали къ особому учрежденію: нѣсколько округовъ соединялось въ одну «ассоціацію». Такъ, во время войнъ Людовика XIV-го оба Рейна, Франконія и Швабія, наиболѣе угрожаемыя французами, составили, въ союзѣ съ Австріей, ассоціацію «переднихъ имперскихъ округовъ». Потомъ это учрежденіе осталось и въ мирное время, ибо имперская администрація не доставляла ни помощи, ни войскъ.

Состояніе войска и финансовъ всегда служитъ лучшимъ пробнымъ камнемъ для администраціи. Въ нѣмецкой имперіи военное вѣдомство представляло безпримѣрное зрѣлище. Постоянной арміи не существовало. Когда, въ 1702 г., имперскій сеймъ постановилъ учредить ее, самъ императоръ воспротивился этому: онъ боялся, что фюрсты, получивъ оружіе, обратятъ его противъ него. Имперская армія собиралась только въ случаѣ войны. Но проходили годы, пока она могла выступить въ походъ. Всякій чинъ старался свалить тяжесть военной повинности на своего товарища, а многіе и вовсе не ставили солдатъ. Малые государства ссылались на свою бѣдность, большія не желали ослаблять своихъ войскъ ради негодной имперской арміи. Фюрсты кричали, что императоръ хочетъ угнетать ихъ при помощи ихъ же штыковъ; императоръ жаловался на мѣшкотность и сваредность фюрстовъ. Оттого обыкновенно вмѣсто 120,000 въ сборѣ оказывалось только 20,000 солдатъ. Съ великимъ трудомъ, послѣ угрозы и экзекуцій, начальникъ округа принуждалъ мелкихъ фюрстовъ выставить контингенты. Но что это было за войско! Прежде всего фюрстъ отдавалъ свою постоянную армію — дюжину солдатъ, стоявшихъ на часахъ у его дворца или сада. Затѣмъ онъ нанималъ всякій сбродъ, что подешевле, не то очищалъ свои тюрьмы, чтобы вовсе не прибѣгать къ вербовкѣ. Понятно, что имперское воин-

ство представляло собой шайку мародеровъ. Соотечественники страшились своихъ солдатъ пуще враговъ, не давали имъ зимнихъ квартиръ, иногда дубьемъ отгоняли ихъ отъ своихъ поселеній. Сами фюрсты спѣшили отдѣлаться отъ собственныхъ солдатъ. Тотчасъ послѣ войны они продавали ихъ за границу, какъ скотъ, такъ что Фридрихъ хотѣлъ брать пошлину съ этого живого товара, прогоняемаго чрезъ его владѣнія. Снаряженіе имперской арміи возбуждало смѣхъ и жалость. Аммуниція, лошади, экипажи — все было собраніемъ хлама. Ружья и патроны были до того разнокалиберны и плохи, что, напримѣръ, при Росбахѣ стрѣляли только 20 ружей изъ ста. Въ порохѣ чувствовался великій недостатокъ. Во время семилѣтней войны, баварцамъ и виртембергцамъ было приказано «стрѣлять поменьше, чтобы хватило патроновъ». Солдаты голодали отъ скарденности фюрстовъ, а еще больше отъ хаоса въ интендантствѣ. Войско каждаго чина получало не общій, а свой особенный провіантъ, который доставлялся въ разныя мѣста и въ разные сроки.

Впрочемъ, и эта «жалкая» <sup>1)</sup> армія побѣждала, когда ея руководили Евгениіи Савойскіе да герцоги Марльборо. Но такіе полководцы были рѣдкостью, и ихъ насильно навязывали фюрстамъ. Обыкновенно же генералы назначались по интригамъ въ Вѣнѣ. То были отъявленные казнокрады и бездарности, которыхъ нерѣдко покупалъ непріятель. Они ссорились между собой и не исполняли, а «обсуждали» приказы главнокомандующаго. Офицеры были точно также негодны и сварливы. Ихъ назначали различныя правительства, враждовавшія между собой. Каждый фюрстъ, согласно съ своимъ рангомъ, имѣлъ право назначать извѣстный важный чинъ. Въ одной швабской ротѣ имперскій городъ Гмюндъ поставлялъ капитана, городъ Ротвейль — первого лейтенанта, аббатисса фонъ-Ротенмюнстеръ — второго лейтенанта, аббатъ фонъ-Генгенбахъ — прапорщика. Слѣдовательно, ни одинъ офицеръ не могъ повышаться и, конечно, ненавидѣлъ старшіе чины. При такой всеобщей неурядицѣ среди начальства не могло быть дисциплины. Солдаты не повиновались чуждымъ имъ офицерамъ, и обыкновенно находили поддержку въ своихъ фюрстахъ. У нихъ было столько же ожесточенныхъ партій, сколько земель, къ которымъ они принадлежали. Ихъ соединяла только ненависть къ отрядамъ большихъ фюрстовъ, особенно къ австрійцамъ и

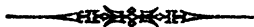
<sup>1)</sup> Такъ называли ее сами нѣмцы по слѣдующему случаю. Однажды въ манифестѣ имперскаго сейма, которымъ созывалась армія, выразилась роковая опечатка: вмѣсто „*elende* Armee“ (послѣдняя армія) — „*elende*“ (жалкая).

пруссавамъ, которые, въ свою очередь, смотрѣли на нихъ съ презрѣніемъ и стыдились называть ихъ своими товарищами. Конечно, солдатамъ легко было покидать свои знамена, и они дезертировали толпами. Дома, и народъ, и правительство принимали бѣглецовъ съ распростертыми объятіями, проклиная имперскую армію. И не одни низшіе классы относились такъ къ этой арміи. Въ XVIII вѣкѣ она была предметомъ насмѣшекъ всѣхъ образованныхъ нѣмцевъ и литературы. Горячій патріотъ, Юстусъ Мозеръ, несмотря на свой упорный консерватизмъ, часто развивалъ такую мысль: «во время войны, въ имперской арміи обнаруживается столько всякихъ недостатковъ, что должно запретить нѣмецкой имперіи воевать, пока не измѣнится ея нынѣшнее устройство». Послѣ всего сказаннаго, удивительно ли, что въ важныхъ случаяхъ, какъ, напримѣръ, въ войнѣ съ Людовикомъ XIV, главные государства Германіи поднимали ополченіе и вели войну помимо имперскихъ учреждений? Финансы имперіи находились въ подобномъ же положеніи, тѣмъ болѣе, что они были связаны съ военнымъ устройствомъ. Собственно чины давали только на содержаніе имперскихъ войскъ. Взносы производились ежемѣсячно, и назывались «римскимъ мѣсяцемъ» (Römerrat). Но этотъ налогъ казался чинамъ грабежомъ. Каждый изъ нихъ старался уклониться отъ него. Одинъ отговаривался бѣдностью, другой доказывалъ, что на него наложили лишнее. Къ тому же, всѣ кричали, что эти деньги императоръ кладетъ себѣ въ карманъ, такъ какъ онѣ доставлялись прямо ему, а его отчеты были дѣйствительно непонятны.

Сильныхъ владѣтелей нельзя было принудить къ правильному отбыванію повинности, а мелкіе фюрсты ссылались на крупныхъ. Въ 1731 г. вздумали строить зданіе для имперскаго суда, и назначили для этого одинъ «римскій мѣсяцъ». Но прошло 34 года — и только два курфюрства внесли свою долю. Такимъ образомъ, «имперская операціонная касса» пустѣла съ каждымъ годомъ. Сначала въ ней было 130,000 гульденовъ, а во время Фридриха II-го — менѣе 60,000. Да и эту кассу обкрадывали со всѣхъ сторонъ, такъ какъ она хранилась въ разныхъ окружныхъ кладовыхъ. Съ цѣлью помочь бѣдѣ, стали собирать ее въ одномъ мѣстѣ, но тутъ вышла другая бѣда: воры начали сразу таскать все.

Таково было общее политическое положеніе Германской имперіи за сто лѣтъ предъ симъ.

А. ТРАЧЕВСКІЙ.



---

# ПО СЕЛАМЪ И ЗАХОЛУСТЬЯМЪ

ДЕРЕВЕНСКІЕ РАЗСКАЗЫ О. ЗАВЫТАГО.

---

## I.

### Христославы.

---

## I.

Утренняя кончилась. Народъ толпами валить изъ церкви. Въ темнотѣ слышится шумный говоръ. Изъ массы голосовъ рѣзко выдѣляется густой басъ зажиточнаго деревенскаго дворника — харчевника:

— Нонче наши духовные что-то проіопоздали. Давече слышу— въ Рѣпномъ давно уже благовѣстать, а у насъ все молчать. Проспали, а теперь и начать какъ угорѣлые по дворамъ-то бѣгать: ни тебѣ пропоютъ, ни поговорять, какъ должно. И выходитъ:—черезъ семьдесятъ могилъ разорвали одинъ блинъ...

— Что-жъ, тебѣ мужъ-то прислалъ что-нибудь къ празднику? —спрашиваетъ надорванный, болѣзненный женскій голосъ.

— А какъ же? Онъ мнѣ каждый разъ... Вотъ теперь прислалъ ботинки, чулки со стрѣлками, платокъ заграничный, да десять цѣлковыхъ деньгами.

— Любо такъ-то вотъ... А мой оглашенный завертѣлся гдѣ-то; ни глазъ не кажетъ, ни вѣсточки не шлетъ, — не токъ-то объ женѣ промыслить. Добрымъ людямъ праздничекъ-то радость,

а мнѣ слезы. Вотъ сейчасъ попы придуть, а у меня хоть бы грошъ за душой. Просила у Авсиньи Христомъ-Богомъ двугривенный взаимъ,— не дала. А нѣшто бы я не заплатила? Тоже вѣдь хочется, какъ люди...

— Да ты бы ко мнѣ-то... Въ двугривенномъ важности не состоитъ. Справишься — отдашь.

— О-о, матушка!—слезливо протянулъ болѣзненный голосъ:— пошли тебѣ царца небесная вдвое-втрое.

## II.

Въ домъ отца дьякона ворвалась толпа крестьянскихъ ребятишекъ — христославы. Ребятишки разлетѣлись-было въ залъ, но дьяконица крикнула на нихъ, и они отхлынули въ переднюю. Запыхавшись, перебивая и обгоняя другъ друга, они начали бойкимъ речитативомъ отчеканивать тропарь и кондакъ праздника. Въ то время, какъ одни отбивали «звѣздой учахуся», другіе уже катали «вертепному приступному приносить», а третьи, не успѣвая выговаривать словъ, отдѣлывались мычаньемъ. Между тѣмъ въ ту же переднюю ворвалась новая партія такихъ же христославовъ, и, не обращая вниманія на то, что первая еще не кончила, торопливо начала свой речитативъ. Прославивши Христа, мальчишки дружно запумѣли:

— Хозяина съ хозяйюшкой съ праздникомъ, а намъ по копѣечкѣ!

— Мелкихъ нѣтъ, ступайте!—озадачила мальчишекъ дьяконица.

— Да, вишь ты! Какъ ваши въ напимъ придуть, такъ батюшка всѣхъ обдѣляетъ,—замѣтилъ какой-то бойкій мальчуганъ.

— Еще разговариваетъ, пострѣленокъ! — строго проговорила дьяконица.—На-те вамъ семитку на всѣхъ.

— Чего же тутъ? Давай еще!—приставалъ тотъ же бойкій мальчуганъ: — да раздѣли сама, потому—инимъ не за что. Мы всю зиму учились славить, а вотъ Гараська вчера только зачалъ; онъ и не пѣлъ, а мычалъ только.

— Ступайте, ступайте! нечего тутъ... Снѣгу натащили, избу настудили, — пошли вонъ!

Мальчишки съ шумомъ ринулись въ сѣни.

## III.

Отецъ дьяконъ, придя отъ утрени, помолился предъ иконами и прославилъ Христа. Шуринъ его, «философъ», Гаврилъ Васильевичъ, подтягивалъ ему теноркомъ.

— Ну, съ праздникомъ тебя, хозайка!—благодушно произнесъ отецъ дьяконъ, поцѣловать супругу и слегка кивнуль тебѣ.

— По селу сейчасъ пойдете?—спросила дьяконица.

— Какъ водится. Нужно поспѣшить, чтобы до обѣдни кончить. Вѣдь тридцать-шесть домовъ... Дай-ка мнѣ поскорѣ старшій подрясникъ, а то этотъ захлюпаешь по снѣгу, да по порогамъ... Нынче мы по лѣтошнему,—опять съ попомъ врозь славить будемъ,—изъяснялъ отецъ дьяконъ, переодѣваясь:—онъ отдѣльно, а я съ дьячками.

— Зачѣмъ?

— Такъ выгоднѣй. Когда мы всё вмѣстѣ славили, такъ намъ давали обыкновенно гривенникъ на всѣхъ. Изъ него мнѣ двѣ копейки съ половиной, дьячкамъ — по копѣйкѣ съ четвертью. А безъ попа-то мнѣ дадутъ гривну, а дьячкамъ по семитеѣ. Какъ же можно сравнить, большая разница... Ты что же, Гавря, не собираешься?—обратился отецъ дьяконъ къ шурина.

— Братецъ, пожалуйста позвольте мнѣ не ходить,—взмолился Гавря:—мнѣ совѣстно... я ужъ не мальчишка.

— Ты оставь эти причитанья-то,—внушительно заговорилъ отецъ дьяконъ:—совѣстно!.. Воровать что-ль ты пойдешь? По-твоему, стало быть и мнѣ совѣстно?.. Не мальчишка... А кто же ты? Еще не Богъ знаетъ, какой профессоръ. Кончи курсъ, сядь на свои хлѣбы, тогда и совѣстись...

Философъ, скрѣпя сердце и стиснувъ зубы, лѣниво потянуль на себя тулупъ.

Пришли дьячки, каждый съ маленькимъ сынишкой, и тоже прославили Христа. Клирики поздравились, понюхали вмѣстѣ табачку и тронулись въ путь. У порога въ передней Гаврю догнала старушка мать.

— На вотъ тебѣ.

— Что такое?

— Вѣрижки.

— Не нужно,—угрюмо проговорилъ Гавря.

## IV.

По селу вездѣ топятся печи. Въ воздухѣ пахнетъ дымомъ. Сквозь закопѣлыя окна крестьянскихъ избъ пробивается слабый свѣтъ и бѣлыми полосами ложится поперекъ дороги. Воклѣ постоялаго двора гремитъ блокъ: кто-то достаетъ воду съ колодезя. Клирики приближаются къ крыльцу дворника.

— Что-жъ, «Дѣву»-то протяжную что-ль пропоемъ?—спрашиваетъ отецъ дьяконъ своихъ сподвижниковъ.

— Гм... Кто его знаетъ,—отозвался дьячокъ.—По настоящему, не стоить онъ этого: грубъ оченно, да и давать-то сталъ скаречно. Слѣдовало бы его хоть разъ проучить, чтобъ не знавался.

— Ну, ладно: простую «Дѣву» ему нынче,—рѣшилъ отецъ дьяконъ. Теперь у него деревенскихъ много въ избѣ,—обѣдни дожидаются. Бывало, онъ предъ ними рисуется, что для него такую «Дѣву» поютъ,—стоитъ, бороду разглаживаетъ, дескать: вотъ меня-то какъ ублажаютъ, не то, что васъ... Вотъ мы его нынче и разубажимъ.

Клирики вошли въ огромную, безъ всякихъ перегородокъ, избу дворника. Полъ въ ней былъ весь устланъ соломой. Народъ, размѣщавшійся на примостѣ воклѣ печки и, по давкамъ, зашевелился и столпился въ кучу въ ожиданіи «славенья». Христовы приближились къ длинному столу и заѣли. Дворникъ, озадаченный «простою Дѣвою», сморщился и утеръ лобъ рукавомъ полушубка.

— Вы, отцы, нонче что-то не по прежнему,—съ смущеніемъ и вмѣстѣ съ упрекомъ проговорилъ дворникъ, отдѣлая христовъ.

— Да и ты, Степанъ Егорычъ, нынче не по прежнему,—отвѣтилъ дьяконъ, взвѣсивая на ладони мѣдный пятакъ.

— Какъ поютъ, такъ и даютъ,—изъяснилъ Степанъ Егоровъ.

— Мы сами знаемъ пословицы-то,—продолжалъ дьяконъ, опуская пятакъ въ карманъ.—Посади... за столъ, она и ноги на столъ. (Отецъ дьяконъ съ тонкою предусмотрительностію воздержался отъ названія того животнаго, о которомъ идетъ рѣчь въ пословицѣ). Послѣ этого къ тебѣ и ходить совсѣмъ не стоить,—заклучилъ отецъ дьяконъ и направился къ двери.

— Какъ знаете. Губы толще, брюхо тоньше,—проговорилъ дворникъ глухимъ голосомъ, и тряхнулъ вудрами.

## V.

Христославы вошли въ сосѣдній домъ. Здѣсь, на столѣ передъ святымъ угломъ была насыпана ржаная мука и, широко расплываясь, сидѣли въ два ряда сырые ситники и пышки. По конецъ стола стоялъ свѣтецъ съ горѣвшею лучиною, пускавшею отъ себя волнообразную струйку ѣдкаго дыма. Обгорѣвшіе кончики лучины съ шипѣніемъ падали въ поставленную подлѣ свѣнца ладанъ. Изъ-подъ примоста виднѣлась голова новорожденного теленка. Двѣ женщины, подоткнувши юбки и высоко засучивъ рукава, хлопотали возлѣ топившейся печи.

— Ахъ, батюшки родимые!—воскликнули стряпухи, увидѣвъ вопедшихъ христославовъ, и торопливо поправляя свой туалетъ.— Какая у насъ срамота-то!.. Вы прежде какъ будто не объ эту пору ходили?

— Съ чего вы взяли!—серьезно проговорилъ отецъ дьяконъ:—всегда въ эту пору.

— Скорѣй свѣчку къ образамъ! А столъ-то не накрытъ,—ахъ ты, Господи! Гдѣ скатерть? Кошка-то, кошка-то въ святомъ углу,—ахъ, окаянная!..

Пока хозяйки такимъ образомъ суетились, клирики успѣли уже прославить.

— Ну, съ праздникомъ, молодки, — произнесъ дьяконъ, крестясь.

— Да какъ же это такъ? Мы и помолиться не успѣли,—съ сожалѣніемъ проговорили молодки въ одинъ голосъ.

— Ничего, послѣ помолитесь,—замѣтилъ пономарь.—Сами виноваты. Что-жъ намъ—ждать что-ли васъ?..

Одна изъ молодыхъ проворно полѣзла въ полку, достала оттуда чайное блюдечко съ мѣдными деньгами и съ низкими поклонами начала одѣлать христославовъ. Христославы собрались было уходить.

— Да,—произнесъ дьячокъ, остановившись въ дверяхъ:—у васъ, кажется пеньки много?

— Откуда, батюшка, много? нонче конопля плохо родилась,—отозвалась одна изъ хозяекъ.

— А все-таки есть?—продолжалъ допрашивать дьячокъ.

— Да есть-то есть... малость.

— Вотъ бы намъ хоть немножко. А то ни возжишекъ, ни завертокъ не изъ чего свить; все покупать приходится.

— Да она у насъ въ амбарѣ. Теперь дѣло ночное...

— Давай—я съ тобой пойду.

— Охъ, ну ужъ пойдемъ, коли...

## VI.

У крестьянина Сергѣя Кузьмина христославы нашли все въ должномъ порядкѣ. У образовъ зажжена была восковая свѣчка; на столѣ постлана бѣлая скатерть. Самъ хозяинъ стоялъ посреди избы, одѣтый въ дубленый полушубокъ и совсѣмъ готовый къ встрѣчѣ «поповъ».

Во время «славленья» хозяинъ размахисто и энергично творилъ крестное знаменіе, стуча пальцами по полушубку. Сынишка его, лѣтъ четырехъ, стоя на лавкѣ за столомъ, нетвердо водилъ рученкой по груди и поглядывалъ то на «поповъ», то на отца.

Прославили. Дядя Сергѣй досталъ изъ полушубка большой кожаный кошелекъ, замотанный ремешкомъ, высыпалъ изъ него на ладонь нѣсколько мѣдныхъ монетъ, отсчиталъ «подобающее» и одѣлилъ дьякона, дьячка и пономаря. Сынишки дьячка и пономаря вытянули руки предъ самымъ кошелькомъ дяди Сергѣя. Дядя Сергѣй сдѣлалъ видъ будто ничего не замѣчаетъ. «Подойди поближе», шепнулъ отецъ дьяконъ своему философу. Философъ подошелъ.

— Сергѣй Кузьмичъ, ребятамъ-то, ребятамъ-то что-нибудь, — проговорилъ пономарь.

— А, стрикулисты!—воскликнулъ дядя Сергѣй, какъ будто въ первый разъ увидѣвъ ребятокъ. —И вамъ тоже дать?

Онъ разставилъ ноги и пытливо поглядывалъ на стрикулистовъ.

— На что же вамъ? на бабки что-ль?

— Нѣтъ, дядюшка, мы вѣдь учимся, — умоляющимъ голосомъ проговорилъ дьячковъ первоклассникъ.

— Учитесь? А мнѣ-то какое дѣло? — продолжалъ Кузьмичъ. Если-бъ вы выучились, да тогда мнѣ бы что-нибудь дали, а то опять-таки съ насъ будете собирать. Нѣтъ, — рѣшилъ дядя Сергѣй, — не дамъ:—не за что вамъ—и спряталъ кошелекъ въ карманъ.

Ребята опустили руки.

— Ну, Кузьмичъ, полно тебѣ ломаться-то, — вступился дьячокъ. — Какъ не за что? Развѣ ты не слыхалъ, какъ они въ церкви-то поютъ? Дай ужъ имъ по копѣечкѣ.

— Ну, что съ вами дѣлать, — проговорилъ Кузьмичъ, перемѣнивъ тонъ, и снова полѣзъ въ карманъ. — Учитесь, учитесь, — назидалъ

онъ ребятахъ, одѣляя ихъ по копѣечкѣ и глядя каждаго по головѣ.—А часто васъ стегаютъ-то въ шеюлѣ?

— И, что ты, Кузьмичъ! у нихъ этого и въ поминѣ нѣтъ,—замѣтилъ дьячокъ.

— Эге, вонъ они какіе,—произнесъ дядя Сергѣй:—ай да молодцы! А что поють, это ты,—Гаврилычъ, вѣрно... Вѣдь какъ они знатно вамъ подвизгиваютъ! Совсѣмъ не то, что вы съ Потапычемъ вдвоемъ-то гудите.

Во время этой бесѣды вошли просвири съ сумкою подъ мышкой.

— Здравствуй, Кузьмичъ!

— Здорово. Чтб, и ты славишь?

— Славить — не славлю, а такъ... по положенію... за просвиры.

— Тебѣ вотъ ужъ совсѣмъ не слѣдъ ходить. За какія это просвиры ты собираешь? Я твоихъ просвиравъ не ѣмъ. Придешь приобщаться, вотъ этакой кусочекъ дадутъ, и то деньги отдашь.

— Да что-жъ, Кузьмичъ, вѣдь не ты одинъ...

— То-то не я!... На вотъ,—а ходить тебѣ вовсе не слѣдъ.

— Спасибо. Ну, а хлѣбца-то,—переминаясь проговорила просвири.

— Анна, дай тамъ...—съ нѣкоторой досадой пробормоталъ Кузьмичъ.

Просвири уложила конецъ ржаного пирога въ сумку и пошла за христославами.

## VII.

— Къ бабулѣ Федосѣ хотъ не ходи: не разживешься,—говорилъ пономарь предъ крыльцомъ крошечной, покосившейся избышки.

Войдя въ избышку, христославы увидѣли сидѣвшую на прикормѣ, на соломѣ, блѣдную, исхудалую старуху, повязанную бѣлымъ платкомъ и прикрытую какими-то лохмотьями. Возлѣ нея стояла молодая, бѣдно одѣтая женщина, съ страдальческимъ выраженіемъ лица, и какъ-то боязливо помаргивала.

Пѣніе кончилось. Старуха простонала:

— Отцы вы мои, подойдите вы ко мнѣ поближе.

Отцы подошли.

— Спасибо вамъ, кормильцы, что вы мнѣ прославили-то. Охъ!... утѣшили вы мою душеньку. Каково мнѣ въ этомъ-то

положеніи! Ударили давеча къ заутренѣ,—у меня сердце кровью облилось. Бывало-то... Господи... Охъ!.. Ужъ не обезсудите, родные: заплатитъ мнѣ вамъ нечѣмъ. Добыткика нѣтъ у насъ, а сама я вишь вотъ какая. Охъ!.. И бабенка-то возлѣ меня смоталась: во всѣ концы одна. Обождите ужъ до Крещенья: авось тогда Господь... Охъ!..

— Да за тобой, бабушка, еще прежнихъ есть, — проговорилъ пономарь.

— Помню, родной, все помню. Потерпите, авось Господь... Старуха закашлялась.

— Ну, прощай, бабушка! Поправляйся, — произнесъ дьяконъ, надѣвая шапку.

— Простите, милые. Спасибо. Марьюшка, посвѣти ты имъ, касатка; а то у насъ въ сѣняхъ-то... Охъ!

И старуха снова закашляла.

## VIII.

Часа три христовлавы обивали пороги крестьянскихъ избъ, глотали дымъ лучины, созерцали телятъ и ягнятъ, вступали въ препирательство изъ-за гроша, изъ-за горсти пеньки и выслушивали объясненія въ родъ: — «не обезсудите, обождите, авось Господь...» и т. п.

Возвращаясь домой, клирики разсуждали:

— Годъ отъ году народъ все хуже становится. Гдѣ прежде давали пятачокъ, теперь и трехъ копейекъ не даютъ; гдѣ, бывало, — семитку, тамъ и совсѣмъ стали отказывать. Вотъ тутъ и живи!...

— Еще хорошо, что на святкахъ по чужому приходу можно ходить, а то бы бѣда!... Послѣ обѣдни къ Годневу?

— Разумѣется. Онъ однажды навсегда сказалъ, чтобы къ нему прямо послѣ обѣдни. Нельзя же не уважить его: баринъ, да еще чужого прихода. Откажетъ и — ничего не подѣлаешь. А вѣдь дѣло-то рублемъ пахнетъ. Не хорошо только, что къ нему нужно ѣхать непременно съ попомъ. Мѣшаетъ онъ намъ: голосу нѣтъ, пѣть не умѣетъ. Какъ запоемъ съ нимъ «Дѣву», точно по лѣсу съ бороной ѣдемъ.

— Да ужъ какъ тамъ ни ѣдемъ, а у Годнева положено — цѣлковенный.

— Такъ-то такъ, а все-таки... честь лучше безчестья...

«Изъ-за чего я таскался?» думалъ между тѣмъ Гавря, та-

щась за клириками: «полтинника не собралъ, — а пытка-то какая! Нѣтъ, я не пойду по этой дорогѣ. Богъ съ ними! пускай другіе славятъ».

## IX.

Послѣ обѣдни клирики наскоро разговѣлись, запрягли лошадей и, забравъ своихъ «стрикулистовъ», длиннымъ поѣздомъ двинулись къ Годневу.

— Какое-то нонче возраженіе задастъ намъ Годневъ, — проговорилъ отецъ дьяконъ дорогой, не то про себя, не то обращаясь къ Гаврѣ.

— Развѣ онъ непременно даетъ вамъ возраженія? — спросилъ Гавря.

— Всегда; это у него ужъ положено. Какъ — Господи благослови — прославивши, садѣмъ за столъ, такъ онъ сейчасъ и возраженіе. Надобно сказать — непріятная исторія! Съ какой это стати? Къ чему пристало? экзаменаторъ какой...

Въѣхавши въ усадьбу Годнева, клирики поставили лошадей возлѣ амбаровъ и отправились въ контору привести себя въ порядокъ. Здѣсь они сняли съ себя тулупы; священникъ и дьяконъ облеклись въ суконныя рясы и расчесали себѣ волосы (для мальчугановъ снятіе тулуповъ считалось необязательнымъ). — Вотъ христославы одинъ за другимъ направились къ барскому дому. На крыльцѣ этого дома стоялъ небольшого роста сѣдой мужчина, съ орлинымъ носомъ, черными, сверкающими глазами, густыми нависшими бровями и съ длинными усами. Это былъ Годневъ. Лишь только христославы приблизились къ крыльцу, Годневъ скомандовалъ: «здѣсь не ходятъ, прошу на то крыльцо» и, повернувшись на каблукахъ, скрылся за дверью. Христославы поворотно повернули налѣво-кругомъ, и, утопая чуть не по колѣно въ снѣгу, побрели къ крыльцу, въ которое «ходятъ». «Этакой вѣдь уродъ», бормоталъ священникъ, подобравъ полы рясы: — «здѣсь, говорить, не ходятъ; а по сугробу-то это-жъ ходитъ? Должно быть, мы одни»...

Войдя въ домъ, христославы долго обтирали ноги и отрясали подошвы; наконецъ они потянулись въ залъ, оставляя за собой слѣды на паркетномъ полу.

Во все время пѣнія Годневъ стоялъ на колѣняхъ и усердно молился.

— Батюшка, пожалуйста съ отцомъ дьякономъ, — проговорилъ онъ, приложившись къ кресту.

Священникъ, снявъ эпитрахиль, завернулъ въ нее крестъ, отдалъ дьячку и на цыпочкахъ тронулся за хозяиномъ, обѣими руками поправляя себѣ волосы. За нимъ, покашливая и потирая руки, послѣдовалъ и отецъ дьяконъ. Остальные христославы ретировались въ переднюю, гдѣ для нихъ приготовлена была закуска. Столенувшись на дорогѣ съ горничной, Годневъ вскинулъ на нее брови и молча указалъ на слѣды, оставленные христославами на полу залы. Черезъ минуту горничная побѣжала въ залъ съ тряпкой...

— Фу ты, Боже мой, проговорилъ дьяконъ, садясь послѣ въ сани весь красный и взволнованный: точно въ банѣ побывалъ!...

— Что, возраженіе было? — спросилъ Гавря.

— Было — чтобъ его совсѣмъ!.. Измучилъ окончательно. Только-что усѣлись, онъ сейчасъ: скажите, говоритъ, мнѣ пожалуйста, отчего у насъ паска празднуется въ различные числа? Что ни годъ, говоритъ, то разница. Попъ говоритъ: такъ древняя церковь праздновала. — Да что, говоритъ, мнѣ древняя церковь? Я хочу знать, почему это такъ. Тутъ ужъ мы съ попомъ и такъ и сякъ изворачивались, — нѣтъ, все не по немъ. Раскричался даже. Такъ-то, говоритъ, мнѣ всякая баба отвѣтитъ; а вѣдь васъ учили богословію, говоритъ. Для меня дорого, говоритъ, знать число своего рожденія; и — вдругъ я не знаю, какого именно числа воскресъ мой Спаситель! И пошелъ, и пошелъ... Потомъ началъ насчетъ крестьянъ, зачѣмъ у него отобрали ихъ. Что, говоритъ, я былъ и что сталъ? У меня, говоритъ, теперь и прислуги почти нѣтъ. Просыпаюсь, по привычкѣ кричу: Иванъ! — нѣтъ Ивана. Самъ, говоритъ, для себя Иваномъ сталъ. А я ли, говоритъ, отечеству не служилъ?.. Кто-то ему сдура сказалъ, что въ Питерѣ написали комедію, не то еще что-то такое, подъ заглавіемъ: «Всѣ подлецы». Объ этомъ опять шумѣлъ, шумѣлъ... Какъ, говоритъ, всѣ подлецы? Стало быть и я подлецъ?! Да я, говоритъ, — я этого не потерплю и не оставлю. Куда это, говоритъ, правительство смотреть? Послѣ этого жить нельзя честному гражданину. И много, много, этакое болталъ. Мы слушали, слушали съ попомъ, — истомились совсѣмъ. Ну, что ему тутъ скажешь? Хотимъ встать, — сердится, не пускаетъ: погодите, говоритъ, посидите еще. Чистое наказанье! Мы даже не пили и не ѣли путемъ. Дьячкамъ гораздо лучше нашего было; они тамъ на свободѣ и выпили, и закусили себѣ, какъ слѣдуетъ, — безъ всякихъ этихъ возраженій и разсужденій... Вотъ сейчасъ заѣдемъ къ бурмистру: тамъ отдышка хорошая будетъ, и истязаній терпѣть не придется.

## X.

Христославный поѣздъ остановился подлѣ двухъ-этажнаго деревяннаго дома бывшаго бурмистра. По широкой, грязной лѣстницѣ христославы поднялись въ «покои». Хозяинъ, толстый, приземистый мужикъ, съ цѣлой копной волосъ на головѣ и съ предлинной бородой, въ суконной поддѣвкѣ на распахну, отворилъ дверь христославамъ и провозгласилъ:

— А, трубы божьи! Добро пожаловать. Ну-те-ка, вострубите мнѣ, вострубите.

Христославы вострубили.

— Съ праздникомъ, Ѳеодотъ Захарычъ! Какъ поживаете?— произнесъ отецъ дьяконъ.

Ѳеодотъ Захарычъ склонилъ голову на-бокъ, растопырилъ руки и какъ-бы въ раздумьи проговорилъ:

— Хотѣлъ-было сказать—вашими молитвами, да вѣдь вы за меня не молитесь?..

— Какъ не молимся,—что вы?—возразилъ отецъ дьяконъ.— Мы за всю братію и за вся христіяны.

— Денно, ночью,—подобострастно вставилъ пономарь.

— Ну, тамъ... захотите, помолитесь,—махнувъ рукой, проговорилъ хозяинъ:—а теперь ѣшь, пей, веселися. Вотъ вамъ мои блага.

И Ѳеодотъ Захарычъ указалъ на столъ, уставленный бутылками и разнаго рода закусками.

Причтъ уѣлся. Гавря подошелъ къ отцу дьякону и тихо спросилъ:

— Вы долго тутъ пробудете?

— Да, посидимъ-таки. Сядь, закуси.

— Я ничего не хочу. Пожалуйста поскорѣй.

Гавря спустился по лѣстницѣ на крыльцо и помѣстился на лавочкѣ.

Привязанныя къ крыльцу лошади дремали, наклонивъ морды. Стая воробьевъ и голубей выбирали на притоптанномъ снѣгу овсяныя зерна. Мимо крыльца прошли двѣ нарядныя бабы и молча осмотрѣли Гаврю съ ногъ до головы. Прошелъ пьяный, едва сохраняющій равновѣсіе, мужикъ и, тупо взглянувъ на философа, съ усиліемъ произнесъ:

— Ты... что? А-а, понимаемъ. Всякъ свое дѣло знаетъ. А мы свое знаемъ. Ва-али, и все тутъ.

Изъ-за угла вывернулся, съ гармоникой въ рукахъ, кузнецъ и, увидавъ Гаврю, направился къ нему.

— Здравствуй, церковный человѣкъ!

Гавря поклонился.

— Прославить заѣхали?

— Да.

Кузнецъ присѣлъ возлѣ Гаври.

— Ну, отсюда, пожалуй, не скоро выберутся. Ѳедотъ Захарычъ умѣетъ принять духовныхъ. Теперь еще что... Прошла его слава, повороче себя сталъ держать. А вотъ какъ онъ бурмистомъ-то былъ, — Господи, что тутъ бывало! Ты этого ужъ не засталъ: тогда ты еще маленекъ былъ.

— Что же тутъ бывало?—полюбопытствовалъ Гавря.

— И-и, чудеса! — произнесъ кузнецъ, покачавъ головой. — Бывало, въ первый день праздника къ нему селъ изъ десяти попы понаѣдутъ «славить». Прославивши, всѣ сядутъ за столъ, и какъ сядутъ, такъ пабашъ! Прощай приходъ и все на свѣтъ... У Ѳедота Захарыча, бывало, первое дѣло пуншъ. Вотъ онъ заведетъ, бывало, какую-нибудь матерію, а самъ накатываетъ да накатываетъ ихъ этимъ пуншемъ. Тѣ разговарятся, расшумятся и не замѣчаютъ, какая у нихъ голова дѣлается. И сидятъ они такимъ манеромъ до пѣтуховъ, повелъ ни съ мѣста. Тутъ, бывало, Ѳедотъ Захарычъ прикажетъ ввалить всѣхъ въ сани и развезть по домамъ.

Помолчавъ съ минуту, кузнецъ продолжалъ:

— А что, бывало, съ народомъ-то раздѣлывается!.. Праздничнымъ дѣломъ выйдетъ, бывало, на улицу въ хороводъ и прикинется пьянымъ-распьянымъ. Войдетъ въ кругъ, шляпу на бекрень, поддѣвку на распаху, руки ферткомъ: величайте меня, такіе-разэтакіе! Начнутъ его величать, а онъ хлопъ на-земъ и лежить. Ну, просто безъ чувствъ, совсѣмъ безъ чувствъ человѣкъ, и шляпа отлетитъ въ сторону. Тутъ бабы инныя сквозъ зубы величаютъ его, а другія въ ту-жъ пору, по простотѣ, сболтнуть что-нибудь про него. Какъ онъ, бывало, всочить — и ну, по мордамъ: хлясь! хлясь! то ту, то другую. Бабы смотреть, а онъ совсѣмъ и не пьянъ. Вотъ вѣдь какъ!.. Надъ своей Степанидой Степановной и то какія наругательства чинилъ. Вѣдь одна только слава, что Степанида Степановна, а она ему равно бы и не жена, такъ, служанка какая-то... Теперь что, — теперь онъ образился, какъ изъ бурмистовъ-то его высадили. И то все еще дуръ пробивается.

Къ Гаврѣ сбѣжалъ по лѣстницѣ первоклассникъ.

— Тебѣ велѣли на-верхъ: сейчасъ одѣлять будутъ...

Разсчетъ конченъ; христовы вышли на улицу.

Пономарь, прислонясь къ оглоблѣ, сосредоточенно и медленно разжималъ свой кулакъ и чего-то досматривался.

— Отецъ дьяконъ, стойте, стойте! — вскричалъ онъ, наконецъ, когда дьяконъ, усѣвшись въ сани, уже стегнулъ лошадь.

Отецъ дьяконъ натянулъ возжи и оглянулся. Пономарь подбѣжалъ къ санямъ дьякона. Физиономія его сіяла, глаза горѣли.

— Сказать? — произнесъ онъ, едва переводя духъ.

— Сколько? — лаконически спросилъ дьяконъ, сразу понявъ въ чемъ дѣло.

— Двугривенный! — торжественно воскликнулъ пономарь и щелкнулъ пальцами. — Ей-Богу, думалъ, что копѣйка серебромъ. Зажалъ въ руку, думаю: ну, дѣло сходить на нѣтъ. Возлѣ лошади взглянулъ — двугривенный! Фу, ты, Боже мой... Съ роду по столько не получалъ. Не передъ добромъ должно быть.

Лошадь отца дьякона дернула, и пономарь, державшійся за спинку саней, растянулся на дорогѣ.

## ХІ.

Въ домѣ купца Мухоморова христовы нашли нѣсколько притовъ изъ окрестныхъ селъ. «Отцы» сидѣли въ глубинѣ сцены за закуской; «дѣти», стрикулисты, въ тулупахъ и валенныхъ сапогахъ, занимали съ дюжину стульевъ возлѣ стѣны у передней.

— Присоединяйтесь! — произнесъ рыжій купчина, обращаясь къ вновь прибывшимъ, послѣ того, какъ они прославили.

И присоединились отцы къ отцамъ, дѣти къ дѣти.

— Ну, что-жъ вы приуныли? — воскликнулъ купчина: — кажется, есть чѣмъ развеселиться. Отецъ Федоръ, начинай-ка по старшинству.

— Да что, Иванъ Денисычъ, начинать ли?

— А что?

— Да поясница что-то болить; думаю, не геморой ли.

Купчина разразился громкимъ хохотомъ.

— Ну, выдумалъ — геморой! Ха-ха-ха-ха! Сказать, отчего у тебя поясница болить?

— Скажите, — сконфузившись, проговорилъ отецъ Федоръ.

— Оттого, что у тебя жена еще молода.

Объясненіе купчины было встрѣчено дружнымъ хохотомъ отцовъ.

— Что это вы, Иванъ Денисычъ, Богъ съ вами!—еще болѣе сконфузившись, проговорилъ отецъ.

— Да ужъ это вѣрно, — настаивалъ Иванъ Денисычъ:—эту исторію-то мы понимаемъ... А у васъ, отцы, нѣтъ гемороевъ?— обратился онъ въ остальныхъ.

— Нѣтъ, — отвѣтили тѣ въ одинъ голосъ.

— Ну, и ладно; давайте же, побалуемся. Жена, пристрой тамъ ребятюкъ-то куда-нибудь.

Супруга Ивана Денисыча, высокая, толстая баба, съ сонными глазами и отвисшими щеками, подошла къ ребяткамъ.

— Дѣти, идите въ ту комнату чай пить.

Вереница тулуповъ потянулась черезъ залъ въ ту комнату.

Здѣсь на столѣ кипѣлъ огромный самоваръ; возлѣ него тѣснилось стадо низенькихъ, разлтыхъ чашечекъ. Хозяйка налила «дѣтямъ» чаю и ушла.

— Вотъ такъ самоваръ! — произнесъ одинъ изъ мальчугановъ: — у насъ въ училищѣ дѣлый классъ изъ него напоить можно?

— А что, братцы, если бы насъ въ училищѣ такъ поили и кормили, какъ теперь въ приходѣ?—замѣтилъ другой.

— Уроковъ бы не сталъ учить, — вставилъ третій.

— Какъ разъ!

— Да и то не сталъ бы.

— Я бы тогда на первое мѣсто залѣзъ.

— Залѣзъ бы... въ порогу!..

Къ юнымъ христославамъ подошелъ хозяйскій сыночекъ, малый лѣтъ десяти, съ толстыми пунцовыми щеками и золотушными глазами. Онъ усѣлся на окно и, болтая ногами, нѣсколько минутъ молча посматривалъ на гостей. Затѣмъ онъ началъ:

— Вы вѣдь кутейники?

— Нѣтъ, — отвѣтило ему нѣсколько голосовъ.

— А кто же вы? Кутя прокислая?

— Самъ ты прокислый! — воскликнулъ бойкій первоклассникъ. — Туда же вѣдь лѣзеть... Мы въ училищѣ учимся, а ты дома сидишь, телятъ гоняешь.

Маленькій хозяинъ показалъ гостю языкъ.

— Ты не дразнись, а то, во... — (Первоклассникъ поднялъ кулакъ).

— Копѣчники! — извилъ хозяйскій сыночекъ.

— Козлы! — оппонировалъ первоклассникъ.

Вошла хозяйка. Сыночекъ подошелъ къ ней и жалуется:

— Мама, вонъ энтотъ ругается, говорить: козлы...

— Который это?—вступилась мать.

— А вонъ, что потъ-то утираетъ.

— Ты какъ же это смѣешь?—вспылила купчиха, отыскавъ виновнаго.—Ахъ ты поросенокъ нещипанный! Еще его за чай посадили... Я вотъ Ивану Денисычу скажу, онъ тѣ задастъ. Ужѣ станеть одѣлать, всѣмъ дастъ, а тебѣ шишъ. Забудешь тогда ругаться.

Во время этой рацеи, хозяйскій сынокъ потирался щекой о плечо матери и, посмѣиваясь, поглядывалъ на своего противника.

Наступилъ вечеръ. Отцы перемѣстились въ ту комнату, а дѣти сгруппировались въ залѣ и бесѣдовали:

— Пуще всего мнѣ досталось *unusquisque*: насилу выучился его склонять. А Макаровъ и теперь не просклоняетъ.

— Анъ просклоняю.

— Ну-ка, валий.

— Я здѣсь не хочу.

— Ну, пойдемъ на крыльцо.

— Да, вишь ты: тамъ собака...

— Э, собакеъ боится! Я волковъ, и то не боюсь.

«Взбра-анной во-о-ево-одѣ»... раздавалось между тѣмъ въ той комнатѣ.

Было уже часовъ девять вечера. Развеселившіеся отцы и утомленные дѣти наскоро славили уже по *своему* приходу, заставляя иныхъ за ужиномъ, иныхъ чуть не въ постели.

## ХІІ.

На другой день праздника дьяконъ, дьячокъ и пономарь съ своими стрикулистами, покончивши двѣ маленькія деревушки, отправились къ барынѣ Сусловой. Пономарь постучалъ кнутовищемъ въ дверь параднаго крыльца. Горничная отперла дверь.

— Что нужно?

— Можно прославить?

— Сейчасъ спрошу.

Горничная скрылась.

— Позволили войти, — возвѣстила она, минуты три спустя.

Дьяконъ въ рясѣ, дьячки въ сюртукахъ, стрикулисты по обыкновенію въ тулупахъ, вошли въ большую, довольно изящную залу. Ихъ встрѣтила легкимъ наклоненіемъ головы пожилая, полная дама, въ черномъ шелковомъ платьѣ, и молча указала въ

уголъ залы, въ которомъ едва виднѣлась единственная, крошечная иконка.

Христославы скоро кончили и, озираясь по сторонамъ, направились къ передней. Въ сторонѣ залы они замѣтили хозяйскую дочку, дѣвушку лѣтъ семнадцати. Она стояла, опустивъ рѣсницы и опершись одной рукой на рояль. Лицевые мускулы ея вздрагивали; ноздри раздувались; губы едва сдерживали улыбку. Не вдалекѣ отъ рояля, сквозь неплотно притворенную дверь кабинета, виднѣлись узенькіе брючки неудачно спрятавшегося господина. Отецъ дьяконъ, замѣтивъ барышню, кивнулъ ей какъ-то бокомъ; та разсмѣялась и порхнула въ кабинетъ.

Когда клирики въ передней уже напивали на себя тулупы, изъ залы отворилась дверь. Горничная съ замѣтнымъ отвращеніемъ несла что-то странное, едва придерживая кончиками двухъ пальцевъ.

— Чье это?—спросила она, сморщившись и тряся рукою въ воздухѣ.

— Это моя вѣрижка, — отозвался первоклассникъ. — Это я, должно быть, обронилъ.

Горничная возвратила вѣрижку ея владѣльцу и изъ осторожности поплевала себѣ на пальцы.

### XIII.

Прошло три дня праздника. Приходъ конченъ. Отецъ дьяконъ въ овчинномъ подрясникѣ лежалъ на постели и вслухъ читалъ «Ефрема Сирина». Вошелъ пономарь и, отирая въ передней ноги, спросилъ:

— Отецъ дьяконъ дома?

— Дома. Иди въ спальню, онъ тамъ читаетъ.

Пономарь пробрался въ спальню и присѣлъ къ отцу дьякону на кровать.

— Все ли здоровы, отецъ дьяконъ?

— Слава Богу... Вотъ, назиданіе себѣ нашелъ послѣ суеты-то. Послушай-ка, братъ: чистая манна небесная! «Два будета на селѣ: одинъ поемлется, другій оставляется»...

— Да что «оставляется»... Мнѣ не до того: горе сокрушаетъ.

— Какое?—спросилъ отецъ дьяконъ, закладывая книгу пальцемъ.

— Думалъ, праздникъ-то Богъ знаетъ что принесетъ; а подвелъ итоги—сына не съ чѣмъ везть. Поили и кормили, да плохо

наградили. Не знаю что и дѣлать... Нельзя ли намъ куда-нибудь еще пробраться—прославить?

— Да куда-жъ теперь?—проговорилъ отецъ дьяконъ, поднимаясь съ постели и откладывая книгу въ сторону.—Теперь какъ будто ужъ и не къ кому, да и не время: праздникъ прошелъ.

— Гдѣ же прошелъ?—возразилъ пономарь:—до самаго Крещенья все «Христосъ рождается».

Оба съ минуту помолчали.

— Да! знаешь что?—воскликнулъ отецъ дьяконъ, ударивъ пономаря по плечу: хватимъ съ тобою къ кумѣ, — къ Натальѣ Александровнѣ. Ей-Богу! Чего тутъ? хватимъ, да и все. И тебѣ она кума, и мнѣ кума — я съ нею у тебя крестилъ: — что же тутъ такого?..

— Барыня-то она высокая,—нерѣшительно проговорилъ пономарь, комкая въ рукахъ шапку.

— Намъ-то какое дѣло? Не приметъ—такъ и быть. Отчего не попытать счастья? За то, ужъ ежели приметъ, такъ безъ пяти рублей не выпустить,—будь повоенъ.

— Далече: вѣдь больше пятнадцати верстъ будетъ,—продолжалъ возражать пономарь.

— Важное дѣло! Подпряжешь ко мнѣ свою кобылку — и маршъ; къ утру дома будемъ.

Пономарь оживился.

— Эко славный у васъ духъ, отецъ дьяконъ! Съ вами пожалуй и въ Москву славить уѣдешь. Стало быть, поѣдемъ... на волю божію.

— Само собой!... Ступай скорѣй, собирайся. Спасибо, что на добрую мысль меня навелъ.

— А мальчишку брать?—спросилъ пономарь уже въ дверяхъ.

— Непремѣнно. Я своего возьму.

Дорогой пономарь спрашивалъ у отца дьякона:

— Какъ же мнѣ ее называть-то? Кума?

— Какъ можно! Ты и бабѣ говоришь: кума; а вѣдь она не бабѣ чета.

— Ну, какъ же? Сударыня?

— И это не резонъ. Для тебя и всякая барыня—сударыня; а ты не забывай, что Наталья Александровна тебѣ кума.

Пономарь сталъ втупикъ.

— Всего пристойнѣе,—рѣшилъ отецъ дьяконъ,—говорить ей: сударыня-кума, или: кума-сударыня. Тутъ ты ей все выразишь.

Часовъ въ шесть вечера кумовья подъѣхали къ дому Натальи Александровны. Собаки привѣтствовали гостей громкимъ лаемъ.

— Кто это?—спросилъ кто-то въ темнотѣ, усмиривъ собакъ.

— Это мы.

— Да кто вы-то?

— Бъ барынѣ, по дѣлу пріѣхали. Намъ сказали, что она дома, вотъ мы и пріѣхали. Она намъ кума, а мы духовные изъ села В.

— А! знаю. Проходите навверхъ; дома; сейчасъ чай будутъ кушать.

Поднимаясь на лѣстницу, пономарь шепталъ:

— Сердце такъ и бьется, ровно бы къ архіерею какому иду. Что за оказія, Господи помилуй!

— Ничего, смѣлѣй, — ободрялъ отецъ дьяконъ шопотомъ и стараясь не стучать сапогами по приступкамъ.

— Чтѣ вамъ будетъ угодно?—спросилъ ихъ въ передней лакей, удивленный появленіемъ неожиданныхъ гостей.

— Доложите барынѣ, — проговорилъ смѣлый кумъ, — что дьяконъ и причетникъ села В. пріѣхали на часокъ поздравить ея превосходительство съ праздникомъ, считая священнымъ долгомъ и обязанностію...

Лакей, не дослушавъ рѣчи отца дьякона, пошелъ докладывавъ.

Пonomарь испустилъ глубокій, протяжный вздохъ, кашлянулъ въ руку и, переминаясь съ ноги на ногу, прошепталъ: «вдругъ скажутъ—убирайтесь».

Дьяконъ молча погрозилъ ему пальцемъ и наострилъ уши.

— Просятъ пожаловать, — проговорилъ лакей, возвратившись въ переднюю, и повелъ гостей къ барынѣ.

Гости вошли въ комнату какаго-то неопредѣленнаго назначенія, помолились Богу и отвѣсили сударынѣ по низкому поклону.

— Что же вы не славите? — съ добродушной улыбкой проговорила Наталья Александровна.

— Да что, — развязно отвѣчалъ дьяконъ: — въ эти дни вамъ, чай, славили-славили, а жъ надоѣли.

— Нисколько; напротивъ, мнѣ очень было бы пріятно, — проговорила Наталья Александровна, глядя прямо въ глаза кумовьямъ.

— Ну что-жъ, Потапычъ, давай, воли... тово...

Дьяконъ затанулъ; Потапычъ и стригулисты подхватили.

— Вотъ благодарю, — произнесла Наталья Александровна, выслушавъ пѣніе. — Хорошо вы сдѣлали, что вздумали меня провѣдать. Садитесь пожалуйста.. Это кто-жъ еще съ вами?

— Это вот мой шуринъ,—отрекомендовалъ дьяконъ Гаврю:—въ семинаріи обучается, философію проходить.

— А это, Потапычъ, сынъ что ли твой?—спросила хозяйка, указывая глазами на конопатого, коротко остриженного мальчугана.

— Такъ точно, сударыня-кума, отозвался пономарь, дѣлая попытку встать со стула.

— Сиди, сиди... Учится онъ у тебя?

— Какъ же, тоже семинаристичъ божій. Что-жъ дѣлать-то?...

— Какъ «что-жъ дѣлать»?! Развѣ это дурно? съ улыбкой возразила сударыня-кума. Изъ него можетъ быть выйдетъ великій человѣкъ.

— Ну, гдѣ ужъ намъ до величества... Хоть бы Господь далъ,—курсъ-то окончилъ, я бы и то Царицу небесную...

— Да что-жъ ты, Потапычъ, такъ думаешь?—выѣшался дьяконъ. Развѣ ужъ семинаристы послѣдній народъ?

И отецъ дьяконъ взглянулъ на Гаврю.

Подали самоваръ. Барыня сама начала готовить чай. Наступило молчаніе.—Дьяконъ поглаживалъ волосы. Пономарь, глядя въ потолокъ, однимъ пальцемъ почесывалъ у себя въ затылкѣ. Гавря, сложивъ руки между колѣнъ, внимательно осматривалъ комнату. Въ углу, гдѣ онъ сидѣлъ, на столѣ лежала книжка какого-то журнала и нѣсколько нумеровъ газетъ, а на нихъ валялась конторская книга. По стѣнамъ развѣшаны были различные картины. На стульяхъ, на креслахъ, подъ столами помѣщались разныхъ породъ собаки: и съ острыми, и съ тупыми мордочками, и съ торчащими, и съ висячими ушами, и поджарые, и толстые, и лохматые, и нелохматые.

— Павелъ!—влинула Наталья Александровна.

Явился Павелъ.

— Поверни самоваръ ко мнѣ краномъ.

Павелъ повернулъ.

— Садитесь пожалуйста къ столу,—обратилась хозяйка къ гостямъ:—будемъ чай кушать.

Дьяконъ подсѣлъ къ чайному столу, а остальные гости потащили стаканы на свои прежнія мѣста.

Выпивъ свой стаканъ, пономарь отнесъ его на столъ и, остановившись посреди комнаты, о чемъ-то задумался. Затѣмъ, обернувшись лицомъ къ кумѣ, онъ внимательно сталъ посматривать на нее, покашливалъ и глоталъ слюны.

— Ты, кажется, хочешь сказать что-то?—спросила хозяйка, взглянувъ на Потапыча.

— Потапычъ еще разъ кашлянулъ,—состроилъ умильную фізіономію, прижалъ руку къ сердцу, склонилъ голову на бокъ и началъ:

— Сударыня-кума! Тотъ самый фунтикъ чайку, что ваша милость, проѣзжаячи лѣтомъ сквозь наше село, извоили пожаловать женѣ моей, только-что вышелъ... Жена говорить: увидишь куму... сударыню-куму, воздай ты ей, говорить, великое благодареніе. Она объ васъ каждое воскресенье вспоминаетъ; какъ за чай, такъ сейчасъ: дай Господи,—говорить, кумѣ... сударынѣ, что она... то-есть...

— Ну, стѣбитъ толковать!—перебила барыня. — Здорова ли моя кума-то? я и забыла у тебя спросить. Да ты сядь, сядь, Потапычъ.

— Слава Богу,—проговорилъ пономарь, присаживаясь на стулъ и не сводя глазъ съ кумы:—только все животомъ жалуется. Сорвала что-ли какъ—Богъ ее знаетъ.

— Ахъ, это жалъ. Нужно лечиться... Ну, а крестникъ мой что?

— О, такой орелъ,—совсѣмъ не похожъ на другихъ моихъ ребятишекъ. Жена часто говорить: вотъ что значить, говорить, кума-то... Умница, говорить, будетъ,—въ бакалавры пойдетъ. Иначе и не зоветъ его, какъ баринъ, все-баринъ.

— Дай Богъ, дай Богъ,—проговорила Наталья Александровна, наливая чай.

Потапычъ зашевелился на стулѣ и зачѣмъ-то погладилъ по головѣ сидѣвшаго возлѣ него синишку.

Въ комнату вошла скромно одѣтая дѣвушка, лѣтъ двадцати-пяти, съ серьезною, выразительною фізіономією. Гости встали.

— Это моя племянница, сирота,—произнесла хозяйка, и зачѣмъ отрекомендовала гостей.

Дѣвушка молча поклонилась гостямъ и усѣлась возлѣ Гаври.

Отецъ дьяконъ затянулъ довольно длинную исторію о томъ, какъ у него лошадей украли, какъ потомъ онъ купилъ жеребенка, какъ воспитывалъ и объѣзжалъ его и т. п. Хозяйка слушала его и не рѣдко вставляла свои замѣчанія. Въ углу между тѣмъ завязался свой разговоръ.

— Вы выписываете этотъ журналъ?—спросилъ Гавря сосѣдку.

— Не я, а моя тѣтя выписываетъ,—отвѣтила дѣвушка.

— Но вы читаете этотъ журналъ?

— Читаю: тамъ помѣщаются хорошіе романы англійскіе.

— На мой взглядъ, въ этомъ журналѣ только и хорошаго, что переводные романы.

Дѣвушка промолчала и взглянула на тѣтку.

— Лиза, хочешь чаю?—спросила Наталья Александровна.

— Хочу.

— Бери чашку.

Лиза взяла чашку и снова помѣстилась возлѣ Гаври, между тѣмъ разговоръ о жеребенкѣ выступилъ на первый планъ и открылъ бесѣду Гаври съ племянницей.

— На третьемъ году объѣзжать жеребенка—это ужасно!—воскликнула хозяйка, прерывая отца дьякона.

— А то на какомъ же? на десятомъ что-ль? — съ улыбкой возразилъ отецъ дьяконъ, оживившись и чувствуя себя, какъ дома.

— Татенька, — шепталъ между тѣмъ пономарю сынъ: — зачѣмъ это здѣсь столько собакъ?

— Молчи, дуракъ! — тихо проговорилъ пономарь, и пересѣлъ на другой стулъ.

— Вы думаете, мнѣ нравится ѣздить по приходу?—изъясняясь въ тоже время Гаври.

— Я думаю, что нравится,—говорила Лиза:—иначе вы бы не ѣздили.

— Эхъ!—произнесъ Гаври со вздохомъ:—часто обстоятельства заставляютъ человѣка дѣлать то, что ему вовсе не нравится.

— Что же это у васъ за обстоятельства?—спросила Лиза.

Гаври кашлянулъ и молча взглянулъ на отца дьякона.

— Но вѣдь все равно—вы будете также послѣ ходить по приходу, когда поступите во священники.

Наталья Александровна, кончивъ чай и бесѣду съ отцомъ дьякономъ, приказала въ это время лакею убрать самоваръ и куда-то вышла.

Черезъ минуту она возвратилась съ большимъ альбомомъ въ рукахъ и, усадивъ Лизу по какому-то порученію, усѣлась на диванѣ.

— Не угодно ли, отецъ дьяконъ, посмотрѣть моихъ родныхъ и знакомыхъ?—проговорила она, раскрывая альбомъ на столѣ.—Потапычъ, посмотри и ты. Молодые люди, подойдите сюда.

Отцы и дѣти обступили столъ.

— Вотъ вамъ увеличительное стекло: въ него лучше видно,—сказала Наталья Александровна, подавая отцу дьякону стекло.

— Мнѣ не нужно,—отвергъ отецъ дьяконъ:—я лучше въ кулакъ. Я всегда въ кулакъ; наставляю вотъ этакъ, и—какъ вѣдь славно, ровно въ трубу посматриваешь.

Гавря попросилъ стекло себѣ; Наталья Александровна подала.

— А вотъ, отецъ дьяконъ,—проговорила она улыбаясь,—молодой человекъ хочетъ въ стекло смотрѣть.

— Да вѣдь нынче молодые-то люди стали хуже старыхъ,—отозвался отецъ дьяконъ, пустивъ въ ходъ свой оптический снарядъ. Посмотришь—мальчишка лѣтъ двадцати, а ужъ у него на носу очки. Моему тятенькѣ подъ семьдесятъ лѣтъ, а онъ до сихъ поръ «Апостолъ» безъ очковъ читаетъ.

— Это вотъ мой братъ,—изъясняла Наталья Александровна, указывая на карточкѣ мужчину среднихъ лѣтъ, украшеннаго длинными баками и эполетами.

— Какъ они на васъ-то похожи,—двѣ капли воды; сейчасъ видно, что вамъ братцы,—замѣтилъ пономарь, хотя братъ былъ также похожъ на сестру, какъ медвѣдь на пятиалтынный.

— Онъ теперь живетъ въ Парижѣ,—продолжала хозяйка:—недавно мнѣ письмо прислалъ. Чтѣ теперь во Франціи, говорить, дѣлается—бѣда!

При послѣднихъ словахъ Наталья Александровна бросила на гостей насмѣшливо-пытливый взглядъ.

— И въ газетахъ теперича про эту Францію не хорошо пишутъ,—неожиданно хватилъ пономарь.—Намедни я съ мельницы заѣхалъ въ управляющему, а онъ какую-то большую газету читаетъ. Чтѣ, я говорю, Павелъ Ивановичъ, войны у насъ не будетъ?—У насъ-то, говорить, не будетъ, а вотъ, говорить, за границей пошаливаютъ. И началъ онъ тутъ про французовъ. Собираются, говорить, у нихъ парни цѣлою гурьбою, бродятъ по улицѣ и распѣваютъ что-то такое по-своему. Онъ мнѣ толковалъ, да я теперь запомнилъ...

— А у васъ въ селѣ выписываются газеты?—полюбопытствовала кума.

— Какъ же, у насъ на постоялый дворъ часто высылаютъ «Губернскія Вѣдомости»,—изъяснилъ пономарь.—Тамъ тоже бываетъ много любопытнаго: у кого по губерніи лошадь украли, гдѣ торги, и прочаго хорошаго не мало. И полезное это дѣло—печатать: пропечатываютъ, напримѣръ, краденую лошадь, она и найдется, потому что воръ съ ней тогда ужъ некуда дѣваться.

— Да, некуда!—возразилъ съ досадою отецъ дьяконъ, кончивъ обзорѣніе альбома. — Моихъ лошадей тоже гдѣ-то описывали, а отыскалъ я ихъ, или нѣтъ?

Пономарь молча развелъ руками.

— Ну, что же, Потапычъ,—проговорилъ дьяконъ послѣ нѣ-

котораго молчанія:—намъ пора и во-свои, вѣдь близкое ли дѣло...

— Нѣтъ, нѣтъ,—перебила хозяйка:—я васъ не пушу безъ ужина: вы такъ далеко ѣхали... я велѣла готовить ужинъ; а пока его приготовить, пойдемте въ залу и послушаемъ музыки.

Дьяконъ молча поклонился, а пономарь проговорилъ:

— Какъ вашей милости будетъ благоугодно; вы и такъ уже насъ... можно сказать...

Хозяйка и гости отправились въ залу. Наталья Александровна кликнула горничную и велѣла ей завести органъ. Слухъ христославовъ пораженъ былъ «дивною мусикиею».

— Тятенька, это вѣдь «По улицѣ мостовой»?—спрашивалъ пономаря сынишка, дергая его за полу.

— Болтай тамъ еще!—нетерпѣливо проговорилъ пономарь.

— Вашъ сынъ угадалъ: дѣйствительно, это «По улицѣ мостовой»,—замѣтила Наталья Александровна.

— Господи Боже мой!—съ умиленіемъ произнесъ пономарь:—умудрить же Господь человѣка...

— Вамъ нравится?

— То-есть вотъ какъ! Отъ роду своего, можно сказать, этакого не слыхивалъ. Иной разъ по улицѣ съ гармоніей кто пройдетъ, и то... какъ-то... веселить; а вѣдь это —Господи!—всю душу заливаєтъ...

Заливши душу, гости усѣлись ужинать.

Собаки, почуя соблазнительный запахъ, столпились у стола. Одна изъ нихъ, безцеремонно просунувъ голову подъ руку пономаря, потянулась къ нему на тарелку. Пономарь отломилъ кусочекъ чернаго хлѣба и вѣжливо предложилъ собакѣ.

— Нѣтъ, Потапычъ, она не кушаетъ чернаго хлѣба,—объяснила Наталья Александровна:—кромѣ говядины и бѣлаго хлѣба —ничего...

Пономарь вытаращилъ глаза, и замеръ съ кускомъ чернаго хлѣба въ рукахъ.

— Господи Боже мой,—проговорилъ онъ наконецъ, покачавъ головой:—подумаешь, вѣдь тварь—одно слово!—и та понимаетъ себя, ровно барыня какая. Вотъ что значитъ образованіе!..

Хозяйка слегка покраснѣла и расхохоталась.

Ночь. Тихо. Частыя звѣзды мигаютъ на ясномъ небѣ. Снѣгъ гудитъ и визжитъ подъ полозьями саней.

Пономарь, съ фунтомъ чаю за пазухой и съ пятью рублями

въ карманѣ, съ вдохновенной улыбкой смотритъ на божій міръ. Отецъ дьяконъ тихо напѣваетъ. Гавря, прислонясь къ высокой спинкѣ саней, погрузился въ сладкую дремоту. Ему все слышатся звуки органа и рисуется образъ Лизы: онъ старается припомнить всѣ подробности своего разговора съ нею...

## II.

### Прощенный день.

Вечерѣтъ. На дворѣ довольно снисходительный морозъ. Изъ облаковъ какъ будто нехотя летятъ рѣдкія, пушистыя снѣжинки.

Обыватели села В., почуя приближеніе великаго поста, съ какимъ-то азартомъ спѣшать насладиться всѣми удовольствіями ованчивающей масляницы. Улица сильно оживлена. Вдоль села туда и сюда безпрестанно снуютъ разныхъ видовъ и сортовъ сани, биткомъ набитыя парнями, дѣвками и ребятишками. Слышатся отрывки разныхъ пѣсней. На однихъ саяхъ горланятъ:

Верея-ль моя,  
Ты вереюшка,  
Ты сдержи меня,  
Бабу пьяную, —  
Бабу пьяную,  
Шельму хмѣльную.

На другихъ выкрикиваютъ:

Сѣра утица—ѣства моя,  
Красна дѣвица—невѣста моя, и т. д.

— Эй, крылышки поднебесныя! — съ отъявленнымъ удалствомъ восклицаетъ бойкій парень, вытянувъ руки по направленію къ встрѣчнымъ саямъ.

— Лети, лети дальше, гладышъ этакой, — отзывается особа, къ которой относился комплиментъ парня.

Деревенскія влячи, изукрашенные разноцвѣтными лоскутами, какъ-бы сочувствуя настроенію *катающей* публики, съ несвойственной имъ бодростью и живостью покачиваютъ головами, по временамъ отмахиваясь отъ непривычнаго для нихъ звука всевозможныхъ звонковъ и побрякушекъ.

Шумъ, звонъ, пѣсни, визгъ переполняютъ воздухъ.

Люди пожилые и солидные тоже не отстаютъ отъ молодого

покажины по части развлеченій и увеселеній. Двери кабака то-и-дѣло отворяются, выпуская густые клубы пара. Тамъ слышится распычатый топотъ родного трепака, и изъ дверей по временамъ вырываются приговорки въ родѣ:

Ходи изба, ходи печь,  
Хозяину негдѣ лечь.

Или:

Ахъ, теща моя,  
Доморощенная,  
На тѣ шубочка нова,  
Невороченная, — ихъ, ну!..

Вотъ изъ питейнаго, едва сохраняя равновѣсіе, выходитъ полушубокъ и поддевка.

— Ты теперь куда? — спрашиваетъ полушубокъ.

— А я почему знаю, — отвѣчаетъ поддевка. — А ты?

— А я съ тобой вмѣстѣ... Ты выкинь изъ головы, что ты въ Москвѣ живешь. Я, бываетъ, почище тебя и поумнѣй, — да!.. Ты вотъ человѣкъ московскій, а мнѣ, деревенскому, отвѣта не дашь. Что подлѣ чаю стоять? — ну-ка скажи?

— Подлѣ какого чаю?

— Подлѣ чаю.

— Гм! Что поставишь, то и будетъ стоять: полштофъ поставишь — полштофъ будетъ стоять; другое что поставишь — другое стоять будетъ.

— И вышелъ ты пшикъ, и цѣна тебѣ грошъ. Подлѣ чаю стоять, дурень ты этакой, воскресенье. «Чаю воскресенія мертвыхъ»... А ты пшикъ.

— Молчи, лохмотъ деревенскій!

— Я лохмотъ?

— Ты лохмотъ!

— Я лохмотъ?!

— Ты!

Раздается звонкая оплеуха, и поддевка вскрикиваетъ:

— Какъ ты смѣешь меня бить? Я московскій портной! Я тебя — къ мировому, да не къ здѣшнему, а къ московскому! Онъ тебя сгноить въ острогъ! Вся улица присвидѣтельствуеетъ; — не отвертись. Я тебѣ покажу...

Полушубокъ струсилъ и перемѣнилъ тонъ.

— Антоша, ну, полно, не гнѣвись: вѣдь я безъ всякаго сердца. Антоша, другъ, ну, прости, для нынѣшняго дня прости: вѣдь нынче всякіе недруги примираются.

— Недруги примираются, а пріятеля — въ ухо!

— Ну, сейчас умереть, это я не въ обиду! Полно сердчать-то; пойдемъ, поднесу на мировую.

— Развѣ поднесешь? — спросилъ потерпѣвшій, немного помолчавъ.

— А то нѣтъ? Вѣдь вотъ они.

Виновный при этомъ хлопнулъ себя по карману.

— Ну, идемъ, такъ и быть; Богъ съ тобой. Но вѣрь со-вѣсти, еслибы не прощенный день, сидѣть бы тебѣ въ острогѣ.

— Вотъ такъ другъ,—истинно, что другъ. Чтѣ намъ съ тобой дѣлать? Твоя Москва, а моя деревня, — всякъ по-своему. Пойдемъ-ка, согрѣшимъ еще маленько, а завтра — Господи прости.

И примирившіеся снова двинулись къ питейному.

Смерклось. Звѣзды замигали на небѣ; въ домахъ показались огни. Церковный сторожъ, желая засвидѣтельствовать о своей трезвости и ревности къ охранѣ храма божьяго, сдѣлалъ нѣсколько рѣдкихъ ударовъ въ колоколь... А на улицѣ все еще слышатся шумные крики. Молодежь, натѣпившись катаньемъ и пѣснями, совершаетъ оригинальный обрядъ погребенія. Нѣсколько дѣвокъ тащатъ за веревку корыто съ огромною куклою, олицетворяющею покойницу - масляницу. Въ главѣ процессіи идетъ высокая, здоровая тридцати-лѣтняя дѣвка. Донька-рябая (Донька-курноса — тожъ) представляетъ собою лицо священника. На плечахъ у ней рогожа, вмѣсто ризы, въ одной рукѣ лучина, вмѣсто свѣчи, въ другой — полотенце съ узломъ на концѣ, — вмѣсто кадила. Курноса помахиваетъ своимъ кадиломъ и, боясь отпѣвать подлинными священными словами куклу, выкрикиваетъ дикую бессмыслицу: «дралилуя, дралилуя! Со слѣпыми упокой! Овечья память! Во вѣки вѣковъ — овины! и т. п. Процессія замыкается рядомъ плакальщицъ. Онѣ трутъ себѣ рукавами глаза и причитаютъ: «Свѣтъ наша масляница, перепелиныя твои восточки! На кого ты насъ покидаешь? Какъ безъ тебя намъ время провожать, — все скучать, да тосковать...» и т. п.

Все это перемѣшивается съ неистовымъ хохотомъ и ерикомъ.

Степенные старички и старушки, сидѣвшіе доселѣ дома, теперь, съ ковригами хлѣба, съ связками баранокъ и со свертками неизвѣстнаго содержанія, бредутъ къ батюшкѣ-кормильцу «прощаться».

— Машка, будетъ тебѣ кружиться-то, вспомни, чтѣ завтра-то, — ограничиваетъ одна старуха внучку, проходя мимо процессіи.

— Она не кружится, она идетъ прямо,—остерить кто-то изъ толпы, и взрывъ хохота сопровождаетъ остроу.

— Ахъ вы сорванцы, сорванцы,—ворчить старуха:—языки бы вамъ всѣмъ на паяло вытянуть, безпутные... Тыфу! Господи Иисусе, согрѣшила я, грѣшная...

У отца дьякона въ залѣ на столѣ большой самоваръ. На ряду съ чашками стоитъ, до половины покрытая золою, махотка съ топленнымъ молокомъ и тарелка съ печеньями домашнего приготовления.

— Принимать, что-ли, самоваръ-то?—спрашиваетъ дьяконица.

— Погоди,—отвѣчаетъ отецъ дьяконъ:—зайдетъ кто-нибудь проститься. Поставь-ка еще что-нибудь закусить; принеси водочки, блинковъ, рыбки, чтобы все было честь-честью. Все равно вѣдь останется—хинью пойдетъ: завтра нынѣшняго не ѣдать.

Давши супругѣ такую инструкцію, отецъ дьяконъ заложилъ руки назадъ и зашагалъ по комнатамъ. Проникаясь мало-по-малу *запуганнымъ* настроеніемъ, онъ затанулъ—было великопостное, но неистовый крикъ, донесшійся до его слуха съ улицы, помѣшалъ ему.

— Вишь, бѣснуются, вишь вѣдь бѣснуются, безумные,—говорилъ онъ, оставивъ пѣснопѣніе.

Отецъ дьяконъ подошелъ къ окну и началъ пальцами протирать вспотѣвшее стекло, какъ-бы желая разсмотрѣть, кто и какъ именно бѣснуется.

— Воспретить бы все это слѣдовало, окончательно воспретить,—ворчалъ онъ, смотря сквозь стекло на темную улицу:—этакие дни наступаютъ, а у насъ возлогласованіе и пьянство... Кто-то пріѣхалъ,—перебилъ самъ себя отецъ дьяконъ, усмотрѣвъ остановившіяся возлѣ своего крыльца сани, и направился въ переднюю встрѣчать гостя.

Гостемъ оказался кумъ отца дьякона, богатѣйшій мужикъ, Трофимъ Ивановъ.

— Милому моему восприемнику наше почтеніе!—не совсѣмъ твердымъ языкомъ возгласилъ гость, лобызая хозяина. — Съ широкою масляницею! Кума, честь имѣемъ—съ широкою...

— Какая ужъ теперь широкая?—возразилъ отецъ дьяконъ:—ужъ сдузилась,—завтра постъ.

— А намъ что? У насъ еще широка.

— Ну, ладно; садись-ка.

— Не хочю.

— Да ну, садись: вотъ хозяйка намъ чайку нальетъ, — закусимъ.

— Коли я не хочу, такъ что-жъ ты со мной сдѣлаешь?

— Не хочешь, какъ хочешь... Куда это ты ѣдиль?

— Тоже къ куму своему, къ старшинѣ — прощаться. Врѣтъ онъ мнѣ, а я къ нему ѣдиль. Это какъ по-твоему?

— Дѣло доброе, христіанское; хвалю. Что же, ты какъ слѣдуетъ съ нимъ простился?

— То-есть вотъ какъ... какъ на свадьбѣ! Ужъ мы съ нимъ, ужъ мы съ нимъ... просто — а! Маленько выпили-таки здорово.

— Что-жъ, это еще ничего, а главное — простился по-христіански, — вотъ что хорошо. Ты теперь совсѣмъ забудь, что онъ тебя высѣлъ, тѣмъ паче, что ты былъ кругомъ виноватъ.

— Что-о? — неожиданно грозно протанулъ Трофимъ Ивановъ: — а хочешь, я тебя за это въ хорошее мѣсто поплю? Кума только мѣшаетъ. Гм! забудь... Нѣтъ, никогда не забудешь, какъ эта рыжая анаеема всыпала тебѣ двѣсти. О, собака мордастая! — злобно воскликнулъ Трофимъ Ивановъ и хватилъ шапку объ-полъ.

— Рано же я тебя похвалилъ, — проговорилъ отецъ дьяконъ, — испортилъ ты свое доброе дѣло и грѣха прибавилъ. Если ужъ ты...

— А ты постой, — перебилъ Трофимъ Ивановъ, — ты не забѣгай впередъ. Ты, выходить, Степкѣ-старшининѣ подражаешь, а не мнѣ. Ты разбери прежде дѣло и будь кумъ, какъ кумъ, а не какъ... Богъ знаетъ что. Ты говоришь, я виноватъ; а въ чемъ моя вина? Вины вовсе никакой не было. Прежняя барыня моя, по своимъ дѣламъ, стала ко мнѣ на фатеру и цѣлый мѣсяцъ не платила мнѣ за харчи и хлопоты. Я говорю: давай деньги, или убирайся вонъ, — ваше время прошло. Она сейчасъ — фить! — и къ старшинѣ. Степка требуетъ меня, значить, къ себѣ. Я приѣзжаю. — Здорово, кумъ! — Здорово! — У него, значить, этотъ чай на столѣ. — Садись, кумъ. Я сѣлъ. Берусь за чашку, а онъ мнѣ: ты, говоритъ, кумъ, безчинствуешь, — барыню обижаетъ. — А ты, я говорю, бабѣ подражать не долженъ. А онъ говоритъ: я не бабѣ, а закону подражать долженъ, а по закону, говоритъ, тебѣ за это дранцы. — Ты, — я говорю, — кумъ, шутишь, — забываешь, что я тебѣ кумъ? — Нѣтъ, говоритъ, не шучу: кумъ кумомъ, а законъ закономъ. Ты, говоритъ, у меня пей, ѣшь, а къ дѣрѣмъ готовься. — На другой день гляжу — и вправду выдрали. Благородно это, аль нѣтъ? Кумъ онъ послѣ этого, аль нѣтъ? Человѣкъ онъ послѣ этого, аль нѣтъ?

— Онъ поступилъ по правдѣ, — невозмутимо замѣтилъ отецъ дьяконъ, кусая концы своихъ волосъ.

— Съ этой правдой-то васъ...

Тутъ Трофимъ Ивановъ, несмотря на стѣсняющее его присутствіе дьяконицы, выпустилъ крѣпкое слово и проговорилъ:

— Кума, ты не слыхала: у тебя уши золотцемъ завѣшаны.

Отецъ дьяконъ покачалъ и проговорилъ:

— Въ безднѣ грѣховной ты валяешься, посмотрю я, оттого ты такъ и дѣлаешь, такъ и говоришь. Отчего бы тебѣ не подождать на своей барынѣ деньги? Конечно, она заплатила бы тебѣ, а глядишь и землицы бы дала за услуги. Она изъ-за земли и прѣвѣжала-то сюда.

— Отчего... Спрашивать-то я самъ гораздъ,—отозвался Трофимъ Ивановъ. — Если масляница придется на святой, что тутъ дѣлать: кататься, аль качаться? На-ка, вотъ, раскатулай это титло-то. Тебѣ и своего не рѣшить, а въ наше тебѣ мѣшаться нечего; мы сами свое рѣшать будемъ. Ты только вотъ что возьми: я бабѣ сказалъ слово, а меня за это драть, да кто же при этомъ? Родной кумъ! Вотъ ты мнѣ кумъ, а я бы тебя, примѣрно, взялъ да выдралъ; простилъ бы ты меня, аль нѣтъ?

— Простилъ бы,—нерѣшительно проговорилъ отецъ дьяконъ.

— Врешь, душа вонъ, врешь, — горячился Трофимъ Ивановъ:—съ роду не простилъ бы. А Степку простить за этакое дѣло! Да я его... Кума, ты не слыхала.

— Полно тебѣ свернословить-то,—рѣшился наконецъ ограничить оратора отецъ дьяконъ: — самъ грѣшишь и другихъ на грѣхъ наводишь. Вспомни, вѣдь завтра святая четвѣрдесятница; всѣхъ насъ завтра Господь къ покаянію позоветъ. Такъ ли готовятся къ покаянію? Дьяволъ вселился въ сердце твое; очистишь. Вѣдь съ злобой и къ причащенію не допустить. Воздохни ко Господу, прости всѣхъ обидящихъ, и помянетъ тебя Господь Богъ во царствіи своемъ.

— Ну, что-жъ, — заговорилъ Трофимъ Ивановъ, понизивъ тонъ:—ну, Боже очисти меня грѣшнаго... Избави насъ отъ лукаваго... Покаянія отверзи... А Степку пуцай Богъ самъ накажетъ.

— Такъ-то вотъ лучше: предоставь все Господу и смѣрись,—внушалъ отецъ дьяконъ. — Давай-ка, простимся по любезному, и побѣждай съ миромъ въ женѣ, да какъ будешь ложиться спать, помолись поусерднѣй.

— Милый мой воспріемникъ, прости ты окаяннаго кума,—воскликнулъ Трофимъ Ивановъ и повалился въ ноги отцу дьякону.—Пѣсь я,—продолжалъ онъ, поднимаясь съ полу,—и для Бога не годенъ. Прости; давай поцѣлуемся.

Свершился поцѣлуй.

— Богъ простить, — проговорилъ отецъ дьяконъ, потирая руки и потупивъ голову, какъ-будто чѣмъ сконфуженный. — Прости и ты меня.

— Я... Обо мнѣ нечего, — сказалъ Трофимъ Ивановъ, и обратился къ дьяконицѣ: — кумушка ты моя, прости и ты меня, свинью!

И онъ упалъ къ ней въ ноги.

— Что ты, что ты, Трофимъ Ивановичъ, — проговорила дьяконица, отступивъ нѣсколько назадъ: — развѣ это можно? Я и такъ прошу.

— Не смѣй, не смѣй, — бормоталъ кающійся, ваяясь на полу и лова дьяконицу за ноги: — облегчиться хочу и больше ничего.

Облегчившись, Трофимъ Ивановъ отыскалъ свою шапку и началъ прощаться.

— Къ попу заѣзжалъ? — спросилъ его отецъ дьяконъ уже въ передней.

— Заѣзжалъ. Онъ мнѣ кое-что напомнилъ... Онъ мнѣ однажды сказалъ: — ты у меня, Трошка, въ Сибирь пойдешь; а я ему въ сердцахъ-то: — а ты, говорю, за мной рубашки понесешь. Вотъ это самое онъ мнѣ напомнилъ.

— Что-жъ, простилъ?

— Не съ разу, но какъ слѣдуетъ: благословилъ и прочее. Дай Богъ всѣмъ... и Степкѣ. Степка, Степка!.. Эхъ!.. Господи, прости мое согрѣшеніе.

Трофимъ Ивановъ обѣими руками нахлобучилъ на себя шапку, и, толкнувъ колѣномъ въ дверь, качнулся въ темныя сѣни.

— Теперь хоть и прибирай самоваръ, — обратился отецъ дьяконъ къ супругѣ, выпроводивъ многошумящаго гостя: — ужъ поводно; теперь, кромѣ дьячкова, едва ли кто зайдетъ. Закуску оставь, а все прочее долой.

— Да что это дьячки-то такъ долго?

— У попа должно быть засидѣлись.

— А ты простился съ попомъ-то?

— Я еще давеча въ церкви... чего тамъ... Вотъ вѣдь и Анюты нашей нѣтъ. Должно быть, вмѣстѣ съ дьячками придетъ.

Въ сѣняхъ послышался стукъ, и черезъ минуту въ залу вошли дьячки, а съ ними и Анюта. Положивши шапки на окно, дьячки усѣлись рядомъ и сдѣлали мрачныя фізіономіи.

— Что вы такіе скучные?—начала дьяконица:—или масляницы жаль?

— Провались она,—проговорилъ дьячокъ:—ни пути ей, ни дороги. Безпутнѣй этого времени во всемъ году нѣтъ: начинишься блинами съ ранняго утра и ходишь день-деньской какъ шальной; нѣтъ тебѣ ни обѣда, ни ужина настоящаго. Я ужъ радъ, что постъ наступаетъ.

— О, нѣтъ,—вмѣшалась Анюта:—я такъ не люблю поста, особенно перваго понедѣльника. Утромъ проснешься, ску-ука! Какъ будто кто тебѣ въ ухо шепчетъ: по-остъ—и тынешься съ горя въ подушку. Встанешь, пойдешь въ кухню—нѣтъ уже блиновъ; заглянешь въ печку—однѣ картошки варятся.

— Оно правда, что голодно,—замѣтилъ дьячокъ,—но за то легко бываетъ.

— Ну, а пока у насъ не голодно, закусите-ка что-нибудь,—водочки выпейте,—предложилъ отецъ дьяконъ.

— Нѣтъ, благодарствуемъ, отозвались въ одинъ голосъ дьячки: мы не за тѣмъ вѣдь пришли, чтобы стомахъ набивать, а чтобы проститься по обычаю, какъ долгъ повелѣваетъ.

Дьячокъ умоляетъ, а пономарь продолжаетъ:

— По правдѣ сказать, мы противъ васъ, отецъ дьяконъ, ни въ чемъ, кажется, въ этотъ годъ не погрѣшили, а все-таки ужъ должны, по заведенному...

— Если ужъ пошло на правду, такъ кое-въ-чемъ согрѣшили, дѣло прошлое,—тихо и съ разстановкой проговорилъ отецъ дьяконъ.

Дьячокъ по прежнему молчалъ, а пономарь оживленно заговорилъ:

— Нѣтъ, отецъ дьяконъ, какъ передъ Богомъ говорю: ничего такого я за собой не знаю.

— Припомни-ка хорошенько,—еще тише проговорилъ отецъ дьяконъ.

— Ничего не помню,—рѣшительно произнесъ пономарь и развелъ руками.

— Вотъ хоть бы насчетъ пѣтуха — ты ничего?—намекнулъ дьяконъ, пытливо поглядывая на пономаря.

— Какого пѣтуха?—съ удивленіемъ спросилъ пономарь, широко раскрывши глаза.

— Моего. Скажешь, не ты лѣтомъ отрѣзалъ у него шпоры, когда онъ у твоего недюка, завязшаго въ изгороди, ислеивалъ всѣ серѣжки?

— Господи помилуй!—восклинуль пономарь, безпокойно завизившись на мѣстѣ:—вотъ поразили, такъ поразили. Съ роду и на умѣ этого не было. Гм! Царица небесная... Да если я это сдѣлалъ, то не то, что индюка, — жены бы мнѣ своей во вѣкъ не видать!.. нежели вы меня такъ обижаете.

— Чю ты, что ты, — Господь съ тобой, — зачѣмъ же такъ говорить-то?—съ безпокойствомъ произнесъ отецъ дьяконъ, испугавшись послѣдствій своего подозрѣнія. — Всѣ мы не безъ грѣха, можемъ и простить другъ друга, если что... На то и прощенный день. Ну, прости меня, и тебя Господь да простить.

Дьяконъ и пономарь, кланаясь другъ другу, въ замѣшательствѣ ступнули лбами и три раза звонко поцѣловались, придерживая одинъ другого за плечи.

Раздѣлавшись такимъ образомъ съ пономаремъ, отецъ дьяконъ принялся за дьячка, который во все время предыдущей сцены выказывалъ сильное нетерпѣніе: — то - и - дѣло сморкалъ, кашлялъ и почесывалъ въ головѣ.

— Ради нынѣшняго дня, я припомню кое-что и тебѣ, — заговорилъ отецъ дьяконъ, обращаясь къ дьячку, — не за тѣмъ, чтобы тебя бранить, или укорять, а чтобы... простить почище.

Дьячокъ кашлянулъ и поморщился.

— Помнишь, весною, — продолжалъ отецъ дьяконъ, — я собрался ѣхать, по своему дѣлу, въ губернію и уже отпросился у попа. Захотѣлось, помнишь, и тебѣ поѣхать въ это же время. А поелику двоимъ отлучиться отъ церкви было нельзя, то ты побѣждалъ тогда къ попу, наговорилъ ему, якобы я ѣду на него прошеніе архіерею подавать, и упросилъ его меня оставить, а тебя отпустить. Попъ же, повѣривши твоей клеветѣ—Богъ ему прости—такъ и сдѣлалъ: меня удержалъ, а тебя отпустилъ, не взирая на то, что я уже отпросился у него. Такой поступокъ твой весьма предосудителенъ и зловреденъ для ближняго. Ежели,—чего Боже сохрани—и впредь у насъ такая смута будетъ, то какъ намъ жить и у одного алтаря служить? Бѣжать придется, куда глаза глядятъ. Коли хочешь человѣкомъ быть, всегда помни слова Писанія: «Се что добро, или что криво? еже жити братіи вкупѣ». Вкупѣ, другъ, — вотъ въ чемъ вся сила и жизнь христіанская, а ты раздѣлился на ся...

— Отецъ дьяконъ, ей-Богу... началъ дьячокъ, запинаясь, — ей-Богу, я безъ всякаго умысла сболтнулъ тогда, ибо находился въ большомъ разстройствѣ, и душевномъ и тѣлесномъ возмущеніи. Получивши я въ то время прискорбное извѣстіе, что сынъ мой

въ семинарской больницѣ при смерти—вдругъ батюшка говорить: тебѣ ѣхать нельзя, ибо отецъ дьяконъ ѣдетъ. Тутъ-то я, будучи въ великомъ терзаніи,—самъ ужъ не знаю какъ—и сболтнуть, якобы вы на него къ архіерею... вовсе не имѣвши въ намѣреніи вашего вреда, а собственно изъ любви къ дѣтищу, которое, того гляди, скончается. Вотъ и все. А я, какъ прежде, такъ и теперь, къ вамъ всегда съ чистосердечіемъ. Ей-ей, не лгу... ради нынѣшняго дня простите.

— Я простилъ, я давно простилъ, — отозвался отецъ дьяконъ, протирая губы ситцевымъ платкомъ:—я говорилъ это только для впредбудущаго. Господь да проститъ и помилуетъ всѣхъ насъ,—съ чувствомъ продекламировалъ отецъ дьяконъ въ антрактахъ между тремя энергичными примирительными поцѣлуями.

— Господи Боже,—расчувствовавшись, заговорилъ пономарь:—что за день нынче! Всѣ прощаются, всѣ-то прощаются; ужъ видно, что христіане. У бусурманъ, я думаю, этого нѣтъ.

— Ищи тамъ... У нихъ и Бога-то нѣтъ,—не то, что другого чего,—серьезно замѣтилъ отецъ дьяконъ.

— Хм! живутъ же вѣдь люди, — проговорилъ пономарь, и покачалъ головой.

— Съ чего это взялось—прощаться? — спросилъ дьячокъ, нѣсколько оживившись.

— Изстари такъ,—гдѣ христіане, тамъ и прощенье,—изъяснилъ дьяконъ.

— А вотъ, когда я жилъ въ монастырѣ послушникомъ,—началъ пономарь,—такъ тамъ въ нынѣшній день пѣли стихъ: «Сяде Адамъ прямо рай». Архимандрить, помню, объяснялъ намъ: какъ только, говорить, Адама изгенили изъ рая, съ тѣхъ поръ, говорить, мы и стали нынче прощаться. И въ монастырѣ, бывало, какъ только — прощенный день, такъ ужъ непременно: «Сяде Адамъ...»

— Вишь, вѣдь, какъ мудро объяснилъ, философъ настоящій,—проговорилъ отецъ дьяконъ, поглаживая волосы.

— Что у меня въ памяти было, то я и объяснилъ,—смирно отозвался пономарь.—Конечно, по наукѣ—гдѣ ужъ мнѣ... Не посла меня Господь крестити, а посла благовѣстити.

Нѣсколько минутъ длилось молчаніе.

— Ну, что-жъ,—заговорилъ наконецъ пономарь:—пора, кажется, и расходиться. По долгу христіанскому, сдѣлали свое—и слава Богу.

И онъ поднялся—было съ мѣста, а вслѣдъ за нимъ и дьячокъ.

— Погодите, погодите,—остановилъ ихъ отецъ дьяконъ,—сядьте-ка еще. Вѣдь завтра утрени не будетъ; попъ говорить, во вторникъ прямо къ часамъ... Я вотъ хочу вамъ сказать насчетъ одного дѣла,—хорошаго дѣла.

Дьячки снова усѣлись.

— Положимъ,—продолжалъ отецъ дьяконъ,—мы поговорили по душѣ, какъ слѣдуетъ, прилично нынѣшнему дню. Все это хорошо. Но все это вѣдь слова, а слова—вода. Во дни же покаянія потребны дѣла, а не слова. Мнѣ вотъ что нынче въ голову пришло: давайте каждый прощенный день хоть по одной страсти отсѣвать у себя... Вотъ, у всѣхъ насъ есть гнусная страстишка—табакъ нюхать. Вѣдь ужъ нужно сознаться, что это гадео и съ нашимъ положеніемъ не сообразно. Представьте себѣ: стоимъ мы въ храмѣ на важномъ мѣстѣ, всякъ насъ видитъ, и вдругъ у тебя по губамъ табачная вишневка течетъ. Тьфу!... Давайте-ка, съ нынѣшняго дня бросимъ это.

Дьячки молча улыбнулись.

— Чего вы смѣетесь? Это дѣло вовсе не смѣшное, а весьма важное и полезное не только для тѣла, но и для души.

— Трудно отстать: привычка,—проговорилъ пономарь.

— Знаю, что трудно, а ты побори себя,—внушалъ отецъ дьяконъ, болѣе и болѣе воодушевляясь и ходя взадъ и впередъ возлѣ дьячковъ. Всякія страсти искореняются съ трудомъ, а вѣдь нужно же ихъ когда-нибудь искоренить. Вотъ, ты и начни съ того, что полегче, а потомъ справишься и съ сильною страстью.

— Бросить, пожалуй, можно,—проговорилъ дьячокъ:—вѣдь было же время, когда мы не нюхали; и впредь можно не нюхать.

— Именно, именно,—подхватилъ дьяконъ.

— И бросишь, да не выдержишь,—вставилъ пономарь:—какъ только взглянешь на табакерку, такъ и захочется понюхать.

— Табакерку забросить,—чуть не вскричалъ дьяконъ,—непремѣнно забросить. Сейчасъ же пойдемъ забросимъ: я свою, а вы свои.

— Что ты это?—вмѣшалась дьяконица: такую табакерочку-то?—новую-то? Лучше отдай мнѣ: вѣдь она денегъ стоитъ.

— Молчи, не мѣшай,—серьезно сказалъ дьяконъ, нетерпѣливо махнувъ рукой.

— Вѣдь и моя тоже новенькая,—замѣтилъ пономарь, и полѣзъ-было въ пазуху за нагляднымъ доказательствомъ.

— Э, тамъ... новая! — съ досадой проговорилъ дьяконъ,

дернувъ пономаря за рукавъ:—бери шапку, идемъ, — идемте скорѣй!

Черезъ минуту дьяконъ и дьячки дѣйствительно ушли отгребаться отъ табакерокъ, оставивъ въ недоумѣнн дьяконицу. Она нѣсколько времени молча простояла у двери, какъ-бы прислушиваясь къ чему-то; наконецъ громко произнесла: «шуты!» и отправилась убирать нетронутую закуску.

— Что-жъ, попадья въ томъ же засаленномъ платьѣ была?—спросила между тѣмъ дьяконица дочку, гремя тарелками.

— Все въ томъ же.

— О, чучело этакое! хоть бы для людей-то надѣла почище. Много было у нихъ народу-то?

— Много-таки. Сколько нанесли попу всякой всячины ради прощанья! Попадья знай только подхватываетъ, да убираетъ.

— Ну, что-жъ, пусть ее: ей много надо... Обо мнѣ она не спрашивала?

— Спрашивала: что-жъ, говорить, твоя маменька проститься во мнѣ не пришла?

— А ты бы сказала: а сама, молъ, ты что въ маменькѣ не пришла?—развѣ, молъ, маменька-то тебѣ слуга какая?

— Ну ее... Я все съ Вѣрочкой занималась...

Между тѣмъ искоренители страстей въ темнотѣ направлялись къ церкви; дьяконъ быстро шагаль впередъ и постоянно торопилъ своихъ спутниковъ. Вотъ они миновали церковь и остановились на горѣ. Дьяконъ снялъ шапку, перекрестился, и торопливо проговоривъ: «Господи помози», энергично пустилъ свою табакеру въ воздухъ.

— Ну, пускайте скорѣе—разъ!—скомандовалъ онъ затѣмъ сподвижникамъ.

— Дайте ужъ въ послѣдній разъ понюхать,—взмолился пономарь, ударивъ ладонью по крышѣ своей табакерки.

— Ни-ни-ни!—съ неумолимою настойчивостію произнесъ дьяконъ, отрицательно качая головой.

Пономарь какъ-то отчаянно крякнулъ, подпрыгнулъ, и—черезъ секунду предметъ его страсти исчезъ въ темномъ пространствѣ.

Дьячокъ, не дожидаясь понуканій, молча и вяло махнулъ рукой, и табакерка его пукнула въ снѣгъ гдѣ-то по близости.

Похоронивъ свои шнупф-страсти, герои наши минуты двѣ простояли на мѣстѣ своего подвига, молча смотря въ пространство. Наконецъ, отецъ дьяконъ протяжно и свободно выдохнулъ,

какъ будто бремя тяжкое свалилось съ плечъ его, и сповойно, съ самодовольствомъ проговорилъ:

— Ну вотъ, вотъ и ладно. Слава Богу. Дай Богъ намъ...

— Правда, хотъ и жалъ немножко табакерку,—разсуждалъ пономарь на возвратномъ пути,—а на душѣ отчего-то хорошо стало, даромъ, что пустое дѣло.

— Непремѣнно, непремѣнно такъ,—подхватилъ дьяконъ,—это хотъ и въ малѣ, а вѣдь тоже добродѣтель; оттого и хорошо. Отъ малаго до великаго... все одно...

Взявши другъ съ друга слово не измѣнять своей рѣшимости, клирики снова облобызались на улицѣ и разошлись по домамъ.

— Ну что, какъ?—освѣдомлялся отецъ дьяконъ у пономаря черезъ день послѣ «событія».

— Мука, отецъ дьяконъ, истинная мука,—проговорилъ пономарь, сморщившись.—Вотъ это мѣсто, подъ самыми стропилами-то, ровно бы кто клещами стиснулъ.

При этомъ пономарь двумя пальцами ухватилъ себя за носъ, возлѣ самыхъ глазъ.

— Терпи, терпи,—ободрялъ отецъ дьяконъ,—пустое, пройдетъ; съ теченіемъ времени возрадуешься...

Недѣлю спустя, пономарь является къ отцу дьякону и таинственно сообщаетъ:

— Вѣдь дѣло-то, отецъ дьяконъ, не совсѣмъ ладно.

— А что?

— Одинъ отъ насъ предалъ насъ. Вѣдь опять нюкаетъ...

— Неужели?!—съ неподдѣльнымъ удивленіемъ воскликнулъ отецъ дьяконъ.—Почемъ ты знаешь?

— Давеча своими глазами замѣтилъ: приходитъ съ колокольни, а на усахъ этакъ... ровно бы усыпано.

— Ахъ, онъ халдей этакой,—проговорилъ отецъ дьяконъ, качая головой.

— Теперь я догадываюсь,—продолжалъ пономарь,—зачѣмъ его мальчишка вечеромъ мимо моего дома бѣгаетъ: это онъ, значитъ, къ слѣпому за табакомъ...

— А ты вотъ покарауль мальчишку-то, разспроси, да и уличи потомъ,—присовѣтовалъ отецъ дьяконъ.

— А вѣдь и то... всенепремѣнно уличу его,—рѣшили до-  
носчикъ...

Въ одинъ прескверный вечеръ пономарь меранулъ на своемъ крыльцѣ, карауля дьячкова мальчишку. Вотъ, мальчишка промелькнулъ мимо неподозрѣваемаго стража, по направленію къ табачному фабриканту. Пономарь кашлянулъ и, перевѣсившись черезъ крыльцо, съ замираніемъ сердца, тихо проговорилъ: погоди, вотъ погоди у меня... Едва только мальчишка, на возвратномъ пути, поравнялся съ крыльцомъ пономаря, какъ тотъ обликнулъ его—ласково-ласково:

— Тимоша, а Тимоша!

— Чего,—отозвался Тимоша, остановившись.

— Куда это ты ходилъ?

— Къ слѣпому.

— Зачѣмъ?

— Табъ.

— Ты бы, касатикъ, ужъ сразу взял полфунта, чѣмъ бѣ-  
гать почти каждый день...

— Тятенька говорить—онъ сохнетъ, ежели много купить.

— Развѣ вотъ что сохнетъ-то...—едва слышно проговорилъ пономарь и отпустилъ мальчишку.

Для пономаря не оставалось уже ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, кто это онъ, который сохнетъ. Давши мальчишкѣ отойти шаговъ тридцать, пономарь пошелъ за нимъ слѣдомъ, чтобы за-  
стать подозрѣваемаго на мѣстѣ преступленія... Тихо войдя въ сѣни предателя, пономарь съ затаеннымъ дыханіемъ сталъ при-  
слушиваться у двери.

— Свѣжій?—слышится ему изъ избы вопросъ дьячка.

— Свѣжій,—звенить въ отвѣтъ голосокъ Тимоши.

Пономарь помедлилъ еще съ минуту и торжественно раство-  
рилъ дверь. Моментъ былъ выбранъ самый удачный. Дьячокъ стоялъ среди избы съ бумажнымъ сверточкомъ въ рукѣ и, при-  
жмурившись, медленно втягивалъ одной ноздрей щепоть влаж-  
наго, душистаго табаку.

— А-а-а,—язвительно произнесъ пономарь,—ты вотъ какъ!

Дьячокъ отвелъ руку отъ носа и тупо посмотрѣлъ на не-  
жданнаго гостя.

— Не грѣхъ это тебѣ, Іудѣ?—укорялъ пономарь.

— Нашелъ грѣхъ въ табакѣ!—съ сердцемъ проговорилъ дьячокъ и, завернувшись, сунулъ сверточекъ въ карманъ жилета.

— Мы-то съ отцомъ дьякономъ терпимъ, мы-то терпимъ,—  
а онъ вонъ какъ!—продолжалъ пономарь:—погоди, дай сказать...

— Ну, сказать... Что мутить изъ пустынею?—мятео заговорилъ дьячокъ, подходя ближе къ обличителю:—изъ-за чего ты-то терзаешься, посмотрю я... Черезъ табакъ царствіе что ли получишь? Вѣдь это смѣшное дѣло! Добро бы—что путное... А ты, братъ, вотъ что: плюнь, да на-ка вотъ понюхай... Ты да я будемъ знать...

И дьячокъ соблазнительно развернулъ бумажку съ свѣжимъ табакомъ.

Пономарь нѣсколько минутъ молча глядѣлъ на табакъ, ухмылялся и трясъ головой. Наконецъ, осмотрѣвшись затѣмъ-то по сторонамъ, онъ вытянулъ два пальца по направленію къ бумажкѣ такъ, какъ будто собирался поймать муху, и—паденіе совершилось...

Устоявъ въ добродѣтели только одинъ отецъ дьяконъ, и долго-долго не могъ изобличить падшихъ.



---

# ВОЛЬНЫЙ ГОРОДЪ КРАКОВЪ

1815—1846.

---

## XIV \*).

Ноты сената къ конференціи резидентовъ отъ 11-го марта и 20-го апрѣля 1838 года противъ сейма. — Распущеніе сейма 11-го мая 1838 года. — Новый сеймовый статутъ. — Возобновленіе долговыхъ и имущественныхъ претензій Кракова. — Сношенія сената съ ликвидационной комиссіей царства польскаго и съ австрійскимъ правительствомъ — Новыя преобразованія Ягеллонской академіи, по указаніямъ Шиндлера. — Укрѣпленіе австрійскаго вліянія на жизнь Кракова. — Поведеніе австрійскаго отряда, продолжавшаго занимать Краковъ. — Адрессъ жителей Кракова къ французскому и англійскому правительствамъ отъ 3-го октября 1839 года. — Пренія во французской палатѣ перовъ и въ англійской палатѣ общинъ по поводу этого адреса. — Вопросъ о политическихъ правахъ Кракова и занятіи его австрійскими войсками. — Вопросъ о назначеніи британскаго и французскаго консуловъ въ Краковъ. — Петиціи отъ банкировъ и купцовъ Лондона, Глазгова, Бирмингама, Гулліа. — Отдѣленіе вопроса политическаго отъ торговаго. — Что такое независимость вольнаго города по мнѣнію англійскихъ ораторовъ. — Запутанность теоретическихъ воззрѣній оппозиціи и дипломатическая слабость министерствъ. — Усилія Австріи окончательнo подчинить Краковъ своему вліянію.

Мы видѣли, что сенатъ вскорѣ послѣ закрытія сейма довелъ до свѣдѣнія конференціи о всѣхъ его постановленіяхъ, шедшихъ въ разрѣзъ съ сенатскими предложеніями. Въ обѣихъ нотахъ своихъ, отъ 11-го (23-го) марта и 20-го апрѣля (2-го мая) 1838 года, сенатъ замѣчалъ, что было бы полезно, для охраненія на будущее время отъ злоупотребленій со стороны сейма, пересмот-

---

\*) См. выше: янв. 107; февр. 460; мар. 100; апр. 618 стр.

рѣть и опредѣлить вновь его органическій статутъ, ибо существующее законодательство не даетъ правительству необходимыхъ средствъ для направленія сеймовыхъ преній. Обѣщавъ заняться этимъ дѣломъ и устранивъ всѣ постановленія послѣдняго сейма, несходившіяся съ сенатскими предложеніями, конференція начала съ того, что освободила сенатъ изъ-подъ зависимости отъ единственнаго учрежденія, замѣнявшаго сеймъ, и, по закрытіи его, отъ учетной палаты. Въ силу § 14 конституціи 1833 года, эта палата должна была контролировать счета всѣхъ отраслей администраціи и удерживать ихъ въ согласіи съ бюджетомъ, утвержденнымъ сеймомъ. Такое учрежденіе, члены котораго избраны были изъ среды сейма и дѣйствія котораго конституція объявила не превращающимися, должно было стѣснять сенатъ, стремившійся управлять общественными фондами, не подчиняясь никакимъ обязательнымъ правиламъ. Чтобы избавить сенатъ, исполнявшій предписанія конференціи, не нравившіяся сейму, отъ такого надзора, резиденты уполномочили его закрыть учетную палату. Приглашенная сенатомъ прекратить свои занятія и передать ему свои архивы, палата отвѣчала, что законы страны не даютъ права ни конференціи уполномочивать сенатъ, ни послѣднему—принимать полномочія для пріостановленія законныхъ дѣйствій какой бы то ни было конституціонной власти; что палата считаетъ распоряженія конференціи и сената дѣйствіями незаконными, и поэтому будетъ продолжать свои занятія и охранять свои архивы. Сенатъ, по соглашенію съ конференціей, занявъ вооруженною силою зданіе палаты, приказалъ запереть его двери и овладѣлъ бумагами. Члены палаты были силою разогнаны среди бѣлаго дня 11-го (23-го) мая 1838 года, въ присутствіи многочисленной толпы, молча взиравшей на разрушеніе послѣднихъ остатковъ сеймовой жизни. Но только черезъ годъ, именно 7-го (19-го) іюня 1839 года обнаружены были основанія для новаго сеймоваго статута, измѣнявшаго отношенія собранія представителей къ сенату. Въ нотѣ резидентовъ, обращенной по этому поводу къ сенату, было сказано: «неправильный ходъ сеймовыхъ преній и многочисленныя нарушенія законнаго и примѣрнаго порядка, въ чемъ оказались виновными всѣ предшествовавшія законодательныя собранія, не могли быть оставлены безъ вниманія покровительствующими дворами. Они имѣли случай неоднократно убѣдиться, что время, предназначенное для изслѣдованія различныхъ предметовъ общественной пользы, поглощалось въ палатѣ горячими преніями о раздражительныхъ вопросахъ, поднятыхъ органами анархической партіи съ очевидною цѣлію парализовать

дѣйствія правительства и поставить администрацію въ затрудненіе. Нападеніе послѣдняго сейма на права и привилегіи сената и беззаконность большей части его рѣшеній показали, что частныя ограниченія, введенныя въ сеймовый статутъ, недостаточны для того, чтобы помѣшать въ будущемъ возобновленію подобныхъ злоупотребленій». На этомъ основаніи покровительствующіе дворы уполномочили краковскій сенатъ, вмѣстѣ съ конференціей резидентовъ, заняться составленіемъ новаго устава для собранія представителей. Основанія для сего устава даны были слѣдующія: «1) Сеймъ вольнаго города Кракова отнынѣ будетъ созываемъ лишь тогда, когда правительство страны сочтетъ это нужнымъ или полезнымъ, и особенно въ томъ случаѣ, когда надо ввести перемѣны въ бюджетъ. Необходимость или полезность такого созванія должны быть, кромѣ того, признаны тремя высокими покровительствующими дворами. 2) Всѣ должностныя лица, за исключеніемъ членовъ сената, адвокатовъ и нотаріусовъ, могутъ быть избираемы въ представители, если обладаютъ качествами, требуемыми закономъ, и если имѣютъ разрѣшеніе на то отъ сената. 3) Списокъ кандидатовъ на мѣста представителей долженъ быть сообщаемъ резидентамъ трехъ дворовъ, которые, соединившись въ конференцію, могутъ вычеркнуть изъ него имена тѣхъ лицъ, противъ которыхъ имѣютъ важное подозрѣніе. 4) Собраніе представителей не можетъ ни подъ какимъ предлогомъ разсуждать о другихъ предметахъ кромѣ тѣхъ, которые предложены будутъ на его разсмотрѣніе сенатомъ. Лишь только оно окончитъ обсужденіе этихъ дѣлъ, такъ тотчасъ же имѣетъ быть распушено. 5) Присутствіе по крайней мѣрѣ половины представителей необходимо для открытія засѣданій. Если, по недостатку кандидатовъ на званіе представителей, или по какой-либо другой причинѣ, не наберется и такого числа членовъ, или если представители пренебрегутъ обязанностью явиться въ засѣданія въ теченіе трехъ первыхъ дней послѣ ихъ созванія, то сеймъ долженъ считаться распущеннымъ. Въ этомъ случаѣ, равно какъ и въ томъ, когда сенатъ сочтетъ нужнымъ распустить сеймъ, уже составившійся законнымъ образомъ, проекты законовъ, приготовленные для него, должны быть представлены тремъ покровительствующимъ дворамъ и получить силу закона до слѣдующаго сейма въ томъ объемѣ, въ какомъ они будутъ утверждены дворами. 6) Президентъ сената и сенаторы будутъ назначаться высокими покровительствующими дворами. Главный секретарь будетъ избираемъ сенатомъ, но президентъ долженъ предварительно входить въ соглашеніе объ этомъ предметѣ съ резидентами трехъ дворовъ. 7) Всѣ за-

конодательныя распоряженія, несогласныя съ изложенными основаніями, должны считаться отмѣненными».

Въ концѣ ноты, сопровождавшей только-что приведенныя основанія для реформы сеймоваго устройства, было сказано, что покровительствующіе дворы уполномочиваютъ сенатъ изготovitъ новый сеймовый уставъ на указанныхъ началахъ, «на основаніи рѣшающей власти, которая имъ ввѣрена касательно введенія всякихъ перемѣнъ въ законы вольнаго города Кракова, на какія опыты уважить имъ какъ на необходимыя»; что предлагаемыя измѣненія должны быть внесены въ органическій статутъ политическихъ собраний, «согласно просьбѣ самого сената». Въ нотѣ не было упомянуто о томъ, насколько эти измѣненія передѣлываютъ обѣ краковскія конституціи какъ 1818, такъ и 1833 года. Такимъ образомъ, въ фундаментальный законъ не было внесено никакихъ перемѣнъ или дополненій, и въ эту эпоху, о которой мы говоримъ; но всѣ они, по примѣру прежнихъ распоряженій, вносились только въ уставы отдѣльныхъ учреждений. Смыслъ самой реформы былъ ясенъ: сеймъ вполнѣ былъ подчиненъ сенату, а чрезъ него конференціи, и въ то же время созваніе и распушеніе его вполнѣ зависѣли отъ воли сенаторовъ, уже не выбираемыхъ болѣе сеймомъ, а назначаемыхъ конференціей, которая такимъ образомъ приобрѣтала неограниченную власть въ Краковѣ.

Былъ однакожъ вопросъ, который, при такомъ положеніи сейма и по закрытіи счетной палаты, ставилъ сенатъ въ затруднительное положеніе, оставаясь предметомъ его одинокихъ попеченій, не находившихъ себѣ на этотъ разъ поддержки въ конференціи. Мы разумѣемъ вопросъ о долговыхъ претензіяхъ Кракова и особенно его университета, сосредоточившихся послѣ конвенціи, заключенной между Австріей и Россіей въ 1828 году, на правительствѣ царства польскаго. Относительно одной категоріи этихъ претензій, падавшихъ собственно на царство польское и западныя губерніи русской имперіи, вопросъ остановился на нотѣ, адресованной краковскимъ сенатомъ въ русское министерство иностранныхъ дѣлъ еще въ іюнѣ 1830 года. Относительно другой категоріи, именно претензій, признанныхъ Австріей и переданныхъ ею Россіи по вышеупомянутой конвенціи въ удовлетворенію, вопросъ зависѣлъ отъ разъясненія частныхъ недоразумѣній, возникшихъ между центральною ликвидационною комиссіей въ царствѣ польскомъ и вѣнскимъ министерствомъ финансовъ. При такихъ условіяхъ ликвидація краковскихъ претензій совершалась чрезвычайно медленно, и преобразованный въ 1833 году сенатъ тогда же послалъ своимъ уполномоченнымъ въ Вар-

шаву Іакинфа Мѣрошевскаго. Ему удалось изъ личныхъ сношеній съ предсѣдателемъ комиссіи, директоромъ ликвидационнаго отдѣленія въ министерствѣ финансовъ царства польскаго, получить слѣдующія объясненія: «1) такъ какъ Австрія перевела всѣ долговыя суммы на ассигнаціонный счетъ, и такъ какъ австрійскія ассигнаціи понижены были на одну пятую своей номинальной цѣнности патентомъ 11-го февраля 1811 года, то правительство царства польскаго считало своимъ правомъ относительно долговыхъ обязательствъ Австріи слѣдовать системѣ, которую эта держава усвоила еще до конвенціи 1828 года; 2) относительно большей части претензій вольнаго города, заключающихъ въ себѣ между прочимъ требованіе 263,268 злотыхъ 22 грошей, принадлежащихъ Ягеллонскому университету и находившихся въ видѣ вклада между фондами еврейскихъ консисторій въ Галиціи, ликвидационная комиссія не можетъ представить своего мнѣнія, пока не изслѣдуетъ всѣ вопросы, связанные съ этими претензіями; 3) касательно количества суммъ, принадлежащихъ краковскому университету и включенныхъ австрійскимъ правительствомъ сперва въ главный воспитательный фондъ, а потомъ переданныхъ въ руки Россіи, свѣдѣнія, сообщенныя галицко-австрійскими властями, не представляютъ въ надлежащемъ свѣтѣ всѣ подробности дѣла, а сношенія, начатыя съ австрійскимъ правительствомъ съ цѣлю получить бумаги, необходимыя для выполненія конвенціи 1828 года, были прерваны въ 1830 году и съ тѣхъ поръ не возобновлялись». Изъ такихъ объясненій Мѣрошевскій, въ своемъ докладѣ сенату отъ 11-го (23-го) мая 1834 года, выводилъ слѣдующее заключеніе: «на основаніи изложенныхъ конфиденціальныхъ сообщеній, я осмѣливаюсь утверждать, что всякое дальнѣйшее ходатайство объ этомъ предметѣ передъ варшавскимъ правительствомъ не приведетъ ни къ чему, и если существуетъ какое-либо ручательство въ исполненіи претензій, то, по моему убѣжденію, оно заключается въ обращеніи къ повелѣтельству австрійскаго правительства, которое, при заключеніи вѣнскаго конвенціи, сохранило за собой право освѣдомиться, какимъ образомъ будутъ удовлетворены эти претензіи». Сенатъ однакожъ не рѣшался идти путемъ, который указывалъ ему Мѣрошевскій. Онъ продолжалъ искать удовлетворенія непосредственно въ Варшавѣ. По его расчету, въ началѣ 1837 года общее количество всѣхъ претензій самой республики и ея гражданъ, за исключеніемъ университетскихъ, къ тремъ сосѣднимъ державамъ было слѣдующее: къ Австріи 5.214,822 злотыхъ 12 грошей, къ варшавскому герцогству или замѣнившимъ его царству польскому и

великому княжеству Познанскому — 6.411,296 злотыхъ 13 грошей, къ западнымъ губерніямъ Россіи 1.344,109 злотыхъ 22 гроша, всего же 12.970,228 злотыхъ 17 грошей; изъ нихъ было зачтено, отвергнуто или перенесено на другіе источники, со стороны Австріи 1.214,725 злотыхъ 27<sup>1</sup>/<sub>2</sub> грошей, со стороны царства польскаго и Пруссіи 557,989 злотыхъ 4 гроша, со стороны Россіи 18,237 злотыхъ 18 грошей, всего на 1.791,002 злотыхъ 19<sup>1</sup>/<sub>2</sub> грошей; такимъ образомъ, оставалось ликвидировать претензій на Австрію 4.000,096 злотыхъ 15<sup>1</sup>/<sub>2</sub> грошей, на царство польское, и великое княжество Познанское 5,853,307 злотыхъ 9 грошей, на Россію 1.325,822 злотыхъ 4 гроша, а всего 11.179,225 злотыхъ 27<sup>1</sup>/<sub>2</sub> грошей; иначе говоря, въ теченіи двадцати лѣтъ погашена была одна седьмая часть всѣхъ претензій, выставленныхъ вольнымъ городомъ и его гражданами, не включая въ то число претензій университета, перенесенныхъ съ варшавскаго герцогства на царство польское. Предоставляя прежнему теченію ликвидацію общихъ претензій, краковскій сенатъ добивался чрезъ русскаго резидента по крайней мѣрѣ разрѣшенія вопроса о претензіяхъ университета, къ уплатѣ коихъ еще не было приступлено; но и этимъ путемъ онъ продолжалъ получать прежніе отвѣты отъ варшавскаго министерства финансовъ. Тогда онъ обратился, 23-го апрѣля (5-го мая) 1837 года, съ адресомъ къ австрійскому правительству, въ коемъ, изложивъ всѣ обстоятельства, замедлившія въ теченіи девяти лѣтъ выполнение конвенціи 1828 года, настоятельно просилъ сообщить ему признанные и уплаченные Австріей счета университета, съ точнымъ опредѣленіемъ всѣхъ суммъ или на серебро, или на ассигнаціи. Восемнадцать мѣсяцевъ спустя, именно 21-го октября (2-го ноября) 1838 года краковское правительство получило отвѣтъ изъ Вѣны, довольно точно показывавшій суммы, переданныя австрійскимъ правительствомъ польско-русскому на покрытие претензій не только царства польскаго, но и Кракова въ Галиціи, хотя и безъ опредѣленія ихъ стоимости на звонкую монету или на бумажные знаки. Изъ представленной австрійскимъ резидентомъ таблицы видно было, что изъ 3.104,848 флориновъ 43<sup>3</sup>/<sub>7</sub> крейцеровъ вѣнской стоимости, уплаченныхъ Австріей Россіи, 307,988 флориновъ 26 крейцеровъ причитались краковскому университету, 2.321,144 флорина 17<sup>3</sup>/<sub>7</sub> крейцера слѣдовали въ раздѣлъ между правительствами царства польскаго и Кракова пропорціонально ихъ претензіямъ, остальная сумма приходилась на долю царства польскаго. Кромѣ того, Австріей уплачено было процентовъ до 1828 года 742,002 флорина 11<sup>3</sup>/<sub>7</sub> крейцеровъ конвенціон-

ною монетою, изъ коихъ 121,223 флорина 56 крейцеровъ слѣдовали краковскому университету; 495,294 флорина 22<sup>1</sup>/<sub>2</sub> крейцера должны были быть раздѣлены между царствомъ польскимъ и вольнымъ городомъ, остальные слѣдовали царству польскому. Представляя такой расчетъ, австрійское правительство совѣтовало краковскому сенату войти въ соглашеніе съ правительствомъ царства польскаго и прибавляло, что съ своей стороны оно пригласило русское правительство приступить къ передачѣ денегъ, слѣдующихъ Кракову, и сообщить о послѣдствіяхъ. Краковский сенатъ передалъ русскому резиденту счетъ, присланный изъ Австріи, и просилъ министерство финансовъ царства польскаго о немедленной выдачѣ суммъ, безусловно слѣдовавшихъ краковскому университету, изъявляя готовность войти въ соглашеніе относительно суммъ, цифра которыхъ не была еще опредѣлена. Варшавское министерство отвѣчало, 15-го (27-го) марта 1839 года, что «австрійское правительство до сихъ поръ не удовлетворило большей части запросовъ, сдѣланныхъ ему варшавскимъ министерствомъ, и тѣмъ самымъ поставило въ сомнительное положеніе всю операцію: если оно отыскало основанія для опредѣленія той части фондовъ, которая положительно слѣдуетъ вольному городу Кракову, то точно также оно можетъ и должно найти основанія для распредѣленія между польскимъ и краковскимъ правительствами той категоріи фондовъ, которая слѣдуетъ къ раздѣлу между ними; нельзя думать, чтобы оно не въ состояніи было сего сдѣлать, ибо оно само реализовало имущества и капиталы разныхъ учреждений, чтобы включить ихъ въ свой главный воспитательный фондъ, само управляло этими капиталами и процентами съ нихъ, согласно ихъ различнымъ назначеніямъ. Еслибы правительство царства польскаго, при всей этой неопредѣленности, рѣшилось уплатить какую-либо часть краковскому правительству, то этимъ увеличилась бы только запутанность вопроса, а принявъ соглашеніе безъ точнаго знанія специальныхъ источниковъ, изъ коихъ произошли капиталы главнаго воспитательнаго фонда, и различныхъ измѣненій, коимъ онъ подвергался съ 1809 года, оно могло бы, дѣйствуя безъ опредѣленныхъ основаній, нанести ущербъ той или другой изъ договаривающихся сторонъ. А посему коммиссія, управляющая финансами и казначействомъ царства польскаго, обратилась къ высшей власти, съ просьбой вытребовать отъ австрійскаго правительства относящіяся къ сему вопросу свѣдѣнія, и можетъ только просить императорскую миссію въ Краковѣ о приглашеніи правительства вольнаго города потерпѣть еще нѣкоторое время, пока это дѣло не будетъ достаточно выяснено и опре-

дѣлено, съ каковою цѣлью коммиссія уже принимала, со времени заключенія конвенціи 1828 года, и продолжаетъ принимать съ величайшею ревностью всѣ необходимыя мѣры». Сообщение это было подписано совѣтникомъ Сѣвницкимъ и секретаремъ Вендриховскимъ. Такимъ образомъ, краковскому сенату и въ 1839 году не удалось распутать вопросъ о ликвидаціи претензій, которыя вольный городъ продолжалъ заявлять съ самаго своего основанія.

Между тѣмъ краковскій университетъ, не получившій удовлетворенія относительно своихъ денежныхъ притязаній, успѣлъ подвергнуться новымъ преобразованіямъ, благодаря проискамъ одного изъ своихъ сочленовъ, засѣдавшего уже въ сенатѣ, каноника Шиндлера, дѣйствовавшего подъ вліяніемъ австрійскаго резидента и австрійскаго директора полиціи, волю которыхъ поддерживало пребываніе въ вольномъ городѣ австрійскаго военнаго отряда. Директоръ краковской полиціи, австріецъ Гуть, считалъ источникомъ всѣхъ волненій, какія только могли произойти въ Краковѣ, академическую молодежь. Чтобы уничтожить всякую возможность какого-либо движенія съ ея стороны, Гуть указалъ на необходимость, съ одной стороны, подчинить молодежь строжайшей дисциплинѣ, съ другой — положить предѣлы заступничеству профессоровъ за студентовъ и отмѣнить право университетскаго совѣта протестовать противъ дѣйствій полиціи. Проводникомъ такой реформы могъ служить такъ-называемый правительственный комиссаръ при университетѣ, каковымъ въ то время состоялъ каноникъ Шиндлеръ. Онъ представилъ донесеніе конференціи резидентовъ о необходимости упомянутой реформы и указалъ подробно, какіе параграфы въ университетскомъ статутѣ должны быть измѣнены съ этою цѣлью. 8-го (20-го) іюня 1838 года, конференція утвердила эти измѣненія. Дополнительнымъ поясненіемъ къ § 68 академическаго устава, студенты университета подчинены были тѣлеснымъ наказаніямъ. Дополненіе къ § 18 ввело въ органическій законъ временное распоряженіе о принятіи въ число краковскихъ студентовъ иностранныхъ подданныхъ, и, стало быть, придало ему силу постоянного закона. Дополненіе къ § 3 дало право правительственному комиссару при увольненіи какого-либо профессора отъ службы выдавать ему свидѣтельство о безпорочномъ поведеніи за все время его службы; если комиссаръ отказывалъ въ выдачѣ такого свидѣтельства, то увольняемый получалъ только четверть слѣдуемой ему пенсіи, профессора же, дурно аттестованные комиссаромъ, лишались всѣхъ своихъ правъ. Въ силу дополнительной статьи къ § 36, правительственный комиссаръ освобожденъ былъ правомъ предостереженія и надзора относительно про-

фессоровъ, увольненія отъ службы ихъ и даже суда; апеллировать на его рѣшенія пострадавшіе могли только къ президенту сената; еслибы послѣдній высказался противъ рѣшенія комиссара, то конференція резидентовъ получала право произнести окончательное рѣшеніе. Та же статья заключала въ себѣ обѣщаніе различныхъ служебныхъ поощреній и денежныхъ наградъ профессорамъ, которые заслужили бы полное одобреніе правительственнаго комиссара. Значеніе этой статьи мы поймемъ, когда припомнимъ, что каноникъ Шиндлеръ, бывшій правительственнымъ комиссаромъ при университетѣ, состоялъ въ то же время и сенаторомъ, пользуясь большимъ вліяніемъ на своихъ товарищей, а впоследствии достигъ даже званія президента сената. Но, и не будучи президентомъ, Шиндлеръ могъ пользоваться неограниченною властью надъ университетомъ: § 1 новаго академическаго устава формально предписывалъ правительственному комиссару не исполнять приказаній высшихъ властей вольнаго города, если онъ считалъ эти приказанія несогласными съ правилами, которыя были даны ему конференціей; въ такомъ случаѣ онъ долженъ былъ заявить свое мнѣніе власти, отъ которой онъ получилъ приказаніе, и представить весь вопросъ на благоусмотрѣніе резидентовъ, еслибы его замѣчанія остались безъ послѣдствій. Такимъ образомъ, вмѣшательство конференціи явилось столь же неизбѣжнымъ и обязательнымъ во всѣхъ дѣлахъ университета, какимъ оно мало-по-малу сдѣлалось въ жизни и дѣятельности сената, сейма, судебныхъ учреждений, милиціи и полиціи. Наконецъ, § 100 новаго устава предоставилъ конференціи исключительное право толковать и разъяснять всѣ сомнительные случаи, какіе могли возникнуть при примѣненіи этого устава. Новый академическій статутъ былъ обнародованъ въ «Дневникѣ» краковскихъ законовъ, согласно декрету сената отъ 7-го (19-го) іюля 1839 года.

Такимъ образомъ, всѣ нововведенія, допущенныя въ жизни Кракова съ 1837 года, имѣвшія видъ общихъ распоряженій конференціи резидентовъ, ограничивъ политическія права и внутреннюю независимость вольнаго города, дали въ немъ сильный перевѣсъ вліянію Австріи, которой отдѣльное существованіе Кракова всегда казалось опаснымъ не только для общественнаго спокойствія принадлежавшей ей Галиціи, но и для внѣшняго положенія всѣхъ ея сѣверовосточныхъ провинцій въ случаѣ разлада съ Россіей или Пруссіей. Теперь она имѣла, наравнѣ съ остальными покровительствующими державами, своего резидента, бывшаго полно-властнымъ членомъ конференціи, представлявшей собою на дѣлѣ

какъ-бы верховное правительство Кракова; имѣла наравнѣ съ ними своего депутата въ верховномъ уголовномъ судѣ Кракова и высылала своего члена въ комиссію, разсматривавшую преступленія, подлежащія дисциплинарному суду. Кромѣ того, она держала въ Краковѣ значительный военный отрядъ, и начальствовавшій надъ нимъ генералъ вмѣшивался въ управленіе милиціей и дѣятельность полиціи, причемъ начальниками обѣихъ были люди, состоявшіе въ австрійской службѣ. Наконецъ, между должностными лицами Кракова было много такихъ, которые находились въ непосредственной зависимости отъ Австріи по своимъ имѣніямъ, расположеннымъ въ Галиціи, или принадлежали къ числу ея отъявленныхъ сторонниковъ; особенно сильно было вліяніе такихъ лицъ въ сенатѣ и университетѣ. Поддерживаемое закономъ и правотою, общественными связями и личными отношеніями, это вліяніе опиралось въ эпоху, о которой у насъ идетъ рѣчь, еще на такую силу, какою не располагала въ Краковѣ ни одна изъ сосѣднихъ державъ, — на гарнизонъ, введенный въ Краковъ въ началѣ 1836 года и усиленный въ 1838 году. Этотъ военный отрядъ внушалъ страхъ всему краю, и съ его дѣятельностью могли соперничать только позднѣйшія дѣйствія австрійскихъ гарнизоновъ въ итальянскихъ провинціяхъ и австрійскаго оккупационнаго корпуса въ Румынскихъ княжествахъ во время восточной войны. Отрядъ, занимавшій Краковъ, не подлежалъ никакой высшей юрисдикціи въ странѣ, ни даже самой конференціи; никто не зналъ границъ его правъ и обязанностей; никто не имѣлъ права апеллировать на его дѣйствія и распоряженія; никто не зналъ, можно ли даже жаловаться на нихъ. Цѣлью его пребыванія въ Краковѣ объявлена была сначала поддержка уваженія и повиновенія въ населеніи къ мѣстнымъ властямъ, но потомъ мало-по-малу онъ сталъ выше этихъ властей. Два происшествія ясно доказали это жителямъ Кракова. Еще въ 1836 году полиція арестовала пьянаго человѣка, который въ этомъ видѣ оскорбилъ австрійскаго чиновника. Такой поступокъ, предусмотрѣнный существовавшими законами, подлежалъ вѣдѣнію исправительной полиціи; но генералъ Кауфманъ, желавшій произвести собственный судъ, потребовалъ, чтобы виновный, заключенный мѣстными властями въ тюрьму, былъ ему выданъ; на замѣчаніе тюремнаго начальства, что оно не можетъ выдать виновнаго иначе какъ по повелѣнію сената, генералъ вмѣсто всякаго отвѣта приказалъ отворить ворота тюрьмы, схватить виновнаго и наказать по своему усмотрѣнію. Вѣсть объ этомъ происшествіи разнеслась по всему городу. Въ 1838 году, австрійскіе гусары,

обвиненные въ кражѣ однимъ изъ жителей деревни Костельницы, принадлежавшей графу Водзицкому, убили другого сельчанина той же мѣстности, принявъ его за своего обвинителя. Преступленіе было явное и доказанное; однакожъ мѣстные суды не имѣли даже возможности начать процессъ, и австрійскія военныя власти, вмѣсто всякаго наказанія виновныхъ, только перевели ихъ изъ краковскаго отряда въ Тарновскій гарнизонъ въ Галиціи. Наконецъ, содержаніе австрійскаго отряда ежегодно обходилось вольному городу въ 200,000 злотыхъ, между тѣмъ какъ весь бюджетъ Кракова не превышалъ полутора милліоновъ. Не удивительно, что, опираясь на такую силу, директоръ полиціи Гуть дѣйствовалъ по собственному усмотрѣнію, пока само австрійское правительство не замѣнило его, 22-го іюня (4-го іюля) 1839 года, Вольфартомъ. Таково было положеніе краковской республики, когда ея жители рѣшились обратиться съ адрессомъ въ французскому и англійскому правительствамъ, какъ участвовавшимъ въ подписаніи вѣнскихъ договоровъ.

Адрессъ этотъ написанъ былъ 3-го (15-го) октября, и въ составленіи его участвовали главнымъ образомъ лица, бывшія нѣкогда членами сейма, сената и судебныхъ учреждений. Къ адресу приложенъ былъ обширный мемуаръ, подробно излагавшій исторію постепенныхъ искаженій и передѣлокъ первоначальной конституціи, данной Кракову во время вѣнскаго конгресса. Мемуаръ былъ снабженъ 63 документами. Но лишь въ концѣ 1839 года жители Кракова могли доставить свой адресъ министерствамъ французскому и англійскому, и только въ слѣдующемъ году былъ напечатанъ въ Парижѣ приложенный къ нему мемуаръ въ видѣ, исправленномъ Лудовикомъ Кроликковскимъ. Только тогда, когда всему дѣлу придана была обширная гласность, французскій и англійскій парламенты рѣшились высказаться о немъ. Это было уже въ іюлѣ 1840 года. Послужившій поводомъ къ преніямъ, адрессъ заключалъ въ себѣ слѣдующее:

«Несчастія, угнетающія вольный городъ Краковъ и его жителей, таковы, что нижеподписавшіеся не видятъ для себя и своихъ согражданъ иной надежды, какъ въ могущественномъ и просвѣщенномъ покровительствѣ правительствъ Франціи и Англіи. Основаніе краковскаго государства, въ качествѣ вольнаго, независимаго и нейтральнаго города, было однимъ изъ актовъ общаго договора, который представители Франціи и Великобританіи подписали въ Вѣнѣ въ 1815 году, и коимъ они подтвердили, отъ имени своихъ правительствъ, обязательство поддерживать уваженіе въ существованію сего государства. Англія и Франція принимали

участіе въ великомъ договорѣ, который въ 1815 году установилъ будущее всѣхъ европейскихъ государствъ. Подписавъ его, они приняли на себя, подобно другимъ великимъ державамъ, ручательство за права, предоставленныя въ пользу каждаго изъ государствъ, которыя были тогда основаны. Исполнивъ самымъ точнымъ образомъ эти договоры, даже въ тѣхъ случаяхъ, которые приглашали ихъ къ чувствительнымъ пожертвованіямъ, Англія и Франція получили чрезъ то двойное право требовать отъ всякой другой державы равнаго уваженія къ взаимнымъ обязательствамъ. Приложенный при семъ мемуаръ имѣетъ цѣлю показать, что условія, касающіяся краковскаго государства, вовсе не были уважаемы, какъ бы слѣдовало, и, кромѣ того, изложить печальное положеніе, въ коемъ его жители находятся теперь вслѣдствіе такого нарушенія договоровъ. Мы осмѣливаемся обратить безпристрастное вниманіе правительствъ Франціи и Англіи на этотъ мемуаръ, который представляетъ вѣрную картину печальнаго состоянія, до коего мы доведены, которое указываетъ причины его и предлагаетъ мѣры, отъ усвоенія коихъ зависитъ уменьшеніе зла. Благоволите, г. президентъ совѣта министровъ, принять къ свѣдѣнію это изложеніе. Положеніе, въ которомъ мы находимся, даетъ намъ право обращаться съ просьбой о вмѣшательствѣ ко всякой державѣ, подписавшей вѣнскій договоръ. Правительствамъ Франціи и Великобританіи особенно принадлежитъ право отвѣтить на это воззваніе. Дѣйствіе, къ коему мы приглашаемъ ихъ, будетъ съ ихъ стороны выполненіемъ обязанности, торжественно принятой на себя. А посему, г. президентъ, мы льстимъ себя надеждой, что вы не откажетесь быть истолкователемъ нашего ходатайства предъ его величествомъ, который удостоиваетъ васъ августѣйшаго довѣрія, и повергнуть къ подножію его трона слѣдующія просьбы, съ коими мы обращаемся въ глубочайшемъ почтеніи: 1) чтобы Франція и Великобританія согласились между собой потребовать полный пересмотръ условій, которыя опредѣляютъ существованіе краковскаго государства какъ во внутреннихъ дѣлахъ, такъ и въ его отношеніяхъ къ сосѣдямъ, чтобы назначена была съ этою цѣлю коммиссія или конференція отъ Австріи, Франціи, Великобританіи, Пруссіи и Россіи; чтобы эти пять державъ утвердили своимъ соглашеніемъ, какъ онѣ сдѣлали это въ 1815 году, и притомъ окончательнымъ образомъ, главныя основанія его внутренней организаціи, и привели ихъ въ соотвѣстствіе съ позднѣйшими органическими правилами, коими первоначальная конституція была ограничена, хотя, будучи включена въ общій актъ Вѣнскаго конгресса, она должна была оставаться

неприкосновенною, подобно другимъ постановленіямъ того же договора; 2) чтобы депутаты отъ вольнаго города Кракова были допущены съ совѣщательнымъ голосомъ къ участию въ занятіяхъ этой конференціи; 3) чтобы конференція приняла мѣры, способныя обезпечить жителямъ Кракова, какъ въ ихъ коммерческихъ сношеніяхъ, такъ и въ сношеніяхъ съ сосѣдними землями, благодѣянія, которыя были дарованы имъ Вѣнскимъ договоромъ (ст. 6—14); 4) чтобы основныя учрежденія, предназначенныя управлять жизнію Кракова, будучи разъ навсегда признаны пятью державами, не подвергались отнынѣ никакимъ рѣшительнымъ реформамъ инымъ путемъ, кромѣ указаннаго для сего заранѣе, то-есть правильнымъ дѣйствіемъ конституціонныхъ властей страны; 5) чтобы мѣстныя учрежденія, утвержденныя на возобновленныхъ такимъ образомъ условіяхъ, были отнынѣ свободны отъ всякаго иностраннаго вліянія и были бы отвѣтственны за свои дѣйствія только предъ властями, которыя законъ назначить для сего; 6) наконецъ, для того, чтобы устранить на будущее время необходимость подобныхъ заявленій, и чтобы обезпечить значеніе мѣръ, нами предлагаемыхъ, пусть правительства Франціи и Англіи назначать, подобно тремъ державамъ, сосѣднимъ съ Краковомъ, своихъ уполномоченныхъ представителей при этомъ государствѣ. Таковы просьбы, съ коими мы обращаемся къ правительствамъ Франціи и Великобританіи. Мы убѣждены, что провѣрка фактовъ, представленныхъ въ прилагаемомъ при семъ мемуарѣ, докажетъ, что эти просьбы вызваны самою настоятельною необходимостію, и что только тѣ мѣры, о коихъ мы ходатайствуемъ, могутъ положить предѣлъ порядку вещей, подъ коимъ мы нынѣ стенаемъ. Проникнутые такимъ убѣжденіемъ, мы осмѣливаемся надѣяться, что Провидѣніе увѣнчаетъ счастливымъ успѣхомъ нынѣшнее заявленіе и что вы, г. президентъ, поддержите его вашимъ личнымъ сочувствіемъ».

Наиболѣе замѣчательными изъ преній, вызванныхъ этимъ адресомъ, были имѣвшія мѣсто въ засѣданіи французской палаты пэровъ 28-го іюня (10-го іюля), и въ засѣданіи англійской палаты общинъ 1-го (13-го) іюля 1840 года. Во французской палатѣ запросъ о положеніи Кракова предложенъ былъ графомъ Таше. Онъ напомнилъ, что президентъ министерства Тьеръ, носившій это званіе и въ 1836 году, остановилъ тогда подобный же запросъ заявленіемъ, что несвоевременная демонстрація можетъ помѣшать успѣху начатыхъ тогда дипломатическихъ сношеній, имѣвшихъ цѣлю склонить Австрію къ допущенію англійскаго агента въ Краковъ; что желаніе Тьера было исполнено

тогда, но Краковъ не получилъ ни англійскаго, ни французскаго консула. Затѣмъ графъ Таше обрисовалъ положеніе Кракова въ такихъ словахъ: «вамъ извѣстно, что въ 1815 году было основано независимое государство договорами между тремя державами, Пруссіей, Австріей и Россіей. Городъ Краковъ объявленъ былъ вольнымъ, независимымъ и нейтральнымъ. Франція и Англія, подобно другимъ державамъ, подписали эти договоры. И что же! Съ 1815 года краковская республика никогда не пользовалась этой независимостью; вольный городъ Краковъ никогда не пользовался свободой; его конституція, несмотря на то, что включена была въ договоры 1815 года, замѣнена въ 1833 году другою, вскорѣ отмѣненной самими же предложившими ее; университетъ повергнутъ въ нищету; милиція, предназначенная для защиты города, мало по-малу закрыта для туземцевъ и наполнена австрійцами. Однакожъ и этотъ родъ гарнизона показался недостаточнымъ для покровительствующихъ державъ. Въ 1836 году подъ предлогами, которые теперь можно назвать произвольными, допущено было военное занятіе Кракова, которое продолжается и до сихъ поръ на счетъ республики... Краковъ находится подъ вліяніемъ, не скажу правительства, но своего рода триумvirата, который подъ именемъ конференціи резидентовъ тяготѣетъ надъ свободою республикой. Эта конференція поглотила собою всѣ власти, гражданскія и военныя. Чтобы опредѣлить этотъ видъ абсолютнаго управленія, достаточно сказать, что конференція резидентовъ отказалась представить государямъ почтительный адресъ, принятый представителями Кракова и сообщенный ей сенатомъ. Къ счастью для политической нравственности, имена резидентовъ подписаны подъ этимъ страннымъ отказомъ, который останется памятникомъ въ исторіи. Я полагаю, что такое состояніе дѣлъ должно обратить на себя вниманіе Франціи. Оно касается ея собственнаго достоинства. Я конечно знаю, что гораздо легче охранить, напримѣръ, Анкону отъ папы, чѣмъ возвратитъ Кракову его независимость; но силу особенно надо показывать противъ сильныхъ. Кромѣ того, на сторонѣ этого дѣла право, ибо трактаты 1815 года положительны. Франція подписала ихъ, и мнѣ кажется, что они стѣбли ей слишкомъ дорого и она должна имѣть въ свою очередь право сослаться на нихъ и защищать ихъ». Министръ-президентъ отвѣчалъ, что краковскій вопросъ въ теченіи послѣднихъ четырехъ лѣтъ постоянно занималъ кабинеты французскій и англійскій, и, можно сказать, былъ самымъ труднымъ вопросомъ времени; но какъ прежде, такъ и теперь продолжительныя пренія въ парламентѣ по этому поводу едва ли послужатъ въ пользу той странѣ,

которую собираются защищать; силы Франціи должны быть употребляемы только съ пользою для нея самой и встати; въ данномъ случаѣ благоразуміе не указываетъ такихъ условій. Тьеру возражалъ баронъ Мунье. Онъ замѣтилъ, что обыкновенно нарушение краковскихъ привилегій объясняютъ тѣмъ, будто бы оно вызвано было нѣкоторыми непріятностями, причиненными Краковомъ сосѣднимъ державамъ: «мнѣ кажется, — прибавилъ онъ, — трудно предположить, чтобы между государствомъ, насчитывающимъ не болѣе 100,000 жителей, и тремя державами, которыя, будучи взяты вмѣстѣ, имѣютъ болѣе 100.000,000 подданныхъ, непріятности могли послѣдовать со стороны того, кто располагаетъ сто-тысячнымъ населеніемъ. Невозможно думать, чтобы, при такой несоразмѣрности силъ, Краковъ хотѣлъ нарушить обязательства, составляющія его единственную гарантію». Чтобы остановить дальнѣйшее нарушение краковскихъ привилегій, по мнѣнію Мунье, было одно простое средство: назначить въ Краковъ консуловъ отъ Франціи и Англіи. «Они, — говорилъ онъ, — будутъ смотрѣть, не происходитъ ли чего-либо, переходящаго законныя границы, несогласнаго съ интересами края и съ спокойствіемъ великихъ державъ, которыя покровительствуютъ ему. Какимъ образомъ присутствіе французскаго и англійскаго консуловъ можетъ имѣть какія-нибудь дурныя послѣдствія! Отвергать присутствіе этихъ консуловъ значить заявлять, что не признаютъ болѣе независимости Кракова! Не значить ли это, что Краковъ не сохранилъ того политическаго бытія, которое было обезпечено за нимъ вѣнскимъ конгрессомъ?» Затѣмъ Вильмънъ поддерживалъ мысль, что со стороны Кракова не было сдѣлано такихъ серьезныхъ отступленій отъ своихъ обязательствъ, какія могли бы вызвать столь продолжительное занятіе его австрійскими войсками. Тьеръ отвѣчалъ: «что касается меня, то ни въ тайнахъ кабинета, ни съ трибуны, ни какъ министръ, ни какъ депутатъ, я никогда не допускалъ, никогда не поддерживалъ своимъ молчаніемъ стремленіе превратить Краковъ въ зависимое государство; я всегда высказывалъ мнѣніе, что Краковъ, признанный трактатами вольнымъ городомъ, долженъ оставаться такимъ. Но всякое правительство дѣйствуетъ, а не распространяется на словахъ. Когда оно хочетъ протестовать во имя права, но не находитъ удобнымъ дѣйствовать, то собственное достоинство его требуетъ молчанія и выжиданій. Послѣ приличнаго и твердаго протеста въ пользу нарушеннаго права, слово, не поддержанное дѣйствіемъ, будетъ пустою декламациею, которая не укрѣпитъ права, а только ослабитъ его». Вильмънъ отвѣчалъ, что первое заявленіе министра-

президента было слишкомъ обще и не согласовалось съ его обязанностями; второе стремилось приблизиться къ нему, но безуспѣшно. Тьеръ заявилъ, что если одинъ протестъ со стороны Франціи считаютъ недостаточнымъ, то онъ проситъ г. Вильмэна, бывшаго нѣкогда членомъ кабинета, указать, что еще нужно прибавить къ тому. Вильмэнъ ограничился фразой: «я считаю полезнымъ результатомъ эти, уже болѣе выразительныя, слова г. министра-президента», — и пренія окончились на этомъ заявленіи.

Пренія, происходившія въ англійской палатѣ общинъ, были и серьезнѣе, и продолжительнѣе. Ихъ открылъ Стратфордъ-Каннингъ. Заявивъ, что намѣренъ коснуться вопроса, обсуждавшагося въ палатѣ четыре года тому назадъ; упомянувъ объ обстоятельствахъ, при коихъ основана была краковская республика, объ ея политическомъ и торговомъ значеніи, онъ остановился на первомъ военномъ занятіи Кракова въ 1831 году. «По моему мнѣнію, — сказалъ онъ, — первое занятіе совершилось подъ вліяніемъ обстоятельствъ, которыя хотя и не уполномочивали ни на какое вмѣшательство въ дѣла вольнаго города, давали однакожъ нѣкоторый призракъ права на нарушеніе трактатовъ, извиняли нѣкоторымъ образомъ занятіе Кракова и отчасти опредѣляли значеніе факта. Это было при концѣ польскаго возстанія, и прежде, чѣмъ спокойствіе страны было совершенно восстановлено. Русскія войска заняли тогда городъ, по всей вѣроятности, безъ содѣйствія и безъ согласія другихъ державъ, но съ полной надеждой, что такое занятіе можетъ быть законнымъ. Притомъ оно продолжалось только два мѣсяца». Второе же занятіе Кракова, по мнѣнію Каннинга, имѣло совершенно другой смыслъ и характеръ: оно совершилось безъ всякаго серьезнаго предлога; въ Краковѣ произошли небольшія волненія, которымъ постарались придать политическій характеръ. Но даже и при такомъ толкованіи нельзя оправдать военное занятіе этого города. Оно совершено было безъ согласія остальныхъ державъ, участвовавшихъ въ подписаніи вѣнскаго трактата; не было сдѣлано никакого сообщенія о немъ правительствамъ Англіи и Франціи; несмотря на увѣренія, что это занятіе будетъ временное, оно продолжается уже четыре года; притомъ оно имѣло своимъ послѣдствіемъ не одно только подчиненіе военныхъ властей города оккупационному отряду, но и многія общественныя и политическія реформы въ жизни вольнаго города, подчиненіе его высшей власти трехъ резидентовъ, совершенное измѣненіе конституціи въ 1833 и 1838 годахъ, смѣну конституціонныхъ властей и чиновниковъ и замѣну ихъ другими, отдачу полиціи подъ контроль Австріи,

ограниченіе свободной торговли Кракова. Все это затрогиваетъ права Англіи, не только какъ великой державы, но и какъ страны торговой. Въ послѣднее время въ парламентъ подано было нѣсколько петицій отъ разныхъ торговыхъ общинъ Великобританіи въ пользу возстановленія торговыхъ правъ Кракова. Членъ парламента Гротъ представилъ петицію отъ имени важнѣйшихъ банкировъ и купцовъ Лондона. Депутаты отъ Глазгова и Бирмингама вошли съ подобными же петиціями. Самъ Каннингъ заявляетъ теперь петицію отъ Гулліа. Всѣ эти петиціи составлены въ одномъ и томъ же смыслѣ. Каннингъ прочелъ петицію, присланную ему изъ Гулліа; она была такого содержанія:

«Принимая во вниманіе настоящее положеніе англійской торговли съ краковской республикой и потери, которыя испытываетъ Англія отъ ея прекращенія, нижеподписавшіеся почтительнѣйше обращаютъ вниманіе палаты на слѣдующіе факты: въ 1815 году, на Вѣнскомъ конгрессѣ древній городъ Краковъ былъ обращенъ съ своею территоріею въ независимую республику, съ своею конституціей и національнымъ правительствомъ; согласно съ поманутымъ договоромъ, въ коемъ участвовала и Великобританія, многія льготы и привилегіи дарованы были этой республикѣ, и особенно свобода торговли относительно ввоза и вывоза товаровъ и относительно ихъ извѣтій отъ всякихъ налоговъ; въ силу такихъ установленій торговля сношенія между Англіей и краковской республикой были сопровождаемы самыми благопріятными послѣдствіями,—вывозимые товары состояли болѣею частію изъ мануфактурныхъ произведеній Англіи и ея колоній. Но эта торговля, процвѣтавшая въ теченіи шестнадцати лѣтъ, была совершенно разрушена военнымъ занятіемъ Кракова. А потому нижеподписавшіеся считаютъ своею обязанностію почтительнѣйше ходатайствовать предъ уважаемою палатою о принятіи мѣръ, которыя могли бы измѣнить нынѣшній порядокъ дѣлъ, одинаково предосудительный какъ для независимости, свободы и благосостоянія Кракова, такъ и для торговыхъ выгодъ Англіи. Въ то же время они почтительнѣйше напоминаютъ палатѣ о зафрєніи, данномъ парламенту въ 1836 году благороднымъ вивентомъ (Пальмерстономъ), государственнымъ секретаремъ и министромъ иностранныхъ дѣлъ, касательно учрежденія постоянного консульства въ Краковѣ, что нижеподписавшіеся считаютъ самымъ дѣйствительнымъ средствомъ для возстановленія и поощренія торговли между Англіей и этимъ вольнымъ городомъ».

Указавъ на зависимость торговыхъ интересовъ Англіи отъ порядка, господствовавшего въ Краковѣ, Каннингъ старался по-

томъ доказать, что населеніе Кракова не дало ни малѣйшаго повода къ столь продолжительному занятію ихъ города австрійскими войсками. Жители Кракова никогда не обнаружили расположенія къ возстанію противъ покровительствующихъ державъ; они ограничивались одними протестами, языкъ которыхъ, еслибъ не объяснялся ихъ стѣсненнымъ положеніемъ, былъ бы недостойнъ независимаго государства. Затѣмъ Каннингъ прочелъ адресъ краковскаго сейма къ покровительствующимъ дворамъ, отвѣтную ноту конференціи резидентовъ, адресъ жителей Кракова къ англійскому и французскому правительствамъ; и въ доказательство важности краковской торговли прочелъ отрывокъ изъ статьи, посвященной этому вопросу журналомъ «*Revue Britannique et Etrangère*». По прочтеніи всѣхъ этихъ документовъ Каннингъ сказалъ: «жители Кракова имѣютъ право обращаться къ посредничеству державъ, подписавшихъ акты Вѣнскаго конгресса, и если они должны обмануться въ своихъ надеждахъ, если ихъ жалобы встрѣтятъ только молчаніе, то было бы лучше, еслибы вѣнскій конгрессъ не давалъ Кракову никакого обезпеченія его независимости и свободы, и еслибы онъ не ставилъ его подъ покровительство британской подписи и ратификаціи. Но теперь надо подумать о средствахъ къ улучшенію установившагося порядка вещей. Важнѣйшая сторона вопроса заключается въ военномъ занятіи Кракова, и Англія сильно заинтересована въ приглашеніи покровительствующихъ державъ къ соблюденію условій, внесенныхъ въ вѣнскій договоръ... Мы не можемъ оставаться также равнодушными къ тѣмъ преимуществамъ, которыя можетъ дать нашей торговлѣ съ Краковомъ пребываніе въ немъ британскаго консула. Послѣ обѣщаній г. министра по этому предмету, высказанныхъ четыре года тому назадъ и до сихъ поръ не исполненныхъ, становится яснымъ, что затрудненія, выставляемыя противъ посланіи консульскаго агента, суть политическія и коммерческія. Тѣмъ не менѣе безспорно, что Краковъ, съ точки зрѣнія дипломатической, считается между независимыми государствами; но, по мнѣнію нѣкоторыхъ державъ, онъ не пользуется столь обширными политическими правами, чтобы имѣть уполномоченныхъ агентовъ безъ предварительнаго согласія трехъ покровительствующихъ державъ. Однакожъ во Франкфуртѣ, который есть также вольный городъ, мы имѣемъ агента не только консульскаго характера, но даже дипломатическаго. То же самое и въ Гамбургѣ. Мы можемъ припомнить здѣсь нѣкотораго рода аналогію между великобританскимъ покровительствомъ и тѣмъ, о которомъ у насъ идетъ рѣчь. Ионическіе острова были поставлены

подъ покровительство англійскаго правительства, и договоръ, подтверждающій это, можетъ быть разсматриваемъ какъ имѣющій тѣ же самыя основанія, что и Вѣнскій договоръ; однакожь первый договоръ уполномочиваетъ особою статьею Англію имѣть гарнизонъ въ Іоническихъ островахъ и говоритъ въ другой статьѣ, что никакая иностранная держава не имѣетъ права быть представленною тамъ иначе, какъ посредствомъ коммерческаго агента; ясно стало быть, что необходимо было нарочно включить эту статью, чтобы сдѣлать невозможною присылку дипломатическихъ агентовъ со стороны другихъ державъ». Отсюда Каннингъ выводилъ не только необходимость, но и право для Англіи назначить своего дипломатическаго агента въ Бракровъ.

Затѣмъ говорилъ Галли-Найтъ. Онъ началъ съ упрека лорду Пальмерстону въ томъ, что онъ еще разъ обманулъ надежды палаты по краковскому дѣлу: сперва обѣщалъ, что въ Россію будетъ отправленъ либеральный посланникъ, который устроить это дѣло; потомъ объявилъ, что въ Бракровъ будетъ посланъ консулъ, и наконецъ сообщилъ, что не исполнилъ того, чтобы не дать другимъ державамъ повода къ подозрѣнію. На основаніи этого Найтъ заключилъ свою небольшую рѣчь весьма рѣзкимъ нападеніемъ на министра иностранныхъ дѣлъ. На предложеніе Каннинга и обвиненія Галли-Найта Пальмерстонъ отвѣчалъ: «занятіе Кракова нарушаетъ принципы Вѣнскаго договора; но одно дѣло заявить мнѣніе о томъ, и другое—заставить три великія державы возвратиться къ договорамъ, которые съ ними заключены, особенно когда географическое положеніе не позволяетъ намъ поддержать мнѣніе Англіи иначе, какъ посредствомъ призыва къ оружію, что вовлечетъ насъ въ войну съ тремя великими державами. Съ другой стороны, хотя занятіе Кракова и противорѣчитъ условіямъ Вѣнскаго договора, но необходимо, чтобы мы обращали вниманіе на особенныя обстоятельства, въ которыя поставлена была Европа предъ принятіемъ этой мѣры. Во Франціи совершилась революція, Бельгія насильственно отдѣлилась отъ Голландіи, Польша употребила всѣ усилія, чтобы отнять у Россіи то, что послѣдняя считаетъ своимъ правомъ. Вслѣдствіе всего этого, раздраженіе, въ которомъ находились тогда народныя чувства въ Европѣ, напугало эти три державы. Не удивительно, что онѣ приняли такое рѣшеніе, которое, во времена болѣе спокойныя, уваженіе къ другимъ великимъ державамъ не допустило бы исполнить. Что я говорю здѣсь—имѣетъ значеніе какъ для будущаго, такъ и для прошедшаго. Опасенія, о которыхъ я упомянулъ, нынѣ разсѣялись въ Европѣ, положеніе дѣлъ измѣнилось; вотъ

почему надо надѣяться, что три державы возвратятся въ болѣе справедливымъ и болѣе великодушнымъ чувствамъ относительно Кракова. Мнѣніе же англійскаго правительства о военномъ занятіи Кракова я уже заявлялъ и въ палатѣ, и въ сообщеніяхъ другимъ властямъ государства; оно остается прежнимъ и теперь». Затѣмъ Пальмерстонъ приглашалъ палату отдѣлить политическій вопросъ отъ торговаго, тѣмъ болѣе, что послѣдній не представлялся ему достаточно важнымъ: онъ отвергалъ обширность торговыхъ сношеній между Англіей и Краковомъ; вопросъ же о военномъ занятіи былъ, по его мнѣнію, значительно облегченъ тѣмъ, что краковскій гарнизонъ состоялъ только изъ австрійскихъ войскъ. «Австрійское правительство увѣряло насъ, — говорилъ онъ, — что не имѣетъ намѣренія продолжать занятія Кракова и что вскорѣ отзоветъ свои войска. Сношенія по этому поводу сопровождались самыми дружескими представленіями, которыя могутъ быть самымъ лучшимъ средствомъ для скорѣйшаго освобожденія Кракова. Я вообще думаю, что послѣ неудачнаго опыта, каковой имѣло мое несчастное общаніе послать консула въ Краковъ, я имѣю достаточный поводъ отказать въ иныхъ объясненіяхъ, кромѣ тѣхъ, которыя уже даны мною; и я позволю себѣ замѣтить здѣсь, что если прежде, при подобномъ же случаѣ, я говорилъ въ этой палатѣ о намѣреніи послать консула въ Краковъ, то я не назначалъ для этой посылки положительнаго срока; я просто заявлялъ о намѣреніи. Однакожъ, когда оно стало извѣстно, то возбудило большое недовѣріе въ трехъ державахъ, и быть можетъ менѣе относительно пребыванія англійскаго консула въ Краковѣ, чѣмъ относительно политическаго характера, которое другіе могли приписать этому назначенію. Обмѣнявшись различными нотами съ этими державами, правительство ея величества убѣдилось, что невозможно изгладить изъ ихъ убѣжденія весьма сильную наклонность къ недовѣрію и подозрительности. Тогда мы признали, что благоразуміе предписываетъ намъ отложить посылку консула, тѣмъ болѣе, что прибытіе этого агента Англіи, возбудивъ надежду на непосредственную поддержку и вмѣшательство со стороны нашего правительства, могло обмануть жителей Кракова въ ихъ расчетахъ, которые мы не могли бы удовлетворить, и сдѣлало бы несравненно худшимъ ихъ положеніе, которое мы и теперь оплакиваемъ, и которое мы были бы рады улучшить. Потомъ, еслибъ три державы приняли рѣшеніе помѣшать учрежденію британскаго консульства въ Краковѣ, не было бы ничего легче для нихъ, какъ воспротивиться его открытію при помощи мѣстнаго правительства, которое могло бы отказать намъ въ выдачѣ не-

обходимаго для того признанія (exequatur). Было бы, какъ мнѣ кажется, мало согласнымъ съ достоинствомъ Англіи видѣть посланнаго ею консула отвергнутымъ такимъ маленькимъ государствомъ, какъ Краковъ; и могли ли бы мы въ этомъ случаѣ возложить отвѣтственность за такой отказъ на другихъ, кромѣ мѣстнаго правительства? Вотъ почему я утверждаю, что министры ея величества дѣйствовали благоразумно и согласно съ требованіями національнаго достоинства, удержавшись отъ исполненія намѣренія, прежде заявленнаго. Я убѣжденъ вмѣстѣ съ другими, что Краковъ по своей конституціи есть государство независимое и, какъ таковое, имѣетъ право принимать консуловъ, даже посылать и принимать дипломатическихъ агентовъ, если у него будетъ желаніе на то, и въ этомъ отношеніи его нельзя сравнивать съ Ионическими островами, въ конституціи которыхъ есть спеціальная статья, запрещающая имъ принимать какого бы то ни было дипломатическаго агента отъ иностранныхъ государствъ безъ разрѣшенія Великобританіи. Справедливо, что мы имѣемъ консула во Франефуртѣ, но не надо забывать, что территория этого города несравненно обширнѣе краковской территоріи; но мы и тамъ не имѣли бы его, еслибы Франефуртъ не принадлежалъ къ германскому союзу. Нашъ консулъ во Франефуртѣ есть агентъ не полномочный и необязанный ни къ чему, кромѣ устройства небольшихъ дѣлъ нашихъ путешественниковъ. Мы имѣемъ генеральнаго консула и повѣреннаго въ дѣлахъ въ Гамбургѣ, но онъ аккредитованъ не исключительно при сенатѣ этого города: онъ есть нашъ агентъ для всѣхъ ганзейскихъ городовъ, которые владѣютъ морскими гаванями и ведутъ съ нами обширныя торговыя сношенія. Есть большая разница между этими городами и городомъ Краковомъ, лежащимъ далеко отъ моря, внутри континента, и съ которымъ мы не имѣемъ большихъ торговыхъ связей.»

Виконту Пальмерстону возражалъ Робертъ Пиль. По его мнѣнію, три сосѣднія съ Краковомъ державы должны видѣть, что ихъ собственный интересъ требуетъ строгаго исполненія договоровъ 1815 года; онѣ должны чувствовать огромную выгоду отъ основанія въ такую минуту, когда ничто не противится тому, маленькихъ государствъ. «Нравственные обязательства должны быть сильнѣе по отношенію къ малымъ государствамъ, чѣмъ къ большимъ. Три державы должны сознавать свою абсолютную обязанность, по минованіи крайней необходимости, возвратить Кракову его прежнюю независимость. Примѣръ четырехъ вольныхъ городовъ германскаго союза лучше всего доказываетъ политиче-

скую необходимость существованія Кракова, какъ вольнаго города. Я признаю, что политическій принципъ при подобныхъ обстоятельствахъ имѣетъ болѣе болѣе интересъ, чѣмъ торговый, но невозможно отвергать и значеніе послѣдняго». Робертъ Пиль сослался на петиціи Лондона, Глазгова, Бирмингама и Гулля въ опроверженіе увѣреній лорда Пальмерстона, что краковская торговля не представляетъ интереса для Англіи. Касательно же послышки консула въ Краковъ, онъ замѣтилъ: «я полагаю, что результатъ прежняго заявленія со стороны благороднаго лорда вполне оправдываетъ его нынѣшнюю воздержность. Очень жаль, что благородный лордъ и въ предшествовавшемъ случаѣ не обнаружилъ такой же осторожности, ибо нѣтъ ничего смѣшнѣе, какъ заявить заранѣе о дѣлѣ и потомъ не имѣть возможность исполнить его. Правительство должно предвидѣть послѣдствія прежде, чѣмъ заявлять о своихъ намѣреніяхъ. Благородный лордъ сказалъ намъ, что не пошлетъ консула изъ боязни, чтобы это дѣйствіе не причинило вреда населенію Кракова и не раздражило трехъ державъ. Но я думаю, что публичное заявленіе правительственнаго намѣренія безъ предварительнаго согласія трехъ союзныхъ державъ уже принесло болѣе большую часть зла, котораго слѣдовало опасаться; я убѣжденъ, кромѣ того, что еслибы благородный лордъ сдѣлалъ все необходимое для полученія предварительнаго согласія, то державы согласились бы на послышку британскаго консула въ Краковъ, и его назначеніе вмѣсто того, чтобы быть только возможнымъ, какимъ оно представляется теперь, было бы уже дѣломъ совершеннымъ. Надѣюсь, что съ очищеніемъ Кракова отъ австрійскихъ войскъ мы увидимъ не только независимость его возстановленною, но вмѣстѣ съ тѣмъ и консульскія отношенія утвержденными для покровительства нашей торговли. Я держусь мнѣнія благороднаго лорда, что такимъ державамъ, какъ Франція и Англія, не слѣдуетъ доходить до крайностей въ подобныхъ дѣлахъ. Нельзя настаивать до того, чтобы подвергать вопросу спокойствіе міра; при моемъ взглядѣ на нравственную обязанность охранять миръ, я не склоняюсь въ пользу образа дѣйствій, который могъ бы привести къ такому же печальному результату, какъ и война. Судя по нѣкоторымъ выраженіямъ перваго министра Франціи, можно догадываться, что дѣла пришли въ положеніе крайне неудовлетворительное даже и послѣ того, какъ заявленъ былъ протестъ со стороны Англіи и Франціи противъ занятія Кракова. Я кончу повтореніемъ надежды, что защитники консервативныхъ принциповъ въ Европѣ сами, безъ вмѣшательства Англіи и Франціи, возстановятъ неза-

вѣсимость Кракова и примуть рѣшеніе дѣйствовать сообразно съ ихъ собственнымъ достоинствомъ. Поступивъ такимъ образомъ они заглушаютъ сѣмена, которыя, еслибъ возрасли, могли бы сдѣлаться опасными для общаго спокойствія».

Говорившій послѣ Роберта Пила, Юмъ, требовалъ, чтобы палатѣ объяснили, какого рода былъ протестъ, упомянутый предшествовавшимъ ораторомъ, и выражалъ мнѣніе, что палата и страна имѣютъ право ожидать чего-нибудь болѣе дѣйствительнаго, болѣе энергическаго, чѣмъ все то, о чемъ упоминалось до сихъ поръ. На увѣренія, что великобританское правительство дѣйствовало въ краковскомъ вопросѣ съ благоразуміемъ и достоинствомъ, онъ замѣтилъ, что ничего не можетъ сказать о благоразуміи, ибо, собственно говоря, палатѣ ничего неизвѣстно о дѣйствіяхъ правительства; что же касается достоинства, то оно стоитъ въ тѣсной связи съ восстановленіемъ независимости Кракова. Членъ палаты Кольеунъ строго порицалъ министерство, объявившее въ 1836 году о намѣреніи послать консула въ Краковъ, а въ 1840 году признавшееся, что оно считаетъ это неудобнымъ. «Между тѣмъ,—говорилъ онъ,—жители Кракова просятъ англійскаго консула; банкиры и купцы важнѣйшихъ городовъ Англіи настаиваютъ на томъ же: надо выйти изъ этихъ затрудненій». Лордъ Эліотъ выражалъ удивленіе, что подобное состояніе дѣлъ, какое открывается изъ преній, могло существовать въ теченіи цѣлыхъ четырехъ лѣтъ; что говорятъ о намѣреніи повровительствующихъ державъ вывести австрійскій отрядъ изъ Кракова, но не говорятъ объ ихъ намѣреніи возвратить Кракову его независимость; что только по исполненіи послѣдняго условія англійская палата можетъ успокоиться; что, наконецъ, отказъ союзныхъ державъ допустить англійскаго консула въ Краковъ не можетъ быть допущаемъ даже и въ предположеніи. Членъ палаты Верней заявилъ съ своей стороны, что онъ раздѣляетъ мнѣніе, высказанное Робертомъ Пилемъ. Наконецъ, Каннингъ спросилъ Пальмерстона: получилъ ли онъ адресъ и мемуаръ, предназначенные жителями Кракова для великобританскаго правительства? «Я получилъ ихъ за нѣсколько мѣсяцевъ предъ симъ», отвѣчалъ первый министръ.

Всѣ эти пренія показывали, что какъ въ французскихъ, такъ и въ англійскихъ парламентскихъ кружкахъ не было твердыхъ и ясныхъ убѣжденій о вопросѣ, который подвергался ихъ обсужденію. Были люди, не знавшіе, къ какой категоріи политическихъ организмовъ отнести Краковъ: сравнивать ли его съ вольными городами германскаго союза, или съ придунайскими кня-

жествами и Ионическими островами, изъ коихъ первыя находились тогда подъ исключительнымъ покровительствомъ Россіи, вторые—подъ покровительствомъ Англіи, или считать его состоящимъ подъ защитою и ручательствомъ всѣхъ европейскихъ государствъ, какія участвовали въ Вѣнскомъ конгрессѣ. Одни смотрѣли на вопросъ преимущественно съ точки зрѣнія политической, другіе съ торговой: главнымъ средствомъ, какъ для утверждения независимости Кракова, такъ и его торговыхъ отношеній, считали выходъ австрійскихъ войскъ изъ краковской территоріи и присылку англійскаго и французскаго консуловъ. Немногіе указывали на необходимость общей реформы краковскихъ учреждений и возстановленія его внутренней самостоятельности; но не было и помина о просьбѣ краковскихъ жителей составить особую комиссію изъ депутатовъ отъ пяти великихъ державъ и отъ самого Кракова, для пересмотра его фундаментальныхъ законовъ и органическихъ статутовъ, съ цѣлію дать имъ постоянную, неподлежащую дальнѣйшимъ измѣненіямъ форму. Осыпая порицаніями дѣйствія покровительствующихъ державъ, и обращаясь съ упреками въ слабости къ своимъ министерствамъ, члены французскаго и англійскаго парламентовъ не думали ни о рѣшительной угрозѣ покровительницамъ Кракова, ни о серьезной оппозиціи политикѣ собственныхъ министерствъ. Послѣднія же не только отказывались отъ назначенія консуловъ въ Краковъ, но и не признавали возможнымъ обратиться къ союзнымъ державамъ съ порицаніемъ дѣйствій конференціи въ Краковѣ, и даже просили палаты не мѣшать излишними разсужденіями успѣху дружественныхъ переговоровъ объ очищеніи Кракова отъ австрійскихъ войскъ. Всѣ эти пренія привели къ тому только, что дали возможность наиболѣе либеральнымъ членамъ палатъ высказать гласно свои мнѣнія о краковскомъ вопросѣ и довести ихъ до свѣдѣнія Европы путемъ печати. Все ограничилось однимъ, такъ-называемымъ въ дипломатіи, нравственнымъ давленіемъ на политику консервативныхъ державъ. Тѣмъ не менѣе обращеніе жителей Кракова къ западной Европѣ, парламентскій шумъ и крики публицистики не остались безъ нѣкотораго вліянія на судьбу Кракова. Князь Меттернихъ, такъ дорожившій трактатами Вѣнскаго конгресса, долженъ былъ принести хоть временную жертву для поддержки ихъ силы и значенія. Окончательное устройство милиціи, которое долго выставлялось въ видѣ непремѣннаго условія для очищенія Кракова, уже совершилось: кодексъ для нея былъ изданъ еще 10-го (22) мая 1839 года, а организація ея вполнѣ отвѣчала намѣреніямъ и ожиданіямъ вѣнскаго министерства. Даже

и безъ оккупационнаго отряда Краковъ оставался подъ сильнымъ вліяніемъ Австріи, и только въ торговомъ отношеніи тянуть гораздо болѣе къ царству польскому, чѣмъ къ Галиціи; да оставалось еще вытѣснить изъ юридической жизни Кракова послѣдніе остатки его прежнихъ порядковъ и замѣнить ихъ вполне австрійскими. Для этого нужно было поставить во главѣ краковскаго правительства человѣка, не только вполне преданнаго Австріи, но и обладавшаго энергіей, чѣмъ не отличался президентъ Галлеръ, принадлежавшій къ сторонникамъ Австріи. Вотъ почему его склонили искать увольненія отъ занимаемой имъ должности, и на его мѣсто назначенъ былъ, сперва въ видѣ временнаго президента, а потомъ въ качествѣ постояннаго, извѣстный уже намъ каноникъ Шиндлеръ, послѣдній изъ правителей вольнаго города.

## XV.

Шиндлеръ, президентъ сената.—Удаленіе австрійскаго оккупационнаго отряда изъ Кракова.—Рѣшительное введеніе Шиндлеромъ австрійскихъ порядковъ въ судебную и административную жизнь Кракова.—Стремленія Шиндлера связать Краковъ съ Австріей посредствомъ торговли и разорвать торговые договоры съ Россіей.—Вопросъ о желѣзной дорогѣ изъ Вѣны въ Галицію чрезъ Краковъ.—Положеніе внѣшней и внутренней торговли Кракова.—Торговля травянистая.—Плаваніе по Вислѣ.—Таможенный тарифъ и еврейская контрабанда.—Хлѣбная торговля съ Данцигомъ.—Монетная система.—Внѣшнее украшеніе Кракова при Шиндлерѣ.—Статистическія данныя о жизни Кракова за это время.—Отзывы современниковъ о Шиндлерѣ.

Правленіе Шиндлера отличалось систематизаціей и приведеніемъ къ единству всѣхъ разстроенныхъ въ прежнее время учрежденій Кракова, всѣхъ введенныхъ въ нихъ реформъ. Все, что было случайнаго въ прежнихъ нововведеніяхъ, что вызывало противорѣчіе между фундаментальными законами и органическими статутами—было подчинено Шиндлеромъ тому направленію, которымъ ознаменовалось время владычества въ Краковѣ оккупационнаго отряда и конференціи. Шиндлеръ былъ завершителемъ ихъ дѣла. Ни въ поддержкѣ со стороны австрійскихъ войскъ, ни въ постоянномъ вниманіи резидентовъ, каноникъ Шиндлеръ нисколько не нуждался. Идя неуклонно по пути, подготовленному ими, онъ одинъ замѣнялъ собою и власть резидентовъ, и силу удалившихся войскъ. Конечно, въ крайнемъ случаѣ конференція резидентовъ всегда могла придти на помощь энергическому президенту, а милиція, состоявшая изъ австрійцевъ, вмѣстѣ съ полиціей, организованной въ такомъ же направленіи, давали ему

матеріальную силу; но Шиндлеръ почти никогда не прибѣгалъ за рѣшительнымъ содѣйствіемъ ни къ первой, ни къ послѣдней. Австрійскій отрядъ удалился изъ Кракова въ 1841 году. Въ слѣдующемъ году окончательно введены были всѣ порядки австрійскаго судоустройства и судопроизводства, и верховный дисциплинарный судъ, оказавшійся въ глазахъ Шиндлера даже въ томъ составѣ, какой ему данъ былъ реформою 1839 года, недостаточно надежнымъ, былъ закрытъ навсегда, какъ несогласный съ судебными порядками Австріи. Затѣмъ, Шиндлеръ устремилъ всѣ свои заботы на то, чтобы тѣснѣе связать Краковъ съ Австріей, посредствомъ желѣзной дороги и отвлечь его торговыя связи отъ царства польскаго къ Галиціи. Правда, по вопросу о желѣзной дорогѣ ему пришлось вынести борьбу съ австрійскимъ военнымъ министерствомъ, а по торговому вопросу разорвать прежніе договоры съ Россіей; но Шиндлеръ успѣлъ побѣдить оба затрудненія. Вѣнское министерство военныхъ дѣлъ опасалось проведенія желѣзной дороги изъ австрійской Силезіи въ Галицію въ направленіи, близкомъ къ границамъ Пруссіи и Россіи; но Шиндлеръ доказалъ Меттерниху выгоды проведенія желѣзной дороги чрезъ Краковъ, какъ въ смыслѣ преобладанія Австріи надъ Краковомъ, такъ и въ видахъ его торговаго сближенія съ австрійскими провинціями. Вопросъ о торговыхъ связяхъ Кракова съ царствомъ польскимъ былъ гораздо сложнѣе и требовалъ особеннаго вниманія какъ къ собственнымъ выгодамъ Кракова, такъ и къ торговымъ конвенціямъ съ Россіей; но Шиндлеръ разрѣшилъ этотъ вопросъ, не останавливаясь ни предъ какими соображеніями.

Въ эпоху, о которой мы говоримъ, торговые интересы составляли единственно важную и напоминавшую о прошломъ Кракова сторону его жизни. Стоя на распутьи между рынками трехъ сосѣднихъ державъ, Краковъ велъ обширную торговлю чрезъ галицкихъ армянъ и Венгрію съ Востокомъ, чрезъ Бреславль и Лейпцигъ съ Германіей и Франціей, а чрезъ прусскіе и ганзейскіе города съ сѣверомъ Европы и Великобританіей, и находился въ непосредственныхъ торговыхъ связяхъ чрезъ Вислу съ царствомъ польскимъ; чрезъ него же Венгрія вела свою торговлю съ сѣверо-восточными частями Европы. Производя незначительное число фабричныхъ и мануфактурныхъ издѣлій, Краковъ съ самаго начала своего существованія, въ качествѣ вольнаго города, сдѣлался складочнымъ мѣстомъ для промышленныхъ произведеній Франціи, Англіи и ихъ колоній: французскіе товары шли преимущественно чрезъ Франкфуртъ, англійскіе чрезъ

Гамбургъ и Лейпцигъ. Транзитныя пошлыны были умѣренны, и только послѣ польской революціи Пруссія возвысила ихъ. Но важнѣйшею изъ торговыхъ привилегій Кракова было его свободное посредничество между царствомъ польскимъ, Галиціей, Силезіей и Познанью. На основаніи вѣнскихъ договоровъ, какъ изъ земель сосѣднихъ съ Краковомъ державъ, такъ и изъ него въ эти земли, дозволено было возить мѣстныхъ произведенія безъ таможенныхъ пошлынъ. При этомъ сосѣдство съ Краковомъ южныхъ частей царства польскаго, не имѣвшихъ своего фабричнаго производства и слабо снабжавшихся мануфактурными издѣліями изъ сѣверныхъ частей, открывало возможность сбыта предметовъ собственной промышленности Кракова въ этихъ земляхъ. При такихъ условіяхъ Краковъ разыгрывалъ роль экспедитора и торговаго комиссіонера для товаровъ колоніальныхъ, издѣлій металлическихъ и мануфактурныхъ произведеній Франціи, Англіи и Германіи, роль посредника между Галиціей, царствомъ польскимъ и Силезіей и непосредственнаго торговца съ южными частями Польши. Черезъ него проходили большія партіи пшеницы, овса, гречихи, овощей, шерсти, пуху, перьевъ, щетины, шкуръ, роговъ и костей изъ царства польскаго и Галиціи черезъ Силезію на Гамбургъ, Лейпцигъ и Франкфуртъ. Къ Варшавѣ и Данцигу сплавляемы были внизъ по Вислѣ на баржахъ значительные запасы зернового хлѣба, яицъ, гречихихъ орѣховъ и мясныхъ припасовъ. Изъ Галиціи, Волыніи и Подоліи получалось немалое количество воску и меду, которые высылались въ Триестъ, а обратно въ эти мѣстности и царство польское доставлялись штирійскія восы и иныя желѣзныя издѣлія. Два раза въ недѣлю происходилъ въ Краковѣ базаръ, на который съѣзжались жители ближайшихъ частей царства польскаго: здѣсь они всегда находили купцовъ для своихъ сельскихъ произведеній, и въ свою очередь закупали для себя всѣ предметы, необходимыя для домашняго хозяйства и жизненныхъ удобствъ. Въ Силезію и Моравію Краковъ отправлялъ большія стада свиней. Наплывъ колоніальныхъ и мануфактурныхъ товаровъ понижалъ въ Краковѣ цѣны на предметы роскоши; наплывъ естественныхъ произведеній удешевлялъ предметы ежедневной потребности. Все это дѣлало Краковъ любимымъ мѣстомъ посѣщенія для жителей царства польскаго. Особенно славились многолюдныя съѣзды въ день св. Яна и во время карнавала; они пробуждали въ городѣ непрестанное торговое движеніе, обмѣнъ труда и капиталовъ, обезпечивали владѣльцамъ домовъ, гостинницъ и постоялыхъ дворовъ непрерывные доходы. Всѣ товары продавались въ Краковѣ по цѣнамъ умѣ-

реннымъ, съ одной стороны вслѣдствіе быстроты торговыхъ оборотовъ, съ другой—вслѣдствіе изыятія ихъ отъ всякихъ ввозныхъ пошлинъ. Такъ было до польскаго возстанія 1830 года, которое на время уменьшило торговые обороты Кракова. Во времена реорганизаціонной комиссіи краковская торговля стала снова подниматься, но сосѣднія державы уже не могли довѣрять краковской нейтральности въ той же степени, какъ прежде. Пруссія возвысила транзитныя пошлины на товары, шедшіе въ Краковъ, Австрія прямо направила свои торговые сношенія съ царствомъ польскимъ чрезъ иные пограничныя пункты и даже закрыла Подгорскую территорію, бывшую до тѣхъ поръ мѣстомъ свободнаго обмѣна между нею и Краковомъ. Россія же, еще во время президентства Велѣгловскаго, именно въ 1834 году, заключила торговую конвенцію съ краковскимъ сенатомъ. По этой конвенціи Краковъ, имѣвшій право приобрѣтать ежегодно по дешевой цѣнѣ отъ австрійскаго правительства извѣстное количество центнеровъ соли, добываемой въ копахъ Велички, уступилъ Россіи право на извѣстное количество этой соли и получилъ взаменъ того обезпеченіе, что всѣ выгоды, даваемыя русскимъ тарифомъ иностраннымъ государствамъ, будутъ признаны и за нимъ, и что всѣ собственныя произведенія Кракова сохраняютъ за собой право свободнаго ввоза въ царство польское. Съ этою цѣлью, чтобы подъ видомъ краковскихъ издѣлій не ввозились въ Польшу австрійскіе или прусскіе фабрикаты, изъ Варшавы ежегодно пріѣзжала въ Краковъ особая комиссія и фабрикаты вольнаго города снабжали, при ея содѣйствіи, свои издѣлія сертификатами, установленными § 28 русско-прусскаго договора 1815 года. Этой-то конвенціи и не хотѣлъ возобновить Шиндлеръ въ 1842 году по истеченіи ея срока. Онъ не хотѣлъ знать, что по сокращеніи привилегій краковской транзитной торговли, служившей прежде главнымъ источникомъ обогащенія вольнаго города, уже не сношенія съ Галиціей и Австріей, но связи съ сосѣдними частями царства польскаго оживляли мѣстную торговлю Кракова: ибо все, чтó въ торговомъ отношеніи сближало Краковъ съ царствомъ польскимъ, приносило ему несомнѣнныя выгоды, между тѣмъ какъ все, связывавшее Краковъ съ Австріей и сближавшее его участь съ участью Галиціи, которая должна была довольствоваться подъ австрійскимъ правительствомъ фабричными произведеніями Вѣны и чешскихъ земель, было для краковского населенія неотвратимымъ стѣсненіемъ. А потому, если первымъ ударомъ для внѣшней торговли Кракова считать ослабленіе торговыхъ сношеній съ нимъ Англіи

и Франціи, вторымъ, еще болѣе сильнымъ ударомъ для нея надо считать минуту рѣшительнаго сближенія его коммерческихъ интересовъ съ австрійскими, что было дѣломъ Шиндлера, который, отказавшись отъ продолженія конвенціи съ Россіей, увѣрялъ всѣхъ, что Краковъ можетъ получить отъ Галиціи несравненно болѣшя выгоды, чѣмъ отъ царства польскаго. Съ тѣхъ поръ стали закрываться одна за другой краковскія фабрики, многіе изъ ремесленниковъ, оставшись безъ занятій, должны были выселиться изъ вольнаго города, и мѣстная производительность вообще уменьшилась. Шиндлеръ ссылался, впрочемъ, на то, что русское правительство еще до истеченія срока конвенціи нарушило право Кракова пользоваться одинаковымъ тарифомъ съ другими государствами: ибо разрѣшило ввозъ австрійскихъ и венгерскихъ винъ въ свои земли чрезъ Галицію съ налогомъ, пониженнымъ вдвое, т.-е. съ восьми дукатовъ (24 рубля) за тонну вина на четыре дуката, и сохранило прежній тарифъ для тѣхъ же винъ, ввозимыхъ въ царство польское чрезъ Краковъ. Но въ 1843 году русское правительство сдѣлало ту же уступку и Кракову. По заключеніи Шиндлеромъ торговой конвенціи съ Австріей, русское правительство вошло въ соглашеніе съ австрійскимъ и построило мостъ на Вислѣ недалеко отъ краковскихъ границъ, по которому австрійскіе товары стали приходить въ царство польское, минуя вольный городъ.

Говоря о торговлѣ Кракова, нельзя не упомянуть объ участіи евреевъ въ ней, объ ихъ контрабандѣ и затрудненіяхъ, которыми обставлены были въ послѣдніе годы существованія Кракова его коммерческія сношенія съ царствомъ польскимъ. По словамъ одного изъ нѣмецкихъ обитателей Кракова, описавшаго его въ 1844 году, незаконная торговля Кракова съ царствомъ польскимъ и Галиціей имѣла обширные размѣры. Ею занималась вся территорія, особенно городокъ Хржановъ, населенный почти одними евреями, изъ коего почти каждую ночь отправлялось чрезъ русско-польскую границу не менѣе двухсотъ контрабандистовъ, вооруженныхъ не только ружьями, но и деньгами для подкупа пограничной стражи. Главныя причины, содѣйствовавшія усиленію контрабанды, заключались съ одной стороны въ необыкновенно высокихъ тарифныхъ цѣнахъ, съ другой—въ придирчивости таможенныхъ чиновниковъ при оцѣнкѣ товаровъ, шедшихъ законнымъ путемъ. Тарифъ, напримѣръ, былъ такого рода: на каждый фунтъ кофе одинъ злотый, на пудъ сахару 40 зл., на шали и большіе шелковые платки 275 зл. на штуку, на медвѣжью шубу

87 зл. съ фунта, на шубу изъ черной лисицы 400 зл. съ фунта, на искусственные цвѣты по 100 зл. съ фунта, на фортепіано 1,200 зл. за штуку, на брилліанты въ отдѣлкѣ 360 зл. за карать, на мѣдную посуду 4 зл. съ фунта, на серебряныя издѣлія 320 зл. съ фунта, на сани, фэатоны и кабриолеты 1,800 зл. за штуку, за двухмѣстную карету 2,700 зл., за четырехмѣстную 3,600 зл. и т. д. Но уплатою этихъ таможенныхъ подарковъ не ограничивались затрудненія, полагаемыя тарифомъ царства польскаго краковской торговлѣ съ нимъ. Многіе изъ товаровъ были вовсе запрещены для ввоза, и въ случаѣ заказа на таковыя надо было испрашивать каждый разъ особое разрѣшеніе отъ финансовой комиссіи, причѣмъ пошлина полагалась произвольная. Кромѣ того, и для товаровъ, дозволенныхъ къ ввозу, существовало нѣсколько второстепенныхъ налоговъ, между коими первое мѣсто занимала пошлейная пошлина, — ввозились ли товары сухимъ путемъ или водою, по хорошо устроеннымъ дорогамъ, или самымъ обыкновеннымъ проселочнымъ. Не удивительно, что съ сороковыхъ годовъ въ краковской территоріи развилась въ огромныхъ размѣрахъ контрабанда съ царствомъ польскимъ. Этимъ путемъ любой крестьянинъ могъ заработать въ одну ночь столько же, сколько давалъ ему тяжелый четырнадцати-дневный трудъ. Правительство царства польскаго распорядилось перевести на полмилю отъ границъ всѣ жилища и нежилыя постройки, срубить лѣса и кустарники, чтобы отнять у контрабандистовъ возможность укрываться въ нихъ; но ночная темнота и денежные подарки продолжали оказывать имъ покровительство. Содержаніе таможенныхъ чиновниковъ и пограничной стражи было такъ ничтожно, что установился извѣстный всѣмъ приверженцамъ незаконной торговли контрабандный тарифъ. Въ нѣкоторыхъ пограничныхъ мѣстечкахъ царства польскаго, жившихъ исключительно контрабандою, введены были обычаемъ весьма строгія правила для такой торговли, обойти которыя уже не смѣлъ никто, и только отступленіе отъ этихъ правилъ считалось настоящей контрабандой. Авторъ, сообщаящій всѣ эти свѣдѣнія, говорить, что онъ часто живалъ въ одномъ изъ пограничныхъ селеній, наполненномъ евреями, и зналъ, что еврейское общество собирало съ своихъ членовъ ежемѣсячно 3,000 злотыхъ (около 500 талеровъ), которые и отсылались въ сосѣднюю таможню въ видѣ жалованья чиновникамъ, которые получали его по расчету, производившемуся съ величайшею точностью. «Это общество покупало колоніальныя и другіе товары въ Краковѣ, нагружало

ими одну или нѣсколько барокъ и объявляло ихъ въ австрійской пограничной камерѣ какъ предназначенныя для транзита. При перевозкѣ ихъ держались, какъ можно ближе, къ австрійскому берегу Вислы, но не вдалекѣ отъ своего селенія евреи съ барками останавливались въ ожиданіи ночи и переходили тогда къ противоположному берегу рѣки. Толпа въ двѣсти или триста человекъ мгновенно кидалась на товары, и чрезъ десять минутъ они уже были въ домахъ. Конечно, въ такія ночи таможенные чиновники спали и имъ снились деньги, приходившіяся на ихъ долю. Между тѣмъ и служба этихъ чиновниковъ не была такъ легка, какъ можно подуматъ съ перваго раза. Они также обложены были извѣстнымъ тарифомъ въ пользу начальствовавшихъ надъ ними, и для каждой таможни была опредѣлена ежегодная сумма, которую слѣдовало представить въ Варшаву. Если какой-либо изъ пограничныхъ чиновниковъ оказывался неумѣлымъ въ этомъ отношеніи, или хотѣлъ, изъ преданности служебнымъ обязанностямъ, повоевать съ контрабандистами, то его постигали притѣсненія отъ подкупленныхъ товарищей: бывало, въ одинъ и тотъ же годъ перемѣстятъ его три или четыре раза съ одного мѣста на другое, и притомъ каждый разъ на худшее въ цѣлой странѣ, пока онъ не научится съ волками быть по-волчьи». Евреи, занимавшіеся контрабандою, умѣли ладить и съ охранявшими границу казаками. Наиболѣе отважнымъ и ловкимъ контрабандистамъ, умѣвшимъ обходиться безъ помощи таможенныхъ чиновниковъ, послѣдніе иногда давали отступное по 5,000 злотыхъ въ годъ, лишь бы они оставили свои занятія, лишь бы они не портили остальныхъ товарищей своихъ. Самымъ труднымъ дѣломъ былъ провозъ книгъ въ Краковъ, и особенно запрещенныхъ. Авторъ приводимыхъ нами показаній рассказываетъ, какъ онъ едва провезъ съ собой «Донъ-Кихота» и «Diablo Cojuelo», оба сочиненія въ испанскомъ текстѣ, заплативъ нѣсколько злотыхъ чиновникамъ, незнавшимъ испанскаго языка, и выдавъ первую книгу за молитвенникъ, а вторую за химическое сочиненіе.

Что касается торговли хлѣбомъ и вообще сельскими произведеніями, отправляемыми на баркахъ по Вислѣ, то успѣхъ ея зависѣлъ отъ многихъ случайностей. Закупка зернового хлѣба большими партіями обыкновенно производилась въ январѣ и февралѣ, причемъ выдавались большіе задатки, а въ февралѣ уплачивалась и остальная сумма. Затѣмъ, скорость доставки къ пристанямъ зависѣла отъ ранней или поздней весны, причемъ вода въ Вислѣ страшно возвышалась отъ таянія снѣговъ на сѣверныхъ

склонахъ Карпатъ, такъ что только въ концѣ апрѣля начиналась отправка судовъ въ Данцигъ; весь путь совершался въ теченіе шести или восьми недѣль, т.-е. къ концу іюня; потомъ проходило двѣ или три недѣли въ пріисканіи покупателей, осмотрѣ товара и выгрузкѣ, и только въ іюлѣ или августѣ хлѣбный торговецъ получалъ деньги за свой товаръ, и его капиталъ въ теченіи трехъ четвертей года не приносилъ ему никакихъ процентовъ. Неровное теченіе Вислы, неодинаковая глубина ея ложа были причиною того, что для плаванія по ней строились небольшія суда изъ легкаго лѣса, безъ верхней крыши, чтобъ могли сидѣть въ водѣ не глубже одного фута или даже трехъ четвертей его; весь грузъ прикрывался легкою обшивкою, которая не спасала его отъ сильнаго вѣтра и дождя, такъ что на рѣдкой баркѣ часть груза не была попорчена и не теряла чрезъ то своей цѣнности. Кромѣ того, плаваніе по Вислѣ опасно было потому, что она уносила изъ лѣсовъ, расположенныхъ по ея берегамъ, большія деревья, пни и карчи, о которыя суда не рѣдко разбивались. Триѣстское страховое общество попробовало-было обезпечить хлѣбную торговлю по Вислѣ, взявъ съ грузовъ громадную премію въ пять процентовъ, но и при такомъ условіи потерпѣло убытки, не вызвавъ много охотниковъ къ страхованію. Его замѣнило основанное въ Варшавѣ общество, которое за застраховку груза, назначеннаго къ доставкѣ отъ Кракова до Данцига, стало брать только три процента его стоимости; но и оно оцѣнивало застрахованный грузъ лишь въ  $\frac{3}{4}$  его стоимости. Во всѣхъ странахъ грузовое свидѣтельство служило достаточнымъ увѣреніемъ для выдачи въ ссуду денегъ подъ грузъ; но плаваніе по Вислѣ отъ Кракова до Данцига было такъ опасно, что никто не давалъ денегъ подъ залогъ отправлявшихся по ней грузовъ. Само собой разумѣется, что краковское правительство не въ силахъ было регулировать плаваніе по Вислѣ безъ содѣйствія австрійскаго и русскаго правительствъ, соглашеніе которыхъ по этому вопросу было сильно затрудняемо запутанностію взаимныхъ расчетовъ. Однимъ изъ важнѣйшихъ средствъ для поднятія торговли служилъ конечно кредитъ; но въ Краковѣ не было еще общественнаго банка, а только частныя конторы, въ коихъ нерѣдко приходилось платить отъ 30% до 40%. Немалое затрудненіе не только для внѣшней, но и для внутренней торговли Кракова заключалось въ томъ, что онъ не имѣлъ своей монетной системы: деньги трехъ "покровительствующихъ" державъ свободно обращались въ Краковѣ; но внѣшняя торговля не допускала расчетовъ на ассигнаціи;

между тѣмъ самимъ краковскимъ купцамъ нерѣдко приходилось получать уплату за ихъ товары бумажными деньгами, и иногда терять отъ разницы въ денежныхъ курсахъ сосѣднихъ державъ, иногда выигрывать, но всегда случайно: ибо, напримѣръ въ одной Австріи до 1848 года было столько курсовъ, сколько имѣла она большихъ торговыхъ рынковъ. Главными мѣнялами были евреи и особенно еврейки: они при размѣнѣ ассигнацій обыкновенно принимали въ основаніе курсъ того рынка, который былъ наиболѣе выгоденъ для нихъ; при тогдашней медленности въ сообщеніяхъ приходилось невольно подчиняться ихъ условіямъ. Для обезпеченія внутренней торговли краковскій сенатъ попробовалъ было въ 1835 году отчеканить на счетъ вольнаго города въ Вѣнѣ размѣнную монету, по образцу монетъ царства польскаго; но эта спекуляція не удержала денежныхъ знаковъ на краковскомъ рынкѣ. Начеканили злотые, десятии и пятаки; злотые и десятии были одинаковой величины, но изъ разныхъ металловъ; изъ нихъ одни серебряные, а другіе изъ композиціи, а пятаки меньшей величины. Злотый равнялся 30 граммамъ или 15 копѣйкамъ, названія остальныхъ указывали на количество заключающихся въ нихъ грошей. На одной сторонѣ этихъ монетъ обозначена была ихъ цѣнность, на другой гербъ Кракова: городскія ворота съ тремя башнями и надъ ними польскій бѣлый орелъ, съ надписью вокругъ: *Wolne miasto Kraków*. Но чрезъ нѣсколько лѣтъ всѣ эти деньги исчезли изъ обращенія, и осталось только на память незначительное число экземпляровъ у любителей. Шиндлеръ не думалъ о чеканкѣ новой монеты, стараясь только объ одномъ, чтобы австрійскія деньги вытѣснили изъ Кракова деньги другихъ державъ, все еще обращавшіяся на рынкахъ краковской терри-торіи.

Шиндлеръ особенно прославился настойчивыми заботами о внѣшнемъ улучшеніи Кракова: онъ первый ввелъ въ Краковъ правильные планы для новыхъ улицъ и построекъ, первый началъ канализацію города, возобновилъ рабочій домъ, выстроилъ новый театръ и каменный мостъ чрезъ Вислу.

Чтобы дать нѣкоторое понятіе о постепенномъ развитіи Кракова во время его отдѣльнаго существованія, приведемъ здѣсь нѣсколько статистическихъ указаній. Сеймъ 1816 года утвердилъ бюджетъ всѣхъ расходовъ въ 1.094,082 злотыхъ; бюджетъ 1822 года равнялся уже 1.393,344 злотыхъ; въ 1825 году расходы опредѣлены были въ 1.600,039 зл.; въ 1833 году въ 1.775,776 зл.; въ 1838 году въ 1.812,224 зл. Сеймъ 1844 года утвердилъ

бюджетъ въ 2.231,343 зл. Доходы въ это время состояли изъ слѣдующихъ статей: прямыхъ податей поступало на 389,762 зл. 23 гроша, косвенныхъ налоговъ на 1.141,465 злотыхъ 10 грошей; доходовъ съ государственныхъ земель, пивоваренъ, мельницъ и лѣсовъ 287,960 злотыхъ 10 грошей; съ рудниковъ и каменно-угольныхъ копей 119,406 злотыхъ 14 грошей; процентовъ съ капиталовъ, поземельной аренды и т. п. 41,241 зл. 5 гр.; городскихъ пошлинъ 232,764 зл. 12 гр.; чрезвычайныхъ доходовъ 18,742 зл. 7 гр. Расходы же опредѣлялись такимъ образомъ: на администрацію 693,982 зл. 29 гр.; на судебное вѣдомство 180,500 зл.; на народное просвѣщеніе 492,217 злотыхъ 16 грошей; на милицію и жандармовъ 299,398 зл. 24 гр.; на содержаніе тюремъ и рабочаго дома 73,525 зл.; на благотворительныя учрежденія и больницы 89,279 зл. 10 гр.; на пособия духовенству и поддержку нѣкоторыхъ церквей 52,820 зл. 9 гр., на содержаніе правительственныхъ зданій, украшеніе города, укрѣпленіе берега Вислы и поддержку дорогъ на государственныхъ земляхъ 163,251 зл.; на продолженіе и содержаніе шоссеиныхъ дорогъ 30,000 зл.; на постройку новыхъ общественныхъ зданій 61,362 зл. 6 гр.; долговыхъ процентовъ за государственныя займы 1475 зл. 21 гр.; на уплату общинныхъ податей съ государственныхъ земель и домовъ, а также за бѣдные монастыри 4,929 зл. 26 гр.: чрезвычайныхъ расходовъ на 88,600 зл. Общее число жителей краковской территоріи въ 1818 году равнялось 96,438 душамъ, изъ коихъ 24,756 приходились на главный городъ; между послѣдними 19,310 были христіане, 5,446 евреи. Въ 1836 году всего населенія въ краковской республикѣ считалось 131,462 души, изъ нихъ въ главномъ городѣ 37,027 жителей, въ томъ числѣ 25,574 христіанина и 11,453 еврея; въ 1844 году общее число жителей краковской республики равнялось уже 146,324 душамъ, изъ коихъ 128,850 принадлежало къ католическому исповѣданію, 599 къ евангелическому, 129 къ униатскому и 16,746 были евреи. Вся территорія дѣлилась на 14 округовъ, изъ коихъ каждый управлялся особымъ комиссаромъ: 5 округовъ приходились на Краковъ съ его предмѣстьями, 9 на территорію. Кромѣ главнаго города, въ республикѣ считалось 3 мѣстечка и 224 деревни, изъ коихъ 211 заселены были свободными крестьянами. Въ 1845 году, въ самомъ Краковѣ считалось 45,263 жителя. Сельскихъ школъ въ краковской территоріи было 49; эти школы посѣщались 3,136 учениками: между ними 1,868 было мальчиковъ и 1,268 дѣвочекъ. Сельскіе учителя полу-

чали не менѣе 400 злотыхъ въ годъ, и, кромѣ того, многіе изъ нихъ были еще общинными писарями, что вполне обеспечивало ихъ безбѣдное существованіе. Число студентовъ университета послѣ 1833 года, когда уже прекращено было принятіе иностранцевъ въ число ихъ, значительно упало: до тѣхъ поръ ихъ было болѣе 700; въ 1844 году ихъ было только 143, въ томъ числѣ 15 богословскаго факультета, 29 юридическаго, 42 медицинскаго и 57 философскаго; ординарныхъ профессоровъ было 25. Важнѣйшими учрежденіями при университетѣ были: библіотека, заключавшая въ себѣ чрезвычайно богатое собраніе пособій для польской исторіи, довольно удовлетворительное собраніе книгъ для чешской исторіи и крайне недостаточное для венгерской, не смотря на связь ея съ исторіей Польши; кромѣ того, обладавшая большимъ собраніемъ рукописей, относившихся къ тридентскому собору; множество естественно-историческихъ и медицинскихъ кабинетовъ; ботаническій садъ, основанный въ 1774 году; астрономическая обсерваторія, построенная въ 1787 году, и ученое общество, открытое въ 1817 году: *Societas literaria Universitatis Cracoviensis*, успѣвшее напечатать 17 томовъ изданія: «*Roczniki Towarzystwa naukowego*», и нѣсколько томовъ «*Miscellanea*». Гимназія св. Анны имѣла въ 1843 году 180 учениковъ и 11 наставниковъ; техническая школа 87 учениковъ и 12 наставниковъ. Въ мѣстечкѣ Хржановѣ была окружная школа; въ Краковѣ нѣсколько школъ для дѣвицъ и промышленно-торговая для еврейскихъ дѣтей, основанная еще въ 1835 году, имѣвшая при началѣ своемъ 58 мальчиковъ и 20 дѣвочекъ, а въ 1845 году 156 мальчиковъ и 137 дѣвочекъ. Изъ первыхъ большинство оканчивали свое воспитаніе въ этой школѣ, а изъ меньшинства 40 поступали въ гимназію, 14 въ техническую школу и 2 въ университетъ. Сеймъ 1844 года постановилъ, чтобы еврей, не знавшій польскаго языка и не носившій европейскаго платья въ теченіи трехъ лѣтъ, не могъ вступать въ бракъ. Всѣхъ домовъ въ Краковѣ считалось въ 1845 году 2,400; между ними 13 гостинницъ и 170 постоянныхъ дворовъ; число заключенныхъ за различныя преступленія доходило до 120.

Такое было состояніе вольнаго города и его территоріи, незадолго до присоединенія ихъ къ Австріи. Приготовляясь къ этой участи со времени введенія въ него австрійскихъ войскъ подъ начальствомъ генерала Кауфмана, Краковъ сдѣлалъ быстрые шаги на этомъ пути, въ отношеніяхъ административномъ, судебномъ и торговомъ, во время президентства Шиндлера. Этотъ энергиче-

скій честолюбецъ, родомъ изъ Галиціи, въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ прошедшій чрезъ званія профессора, кафедральнаго декана и сенатора, достигъ власти президента въ эпоху, роковую для Кракова. Вотъ какъ современники описывали его наружность: «президентъ Шиндлеръ—красивый человѣкъ 40 лѣтъ, средняго роста и крѣпкаго сложенія, носить длинные волосы, съ лобонами позади, изъ-подъ коихъ особенно-выдаются его высокій круглый лобъ и привѣтливые глаза; въ послѣднихъ таится какая-то чаро-дѣйственная сила, при помощи коей онъ читаетъ все въ душѣ другихъ; несмотря на то, его взглядъ не отталкиваетъ. Съ каждымъ онъ охотно вступаетъ въ разговоръ; съ каждымъ онъ одинаково привѣтливъ». Къ этому слѣдуетъ прибавить, что многіе опасались поповскаго управленія при каноникѣ Шиндлерѣ; но «онъ часто дѣйствовалъ такъ противъ клира, какъ не всегда удается и абсолютнымъ королямъ».

Нилъ Поповъ.

*(Окончаніе слѣдуетъ).*

---

# ПОСЛѢДНИЕ МОГИКАНЕ РУССКОЙ ПЕДАГОГИИ

---

О народномъ образованіи, гр. Л. Н. Толстой. «Отечеств. Зап.», 1874, сентябрь.  
Новыя идеи въ нашей школѣ, Е. И. Цыткова. «Рус. Вѣст.», 1874, сентябрь.

---

„Такое уже нонче время настало, что  
въ цереву не ходить, а больше, съ по-  
зволенья сказать, въ удобреніе вѣрнуть“...

Изъ рѣчи согладатя, у Щедрина.

Осенніе мѣсяцы—вообще время открытія земскихъ собраній по всей Россіи, время открытія училищныхъ совѣтовъ новаго состава, и начало дѣятельности новаго механизма для надзора за школами,—ознаменовались въ прошедшемъ году появленіемъ въ двухъ періодическихъ изданіяхъ, одномъ петербургскомъ и другомъ московскомъ, двухъ изслѣдованій самаго рѣшительнаго характера, посвященныхъ нашей народной школѣ. Совпаденіе это могло быть случайное, но съ точки зрѣнія цѣли тѣхъ людей или той партіи, которые высказались въ этихъ статьяхъ, конечно, произошло весьма встати. Мы, съ своей стороны, приписываемъ этому явленію нѣкоторое значеніе, потому что со дня ихъ появленія прошло теперь достаточно времени, такъ что могло обнаружиться и самое вліяніе ихъ на ту часть общества, къ инстинктамъ котораго авторы обращались. Замѣчательно въ настоящемъ случаѣ, что удары, направляемые на нашу зарождающуюся народную школу, идутъ изъ двухъ совершенно противоположныхъ лагерей. Графъ Л. Н. Толстой, какъ извѣстно, появился въ педагогиче-

ской литературѣ и практикѣ радикаломъ и реформаторомъ, болѣе смѣлымъ, чѣмъ самъ Руссо; г-нъ К. Цвѣтковъ, хотя никому, кажется, ничѣмъ неизвѣстенъ, но по существу своей статьи и по характеру журнала, гдѣ помѣщена эта статья, обрисовался какъ педагогъ стариннаго «киевопечерскаго толка», если, впрочемъ, вообще онъ имѣетъ что-нибудь общее съ педагогіей, кромѣ желанія поносить ее. И радикалъ, и клерикалъ сошлись въ общей ненависти къ нашей народной школѣ за ея общечеловѣческій и обще-европейскій характеръ, и разными орудіями, съ разнымъ искусствомъ, изъ разныхъ побужденій, дружно добиваются одной и той же цѣли — избіенія русской народной школы. Этотъ искусственный минутный союзъ напоминаетъ такіе же искусственные минутные союзы теперешнихъ французскихъ политическихъ партій, гдѣ легитимисты идутъ то рядомъ съ бонапартистами, то рядомъ съ ультра-радикалами, чтобы обезсилить едипственную, пугающую ихъ партію просвѣщеннаго и сознательнаго либерализма. Упомянутыя нами статьи нашли поводъ для своихъ нападокъ на направленіе нашего народнаго образованія въ книгахъ нѣкоторыхъ нашихъ педагоговъ, именно — гр. Толстой въ книгахъ г-дѣ Евтушевскаго и Бунакова, а г. Цвѣтковъ въ книгѣ барона Корфа. Намъ нисколько не интересуется возражать критикамъ собственно по поводу ихъ частныхъ взглядовъ на сочиненія почтенныхъ педагоговъ, названныхъ выше. Сочиненія эти, какъ и всякія другія, имѣютъ, среди своихъ несомнѣнныхъ достоинствъ, свои недостатки, и очень можетъ быть, что мы готовы бы были присоединиться къ нѣкоторымъ изъ частныхъ замѣчаній критиковъ. Точно также, мы не принадлежимъ къ числу тѣхъ педантовъ и фанатиковъ педагогіи, которые неспособны видѣть ошибокъ и увлеченій новой системы, именно потому, что она наша система. Напротивъ того, и въ педагогической литературѣ, и въ педагогической практикѣ, мы постоянно были недоувѣрчивыми испытателями новыхъ методовъ и новыхъ принциповъ, и если принимали ихъ, то всегда съ ограниченіями, указанными опытомъ жизни и здравымъ смысломъ. Поэтому и настоящая статья не имѣетъ въ виду завязанной защиты всѣхъ подробностей системы, на которыя возстаютъ г. Цвѣтковъ и гр. Л. Толстой. Цѣль статьи шире и серьезнѣе. Намъ хочется свести поднятый вопросъ съ его театральныхъ подмостковъ на почву дѣйствительности, и объясниться съ критиками, въ полной простотѣ обстановки, на счетъ ихъ истинныхъ стремленій, отбросивъ въ сторону всѣ мантіи, котурны, вѣнки и жезлы, идущіе лицедѣйству, но недостойные такого важнаго дѣла, какъ образованіе народа. Намъ дороги не частности, не отдѣль-

ные педагоги, не отдѣльныя книги, не отдѣльные приемы,—намъ дорогъ общій смыслъ и общій характеръ нашей новой педагогіи, та живая идея, которая дѣйствуетъ въ ней, которая собственно и возмущаетъ педагоговъ иного пошиба. Если мы и воснемся частностей въ статьяхъ гр. Толстого и г. Цвѣткова, то единственно для обнаруженія въ нихъ, для подтвержденія ими—общаго духа этой критики.

Мы изложимъ сначала содержаніе интересующихъ насъ статей, а потомъ постараемся сдѣлать ясными читателю цѣль и значеніе ихъ.

Съ гр. Л. Н. Толстымъ мы встрѣчаемся не въ первый разъ. Въ 1862 году, мы напечатали въ «Русскомъ Вѣстникѣ» статью подъ заглавіемъ «Теорія и практика ясно-полянскіей школы», въ которой сдѣлали по возможности полный анализъ—какъ теоретическихъ заблужденій, такъ и практическихъ достоинствъ ясно-полянскіей школы гр. Толстого. Педагогическій журналъ гр. Л. Н. Толстого закончился отвѣтною статьею на нашу статью, и не возобновлялся больше. Мы не были настолько нескромны, чтобы приписать нашему посильному анализу рѣшеніе гр. Толстого прекратить защиту проповѣдуемой имъ теоріи обученія; но все-таки надѣялись, что и наши замѣчанія имѣли, вмѣстѣ съ школьнымъ опытомъ гр. Толстого, нѣкоторое вліяніе на измѣненіе его педагогическихъ убѣжденій. Поэтому теперь, когда оказывается, что гр. Толстой вновь поднимаетъ старое копьѣ и выступаетъ съ проповѣдью тѣхъ самыхъ педагогическихъ началъ, которыя составлялъ онъ въ 1862 году, на насъ даже лежитъ нѣкоторая нравственная обязанность не отказываться отъ состязанія и явиться на защиту тѣхъ обще-европейскихъ основъ народнаго обученія, которыя мы отстаивали противъ гр. Толстого 12 лѣтъ назадъ.

Читатель, который знакомъ съ педагогической полемикой того времени, можетъ вспомнить, съ какимъ горячимъ чувствомъ и какимъ глубокимъ уваженіемъ отнеслись мы къ честнымъ попыткамъ гр. Толстого добыть свѣжихъ путей въ дѣлѣ педагогіи; мы имѣли счастливый случай близко стоять къ дѣлу гр. Толстого, посѣщать его школу, узнавать его оригинальныя педагогическія взгляды, его энергическую педагогическую дѣятельность, его замѣчательный педагогическій талантъ—изъ личнаго общенія съ нимъ; еще съ бѣльшимъ сочувствіемъ относимся мы къ графу Толстому, какъ писателю, считая его художественный талантъ первымъ въ нашей современной литературѣ, какъ по силѣ своей, такъ и по характеру направленія. Въ критическомъ очеркѣ, подъ заглавіемъ «Народные типы въ нашей литературѣ», помѣщен-

номъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1865 года, мы сдѣлали по поводу «Казаковъ» гр. Толстого подробный анализъ его художественнаго значенія, изъ котораго можно видѣть по крайней мѣрѣ одно, что насъ можно заподозрить въ излишнемъ сочувствіи къ гр. Толстому, но уже никакъ нельзя обвинить въ предубѣжденіи противъ него и его взглядовъ. Слѣдовательно, выступая на этихъ страницахъ рѣшительнымъ порицателемъ теоріи гр. Толстого, мы надѣемся избавить себя отъ всякихъ подозрѣній въ какой-либо задней мысли.

Мы и теперь, какъ въ 1862 году, убѣждены, что намѣренія гр. Толстого сами по себѣ великодушны, что заблужденіе его искренно; но тѣмъ болѣе затрудняетъ насъ въ этомъ отношеніи вышеупомянутая осенняя его статья прошлаго года.

Во всякомъ случаѣ, вѣрно одно, что никакая искренность автора не обезпечиваетъ насъ отъ вредоносныхъ послѣдствій; а искренность талантливаго и авторитетнаго человѣка является чуть не опасною. Поэтому, чѣмъ искреннѣе, горячѣе и рѣзче настаиваетъ гр. Толстой на своихъ взглядахъ, тѣмъ больше мы сознаемъ свою обязанность обличить странность и несостоятельность этихъ взглядовъ.

Въ своей статьѣ гр. Толстой старается доказать преимущество того метода, по которому составлена его азбука, передъ распространеннымъ въ настоящее время звуковымъ способомъ обученія; поводомъ къ этому послужило бывшее въ Москвѣ публичное состязаніе школъ того и другого способа. Но изъ вопроса, такъ сказать, техническаго, какъ учить грамотѣ, гр. Толстой нечувствительно раздулъ въ своей статьѣ вопросъ о коренныхъ основахъ педагогіи, вообще подписать смертный приговоръ нашей «новой педагогіи» и провозвѣстить свою, будто бы самоновѣйшую педагогію.

Я не знаю, кто изъ составившихъ педагоговъ, звуковой ли, г. Протопоповъ, или ясно-полянскій, г. Морозовъ, успѣшнѣе учили дѣтей въ теченіи семи недѣль состязанія. Изъ словъ гр. Толстого, разумѣется, видно, что не только Морозовъ училъ гораздо успѣшнѣе, но что ученики Протопопова потому только и знали еще что-нибудь, *что могли дома научиться отъ учениковъ Морозова*. Разница, какъ видно, неизмѣримая. Яснополянскій ученикъ, безъ всякихъ умысловъ и намѣреній съ своей стороны, является болѣе плодотворнымъ педагогомъ, чѣмъ самъ учитель по звуковому методу. Но, съ другой стороны, изъ тона раздраженія гр. Толстого, изъ самыхъ усилій его доказать противное, какъ будто

видно, что далеко не всѣ свидѣтели состязанія одинаковаго съ нимъ мнѣнія. Для насъ это все равно: личное искусство учителя не можетъ свидѣтельствовать ни за, ни противъ системы. Школьный опытъ можетъ стать убѣдительнымъ только тогда, когда онъ имѣетъ не характеръ средневѣкового турнира, а характеръ статистическаго изслѣдованія, т.-е. подкрѣпляется серьезными данными числа и времени. Этотъ опытъ давно рѣшили для насъ преимущество звукового способа. Гораздо интереснѣе анализъ звукового метода, который дѣлаетъ авторъ. Подъ этимъ методомъ онъ почему-то разумѣетъ всю «новую педагогію съ кубиками, сусликами и прочими глупостями», какъ выражается нѣсколько своеобразно гр. Толстой. Эта неточность и неясность представленія гр. Толстого вовсе не случайна. Она составляетъ его коренное качество. Тутъ выразился виѣстъ и его характеръ, и его «фѳортель». Гр. Толстой никогда не даетъ себѣ труда серьезно изучить то, на что онъ нападаетъ. Ему болѣе всего интересно доказать свое, и потому ему совсѣмъ не нужно убѣждаться чужимъ. Оттого онъ всегда бездоказателенъ. Онъ чувствуетъ въ себѣ прекраснаго художника и плохого философа, а потому въ критическихъ мѣстахъ весьма ловко замѣняетъ необходимую аргументацію забавною выходкой. Выдумаетъ, напримѣръ, что «сусликъ любимое животное новой педагогіи», и суѣтъ этого суслика, въ видѣ ложной диверсіи, всюду, гдѣ чувствуетъ слабость своихъ регулярныхъ силъ. Читатель, привыкшій требовать отъ серьезной статьи строгаго построенія, послѣдовательности и опредѣленности доводовъ, будетъ изумленъ и сбить съ толку этими фланговыми движеніями иррегулярныхъ силъ гр. Толстого. Онъ заварилъ въ одну кашу методику ариѳметики съ предметными уроками, естественную исторію съ звуковымъ способомъ, а г. Бунакова, одного изъ почтенныхъ, но вовсе не выходящихъ изъ ряда другихъ педагоговъ новой школы, возвелъ въ представителя современной педагогіи, вѣроятно, потому, что его учебникъ случайно попался въ руки гр. Толстому на состязаніи. О самыхъ серьезныхъ сторонахъ дѣла онъ умалчиваетъ, и всякія мелочи возводитъ до степени руководящаго принципа. И все потому, что ему важно не до истины доработаться, а утвердить «свой аснополянскій принципъ». Но если распутать все это, то новая система педагогіи, по представленію гр. Л. Толстого, будетъ такова:

1) По общему правилу педагоговъ (новыхъ, разумѣется), «книги надо читать только въ школѣ». (При этомъ гр. Толстой не разъ вспоминаетъ, какъ представителя новой педагогіи, ба-

рона Корфа, съ его книгой «Нашъ другъ», книга для чтенія въ школѣ и дома, и горячо вооружается противъ библиотекъ и учебныхъ посѣбій въ школахъ новаго типа).

2) «Обученіе въ звуковой школѣ основано на принужденіи».

3) «Побои и колотушки—средства этого принужденія».

4) «Дѣти находятся подъ постояннымъ страхомъ».

5) Въ звуковомъ способѣ Ушинскаго и всѣхъ другихъ «прежде всего ученика учатъ согласнымъ звукамъ, которыхъ нельзя выговорить отдѣльно».

6) «Содержаніе чтенія есть самое безсмысленное».

7) «Арифметика, какъ ученіе (?), уже совсѣмъ не преподается».

8) «Выговариваютъ не такъ, какъ говорится, а такъ какъ пишется».

9) «Новый способъ совершенно тождественъ со старымъ (т.-е. церковнымъ, какъ называетъ гр. Толстой обученіе по часослову) по своимъ основаніямъ, и потому по приемамъ обученія и по результатамъ». Сходство это продолжается до малѣйшихъ подробностей, и «механическая сторона обученія въ обоихъ преобладаетъ надъ умственной».

Впрочемъ, въ той же статьѣ, но на другихъ страницахъ, и для другихъ надобностей, гр. Толстой съ тою же смѣлостью утверждаетъ (стр. 169): «главная исходная точка новой педагогики есть критика старыхъ приемовъ и придумыванье новыхъ, сколь возможно болѣе противоположныхъ старымъ способамъ».

А на страницѣ 171: «въ новомъ способѣ дѣйствительно откинуты всѣ недостатки стараго, хотя именно въ крайнемъ противоположеніи проявились новые недостатки»; а далѣе, на стр. 171 и 172 гр. Толстой даже подробно перечисляетъ всѣ противоположности двухъ способовъ:

«Прежде учили безъ смысла склады... Новая манера (не методъ, а манера; замѣчаете обиду?) предписываетъ совсѣмъ не отдѣлять складовъ...

«Прежде читали непонятный... для дѣтей псалтырь; въ противоположность этому... заставляютъ объяснить всякое понятное слово»...

«Въ старой школѣ учитель ничего не говорилъ съ учениками; теперь предписано говорить съ учениками что попало»... и т. д.

Какъ ни мало достойна серьезнаго вниманія подобная критика, которая на слѣдующей страницѣ опровергается отъ а до—я все сказанное на предыдущей,—критика, которая, подобно донъ-Кихоту Ламанчскому, ведетъ войну съ вѣтранными мельницами,

и приписываетъ своему сопернику свойства, живымъ отрицаніемъ которыхъ служить именно этотъ соперникъ, однако мы считаемъ нужнымъ дополнить мнѣическое изображеніе новой школы по капризнымъ эскизамъ гр. Толстого.

10) «Цѣль школы есть развитіе, а не наука».

11) «У насъ нѣтъ ни одной новой статьи для дѣтскаго чтенія (?), ни одной грамматики русской (?), ни славянской, ни славянскаго лексикона, ни ариметики (?), ни географіи, ни исторіи для народной школы».

12) Въ новой народной школѣ потому еще (стр. 170) «особенно горячо держатся за нѣмецкіе приемы, что при нихъ *учителю не нужно много стараться*, не нужно дальше и дальше учиться, не нужно работать надъ собой и приемами обученія»... Но тутъ же, впрочемъ, на страницѣ 186, гр. Толстой, чтобы избавить насъ отъ труда опроверженія, самъ прибавляетъ: «учитель по новой нѣмецкой *манерѣ* (опять не методъ, не способъ, а манера, нѣчто пустое и легкое), если онъ хочетъ идти впередъ и совершенствоваться, *долженъ слѣдить за педагогической литературой*... т.-е. читать всѣ новыя выдумки etc.»

Выраженія гр. Толстого относительно педагоговъ и педагогій новой школы отличаются тою же безцеремонностію и рѣшительностью приговора, какъ и строй его мыслей: «это есть *безсмыслица*, которую не стоить критиковать» — говоритъ онъ на страницѣ 164-й про методу Грубе и наглядное обученіе.

«Подбирать ошибки какихъ-то (?) Бунакова и Евтушевскаго значить критиковать то, что *ниже всякой критики*».

«Народъ, жаждущій образованія, — вмѣсто хлѣба получаетъ камень» (отъ новой школы, стр. 168). «Школьное дѣло находится въ *жалкомъ и смѣшномъ положеніи*» (196 стр). «Новая педагогія — это *коробка вонючихъ конфетъ*, которыя покупаютъ народу вмѣсто желаемого имъ хлѣба» (т.-е. педагогіи гр. Толстого).

1) «Школьное дѣло при настоящемъ направленіи педагогіи есть *игрушка и забава*».

2) «Кубики, картины — все это глупости, выдумываемыя нѣмцами; объяснительныя бесѣды — *вздоръ*».

3) Про педагоговъ звукового метода онъ выражается весьма развязно нѣмецкой пословицей: «*ein Narr kann mehr fragen als zehn Weise antworten*» (*одинъ дуракъ спроситъ больше, чѣмъ съумѣютъ отвѣтить десять умниковъ*).

4) Г-дъ Бунакова и Евтушевскаго, на основаніи одной-двухъ

неловкихъ фразъ изъ ихъ книгъ, гр. Толстой, не долго думая, «обвиняетъ въ совершенномъ незнаніи *русскаго языка*».

Но при послѣднемъ обстоятельстве гр. Толстой забываетъ, что самому можно быть отличнымъ художникомъ и очень плохимъ грамматикомъ. Если никто не считалъ нужнымъ останавливаться на многочисленныхъ ошибкахъ противъ языка, дѣлаемыхъ нашимъ любимымъ писателемъ, то это еще вовсе не значить, чтобы этихъ ошибокъ не существовало, или чтобы онѣ не были значительно крупнѣе тѣхъ неловкостей стили, которыя гр. Толстому зачѣмъ-то понадобилось цитировать при разборѣ ариеметики г. Евтушевскаго. Первая попавшаяся фраза изъ самой статьи гр. Толстого, казалось, должна была навести почтеннаго автора на болѣе скромныя мысли въ области грамматики. Возьмемъ для примѣра, на стр. 181:

«Непризнание *того*, что прежде, чѣмъ рѣшить, чему и какъ учить, надо рѣшить вопросъ, *почему* мы можемъ это узнать, привело педагоговъ въ совершеннѣйшій разладъ съ дѣйствительностью, и *та* пучина, *которая*, и т. д.; или на стр. 200:

«Если *какое* земство не имѣетъ *такого* человѣка и не хочетъ нанять *такого*, *то* *такому* земству» и т. д.; или:

«Засѣданіе... не *пришло* (?) ни къ какому заключенію»; или:

«Единственно прочныя основы педагогіи *есть только дѣть*»...

Мы не считаемъ умѣстнымъ занимать читателя выписками всѣхъ нерусскихъ и неграмматическихъ оборотовъ, попадающихся у гр. Толстого, но думаемъ, что и приведенныя мѣста достаточно оправдываютъ нашъ совѣтъ гр. Толстому не быть слишкомъ беспощаднымъ грамматикомъ относительно другихъ авторовъ, не имѣющихъ претензіи быть мастерами роднаго языка. Продолжаемъ свое изложеніе. Графъ Толстой, сочинивъ себѣ, съ размахистой свободой своей художественной фантазіи, представленіе о новой педагогіи, какъ о механическомъ заучиваніи непонятныхъ словъ, поощряемомъ колотушками, какъ о бессмысленномъ чтеніи и вздорной болтовнѣ въ классѣ, разумѣется, можетъ довольно безопасно упражнять свое остроуміе надъ такою педагогіею и осмѣивать ея стремленіе развивать дѣтей посредствомъ бессмыслицъ. Но всякій читатель, даже наименѣе знакомый съ нашею современною школой, увидить безъ труда, до какой степени праздно эти боевыя упражненія гр. Толстого, это бесполезное усиліе его разсѣчь мечомъ своего слова безплотные образы, имъ же созданной фаты-морганы. Пусть онъ утѣшается побиваніемъ той несуществующей педагогической школы, которую онъ нарисовалъ въ своей статьѣ. Мы, сторонники «новой педагогіи», готовы были

бы отъ души присоединиться къ нему и стать вмѣстѣ съ нимъ противъ уродства обученія, его возмущающаго, еслибы онъ убѣдилъ насъ, что эти уродства существуютъ въ нашихъ школахъ. Что «новая педагогія» имѣетъ съ этими уродствами гораздо меньше сродства, чѣмъ педагогія гр. Толстого, и дальнѣйшее развитіе ея—не церковная педагогія, въ этомъ можете убѣдить любая книжка, излагающая, хотя бы самымъ поверхностнымъ образомъ, основы новыхъ приѣмовъ обученія. Но, конечно, гр. Толстому и людямъ его взглядовъ гораздо убѣдительнѣе будетъ свидѣтельство челоуѣка ихъ же лагеря, напримѣръ, того самого г. Цвѣткова, который, по строгимъ правиламъ тактики, повелъ въ атаку на народную школу своихъ папскихъ зуавовъ съ праваго фланга, какъ разъ въ ту минуту, какъ на лѣвый флангъ были двинуты гр. Толстымъ его баши-бузуки.

Г-нъ Цвѣтковъ тоже не чинится особенно много съ новой педагогіей. Она для него *«безобразный, отератительный шабашъ идей»*,—а въ доказательство этого безобразія приведена цитата изъ «Саратовскаго Справочнаго Листка»!. Она для него божество отрицанія и разрушенія, поглощающее идеальный міръ, *«мрачный призракъ Аримана, Ваала и Молоха»*,—возстающій изъ области тѣней, изъ-подъ праха и тепла (вѣрно, пепла) незапамятной старины... Эта ужасная картина, возбужденная въ г. К. Н. Цвѣтковѣ чтеніемъ азбучекъ Ушинскаго и барона Корфа, и поддержанная «Саратовскимъ Справочнымъ Листкомъ», не должна удивлять читателя ни своимъ трагическимъ пафосомъ, ни своими библейско-историческими аналогіями. Въ ней не столько сказывается школа новой педагогіи, сколько школа старой бурсы, повидимому, воспитавшая почтеннаго автора и внушившая ему долготѣнными упражненіями надъ гомилетикой и риторическими хрѣями не особенно необходимую теперь привычку «ужасное» сочетать съ «величественнымъ» и «поразительное» съ «неожиданнымъ». Для дѣтей извѣстнаго возраста этотъ приѣмъ не лишенъ своей силы; и я помню, что мнѣ дѣлалось порядочно жутко, когда въ оперѣ «Громобой», г. Ольгинъ въ Москвѣ, изображавшій Асмодея, появлялся вдругъ изъ-подъ пола среди огненнаго дыма и, распростерши свои черныя крылья нетопыря, неистово вскрикивалъ глухихъ басомъ, по мнѣнію режиссера, особенно приличнымъ дьяволу: «оставь его, онъ мой, моей добыть онъ кровью!».. я отъ души благодарилъ при этомъ благочестиваго отшельника въ коричневомъ капишонѣ, который прогонялъ г. Ольгина опять подъ полъ. Впослѣдствіи однако, когда прошелъ возрастъ «бильбоки», ни г. Ольгинъ, какъ Асмодей, ни отшельникъ, уже не производили на меня ужасаю-

шаго впечатлѣнія, хотя одинъ по прежнему продолжалъ кричать дьявольскимъ басомъ и топырить свои крылья, а другой по прежнему забывалъ благочестивымъ теноромъ и торжественно простиралъ крестъ. Поэтому, я боюсь, что и Молохъ съ Вааломъ г. Цвѣткова въ настоящее время врядъ ли произведутъ на читателя то впечатлѣніе, которое они бы произвели въ золотой вѣкъ нашего неиспорченного дѣтства.

Само собою понятно, что г. Цвѣтковъ не рѣшился бы обращаться къ божествамъ истребленія и изображать барона Корфа, невиннаго помѣщика александровскаго уѣзда, чѣмъ-то въ родѣ вождя секты, туговъ или ассасиновъ, еслибы онъ имѣлъ о подобной педагогикѣ тоже презрѣнное понятіе, какъ гр. Толстой.

Нѣтъ, въ этомъ случаѣ союзникъ гр. Толстого видитъ дѣло совершенно въ иномъ свѣтѣ. Гр. Толстой обвиняетъ новую школу, что «цѣль ея — развитіе, а не наука; въ новой школѣ нѣтъ ни грамматики, ни ариѳметики, ни исторіи, ни географіи (167 стр.). Въ ней не сообщаются ученикамъ законы слова и чиселъ (165), между тѣмъ какъ въ этихъ только законахъ и состоитъ наука». Всѣ знанія человѣческія только затѣмъ и подраздѣлены, чтобы можно было ихъ удобнѣе собирать, приводить въ связь и передавать, и эти подраздѣленія называются науками. Говорить же о предметахъ внѣ научныхъ разграниченій можно «что хочешь и всякой вздоръ, какъ мы это и видимъ», — учить насъ гр. Толстой (на страницахъ 159—160). Учитель новой школы «не руководствуется ни какою изъ наукъ, даже ни наукой зоологіей, ни логикой». Новый учитель не даетъ «ни слова, ни одного намека на то, какимъ способомъ передаются какіе-либо новыя знанія», а «преспокойно толчется на одномъ мѣстѣ» (стр. 167).

Итакъ, ясно, что вина новой школы, по гр. Толстому, въ томъ, что она измѣнила наукъ, недостаточно научна.

Новая школа готова совсѣмъ исправиться, стать неизмѣримо научнѣе, но вдругъ, повернувшись, встрѣчаетъ нападеніе г. Цвѣткова. Онъ ей говоритъ:

1) Новая школа виновата въ томъ, что она стремится дать «массу научныхъ фактовъ и свѣдѣній» (хотя бы, казалось, каждый научный фактъ есть уже тѣмъ самымъ и свѣдѣніе).

2) Новая школа, вмѣсто того, чтобы читать «божественное», пріятное крестьянамъ, устраиваетъ научныя экскурсіи, зоологическія, ботаническія, палеонтологическія, противъ которыхъ, конечно, возстаютъ крестьяне, по свидѣтельству губернскихъ вѣдомостей и справочныхъ листовъ. Г. Цвѣтковъ даже приводитъ цитату одного изъ этихъ авторитетовъ, изъ коего оказывается, что

учителя заставляютъ школьниковъ собирать степныя травы, бабочекъ, разныхъ насѣкомыхъ «и всякія радости», и «*весь этотъ срамъ сажать въ банки*» (стр. 416).

3) Новый «духъ времени», послѣ того, какъ не удалось низвести *университеты на уровень народной школы* (!) «возводитъ народныя школы на уровень универсальности» (!) (мы бы желали, чтобы господа ревнители русской и славянской грамматики объяснили намъ этотъ *уровень универсальности*).

«Средство расширить программу *народной школы до университетскаго факультета* найдено!» восклицаетъ въ другомъ мѣстѣ г. Цвѣтковъ.

Г. Цвѣтковъ свое «*обвиненіе въ наукѣ*» простираетъ до того, что перечисляетъ всѣ «*научные термины*», которые осмѣлился употребить баронъ Корфъ въ книгѣ «Нашъ Другъ», и возмущается до глубины души, отыскивая разбросанные по книгѣ эти развратные признаки «*научнаго культа*»:

— «Причина, слѣдствіе» — вотъ ясный признакъ преподаванія логики.

— «Мозгъ, кости, жиръ», — ясно, что тутъ анатомія съ фیزیологіею и сравнительною анатоміею.

— «Руды, соли, минералы...» — минералогія съ геогнозіею и технологіею.

— «Раздѣленіе труда» (кажется, единственный виноватый своего рода) — политическая экономія и, вѣроятно, социализмъ.

— «Температура, атмосфера» — физика съ метеорологіею и космографіею.

Даже «прозрачность», даже «кишки» и «почва» выписаны г. Цвѣтковымъ на обвинительный листъ и озаглавлены «языкомъ науки, обращающимъ народную школу въ университетскій факультетъ»!

Какъ бы ни было замѣтно читателю нѣкоторое излишнее усердіе г. К. Н. Цвѣткова изъ «Русскаго Вѣстника», однако очевидно, что педагоги «Русскаго Вѣстника» обвиняютъ «новую педагогію» уже не въ «механическомъ и бессмысленномъ толченіи на одномъ мѣстѣ, безъ сообщенія какихъ-либо новыхъ свѣдѣній», какъ гр. Толстой, а именно въ излишнемъ сообщеніи слишкомъ новаго, въ излишней поспѣшности сойти съ стараго мѣста, въ излишне ревностномъ служеніи опаснымъ и надмевающимъ новымъ идеямъ.

Мы не можемъ представить лучшаго опроверженія нашимъ оппонентамъ, какъ устроить между ними такую очную ставку; всецѣлое противорѣчіе свидѣтелей, — на основаніи котораго еще

премудрый ветхозавѣтный судія посрамилъ двухъ старцовъ, оклеветавшихъ невинную Сусанну, — считается окончательнымъ доводомъ несправедливости на самомъ строгомъ судебномъ процессѣ. Поэтому, мы не видимъ нужды приводить послѣ этого въ разъясненіе истинныхъ цѣлей и сущности новой педагогіи какія-либо авторитетныя свидѣтельства, хотя могли бы сдѣлать это безъ малѣйшаго труда.

Что два союзника, одновременно производящія свое нападеніе съ двухъ различныхъ фланговъ, вдругъ ступнулись лбами, означаетъ одно: что они двигались въ темнотѣ, и что они напали на пустоту. Дѣйствительно, ихъ нежеланіе знать въ лицо своего врага до такой степени очевидно, что опровергать ихъ рѣшительно не въ чемъ, а остается только разъяснить, изъ какихъ побужденій понадобилось графу Толстому принести на закланіе новую педагогію въ лицѣ г-дъ Бунакова и Евтушевскаго, а г. Цвѣткову — въ лицѣ бар. Корфа.

Обратимся же за этимъ, по принятой нами системѣ, къ единственному источнику, изъ котораго мы желаемъ черпать въ настоящемъ случаѣ, — къ самымъ статьямъ гр. Толстого и г. Цвѣткова.

Гр. Толстой, убѣдившись въ позорномъ состояніи нѣмецкой педагогіи и ея подражательницы русской, и въ то же время сознавая неудовлетворительность старой «церковной» школы, задалъ себѣ, какъ онъ говоритъ, задачу — отыскать причину всеобщаго заблужденія. Онъ ее отыскалъ очень скоро, въ 1861 г., въ имѣніи своемъ, Ясной Полянѣ. Причина та, что нѣмецкая педагогія возмечтала, будто ею «разрѣшены окончательно всѣ философскіе вопросы, которые отъ Платона до Канта оставались вопросами». Тогда гр. Толстой сталъ издавать журналъ «Ясную Поляну». По его собственнымъ словамъ, журналъ этотъ былъ посвященъ имъ проведенію основнаго принципа педагогіи: «почемъ знать, чему и какъ учить» (у насъ говорится: *почемъ* груши, *почемъ* горохъ, но о знаніи говорится: *по чему* знать).

Вотъ «дѣйствительно насущный вопросъ педагогіи, который 15 лѣтъ тому назадъ я тщетно пытался поставить во всей его значительности» (не лучше ли, значеніи?), но который «остался даже не затронутымъ», жалуется гр. Толстой: «никто не обратилъ вниманія на эти основы».

Педагогія не послушалась гр. Толстого и его журнала «Ясной Поляны» «и поддѣлала себѣ квази-философскія оправдывающія разсужденія», какъ и слѣдовало ожидать отъ преступной и

непокорной злоумышленницы противъ истинно-философскаго разсужденія гр. Толстого.

Понятно нѣкоторое ожесточеніе гр. Толстого. Онъ видитъ, что міръ спитъ 7000 лѣтъ, что во всю длинную исторію человѣчества ни старыя церковныя школы, ни новыя нѣмецкія, ни разу не задали себѣ вопроса, «чему и какъ учить»; отъ Платона и Аристотеля до Руссо и Песталоцци, до этой «уродливой», «ниже всякой критики» стоящей нѣмецкой школы Дистервега и К<sup>о</sup>, единственный человѣкъ, поднявшій этотъ насущный вопросъ, былъ онъ, гр. Толстой, изъ Ясной Поляны.—Онъ одинъ сказалъ міру: «единственно прочныя основы педагогіи есть только двѣ: 1) опредѣленіе критерія того, чему нужно учить, и 2) критерія того, какъ нужно учить». И вдругъ «никто не обратилъ вниманія на эти основы»! Какъ ни жалко и ни сочувственно намъ вообще положеніе гениальныхъ изобрѣтателей, не признаваемыхъ человѣчествомъ, однако на этотъ разъ мы готовы просить гр. Толстого не очень обижаться на бѣдное человѣчество. Въ самомъ дѣлѣ, если бы гр. Толстой объявилъ, что онъ нашелъ двѣ единственныя прочныя основы для низверженія педагогіи: 1) по чему знать, чему учить, и 2) по чему знать, какъ учить; то не могло бы быть никакого сомнѣнія въ самобытности его изобрѣтенія. Но гр. Толстой въ своей «Я. П-нѣ», въ теченіи цѣлаго 1862 года, по одному разу въ мѣсяцъ, утверждалъ, что прочной основой педагогіи можетъ быть только рѣшительное отрицаніе возможности знать, чему и какъ учить; «обучающій твердо и несомнѣнно знаетъ, чему и какъ нужно обучать», укоряетъ онъ педагоговъ всѣхъ школъ, и старой церковной, и новой нѣмецкой; а собственнымъ своимъ знаменемъ выставляетъ именно *незнанье чему и какъ учить*.

Человѣчество и педагогія, право, не особенно виноваты, если въ «основномъ принципѣ», отысканномъ гр. Толстымъ въ 1861 году, они не могутъ видѣть ровно никакого принципа. Вѣдь это только забавная тавтологія, пустое тождество, которое ясно самому простому здравому смыслу, незнакомому ни съ педагогіей, ни съ философіей, но и не отуманенному болѣзненнымъ самолюбіемъ или жаждою оригинальности во что бы ни стало. Разверните эту тавтологію, и вы получите равенство. «Основа педагогіи узнать то, чему и какъ учить» — буквально значить тоже самое, что и такое опредѣленіе: «основа педагогіи состоитъ въ томъ, чтобы основать педагогію», ибо «чему учить и какъ учить» есть все содержаніе педагогіи, внѣ коего въ ней нѣтъ рѣшительно ничего. Всякая существующая школа педагогіи, какъ бы

ни была она ошибочна и дурна, разрѣшала этотъ вопросъ «чему учить и какъ учить» самымъ фактомъ своего существованія. Если бы она не предлагала себѣ этихъ вопросовъ и не отвѣчала на нихъ посильно, она бы не учила ничему и никакъ. Правда, гр. Толстой увѣряетъ, что, прочтя то, что было написано (мнѣ нравится эта осторожная неопредѣленность выраженія) объ этомъ предметѣ, познакомившись лично съ *такъ называемыми лучшими представителями педагогической науки въ Европѣ (настоящихъ лучшихъ, разумѣется, не было въ Европѣ)*... я убѣдился, что вопроса этого (чему и какъ учить) для педагогии, какъ науки, даже и не существуетъ... Но вѣдь, съ другой стороны, самъ гр. Толстой, на стр. 177, говорить объ убѣжденіяхъ различныхъ школъ, что учить надо тому и такъ; самъ жалуется, что «каждый педагогъ извѣстной школы твердо вѣрить, что тѣ приемы, которые онъ употребляетъ, суть наилучшіе». А на стр. 176 даже прямо говорится, что когда гр. Толстой столкнулся въ первый разъ съ этими роковыми вопросами, чему учить и какъ учить, «*въ то время, какъ и теперь, существовало величайшее разнообразіе въ отъѣтахъ на эти вопросы*». И вмѣстѣ съ тѣмъ этихъ вопросовъ до него, гр. Толстого, не существовало. Поймите послѣ этого гр. Толстого! Или это шутки, не идущія въ дѣлу, или это слѣпота.

Во всякомъ случаѣ никто не виноватъ, что гр. Толстому эта азбучная истина не пришла въ голову ни въ 1862 году, когда его теорія выступила на свѣтъ божій и вызвала опроверженіе, ни въ тѣ 12 лѣтъ, въ продолженіи коихъ почилла она подъ спудомъ, всѣми забытая и, вѣроятно, всѣми почитаемая мертвою. Гр. Толстому захотѣлось опять поноситься съ нею, и онъ опять напомнилъ міру объ открытіи имъ въ 1861 г. *единственно прочныхъ основъ*. О! подобныя прочныя основы отыскивать очень не трудно не только для педагогии, но и для всевозможныхъ предметовъ, хотя бы ихъ «*есть не дѣть*», а цѣлая сотня. Что можетъ быть, наприимѣръ, прочнѣе такой основы, какъ: «искусство управлять народомъ состоитъ въ открытіи искусства управлять народомъ». Для этого не нужно даже «прочитывать, что было написано»; для этого достаточно одного: желанія сказать по-своему то, въ чемъ никто никогда не сомнѣвался, и чего никому никогда не было нужно знать. Гр. Толстой, какъ мы видѣли, далеко не такъ скромно оцѣниваетъ свое открытіе. Хотя ему кажется очень обиднымъ тотъ фактъ, что «по школамъ нашихъ захолустей» уже исполняются требованія «какихъ-то Бунаковыхъ и Евтушевскихъ», «стоящихъ ниже всякой кри-

тики», «однако» свои собственные педагогическія измышленія гр. Толстой не только храбро заявляетъ міру черезъ публичное состязаніе въ Москвѣ, наименованное состязаніе раскольническихъ протопоповъ при царевнѣ Софьѣ, но даже безъ всякой застенчивости объявляетъ на всю читающую Русь, что онъ одинъ обладаетъ талисманомъ спасенія, и навязываетъ его и комитетамъ грамотности, и земствамъ, и училищнымъ совѣтамъ, несмотря на то, что 12-ти-лѣтнее ненарушимое пребываніе его открытія во мракѣ могилы и дружескій хоръ критики, отпѣвавшій это открытіе въ 1862 г., должно бы было показать гр. Толстому, что требованія Бунакова и Евтушевскаго во всякомъ случаѣ не менѣе сочувственны русскому обществу, чѣмъ требованія «Ясной Поляны».

«Только то, что было высказано мною тогда (т.-е. въ 1862 г., въ журналѣ «Я. П.»), могло поставить педагогику, какъ теорію, на твердую почву», весьма скромно сообщаетъ публикѣ гр. Толстой, достаточно посмѣявшись надъ всѣми этими Песталоцци, Дистервегами, Вурстами.

И далѣе объясняетъ, почему именно онъ, а не другой, не Песталоцци, не Дистервегъ, могъ совершить эту великую миссію спасенія. Потому что онъ «взялся за это дѣло не издалека, предписывая законы, какъ надо учить, а самъ сталъ школьнымъ учителемъ въ глухой деревенской народной школѣ».

Гр. Толстой очень стойко за искренность тона и мыслей, поэтому онъ позволяетъ намъ сдѣлать легкое поясненіе къ этому мѣсту. Мы считаемъ весьма почтеннымъ дѣломъ, что онъ самъ, гр. Толстой, сталъ школьнымъ учителемъ; но «глухая» деревенская школа можетъ ввести читателя въ нѣкоторое заблужденіе. Дѣло заключалось собственно въ томъ, что гр. Толстой завелъ училище въ своемъ помѣстьи, Ясная Поляна, въ 15-ти верстахъ отъ г. Тулы, и нѣкоторое время, сколько я помню, года 1½, и никакъ не болѣе 2-хъ, училъ тамъ дѣтей при помощи однако и другихъ учителей.

Гр. Толстой, сдѣлавшись «школьнымъ учителемъ глухой деревенской школы», все-таки продолжалъ жить въ своемъ помѣщичьемъ домѣ, не чуждался общественной жизни, занимался хозяйствомъ, литературой и службою (онъ былъ тогда мировымъ посредникомъ). Школа его сразу стала далеко не «глухая». Онъ самъ говорить на другой страницѣ (184) своей статьи, что, «сотни посѣтителей перебивали въ Ясно-Полянской школѣ и знали ее». И это совершенно правда.

Поэтому, гр. Толстой согласится, что быть школьнымъ учи-

телемъ въ такой исключительной обстановкѣ, которая нисколько не стѣсняетъ учителя, а только удовлетворяетъ его потребности дѣлать интересующій его педагогическій опытъ въ то именно время и въ тѣхъ размѣрахъ, которые онъ самъ опредѣлять, опытъ, который могъ прекращаться и видоизмѣняться по фантазіи самого учителя,—право, не такъ трудно, какъ быть настоящимъ обязательнымъ школьнымъ учителемъ въ настоящей «глухой деревнѣ», не на дворѣ своей барской усадьбы. Если гр. Толстой захочетъ быть мало-мальски справедливымъ, онъ, конечно, не рѣшится отрицать, что дѣятели педагогіи, развившіе уродливую нѣмецкую школу и подражательницу ея, новую русскую школу, стояли къ школьному дѣлу во всякомъ случаѣ не дальше его, какъ бы ни были глупы, по мнѣнію гр. Толстого, ихъ предписанія.

Всѣ эти «такъ называемые лучшіе представители педагогической науки», Песталоцци, Дистервеги, Любены, Вурсты, Ушинскіе, тоже вѣдь немножко были школьными учителями, не по 1½ года, а по десятиамъ лѣтъ, въ тяжелой обстановкѣ добыванія куска хлѣба, не имѣя кромѣ этого призванія никакого другого, не отвлекая себя отъ него ни сочиненіями повѣстей, ни занятіями обширнымъ помѣщичьимъ хозяйствомъ, ни разъѣздами по участку для разбора ежедневныхъ столкновеній и улаживанія безчисленныхъ мелкихъ интересовъ, возбужденныхъ другъ противъ друга величайшей реформой нашего времени...

Если пріятно вспомнить о собственныхъ заслугахъ, то позволительно отдать справедливость и заслугамъ другихъ. Гр. Толстой, съ такимъ презрѣніемъ относящійся къ педагогическимъ знаменитостямъ міра, никогда не забываетъ аттестовать самымъ лестнымъ образомъ себя и свое.

Такъ, въ его воспитательной миссіи ему очень помогъ «нѣкоторый педагогическій тактъ, которымъ онъ одаренъ, и то близкое и страстное отношеніе, въ которое онъ сталъ къ дѣлу».

Изъ всего хода разсужденія подразумѣвается, что кромѣ него, гр. Толстого, ни у кого изъ «такъ называемыхъ лучшихъ представителей педагогической науки въ Европѣ», не было ни этого такта, ни этой страстности; напротивъ того, въ Европѣ только и были, что «ни на чемъ не основанныя теории Руссо, Песталоцци, Фребеля и пр.». Такъ, по разсказу гр. Толстого, «хорошіе результаты безошибочно получались отъ приложенія моего способа мною самимъ и всѣми учителями, которые учили по моему способу»; и еще: «я постоянно прилагалъ эти правила къ вѣдомымъ (выраженіе, достойное «какихъ-то» Бунакова и Евту-

шевскаго, но никакъ не гр. Толстого, ревнителя живой народной рѣчи) *мною* школамъ, и результаты всегда были *очень хороши*, какъ для учителей, для учениковъ, такъ и для выработки новыхъ приѣмовъ»... «Нѣкоторымъ педагогамъ кажется, что только и свѣта, что изъ окошка...». Невольно вспомнишь при чтеніи этихъ самохваленій собственное выраженіе гр. Толстаго на 177 стр.

Какъ ни ясна логическая неясность понятій гр. Толстаго и его постоянныя, доходящія до крайняго легкомыслія, противорѣчія самому себѣ въ основныхъ положеніяхъ защищаемаго имъ мнѣнія, однако для полноты дѣла, мы не откажемся прослѣдить подробнѣе, въ чемъ собственно состоитъ методъ гр. Толстаго, долженствующій спасти общество и замѣнить собою безобразія ни на чемъ не основанныхъ нѣмецкихъ теорій. Насколько дѣйствительно знакомъ гр. Толстой съ нѣмецкими теоріями, намъ очевидно изъ его характеристики «новой педагогіи», какъ мы изложили ее выше. Но одно мѣсто въ его статьѣ можетъ стать просто девизомъ этого знакомства, основаннаго на «прочтеніи всего, что писано» и личнаго знакомства съ лучшими представителями педагогической науки въ Европѣ.

«Лѣтъ 100 тому назадъ», серьезно сообщаетъ намъ гр. Толстой, «ни въ Европѣ, ни у насъ, вопросъ о томъ, *что и какъ учить, не могъ имѣть мѣста. Учиться грамотѣ — значило учиться священному писанью (!!!)*». Лѣтъ 100 тому назадъ, — значить, семидесятые годы XVIII-го столѣтія; значить, при Руссо, Вольтерѣ, Песталоцци, Гетѣ, Ломоносовѣ!...

Спорить съ такими историками и философами совершенно излишне. Какъ же, на основаніи такихъ прочныхъ свѣдѣній, положилъ гр. Толстой «единственно прочныя основы» педагогіи? А вотъ посмотримъ.

«Почемъ знать, чему учить и какъ учить?» вотъ то великое «*cogito ergo sum*», съ котораго началась эпоха основанія яснополянской педагогіи. На стр. 180 своей статьи гр. Толстой приступаетъ къ подготовленію отвѣта на свою пытливую думу, и изрекаетъ слѣдующую тираду, которую, признаемся, мы бы охотнѣе отослали въ учебникъ г. Евтушевскаго, «совершенно не знающаго русскаго языка», чѣмъ видѣть подъ нею подпись нашего художника-писателя:

«Для того, чтобы основанія образованія были несомнѣнны, необходимо: или чтобы они философски несомнѣнно были доказаны, или чтобы, по крайней мѣрѣ, всѣ образованные люди были въ нихъ согласны. Такъ ли это? *Въ томъ, что въ философіи не найдены тѣ основы, на которыхъ можетъ строиться опредѣленіе*

тою, чему нужно учить, не можетъ быть никакого сомнѣнія, тѣмъ болѣе, что самое дѣло это (какое же?) не есть отвлеченное, а практическое, зависящее отъ безчисленныхъ жизненныхъ условий. Еще менѣе можно найти эти основы въ общемъ согласіи всѣхъ людей, занимающихся *этими дѣлами* (опять, какимъ же?) въ согласіи, которое бы мы могли принять за практическое основаніе, какъ выраженіе здраваго смысла всѣхъ». Вникнувъ въ смыслъ этой тяжелой фразы, вы сразу видите всю ея глубокую недодуманность, всю ея громоздкую пустоту. Гр. Толстой сначала, неизвѣстно почему, утверждаетъ, что основанія образованія тогда только могутъ быть *несомнѣнны*, когда они оправдываются *несомнѣнными* философскими доводами; а потомъ, также неизвѣстно почему, и также «*несомнѣнно*» (у гр. Толстого что ни слово, то несомнѣнно, и чѣмъ невозможно, тѣмъ несомнѣннѣе) утверждаетъ, что философія не можетъ отыскать никакихъ основъ для образованія, тѣмъ болѣе, что даже это не относится къ ея области, такъ какъ образованіе «есть дѣло не отвлеченное, а практическое».

Спрашивается, если это не область философіи, то въ чему же было устанавливать такую грозную посылку, какъ требованіе «*несомнѣнно философскихъ доказательствъ*»? Но постоитъ, если это дѣло практическое, не поддающееся строгой философской подготовкѣ, то конечно его должна разрѣшить практика, и именно практика, имѣющая своимъ предметомъ образованіе. По гр. Толстому, однако, въ педагогической практикѣ «*эти основы можно найти еще менѣе*». Значитъ, въ результатѣ, «*основъ образованія найти нельзя*», что и требовалось доказать. Графъ Толстой серьезно воображаетъ, что его наборъ *противорѣчивыхъ словъ и мыслей, взаимно другъ друга исключających*, есть доказательство. Однимъ почеркомъ пера, не затрудняя себя ни знакомствомъ съ философіей, ни знакомствомъ съ педагогической практикой, онъ, какъ видите, рѣшилъ, что ни философія, ни педагогическая практика не даютъ оправданія европейскому образованію.

Мы не говоримъ уже о странномъ приѣмѣ устанавливать неизмѣнный критеріумъ образованія отобраніемъ голосовъ отъ педагоговъ, практикующихъ въ данную минуту; о предположеніи гр. Толстого, что «*здравый смыслъ всѣхъ*» есть нѣчто противорѣчащее философскому сужденію, продувъ какою-то слѣпой механической практикой. Послѣдуемъ далѣе за гр. Толстымъ.

Убѣдившись, что «*основъ для образованія*» не существуетъ, что классики учатъ одному, реалисты другому; церковники такъ, прогрессисты иначе, и восчувствовать необходимость единого, не-

измѣннаго критерія, независимаго отъ разнообразія убѣжденій, вкусовъ, историческихъ вліяній, и т. п., гр. Толстой приходитъ къ слѣдующему, столь же логическому, своѣ мудрому выводу:

«Въ народной школѣ право опредѣлять то, чему надо учиться, принадлежитъ народу, т.-е. или *самимъ ученикамъ*, или *родителямъ*, посылающимъ дѣтей въ школу, и потому *отвѣтъ на вопросъ: чему учить дѣтей въ народной школѣ, мы можемъ получить только отъ народа*». Нѣсколько строкъ далѣе онъ восклицаетъ: «нѣтъ другого критеріума, какъ *свобода учащагося, при чемъ на мѣсто учащихся дѣтей въ дѣлѣ народной школы становятся ихъ родители*».

Намъ особенно нравится эта послѣдняя невинная подстановка *родителей* вмѣсто учащихся, хотя мы никакъ не умѣемъ понять, какимъ образомъ для гр. Толстого кажется безразличнымъ, предоставится ли судьба народнаго образованія ребятишкамъ, посылаемымъ въ школы, или суровымъ хозяевамъ-крестьянамъ, ихъ туда посылающимъ? Мы смѣемъ думать, что въ томъ и въ другомъ случаѣ результатъ получится во всякомъ случаѣ нѣсколько различный. Поощренныя скептическою пытливостью гр. Толстого, мы смѣемъ спросить его: *почему же вмѣсто дѣтей становятся родители?* Видѣ ужъ если одинъ критерій—свобода, то и будемъ держаться этого одного критерія, какъ вы сами гораздо послѣдовательнѣе держались его въ 1862 г., въ журналѣ «Ясная Поляна», и въ вашей собственной школѣ. Какое сходство замѣтили вы между тѣмъ въ шею «родителя»: «въ школу ступай!» — и между правомъ ребенка предпочесть школѣ лѣсную чащу или струи рѣки, о чемъ вы такъ поэтически говорили на страницахъ «Ясной Поляны»? Достаточно ли откровенна подобная обмолвка, извращающая мимоходомъ всю основу вашей теоріи? Не вправѣ ли мы счесть ее за сознаніе вами жоренной ошибки вашихъ воззрѣній и за попытку тайкомъ улизнуть въ сторону, съ пути, продолженіе котораго оказывается невозможнымъ? Но помиримся пока съ этимъ и вернемся въ критерію, отысканному гр. Толстымъ.

Итакъ, критерій образованія найденъ! Онъ состоитъ въ томъ, что *никакого критерія нѣтъ и быть не можетъ*. Гр. Толстого испугало разнообразіе взглядовъ классиковъ и реалистовъ, вообще спеціальнаго міра педагоговъ, который свои взгляды все-таки основываетъ на началѣ, гораздо болѣе теоретическомъ, т.-е. болѣе общемъ, болѣе обязательномъ для челоѣчества. Чтобы спасти образованіе отъ такого разномыслія, онъ вручаетъ его народу,

именно простому народу, у насъ въ Россіи, именно тому мужику, той бабѣ и тому мальчишкѣ, у которыхъ въ цѣломъ селѣ часто нѣтъ возможности прочесть бумагу и написать письмо, потому что нѣтъ ни одного даже полуграматнаго. Казалось бы, какой хаосъ разнообразныхъ, ни на чемъ неоснованныхъ требованій должно было представить школѣ это море невѣжества, подавленное тяжкою борьбою за насущный хлѣбъ, неимѣющее никакого желанія и никакой возможности вникать даже мимоходомъ въ педагогическіе вопросы? Но гр. Толстой спѣшитъ тутъ успокоить насъ, и сообщаетъ намъ слѣдующее о требованіяхъ «народа». «Требованія эти не только опредѣленны, совершенно ясны, вездѣ во всей Россіи одинаковы, но они такъ разумны и такъ широки, что включаютъ въ себя всѣ самыя разнородныя требованія людей, спорящихъ о томъ, чему нужно учить народъ».

Мы чувствуемъ нѣкоторое раскаяніе въ своемъ неосновательномъ страхѣ, на сердцѣ нашемъ поднимается розовая надежда, что наконецъ найденъ ключъ роковой загадки, талисманъ нашего общественнаго спасенія; ждемъ въ смиреніи конца благовѣщанія гр. Толстого; уста его открываются, и спасительное слово намъ сказано... «Русская и славянская грамота и счет!»...

Вотъ та широта, тотъ разумъ, которые «включаютъ въ себя всѣ самыя разнородныя требованія». О, Цифиркинъ и Кутейкинъ, какъ мы несправедливы были къ вамъ! Вы были своего рода Кириллъ и Меѳодій нашей російской педагогикѣ, а мы легкомысленно осмѣяли прахъ вашъ. Одно насъ удивило въ открытіи гр. Толстого: врядъ ли стоило поднимать такъ много шума, такъ долго толковать о Руссо и Песталлоцци, о «прочтеніи всего, что писано», о путешествіяхъ по Европѣ, о тяжелыхъ трудахъ школьнаго учительства въ глухой деревнѣ, затруднять себя непривычнымъ обращеніемъ съ серьезными словами и съ серьезными мыслями, чтобы ввести къ намъ, послѣ такихъ громкихъ манифестацій, нашихъ старыхъ, безхитростныхъ пріятелей, — Цифиркина и Кутейкина, которые давно привыкли входить къ намъ за-просто, съ указкой въ рукѣ, съ перомъ за ухомъ, съ чернильницей на пуговицѣ, такъ давно, что уже послѣ этого архангельскій мальчишка-рыбакъ успѣлъ бѣжать отъ ихъ указки, бросивъ родину, отыскивая и въ Кіевѣ, и въ Москвѣ, и у безобразныхъ нѣмцевъ, какого-нибудь иного свѣта, кромѣ того, что могъ дать ему ихъ часословъ и ихъ «цыфиръ».

Но воздержимся отъ нашихъ сужденій и будемъ слѣдить далѣе за сужденіями гр. Толстого.

Чтобы программа, «выработанная русскими народами», стала

еще яснѣе, онъ прибавляетъ: «всякія естественныя исторіи, географіи и исторіи (кромѣ священной) народъ вездѣ и всегда считаетъ *безполезными пустяками*». Вы, быть можетъ, предполагаете, что «народъ» считаетъ пустяками географію на томъ же основаніи, какъ и г-жа Простакова, мать Митрофанушки, которая, какъ извѣстно, была убѣждена, что ямщики довезутъ до всякаго города, были бы только деньги. Но это не такъ.

Гр. Толстой поучаетъ насъ, что русскій мужикъ стоитъ за славянскую грамоту вовсе не для того, чтобы его сынишка могъ выручить полтину за *чтеніе псалтыря* по покойникѣ: нѣтъ, народъ вполнѣ понимаетъ педагогическое значеніе славянскаго языка, именно, какъ мертваго языка, какъ организма вполнѣ законченнаго,—и за русскую грамоту вовсе не потому, что поровить своего мальчишку въ писаря или въ конторщики произвести.

Удивительный народъ гр. Толстого, и счетъ понимаетъ не какъ механическое орудіе для нѣкоторыхъ отправленій своего хозяйства и своей торговли, въ родѣ того, какъ грабли онъ признаетъ полезными для сгребанія сѣна, а соху для пахоты. О, совершенно нѣтъ!

Народъ гр. Толстого «допускаетъ двѣ области знанія, самыя точныя и неподверженныя колебаніямъ отъ различныхъ взглядовъ,—*языки и математику*».

Народъ этотъ, видите-ли, «постигъ, что *одинъ мертвый, одинъ живой языкъ, съ нѣжъ этимологическими и синтаксическими формами и литературою, и математика*» — основы знанія, «открывающія ему пути къ самостоятельному приобрѣтенію всѣхъ другихъ знаній». Остальныя науки онъ «*оттаптываетъ какъ ложь*» и говоритъ: «мнѣ одно нужно знать—первоначальный и свой языкъ и *законы чиселъ*».

Именно, *законы*; это стремленіе къ «законамъ чиселъ» такъ естественно и поучительно во взглядахъ нашего русскаго мужика!

«А *тѣ* знанія, если они понадобятся мнѣ, я самъ возьму», добавляетъ толстовскій народъ, чтобы уже ничего не оставалось недосказаннымъ.

Удивительно, промигательный педагогъ этотъ русскій народъ; еще удивительнѣе, какъ онъ во всемъ буквально сходенъ съ мнѣніями гр. Л. Н. Толстого.

Теперь, можетъ быть, читателю сдѣлается понятно, что гр. Толстой далеко не таковъ слѣпой и наивный ребенокъ, какими мы готовы были считать его сейчасъ, видя его смѣшныя усилія въ области педагогической философіи. Гр. Толстой дѣлаетъ чре-

вычайно ловкій фокусъ, чтобы свое бессильное, теоретическое отрицаніе всей исторіи образованнаго человѣчества обратить въ весьма практическій шагъ, опирающійся на тысячелѣтнихъ предразудкахъ огромнаго большинства. Онъ понимаетъ, что бездоказательная декламація, основанная на личной антипатіи и личномъ незнакомствѣ съ дѣломъ, не способна убѣдить никого. И вотъ онъ выдумываетъ «педагогическіе взгляды народа», и свое хилое созданіе сидится выставить, какъ символъ вѣры могучаго здраваго смысла народныхъ массъ. Дѣйствительно, разберемъ ближе, что общаго имѣетъ эта педагогическая программа «народа» съ методомъ гр. Толстого?

Оглянитесь, куда вдругъ провалился этотъ смущавшій насъ принципъ чистаго отрицанія: «почемъ знать, и пр.?» , который служилъ гр. Толстому тараномъ для пробитія бреши въ стѣнахъ педагогіи. Таранъ теперь не нуженъ, онъ сослужилъ свою службу. Въмѣсто свѣтскаго отрицанія является вдругъ самая православная, самая догматическая вѣра въ «славяно-русскую грамоту и счетъ». Свобода учащихся—единственный критерій,—все оказывается ложною диверсією, фальшивымъ значкомъ, которымъ нужно было отвести глаза отъ центра нападенія.

Никакой свободы, а просто «славянская грамота и счетъ»! Въ этой «грамотѣ и счетѣ» весь методъ, все открытіе гр. Толстого, о прославленіи котораго онъ такъ много хлопоталъ. Въмѣсто «свободы учащихся» безцеремонно введена воля родителей; вмѣсто Денартовскихъ «почемъ знать, чему учить» — категорическая дычковская программа, болѣе узкая, чѣмъ статья казеннаго положенія о начальныхъ училищахъ, болѣе старая, чѣмъ педагогическіе взгляды Кутейкина.

Такъ разыгрался весь этотъ фарсъ напускнаго свѣтицизма и напускнаго философствованія, которыя давно хорошо знали, что имъ сказать.

«Народъ» и тутъ сыгралъ ту же роль, какую его обыкновенно заставляютъ играть въ мелодрамахъ. Онъ былъ выдвинутъ для декораціи на заднюю сцену и молча присутствовалъ при монологахъ актера, говорившаго за него передъ публикой.

Однѣ подивиться, съ какою безцеремонностью вдругъ измѣняются точки зрѣнія гр. Толстого, съ тѣхъ поръ, какъ онъ перестаетъ чувствовать необходимость окольныхъ подходовъ, обрѣта на лонѣ «народа» прочную почву для своего дѣящаго. Въ самомъ дѣлѣ, основная мысль всей литературной педагогической дѣятельности гр. Толстого въ 1862 г., принципъ, которому былъ посвященъ его журналъ, который онъ объявляетъ своимъ неиз-

мѣннымъ и теперь, въ 1874 г., — въ томъ, что долженъ быть найденъ одинъ общій и вѣчный критеріумъ для науки образованія, независимый отъ историческихъ и другихъ временныхъ условій.

«Мы пытаемся найти тотъ общій *умственный законъ*, которыми руководилась дѣятельность человека въ образованіи, и который поэтому могъ бы служить критеріумомъ правильности чело-вѣческой дѣятельности въ образованіи».

«Мы ищемъ *отъчужденное начало*», а намъ говорить, что *критеріумъ только въ томъ, чтобы учить согласно потребностямъ времени*» — говоритъ гр. Толстой въ послѣднемъ № своего журнала «Ясная Поляна», режюмируя, въ отвѣтъ на нашу статью, всю сущность своихъ педагогическихъ воззрѣній.

И вдругъ, вы съ изумленіемъ видите, что для поддержанія такого абсолютнаго, философскаго принципа гр. Толстой находитъ критерій образованія въ единодушій взглядъ на обученіе крестьянъ «*вездѣ, во всей Россіи*».

Во-первыхъ, предположеніе, будто бы простой народъ одинаково смотритъ на обученіе *вездѣ, во всей Россіи*, крайне противно, въ виду уже того одного обстоятельства, что нѣкоторыя области Россіи совершенно лишены школы, а въ нѣкоторыхъ промышленныхъ центрахъ ея, какъ Москва, Шуя и проч., очень трудно сыскать безграмотнаго мальчика.

Во-вторыхъ, дѣлать такую смѣшную постановку «крестьянами даже и всей Россіи» міровосго принципа по меньшей мѣрѣ неосторожно. Но гр. Толстой не ограничивается и этимъ. Онъ откровенно объявляетъ, что этотъ неизбѣжный критерій, объемлющій собою всё вѣка и всё страны, обязательный для цѣлаго челоуѣчества, надъ изобрѣтеніемъ котораго съ такими мучительными потугами хлопоталъ въ «Ясной Полянѣ» гр. Толстой, — долженъ считаться неизбѣжнымъ лишь до той поры, «пока *народъ* (т.-е. русскіе крестьяне!) не заявитъ *новыхъ требованій*». Въ этомъ собственно и состоитъ первый принципъ ясно-полянскіи педагогій: чему учить? Далѣе, на стр. 186 гр. Толстой прибавляетъ: «самые приемы обученія, *такъ какъ они не разъ на всегда закрѣплены*, а стремятся достиженію наивѣсчайшихъ, наипростѣйшихъ приѣмовъ; — *выдѣляются и улучшаются по указаніямъ, которыя учитель отыскиваетъ въ отношеніяхъ учащихъ къ его преподаванію*». Вотъ вамъ и второй ясно-полянскій принципъ какъ учить.

Кажется, ясно: вѣчный критерій педагогій въ томъ, чтобы нашъ мужикъ выбиралъ, каковыя предметы нужно учить челоуѣчество въ школѣ, и чтобы нашъ русскій школьный учитель

(гр. Толстой совѣтуетъ, какъ мы увидимъ, выбирать въ это званіе преимущественно дячковъ), нашъ русскій дячокъ, сочинялъ каждый день экспромты въ классѣ, *какъ нужно учить* этимъ предметамъ человечество. Преувеличенія въ этомъ выводѣ нѣтъ никакого, это только точный ариметическій итогъ всего сказаннаго гр. Толстымъ.

Спрашивается, какая же цѣль была у гр. Толстого съ такими воплями негодованія, съ такою бурною враждебностью накидываться въ каждомъ № своего журнала на скромныя признанія такъ-называемой исторической школы, которая замѣчала ему, что «учить нужно сообразно потребностямъ времени»? Развѣ онъ говоритъ теперь не буквально то же самое? Или то, что говорить онъ на одной страницѣ, для него уже не обязательно на другой? Вся разница между этою историческою (какъ было угодно назвать ее гр. Толстому), или, вѣрнѣе, не-фантастическою школою педагогич. и школою ясно-полянскою, заключается въ томъ, что европейская педагогич. довѣряетъ опредѣленіе потребностей даннаго времени избраннымъ умамъ и богачамъ, многообразному опыту своихъ педагоговъ мыслителей, а ясно-полянская педагогич. довѣряетъ это дѣло мужику; точно также какъ опредѣленіе лучшихъ путей обученія европейская педагогич. довѣряетъ общему согласію специалистовъ этого обученія, подвергаемому всесторонней публичной критикѣ образованныхъ странъ и народовъ, а ясно-полянская педагогич. приглашаетъ дячка учить такъ, какъ ему Господь на душу положить, такимъ способомъ, какой этотъ полуграмотный «авбучнаго дѣла мастеръ» *отыщетъ въ отношеніяхъ* совсѣмъ безграмотныхъ ребятишекъ къ своему безтолковому преподаванію. «Пусть плохо, да по-моему», невольно вспоминается русская пословица.

Но вотъ бѣда. «По-моему» ли еще это? Какое право имѣетъ гр. Толстой называть открытую имъ штуку «моимъ методомъ»? Его методъ очевидно состоитъ въ томъ, что «нѣтъ никакого метода», какъ его критерій заключается въ томъ, что «нѣтъ никакого критерія».

Скажите пожалуйста, развѣ можно, хотя бы и въ шутку, называть методомъ способы обученія, которые каждый учитель ежедневно «отыскиваетъ въ отношеніяхъ учащихся къ его преподаванію»?

Понятно, что при этомъ незатруднительномъ правилѣ всякій учитель весьма скоро выработаетъ уже не «мой методъ», а настоящий «свой». Нельзя же въ самомъ дѣлѣ обязать всѣхъ учителей въ Россіи «отыскать въ отношеніяхъ учащихся къ ихъ

преподаванію» то именно, чего бы желалось гр. Толстому, и что онъ предѣлываетъ въ своей азбукѣ. Вѣдь это только на бумагѣ, на страницахъ журнальной статьи, легко подсунуть свое ясно-полянское мнѣніе разомъ всему «русскому народу», потому что бумага все терпитъ, а народъ, не читающій этой бумаги, ни на что не отвѣчаетъ.

Поэтому насъ нисколько не удивляетъ заявленіе гр. Толстого, что «учителя, не знающіе никакого способа, и даже полуграмотные люди выучиваются моему способу въ день или два пребыванія въ школѣ...» Еще бы! Мы даже не понимаемъ, въ чему тутъ прибавлено «въ день или два», когда вполне достаточно просто войти въ школу, чтобы выучиться способу учить какъ вздумается. Еще менѣе понимаемъ мы, почему гр. Толстому кажется, будто при такомъ способѣ, при которомъ для школы годенъ даже полуграмотный, не знающій никакого способа учитель, — предметы преподаванія «требуютъ положительнаго знанія»? Очевидно, это роскошь, невызываемая никакою необходимостью.

Бѣда еще и съ другой стороны. «Мой» ли это «методъ» по отношенію ко мнѣ самому, автору «Ясной Поляны»? Развернемъ 29 стр. № 1-го этого журнала, гдѣ изложено въ руководящей статьѣ все profession de foi гр. Толстого. Мы читаемъ тамъ:

«Основаніемъ нашей дѣятельности служитъ убѣжденіе, что мы не только не знаемъ, но и не можемъ знать того, въ чемъ должно состоять образованіе народа»... «Не признаемъ возможности человѣку знать то, что можно знать челоѣку».

«Мы не только не признаемъ за нашимъ поколѣніемъ знанія и не только не признаемъ права знанія того, что нужно для совершенствованія челоѣка, но убѣждены, что еслибы знаніе это было у челоѣчества, то оно не могло бы передать, или не передать его молодому поколѣнію»...

Въ этихъ, не столь осмысленныхъ, столь неуклюжихъ фразахъ, перевести которыя на русскій языкъ было бы гораздо полезнѣе, чѣмъ довольно понятныя задачи Евтушевскаго, и которыя обязаны своимъ происхожденіемъ очевидному заблужденію гр. Толстого, будто бы философствованіе состоитъ въ измысливаніи разныхъ невозможныхъ оборотовъ, прикрывающихъ отсутствіе содержанія, — не сдѣлано никакой оговорки ни въ пользу мужика, ни въ пользу дичка. И мужикъ, и дичокъ, очевидно, разумѣются тутъ гр. Толстымъ и подъ словомъ «мы», и надъ сло-

вомъ «человѣкъ», и подъ словомъ «наше поколѣніе», и подъ словомъ «человѣчество».

Право знанія отнято у всѣхъ огуломъ. Откуда же появляется оно у мужика, у дьячка? За что къ нимъ однимъ такая несправедливость? Зачѣмъ обезсиловать и лишать характернаго букета эти смѣлыя отрицанія, достойныя Давида Юма, напоминающія отчаянную иронию знаменитаго римскаго скептика Секста эмпирика: «если есть достаточная причина отвергать причину, какъ причину, то и причина отвергать причину несостоятельна»?

Методъ гр. Толстого является не «моимъ», не «ясно-полянскимъ», во всѣхъ отношеніяхъ. Дьячокъ съ своимъ «отыскиваньемъ» противорѣчить не только философскому скептицизму «Ясной Поляны», но и положенію послѣдней статьи гр. Толстого, объявившаго на стр. 184: «только свобода выбора со стороны учащихся, чему и какъ учить, можетъ быть основой всякаго обученія». Но, какъ при осуществленіи перваго принципа вмѣсто «свободы дѣтей» была безцеремонно подсунута «воля родителей» — такъ и здѣсь при осуществленіи втораго ясно-полянскаго принципа «учащій» незамѣтнымъ, но рѣшительнымъ образомъ замѣнилъ собой «учащихся» съ ихъ «свободою». Къ этому гр. Толстой подготовилъ насъ на 183 стр., гдѣ онъ счелъ нужнымъ объяснить сущность той свободы, которую «Ясная Поляна» проповѣдывала, какъ право, кулачекъ въ классѣ посреди урока: «граница свободы сама собой опредѣляется учителемъ, его знаніемъ, его способностью руководить школою; мѣра этой свободы есть только результатъ большаго или меньшаго знанія и таланта учителя». О, графъ Л. Н. Толстой, редакторъ и авторъ «Ясной Поляны»! За что вы морочили насъ такъ долго и считали нашими оппонентами, враждебнымъ педагогическимъ лагеремъ?

Развѣ не та же ясно-полянская «свобода», опредѣляющаяся способностью учителя руководить школою, вдохновляла нашихъ почтенныхъ старыхъ наставниковъ, лупившихъ насъ пальцами по ладонямъ, и назначавшихъ цензоровъ съ записочками на каждую парту?

«Гора хоть не гора, но право будетъ съ домъ», грустно вспоминается намъ при видѣ такого старательнаго затиранія гр. Толстымъ всякой смѣлой оригинальности его старыхъ педагогическихъ убѣжденій.

Новыми признаніями своими въ «Отечественныхъ Запискахъ» гр. Толстой несомнѣнно хоронитъ своими собственными руками увлеченія своей горячей юности, т. е. всю свою настоящую

ясно-полянскую педагогію. Отъ этого юношескаго свѣжаго порыва его неопытныхъ тогда силъ не останется ничего болѣе.

Вмѣсто симпатичныхъ шалуновъ Семюкъ и Федюкъ, воспитанныхъ «Ясно-Поляной», являются суровыя лица ихъ «родителей»; вмѣсто студентовъ московскаго университета и іенскихъ натуралистовъ, учительствовавшихъ въ школахъ гр. Толстого въ достопамятномъ 1862 году, призываются дьячокъ и проходная богомолка; вмѣсто «свободы», «*граница свободы*»; вмѣсто музыки, рисованія, Магометовъ, Лютеровъ, странствованія Парлея, — «грамота и счетъ». Замѣчательное совпаденіе съ общимъ ходомъ событій, съ перемѣщеніемъ центра тяжести общественнаго расположенія отъ студента къ дьячку!

Только такимъ ловкимъ поворотомъ налѣво кругомъ и объясняется, почему ясно-полянскій радикализмъ и скептицизмъ неожиданно оказался въ 1874 г. нашимъ стариннымъ знакомцемъ — булваремъ Кутейкина. Не даромъ гр. Толстой, на стр. 176, заявляетъ, что хотя онъ возстаетъ и противъ старой, и противъ новой педагогіи, однако «еслибы выбирать изъ двухъ, я бы выбралъ все-таки церковную».

Какъ и не выбрать? Ясно-полянская педагогія оказалась пустою шумихою словъ, отрицающихъ, противорѣчащихъ, ничего не дающихъ; когда пѣна ея фразъ осѣла, на ея мѣстѣ явилась чуть мокренъкая пустота, поневолѣ надобно было выбирать изъ двухъ. Для насъ несомнѣнно, что гр. Толстой не только *выбралъ бы*, но на самомъ дѣлѣ и очень сознательно *выбралъ* дьячковщину. Вся его статья, особенно самая существенная и самая практическая часть ея, которой мы еще не касались, именно его планъ школьной администраціи доказываетъ это какъ нельзя убѣдительнѣе. Только гр. Толстой, кромѣ склонности къ дьячковщинѣ, имѣетъ еще очень большое авторское самолюбіе, большую потребность оригинальности. Ему хочется, чтобы дьячковщина эта была какъ-бы не дьячковщиной, но крайней мѣрѣ, не простая старинная дьячковщина, а дьячковщина, такъ сказать, мотивированная, «*дьячковщина яснополянскаго согласія*».

Познакомимъ теперь читателя съ замѣчательнымъ планомъ гр. Толстого объ устройствѣ у насъ, на новыхъ началахъ, школьнаго дѣла, «для того, чтобы оно перестало быть игрушкой».

Читателю, конечно, извѣстно хотя въ общихъ чертахъ настоящее положеніе у насъ школьнаго дѣла на ступени народной школы. Земства, уѣздныя и губернскія, частью съ помощью сельскаго общества, частью безъ этой помощи, ассигнуютъ извѣ-

стныя суммы на наемъ учителей, на учебныя пособия, на правильное подготовленіе учителей, посредствомъ учительскихъ семинарій и педагогическихъ курсовъ, а въ рѣдкихъ случаяхъ даютъ и пособия на устройство самыхъ помѣщеній школы. Какъ ни разсчетлива большая часть нашихъ земствъ въ дѣлѣ народнаго образованія, однако совсѣмъ тѣмъ почти не найдется уѣзда, который бы не отпускалъ на школы по нѣскольку тысячъ въ годъ. Такъ, напримѣръ, щигровскій уѣздъ, въ которомъ я живу, и который по своему степному характеру и по отсутствію въ немъ всякой фабричной промышленности, можетъ считаться скорѣе типомъ уѣздовъ, наименѣе чувствующихъ потребность образованія для простаго народа, чѣмъ типомъ противоположнаго характера, расходовалъ въ 1874 г. на народное образованіе до 8.000, а на 1875 годъ внесъ въ смѣту болѣе 12.000 <sup>1)</sup>, не считая того, что на тотъ же земскій счетъ содержится въ Курскѣ учительская школа, стоющая около 20.000 руб. въ годъ, поддерживаются разныя другія учебныя заведенія, и вообще расходуется въ годъ болѣе 25.000 руб. Земство, кромѣ того, приглашаетъ въ каждую школу попечителя изъ числа людей, наиболѣе сочувствующихъ образованію и готовыхъ помочь ему матеріально и нравственно. Училищный совѣтъ, черезъ своихъ земскихъ и учебныхъ чиновъ, руководитъ администраціею училищъ, снабжаетъ школы хорошими учебниками, заявляетъ земству о нуждахъ школъ. Въ послѣднее время прибавились къ училищному совѣту еще казенные инспекторы.

Какіе бы ни были недостатки такого устройства, но оно достигаетъ по крайней мѣрѣ слѣдующихъ выгодъ:

1) Главный расходъ по народному образованію лежитъ на земствѣ, а не на отдѣльныхъ крестьянскихъ семействахъ или селеніяхъ.

2) Надзоръ и заботы о школахъ принадлежатъ людямъ, способнымъ и заинтересоваться, и понять школьное дѣло, и въ то же время находящимся подъ контролемъ избранныхъ силъ мѣстнаго общества.

Гр. Толстой крайне недоволенъ такимъ порядкомъ дѣлъ. Такъ какъ ему вообще свойственно всякій вопросъ прежде всего ставить въ связь съ своею личною дѣятельностью, то онъ предается воспоминаніямъ о томъ, какъ было хорошо устроено школьное дѣло въ кривиченскомъ уѣздѣ, тульской губ., въ 1862 году, когда онъ, гр. Толстой, былъ тамъ мировымъ посредникомъ и открывалъ школы. Въ уѣздѣ, гдѣ было 10.000 жителей, было

<sup>1)</sup> Земство херсон. губ. въ 1873 г. назначило на народное образованіе 213,000 р.

тогда открыто 14 новыхъ школъ и существовало 10 старыхъ, въ другихъ трехъ участкахъ крапивненскаго уѣзда было не менѣе 45 школъ, «сколько извѣстно» гр. Толстому, «у причетниковъ и дворниковъ».

«Начиная съ 1862 г. въ народѣ у насъ все болѣе и болѣе стала укрѣпляться мысль о томъ, что нужна грамота; съ разныхъ сторонъ, у церковныхъ служителей, у наемныхъ учителей при обществахъ учреждались школы».

«Со введеніемъ положенія 1864 г. настроеніе это еще усилилось, и въ 1870 г. въ крапивненскомъ уѣздѣ по отчетамъ было до 60 школъ». Точность этого историческаго очерка нѣсколько заподозривается тѣмъ обстоятельствомъ, что, несмотря на такое необыкновенное рвеніе открывать «съ разныхъ сторонъ» школы, по отчетамъ 1870 года оказывается школъ менѣе, чѣмъ въ 1862 году; именно, въ 1862 г., по словамъ гр. Толстого, было 24 школы въ его участкѣ и 45 въ трехъ другихъ, т.-е. 69; стало быть въ 8 лѣтъ число школъ не только не прибавилось, а даже убавилось на 9 школъ!

Съ другой стороны, во 2-мъ № журнала «Ясной Поляны», 1862 г., въ статьѣ, принадлежащей самому гр. Толстому, говорится, что въ его мировомъ участкѣ было 7029 душъ, а не 10,000 и что въ немъ «не было ни одной школы», кромѣ «яснополянскій», ежели не считать кой-гдѣ устроившихся солдатъ и причетниковъ, учившихъ по 2, по 3 и не болѣе шести мальчиковъ».

Очевидно, самъ гр. Толстой не считалъ тогда этихъ солдатскихъ школъ въ числѣ школъ, если онъ выразился, что въ его участкѣ «не было ни одной школы». Мудрено ли, что и значившія по отчету 1870-го года 60 школъ свелись въпослѣдствіи на нынѣ существующія 20 школъ, признанныя училищнымъ совѣтомъ, «съ тѣхъ поръ, какъ въ завѣдываніи школьнаго дѣла стали *алименты* болѣе и болѣе чиновники министерства и члены земства», а уже не одинъ мировой посредникъ, гр. Толстой.

Каковы были прежнія школы «у дворниковъ и причетниковъ, у солдатъ, кой-гдѣ устроившихся» — объ этомъ гр. Толстой не считаетъ нужнымъ сообщать намъ точныхъ свѣдѣній, но за то увѣряетъ, что число учениковъ «было, я полагаю, въ общемъ не менѣе того, которое числится теперь», а ученіе въ нихъ «было частью плохо, частью хорошо, но въ общемъ не хуже теперешняго».

Дѣло однако не въ числѣ школъ, а въ томъ, что тогдашнюю организацію школьнаго дѣла, когда онъ, гр. Толстой, былъ ми-

*ровымъ посредникомъ*, гр. Толстой считаетъ и теперь самую лучшую и единственно возможною. Людямъ такъ свойственъ этотъ культъ золотого прошлаго!.. «Въ старину жилали дѣды веселѣй своихъ внучатъ! Какъ простую пили воду, медъ и сладкое вино; веселились, потѣшались, пировали цѣлый годъ!» Кто изъ насъ не знаетъ этой няниной сказки?

Кто не знакомъ съ этимъ типомъ «отставныхъ вотовъ на покой», которые желчно критикуютъ настоящее, вздыхая по незабвенному и невозвратному прошлому, когда все на свѣтѣ было «добро зѣло», потому что дѣятелями были они сами, а не другіе... Посмотримъ же, чтó оригинальнаго заключалъ въ себѣ этотъ золотой вѣкъ крапивинскаго народнаго образованія, въ которому вызываетъ гр. Толстой?

А вотъ въ чемъ: помѣщеніе для школы никогда не строилось ни на чей счетъ, кромѣ мужиковъ.

«Большую частью общество избирало *дворового* солдата (намъ нравится этотъ интересный и незнакомый титулъ: *дворовый пѣсъ*, *дворовый солдатъ*), церковнослужителя, и тогда школа была *въ домѣ этихъ лицъ*; а то *изъ избы въ избу учитель ходитъ*».

«Крестьяне полагаютъ, что школа не въ строеніи, а въ учителѣ»,—ядовито прибавляетъ гр. Толстой.

Неудивительно, что при такомъ способѣ помѣщаться гр. Толстой «никогда не замѣчалъ затрудненія въ помѣщеніи школы».

Родители платили учителю сами помѣсячно, по уговору, или общество все огульно. Это «самое справедливое, натуральное и желательное отношеніе»—спѣшить прибавитъ гр. Толстой.

Почему желательное? подумаете вы; но если въ вашемъ ужѣ зашевелится подозрѣніе, не потому ли желательно, что молъ не мы, а «самъ онъ», то смѣло выкиньте это изъ головы. Вся причина—въ принципѣ, въ той же «свободѣ», которая составляетъ «единственный критерій» всего на свѣтѣ у гр. Толстого; «почему знать, какъ и гдѣ устроить школы? Вотъ мужикъ, тотъ знаетъ, чему и какъ учить, тотъ долженъ знать, какъ и гдѣ школы устроить, тотъ значитъ и платить долженъ».

Въ настоящемъ случаѣ, я, какъ земскій плательщикъ, не могу не одобрить этого опаснаго принципа свободы. Въ самомъ дѣлѣ, если дана мужику «свобода выбирать чему и какъ учить», почему же не взвалить на него свободы «самоу платить», съ прибавленіемъ еще свободы платить «помѣсячно каждому родителю» или «всему обществу огульно».

«Народъ знаетъ, что на свои дѣлешки онъ можетъ нанимать кого угодно», съ либеральнымъ подмигиваньемъ утѣшаетъ му-

жничка гр. Толстой; теперешнее же *нежелательное* отношеніе къ найму учителей очень печалитъ гр. Толстого. Теперь, «въ нѣкоторыхъ земствахъ (хорошо еще, что не во всѣхъ) даже сборъ крестьянъ на школы *обращенъ* *изъ* земскій сборъ!» — скорбите оны.

Тутъ не лишнее объяснить читателю, что «сборъ крестьянъ» можетъ быть «*обращенъ* *изъ* земскій сборъ» только единственнымъ способомъ, именно *замѣною* исключительно крестьянскаго сбора общими *земскими*, т.-е. привлеченіемъ къ нему и другихъ со-словій.

Выгоды этого «*делательнаго*» способа, по мнѣнію гр. Толстого, неисчислимы:

1) Дешевизна (вы видите, что интересъ народа на первомъ планѣ). Мужикъ «*нанимаетъ* *прохожаго* на зиму за 2 руб. въ мѣсяцъ учить ребятъ», иногда даже «за два пуда муки» въ мѣсяцъ; этотъ послѣдній гонораръ особенно полюбился гр. Толстому, и онъ не разъ возвращается къ нему съ одобреніемъ.

2) Ученіе не весь годъ идетъ, а только одну зиму.

3) «Народъ самыми разнообразными путями *приобрѣтаетъ* себѣ на всякія средства учителя, устроиваетъ школы худшія и дешевыя на малые средства, *хорошія и дорогія на большія средства*, и при этомъ преимущественно обращаетъ вниманіе на то, чтобы всѣ мѣстности пользовались на свои деньги *ученьемъ*».

Такимъ образомъ достигается не только разнообразіе, но и повсемѣстность ученія.

4) «Народъ *прискиваетъ* учителя въ своей средѣ», т.-е. богомоловъ, прокопичъ, солдатовъ, дворянчиковъ; — это тоже либерально и дешево.

5) «Дурныя или хорошія эти школы, но они самородныя».

6) Но, «*главное то, что* учителя платятъ и прибавляютъ или *родителямъ, или все общество!*» еще разъ резюмируетъ свою оцѣнку гр. Толстой.

Итакъ, суть дѣла — удешевить ученіе и возвратить его въ руки народа. Удешевить чѣмъ? а именно, возвратомъ его въ руки народа. Нельзя не согласиться, что это средство дѣйствительно удешевляетъ, только для кого? для народа ли? Гр. Толстой увѣренъ, что и для народа. Какъ же это одною сотворить? Очень просто.

Прогнать всѣхъ учителей и учительницъ, получившихъ образованіе въ учительскихъ семинаріяхъ и педагогическихъ курсахъ, «этотъ любимый типъ училищныхъ совѣтовъ», «чуждый народу и чуждый народа», и привлечь въ учителя нынѣ обойденный

«нелюбимый типъ» «самыхъ дешевыхъ учителей» — «церковно-служителей».

«Въ крапивинскомъ уѣздѣ 50 приходѣвъ, — восклицаетъ троекратно гр. Толстой, — «и во всемъ тульскомъ уѣздѣ и крапивинскомъ нѣтъ ни одной школы съ учителемъ изъ духовныхъ лицъ, что въ административномъ отношеніи *очень замѣчательно*» — загадочно прибавляетъ гр. Толстой «они-то, какъ нарочно (и, разумѣется, нарочно!), всѣ обойдены, какъ будто они самыя вредныя люди?»

О, конечно, нѣтъ; гр. Толстой знаетъ, кто самыя вредныя въ административномъ отношеніи. Съ призваніемъ «самыхъ дешевыхъ учителей» планъ гр. Толстого получаетъ полноту и округленность. Когда только земство перестанетъ давать деньги на школы и готовить учителей, новыя школы такъ и посыплются! Въ одномъ крапивинскомъ уѣздѣ, пророчествуетъ гр. Толстой, «не въ долгомъ времени ихъ явится количество, не далекое отъ 400», а на слѣдующихъ страницахъ это количество уже является именно 400. Эти 400 школъ, по предсказаніямъ гр. Толстого, будутъ слѣдующія:

1) Дорогихъ школъ, т.-е. по 200 р., полагается всего 10.

2) 50 школъ по 5 р. въ мѣсяцъ (въ учебный годъ 35 р.) Это тоже еще дорогія; у гр. Толстого есть школы порасхожѣе, разборѣе ниже, настоящія дешевыя школы. Тѣхъ дешевыхъ — 340 школъ (вѣдь только хорошенькаго понемножку!), каждая по 15 р. въ годъ!

«Но и эти дешевыя школы еще не настоящія дешевыя!» — хвастается гр. Толстой въ увлеченіи своего открытія: «онѣ положены еще гораздо дороже, чѣмъ нанимаютъ крестьяне въ дѣйствительности»; такъ что и 15 р. еще ровная иллюзія!..

Итого дѣйствительно выходитъ 400 школъ, сомнѣваться нельзя. Если на всѣ эти школы собрать въ годъ 9.000, то отъ этой суммы еще остается 750 р. остатка; употребить невуда! Вотъ какой фокусникъ гр. Л. Н. Толстой! Это своего рода «пять хлѣбъ пять тысяцъ насытивый».

«Очевидно, что только при этомъ расчетѣ школьное дѣло становится на степень *серьезной и возможной дѣла и имѣетъ ясную и опредѣленную будущность!*» — заключаетъ нашъ забавный философъ, гр. Л. Н. Толстой, не моргая ни однимъ глазомъ. О, что касается до опредѣленнаго будущаго, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія!

Мы только позволимъ себѣ прибавить къ шуткамъ гр. Толстого свою собственную шутку. Читая его «новое устройство

школъ», которое, по увѣренію гр. Толстого, «выведетъ насъ изъ того тупого переулка, въ который зашло земство, *благодаря дорогимъ школамъ*», мы невольно вспоминаемъ слышанный нами въ дѣтствѣ рецептъ дешеваго мороженаго: «возьми кусочекъ сахара въ ротъ, сядь голымъ тѣломъ на ледъ: будетъ холодно и сладко». Въ самомъ дѣлѣ, школы гр. Толстого будутъ настолько похожи на настоящія школы, насколько это дешевое мороженое похоже на обыкновенное мороженое нашихъ кондитерскихъ. Что же, однако, привлекаетъ гр. Толстой дѣлать земству и училищнымъ совѣтамъ, которыхъ законъ обязываетъ заниматься дѣломъ народнаго образованія? О, графъ Толстой имъ оставилъ мѣсто. Законъ обязываетъ земство заботиться о хозяйственной сторонѣ образованія, то-есть, именно давать средства на школы. Гр. Толстой иного взгляда на предметъ: онъ великодушно уступаетъ земству учебную часть.

«Земство должно слѣдить за педагогическою стороною дѣла», объявляетъ онъ, забывая на этотъ разъ всѣ ясно-полянскіе принципы невмѣшательства и свободы, не видя въ этомъ опасности даже и для правъ народа, такъ какъ платить все-таки будетъ онъ.

Чтобы исполнить обязанность, возложенную на него графомъ Толстымъ, земство должно «за 1000 рублей» (непремѣнно за 1000 р.) нанять «*главнаго учителя*». Этотъ «главный учитель» учить въ образцовой школѣ, но въ то же время объѣзжаетъ 400 училищъ уѣзда, а въ воскресенье собираетъ къ себѣ для бесѣдъ старшихъ учителей и раздаетъ имъ для чтенія книги изъ своей бібліотеки.

«Бібліотека главнаго учителя, — объясняетъ гр. Толстой, — должна состоять изъ нѣсколькихъ экземпляровъ бібліи, славянской и русской грамматики, ариметики и алгебры».

Это очень хорошо съ точки зрѣнія дешевизны, руководящей гр. Толстымъ; однако мы полагаемъ, что даже и съ этой точки зрѣнія было бы выгоднѣе раздать эту «*библіотеку главнаго учителя*», состоящую изъ грамматики и ариметики, — разъ навсегда не только старшимъ, но и младшимъ учителямъ, и притомъ именно въ самомъ началѣ ихъ поприща, дабы они не были обязаны развѣзжать по уѣзду ни за табличкой умноженія, ни за склоненіемъ именъ существительныхъ, а просто напросто имѣли бы ихъ у себя въ школѣ и у себя въ головѣ.

Съ своей стороны, старшіе учителя не только собираютъ къ себѣ по воскресеньямъ младшихъ учителей, но и еще объѣзжаютъ ихъ школы въ учебные дни. Признаюсь, намъ кажется очень веселою эта учебная система графа Толстого. Потоня главнаго

учителя за старшими, которые въ это же время гонятся за младшими, — напоминает намъ возлюбленную для нашего дѣтства игру въ жмурки.

И хотя у насъ шевелится въ головѣ вопросы: а свобода народа? а почему знать? а какое мы имѣемъ право дѣлать на главныхъ, старшихъ, младшихъ, составлять обязательную библиотеку, слѣдить за ученіемъ? Вѣдь человѣкъ не можетъ знать, чему нужно учить человѣка?—но мы сейчасъ же съ отрадою вспоминаемъ, что все-таки мужикъ «самъ платитъ за свое ученіе», что «это главное», — и рядъ безпокойныхъ вопросовъ замираетъ самъ собою...

Г. Цѣтковъ, — совершенно не то, что гр. Толстой. Читатель долженъ былъ это предчувствовать заранее. Гр. Толстой является его союзникомъ, но союзникомъ совершенно невольнымъ и, вѣроятно, безсознательнымъ. Оба они достигаютъ одного результата, служатъ одну и ту же службу. Но пути ихъ, мы допускаемъ, даже и цѣли ихъ — совершенно иные. Графъ Толстой велъ походъ противъ нѣмецкой педагогикѣ и тогда, когда подобные походы не могли пріобрѣсть особой популярности; онъ старый и коренной ненавистникъ ея, и громить ее во всѣхъ обстоятельствахъ, и благоприятныхъ, и неблагоприятныхъ для себя. Поэтому было бы несправедливо заподозрить въ его педагогическихъ увлеченіяхъ какой-нибудь нечистый и неискренній мотивъ. Кроме того, гр. Толстой всегда выражалъ явное недовольство и церковною педагогіею теперь, въ 1874 году, какъ и тогда, въ 1862 году. Если онъ, въ концѣ-концовъ, присталъ въ сповойную пристань дьячковщины, то, такъ сказать, безъ вѣдома для самого себя, по роковому закону необходимости. Грѣхъ гр. Толстого — стремленіе во что бы ни стало, основать свою особую ясно-полянскую педагогію; онъ не хочетъ ни нѣмецкой, ни церковной; онъ хочетъ только свою, и притомъ хочетъ, чтобы эту «свою» педагогію его всѣ почитали за народную. Поэтому гр. Толстой и осужденъ на вѣчное лавированіе между Сциллою и Харибдою; съ одной стороны, онъ долженъ все отрицать; съ другой стороны, онъ долженъ приблизиться къ идеаламъ народа, а идеалы народа, какъ извѣстно, бузваръ Бутейкина, на томъ простомъ основаніи, что народъ не знаетъ другого бузвара.

Сбитый съ позиціи слишкомъ очевидными доводами защитниковъ нѣмецкой педагогикѣ, и еще болѣе убѣдительными доводами церковной практики, — но въ то же время ни за что не соглашався разстаться съ потребностью своей собственной педагогикѣ, —

гр. Толстой въ сумятицѣ борьбы потерялъ возможность обзрѣть свои дѣйствія широкимъ, общимъ взглядомъ распорядителя боя и, шагъ за шагомъ, былъ оттиснутъ въ тотъ «тупой переулокъ», гдѣ онъ очутился лицомъ къ лицу съ Кутейкинымъ, и гдѣ было ясно написано: «доселѣ дойдеши, и не преидеши». Очень можетъ быть, что въ 1862 году самъ гр. Толстой ужаснулся бы, увидя себя въ такомъ сосѣдствѣ и у такого конца. Но теперь онъ вынужденъ защищаться въ немъ, вынужденъ насиловать свою старую ясно-полянскую теорію абсолютной свободы, защищая ее скептическими принципами категорическія предписанія дьячковской школы.

Оттого въ своей педагогической исповѣди 1874 года гр. Толстой,—этотъ дерзкій революціонеръ педагогіи въ 1862 году,—является только робкимъ и жалкимъ софистомъ, опровергающимъ себя на всякомъ шагу. Совсѣмъ не то г. Цвѣтковъ. Это уже не жертва своего творческаго увлеченія, не безсознательный служитель идей, противъ которыхъ онъ считаетъ себя ратующимъ. Это уже официальный жрецъ дьячковской педагогіи, открыто и вполне сознательно поднявшій ее знамя. Онъ не путается, не опровергаетъ себя, не смѣшиваетъ врага съ другомъ, не достигаетъ цѣлей, которыхъ не желаетъ достигнуть. Онъ весь проникнутъ одною очевидною цѣлью, которая сочится сквозь каждое слово, каждую фразу его «педагогическаго» анализа новой школы. Г. Цвѣтковъ весь тутъ у насъ на ладони, поэтому намъ можно объясниться съ нимъ гораздо удобнѣе, чѣмъ распутывать хаосъ всяческихъ противорѣчій гр. Толстого. Уже самъ эпиграфъ въ статьѣ г. Цвѣткова, на англійскомъ языкѣ, съ почтенной откровенностью рисуетъ намъ міровоззрѣніе г. Цвѣткова: «And without it my days I will pass for to me it was ne'er worth a dollar»,—говорить про ученіе этотъ педагогъ «Русскаго Вѣстника», этотъ проповѣдникъ «идеальнаго міра, гдѣ все красота»; «я проведу свои дни и безъ ученія, потому что не далъ бы за него и одного доллара!»,—ободряетъ онъ словами англійскаго стихотворца классическое юношество, воспитывающееся подъ эгидою почтеннаго московскаго журнала. Подъ сѣткою такого удобопонятнаго знамени, г. Цвѣтковъ приступаетъ къ анатомированію книги барона Корфа: «Нашъ Другъ», и какъ эту книгу, такъ и всю новую педагогію, кою она служить представителемъ—по мнѣнію г. Цвѣткова,—сразу обвиняетъ «въ наукѣ». Никакого другого обвиненія и не слѣдовало ожидать отъ человѣка, для котораго ученіе «never was worth a dollar». Выше мы привели нѣкоторые характерныя выдержки этого обвиненія. «Наука»

г. Цвѣтковъ, разумѣется, понимаетъ исключительно, какъ естественныя и вообще точныя науки, такъ сказать «матеріальныя», придерживаясь французскаго термина: *les sciences*, въ отличие отъ идеальныхъ и гуманныхъ знаній, — *les humanités*. — Свѣдѣнія изъ физиологіи, космографіи, химіи, геологіи и пр. въ примѣненіи къ народной школѣ, «вотъ ученіе развивающее», по мнѣнію «духа времени», «по новымъ идеямъ», «катехизисъ и грамматика» — вотъ «ученіе притупляющее», иронически сообщаетъ г. Цвѣтковъ въ первомъ пунктѣ своего обвиненія.

Вы сейчасъ видите, какимъ духомъ будетъ пахнуть «педагогическій анализъ» г. Цвѣткова. Онъ не скажетъ слова сироста, какъ гр. Толстой. Замѣйте, онъ не назвалъ ни ботаники, невиннаго описанія невинныхъ растений, ни зоологіи, столь близкой къ благочестивому сельскому хозяйству, ни минералогіи, съ ея ничего неговорящими кусочками камней; не назвалъ даже физики, лишенной особенно острыхъ педагогическихъ свойствъ; — хотя бы, вѣстается, самая слабая доля справедливости требовала признать, что ужъ если въ школахъ, извращенныхъ «новыми идеями», преподаются какія-либо матеріалистическія свѣдѣнія, то скорѣе всего изъ этихъ именно «наукъ». Нѣтъ, г. К. Цвѣтковъ видитъ дальше нашего; онъ чувствуетъ, что эти описательныя науки еще не довольно опасны и не довольно подозрительны. Физиологія, не дающая въ организмѣ мѣста безсмертному духу, отвергающая «сѣдалище души»; космографія, съ ея гипотезою Лапласа; химія, разлагающая матерію, не вѣдая психику; геологія, осмѣивающая и всемірный потопъ Ноя, и семь дней творенья, и хронологію семидесяти толковниковъ, — вотъ настоящій матеріалъ, годный для дальнѣйшихъ педагогическихъ операцій г. Цвѣткова изъ «Русскаго Вѣстника»; вотъ что составляетъ, по его предположеніямъ, приличную умственную пищу атеистической и матеріалистической науки, отвергающей катехизисъ, отказывающей бѣдному народу «въ его жаждѣ читать божественное»; вотъ почва той школы, противъ учености которой такъ справедливо возстали священники, публично называвшіе ученыхъ дураками, и въ защиту которыхъ противъ журналовъ, въ свою очередь, возсталъ г. К. Цвѣтковъ, называя «ученіе несостоящимъ долларъ».

Г. Цвѣтковъ, какъ и всѣ, хорошо знаетъ, что въ «народной школѣ» не можетъ быть, и нигдѣ нѣтъ, ни физиологіи, ни геологіи; что надзоръ училищныхъ совѣтовъ, съ ихъ членами отъ министерства народнаго просвѣщенія, внутреннихъ дѣлъ и духовнаго вѣдомства, надзоръ благотворныхъ и мѣстныхъ священниковъ, архіереевъ, губернаторовъ, предводителей дворянства, ди-

ректоровъ, инспекторовъ, — достаточно можетъ обезопасить отъ вторженія матеріалистическихъ ученій школу, которой вся программа заключается въ «законъ Божіемъ, грамотъ и счетъ». Но г. Цвѣткову необходимо, во что бы то ни стало, запугать публику, мало знающую, давъ съ «Положеніемъ о начальныхъ училищахъ», такъ и съ положеніемъ начальныхъ училищъ, призраками «новыхъ идей», «духа времени», «университетской науки въ примѣненіи въ народной школѣ»; если данныхъ для этого нѣтъ, онъ считаетъ обязанностью своей совѣсти создавать эти пугающіе данные; и вотъ, онъ въ одну минуту отрывавшій въ подразахъ нашего глухого и слѣпного деревенскаго быта — «школоу, возведенныи до уровня университетовъ», цѣлые университетскіе факультеты съ физиологіями, космографіями, химіями, геологіями, «*научными экскурсіи*», ботаническія, зоологическія, палеонтологическія, на безподежность которыхъ жалуются крестьяне» (жалъ, что не бываетъ экскурсій химическихъ и физиологическихъ; а то бы г. Цвѣтковъ не помирился на таковой бездѣлицѣ), и наконецъ «грубый матеріализмъ нагляднаго обученія» (стр. 444). Все вмѣстѣ достаточно, чтобы встревожить мирныхъ обитателей, недоодрѣвляющихъ такого страшнаго распространенія среди нихъ «науки» и «новаго духа времени». Отъ г. Цвѣткова достается не однимъ новымъ педагогамъ, но и обществу, имъ сочувствующему. Онъ зло надѣвается надъ увлеченіями этого общества (по ходу дѣла можно заключить, что жервою г. Цвѣткова на сей разъ общество отдаленнаго города Мариуполя) педагогическими курсами; онъ выставляетъ на поворотъ міра какое-то несчастное земское собраніе, которое осмѣлилось высказать мысль, что «ученики земской школы *готовятся не къ духовному званію*». Неужели вамъ бы не шута хотѣлось, г. Цвѣтковъ, чтобы всѣ крестьянскія дѣти готовились въ духовному званію?

Подъ неумолимымъ «педагогическимъ» анализомъ г. Цвѣткова, новая педагогія оказывается виновною еще и въ другихъ преступленіяхъ передъ обществомъ. Она стремится «*развивать*». Надъ словомъ «развивать» критикъ «Русскаго Вѣстника» гогочетъ и взорадствуется по нѣскольку разъ на каждой страницѣ; слово это онъ ни разу не пишетъ иначе, какъ *подчернутымъ*.

Кто-то изъ педагоговъ высказалъ когда-то въ гор. Костромѣ такую преступную мысль: нужно позаботиться, чтобы учителя «не были чужды идей, общихъ всему человечеству». Педагогъ «Русскаго Вѣстника» подслушалъ и запомнилъ это, и вписалъ на свою обвинительную скрижалъ, точно также подчеркнувъ злоумышленныя слова. Такъ, г. Цвѣтковъ, но вѣдь согласитесь од-

наго, что всѣ идеи христіанства, и всѣ идеи человѣческой морали, идея о святости обязанности, о нравственномъ достоинствѣ полезнаго, хотя скромнаго дѣла,—все это въ одно и то же время и «идеи общія всему человѣчеству», и идеи, съ которыми, по меньшей мѣрѣ, не лишнее познакомить народныхъ учителей.

«Вы должны видѣть въ крестьянскомъ мальчикѣ *человѣка* и не имѣете права лишать его тѣхъ свѣдѣній, которыя необходимы въ жизни каждаго человѣка», осмѣлился замѣтить баронъ Корфъ въ своей книгѣ. Критикъ «Русскаго Вѣстника», стоящій на стражѣ правовѣрной педагогіи, тотчасъ подчеркиваетъ слово *человѣка* и выписываетъ съ издѣваніемъ эту цитату, объявляя при этомъ, что нужно искать въ крестьянскомъ мальчикѣ не *человѣка*, «а *душу живу*».

«Все это смѣшно, неразумно, нелѣпо», (зачѣмъ уже тогда неразумно, о, жрецъ грамматики?) резюмируетъ свою мысль г. Цвѣтковъ, и увѣряетъ, что все это творится «*во имя развитія*». Г. Цвѣткову, болѣе всего обидно, что это «развитіе», это «воспитаніе человѣка» новая педагогія будто бы совершаетъ посредствомъ осужденнаго реализма. Баронъ Корфъ въ своей книгѣ приписываетъ «столь большое образовательное значеніе естественнымъ наукамъ», настаиваетъ онъ, «дабы *приучить дѣтей сознательно относиться къ окружающему!*» Эти слова также отмѣчены курсивомъ. Скажите, какая преступная злоумышленность этого несчастнаго барона Корфа! Куда метить онъ? Понятно послѣ того, отчего съ такимъ нескрываемымъ негодованіемъ относится ничѣмъ не-знаменитый г. К. Н. Цвѣтковъ къ девятому номеру «Русскаго Вѣстника». «Къ нашему знаменитому педагогу», какъ онъ иронически называетъ барона Корфа на каждой страницѣ своего писанія. Популярность бар. Корфа возмущаетъ г. Цвѣткова до глубины души; особенно то, что «даже лица учебныхъ вѣдомствъ» смѣютъ «цитировать его въ своихъ отчетахъ», а «ученные комитеты министерствъ рекомендуютъ его книгу»; но еще особеннѣе то, что «книги барона Корфа раскупаются десятками тысячъ экземпляровъ въ самые короткіе сроки». Эта послѣдняя мысль такъ неотступно осаждаетъ г. К. Цвѣткова, что онъ возвращается къ ней нѣсколько разъ и, наконецъ, не выдержавъ, хотя въ при-мѣчаніи, сообщаетъ намъ на страницѣ 420, что «первое изданіе книги барона Корфа «Нашъ Другъ» разошлось *менѣе чѣмъ въ годъ* въ количествѣ 40.000 экземпляровъ». Право, по этому безпокойно завистливому вычисленію можно заподозрить, ужъ не падалъ ли самъ г. К. Цвѣтковъ какую-нибудь книжку для школы, которая не только не расходуется въ самые короткіе сроки въ

десяткахъ тысячъ экземпляровъ, но даже и не цитируется лицами учебныкъ вѣдомствъ и не возбуждаетъ рекомендацій ученыхъ комитетовъ, а почиетъ себѣ сномъ праведныхъ гдѣ-нибудь на чердакѣ г. Цвѣткова, на Плющихѣ или въ Сиромытникахъ. Къ числу преступленій новой педагогіи вообще, барона Корфа, — сего ересиарха оной, въ частности, — относятся г. Цвѣтовымъ и заботы о томъ, «*чтобы въ школахъ было тепло, светло, просторно*», о томъ, чтобы въ нихъ были введены учебныя пособия и приемы, *придуманныя новѣйшей педагогіей*; конечно, *придуманные*, только приемы господъ Цвѣтовыхъ, какъ извѣстно, ниспосылаются свыше. Какимъ именно эти приемы, «*придуманные новѣйшей педагогіей*», г. Цвѣтовъ объясняетъ очень обязательно. Баронъ Корфъ, считая необходимымъ сообщать дѣтямъ нѣкоторыя краткія свѣдѣнія объ окружающемъ ихъ мірѣ, совѣтуетъ учителю почерпнуть эти свѣдѣнія, которыя онъ озаглавливаетъ, по примѣру нѣмцевъ, общимъ именемъ «*міровѣдѣнія*», — изъ «*чтенія различныхъ книгъ, одобренныхъ министерствомъ народнаго просвѣщенія*»; притомъ баронъ Корфъ естественно обращаетъ вниманіе учителя на то, чтобы «*дѣти поняли и не забыли того, что прочтутъ въ классѣ*». Совѣтъ, кажется, довольно простой и довольно простительный. Но такъ думаете вы, — простодушный читатель, — не такъ думаетъ г. Цвѣтовъ! Онъ сразу постигъ всю глубину бароновскаго коварства. Его не проведете, — этого ретиваго сторожа «*идеальнаго міра*, гдѣ все красота!» Онъ торжественно подчеркиваетъ, по своему обычаю, преступныя слова изъ фразы барона Корфа: «*поняли, не забыли*», и сообщаетъ намъ слѣдующее: «*нужно привыкнуть разумѣть масонскія тайны петербургской журналистики, чтобы понять все значеніе этого предмета*!» (страница 420). О, ужасъ! какъ «*масонская тайна*»? Въ самомъ дѣлѣ, стоитъ только вникнуть въ смыслъ: «*не только читать, но и понимать, да еще не забыть!*» Никакого сомнѣнія, что екатеринославскій баронъ Корфъ — *фармазонъ* и агентъ петербургской журналистики. Московская журналистика, какъ извѣстно, не имѣетъ тайнъ ни масонскихъ, ни полицейскихъ; она чиста и невинна, какъ голубица. Но петербургская!.. Мы, съ своей стороны, нисколько не сомнѣваемся, что московскій критикъ и педагогъ привыкъ разумѣть «*разныя тайны*», и что тайну барона Корфа — какъ обходить учителямъ стѣснительныя казенныя программы, — онъ разъяснить во всей подробности передъ кѣмъ слѣдуетъ. Намъ приходится даже въ голову, что г. Цвѣтовъ есть въ нѣкоторомъ смыслѣ «*existence manquée*» и маленький анахронизмъ; что, при всемъ его сочувствіи къ Москвѣ, ему было бы гораздо сподруч-

нѣе жить въ городѣ Казани, нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ, когда тамъ дѣйствовалъ такой человѣкъ, который могъ бы оцѣнить его способности и его *«привычки разумѣть масонскія тайны»*. А нисходя мыслию въ темныя вѣка прошедшаго, мы даже находимъ, что г. Цвѣтковъ представлялъ бы прекрасный матеріалъ и для болѣе крупнаго историческаго дѣятеля среднихъ вѣковъ, въ родѣ знаменитаго автора *«malleus maleficarum»*.

Фармазонство барона Корфа теперь начинаетъ обличаться съ полнымъ блескомъ; каждая мысль, каждое слово его—оказывается заговоромъ противъ человѣческаго благополучія. Практическія свѣдѣнія, передаваемые книгою *«Нашъ Другъ»*—это не практическія свѣдѣнія, а систематическій курсъ матеріализма и нигилизма. Вы думаете, что онъ спроста толкуетъ дѣтямъ о пользѣ ежа, крота, совы, противъ которыхъ въ народѣ существуетъ предубѣжденіе, какъ противъ вредныхъ тварей, и убѣждаетъ ихъ во вредѣ аиста, бабочки, пользующихся народнымъ сочувствіемъ? Вы думаете, онъ имѣетъ цѣлью только уничтожить житейскіе и хозяйственные предрассудки въ крестьянскомъ населеніи, и что эти истины—азбука для всякаго образованнаго человѣка? О близорукіе! О маловѣры! Послушайте г. Цвѣткова (страница 422):

*«Безъ сомнѣнія, проштудировавъ о любви ради пользы и выгоды, и о барышняхъ и чистомъ доходѣ (въ противоположность московской педагогіи, которой любовь, какъ хорошо извѣстно «Русскому Вѣстнику», исключительно платоническая и которая гнушается поэтому всякаго барыша), ученики будутъ наведены (подчеркнуто въ подлинникѣ; однимъ камнемъ убивается и индукція, грѣховный методъ грѣховной науки, и масонская уловка новой педагогіи наводитъ на грѣхъ окольнымъ путемъ), чтобы и безъ помощи учителя (да, безъ помощи! знаемъ теперь) предложить себѣ вопросы въ родѣ слѣдующихъ: какую пользу приносить дряхлый старикъ, слабый ребенокъ, калѣка, больной? За что слѣдуетъ любить ихъ? Какой чистый барышъ могутъ принести мнѣ яблоки, что растутъ за заборомъ сосѣда?»* Теперь глаза ваши раскрылись. *«Нашъ Другъ»* барона Корфа, вся новая педагогія,—это проповѣдь воровства и бездушной жестокости; это разрушеніе основъ, на которыхъ *«виждается общество»*. Мысль эту г. Цвѣтковъ поддерживаетъ разными другими выписками изъ книги барона Корфа. Онъ уличаетъ его, что баронъ Корфъ позволяетъ себѣ объяснять крестьянину, незнающему своихъ правъ, что онъ можетъ поступить въ университетъ и гимназію, что онъ можетъ сдѣлаться по закону земскимъ гласнымъ, членомъ управы, старшиною, присяжнымъ заседателемъ и тому подобное. Это

очевидно «возстановленіе сословія на сословіе», подготовь въ революціи. Такъ (г. Цвѣтковъ настигаетъ барона Корфа) на слѣдующей фразѣ его: «безъ мозга въ головѣ шука не могла бы сообразить» (слово это г. Цвѣтковъ не забываетъ, конечно, подчеркнуть; оно и понятно: душа животныхъ, Вундтъ, Дарвинъ, К. Фогтъ...) того, какъ ей ловче схватить свою добычу». Вамъ и тутъ кажется, что въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія, никакой опасности? Но г. Цвѣтковъ, лучше насъ съ вами «привышій разумѣть масонскія тайны», находитъ въ этой «нелѣпости» самый кошунскій «матеріализмъ». «Почему же плоть, у второй тоже есть мозгъ въ головѣ, не можетъ сообразить, какъ ей поймать шуку, а мышь кошку?» побѣдоносно вопрошаетъ онъ барона Корфа. Этотъ вопросъ своей гомерической наивностью избавляетъ г. Цвѣткова отъ всякой вѣроятности. Только плѣнная мысль, только дѣтское слабосиліе духа, убитого мертвой атмосферой бурсы въ самыхъ первобытныхъ живыхъ основахъ своихъ, можетъ до такой степени не понимать самыхъ простыхъ началъ реальной жизни. Немудрено, что духовнымъ кастратамъ подобнаго рода мерещатся опасности даже отъ такихъ «научныхъ терминовъ», какъ «вості, мозгъ, почва, прозрачность». Съ каждымъ шагомъ г. Цвѣтковъ дѣлается все рѣшительнѣе и натеичнѣе въ своихъ преслѣдованіяхъ барона Корфа и новой педагогіи. Идемъ за нимъ. Въ поискахъ своихъ за «масонскими тайнами» по книжкѣ барона Корфа, онъ отыскиваетъ такую фразу: «тѣмъ злѣе то животное, которое истребляетъ враговъ нашихъ, тѣмъ оно болѣе дѣлаетъ намъ пользы». Баронъ Корфъ говоритъ это, объясняя дѣтямъ естественныя отношенія между истребителями нашего хозяйства — мышами, сусликами, и оберегателями его, мелкими хищниками, какъ ласка, хорёкъ и проч. Чтѣ можно возразить противъ такого справедливаго и невиннаго хозяйственнаго объясненія — мы рѣшительно недоумѣваемъ. А вотъ чтѣ, объявляетъ намъ г. Цвѣтковъ: «новая школа создаетъ для дѣтей вмѣсто *Божьяго міра* — «міръ, гдѣ нѣтъ ни порядка, ни единства, ни гармоніи, а царитъ дикій хаосъ и непримиримая вражда (то-есть, мышь и ласка, сусликъ и хорёкъ). «Гдѣ нѣтъ улыбающихся родственныхъ лицъ (которые, какъ знаетъ читатель, всѣ ушли въ дычковскую школу педагогіи), гдѣ нѣтъ ни *дома*, ни *чести*, а есть — прибавляетъ съ презрительной ироніей возмущенный педагогъ «Р. В.» — добываніе куска хлѣба!». «Словомъ, гдѣ *грубая матерія* — все, а на томъ мѣстѣ, какое долженъ занимать *идеальный міръ*, возстаютъ изъ областей тѣней, изъ-подъ праха и теней незапамятной старины, мрачныя привражи. Ариана, Ваала и Молеха»...

Не мудрено, что такое гибельное учение приносит такіе при-  
скорбные плоды. Г. Цвѣтковъ невольно вспоминаетъ по этому  
поводу отзывы о пресловутыхъ школахъ александровскаго уѣзда,  
устроенныхъ барономъ Корфомъ, *«благочиннаго протоіерея По-  
кровскаго, почерпнутые г. Цвѣтковымъ изъ «Екатеринославскихъ  
Епархіальныхъ вѣдомостей»*. «Школы Корфа хороши, спора нѣтъ»,  
увѣраетъ этотъ благочинный; но мало пригодны къ жизни на-  
*шего друга* (то-есть, друга отца Покровскаго), простого народа;  
«мы слышали,—невинно продолжаетъ отецъ Покровскій, избрав-  
шій для своихъ доказательствъ удобную форму «мы слышали»,  
подъ которой безопасно можно распространять всякія личныя вы-  
думки, подъ фирмою общественнаго мнѣнія,—мы слышали, что  
крестьянскіе мальчики, обучающіеся въ корфовскихъ школахъ,  
смотреть съ высоты своего грамотнаго величія на своихъ неграмот-  
ныхъ братьевъ и сестеръ» и т. п.

Тутъ ужъ, видите, маска скинута вовсе; уличается ужъ не  
баронъ Корфъ, не нован педагогія, а *грамотность вообще*. Это  
уже она надмеваетъ, а не тотъ или другой пріемъ.

Мы встречаемся лицомъ въ лицу съ старымъ, но незабвен-  
нымъ оружіемъ, направленнымъ вообще противъ всякихъ *«мудро-  
ваний лже-именнаго разума»*. Отецъ Покровскій съ большимъ  
соболезнованіемъ и даже нѣкоторою живописностью выставляетъ  
затѣмъ *семейную драму, глубокий семейный расколъ*, поселяемые  
школою въ семейную жизнь крестьянина. Сынъ встаетъ на  
отца, отецъ на сына. Всѣ дѣлаются недовольны на все. Азбука  
барона Корфа и его стремленіи учить кохленковъ, вмѣсто *«буки-  
азъ-ба»*, *«бъ-а-ба»* обратили вдругъ Остаповъ и Даниловъ але-  
ксандровскаго уѣзда въ Гамлетовъ и Манфредовъ. Посрамляя  
авторитетъ барона Корфа епархіальными вѣдомостями, г. Цвѣт-  
ковъ, конечно, не счелъ за нужное собрать другія свидѣтельства  
о школахъ барона Корфа: какое значеніе можетъ имѣть рядомъ  
съ отцомъ Покровскимъ какой-нибудь директоръ учительской  
семинаріи, Семеновъ, посѣщавшій школы эти во время ученья,  
или инспекторъ народныхъ училищъ Блюдовъ, присутствовавшій  
на испытаніяхъ въ нихъ, или кто-нибудь изъ нашихъ педагоговъ  
спеціалистовъ? Источники свѣдѣній г. Цвѣткова и безъ нихъ  
многочисленны. Всѣ страницы его статьи испещрены ссылками на  
различныя епархіальныя и губернскія вѣдомости, справочные  
листы, «Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія», «Все-  
мірную Иллюстрацію», «Гражданина» и тому подобные безпри-  
страстные авторитеты. Нѣтъ, не такая должна быть школа, го-  
ворить далѣе г. Цвѣтковъ. Школа господина Цвѣткова должна

давать «міръ идеальный, гдѣ царитъ вѣчная правда, красота, гармонія, гдѣ все проникнуто любовью и всепрощеніемъ, гдѣ не о хлѣбѣ единомъ живетъ человекъ, гдѣ идея личной пользы и выгоды перевѣшивается идеями самоотреченія, великодушія, милосердія, служенія ближнимъ, гдѣ вырабатывается сознаніе долга, самоотверженія» (кромѣ «самоотреченія») и т. д. Признаюсь, но нашему это хорошая школа, и мы бы очень желали помѣстить въ нее нашихъ дѣтей. Но гдѣ она? вотъ вопросъ, который не разрѣшилъ намъ г. Цвѣтковъ. Сначала мысль наша естественно искала ее въ золотомъ прошломъ, но, къ сожалѣнію, не могла признать такую школу ни въ духовныхъ семинаріяхъ, ни въ кантонистскихъ училищахъ; однако, подумавъ немного, мы сообразили, что такая школа должна быть непременно въ Москвѣ и имѣть что-нибудь общее если не прямо съ г. Цвѣтковымъ, то по крайней мѣрѣ съ «Русскимъ Вѣстникомъ», во храмѣ котораго онъ производитъ свое служеніе.—Катковскій лицей—рѣшили мы, вотъ единственная школа «идеальнаго міра», гдѣ не о хлѣбѣ единомъ будетъ живъ человекъ, и гдѣ «идея личной пользы и выгоды перевѣшивается идеями самоотреченія». Но, къ сожалѣнію, въ эту идеальную школу мы не можемъ отдать своихъ дѣтей потому, что, несмотря на «перевѣсъ идей самоотреченія надъ выгодою», тамъ требуютъ съ насъ за воспитаніе въ «любви и всепрощеніи» такую плату, которая достанетъ намъ на десять не-идеальныхъ школъ, лишенныхъ преимуществъ «великодушія», «милосердія, служенія ближнимъ» и т. п. нравственныхъ благъ.

А потому заманчивая картина г. Цвѣткова не прикисла намъ ничего, кромѣ понятнаго чувства раздраженія. Для большей плодотворности эффекта, но, конечно, не съ «грубо-утилитарной» точки зрѣнія, которой чужды господа Цвѣтковы, статья «Русскаго Вѣстника» объ «идеальномъ мірѣ» кончается скромнымъ уваженіемъ на то, что въ «новыхъ школахъ» законъ божій преподается «для безиру». Напрасно баронъ Корфъ въ своей книгѣ «Нашъ Другъ» описываетъ и праздники Покрова, и Новый годъ, и Рождество Христово, и Крещеніе, и Обрѣзаніе, и Вербное воскресенье, и Великій четвергъ, и Страстную Пятницу, и Свѣтлое Воскресеніе; напрасно прибавляетъ въ своей книжкѣ молитвы, тропари, псалмы; онъ ничѣмъ не можетъ умиловитъ инквизиторской подозрительности стража «идеальнаго міра». Г. Цвѣтковъ поднимаетъ относительно закона божія пѣлый судебный процессъ противъ несчастнаго барона Корфа. Онъ хорошо знаетъ, этотъ господинъ Цвѣтковъ, проповѣдующій «велико-

душіе, милосердіе, правду и красоту», что на этомъ пунктѣ онъ проиграть не можетъ, что онъ всегда можетъ нанести на немъ чувствительный ударъ даже и такому сопернику, который наименѣе можетъ опасаться ударовъ. Въ послѣднее время не одинъ г. Цвѣтковъ умѣетъ обращать въ «слово и дѣло» щекотливые «педагогическіе» вопросы въ родѣ «религіозно-нравственнаго направленія». Тамъ, гдѣ баронъ Корфъ говоритъ въ почтительныхъ выраженіяхъ о преподаваніи закона божія, тамъ г. Цвѣтковъ сейчасъ обнаруживаетъ неискренность, коварныя «масонскія тайны»; онъ даже усваиваетъ себѣ вѣщныя приемы и терминологию юридическаго процесса: перечисляетъ всѣ статьи по закону божію въ книгѣ бар. Корфа, число урочевъ закона божія по программамъ барона Корфа, не забываетъ упомянуть, что «тропари и псалмы помѣщены у него *вмѣстѣ съ таблицами мръз и отвсѣзъ*», перепечатываетъ изъ бар. Корфа всѣ отдѣльныя выраженія, имѣющія хотя отдаленное отношеніе къ священнымъ предметамъ, съ необходимымъ подчеркиваніемъ подозрительныхъ мѣстъ, словомъ, строить цѣлый грозный *corpus delicti*, на основаніи котораго долженъ быть произнесенъ надъ бар. Корфомъ ожидаемый приговоръ. Бесѣды барона о законѣ божіемъ признаются «бездушными», имя божіе упоминается въ книгѣ барона слишкомъ рѣдко и то всуе, какъ, напр., «слава Богу, что тебѣ постройки страхуютъ», «слава Богу, что гадюка не прокуситъ сапога» и т. п.

Московскій педагогъ требуетъ и для этихъ случаевъ большаго одушевленія. Книги блаженной старины, не говоря уже о нравоучительныхъ, а даже свѣтскіе романы, были пронинуты гораздо болѣе теплымъ христіанскимъ чувствомъ, чѣмъ описанія гадюки бар. Корфа. Тамъ даже на картинкахъ фронтисписа вы постоянно могли читать поучительныя и трогательныя подписи, въ родѣ:

«Праведный Боже! Клара, Клара!...»

Приступая къ допросу бар. К., московскій педагогъ объявляетъ, что относительно матеріала по закону божію «*авторъ даетъ разнорѣчивыя показанія*» (440 стр.), какъ и слѣдовало ожидать отъ учаемаго преступника; именно, онъ даетъ три различныя показанія въ разныхъ мѣстахъ и при различныхъ обстоятельствахъ, что крайне важно.

«Первое утвѣреніе автора не имѣетъ ни малѣйшаго основанія», продолжаетъ г. Цвѣтковъ свою прокурорскую роль, и затѣмъ, по обычаю прокуроровъ, приступаетъ уже къ обвинительной рѣчи. Хотя г. Цвѣтковъ и очень пахнетъ священнымъ запахомъ бороды, однако притворяется незнающимъ, что въ на-

родныхъ школахъ преподаваніе закона божія, какъ и вездѣ, происходитъ отдѣльно отъ другихъ предметовъ, что оно имѣетъ особыхъ законоучителей, особыя книги, катехизисы, св. исторіи, объясненія богослуженія, молитвенники, евангеліе съ переводомъ и безъ перевода, что народному учителю даже *запрещено* преподавать законъ божій, и надворъ за этимъ преподаваніемъ принадлежитъ цѣлой лѣствицѣ духовныхъ лицъ разныхъ инстанцій, отъ мѣстнаго священника до епархіальнаго архіерея.

Г. Цвѣткову кажется выгоднымъ игнорировать все это, и вотъ онъ анализируетъ, какъ *книгу, преподающую законъ божій*—скромную книгу для первоначальнаго чтенія; при этомъ ловкомъ фокусѣ уже не трудно обвинить бар. Корфа и «*въ крайнемъ сокращеніи преподаванія религіи*», и въ «*искаженіи Евангелія*», и въ томъ, что въ книгѣ бар. Корфа, имѣющей цѣлю познакомить крестьянскихъ мальчиковъ съ главнѣйшими явленіями окружающаго ихъ міра,—не вполне обрисовался «образъ Богочеловѣка».

Таковъ нравственный пошибъ этихъ защитниковъ евангелія и «идеальнаго міра, гдѣ все правда».

Рѣчь г. Цвѣткова, напоминающая своимъ дѣланнымъ пафосомъ и риторическою напыщенностью своихъ пустыхъ фразъ проповѣди «по дежурству», произносимая въ кафедральныхъ соборахъ нашихъ губернскихъ городовъ, послѣ обычныхъ «не возбраняйте дѣтямъ» и т. п., заканчивается, по правиламъ семинарскаго риторства, восклицаніемъ о первыхъ христіанахъ, «что гибли тысячами по мановенію тирановъ, *надменныхъ новыми идеями своего времени*»... Имѣющіе уши слышать, да слышать и да уразумѣютъ смыслъ этой невинной аналогіи: яко древле гибли тысящи отъ тирановъ плоти плотскою смертію, тако днесъ гибнуть тѣ же тысящи отъ тирановъ духа—смертію духовною...

Истоощивъ всѣ силы своего краснорѣчія и изрыгнувъ въ новую педагогію весь словесный ядъ, коимъ онъ обладаетъ, г. Цвѣтковъ вдругъ стихаетъ и даетъ мѣсто великому учителю, «у него же не достоинъ развязать ремень сапога».

Выступаетъ почившій теперь маститый вождь дьячковской педагогіи, г. Юркевичъ, и своей ослабѣвшей дланью вбиваетъ послѣдній гвоздь въ распятую педагогію.

Г. Юркевичъ не трогаетъ бар. Корфа, онъ обращается черезъ «Журналъ М. Н. П.» къ «Родному Слову» Ушинскаго. Онъ изнываетъ въ маниловской свороби, вида, какъ въ азбучкѣ Ушинскаго ребенка учать, что «овечья шерсть идетъ на чулки и сукно, сало на мыло и свѣчи, кожа на сапоги и башмаки, мясо

на жаркое», и что вообще бѣдная овечка «*потребна для удовле- творенія мистическихъ матеріальныхъ нуждъ челоѣка!*»

И это вмѣсто того, чтобы показать невинному ребенку всю «*кротость и беззащитность*» милой овечки и то «*моральное отношеніе, въ которомъ челоѣкъ даритъ добромъ бѣдное твореніе*». Мнѣ невольно вспомнилось при этомъ золотое время невозвратимаго дѣтства, когда моя бабушка, воспитанная въ нѣжныхъ чувствахъ г. Юркевича въ бѣдной овечкѣ и невиннымъ мотылькамъ, получивъ *черезъ становаго* долго невысылавшійся оброкъ съ своего ярославскаго имѣнія, искренно растроганная, записывала на моихъ глазахъ въ свою записную книжку: «получила отъ моихъ добрыхъ мужичковъ тридцать тысячъ. Богъ да благословитъ ихъ!» И кто осмѣлится сказать, чтобы это «отношеніе было не моральное»? Это самое «моральное отношеніе» выставилъ и Крыловъ въ той своей баснѣ, гдѣ лисица объясняетъ лъву, почему караси вспрыгались на горячей сковородѣ:

«Отъ радости, тебя увидя, плынуть!»

Конечно, и послѣдователи юркевичевской педагогіи, и почитатели «Русскаго Вѣстника», разводять по 5.000 и 10.000 овецъ въ степныхъ имѣніяхъ не для иной цѣли, какъ «вступать съ ними въ моральныя отношенія» и «*дарить добромъ бѣдныхъ тварей*»; иначе гдѣ же бы имъ воспитывать своихъ наслѣдниковъ въ лицѣ г. Каткова!.. Фразы кончились, звуки смолкли, бар. Корфъ поруганъ, новая педагогія съ своимъ матеріализмомъ и атеизмомъ распята; провозглашена школа «идеальнаго міра, гдѣ все правда и красота». Но въ чемъ же однакъ суть, гг. Цвѣтковъ и Юркевичъ! Откройте же наконецъ, не томите душу. Все равно, вы—владыки поля!..

А вотъ въ чемъ суть, объявляютъ намъ наши побѣдители:

«Учителемъ школы должно быть лицо *авторитетное* и въ то же время, по своему положенію, близкое къ крестьянской средѣ», «и за трезвость направленія коего (почему же не просто за *трезвость?*) можно бы было ручаться». Догадались? Распознали откуда исходить и куда гнѣтъ этотъ голосъ? И, конечно, открывается, что «къ счастью, такія лица есть у насъ, и ихъ много—это *наше духовенство!*..»

А, опять старые знакомые! Опять та же исторія, что съ педагогіей гр. Толстого; и идеальная школа съ идеями самоотреченія, и радикальная школа съ единственнымъ критеріемъ—«свободою»—все сошлись страннымъ образомъ на нашемъ старинномъ пріятелѣ Кутейкинѣ; обѣ мистическія фантазмагоріи, такъ было

напугавшія насъ, разыгрались такъ просто—скромною, вполне земною фігурою деревенскаго дьячка...

И лучше! по крайней мѣрѣ, понятно и ясно.

Поднявъ такъ любезно свое таинственное забрало, г. Цѣтковъ, въ видѣ «отпуста», «выражаетъ надежду», что «*опять образуемые училищные совѣты сумѣютъ оградить народную школу отъ вторженія въ нее новыхъ идей*».

О, что до умѣнья, то кто же въ этомъ сомнѣвается? Чего другого, а «*оградить*» у насъ всегда сумѣютъ, даже и безъ вѣшаго невиннаго «*à propos*», г. К. Н. Цѣтковъ?..

О, фарисей, о, лицемеръ! довольно мы слушали васъ. Красны ваши словеса, но горекъ плодъ ихъ. Кого вы морочите? одумайтесь! куда ведете вы, въ какому жребію зовете вы русскій народъ? Или мы не знаемъ обѣтованной страны, которою вы маните неопытныхъ? Но вѣдь мы еще такъ недавно вышли изъ нея; мы еще всѣ въ прахъ ея разложенія; отъ насъ еще несетъ запахомъ ея старой гнили. Будемъ, по крайней мѣрѣ, честны, если не можемъ быть разумны. Вспомнимъ прошлое безъ пристрастія, но и безъ утайки. 1000 лѣтъ училъ дьячокъ Россію, и вотъ, черезъ 1000 лѣтъ мы встрѣчаемъ въ ней тѣ же милліоны безграмотнаго люда; 1000 лѣтъ проповѣдывали ей «идеальный міръ, гдѣ все правда и красота», и все-таки, послѣ цѣлой тысячи лѣтъ, до недавняго 1861 года, милліоны этихъ нуждающихся въ правдѣ оставались жертвами безправія. Проповѣдники «идеальнаго міра» устраивали этотъ идеальный міръ съ его красотой и гармоніею только въ своихъ салонахъ, да въ своихъ карманахъ. На устахъ ихъ былъ и тогда медъ, но пили его они одни. Пророки «великодушія, милосердія, служенія ближнимъ» эксплуатировали этихъ ближнихъ, лишая ихъ вида и смысла человѣческаго, требовали съ нихъ работы животнаго, продавали, какъ животное, обращались, какъ съ животнымъ. Ваши «идеи самоотреченія, побуждающія идею личной выгоды», сводились въ сущности на грабителя-чиновника, на выжимателя-барина, на попа, который отказывался хоронить, если ему не давали полтинника. Ваши элегии о «бѣдной овечкѣ» воспѣвались въ то самое время, когда становой запарывалъ мужиковъ на съѣзжей, а учитель забивалъ дѣтей въ школѣ. Васъ теперь возмущаетъ выдуманнй вами «семейный расколъ», будто бы произведенный образованіемъ въ быту крестьянина; но отчего же васъ не возмущало до сихъ поръ ни снохачество, ни повальнй развратъ, ни гніеніе цѣлыхъ областей въ сифилисѣ, ни безысходное пьянство цѣлаго народа, ни его скотское невѣжество,—источникъ

всѣхъ преступленій,—ни подавленіе самодурствомъ одного всѣхъ правъ, всѣхъ интересовъ семьи? Вы оскорбляетесь, что школа начинаетъ обходиться безъ духовенства. Но развѣ школа виновата, что духовенство вѣками опыта доказало свое безсиліе, свое неумѣніе и нежеланіе руководить просвѣщеніемъ, когда *«школы духовнаго вѣдомства»* обратились въ пустое имя, въ подложную статистическую цифру; а религиозно-нравственное воспитаніе народа не было выведено духовенствомъ въ теченіи цѣлаго ряда столѣтій изъ области грубаго фетишизма, хотя все это время духовенство господствовало надъ умственными силами народа безъ всякой конкуренціи, безъ всякихъ историческихъ препятствій. Вы видите, кто виноватъ.

Конечно, пока вы витаете въ безопасной сферѣ общихъ фразъ, въ родѣ *«идеальнаго міра»*, *«историческихъ потребностей народа»*, *«религиозно-нравственныхъ началъ»*, и т. п., то ваша дожь не исполнѣ очевидна. Но сведите ваши выпренности разглагольствованія на точный языкъ фактовъ, и вы сами устыдитесь себя. Подумаешь, книги Ушинскаго, Корфа, Евтушевскаго разрушили какой-то величественный храмъ знанія, гибель котораго должны оплакивать поколѣнія, какъ евреи на рѣкахъ Вавилонскихъ оплакивали гибель Іерусалима, *«на ивахъ повѣсивъ органы»*. А храмъ этотъ—былъ не что иное, какъ грязь и тѣснота хлѣва, воздухъ, удушающій дѣтей, свирѣпость пьянаго неуча, ломающагося надъ дѣтьми, десятки лѣтъ, едва доводившіе до чтенія по верхамъ, до писарскаго безсмысленнаго писанья, долбленія наизусть братскихъ катехизисовъ, подобно тому, какъ рекруты долбить военные сигналы...

Помню, бывши директоромъ училищъ таврической губерніи, я заѣхалъ при объѣздѣ губерніи въ одно сельское училище на берегу Сиваша. Это училище было образцемъ настоящей школы стариннаго типа. Оно помѣщалось въ самой свѣрной дырявой избушкѣ деревни, потому что только самая бѣдная женщина всей деревни, убогая вдова, согласилась *«выпустить къ себѣ»* училище. Комнатка была 5-ти аршинъ въ длину и ширину, но и эти 5 аршинъ были заняты печью, палатами и пр.; два полуаршинные оконца были такъ высоки, что свѣта на столъ не было; полъ былъ земляной, партъ не было, а дѣти сидѣли вокругъ обыкновеннаго крестьянскаго стола на лавкахъ; бѣлая же часть сидѣла на полу и на палатахъ; хозяйка съ какой-то пріятельницею своею варила щи въ печи; духота была невообразимая; черезъ пять минутъ голова у меня заболѣла, какъ отъ угару. Въ рукахъ у дѣтей было нѣсколько московскихъ букварей и раз-

ныя случайныя книжонки, большею частію на славянскомъ языкѣ. Они громко пѣли по этимъ книжкамъ, водя пальцами по строкамъ совершенно невпопадъ. Ни у кого не было ни досокъ, ни тетрадей. Видъ ихъ былъ исполненъ трепета. Учитель, пьяный какъ водка, нечесанный и грубый бурсакъ, съ страшнымъ басомъ и еще болѣе страшными кулаками, глядѣлъ на нихъ такъ, что у нихъ дрожали губы. Какъ только мы съ штатнымъ смотрителемъ вошли въ избу, всѣ ученики вздумали подходить къ намъ въ руки. Опоздавшія дѣти, послѣ креста на икону, дрожа подходили къ учителю и лобызали его немытую руку, которую онъ подставлялъ имъ съ важностію папы, дающаго лобызать свою туфлю. Такими же лобызаніями простились дѣти съ учителемъ въ концѣ класса. Понятно, что это былъ послѣдній урокъ этого учителя «идеальной школы», и послѣднее лобызаніе его руки учениками.

Но такъ какъ наше личное свидѣтельство можетъ показаться пристрастнымъ сторонникамъ «идеальнаго міра», приведемъ во многихъ отношеніяхъ интересный разсказъ самого гр. Л. Н. Толстого изъ 2 № его журнала «Ясная Поляна». «... Общество въ дер. Подосинкахъ нашло своего учителя и, на предложеніе мое замѣстить избраннаго ими учителя другимъ, — объявило, что оно *не нуждается въ новомъ учителѣ и своимъ довольно*. Учитель этотъ былъ *отставной дьячокъ*, уже 20 лѣтъ занимавшійся обученіемъ дѣтей... Онъ предложилъ *учить дешево*, чѣмъ въ другихъ школахъ...

«Я посѣтилъ эту школу во время ея *цѣптенія*. Когда мы вошли, все было тихо тамъ; 24 мальчика, сидѣвшіе съ вырѣзными указками чинно вокругъ длиннаго стола, *вдругъ заплли* на разные голоса. Во главѣ всѣхъ сидѣлъ сынъ огородника, *мѣтъ 16-ти*, въ синемъ кафтанѣ. Онъ запѣвалъ: *«надбюжіеся на ны»*; сосѣдь его, водя указкой по засаленной азбучкѣ, пѣлъ: «слова подѣ титлами; ангель, ангельскій, архангель, архангельскій»; и снова начиная: «слова подѣ титлами: ангель и т. д.; третій: «буки-арцы-азъ-бра»; четвертый — «премудрость». Когда я вошелъ въ избу, они закричали, потомъ встали. *Учителя не было*. Я спросилъ, зачѣмъ они встали? они объяснили, что меня ждали и что такъ имъ было приказано. Я попросилъ ихъ сѣсть и продолжать; всѣ начали опять съ тѣхъ же словъ: «надбюжіеся, слова подѣ титлами» и т. д. Здѣсь въ первый разъ я видѣлъ классическую старинную школу...»

Какъ устриваются подобныя школы, гр. Толстой описываетъ на слѣдующей страницѣ:

«Учитель устриваетъ столъ, лавки, назначаетъ время ученія,

обыкновенно съ 8-ми часовъ до сумерекъ, отцы обязаны снабдить неграмотныхъ дѣтей азбучками, грамотныхъ — часовникомъ или псалтыремъ, смотря по степени успѣха. Весьма часто родитель покупаетъ или достаетъ *Богъ знаетъ какую книжонку* вмѣсто азбучки, иногда не можетъ достать псалтыря, когда уже мальчикъ началъ учить псалтырь, и ученикъ учить не то, что слѣдовало бы ему по порядку курса. Такъ, здѣсь я засталъ псалтырщика, *читающаго уже всю выученную наизусть азбуку*, потому что единственный псалтырь былъ занятъ... Родители, приводя дѣтей въ школу или на домъ къ учителю, *всегда при ученикѣ просятъ учителя наказывать, бить* и говорятъ почти одну и ту же обычную фразу, имѣющую цѣлью внушить страхъ мальчику и убѣдить учителя въ томъ, что родитель передаетъ ему свою власть побоевъ надъ сыномъ...

«Ребята приходятъ въ школу всѣ въ одно время; пока ученіе не начиналось, они должны стоять смирно въ сѣняхъ или у избы (не забудьте, зимою) и не разговаривать, ибо ежели 20 человѣкъ вдругъ начнутъ разговаривать, учителю это покажется безпорядкомъ, и онъ ихъ накажетъ. Входя въ школу, всѣ молятся Богу, садятся за книги, вновь крестятся и цѣлуютъ эти книги. *Книга для нихъ есть божество въ родѣ идоловъ у чувашей, которое они просятъ быть милостивымъ къ нимъ.* Каждому задается стиховъ, который онъ долженъ выучить (стиховъ — значить, строка или двѣ)... Начинается то самое пѣнье, которое я засталъ. *Учитель поручаетъ старшему смотреть за порядкомъ, самъ же болѣею частью уходитъ.* Порядокъ состоитъ въ томъ, чтобы каждый безостановочно продолжалъ кричать свои пять или шесть словъ. Самый лучший изъ такихъ классическихъ учителей въ продолженіе дня едва ли обойдетъ всѣхъ учениковъ, спросить заданный урокъ и задать новый, т.-е. часть времени въ продолженіи дня употребить на занятіе со всѣми. Обыкновенный же пріемъ такого рода учителей состоитъ въ томъ, чтобы поручать ученіе старшему ученику, самому же *въ продолженіи недѣли заниматься съ учениками много 3—4 часа.* Всѣ такіе учителя непременно завербовываютъ къ себѣ въ школу хотя одного грамотнаго, подъ предлогомъ доучивать его, а въ сущности этотъ полуграмотный и есть учитель. Настоящій же учитель занимаетъ только полицейскую должность *прикрикнуть, приударить, собрать деньги* и изрѣдка только указать и спросить урокъ. Такими учителями очень часто бываютъ люди, почти цѣлый день занятые постороннимъ дѣломъ, — *причетники, писаря, и такъ-то учителей и вытекающую изъ ихъ занятій методу*

*предлагаютъ* вышеприведенные указы консисторіи и циркуляры мин. вн. дѣлъ о волостныхъ училищахъ»... — удивляется гр. Толстой.

Да, прибавимъ мы, и не только консисторіи, но и самъ гр. Толстой, который въ 1862 г. удивлялся, *какъ можно предлагать* въ учителя безграмотныхъ и бесполезныхъ причетниковъ, цѣлый день *«занятыхъ постороннимъ дѣломъ»*, — въ 1874 г. удивляется, напротивъ, тому, *какъ можно обходить* тѣхъ же самыхъ причетниковъ, оскорбляется, что этимъ *«дешевымъ учителямъ»* предпочитаютъ *«любимый типъ»* учителей, окончившихъ курсъ учительской школы, и хлопочетъ, чтобы вмѣсто теперешнихъ школъ, съ правильно подготовленными наставниками, были заводимы сотни школъ, подобныхъ Подосиновской, у солдатъ, причетниковъ и дворниковъ, дешевле, чѣмъ по 2 руб. въ мѣсяцъ.

Не лишены интереса и слѣдующія подробности, сообщаемыя гр. Толстымъ о *«классической»* школѣ:

«Учитель всегда старается *какъ можно болѣе уравнивать* учениковъ. Ежели есть ученики, умѣющіе писать, онъ заставляетъ ихъ твердить старое, съ тѣмъ, чтобы засадить писать уже всѣхъ *вмѣстѣ»*.

Послѣ псалтыря начинаютъ писать; но писать значить *совсѣмъ не то, что мы понимаемъ*;... писать, по ихъ понятіямъ, значить, умѣть красиво выводить скорописныя буквы *почти въ непонятныхъ для нихъ соединеніяхъ — срисовывать прописи*. Иногда къ этому прибавляется выучиваніе наизусть цифръ отъ 1—до 1000 чисто механическое, *безъ понятія о нумераціи*, и тѣмъ обыкновенно *кончается полный курсъ ученія*, который гуртомъ стоитъ въ нашихъ мѣстахъ 7 руб. 50 коп. за выучку, и въ разницу отъ 1 руб. до 2 руб. ассигнаціями въ мѣсяцъ.

«Въ Подосиновской школѣ я долго бился въ отсутствіи учителя, чтобы узнать что-нибудь отъ учениковъ. Какъ только я обращался къ кому-нибудь изъ нихъ, онъ утыкался въ книгу, твердя стишковъ, и совершенно забывалъ меня, и опять со всѣхъ сторонъ начиналось: *«надъющіеся на ны»*. Я оглядывался, искалъ живаго взгляда и изрѣдка замѣчалъ мальчика, оторвавшагося отъ книги, и внимательно, и умно смотрѣвшаго на меня; я подходилъ, спрашивалъ, но въ ту же минуту какой-то туманъ застилалъ его глаза, и снова онъ бессмысленно начиналъ твердить свой стишковъ. Я попробовалъ спросить священную исторію: старшій *псалтырникъ*, начиная съ заглавія: *«краткая свящ. исторія»*, пропѣлъ мнѣ стишковъ 20, но путался на сотвореніи женщины. Чтобы помочь ему вспомнить, я сталъ спрашивать его, была ли у Адама жена, или нѣтъ? Онъ заплакалъ. Наконецъ,

извѣщенный какимъ-то услужливымъ мальчишкой, явился учитель, хромой, съ востылемъ, съ недѣлю небритый и съ опухшими, мрачными и жестокими лицами. Я не видалъ еще стариннаго учителя, — кроткаго человѣка и непьяницу. Я убѣжденъ, что эти люди по обязанности своей должны быть тупы и жестоки, какъ палачи, какъ живодеры, — должны пить, чтобы заглушать въ себѣ раскаяніе въ совершаемомъ ежедневно преступленіи надъ самыми лучшими, честными и безобидными существами въ мірѣ. Какъ только онъ вошелъ, крикъ усилился.

«Я попросилъ его показать мнѣ какъ онъ учитъ; онъ сталъ подходить къ каждому изъ мальчиковъ, и я замѣтилъ, какъ у каждаго изъ нихъ щурились глаза и головы вжимались въ плеча при приближеніи небритаго лица учителя, которое они чуяли, не оглядываясь на него. Во время ученія и распуская учениковъ, онъ велъ себя совершенно такъ же, какъ въ старину баричинскій староста, съ палочкой ходящій на работѣ за бабами, который при приближеніи барина покрикиваетъ: ну, бабы, бабы! несмотря на то, что бабы и безъ поощренія стараются притвориться, что онѣ работаютъ. «Ну, вы, куды, тише, порядкомъ» — кричалъ онъ на дѣтей, вытѣзавшихъ изъ-за стола, поталкивая ихъ въ спины и быстрымъ, незамѣтнымъ движеніемъ кисти руки подергивая за что попало. Передъ тѣмъ, какъ выходить изъ-за стола, каждый изъ учениковъ перекрестился и опять поцѣловалъ свое мрачное и карающее божество — книжку и поцѣловалъ въ тотъ самый стишокъ, который онъ училъ нынѣшній день: кто въ «Блаженъ мужъ», кто въ «таблицу умноженія», кто въ «слова подъ подѣ титлами» или «басни Хемницера»... Ребята вышли на дворъ все еще тупые и мертвые, прошли нѣсколько шаговъ какъ убитые, и только въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ училища стали оживать» (стр. 47 № 2-го «Я. П-ны»).

Какое бываетъ собственное образованіе этихъ «школьных старостъ», видно изъ слѣдующихъ словъ гр. Толстого:

«Я попросилъ учителя написать мнѣ что-нибудь; учитель вышелъ въ другую комнату и прислалъ мнѣ оттуда записку въ три строки, въ которой бывшій со мною ученикъ яснополянской школы поправилъ, при мужикахъ, 4 орфографическія ошибки».

Мы нарочно въ подробности привели эту характеристику классической старинной школы, такъ мастерски набросанной нашимъ наблюдательнымъ художникомъ. Мы заставили гр. Толстого побивать себя своими собственными руками. Теперь мы знаемъ, въ какомъ учителямъ, въ какомъ «моральнымъ отношеніямъ», въ какой «идеальный міръ», зовутъ насъ Цвѣтковы, Юркевичи

и съ ними гр. Толстой, одинъ во имя «дешевизны», другіе во имя «религіозно-нравственнаго воспитанія».

Всякія разсужденія наши излишни передъ картиною поразительнаго реализма, въ которой воскресаетъ передъ нами, подъ рукою художника, наше недавнее прошлое, очищенное отъ напускнаго тумана общихъ фразъ. Эта Подосиновецкая школа поднимаетъ въ нашей памяти сотни другихъ школъ, низшихъ и высшихъ, греческихъ, латинскихъ, славянскихъ, черезъ которые проходили когда-то мы сами.

Эти задаванія «отъ сихъ до сихъ», эти зубренія философскихъ опредѣленій, что есть число и что есть вѣра; эти субботнія розги, неизбѣжныя какъ сама суббота; эта ожесточенная вѣковая война учащихся съ учащимися, классы, обращенныя въ битву, въ верченіе вихровъ и крушеніе реберъ кулаками и линейками; эти два способныхъ плута на сотню отупѣвшихъ дѣтлаевъ, составляющихъ классъ; полная безответственность большихъ; полная беззащитность маленькихъ; отвращеніе отъ дѣла у первыхъ, ненависть къ нему у вторыхъ; невѣжество учителей, невѣжество учениковъ; «Отче нашъ», читаемый ученикомъ вмѣсто урока географіи, русскіе анекдоты, разсказываемые учителемъ вмѣсто французскаго языка; систематическое развращеніе молодыхъ поколѣній култомъ механическаго послушанія и лживаго внѣшняго порядка; систематическое убіеніе въ дѣтяхъ вѣры въ людей, въ науку, въ правду, — вотъ «классическая» школа, вотъ «старая педагогія», къ которой опять стали такъ смѣло призывать насъ недруги нашего времени. Они поворятъ и обвиняютъ наши учебники, наши методы. Имъ кажется безобразіемъ и «Родное Слово» Ушинскаго, и «Методика ариметики» Евтушевскаго, и «Нашъ Другъ» бар. Корфа, и способъ Груббе, и взгляды Дистервега, и занятія Фребеля. Они издѣваются надъ нашими стремленіями, чтобы въ школѣ было «тепло, свѣтло и просторно», чтобы учителя были «не чужды общечеловѣческихъ идей» и приготавлились къ своему дѣлу серьезнымъ ученіемъ, чтобы въ дѣтяхъ уважался «человѣкъ». Имъ кажутся «вздорными игрушками»: «кубики, картины, подвинчивающіеся столы, бесѣды о сусликахъ и вротѣ».

Но мы спросимъ ихъ теперь въ свою очередь: хорошо, все это «глупости, вздоръ», «безобразный шатающійся идеалъ». Мы готовы бросить все это. Мы работаемъ недавно и не успѣли запастись многими: сознаемъ свою слабость. Но вы, владыки тысячелѣтій, вы, работавшіе надъ воспитаніемъ русскаго народа со временъ Владиміра и Ярослава, вы, сторонники «церковной педагогіи», покажите же теперь намъ *ваше* *приобрѣтеніе*, которымъ мы

должны замѣнить «кубики, картинки и всѣ вздоры». Шагнули ли вы дальше псалтыря и часовника, дальше «начатковъ», «арметики Буссе» и «грамматики Востокова»? Изобрѣли ли вы другое наглядное обученіе, кромѣ линейки, которою бьютъ по пальцамъ, и розогъ, которыми сѣкутъ по спинѣ? Вы не разставляете кубиковъ, это правда; но мы живо помнимъ, какъ разставлялись у васъ по цѣлому классу, вмѣсто кубиковъ, ученики, неумѣвшіе скоро поддѣлаться къ вашимъ прокустовымъ требованіямъ, — на колѣни и въ углы. Вы не бесѣдуете о сусликахъ; но мы помнимъ за то, какъ бесѣдовали вы передъ настрашеннымъ классомъ, обдавая его извожичьею руганью. Вы не выставяете «картинъ для обученія» на стѣнахъ; это тоже правда. Но не забыли мы, какія поучительныя картины выставяли вы за то на лавкахъ, среди насильно согнанной толпы дѣтей, аккуратно каждую субботу и, сверхъ того, каждый день не въ счетъ абонементъ, и какой звуковой методъ обучали тогда этихъ бѣдныхъ дѣтей... Не морочьте насъ; мы васъ знаемъ и долго не забудемъ васъ. Вамъ смѣшно, что новая педагогія можетъ насчитать на 300 рублей учебныхъ пособій въ одну школу. Это, конечно, смѣшно. Но заглянемъ сперва въ бібліотеку вашей старой классической школы.

Въ журналѣ «Ясная Поляна», № 1, стр. 101, напечатанъ гр. Толстымъ «*списокъ книгъ ломинцовской волости*», какъ засталъ ихъ въ 1862 г. учитель, назначенный гр. Толстымъ.

Вотъ онъ:

- 1) Библія; 2) акаѳистъ Богородицѣ; 3) мѣсячная Минея; 4) Ирмологій; 5) Тріодъ постная и цвѣтная; 6) Четы-Минея; 7) Нов. Завѣтъ на славян. яз.; 8) Псалтырь; 9) Мѣсяцесловъ; 10) Часословъ; 11) Слѣдованный псалтырь; 12) Псалтырь; 13) Исторія церкви Ветхаго Завѣта; 14) Жизнь апостола Павла; 15) Сказаніе о жизни и подвигахъ старца Кіево-Печерской лавры іеросхимонаха Парѣенія; 16) Житія св. Алексѣя чловека Божія, Николая чудотворца, великомученицы Варвары, Маріи Египетской и Іоанна Милостиваго; 17) 104 священныя исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта; 18) Краткая свящ. исторія В. и Н. Завѣта; 19) Краткое описаніе св. града Іерусалима; 20) Бесѣды Іоанна Златоустаго; 21) Сочиненія св. Димитрія Ростовскаго; 22) Наставленія о должностяхъ всякаго христіанина; 23) Путь ко спасенію, соч. Ѳеодора Емина; 24) Размышленіе о смерти; 25) Размышленіе о страннолюбіи, милостыни и благотворительности; 26) Алфавитъ духовный; 27) Слова, говоренныя въ Чудовомъ монастырѣ въ 1787—90 годахъ; 28) Указаніе пути въ царствіе

небесное; 29) Катихизисъ; 30) Книга Ефрема Сирина; 31) Букварь; 32) Начальное ученіе человѣкомъ, хотящимъ учиться книгъ божественнаго писанія; 33) Новѣйшая русская азбука; 34) Новая російская азбука Бѣлянкина; 35) Новая російская азбука; 36) Сонъ Пресв. Богородицы; 37) Сказка объ Иванѣ богатырѣ, о прекрасной супругѣ его Свѣтланѣ и о зломъ волшебникѣ Карачунѣ; 38) V-й томъ свода законовъ; 39) Киргизъ-Кайсакъ, повѣсть; 40) Календаръ за 1845 г.; 41) Карманный пѣсенникъ; 42) Опытъ трудовъ вольнаго російскаго собранія; 43) Фокусъ-покусъ или собраніе рѣдкихъ, удивительныхъ и забавныхъ ручныхъ искусствъ; 44) Опытнѣйшій рыболовъ; 45) Конекъ-горбунокъ; 46) Естественная исторія, соч. Смирнова; 47) Календаръ 1847 года; 48) Гадательная книжка или Соломонъ; 49) Тульскія губернскія вѣдомости; 50) Русскіе простонародные рассказы, соч. Ѳ. Русанова; 51) Французская грамматика. «Въ другихъ деревняхъ того же прихода на 200 душъ найдено 4 картинки съ текстомъ и *ни одной книжки*», съ краснорѣчивою краткостью прибавляетъ Ломинцовскій учитель. Если вамъ не нравятся учебныя пособия нѣмецкой педагогинъ, то выбирайте изъ этихъ примологіевъ, тріодей и фокусъ-покусовъ; о вкусахъ не спорятъ.

Вообще, журналъ гр. Толстого представляетъ болѣе всего данныхъ для совершеннаго опроверженія всего того, что толкуютъ самъ гр. Толстой и его союзникъ г. Цвѣтковъ въ статьяхъ «Отеч. Записокъ» и «Русскаго Вѣстника» 1874 г.

Читатель пойметъ, конечно, какъ усиливался гр. Толстой доказывать, что нашъ русскій мужичокъ постигъ своимъ педагогическимъ чутьемъ необходимость изученія «одного мертваго и одного живого языка, съ ихъ синтаксическими и этимологическими формами и литературою, и математики»; что самъ народъ, безъ вмѣшательства земства, училищныхъ совѣтовъ и вообще образованнаго класса, устроить дѣло образованія гораздо лучше, обширнѣе и вѣрнѣе.

Послушайте же, какія вещи расскажетъ вамъ на этотъ счетъ журналъ гр. Толстого въ то время, когда гр. Толстой и его помощники дѣйствительно наблюдали народную жизнь и изображали ее безъ всякихъ предвзятыхъ намѣреній; на стр. 89—99 № 1-го «Ясной Поляны» мы читаемъ:

«Въ Ясенкахъ живетъ какой-то отставной солдатъ, который беретъ дѣтей на выучку грамотѣ, и который, *подъ пьяную руку, ихъ болно съчтетъ, что очень нравится крестьянамъ*»...

— «Крестьянамъ чрезвычайно *не нравилось*, что я *ласково обхожусь* съ мальчиками, и они всегда мнѣ въ примѣръ ставили этого солдата».

«Другіе же *не хотѣли отдавать своихъ дѣтей* въ школу, говоря, что я нарочно посланъ правительствомъ изъ Москвы, чтобы выучить ихъ, а потомъ погонять въ Москву, — служить казаками».

— «Бей ихъ, батюшка! За чубъ дери! Слышу одно и тоже».

— «Батюшка, ты не хорошо учишь, что это за ученье? Ты *ихъ возьми попки*, да за азбуку посади, а *этакъ* учить не годится», говорить учителю одна изъ матерей.

— «Нѣкоторые крестьяне находятъ *школы положительны вредными* и потому *не отдаютъ дѣтей*. Другіе видятъ въ нихъ полезное учрежденіе, основываясь на томъ, что... грамотный человекъ всегда можетъ найти пропитаніе и *неграмотнаго обманетъ*. Общее желаніе родителей, отдавшихъ своихъ дѣтей въ школу, — видѣть ихъ въ послѣдствіи *конторщиками или управляющими*».

— «*Что намъ рихметика!* — говоритъ мужичокъ изъ другой деревни — *копѣйка за хлѣбъ, копѣйка за лукъ, вотъ и вся рихметика*. У насъ солдатъ рихметики не учить, потому *знаетъ, что не нужно*».

— «Попалась мнѣ «Исторія о храбрѣмъ рыцарѣ Францѣ Венеціанѣ», которою старшина страшно увлеклся... Хотя эта книга была безъ начала и конца, но послѣ отзыва старшины объ ея достоинствахъ управляющій села Ясенковъ убѣдительно упрашивалъ старшину дать ему прочесть ее... Лежитъ на столѣ Евангеліе и Францъ Венеціанъ. Старшина *потрогалъ сначала нѣсколько листовъ Евангелія, потомъ взялъ читать Француза*».

— «Старшина спрашивалъ меня, *какую пользу получаетъ посредникъ, что заводитъ эти школы*. Я ему сказалъ, что посреднику пользы тутъ нѣтъ. «Да что ему до другихъ, до народа-то? Всякъ о себѣ заботься!».

— «Намъ за это награда будетъ, — медаль на шею дадутъ, да и посредникъ будетъ доволенъ», — говоритъ тотъ же старшина.

Въ этихъ выдержкахъ видно настоящее, невыдуманное отношеніе невѣжественныхъ людей къ дѣлу образованія, настоящій мотивъ заведенія школъ крестьянами, настоящая программа и настоящій методъ обученія. Но что общаго въ немъ съ синтаксическими формами, съ мертвыми языками, съ надеждою, что вмѣсто 20 школъ явится 400, — это пусть объяснитъ намъ гр. Толстой. Если онъ хочетъ честнымъ образомъ отдать дѣло народнаго образованія въ руки самого народа, то пусть же онъ смѣло пойдетъ на встрѣчу всѣмъ

безъ исключенія требованіямъ мужика. Пусть онъ не толкуетъ о «свободѣ учащихся» тамъ, гдѣ весь народъ требуетъ дѣрки этихъ учащихся и всякаго насилуванія ихъ веусовъ. Пусть онъ выкинетъ изъ своей народной программы всѣ эти алгебры и грамматики, и прямо призоветъ солдата учить на память псалтырь.

Все остальное будетъ не требованіе народа, а его, «толстовская», выдумка.

Вѣдь самъ же гр. Толстой на 56 стр. 2-го № «Ясной Поляны» объявляетъ намъ: «напишемъ личнымъ опытомъ и по свидѣніямъ отъ всѣхъ учителей въ народныхъ школахъ, безъ исключенія, мы убѣдились, что народъ требуетъ, чтобы дѣтей ихъ (?) учили по азбучкамъ наизусть».

«Страхъ и потому побой онъ считаетъ главнымъ средствомъ для успѣха, и потому требуетъ отъ учителя, чтобы не жалли его сына»...

«Всѣ безъ исключенія требуютъ, чтобы... кромѣ азбуки ничего другого не учили. Какъ только требованіе ихъ не исполняется, опять вездѣ повторяется неизмѣнно одинаковое явленіе, рождается расколъ, глухой ропотъ, и самыя непонятныя, безобразныя слухи, влонящіяся во вреду новыхъ школъ (т.-е. тогдашнихъ школъ гр. Толстого) и приемовъ, и вообще образованія».

Журналъ «Ясная Поляна» представляетъ, какъ мы видимъ, блестящія фактическія доказательства того, какъ грубы и далеки отъ взглядовъ гр. Толстого дѣйствительныя требованія народа; но онъ еще представляетъ и другія, болѣе важныя для насъ доказательства того, что эти требованія не составляютъ чего-либо органическаго и неизмѣннаго, а просто выражаютъ собою давнюю привычку народа къ дьячковской школѣ, постоянное знакомство его только съ нею одной.

Заводится же гдѣ-нибудь школа иного характера, и успѣхъ ея приемовъ начинаетъ быть очевиднымъ, убѣжденіе народа мѣняется гораздо легче, чѣмъ стараются представить это намъ благоговѣйные проповѣдники могучаго народного смысла, оскорбляющіе его этимъ китайскимъ ученіемъ болѣе, чѣмъ всѣ враги.

Послушайте, напр., что рассказываетъ самъ гр. Толстой на 57—58 стр. 2-го № «Ясной Поляны».

«Въ Яснополянскій школѣ, существующей третій годъ и потому имѣвшей время заявить свое достоинство и направленіе во мнѣніи народа, слышались сначала тѣ же упреки въ баловствѣ и т. п.; теперь же приводятъ учениковъ за 30 и 50 верстъ; родители, взявши вначалѣ своихъ дѣтей изъ школы, теперь вновь отдають ихъ. Въ Л-й школѣ ропотъ народа былъ сильнѣе,

чѣмъ въ прочихъ. Слабость и необщительность учителя, не пытавшагося объяснить крестьянамъ преимущества своихъ пріемовъ и, *главное, уступки ихъ требованіямъ еще болѣе испортили дѣло.* Въ Колпенскихъ и другихъ школахъ, *идѣ учитель ни на шагъ не сдавался на требованіе крестьянъ,* а прямо говорилъ: «не нравится, возьми изъ школы и отдай въ солдатамъ», гдѣ онъ толковалъ, *что я не пойду тебя учить, какъ пахать,* хотя ты и для меня бы пахалъ, *такъ и ты не учи меня, какъ учить,* хотя я и учу твоего сына, — *тамъ понемногу крестьяне сдавались.*— «Мужикъ начинаетъ понимать и ведетъ свою пропаганду новой школы. Главное же, *отыскнуть, особенно матерямъ, отъ того, что не бьютъ ихъ дѣтей, очень легко и приятно.* Теперь уже—небывалая прежде вещь—отъ солдата берутъ учениковъ за то, что онъ бьетъ ихъ; солдатъ переѣзжаетъ съ мѣста на мѣсто, отыскивая учениковъ, и напрасно старается приманить къ себѣ сбавкою платы. Солдатъ и дьячокъ объявили, что они учатъ по новой методѣ по а-бе безъ побоевъ (что почему-то соединяется въ ихъ понятіи въ одну методу). Прежде нашимъ учителямъ кололи глаза дьячковскими и солдатскими школами; теперь стариннымъ учителямъ колютъ глаза нашими школами, въ которыхъ учатъ скоро и безъ побоевъ. И это происходитъ въ тѣхъ обществахъ, въ которыхъ мѣсяць тому назадъ бесплатно не хотѣли отдавать въ наши школы и говорили, что школы эти дьявольское навожденіе. Оставивъ ихъ въ покоѣ, случайно поговоришь съ однимъ крестьяниномъ, родителемъ школьника, поговоришь съ другимъ, и незамѣтно, въ мѣсяць, въ два, переработается въ нихъ, перебродитъ весь вздоръ, правда всплываетъ, и смотришь, идутъ, *просятъ рекомендовать имъ хорошаго новаго учителя,* и просятъ, не дають покою, пока не удовлетворишь ихъ желанія».

Читая эти мѣткія замѣчанія гр. Толстого, почерпнутыя прямо изъ жизни, хочется спросить: онъ ли это писалъ, тотъ гр. Л. Толстой, который въ 1874 г. поднялъ походъ противъ правильно устроенныхъ школъ и потащилъ насъ назадъ къ дьячкамъ и солдатамъ, единственно на томъ основаніи, что это воля народа, что это потребность, ему присущая. Къ счастью, никто удачѣе самого гр. Толстого не умѣетъ разрушать его собственныхъ теорій. Въ самомъ дѣлѣ, мы не цитировали въ этой статьѣ своей ни одного изъ авторовъ, кромѣ гр. Толстого, и однако что осталось цѣлымъ изъ всѣхъ его рѣшительныхъ теорій? «Свобода» превращена въ мнѣе его же собственнымъ ученіемъ о волѣ родителей, о строгой, во всей Россіи одинаковой, программѣ ученія. «Народныя требованія» оказались такимъ же мнѣемъ, потому

что гр. Толстой представилъ, вмѣсто псалтыря и роговъ, безъ всякой церемоніи свою алгебру и грамматику, уже безъ роговъ. Исключительная способность народа знать «какъ и почему» оказывается не только не существующею, но еще на всякомъ шагѣ просящею руководства то дѣльца, то солдата, то новыхъ учителей гр. Толстого. Словомъ, всѣ ясно-полянскія фантазіи 1874 г. разлетѣлись какъ дымъ, прикоснувшись къ ясно-полянскимъ наблюденіямъ 1862 г., точно также какъ разлетѣлась иллюзія Цвѣтковской «идеальной школы» при одномъ взглядѣ на портретъ реальной Подосинковской школы.

Мы вообще сторонники безпристрастнаго анализа явленій, и насъ не только не пугаетъ серьезное критическое отношеніе къ современной педагогіи, но мы даже всячески готовы вызывать его. Китаизмъ всякаго рода намъ ненавистенъ. Поэтому мы встрѣтили бы дружелюбно самое рѣзкое порицаніе тѣхъ или другихъ сторонъ нашей новой педагогической школы, какъ это и было въ 1862 г., когда гр. Л. Толстой возсталъ на нее гораздо рѣшительнѣе, искуснѣе и сильнѣе, чѣмъ теперь. Но тогда мы видѣли въ немъ человѣка, стоящаго на одной съ нами почвѣ, добивающагося, съ горячимъ увлеченіемъ художника и друга народа, болѣе свѣжихъ путей. Мы боролись съ нимъ, но мы сочувствовали ему. Теперь же гр. Л. Толстой, не знаетъ, волею или неволею, — скорѣе, думаетъ изъ уваженія къ нему, неволею, то-есть безъ яснаго сознанія результатовъ своей попытки, — является въ числѣ передовыхъ бойцовъ той темной рати, которая была придавлена погромомъ великихъ реформъ настоящаго царствованія, но которая въ послѣдніе годы, пользуясь неблагоприятными условіями общей атмосферы, все съ большею дерзостью поднимаетъ свою голову. Теперь мы находимъ графа Л. Толстого въ сообществѣ Цвѣтковыхъ и Юркевичей, журнала «Странникъ», «Епархіальныхъ Вѣдомостей», «Справочныхъ Листковъ» и «Гражданина». Теперь онъ говоритъ языкомъ отца Покровскаго и тѣхъ сторонниковъ солдатскаго обученія, надъ которыми онъ самъ смѣется въ журналѣ своемъ «Ясная Поляна». Скажи, съ кѣмъ ты знакомъ, скажу, кто ты таковъ, говоритъ пословица. Есть люди, союзъ съ которыми позорнѣе, чѣмъ ихъ вражда. Ничто такъ не убѣждаетъ въ глубинѣ совершенной ошибки, какъ сообщество, котораго всегда стыдился, въ которомъ не хочется признаться, но отъ котораго однако невозможно и отказаться, потому что оно является роковымъ послѣдствіемъ поступка, какъ дымъ послѣ огня, какъ звукъ послѣ выстрѣла.

Если бы гр. Толстой ограничивался критикою увлеченій нѣмецкой педагогіи, выставилъ бы, съ своимъ художественнымъ остроуміемъ, педантичность многихъ теперешнихъ приѣмовъ ея; обрисовалъ бы, въ противоположность ей, обычными ему мѣткими чертами, самородную даровитость и оригинальную смѣтливость русскаго деревенскаго человѣка; боролся бы наконецъ противъ пользы историческихъ, географическихъ, естественно-историческихъ свѣдѣній въ народной школѣ; доказывалъ бы преимущество *be* и *se* надъ *bz*, *sz*: мы бы, конечно, не переставали видѣть въ немъ почтеннаго дѣателя полезнаго народнаго дѣла, какъ бы собственно ни отнеслись мы къ сущности его возраженій. Но теперь, послѣ всего разъясненнаго выше, гр. Л. Толстой не можетъ быть въ претензіи на критику, если она разсматриваетъ его въ общей толпѣ недоброжелателей общественнаго возрожденія Россіи.

Какъ? изъ всѣхъ общественныхъ язвъ, развѣдающихъ наше отечество, другъ народа не могъ остановиться ни на одной, болѣе опасной, какъ замѣна *буки* простымъ *бз*, или картинками—розогъ? Только въ горячемъ стремленіи просвѣщенныхъ людей внести болѣе смысла и любви въ дѣло народнаго образованія увидалъ онъ источникъ народной гибели?

Если отбросить всѣ остроумничанья, натяжки, искаженія, наравненные клочки фактовъ, искусственно наливанныхъ на черную или красную нитку, и дать себѣ отчетъ, въ чемъ состоитъ сущность стремленій новой педагогіи, то прежде всего окажется, что новая педагогія, вопреки обвиненіямъ гр. Толстого, не стоитъ ни за какой неподвижный символъ вѣры. Современная педагогія есть именно осуществленный практикою неясный идеалъ гр. Толстого; только не практикою одного лица, способнаго увлекаться, по свойству всякаго человѣка; не годичною практикою одной ясно-полянской школы или одного крапивинскаго уѣзда тульской губерніи; даже не практикою одной Россіи. Современная педагогія есть результатъ самой свободной и разнородной практики цѣлаго просвѣщеннаго міра, практики, продолжавшейся отъ классической древности по наши дни; принявшей въ свѣдѣнію и ученіе іезуита, и теорію Руссо, и классическую школу, и реальный духъ времени, и наглядное обученіе Фребеля и механическую дрессировку какихъ-нибудь *frères ignorants*. Уже одніе всемірныя выставки должны бы были познакомить непосвященныхъ съ этимъ глубоко практическимъ характеромъ современной педагогіи. Развѣ теорія и основанное на ней искусство обученія могутъ оставаться въ такой старовѣрческой косности, въ которыхъ

упрекаетъ ихъ гр. Толстой, при такомъ могуче-широкомъ обмѣнѣ мыслей и изобрѣтеній? Какой педагогическій предразсудокъ въ состояніи устоять противъ очевиднаго свидѣтельства опыта, производимаго на глазахъ милліоновъ, во всемірномъ состязаніи всѣхъ просвѣщенныхъ народовъ міра? Когда передъ вашими глазами, рядомъ другъ съ другомъ, собраны всѣ образцы шеольнаго устройства, учебники, пособия, классная мебель; когда вы можете сравнивать между собою различные способы обученія на цѣломъ рядѣ живыхъ опытовъ, въ публичномъ преподаваніи образцовыхъ учителей и на цѣлой массѣ результатовъ этого опыта, въ видѣ строго-систематизированныхъ ученическихъ работъ всевозможнаго характера изъ всевозможныхъ школъ и странъ; когда цѣлый соборъ лучшихъ мастеровъ и мыслителей учебнаго дѣла, провѣрившій эти способы во множествѣ разнообразныхъ условій, при всецѣломъ посвященіи себя дѣлу, при долготѣннемъ служеніи этому дѣлу, при самой строгой подготовкѣ къ нему, — выражаетъ господствующее въ немъ мнѣніе касательно всѣхъ вопросовъ учебнаго дѣла, возможно ли сомнѣваться, что ничѣмъ другимъ невозможно лучше обезпечить человѣчеству безпристрастія и вѣрности взглядовъ на учебное дѣло? Конечно, и соборъ педагоговъ не есть соборъ непогрѣшимости, подобный Ватиканскому, и онъ можетъ заблуждаться во многомъ. Но регуляторъ его правильной дѣятельности все-таки въ немъ же самомъ. Міръ педагогій кипитъ разнообразіемъ идей и взглядовъ, и всѣ они борются между собою въ открытомъ для всѣхъ состязаніи. Состязаніе это постоянно даетъ необходимыя поправки и направляетъ дѣло на болѣе вѣрный путь. Пусть, кто чувствуетъ себя призваннымъ, входитъ въ этотъ общій міръ, становится членомъ его и способствуетъ, чѣмъ можетъ, рѣшенію его насущныхъ вопросовъ. Но настойчиво заявлять всему міру, что наука педагогій ничто, что опытъ человѣчества—ничто, а что истина блеснула въ теченіи 7000 лѣтъ только одинъ разъ, въ одной Ясной Полянѣ крапивенскаго уѣзда,—значить, добровольно ставить себя въ положеніе синицы крыловской басни, собиравшейся море сжесть. «Glaubst zu schieben und wirst geschoben» — недаромъ журналъ гр. Толстого выбралъ себѣ этотъ пророческій девизъ.

Самое ржавое ученіе азіатской неподвижности рѣдко доходило до такихъ геркулесовыхъ столповъ ослѣпленія, до котораго довелъ свою основную идею гр. Л. Толстой. Вотъ эта идея, если очистить ее отъ шелухи:

«Невѣжество, незнаніе—это и есть сила, которая одна все знаетъ, одна имѣетъ право на все; посвященіе же себя дѣлу,

заботливая подготовка къ нему лишаетъ людей здраваго понятія объ этомъ самомъ дѣлѣ».

Ясно-полянскую педагогію, повидимому, нельзя убѣдить доводами, взятыми изъ области педагогіи. Пусть же она по крайней мѣрѣ оглянется на жизнь. Вѣдь если крестьянскіе мальчики должны учить насъ литературной дѣятельности, какъ доказывалъ это гр. Толстой въ № 9 «Ясной Поляны», въ статьѣ: «Кому у кого учиться писать: крестьянскимъ ребятамъ у насъ, или намъ у крестьянскихъ ребятъ»; если все преподаваніе должно состоять, по теоріи графа Толстого, въ томъ, чтобы ученики указывали учителю, какъ и чему ихъ учить: то почему же гр. Толстой затрудняется логически распространить свою теорію и на другія области человѣческой дѣятельности? Почему бы и оперы не писать людямъ, незнакомымъ съ нотами, почему бы и Афродиту Милосскую не сдѣлать простому гончару?

Мы искренно жалѣемъ, что изобрѣтатель «теоріи невѣжества» такъ великодушно уступилъ эту теорію, со всѣми ея послѣдствіями—образованію русскаго народа, нанимающаго на свой счетъ учителей, и на свой счетъ строящаго школы. Теорія эта была бы гораздо убѣдительнѣе, еслибы изобрѣтатель попытался примѣнить ее къ своимъ личнымъ, болѣе осязательнымъ, интересамъ, чѣмъ къ грандіознымъ, но не столь нагляднымъ интересамъ «народа». Почему бы, напр., въ силу той же ясно-полянской логики, не усумниться «почемъ знаетъ садовникъ, получающій 15 р. въ мѣсяцъ, какъ ухаживать за персиками и магноліями въ оранжереѣ?» «Почемъ знаетъ овчаръ-нѣмецъ, какъ плодить и холить дорогихъ меринособъ?» «Почемъ знаетъ англичанка бонна или швейцарская гувернантка, какъ вести дѣтей и чему учить ихъ?» «Почемъ знаетъ петербургская модистка, какъ и что шить изъ бархата, шелка и кружевъ?» Не гораздо ли лучше понимаютъ всѣ эти специальности какой-нибудь Кирюха изъ Подосинковъ, какая-нибудь Мавра-скотница изъ Ясной Поляны, или воспитанный гр. Тостымъ Полиушка, на всѣ руки мастеръ?

Въ самомъ дѣлѣ, посмотрите на Кирюху и Мавру. «Единственный критерій—свобода» научила ихъ удовлетворять своимъ нуждамъ безъ помощи земства, безъ «влипанія» разныхъ вѣдомствъ, гораздо «дешевле и самороднѣе», чѣмъ удовлетворяетъ этимъ нуждамъ испорченный цивилизаціею изобрѣтатель ясно-полянской теоріи. Оттого у нихъ «не одинъ дорогой» домъ, съ «любимымъ типомъ» лакеевъ, поваровъ и боннъ, который завелъ нашихъ помѣщиковъ въ «тупой переулочъ, откуда нѣтъ выхода», а гораздо болѣе «400 дешевыхъ» домовъ; и этотъ типъ есть

«дѣйствительно любимый типъ народа». Практичность его поразительна: дешевыя гнилыя бревнушки вмѣсто дорогого камня; народный, исторически выработанный навозъ вмѣсто нѣмецкаго желѣза. Точно то же въ платьѣ, въ обуви, въ пищѣ, во всемъ, что изобрѣтаетъ «самъ народъ», своимъ «безошибочнымъ чутьемъ правды»; посконный холстъ, войлокъ, лыко, вапустные листья, квасъ-суровецъ,—всѣ простые, существенные элементы природы, которые одни только признаетъ народъ. Все-жъ остальное,—всѣ эти рябчики, ростбифы, портвейны, — онъ отталкиваетъ, «какъ ложь».

Во имя такой-то дѣтской теоріи, лишенной содержанія и серьезнаго смысла, «Ясная Поляна» вдругъ бьетъ походъ противъ всей вообще современной педагогіи. Въ этомъ неуваженіи къ мысли и слову, къ своему собственному достоинству, къ дѣлу, за которое берешься съ такою неосторожною вѣтренностью, — мы видимъ печальный признакъ нашего общественнаго скудоумія и нашей общественной невоспитанности.

Правительство, въ историческихъ судьбахъ нашего отечества, всегда стоитъ впереди общества. Оно двинуло насъ въ первый разъ на путь европейской исторіи при Петрѣ; оно могучею рукою двинуло насъ впередъ и въ 60-хъ годахъ XIX-го столѣтія. Но мы, мы всегда оставались старовѣрами; мы всегда уходили въ расколъ и предпочитали Никитѣ Пустосвятовъ, удивившихъ насъ въ дремучіе лѣса,—кораблямъ и каналамъ, приближавшимъ насъ къ европейской цивилизаціи. Правительство рубило намъ въ Петербургѣ окно къ свѣту всего человѣчества, а мы забивали послѣднія щели, сквозь которыя проникали его лучи въ наши московскіе и суздальскіе терема.

Судьба педагогіи такова же, какъ и судьба нашихъ другихъ общественныхъ явленій. Цѣлымъ рядомъ спасительныхъ реформъ убѣждаютъ насъ, что наступило время истиннаго «народнаго единства» въ равенствѣ правъ и обязанностей; что истинная «народная сила» можетъ быть достигнута только просвѣщеніемъ народа. Земства всей Россіи призываются принять дѣятельное участіе въ народномъ образованіи; руководство этимъ образованіемъ ввѣряется чести и здравому смыслу дворянства, какъ самаго просвѣщеннаго изъ сословій. Введеніемъ гласнаго суда, участіемъ народа въ земскомъ и волостномъ представительствѣ, въ судѣ присяжныхъ,—наконецъ новою воинскою повинностью, — достигается то, что образованіе народа дѣлается *обязательнымъ*.

Какъ же мы отъликаемся теперь на этотъ призывъ? У насъ хотѣтъ вести всѣ просвѣщенныя русскія силы на помощь

нашей темной братіи, а мы, подъ разными ухищреніями, силимся доказать, будто этому темному народу не нужно свѣта, будто весь свѣтъ у него, а не у насъ, будто необходимо оставить ему «свободу» просвѣщать себя «на свой счетъ», и безъ нашего участія—отдать все дьячкамъ!!

А когда люди, дорожащіе судьбою народнаго образованія, видящіе въ немъ основной вопросъ нашего общественнаго возрожденія,—посвятили себя, по мѣрѣ своихъ силъ, добросовѣстной разработкѣ этого неблагодарнаго дѣла; когда они изучили все, что сдѣлано для успѣха этого дѣла опытомъ другихъ, болѣе зрѣлыхъ обществъ, и, въ борьбѣ со множествомъ препятствій, начали прилагать результаты своего изученія къ устройству въ Россіи школьнаго дѣла на разумныхъ началахъ, подавляя старыя грѣхи, пополняя старыя недостатки:—вдругъ на нихъ поднимается доселѣ молчавшая, доселѣ всѣмъ довольная, партія старыхъ порядковъ, и на нихъ,—скромныхъ проводниковъ правительственныхъ цѣлей въ узкой сферѣ школьнаго обученія,—усматриваетъ какъ на заговорщиковъ, какъ на враговъ общества, грозящихъ сокрушить и его религію, и его семейный бытъ, и всѣ нравственныя начала его.

Люди, которымъ съ руки старое невѣжество и старое безправіе народа, которые напуганы неумолимо надвигающимся свѣтомъ образованія, какъ хищныя совы, застигнутыя лучами солнца на своей воровской ночной вылазкѣ,—не хотятъ, чтобы этотъ солнечный свѣтъ обличилъ ихъ истинные мотивы. Но они напрасно прячутся за «народъ» и за «религію». Они въ 1000 лѣтъ не научили народъ читать «Благовѣстіе Христа», его божественное ученіе о свободѣ, братствѣ и равенствѣ людей. Нашъ русскій крестьянинъ теперь, въ концѣ XIX-го столѣтія, такой же невѣжда въ своей собственной религіи, какъ и во времена равноапостольнаго Владиміра. Только «новая педагогія» дала въ руки ученику, а черезъ него въ очагъ семьи, святое евангеліе на понятномъ народу языкѣ, объясненное не только живымъ, доступнымъ ребенку словомъ, но и укрѣпленное навсегда въ его памяти увлекающими его картинами. Только «новая педагогія» объяснила ребенку тѣ молитвы, которыя до той поры читалъ онъ ежедневно безъ смысла и вниманія. Старая педагогія всѣми силами своими вооружалась и противъ перевода евангелія, и противъ передачи книгъ свящ. писанія въ руки дѣтямъ, и противъ объясненія молитвъ. Она давала одинъ псалтырь, одинъ часовникъ, потому что слишкомъ твердо уповала на недоступность дѣтямъ ихъ смысла. Старая педагогія готова была мучить дѣтей сидѣніемъ и

молчаніемъ «отъ 8-ми часовъ утра до сумерекъ», но она всегда боялась развить человѣческій смыслъ, человѣческое сознаніе въ ребенкѣ, и потому намѣренно забивала ихъ. Старой педагогій дорога не «религія», не «грамматика». Ей дорога монополія знанія; ея идеаль—горсть пастырей съ посохами въ рукѣ, и стада «вротѣхъ, беззащитныхъ» барановъ вокругъ нихъ, у ногъ ихъ...

Мы знаемъ теперь, что и «грамматикѣ» они научили народъ такъ же, какъ и религіи. Цѣлая Россія не умѣетъ найти дверей суда, не умѣетъ прочесть повѣстки пристава, не можетъ заявить истину письменнымъ свидѣтельствомъ. Цѣлая Россія не вѣдаетъ своихъ законовъ, своихъ правъ, своихъ обязанностей; не вѣдаетъ своего собственнаго богатства, своей исторіи, своего отечества, потому что лишена возможности пользоваться инымъ опытомъ, кромѣ личнаго, тѣмъ самымъ, которымъ руководится звѣрь и птица. Цѣлая Россія лишена незамѣнимаго воспитательнаго вліянія литературы, того поученія лучшихъ людей своихъ въ нравственности, добрѣ и истинѣ, которое служитъ одною изъ главныхъ причинъ отличія человѣческаго духа отъ слѣпотаго инстинкта животныхъ. Всѣмъ этимъ наградила русскій народъ «старая педагогія» — этотъ вѣрный служитель и вѣрное зеркало «старыхъ стихій» русскаго общественнаго устройства.

Какъ въ вопросахъ религіи и грамматики, такъ же точно искренна старая педагогія и въ вопросѣ о самородности и свободѣ народной школы. Реформы настоящаго царствованія потребовали школы — и не нашли школы нигдѣ, кромѣ статистическихъ отчетовъ. Земство, по зову правительства, приступило къ заложенію школьнаго дѣла по глухимъ дебрямъ нашего пространнаго отечества. Въ борьбѣ съ вѣковыми предрасудками, съ узкою корыстью интересовъ, съ сонливымъ безучастіемъ общества, отвыкшаго отъ руководства своими дѣлами, и потерявшаго сознаніе того, *въ чемъ именно* его дѣло, — немногочисленнымъ группамъ болѣе бодрыхъ и просвѣщенныхъ людей удалось, въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи, пробудить въ средѣ земства нѣкоторое сочувствіе къ народному образованію и привлечь къ нему хотя небольшія матеріальныя средства. Если далеко не вездѣ, то по крайней мѣрѣ во многихъ мѣстахъ, земство, къ счастью, стало смотрѣть на образованіе народа, какъ на *собственное земское дѣло*, совершенно согласно съ духомъ и буревою земскаго учрежденія. Усиліями различныхъ дѣятелей выработался довольно опредѣленный планъ, на основаніи котораго земства могли съ наибольшею пользою служить дѣлу образованія. Вся Россія кричала, что нѣтъ учителей, и требовала учителей. Школы съ дѣч-

ками и священниками оказались существующими только на бумагѣ. Духовенство, плохо подготовленное, не пользовавшееся особымъ довѣріемъ народа, всецѣло поглощенное своими прямыми обязанностями, съ которыми оно также не умѣло справиться, общимъ голосомъ народа было признано бесполезнымъ и невозможнымъ въ званіи учителя. Земство стало отрывать учительскія семинаріи, устраивать временные педагогическіе курсы для тѣхъ учителей, которымъ уже некогда было перевоспитывать себя долгимъ курсомъ учебнаго заведенія, но которыхъ необходимо было направить на вѣрный путь уроками искусныхъ специалистовъ, которыхъ энергію нужно было поднять общеніемъ другъ съ другомъ и съ лицами, сочувствующими ихъ дѣлу. Въ то же время усиліями земствъ и просвѣщенныхъ лицъ стали открываться въ нашихъ безграмотныхъ селеніяхъ школы, удовлетворявшія хотя самымъ первоначальнымъ требованіямъ здоровья и порядка, безъ которыхъ былъ немислимъ успѣхъ обученія. Такихъ школъ еще очень мало, но все-таки онѣ есть. Что они есть, что они распространяются, что они приобретаютъ сочувствіе и общаются будущности,—въ этомъ лучше всего свидѣтельствуешь тотъ дружный лай, который поднимаетъ теперь на нихъ старая педагогія. Во имя «народности» и «свободы» старая педагогія требуетъ, чтобы не изгонялись изъ школы «буки-азы-рцы», такъ удачно задерживавшіе успѣхи ученія; но зачѣмъ же останавливаться на этой ступени «народности»?

Если русскіе переняли отъ византійцевъ обычай придавать буквамъ названіе тѣхъ предметовъ, которые начинались съ этой буквы, какъ это и до сихъ поръ дѣлается въ букваряхъ Наливкина, Леухина, и другихъ педагогическихъ руководствахъ старой педагогіи: «А—арбузъ, Ё—Ёетида», — то почему же не взойти вспять до той исторической эпохи, когда люди умѣли объяснять свою мысль только гіероглифами, подразумѣвая цѣлую мысль подъ изображеніемъ одного предмета? «Народность» обоихъ способовъ будетъ одинаково несомнѣнна. Какъ въ медицинѣ изъ грубой хинной или ракитовой коры научились люди выдѣлять ихъ характерное цѣлебное начало въ видѣ алкалоидовъ хинина и салицина, найдя, что примѣсь древесины и др. веществъ только мѣшаетъ ихъ дѣйствию; такъ точно и педагоги, для выраженія человѣческой мысли письмомъ, двигались постепенно отъ громоздкаго и неудобнаго языка гіероглифовъ, черезъ посредствующую ступень буквъ, называющихъ цѣлые предметы, въ чистому звуку безъ примѣси, который одинъ только нуженъ для составленія слова. Противъ чего вооружаться тутъ? И какъ рѣшиться назы-

вать *методомъ* свою собственную *недоконченность*, свою очевидную остановку на половинѣ пути, всѣми уже пройденнаго? Новая педагогія не споритъ, чтобы съ *бе, ее, ie*, съ «*буки-азъ-рицы*» нельзя быть грамотнымъ. Она знаетъ, что Ломоносовы выходили изъ-за псалтыря и изъ-за *буки-азъ-рицы*. Если по той или другой причинѣ остались еще у насъ педагоги, которые болѣе привыкли къ способу *бе, ее, ie*; которые достигаютъ съ помощью его лучшихъ результатовъ, чѣмъ съ другимъ, болѣе совершеннымъ, но менѣе имъ знакомымъ или менѣе сочувственнымъ, то никто не подумаетъ мѣшать имъ держаться ихъ способа. Но все-таки нѣтъ основанія такую личную, такъ сказать, домашнюю особенность возводить въ теорію, защищать какъ принципъ. Точно также несходительно смотреть новая педагогія и на школы, въ которыхъ нѣтъ вентиляціи, нѣтъ никакихъ пособій болѣе понятнаго дѣтямъ нагляднаго обученія. Такія школы существуютъ сотнями, можетъ быть, тысячами, онѣ составляютъ главную массу нашихъ русскихъ школъ. Недостатокъ средствъ, недостатокъ сочувствія такъ просто объясняютъ необходимость ихъ существованія. Существованіе такихъ школъ принимается педагогами въ расчетъ при всѣхъ ихъ замыслахъ дѣйствовать на школы тѣмъ или другимъ способомъ. Но изъ того, что еще существуютъ *дурныя* школы, не слѣдуетъ строить принципъ, что эти *дурныя школы должны существовать вѣчно*, что онѣ народны, что онѣ однѣ поддерживаютъ религію и семейное начало. Гр. Толстой во 2-мъ № журнала «Ясная Поляна» 1862 г. (стр. 59) говоритъ курсивомъ: «*дурныя школы ни мало не полезны, а положительно вредны, — для насъ это несомнѣнная истина*». Почему же теперь, въ 1874 г. дурныя школы должны появиться въ количествѣ 400 на каждый уѣздъ и упразднить нынѣ существующія «дорогія» школы? Изъ того, что въ Подосиновской школѣ дѣти сидятъ всѣ за однимъ столомъ, кто задомъ къ свѣту, кто загоразивая себѣ свѣтъ пишущей рукою, стѣсня другъ друга, дыша другъ другу въ лицо, потѣя другъ около друга, подсказывая другъ другу и пощипывая другъ друга, — вовсе однако не слѣдуетъ необходимости издѣваться надъ «*подвигивающимися столиками*», несравненно болѣе удобными, и обвинять ихъ защитниковъ чуть не въ ереси.

Нѣтъ, старой педагогіи важны не подвигивающіеся столики, не «кубики», не баронъ Корфъ, не «*бе, ее, ie*». Ее испугало слишкомъ для нея неожиданное, дружное движеніе правительства и земства къ дѣйствительному просвѣщенію народа. Испугало, что новая педагогія стремится «развить смыслъ и сознание окружающаго» въ дѣтяхъ, которыхъ она беретъ учить, не до-

вольствуясь выкрикиваніемъ «стишковъ» подосиновскаго учителя; что «новая педагогія» стремится дать народу не механическія слова религіи, въ родѣ «*надѣющіеся на ны*», а само *познаніе религіи*; не слова нравственности, писанныя въ прописяхъ старой педагогіи: «добродѣтель, добродѣтель одна почтенна»... сопровождаемыя сокрушеніемъ реберъ, наглою продажною и наглою лѣнностью проповѣдника добродѣтели,—а стремится вкоренить самыя *обычаи нравственности* честнымъ отношеніемъ къ дѣлу, ласковымъ вниманіемъ къ потребностямъ и естественнымъ слабостямъ дѣтскаго возраста. Напрасно старая педагогія обольщаетъ при этомъ народъ воспѣваніемъ какой-то призракной «свободы». Этой «свободы издохнуть съ голоду» не нужно народу. Народъ сознаетъ свои слабости гораздо лучше его живыхъ друзей. Онъ никогда не имѣлъ мистическаго взгляда на силу невѣжества. Въѣва тому назадъ убѣдился онъ, что ученіе свѣтъ, неученіе тьма, и не разубѣдитъ его въ этомъ. Народъ знаетъ свое безсиліе, и зоветъ къ себѣ на помощь; какъ человѣкъ опыта, а не теоріи, онъ только выжидаетъ, чтобы опытъ оправдалъ всякое дѣло. Его пристрастіе къ дьячковской школѣ имѣетъ одинъ простой смыслъ: народъ не знаетъ никакой другой школы, кромѣ дьячковской, потому что старая педагогія, воспитывавшая его, не захотѣла или не сумѣла дать ему ничего другого. Гр. Толстой показалъ ему другую, ясно-полянскую школу, и онъ, черезъ одинъ мѣсяцъ опыта, уже предпочелъ ее своей «гѣвковой, самородной школѣ». То же видимъ мы вездѣ. Гдѣ только ни появится способный и честный учитель «новой педагогіи», тамъ школы набиты биткомъ; тамъ родители не стѣсняются отнимать мальчиковъ отъ пастыбы, отъ бороны, чтобы они могли посѣщать школу даже въ маѣ, даже въ іюнѣ. И нигдѣ никто не бунтуется ни противъ того, что дѣти узнаютъ, гдѣ Москва, гдѣ Волга, ни противъ того, что они умѣютъ разсказать исторію Мамаева побоища и крещеніе Владиміра.

Напротивъ того, гдѣ нѣтъ почина болѣе образованныхъ людей, гдѣ нѣтъ чьего-либо авторитетнаго и настойчиваго вмѣшательства въ дѣла крестьянъ, тамъ дѣло образованія «сидитъ сиднемъ-сидячимъ». Мы знакомы съ школьнымъ дѣломъ нашего отечества не меньше гр. Толстого; по своей обязанности директора училищъ и потомъ по обязанности предсѣдателя земской управы, мы имѣли случай знакомиться съ нѣскольکو болѣе большимъ числомъ школъ и съ нѣскольکو болѣе разнообразныхъ сторонъ, чѣмъ гр. Толстой. Мы вполне убѣдились въ равнодушіи крестьянъ къ школѣ. Но это равнодушіе не удивляетъ насъ. Мы считаемъ

даже, что иного отношенія къ просвѣщенію не можетъ быть у невѣжественныхъ людей. Если бы неучи могли сочувствовать ученію, неучей не было бы. Но въ томъ-то и дѣло, что тутъ роковой кругъ: тьма отвращаетъ отъ ученія, а безъ ученія продолжается тьма. Это выводъ и разсудка, и опыта. Мы могли бы сообщить много грустныхъ фактовъ изъ школьной практики только одного уѣзда; могли бы разсказать, какъ *крестьяне отказывались отъ школъ*, устраиваемыхъ на средства земства и частныхъ лицъ, единственно изъ нежеланія давать отъ цѣлаго села нѣсколько возовъ ржаной соломы на топку одной печи; какъ въ одномъ многочисленномъ селеніи крестьяне почти заморозили учительницу, оставивъ ее зимою въ нетопленной избѣ, и вынудивъ ее, вслѣдствіе разстроеннаго здоровья, бросить навсегда занятія учительствомъ. А между тѣмъ всѣ эти школы были наполнены дѣтьми крестьянъ, и крестьяне съ большою похвалою отзывались объ этихъ школахъ. Самъ гр. Толстой можетъ вспомнить, что, по выходѣ его изъ должности мирового посредника, въ крапивинскомъ уѣздѣ закрылись почти всѣ школы его участка. Мы можемъ привести и другіе случаи; какъ, напримѣръ, священникъ и законоучитель училища, онъ же благочинный, сползъ съ круга школьнаго учителя, скромнаго и трудолюбиваго юношу, потому только, что училище помѣщалось нѣсколько лѣтъ въ церковной караулѣ. Этотъ фактъ былъ до того признанъ, что при закладѣ новаго дома для школы сельскій сходъ самымъ рѣшительнымъ образомъ воспротивился распоряженію управы строить училище около церкви, и настоялъ на перенесеніи его на выгонъ, «по-дальше отъ волостныхъ, отъ поповъ, и отъ кабаковъ», какъ откровенно выразился строгій старичокъ-строитель, выбранный крестьянами. Мы знаемъ еще и то, что безучастіе крестьянъ къ школамъ вовсе не повальное; что всегда есть хотя небольшая группа болѣе разумныхъ, а главное, болѣе заинтересованныхъ людей, какъ, напр., отцы большихъ семействъ, которые готовы искренно хлопотать объ открытіи училища. Но большинство схода часто бываетъ незаинтересовано прямо въ этомъ дѣлѣ, и усилія отдѣльныхъ хозяевъ не приводятъ тогда ни къ чему. Вообще народъ, въ своемъ отношеніи къ школамъ, не имѣетъ никакихъ специальныхъ качествъ, отличающихъ его отъ всякаго другого невѣжественнаго общества; поѣтому, чтобы судить насколько практично ожидать открытія сотенъ школъ послѣ отказа просвѣщенныхъ людей руководить школьнымъ дѣломъ,—нужно вспомнить, съ какою апатіею относимся мы сами, большинство нашего такъ-называемаго образованнаго общества,—къ тому же учебному дѣлу.

Мы слышали уже въ провинціи горячее одобреніе «теоріи невмѣшательства» гр. Толстого, и очень немудрено, что постановленія нѣкоторыхъ предстоящихъ земскихъ собраній относительно шеольнаго бюджета будутъ носить на себѣ несомнѣнные слѣды удобной экономической системы гр. Толстого; подобныя системы и безъ того живутъ довольно цѣпкою жизнію въ глубинѣ человѣческаго духа, и если человѣкъ не всегда рѣшается проявлять ихъ, то единственно изъ опасенія обнаружить свои истинныя инстинкты. Только добро и правда не боятся свѣта. Но теперь, поощряемые талантливымъ воззваніемъ авторитетнаго имени, эти инстинкты безстрашно могутъ выступить изъ своихъ потайныхъ норъ и стать дружною стѣною вокругъ давно сочувственнаго имъ знамени: не нужно — скажутъ они — отпускать деньги на народное образованіе и строить народу дорогія школы; гораздо лучше предоставить ему свободу найма дьячкова на собственные деньги. Вотъ это-то и есть «теорія невмѣшательства».

Если люди, отстаивающіе въ 1874 г. идеалы временъ Ярослава Мудраго, воображаютъ, что они защищаютъ почтенныя начала народности, — то они горько заблуждаются. Ярославъ былъ цивилизаторъ и передовой человѣкъ своего вѣка; онъ былъ другъ свѣта, насколько его время понимало этотъ свѣтъ. Но если бы наши запоздалые проповѣдники Ярославовой приходской школы въ 1874 г. жили въ его вѣкѣ съ тѣми же темными инстинктами, которые они обнаруживаютъ теперь во враждѣ противъ свѣта ихъ собственнаго времени, то, конечно, князь молодого христіанства не увидѣлъ бы ихъ въ своихъ рядахъ. Нѣтъ, онъ бы долженъ былъ преслѣдовать ихъ: при немъ они были бы тѣми языческими волхвами, которые изъ своихъ финскихъ и пермскихъ дебрей волновали едва прозрѣвшій народъ своимъ плутовскимъ кудесничествомъ и своимъ шопотомъ ненависти противъ всего, откуда исходилъ свѣтъ новой жизни. Предками нашихъ послѣднихъ могикианъ были не сподвижники Владимира и Ярослава, а тѣ, которые вопили въ безсильномъ отчаяніи: «выдыбай, выдыбай, нашъ боже!»

Но чудище осталось въ пучинѣ вмѣстѣ съ дряхлымъ язычествомъ, и не воскреснетъ больше отсюда, какъ не воскреснетъ никогда, ни подъ какимъ именемъ одряхлѣвшая дьячковская педагогія...

ЕВГЕНІЙ МАРКОВЪ.

С. Александровка.



---

## ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КРИТИКА

Замѣчанія Ю. О. Самарина на книгу „Задачи Психологии“.

---

Возраженія Ю. О. Самарина на мою книгу „Задачи Психологии“ обязательно доставлены мнѣ самимъ авторомъ въ рукописи. Они представляютъ особенный интересъ, какъ по имени автора, занимающаго видное мѣсто въ мыслящихъ слояхъ русскаго общества, такъ и по взглядамъ, которыхъ онъ является талантливымъ и почтеннымъ представителемъ въ нашей литературѣ. Къ этимъ общимъ соображеніямъ, побуждающимъ меня передать на судъ читателей мою полемику съ Ю. О. Самаринимъ, присоединяются и чисто личныя. Онъ сообщилъ мнѣ свои замѣчанія на мою книгу по моей убѣдительной просьбѣ. Печатаемая теперь въ извлеченіи и съ согласія автора происходившій между нами обмѣнъ мыслей, я не только доставляю читателямъ новый случай проверить свои взгляды на психическія явленія съ точки зрѣнія, рѣзко отличающейся отъ общепринятой и ходячей у насъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ исполняю долгъ глубокой, душевной благодарности, которую мнѣ особенно пріятно публично выразить искренно почитаемому критику.

Передаю возраженія Ю. О. Самарина въ извлеченіи изъ его писемъ, по возможности, подлинными словами.

---

Психическая жизнь, говорите вы, — пишетъ мнѣ Ю. О. Самаринъ, — и матеріальная жизнь истекаютъ или выдѣляются изъ одного источника; этимъ объясняется, съ одной стороны, та степень ихъ однородности, которая даетъ имъ возможность взаимно проникаться и другъ на друга дѣйствовать; съ другой — ихъ обоюдная независимость. Міръ матеріальный не продуктъ міра психическаго и, наоборотъ, міръ психическій не продуктъ матеріальнаго міра; изъ одной среды въ другую нѣтъ даже прямого перехода, который бы могъ

быть опытомъ дознанъ и логически формулированъ. Этими положеніями вы размежевываетесь съ двухъ сторонъ, съ материалистами и съ идеалистами; далѣе, обращая ту же мысль противъ однихъ материалистовъ, вы формулируете ее въ слѣдующихъ словахъ: душа есть самостоятельный и самодѣятельный организмъ (въ отличіе отъ организма физическаго). Такимъ образомъ, между ними устанавливается своего рода равноправность, если понимать послѣднее слово въ смыслѣ одинаковой, обоюдной зависимости и въ то же время одинаковой, обоюдной же независимости. Но тутъ же мы узнаемъ, что первое побужденіе къ дѣятельности, первый толчокъ душа получаетъ отъ матеріальнаго міра и болѣе ни откуда; что всѣ наши общія представленія и понятія суть не иное что, какъ психическія переработки матеріальныхъ впечатлѣній; наконецъ, общіе, что организмъ психическій имѣетъ въ матеріальномъ организмѣ необходимую для перваго *подбавку или подкладку*. Это значитъ, во-первыхъ, что понятіе жизни психической вообще и психической жизни человѣка вполне тождественны—*die beiden Begriffe decken sich*, иначе: внѣ человѣка нѣтъ психической жизни, по крайней мѣрѣ на равной или на высшей степени развитія; во-вторыхъ, это значитъ, что бытіе человѣка, въ смыслѣ самосознающаго субъекта, оканчивается въ моментъ расторгненія связи души съ тѣломъ. Между тѣмъ, изъ заявленнаго факта обоюдной ихъ зависимости обратнаго вывода сдѣлать нельзя, ибо жизнь физическая отнюдь не обусловливается непрерывнымъ сожителствомъ съ душевнымъ организмомъ, а обнаруживается не только внѣ человѣка, но и въ немъ самомъ, множествомъ такихъ явленій, въ которыхъ нѣтъ и слѣда психизма. Итакъ, самостоятельность матеріальнаго міра очевидна, но что стало съ самостоятельностью души?

Основная мысль книги — опредѣленное извѣстнымъ образомъ отношеніе психическаго организма къ физическому, — повторяется нѣсколько разъ въ различныхъ формахъ. Желаніе выяснить ее со всѣхъ сторонъ заставляетъ васъ прибѣгать то къ одной, то къ другой. Я знаю, что, говоря о предметахъ видимыхъ и осязаемыхъ, мы иначе не можемъ переводить ихъ изъ своего личнаго представленія въ представленіе другого лица, какъ одухотворяя ихъ, то-есть приписывая имъ, какъ ихъ свойства, наши субъективныя ощущенія, ими возбуждаемыя (веселое утро, сердитыя волны и т. д.). Наоборотъ, излагая ходъ психическихъ процессовъ, мы по неволѣ материализируемъ ихъ, заимствуя терминологию изъ внѣшняго міра. По этому, я бы и не подумалъ придираться къ неточности нѣкоторыхъ выраженій, которую вы сами сознаете, конечно, лучше меня; но дѣло въ томъ, что изъ-за нихъ, какъ мнѣ кажется, проглядываетъ несогласованное двойство мысли. У васъ идутъ въ перемежку двѣ серіи формулъ, которымъ соответствуютъ два положенія, взаимно исключаящіяся. Одно изъ нихъ (общее, намъ недоступное исходное начало, изъ котораго выдѣляются два, относительно другъ друга самостоятельныя, хотя и не разобщенныя между собою) я привелъ выше; затѣмъ я читаю: „почва души вполне физическаго свойства—основа души матеріальна—душа составляетъ органическую часть матеріальнаго міра, его *продолженіе и высшую ступень*“. Эти формулы,

особенно двѣ послѣднія, выражаютъ другое положеніе, а именно: душа прямой продуктъ или видоизмѣненіе физической природы, стало быть исходить изъ нея и только *черезъ нее* (*посредственно*, а не *непосредственно*) изъ общаго ихъ источника. Повидимому, вы придерживаетесь перваго положенія, но всѣ ваши выводы выходятъ изъ второго и къ нему же приводятъ, если идти обратнымъ путемъ отъ заключеній къ точкѣ отправленія. Но когда же трезвый и серьезный матеріализмъ добивался большаго? Когда отрицалъ онъ, что въ непрерывномъ развитіи однихъ организмовъ изъ другихъ, человѣкъ выше животнаго, животное выше дерева, дерево выше камня? Пусть только будетъ душа *продолженіемъ* тѣла и онъ останется доволенъ.

Признаюсь, я ожидалъ иного. Хотя вы повторяете вслѣдъ за Кантомъ, что человѣкъ имѣетъ дѣло не съ предметами матеріальнаго міра, а съ ощущеніями, возникающими въ немъ самомъ, однако это не помѣшало вамъ признать объективное бытіе этого міра. Въ самыхъ этихъ ощущеніяхъ вы нашли какъ бы ручательство исполнѣ достаточное и во всякомъ случаѣ единственно возможное его реальности. Мнѣ казалось, что послѣ этого процессы другого порядка (психическіе) могли бы навести васъ на признаніе другой, одинаково реальной, и по отношенію къ человѣку, также вышней психической среды. Но вы объ ней умалчиваете, а у насъ, въ печати, умолчаніе въ этомъ дѣлѣ равносильно отрицанію. Выходитъ, что въ той мѣрѣ, въ какой психическая жизнь обуславливается содержаніемъ и побужденіями извнѣ, она поставляется въ зависимость только отъ міра матеріальнаго; всѣ же факты свойства психическаго суть не иное что, какъ продукты внутренней, психической переработки (сравненія, разложенія и обобщенія), слѣдовательно, существуютъ только въ насъ, а не внѣ насъ. Почему такъ?—я не вижу. Вы, мнѣ кажется, впали въ такую же ошибку, въ какой сами уличили крайнихъ идеалистовъ, то-есть вы отвергли реальность и объективность невещественнаго міра на томъ только основаніи, что *помятіе* о немъ зарождается въ нашей субъективной средѣ.

Еслибъ вы придерживались въ строгости перваго вашего положенія, а именно, что какъ физическая, такъ и психическая жизнь исходятъ (не одна изъ другой), а каждая непосредственно изъ одного общаго имъ обѣимъ начала, тогда вы могли бы придти къ инымъ заключеніямъ.

Единое начало, служащее источникомъ для двухъ различныхъ началъ, должно заключать въ себѣ отличительныя свойства обоихъ и потому нѣтъ ничего антилогичнаго въ предположеніи живой связи и непосредственнаго общенія психическаго свойства между душою, поставленною въ зависимость отъ матеріальнаго міра и этимъ исходнымъ началомъ всякой жизни. Если мнѣ скажутъ, что нельзя себѣ *представить* акта начальнаго творчества и что поэтому ему нѣтъ мѣста въ положительной наукѣ, то я, во-первыхъ, отвѣчу, что одинаково недоступенъ представленію и процессъ начальнаго раздвоенія бытія вообще на два вида бытія: матеріальнаго и психическаго; при этомъ я позволю себѣ напомнить то, что говорить гдѣ-то забытый Гегель о дурной привычкѣ: *sich dasjenige vorstellen zu wollen was Sache des Denkens ist*. Во-вторыхъ, я замѣчу, что и

вы не обошлись безъ творчества. Вы также допустили его, хотя и въ самыхъ тѣсныхъ предѣлахъ, какъ проявленіе психической свободы (въ такъ-называемыхъ произвольныхъ, въ сущности безпричинныхъ дѣйствіяхъ); а въ понятіи творчества обыкновенному сознанію претитъ не объемъ его и не степень его силы, а творческій актъ самъ по себѣ, этотъ *salto mortale* изъ небытія въ бытіе. Но объ этомъ дальше.

Мнѣ кажется, что мысль о зависимости психической жизни только и единственно отъ матеріальной среды просто выхвачена изъ катехизиса матеріалистовъ, и что ничто не обязывало васъ принять ее. Все, что приводится въ ея пользу далеко не убѣдительно и сводится окончательно къ одному факту, а именно: къ сравнительно-позднѣму проявленію психическаго элемента какъ въ исторіи человѣчества, такъ и въ единичномъ развитіи каждаго лица. Но, во-первыхъ, выводъ изъ факта самъ по себѣ не строгъ. Послѣдовательность двухъ явленій не доказываетъ еще, чтобъ одно изъ нихъ, позднѣйшее, было *только* продолженіемъ предшествовавшаго. Во вторыхъ, самый фактъ далеко не принадлежитъ къ числу безспорныхъ и окончательно выясненныхъ. Точно ли, въ первой порѣ своего развитія, человѣчество жило животною жизнью? — это еще вопросъ. Очень можетъ быть, что состояніе дикости, представляющееся нѣкоторымъ первобытною формою бытія, было не инымъ чѣмъ, какъ послѣдующимъ одичаніемъ. Конструкція древнѣйшихъ языковъ и отрывочные остатки древнѣйшихъ вѣрованій едва ли не доказываютъ, что человѣчество и въ ту раннюю эпоху, когда, повидимому, всѣ помыслы его должны бы были ограничиваться удовлетвореніемъ матеріальныхъ потребностей, приступало прямо къ самымъ отвлеченнымъ и труднымъ вопросамъ, къ тѣмъ недостижимымъ вершинамъ, передъ которыми оно стоитъ и теперь. Еще темнѣе для насъ начало психической жизни въ ребенкѣ. Легкость, съ которою онъ усваиваетъ себѣ все, что ему говорится о мірѣ невидимомъ, о Богѣ, о добрѣ и злѣ, о совѣсти и т. д., позволяетъ думать, что въ передаваемыхъ ему понятіяхъ онъ находитъ только формулы или названія для предметовъ, какъ-будто уже знакомыхъ ему по внутреннимъ ощущеніямъ, вызываемымъ въ немъ дѣйствіемъ невещественной среды. Разрѣшить этотъ вопросъ путемъ какихъ-либо наблюденій надъ другими, едва ли возможно... *La religion est avant tout une chose d'expérience personnelle.* Въ этихъ словахъ глубокая правда. Дѣйствительно, откровеніе, данное всему человѣчеству въ объективной формѣ, предполагаетъ непременно непосредственное личное откровеніе, слово, обращенное къ каждому субъекту порознь и доносящееся до него черезъ всѣ событія внутренней и внѣшней его жизни. Доказать этого, конечно, нельзя (точно такъ, какъ нельзя доказать произвольности того или другого поступка — ее можно только *признать*); вѣра, т.-е. опознаніе и признаніе этого голоса, не вынуждается никакими доводами, она есть актъ свободы, оттого и приписывается ей спасительная сила. Но я утверждаю только, что признаніе *непосредственного* общенія души съ источникомъ психической и физической жизни нисколько не противорѣчитъ одному изъ вашихъ положеній (назову его первымъ) и исключается вторымъ, единственно потому, что послѣднее само не мирится съ первымъ.

Перехожу прямо къ вопросу о психической свободѣ, или произвольности. Вы очень вѣрно поняли и опредѣлили его важность. Дѣйствительно, въ произвольности заключается условіе самостоятельности психической жизни и характерный ея признакъ, такъ что еслибъ удалось матеріалистамъ ее *wegzudemonstriren*, то психическая жизнь окончательно слилась бы съ физической, и между психологіею и фізіологіею установилось бы такое же отношеніе, какое существовало между алхіміею и химіею, пока первая совсѣмъ не исчезла. Ваша глава VII, посвященная этому вопросу, на мой взглядъ, есть самая лучшая, по тонкости анализа, по глубинѣ и вѣрности многихъ отдѣльныхъ мыслей (особенно въ отрицательной части) и, въ то же время, самая неудовлетворительная въ положительныхъ результатахъ, на которыхъ вы остановились. По внимательномъ, неоднократномъ ея прочтеніи, я все-таки остаюсь въ недоумѣніи: признаете ли вы произвольность въ дѣйствіяхъ, или нѣтъ? Вижу только, что вамъ было бы крайне тяжело отъ нея отказаться.

На стр. 157 высказывается, какъ результатъ научныхъ изслѣдованій, что въ смыслѣ *объективномъ*, ни произвольныхъ, ни случайныхъ событій быть не можетъ и нѣтъ; что всѣ они необходимы, только съ отгѣнками, а именно: „событія, приписываемыя произволу тоже необходимы, но ихъ необходимость зависитъ непосредственно не отъ внѣшняго міра, а отъ воли лица, *хотя эта воля тоже опредѣляется необходимыми мотивами*“. Стало быть, случайность и произвольность существуютъ только въ смыслѣ субъективномъ. Я понимаю это такимъ образомъ: случайность и произвольность—два условныхъ термина; употребляя первый, мы даемъ знать, что мы отрываемъ одно событіе отъ серіи предшествовавшихъ ему и ближайшихъ къ нему (которыми обуславливается его необходимость) и сводимъ его съ другимъ событіемъ, обусловленнымъ другою серіею причинъ и послѣдствій; а употребляя второй терминъ (*произвольность*) мы заявляемъ только, что психическая причина, вынудившая необходимость психическаго факта, въ данномъ случаѣ ускользаетъ отъ нашего сознанія—*c'est un aveu d'ignorance*. На этомъ вы, мнѣ кажется, должны бы были остановиться и отказаться отъ всякой дальнѣйшей гонимы за произвольностью въ дѣйствительности. Вы однако принимаете этотъ неблагодарный трудъ и начинаете съ того, что откидываете дѣйствія произвольныя, въ надеждѣ, что что-нибудь да останется. Къ произвольнымъ вы относите: всѣ дѣйствія рефлексивныя, всѣ бессознательныя, всѣ поступки, хотя и сознательныя, но выполняемые подъ неотразимымъ вліяніемъ побужденій физическихъ или психическихъ, которыхъ человѣкъ не въ состояніи одолѣть. Далѣе оказывается, что сознательныя дѣйствія, вышедшія изъ внутренней борьбы разнородныхъ побужденій, также не входятъ въ категорію произвольныхъ, ибо борьба побужденій и побѣда однихъ надъ другими совершается по законамъ механики; сильнѣйшее беретъ верхъ надъ слабѣйшимъ, а степень ихъ относительной силы въ данную минуту обуславливается всею предшествовавшею жизнью человѣка, то-есть рядомъ моментовъ, въ которыхъ исходъ борьбы все-таки обуславливался тѣмъ же закономъ. Этимъ упраздняется воля, какъ боевое орудіе противъ невольныхъ побужденій. Наконецъ, вы

выражаетесь еще общѣе, говоря, что всякое опредѣленное душевное состояніе (иначе: всякое ощущаемое побужденіе) „дѣйствуетъ на человѣка необходимымъ образомъ и вызываетъ произвольные поступки“.

Стало быть: гдѣ есть побужденіе къ дѣйствию, тамъ нѣтъ произвольности въ дѣйствіи, и потому, для спасенія произвольности, нужно бы признать категорію дѣйствій сознательныхъ и въ тоже время совершаемыхъ безъ всякаго побужденія. „Такихъ нѣтъ—отвѣчаете вы,—ибо и произвольныя дѣйствія совершаются не безъ побужденія, но отличительная ихъ особенность состоитъ въ томъ, что побужденіе къ нимъ вызывается (или выбирается) произвольно *самимъ* дѣйствующимъ лицомъ“. Но читателямъ было уже разъяснено выше, что самый актъ вызова или выбора есть уже психическій поступокъ, хотя юридически и невмѣняемый; здѣсь же говорится о побужденіи, какъ объ объектѣ этого поступка, о цѣли его, иначе о томъ, *что* вызывается, а нужно знать, *чѣмъ* производится этотъ вызовъ или выборъ? Вы отвѣчаете: „ничѣмъ. Я *самъ* его опредѣлилъ, *самъ* *добровольно* поставилъ себя въ зависимость отъ извѣстнаго душевнаго состоянія“ и т. д. Въ другомъ мѣстѣ: „въ произвольныхъ поступкахъ побужденіе вызывается *самимъ* дѣйствующимъ лицомъ *произвольно*“. Въ третьемъ мѣстѣ: „при произвольной дѣятельности мотивъ вызывается въ душѣ *произвольно*, безъ всякаго необходимаго побужденія (точнѣе было бы сказать просто: безъ всякаго побужденія) собственнымъ починомъ дѣйствующаго лица“, и т. д.

Изъ этихъ опредѣленій произвольной дѣятельности, позвольте прежде всего вычеркнуть слова *произвольно* и *добровольно*. Сколько бы разъ мы ни повторяли, что произвольно то, что произвольно, дѣло не уяснится. Я здѣсь придираюсь къ лишнему слову только потому, что это мнѣ кажется не простой lapsus calami. Въ сущности, произвольность улетучилась, ея ужъ нѣтъ, стало быть нѣтъ и признаковъ, по которымъ бы можно было опредѣлить ее, и потому, когда дѣло дошло до опредѣленія, вы были вынуждены ввести въ него, какъ признакъ, то самое свойство, которое оспаривается и требуетъ доказательства.

Затѣмъ, полученное нами опредѣленіе сводится къ слѣдующему: произвольны дѣйствія, которыхъ причина въ побужденіи (какомъ бы то ни было); произвольны тѣ, которыхъ причиною *самъ* человекъ. Удареніе мысли падаетъ на слово *самъ*, и въ немъ заключается вся суть отвѣта.

Съ этимъ я лично готовъ бы былъ согласиться, но предварительно предложу вамъ нѣкоторые вопросы. Отчего *самъ* человекъ выступилъ на сцену такъ поздно, и гдѣ онъ скрывался въ то время, когда, съ его вѣдома и при полномъ его сознаніи, въ душѣ его бродили противоположныя побужденія, какъ химическія вещества, брошенныя въ мѣдный сосудъ? Отчего *самъ* человекъ, съ которымъ мы только теперь встрѣчаемся, не вступался въ ихъ борьбу, не принималъ въ ней прямого участія, а предполагалъ, неизвѣстно съ чего, что исходъ ея предопредѣлялся закономъ механики? Если *самому* человеку дана власть творить въ себѣ побужденія, знакомыя ему изъ прежняго опыта, то что же мѣшало *самому* человеку изъ многихъ, скрещивавшихся въ немъ, побужденій, дать перевѣсъ одному надъ

прочими? Мнѣ кажется, что въ этомъ случаѣ, укрываясь за механикою и ссылаясь на мнимую свою безвластность, *самъ* человѣкъ обманывалъ самого себя и самопроизвольно отрекался отъ власти, которую самъ же онъ нашелъ въ себѣ не далѣе, какъ черезъ двѣ страницы.

Чуть ли не въ отвѣтъ на этотъ вопросъ, вѣроятно предусмотрѣнный вами, говорите вы далѣе, что произвольный вызовъ или выборъ побужденія возможенъ только въ *спокойномъ* состояніи. Но состояніе совершенно спокойное не можетъ быть условіемъ ни выбора, ни вызова, ни вообще какого бы то ни было психическаго процесса, ибо оно исключаетъ возможность всякаго процесса. Такого состоянія нѣтъ въ дѣйствительности. Бываютъ только состоянія болѣе или менѣе спокойныя, или что все равно—болѣе или менѣе безпкойныя. Разграничить ихъ невозможно; а такъ какъ за самимъ человѣкомъ признана уже способность *самонастроения*, то тѣмъ самымъ дается ему возможность, до извѣстной степени, приводить себя въ спокойное состояніе,—до какой именно степени?—этого никто, даже лично про себя не можетъ сказать. Такимъ образомъ, стирается сама собою черта разграниченія произвольнаго съ непроизвольнымъ (на первый разъ хоть въ области психической); выходитъ, что кругъ произвольныхъ дѣйствій можетъ расширяться безпредѣльно и можетъ также сжиматься до точки; выходитъ, наконецъ, что расширение и сжатіе его зависить отъ самаго человѣка. Все это говорю я съ своей точки зрѣнія; но матеріалистъ отнесется вѣроятно къ *самому* человѣку гораздо строже. Онъ пожелаетъ узнать, откуда взялся въ послѣднюю минуту этотъ *Deus ex machina* и спросить васъ: да развѣ не самъ человѣкъ мыслить, не самъ чувствуетъ, не самъ испытываетъ побужденія? Что же за существо этотъ *самъ* человѣкъ, въ отличіе отъ человѣка мыслящаго, чувствующаго и желающаго? Всмотрѣвшись ближе въ черты его, матеріалистъ, не безъ основанія, заподозрить въ немъ стараго знакомаго, котораго вы же выгнали изъ области положительнаго знанія, и который неожиданно прокрался въ нее опять, подъ другимъ именемъ и съ новымъ видомъ. Дѣйствительно, самъ человѣкъ не иное что, какъ *der Mensch an sich*, извѣстный призракъ чего-то будто бы существующаго по себѣ, помимо и внѣ всѣхъ отличительныхъ признаковъ своего бытія, стало быть, отвлеченное, безсодержательное понятіе, которое вдругъ олицетворяется и получаетъ чудодѣйственный даръ безпричиннаго творчества надъ самимъ собою. Это противорѣчить всему предыдущему. Нѣтъ послѣдствія безъ причины, нѣтъ дѣйствія безъ побужденія, и дѣйствие выбора или вызова побужденія, какъ всякое иное дѣйствие, все-таки ничѣмъ инымъ обусловлено быть не можетъ, какъ предшествующимъ побужденіемъ, хотя бы моментальнымъ и потому ускользающимъ отъ сознанія. Отвлеченная мысль, на которой сознательно остановилось вниманіе, есть уже мысль, ставшая въ извѣстное отношеніе къ ощущающему субъекту, и въ примѣрахъ и сравненіяхъ, приведенныхъ на стр. 193 и 194, на самомъ дѣлѣ превосходить не выборъ между многими отвлеченными понятіями и представленіями, а тоже механическая борьба когда-то пережитыхъ, воскресающихъ побужденій, о которой было говорено выше. Мнѣ кажется, что въ диспутѣ съ вами, основываясь

на вашихъ послылкахъ, матеріалистъ былъ бы не неправъ и, признаюсь вамъ, я объ этомъ особенно и не тужу. Я дорожу вашей VII-й главой именно какъ неудачною попыткою. Вы сдѣлали положительно все возможное, чтобы спасти хоть малую толику свободы, но вы не спасли ея, и ваши усилія, исчерпывающія защиту отъ матеріализма, служить для меня полнымъ доказательствомъ невозможности отстаивать свободу при тѣхъ данныхъ, изъ которыхъ вы исходите и въ томъ смыслѣ, въ какомъ вы ее опредѣляете, то-есть только какъ принадлежность личнаго, индивидуальнаго человѣческаго существованія (стр. 205).

Въ области науки мысль подчиняется только своимъ законамъ, то-есть законамъ логики, и идетъ себѣ безъ оглядки къ конечнымъ результатамъ, не спрашивая, какъ и чѣмъ отзовутся они на практикѣ. Поэтому и я не сталъ бы смотреть на вашъ трудъ съ этой стороны, еслибы вы сами не раскрыли ее передъ читателями, указавъ имъ на психологію, какъ на врачеваніе противъ нравственныхъ недуговъ, которыми томится современный человѣкъ. Въ главѣ 1-й и въ заключеніи вамъ дались великолѣпныя, глубокопродуманныя и прочувствованныя страницы о симптомахъ господствующей въ наше время болѣзни, такъ вѣрно вами названной оскудѣніемъ или исхуданіемъ личности. Но какимъ образомъ укрылось отъ васъ, что вы прописывали ей въ видѣ рецепта ту самую отраву, которою она испорчена, или, говоря языкомъ нефигуральнымъ, что корень болѣзни заключался въ тѣхъ самыхъ началахъ, на которыхъ вы строили будущую психологію.

Современный человѣкъ, говорите вы, самъ себя ни во что не цѣнитъ. Это конечно не значитъ, чтобы онъ сталъ слишкомъ сговорчивъ и невзыскателенъ относительно внѣшней своей обстановки; въ этомъ грѣшно бы было упрекнуть его. Цѣнность, которую придаетъ человѣкъ своей личности, измѣряется не тѣмъ, что онъ требуетъ для себя, а тѣмъ, чего онъ требуетъ отъ себя, и въ этомъ смыслѣ нельзя съ вами не согласиться. Но съ чего же сталъ бы онъ относиться къ самому себѣ черезъ чуръ взыскательно и строго? Все, что составляетъ содержаніе его внутренней жизни, весь запасъ его представленій и понятій, идетъ отъ внѣшнихъ впечатлѣній; тамъ, въ средѣ ему неподвластной и объ немъ незнающей, начало и причина личнаго его бытія; подъ явнымъ или скрытнымъ, но въ обоихъ случаяхъ неотразимымъ влияніемъ той же среды проходитъ вся его жизнь. Даже въ борьбѣ волнующихъ его разнородныхъ побужденій не нашлось мѣста для его самодѣятельности. Выходить, что роль, на которую вы обрекаете бѣдную душу, не имѣетъ уже ничего общаго съ стариннымъ представленіемъ о странникѣ, остановившемся на распутіи и внимающемъ чѣмъ-то голосамъ, которые зовутъ его въ разныя стороны; она скорѣе напоминаетъ другую легенду о прекрасной плѣнницѣ, которую ежегодно привязывали къ столбу, покуда витязи, прискакавшіе съ разныхъ концовъ міра, рубились и кололись изъ-за обладанія ею. Сначала и она металась, но потомъ, убѣдившись, что ей не разорвать своихъ цѣпей и привыкнувъ переходить изъ рукъ въ руки, она уgomонилась и впала въ тупое равнодушіе къ битвѣ, періодически возобновлявшейся въ ея глазахъ.

Дѣйствительно, результаты, до которыхъ дошла школа позитивистовъ и которые вы принимаете, отнимаютъ всякое разумное основаніе у *самовмнѣнія*. Разберите, на чемъ держится это понятіе. Въ одномъ мѣстѣ вашей книги вы говорите, что „достоинство лица немислимо безъ непреложныхъ правилъ или началъ, а такіа правила или начала даетъ, кромѣ религіи, только философія“. Здѣсь я позволю себѣ оговорку; точнѣе было бы сказать, что философія *ставитъ* начала, но она не *даетъ* ихъ никому, потому что ей вообще нѣтъ дѣла до субъектовъ, а начало или правило входить въ жизнь субъекта только въ той мѣрѣ, въ какой оно становится для него обязательнымъ, иначе *доможъ*. Между признаніемъ начала и сознаніемъ долга разница та, что во второмъ случаѣ предполагается возможность исполнить требуемое. Въ этомъ смыслѣ можно сказать, что религія дѣйствительно даетъ каждому человѣку правило жизни, потому что религія приписываетъ живому началу всякаго бытія не одну законодательную власть, но и творческую силу какъ надъ каждымъ субъектомъ, такъ и надъ окружающею его средою. Это понятіе выражается въ ученіи о *промыслѣ*. Говоря языкомъ нецерковнымъ, предполагается, что существуетъ разумное отношеніе и правильная соразмѣрность между двумя факторами, изъ которыхъ складывается жизнь каждаго субъекта, между свободною дѣятельностью, исходящею отъ самого человѣка и воздѣйствіемъ на него извнѣ обстоятельствъ, ему неподвластныхъ, между искушеніями, которымъ онъ подвергается и правоправящею силою, данною ему для отпора. При этомъ предположеніи одно и то же событіе, независимо отъ общаго своего значенія въ исторіи цѣлаго народа или всего человѣчества, влетаетъ въ судьбу каждаго субъекта, котораго оно задѣваетъ не какъ случайность, разстроивающая ее, а какъ *слово* прямо къ нему обращенное, имѣющее свой особенный смыслъ для него лично. Я знаю, что въ глазахъ положительнаго знанія все это не болѣе какъ фикціи младенческаго воображенія, съ которыми оно давно раздѣлялось; пусть такъ, но тогда не скорбите объ утратѣ другихъ фикцій, неразрывно съ ними связанныхъ, какъ то: самовмѣненія, совѣсти, суда человѣка надъ самимъ собою и т. п. Не удивляйтесь, что, по изгнаніи изъ душевной храминъ раскаянья, молитвы и бесѣды съ Богомъ, въ ней ощущается теперь какая-то пустота и непріятный холодъ. Съ средою нельзя бесѣдовать; она глуха, слѣпа и не знаетъ субъекта.

Вы замѣчаете, и очень вѣрно, что въ бессодержательной, блѣдной, неинтересной внутренней жизни современнаго человѣка нѣтъ больше сюжета для драмы. Да откуда же ему вѣзаться? Можно ли задумать драму на тему: чашка, въ которой лежало побужденіе, вѣсившее пудъ, перетянула чашку, въ которой побужденіе вѣсило фунтъ; или: по закону вещественной необходимости выпалъ кирпичъ изъ стѣны; по закону психической необходимости, шелъ мимо человѣкъ на свиданіе; эти двѣ необходимости случайно встрѣтились (я говорю *случайно*, потому что встрѣча, смыслъ имѣющая, предполагала бы *промыслъ*) и неисчерпанная, недожитая жизнь порвалась случайно. Но спрашивается: кто же отнялъ у субъективной жизни ея смыслъ и художественную полноту ея? Кто изуродовалъ ее во всѣхъ

ея моментахъ отсѣченіемъ отъ нея послѣдняго дѣйствія, загробнаго суда, этой необходимой ея развязки, которой предчувствіе составляетъ главный интересъ земной жизни?

Опуская въ могилу отслужившую плоть человѣка, церковь провожаетъ ее словами: „земля еси и въ землю отыдеши.“ Такъ называемый позитивизмъ тоже роетъ могилу и, приглашая болѣющую душу современнаго человѣка улечься въ ней за-живо, онъ говоритъ ей на прощанье: отъ земли еси и съ плотью преидеши. Я очень сомнѣваюсь, чтобы эта формула заключала въ себѣ плѣбную силу.

Вообще, книга ваша поражаетъ меня глубокимъ противорѣчіемъ вашихъ требованій тѣмъ выводами, къ которымъ вы пришли. Мнѣ кажется, что они не могутъ васъ удовлетворить и что вы долго на нихъ не остановитесь. Вы стоите на острѣи ножа и должны непремѣнно склониться на ту или другую сторону, то-есть окончательно усвоить себѣ матеріалистическое воззрѣніе, или ввать назадъ многія изъ сдѣланныхъ вами ему уступокъ...

Строгая послѣдовательность изложенныхъ мыслей даетъ возможность формулировать взглядъ Ю. О. Самарина на мою психологическую работу въ слѣдующихъ немногихъ словахъ. Если изъ одного общаго неизвѣстнаго источника вытекаютъ два начала, психическое и матеріальное, то они должны быть, по крайней мѣрѣ, одинаково реальны и дѣйствительны, даже принявъ, что они существуютъ нераздѣльно; между тѣмъ, у меня реальнымъ является только одно матеріальное, психическое же есть продуктъ психическихъ процессовъ, слѣдовательно, не имѣетъ, само по себѣ, реальности. Ю. О. Самаринъ находитъ такой взглядъ непослѣдовательнымъ и не раздѣляетъ его. По его мнѣнію, капитальная ошибка позитивизма въ томъ и состоитъ, что онъ отвергаетъ реальность психическаго начала. Съ большою тонкостью и глубиной пониманья Ю. О. Самаринъ замѣтилъ, что настоящая почва, на которой долженъ быть выигранъ или проигранъ споръ между нами, есть самопроизвольность, возможность свободного личнаго почина, не мыслимая безъ самостоятельности и самодѣятельности души, и потому вся его полемика, главнымъ образомъ, направлена противъ моихъ попытокъ указать и объяснить научнымъ образомъ возможность свободного поступка. Въ самомъ дѣлѣ, еслибы эта попытка оказалась удачной, то мой взглядъ нашелъ бы въ этомъ сильную опору. Но вѣрный вездѣ и во всемъ своимъ воззрѣніямъ, Ю. О. Самаринъ не допускаетъ, чтобы изъ предпосылокъ, которыя онъ считаетъ взятыми изъ ученія позитивистовъ, могло быть выведено научное объясненіе свободной воли и потому находитъ, что я непослѣдователенъ.

Какъ во всѣхъ нашихъ русскихъ спорахъ, такъ и въ настоящемъ, сравнительно малую долю составляютъ дѣйствительныя разномыслія. Остальное—самая ббольшая часть того, о чемъ мы споримъ—дѣло

недоразумѣній, происходящихъ оттого, что всѣ мы думаемъ и развиваемся какъ-то особнякомъ, каждый про себя, не привыкли всматриваться въ чужія мысли и выражать свои точнымъ языкомъ, котораго оттого у насъ пока и нѣтъ. Такой языкъ является, когда люди между собою уже сталкивались, поняли въ чемъ сходятся и расходятся; мы же только начинаемъ сталкиваться, да и то еще очень медленно и вяло. Неудивительно, что недоразумѣнія играютъ у насъ во всякой полемикѣ самую видную роль, даже когда съ обѣихъ сторонъ, даже въ настоящемъ случаѣ, есть искреннее желаніе и твердая рѣшимость избѣгать нашихъ извѣстныхъ полемическихъ приѣмовъ и не приписывать противнику того, чего онъ не говоритъ и очевидно не думаетъ.

Споръ нашъ съ Ю. О. Самаринымъ группируется около слѣдующихъ трехъ главныхъ пунктовъ: во-1-хъ, какое значеніе имѣетъ положительная наука и каковъ характеръ научнаго знанія? во-2-хъ, что такое психическій міръ и какъ понимать его реальность? и въ 3-хъ, что такое самопроизвольность или свободная воля и въ какой мѣрѣ ученіе о ней совмѣстимо съ положительной наукой?

Я разсмотрю послѣдовательно замѣчанія Ю. О. Самарина по каждому изъ этихъ трехъ пунктовъ, и представлю свои возраженія противъ его выводовъ.

## I.

Ю. О. Самаринъ думаетъ, что положительная наука, которую онъ считаетъ тождественной съ позитивизмомъ, по существу своему, относится отрицательно къ дѣйствительному, реальному, самостоятельному существованію всего того, что не имѣетъ матеріальнаго бытія и не подлежитъ внѣшнимъ чувствамъ.

Такой взглядъ составляетъ убѣжденіе многаго множества людей, не раздѣляющихъ такъ-называемыхъ реалистическихъ воззрѣній. Къ сожалѣнію, надо сознаться, что у насъ большинство поборниковъ положительнаго знанія развиваетъ ту же тему и этимъ утверждаетъ всѣхъ въ убѣжденіи, которое высказываетъ Ю. О. Самаринъ. Но справедливъ ли этотъ взглядъ?

Что въ наше время поборники положительной науки большею частью относятся или скептически или прямо отрицательно къ дѣйствительному, реальному, самостоятельному бытію психическаго начала, это безспорно. Но я полагаю, что въ глазахъ самого Ю. О. Самарина такой взглядъ не можетъ и не долженъ имѣть авторитета неотразимаго, безапелляціоннаго аргумента противъ положительнаго знанія. Собственное признаніе, даже и передъ судомъ, не всегда

непремѣнно считается доказательствомъ; для этого нужны нѣкоторые другія условія. Какъ же считать такое признаніе за неопровержимое доказательство въ вопросѣ, который болѣе всѣхъ другихъ можетъ быть рѣшенъ не иначе, какъ только на основаніи объективныхъ доводовъ, а не личныхъ взглядовъ? Если въ настоящее время большинство такъ на него смотритъ, то изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы такое мнѣніе было вѣрно. Смѣшивать оцѣнку положительнаго знанія въ данное время съ самой положительной наукой, значило бы смѣшивать видовое понятіе съ родовымъ, принимать извѣстный фазисъ положительнаго знанія за всю положительную науку, или изъ за извѣстнаго понятія сложившагося о предметѣ, не видать самаго предмета.

Мы теперь говоримъ о положительной наукѣ и противопоставляемъ ее неположительному знанію. Но наука можетъ быть только положительною и никакою другою. Вся разниа между положительнымъ и неположительнымъ знаніемъ вертится на вопросѣ, чтó считать за положительное и чтó нѣтъ. Вопросъ этотъ рѣшается только научнымъ методомъ, научными приѣмами, которые могутъ быть ошибочны, или правильны; слѣдовательно, задача лежитъ въ ихъ повѣркѣ, выработкѣ, гораздо болѣе, чѣмъ въ самыхъ выводахъ знанія. Весь интересъ постепеннаго развитія науки сосредоточивается въ развитіи метода. Во всѣ времена, на всѣхъ ступеняхъ развитія, наука стремилась установить и опредѣлить то, чтó для всѣхъ людей имѣетъ или должно имѣть несомнѣнную, непоколебимую достовѣрность, значеніе неопровержимой истины. Въ наукѣ и знаніи, каковы бы они ни были, всегда устанавливалось и опредѣлялось то, чего люди не могли не признать за истину—та нейтральная, безспорная почва, на которой всѣ, несмотря на различіе происхожденія, степени и обстоятельствъ развитія, могли сходиться въ полномъ согласіи. Въ сферѣ знанія наука тоже, что языкъ въ сношеніяхъ людей между собою, или чтó юридическій законъ въ обществѣ. Какъ языкъ устанавливаетъ средній терминъ, при помощи котораго люди понимаютъ другъ друга, какъ юридическій обычай или законъ устанавливаютъ средній терминъ, при помощи котораго люди могутъ жить вмѣстѣ, такъ точно и наука устанавливаетъ то, чтó люди признаютъ за истину по признакамъ, всѣмъ доступнымъ и для всѣхъ одинаково убѣдительнымъ.

Если разсматривать науку съ этой точки зрѣнія, то она, мнѣ кажется, вовсе не имѣетъ того характера, какой ей приписывается многими, въ томъ числѣ и Ю. О. Самаринымъ. Во-первыхъ, наука, какъ языкъ и юридическій законъ, не можетъ исчерпывать всего содержанія предмета, который она изслѣдуетъ. Мы знаемъ, что мно-

жество явленій и ихъ оттѣнковъ не могутъ быть выражены словами, что множество отношеній остаются внѣ опредѣленія обычая и закона. Но точно также цѣлая масса убѣжденій не захватывается наукой, что однако вовсе не значитъ, что она ихъ непременно отрицаетъ. Наука, знаніе обнимаетъ только самую внѣшнюю, осязательную, всѣмъ доступную сторону явленій, то, что каждый, провѣривъ, долженъ признать за истину. На этомъ основаніи, я не могу себя представить, какимъ образомъ наука могла бы отрицать реальность и самостоятельность психическаго міра, и какимъ образомъ эта реальность и эта самостоятельность могли бы быть несомнѣстими съ положительнымъ знаніемъ? Научнымъ опредѣленіямъ подлежатъ только то, что имѣетъ объективные, всѣмъ доступные признаки, поддающиеся повѣркѣ; потому-то наука всегда непремѣнно положительна, признаетъ только то, что при повѣркѣ оказывается вѣрнымъ, отрицаетъ только то, что при повѣркѣ оказывается ошибочнымъ. Такою она была во всѣ времена и у всѣхъ народовъ; измѣняется, какъ сказано, только критерій и методъ научной повѣрки. Было время, когда единственнымъ мѣриломъ истины были книги священнаго писанія, единственнымъ методомъ—справка съ ихъ текстомъ; было другое время, когда единственнымъ критеріемъ научной истины служилъ логическій выводъ изъ общихъ метафизическихъ началъ, составлявшихъ канонъ истины, а методомъ—силлогизмъ. Критика чрезвычайно расширила научныя средства и приемы повѣрки. Всѣ отрасли знанія, въ томъ числѣ и естественныя науки, нашли свой критерій; въ особенности послѣднія до совершенства выработали приемы повѣрки научной истины. Но, повторяю, несмотря на чрезвычайное разнообразіе критеріевъ и методовъ, наука всегда была положительною и какъ ни расширялся кругъ знаній, всегда были, есть и будутъ предметы, лежащіе внѣ этого круга. Все, что не поддается критикѣ, повѣркѣ, доказательному изложенію, то остается внѣ положительной науки. Значитъ ли это, что она непременно отрицаетъ то, чего не признаетъ? Нѣтъ, она этимъ только выражаетъ, что непризнаваемое ею не имѣетъ признаковъ истины, обязательной для всѣхъ. За предѣлами науки начинается міръ личныхъ, субъективныхъ воззрѣній, чаяній, предположеній. Они играютъ огромную роль въ нашей жизни и дѣятельности, опредѣляютъ нашъ умственный и нравственный строй, безразличны для однихъ и чрезвычайно важны и рѣшительны для другихъ. Они, можетъ быть,—истинны, а можетъ быть и заблужденія, но ни доказать, ни опровергнуть ихъ мы не можемъ. Теперь наука ихъ не признаетъ, а завтра, можетъ быть, признаетъ, и наоборотъ, что сегодня считается научной объективной истиной, то завтра можетъ оказаться, при помощи

болѣ совершенныхъ средствъ повѣрки, или просто ошибочнымъ, или, по крайней мѣрѣ, истиной субъективной, личной, неподлежащей научному анализу. Такимъ образомъ, наука далеко не безусловна, ни по содержанію, ни по методу. Она обнимаетъ только то, что можетъ быть доказано и повѣрено, и постепенно вырабатываетъ и совершенствуетъ свои приемы. При такомъ специфическомъ значеніи научнаго знанія, непринятіе чего-либо въ кругъ науки ничего безусловно не предрѣшаетъ, ибо сама наука, повторяю, не есть нѣчто однажды навсегда законченное и неподвижное.

Таковъ, какъ мнѣ кажется, правильный взглядъ на научное знаніе. Отрицательный его характеръ есть явленіе временное и объясняется обстоятельствами, при которыхъ наука развивалась, а вовсе не самымъ существомъ ея.

Если съ этой точки зрѣнія взглянуть на положительную науку, ея стремленія и задачи, то попытка дать научный отвѣтъ на вопросъ объ общемъ неизвѣстномъ источникѣ или корнѣ двухъ различныхъ началъ, матеріальнаго и психическаго, и объ отношеніяхъ какъ этого источника къ нимъ, такъ и ихъ между собою, не можетъ имѣть того преимущественно отрицательнаго характера, какой предполагаетъ Ю. О. Самаринъ. Личныя чаянія разрѣшаютъ эти вопросы весьма различно и на каждомъ изъ нихъ могутъ сходиться многіе люди, но далеко не всѣ. Между ними наука является посредницей. Она отбираетъ у всѣхъ воззрѣній, не обходя ни одного, ихъ объективные доводы, соображаетъ ихъ, взвѣшиваетъ и изъ массы различныхъ убѣжденій и взглядовъ выдѣляетъ тѣ, которые основаны на несомнѣнныхъ, неопровержимыхъ объективныхъ доказательствахъ, одинаково убѣдительныхъ и неотразимыхъ для всѣхъ. Весьма естественно, что, разрѣшая такую задачу, наука вынуждена обращаться къ внѣшней, осязательной сторонѣ людскихъ убѣжденій, къ тому, что всего очевиднѣе, нагляднѣе и можетъ быть провѣрено. Наука, по существу своему — Ома невѣрующій и въ томъ же смыслѣ, какъ Ома. Для нея, на первомъ планѣ, — не та или другая истина, не тотъ или другой выводъ, а только то, чтобы истина, выводъ были для всѣхъ одинаково несомнѣнны и убѣдительны. Но такую несомнѣнность, объективность имѣетъ только явленіе, фактъ, доступный провѣркѣ; поэтому только на такихъ фактахъ наука и можетъ основывать свои выводы. Всѣ другіе приемы не имѣютъ ничего общаго съ наукою и когда въ ней встрѣчаются, то должны быть отброшены какъ приставки, вызванныя горячностью спора или любимой мыслью, незамѣченной и непровѣренной предпосылкой и т. п.

Откинувъ всѣ гипотезы и отрицанія, призвать на помощь только методъ положительнаго знанія и съ нимъ однимъ обращаться къ из-

слѣдованію явленій и фактовъ, мы, мнѣ кажется, вынуждены будемъ взглянуть нѣсколько иначе, чѣмъ Ю. О. Самаринъ, на единый источникъ и взаимныя отношенія матеріальнаго и психическаго. Наука выдѣляетъ подъ названіемъ психическихъ особую многочисленную группу явленій, имѣющихъ свои характеристическія особенности и не подходящихъ подъ категорію другихъ явленій. Существуютъ ли психическія явленія внѣ реальнаго міра, — этого она не можетъ ни доказывать, ни отвергать, потому что знаетъ только тѣ изъ нихъ, которыя могутъ быть замѣчены въ дѣйствительномъ мірѣ, а внѣ его ничего не знаетъ и знать не можетъ. Далѣе: положительное изученіе приводитъ къ выводу, что психическія явленія не составляютъ исключительной принадлежности человѣка. Научныя наблюденія открываютъ нѣкоторые изъ такихъ явленій и въ животныхъ, даже въ растеніяхъ. Любопытны по этому предмету факты собраны и рассмотрѣны у Гартмана (*Die Philosophie des Unbewussten*). Изъ этого наука не безъ основанія заключаетъ, что причина, производящая психическія явленія, находится не въ одномъ человѣкѣ, но также въ растеніяхъ и животныхъ, и что вообще эта причина имѣетъ какую-то, намъ пока неизвѣстную связь съ организованнымъ міромъ. Выводъ этотъ подтверждается тѣмъ, что въ предметахъ неорганизованной природы психическихъ явленій вовсе не замѣчается.

Вотъ факты. Я спрашиваю: какое основаніе имѣла бы наука утверждать, что есть особое психическое начало, отрѣшенное отъ реальнаго міра, имѣющее дѣйствительное существованіе внѣ его, смотрѣть на психическія явленія какъ на обнаруженіе этого особаго начала въ реальномъ мірѣ? Для такого заключенія она не имѣетъ данныхъ, и потому, не будучи отрицательной, не отвергая ничьихъ чаяній и убѣжденій, не впадая ни въ какія увлеченія, а только держась строго въ границахъ своей задачи, она высказываетъ то, что ей извѣстно, именно, говорить только о психическихъ явленіяхъ, неразрывно связанныхъ съ реальнымъ міромъ, совершающихся въ немъ, а не внѣ его. Но къ философскому идеализму, принимающему на себя задачу доказать научнымъ образомъ дѣйствительное существованіе метафизическаго міра, наука не можетъ отнестись иначе, какъ отрицательно, потому что средствами, которыми теперь располагаетъ знаніе, этого доказать невозможно. Вотъ почему убѣжденіе, что метафизическій міръ имѣетъ дѣйствительное бытіе внѣ реальнаго, принадлежитъ пока къ числу личныхъ, субъективныхъ. Но точно также отрицательно отнесется положительная наука и къ притязаніямъ матеріализма стать научной доктриной. Матеріализмъ, подобно идеализму, есть пока тоже не болѣе какъ личное чаяніе и убѣжденіе, не имѣющее ничего общаго съ научнымъ знаніемъ. Въ смыслѣ фи-

лософской доктрины, материализмъ или признаетъ матерію источникомъ всѣхъ явленій, или подводитъ всѣ явленія подъ законы матеріальнаго міра. Въ первомъ значеніи материализмъ исчезъ съ тѣхъ поръ, какъ люди поняли, что матеріи мы не знаемъ, что она не есть дѣйствительный реальный фактъ, что то, что мы считаемъ матеріей, есть не болѣе какъ отвлеченіе и обобщеніе ума, продуктъ умственной дѣятельности; господствующія въ наше время материалистическія воззрѣнія исходятъ отъ другой, сознанный или безсознательной предпосылки, будто всѣ явленія, каковы бы они ни были, управляются законами матеріальнаго міра; а какъ основнымъ закономъ матеріальной природы признается роковая связь причинъ и послѣдствій, несовсѣмъ точно называемая необходимостью, то современный материализмъ отрицаетъ самопроизвольность или свободную волю. Положительная наука не можетъ признать научнаго значенія и за этимъ взглядомъ. Во-первыхъ, мысль, будто бы всѣ явленія должны подходить подъ законы матеріальнаго міра, ни на чемъ не основана, есть чистая гипотеза, вдобавокъ сильно оспариваемая; на спорной же гипотезѣ, какъ извѣстно, нельзя строить научнаго вывода; во-вторыхъ, нѣтъ возможности доказать, что въ самой матеріальной природѣ законъ роковой связи причинъ и послѣдствій царитъ исключительно, управляетъ всѣми безъ изъятія явленіями. Чтобы въ этомъ убѣдиться, стѣбитъ только обратить вниманіе на предметы неорганизованной природы и ихъ механическія, физическія и химическія свойства. Въ какомъ отношеніи находятся между собою предметы и ихъ свойства? Слѣдуетъ ли признавать первые за причину, а послѣдніе за роковое ея послѣдствіе, или наоборотъ, надо смотрѣть на свойства какъ на причину, а на предметы какъ на роковой результатъ свойствъ? Тотъ и другой взглядъ не имѣютъ въ себѣ ничего научнаго, потому что оба основаны на гипотезахъ, которыхъ ничѣмъ доказать нельзя. Мы даже не знаемъ, есть ли различіе предмета и его свойствъ—дѣйствительный, реальный фактъ, или результатъ операций мышленія, котораго первый актъ состоитъ въ разъятіи, разложеніи дѣйствительнаго явленія на части. Итакъ, первая предпосылка материализма оказывается ошибочной и научно недоказанной. Мысль, будто всѣ явленія непремѣнно связаны между собою роковою связью причинъ и послѣдствій есть гипотеза, а не доказанная истина, даже когда рѣчь идетъ о явленіяхъ матеріальнаго міра. Отношенія между предметами и ихъ свойствами мы вынуждены принять какъ фактъ, неподлежащій дальнѣйшему анализу. Незнаніе наше по этому капитальному вопросу не измѣнится и въ томъ случаѣ, если мы разложимъ предметъ на его составныя, дѣйствительныя или воображаемыя части, на вещества, или атомы. Во-

прось о томъ, какъ относятся между собою предметъ и его свойства, точно также возникаетъ и при разсмотрѣннн частей и также остается неразрѣшеннымъ. Между тѣмъ, матеріализмъ, предполагая причинную зависимость свойствъ отъ предметовъ, вводитъ въ свои изслѣдованія ошибку, которая потомъ проходитъ чрезъ всѣ его дальнѣйшія заключенія и ведетъ къ искаженію и даже къ отрицанію явленій, словомъ, обращаетъ матеріалистическія воззрѣнія въ фантазіи, не имѣющія ничего научнаго.

Немногихъ словъ будетъ достаточно, чтобы пояснить эту мысль.

Извѣстно, что естественныя науки мало-по-малу исключили изъ своего круга отвлеченія и обобщенія, которыя когда-то играли въ нихъ роль метафизическихъ существъ и крайне затрудняли изслѣдованія. Къ такимъ метафизическимъ существамъ принадлежали, съ одной стороны, силы, съ другой — неживленная, мертвая матерія. По вытѣсненіи ихъ изъ науки, предметами научнаго изслѣдованія остались дѣйствительныя, реальныя предметы или явленія съ ихъ свойствами.

Но предметы находятся въ непрерывномъ превращеніи, измѣняются, исчезаютъ въ различныхъ сочетаніяхъ съ другими предметами. Спрашивается: чѣмъ обуславливаются, отъ чего зависятъ такіе переходы ихъ изъ однихъ въ другіе, изъ одного состоянія въ другое? Отъ того ли, что они составляютъ соединенія безразличныхъ, недоступныхъ изслѣдованію атомовъ, особенности которыхъ опредѣляются уже свойствомъ, условіями, характеромъ ихъ соединеній, или отъ того, что атомы отличаются другъ отъ друга по своей природѣ особыми свойствами, подобно клѣточкамъ органическихъ предметовъ? Въ первомъ случаѣ мы должны признать способъ соединенія атомовъ особымъ факторомъ и отличать его отъ другого фактора — самихъ атомовъ, вступающихъ въ соединеніе; во второмъ случаѣ мы только отодвигаемъ доступный изслѣдованію фактъ въ область гипотезъ, и притомъ безъ всякой надобности, потому что фактъ чрезъ это нисколько не измѣняетъ своего характера. Будемъ ли мы говорить о предметѣ, доступномъ чувствамъ, имѣющемъ свои особые свойства, или разложимъ его, конечно въ мысли, на атомы, имѣющіе свои особые, характеристическія свойства, — дѣло отъ этого нисколько не измѣнится.

Итакъ, уже въ неорганизованной природѣ мы наталкиваемся на тотъ же самый фактъ, который замѣтило выступаетъ въ организованной природѣ и особенно ярко въ природѣ психической, — именно на существованіе, въ одномъ и томъ же предметѣ, двухъ родовъ явленій, связи которыхъ мы не знаемъ, но которыхъ въ разрозненномъ видѣ мы тоже не встрѣчаемъ нигдѣ. Отчего зависитъ превра-

шеніе предметовъ, ихъ разложеніе, образованіе новыхъ, съ новыми свойствами? Отчего организмъ и составные матеріальныя его элементы не одно и тоже? Отчего тѣло и душа съ ихъ отправленіями такъ разительно отличаются другъ отъ друга? Матеріализмъ, идя отъ предпосылки, что рядъ матеріальныхъ явленій есть причина, а всѣ прочія—роковыя ея послѣдствія, вполне логически отрицаетъ различеніе самыхъ рядовъ. Идеализмъ тоже впадаетъ въ ошибку, только другого рода. Онъ выноситъ одинъ изъ рядовъ явленій за предѣлы матеріальнаго міра. Но въ окончательныхъ выводахъ оба, и матеріализмъ и идеализмъ, приходятъ въ одному и тому же результату: они одинаково разрываютъ дѣйствительность на части или составные элементы и приписываютъ одному изъ нихъ то, что заключается въ ихъ совокупности.

Посреди этихъ-то двухъ противоположныхъ направленій, разлагающихъ дѣйствительный фактъ на двѣ половины, и возникаетъ положительная наука. Она упраздняетъ всякія философскія умствованія и гипотезы, идеалистическія и матеріалистическія, и расчищаетъ поле для знанія трезваго, безпристрастнаго, чуждаго всякихъ предвзятыхъ любимыхъ мыслей. Выбатывая истины провѣренныя, всѣмъ доступныя и для всѣхъ равно убѣдительныя, безпрестанно умножая сумму такихъ истинъ по всѣмъ отраслямъ вѣдѣнія, положительная наука объединяетъ, а не разрозниваетъ, полагаетъ границы личнымъ убѣжденіямъ тамъ, гдѣ они перегибаютъ въ область объективныхъ истинъ, но не думаетъ ихъ отрицать. Положительная наука есть безпрестанная критика, непрерывная повѣрка, не несущая съ собою никакихъ готовыхъ, непреложныхъ, застрахованныхъ убѣжденій. Крайне строгая къ себѣ, она въ высшей степени терпима ко всему и ко всѣмъ. Не имѣя никакихъ предвзятыхъ взглядовъ, она совершенно безпристрастно относится ко всѣмъ воззрѣніямъ, ко всевозможнымъ гипотезамъ и предположеніямъ. Положительная наука своего рода пробирная палатка, гдѣ не спрашиваютъ откуда драгоценный металлъ, а только опредѣляютъ степень его чистоты. Въ этомъ смыслѣ наука есть великая примирительница и объединительница мыслей и убѣжденій въ области знанія. Она постепенно, но неуклонно, ведетъ къ умственному и нравственному сближенію людей, расширяя кругъ объективныхъ общихъ убѣжденій и, наоборотъ, суживая кругъ убѣжденій личныхъ, субъективныхъ. Въ то же время, она выясняетъ несостоятельность и тѣхъ возраженій, которыя набрасываютъ тѣмъ сомнѣнія на истины, неподдающіяся объективному научному анализу и потому составляющія неотъемлемый удѣлъ личнаго, субъективнаго убѣжденія.

Примѣняя сказанное къ психологическому вопросу, который насъ

теперь занимаетъ, я нахожу, что упрекъ, дѣлаемый наукѣ Ю. О. Самаринымъ, несправедливъ. Наука также мало отрицаетъ психическую, какъ и матеріальную реальность, но не принимаетъ въ свой кругъ ни той ни другой, потому что не имѣетъ никакихъ средствъ проверить и доказать дѣйствительное отдѣльное бытіе той или другой реальности. Въ явленіяхъ, доступныхъ ея изслѣдованію и проверкѣ, оба начала, и психическое и матеріальное, неразрѣжимо соединены въ одно цѣлое, въ которомъ мы можемъ, до известной степени, ихъ различать, но не имѣемъ никакой возможности выдѣлить одно изъ другого безъ остатка. Такой взглядъ есть лишь выводъ изъ научной несостоятельности матеріализма и идеализма, которые не могутъ доказать своихъ основаній и точекъ отпращиваній. Оба оказываются сильными только отрицаніемъ другъ друга. Остается одно: отбросить всякія философскія воззрѣнія и строго держаться на почвѣ фактовъ, намъ доступныхъ, то-есть результатовъ взаимодѣйствія различныхъ факторовъ, по существу намъ неизвѣстныхъ. Наука выводитъ изъ изученія взаимныхъ отношеній этихъ факторовъ законы отношеній. Этимъ и ограничивается вся ея задача и всѣ ея заслуги.

Изъ сказаннаго вытекаютъ слѣдующіе выводы, полезные и нужные для разъясненія недоразумѣнія между Ю. О. Самаринымъ и мною.

Во-первыхъ, положительная наука, имѣя предметомъ объективную истину, можетъ не принимать въ свой кругъ личныхъ чаяній или убѣжденій, не отрицая, что, по существу, они могутъ быть и истинны.

Во-вторыхъ, имѣя предметомъ не сущность вещей, а только явленія, положительная наука не можетъ принять взглядъ Ю. О. Самарина, въ силу котораго внѣ доступной намъ дѣйствительности есть метафизическая реальность, соединенная съ дѣйствительнымъ міромъ единствомъ общаго неизвѣстнаго и недоступнаго намъ источника. Наука можетъ признать значеніе объективныхъ истинъ только за выводами, сдѣланными на основаніи доступныхъ изслѣдованію фактовъ, а такіе факты лежатъ только въ дѣйствительномъ мірѣ, а не внѣ его. Въ дѣйствительномъ же мірѣ мы видимъ сосуществованіе двухъ рядовъ явленій, непрерывно дѣйствующихъ другъ на друга, и потому, безъ сомнѣнія, тѣснѣйшимъ образомъ между собою связанныхъ, хотя связь эта намъ и неизвѣстна. Замѣчая эту связь и взаимодѣйствіе, положительная наука можетъ, не впадая въ матеріализмъ, говорить о матеріальной подкладкѣ души, о первомъ пробужденіи психической жизни и дѣятельности подъ вліяніемъ матеріальнаго міра. И то и другое, предполагая связь матеріальныхъ

и психическихъ элементовъ и ихъ взаимодѣйствіе, не предрѣшаетъ происхожденія послѣднихъ изъ первыхъ.

Въ-третьихъ, сосуществованіе, въ дѣйствительномъ мірѣ, двухъ рядовъ явленій, взаимное отношеніе которыхъ намъ неизвѣстно, замѣчается не въ одномъ человѣкѣ, но проходитъ чрезъ весь дѣйствительный міръ, начиная съ предметовъ неорганизованной природы. На этомъ основаніи можно, не будучи матеріалистомъ, видѣть въ психической природѣ человѣка продолженіе и дальнѣйшее развитіе того, что замѣчается, въ менѣе развитыхъ формахъ, на предшествующихъ низшихъ ступеняхъ природы. Матеріалистическимъ былъ бы такой взглядъ только въ такомъ случаѣ, еслибы предполагалось, что психическая жизнь находится въ причинной зависимости отъ матеріальной. Но, какъ сказано, такого рода зависимости нельзя доказать не только относительно психической жизни, но даже и относительно свойствъ предметовъ неорганизованной природы.

Въ-четвертыхъ, говоря, что сущности вещей наука не знаетъ и знать не можетъ и въ то же время отвергая метафизическія сущности, какъ отвлеченія и обобщенія ума, я повидимому противорѣчу самому себѣ; на самомъ же дѣлѣ противорѣчія тутъ нѣтъ. Въ первомъ случаѣ рѣчь идетъ объ источникахъ дѣйствительнаго міра, намъ недоступныхъ, и по несовершенству нашихъ средствъ познанія, и потому, что мы знаемъ не самые предметы, а только получаемыя нами отъ нихъ впечатлѣнія. Во второмъ же случаѣ говорится о результатахъ процесса мышленія, которые люди долго принимали за самую сущность вещей, потому только, что не знали, какъ этѣ мнимыя сущности образовались. Сущности въ первомъ смыслѣ отрицать нельзя, хотя мы ее и не знаемъ, сущность во второмъ смыслѣ есть миражъ ума, который исчезаетъ, по мѣрѣ того, какъ мы узнаемъ законы мышленія.

Вотъ что я считалъ необходимымъ разъяснить и оговорить въ виду возраженій Ю. О. Самарина на мои основныя положенія. Въ „Задачахъ Психологій“, я всячески старался отдѣлать личныя свои предрасположенія къ тѣмъ или другимъ взглядамъ и мыслямъ отъ того, что имѣетъ, въ моихъ глазахъ, характеръ общеобязательной, объективной истины. Что мои личныя убѣжденія и чаянія не остались безъ вліянія на способъ выраженія объективныхъ научныхъ истинъ, объ этомъ я заключаю изъ недоразумѣній между мною и Ю. О. Самаринимъ, котораго я никакъ не могу упрекнуть ни въ невнимательномъ чтеніи моей книжки, ни въ умышленномъ искаженіи моихъ словъ.

Возражая мнѣ, Ю. О. Самаринъ ссылается на истины, о которыхъ самъ говоритъ, что онѣ не могутъ быть доказаны. Но опи-

ратся на такія истины въ спорѣ можно только предполагая, что противникъ самъ вводитъ въ споръ такія же точно истины, правильнѣе сказать, гипотезы и орудуетъ ими какъ аксіомами. Если это такъ, то между нами произошло большое недоразумѣніе. Споръ, вертящійся на истинахъ, требующихъ еще доказательствъ, не есть споръ, а борьба, которая рѣшается не научными аргументами, а силою. Я же искалъ научной истины объективной, съ которой всѣ, какъ бы они ни думали, вынуждены волей-неволей согласиться. Такова должна быть научная истина; другой нѣтъ и быть не можетъ.

Эти объясненія не убѣдили Ю. Э. Самарина. Въ дополнительныхъ возраженіяхъ, обязательно мнѣ сообщенныхъ въ отвѣтъ на мои опроверженія, онъ между прочимъ говоритъ:

„Въ видахъ разъясненія... недоразумѣнія... вы предпосылаете отвѣтамъ на частности опредѣленія задачи, метода, критериума и предѣловъ науки, присвоившей себѣ названіе положительной. Выводъ изъ него слѣдующій: напрасно думаютъ, что наука все то отрицаетъ, чего она не утверждаетъ и чему не даетъ у себя мѣста; она-де отрицаетъ только то, что прямо противорѣчитъ познаннымъ ею фактамъ, все же остальное она просто игнорируетъ. — Въ той мѣрѣ, въ какой это разъясненіе служить отвѣтомъ... на мои сомнѣнія, я понимаю его такимъ образомъ: пускай каждый про себя вѣритъ или не вѣритъ въ „истины данныя, признаваемыя за такія въ теченіи вѣковъ огромнымъ большинствомъ человѣчества“. Наука о душѣ ему въ этомъ не мѣшаетъ, потому что и ей эти убѣжденія нисколько не мѣшаютъ; она довольствуется тѣмъ, что не пропускаетъ ихъ въ область положительнаго знанія.

„Согласятся ли на такое размежеваніе двухъ сферъ строгіе послѣдователи положительной науки, я не берусь рѣшить за нихъ; думаю, что люди вѣрующіе едва ли имъ удовлетворятся; сомнѣваюсь даже, чтобы вы сами окончательно на немъ остановились.

„Въ подтвержденіе моего сомнѣнія я могъ бы указать въ вашей книгѣ на многія мѣста, въ которыхъ... игнорированіе само собою переходило въ понятное для всѣхъ отрицаніе...

„Причина, по которой положительная наука считаетъ себя въ правѣ игнорировать... заключается въ свойствѣ тѣхъ фактовъ, которыя она, за исключеніемъ остальныхъ, признаетъ достоверными, именно: „она устанавливаетъ и опредѣляетъ только то, что для всѣхъ людей имѣетъ, или должно имѣть несомнѣнную, непоколебимую достоверность, значеніе неопровержимой истины, то, чего люди не могли не признать за истину, ту нейтральную, безспорную почву, на которой люди могли бы сходиться въ полномъ согласіи, то, что люди признаютъ за истинное по признакамъ весьма доступнымъ и для всѣхъ одинаково убѣдительнымъ, иначе: самую вѣстную, осязательную сторону людскихъ убѣжденій, то, что каждый, провѣривъ, долженъ признать за истину“ и т. д.

„Стало быть, что „данныя истины“ и основанныя на нихъ убѣж-

денія не имѣютъ и имѣть не могутъ этихъ свойствъ неоспоримой достовѣрности—считается дѣломъ рѣшеннымъ. Почему? я спрошу послѣ, а теперь позволю себѣ обратить ваше вниманіе на силу и послѣдствія этого рѣшенія.

„...Принципіальное выдѣленіе „такихъ“ убѣжденій изъ области не-сомнѣнно, обязательно достовѣрнаго и низведеніе ихъ на степень субъективныхъ воззрѣній, чаяній и предположеній, равносильно не простому игнорированію, а самому радикальному отрицанію самаго акта сообщенія человѣку данной истины.

„Признаюсь, что раціональность этого выдѣленія для меня не совсѣмъ ясна. Перечитывая „вашъ отвѣтъ...“ я задаю себѣ вопросъ, заключается ли въ самомъ фактѣ общепризнанности чего бы то ни было ручательство несомнѣнной достовѣрности этого чего-то, или достовѣрность опредѣляется особыми приемами, по присущимъ ей признакамъ, вынуждающимъ признаніе, дѣлающимъ признаніе обязательнымъ, хотя бы въ данную минуту и не было фактическаго признанія? Въ первомъ случаѣ нельзя кажется не признать, что „убѣжденіе въ дѣйствительности акта сообщенія человѣку данной истины“ принадлежитъ все-таки къ числу „глубочайшихъ вѣрованій человѣческаго рода“ („Зад. Псих.“, стр. 38), „фактовъ, извѣста живущихъ въ его сознаніи“, (тамъ-же, стр. 122), слѣдовательно имѣть за себя общее признаніе, въ той мѣрѣ, въ какой такое общее признаніе вообще возможно. Есть, правда, не только отдѣльныя личности, а даже цѣлыя школы, отрицающія его; но развѣ не было людей, добросовѣстно сомнѣвавшихся въ реальности того, что считалось наиреальнѣйшимъ—міра осязаемаго и видимаго; развѣ нѣтъ школъ, притомъ ежедневно разрастающихся и вооруженныхъ всѣми усовершенствованными орудіями познания, для которыхъ и свобода воли есть фикція? Вы сами объ нихъ упоминаете и противъ нихъ берете свободу подъ свою защиту. Откинемъ же фактъ общепризнанности и обратимся къ признакамъ достовѣрности, присущимъ самому предмету и къ тѣмъ научнымъ приемамъ, которыми они опознаются. Вы въ точности не опредѣлили ни тѣхъ, ни другихъ—это не входило въ вашу задачу—и потому остается для меня открытымъ вопросъ: оттого ли содержаніе „извѣстныхъ“ убѣжденій, въ глазахъ положительной науки, не достовѣрно, что оно дѣйствительно не имѣетъ объективной реальности, или оттого, что наука, придерживаясь одно-сторонняго и слишкомъ тѣснаго понятія о достовѣрности, приступаетъ къ этому содержанію съ повѣрочными приемами, рѣшительно къ нему непримѣнными и выработанными для изслѣдованія фактовъ другого порядка?

„Я охотно откидываю всѣ случайныя, преходящія... уродивости „положительной науки“, по мнѣнію вашему свидѣтельствующія только о мучительномъ процессѣ ея зачатія и появленія на свѣтъ, и все-таки, всматриваясь въ самыя характерныя и общія ея черты, не могу не придти къ убѣжденію, что позитивизмъ, какъ бы онъ ни отверчивался отъ матеріализма, носить его въ себѣ à l'état latent. Мнѣ кажется, что позитивизмъ, какъ методъ, порожденъ не столько

потребностью сдержатъ мысленный разгулъ идеализма, сколько чувствомъ, похожимъ на зависть къ физикѣ, химіи, астрономіи и прочимъ естественнымъ наукамъ. Быстрота ихъ успѣховъ и прочность ихъ завоеваній могла естественно навести на мысль перенести ихъ приемы, приспособленные къ изученію вещественнаго міра, въ другія области знанія, создать анатомію, потомъ физиологію души, eine *Naturgeschichte der Seele* и т. д. Эти выраженія, сами по себѣ совершенно невинныя, не возбуждали бы никакого подозрѣнія, еслибы въ нихъ не доносилось до слуха требованіе и чаяніе для психическихъ явленій *такой же* достовѣрности, какою плѣняютъ насъ факты, изслѣдованные естественными науками. Подчеркнутое слово *такой же* я разумѣю не въ смыслѣ достовѣрности *равнозначной и равносильной, а однородной*. Если не во всѣхъ формулахъ, то въ темпераментѣ и природѣ позитивизма обнаруживается *кавал-то* *отра* *въ осязаемость и наглядность*, иначе: рѣшительное предпочтеніе свидѣтельства внѣшнихъ чувствъ другимъ способамъ познания. Если, какъ вы замѣчаете, „наука, знаніе обнимаетъ только самую внѣшнюю, осязательную, всѣмъ доступную сторону явленія“, то, конечно, достовѣрнымъ по преимуществу окажется то, что доступно зрѣнію, слуху, осязанію и т. д.; а факты психическіе естественно должны будуть довольствоваться низшимъ мѣстомъ по рангу достовѣрности. Мое ощущеніе скрытнаго матеріализма въ позитивизмѣ до нѣкоторой степени подтвердилось сличеніемъ вашей книги съ рукописною вашею статью. Въ книгѣ вы указываете, какъ на коренную ошибку матеріализма, на отождествленіе *реального съ дѣйствительно сущимъ*, разумѣя подъ реальнымъ то, что подлежитъ внѣшнимъ чувствамъ („Задач. Псих.“ стр. 17), а въ рукописныхъ вашихъ возраженіяхъ, когда дѣло дошло до оправданія устраненія „извѣстныхъ“ убѣжденій изъ области позитивизма (а не реализма въ смыслѣ матеріалистовъ), вы пришли же къ тому, что положительная наука признаетъ свойство несомнѣнной, для всѣхъ обязательной истины только за *внѣшнюю, осязаемую* стороною людскихъ убѣжденій. Выходитъ, что понятіе несомнѣннаго или дѣйствительнаго въ смыслѣ научнаго свзуилось-таки до понятія *реально* въ смыслѣ внѣшняго и осязаемаго и что, въ концѣ-концовъ, позитивизмъ улегся, какъ нельзя лучше, въ границы матеріализма.

„Признаюсь, я не безъ нѣкотораго страха помышлялъ бы о будущихъ судьбахъ челоѣчества, если бы дѣйствительно этимъ путемъ подготовилась та нейтральная почва, на которой должны, со временемъ, сойтись люди различныхъ племенъ, вѣроисповѣданій, званій, личныхъ убѣжденій и т. д., и еслибъ изъ суммы выработанныхъ такимъ процессомъ истинъ долженъ былъ сложиться фундаментъ будущаго единенія. Вы заявляете, какъ фактъ, что успѣхи положительнаго знанія ведутъ къ нравственному сближенію, и что кругъ личныхъ убѣжденій суживается, а кругъ общихъ, объективныхъ, напротивъ, расширяется. Присматриваясь къ происходящему на нашихъ глазахъ, я замѣчаю иное. Если не на практикѣ, то въ понятіяхъ всѣ вообще начала, имѣющія свойство нравственныхъ, теряютъ постепенно свое объективное значеніе и сопряженную съ ними обязательность; они отходятъ, мало по малу, на задній планъ,

въ область личнаго вкуса, субъективныхъ симпатій и антипатій. Любопытенъ въ этомъ отношеніи процессъ постепенной нейтрализаціи начальной народной школы во многихъ государствахъ западной Европы.

„Не знаю, можно ли ожидать много добраго отъ подобнаго рода нейтрализаціи. На мой взглядъ всякое нравственное требованіе предполагать, какъ *единственную, оправдывающую его предпосылку*, данныя свойства религіознаго, и съ устраненіемъ послѣднихъ въ область сомнительнаго, само становится неразрѣшимымъ вопросомъ и теряетъ свою обязательность. Можно бы, напримѣръ, доказать, что понятіе о человѣческомъ братствѣ, какъ выводное изъ того понятія, которое, на языкѣ церковномъ, выражается словами *образъ и подобіе Божіе*, будучи оторвано отъ своего корня, должно непременно утратить свою объективность и свои границы. Оно сдѣлается чисто условнымъ и тогда ничто не помѣшаетъ ему сюзиться хотя бы до понятія объ одномъ племени, объ одной кастѣ, одной семьѣ, или, наоборотъ, расплыться до безконечности, захвативъ въ свой кругъ обезьянъ, потомъ всѣхъ млекопитающихъ, наконецъ, всѣхъ животныхъ.

„Желательно было бы когда-нибудь выяснить, опредѣлить и перечислить все то, отъ чего подразумевательно отрекается человѣкъ, покидающій религіозную почву, и что рано или поздно, въ силу жизненной логики, непременно отъ него отпадетъ. Эта тема стоила бы разработки и, кажется, пришла бы ко времени. На другую, также отрицательнаго свойства услугу, которой можно ожидать отъ науки, вы указали сами, допуская, какъ возможность, что въ концѣ-концовъ она выяснитъ несостоятельность тѣхъ возраженій, которыми набрасывается тѣнь сомнѣнія на истины, доступныя только внутреннему ощущенію. Я убѣжденъ, что эта возможность осуществится и вотъ почему меня нисколько не пугаетъ свободное движеніе науки, черезъ что бы ей ни предстояло пройти.

„Въ заключеніе моихъ замѣчаній на первую часть вашего отвѣта, считаю нелишнимъ оговорить, что матеріалистическая заставка чувствуется въ усвоенной вами методѣ гораздо болѣе, чѣмъ въ самомъ содержаніи вашей книги. Отъ строгихъ требованій методы вы часто спасаетесь счастливыми непослѣдовательностями, составляющими, въ моихъ глазахъ, великую вашу заслугу. Если положительная наука захватываетъ только самую внѣшнюю, осязательную сторону убѣжденій, и если, какъ вы совершенно справедливо замѣчаете въ вашей книгѣ, дѣйствіе вольное никакими ни внѣшними, ни внутренними признаками не отличается отъ дѣйствія, вынужденнаго закономъ необходимости („Задачи Психол.“, стр. 65 и 188), то свобода не можетъ быть научнымъ образомъ опознана и для ученія объ ней не должно быть мѣста въ наукѣ. Вы однако отстаиваете ее, хорошо понимая, что въ ней ключъ позиціи. Въ сущности, вся аргументація ваша въ пользу свободы, какъ я надѣюсь показать ниже, сводится къ слѣдующему: я признаю человѣческую свободу, потому что сознаю ее въ себѣ; но если такой способъ доказыванія допускается положительною наукою, то съ чего же стала бы она отворачиваться отъ человѣка, который вошелъ бы въ ея святилище, не сложивъ у по-

рога „известных“ убъжденій? Вы замѣчаете, что я нерѣдко ссылаюсь на истины, которыхъ доказать нельзя—это совершенно справедливо—все зависитъ отъ того, что значить и какъ понимать слово „доказать“, но не я одинъ такъ поступаю. Въ вашей книгѣ не найдется почти ни одного положенія, *доказаннаго* въ точномъ и строгомъ значеніи этого слова, иначе: *выведеннаго*. Такое свойство имѣютъ только ваши отрицательныя положенія (опроверженія), и мнѣ даже сдается, что одна изъ отличительныхъ особенностей такъ-называемаго позитивизма въ томъ именно и заключается, что онъ вообще не столько *доказываетъ*, сколько *показываетъ*, иначе, предпочитаетъ индуктивный способъ дедуктивному“.

Новыя возраженія Ю. О. Самарина, какъ и прежнія, отчасти вызваны недоразумѣніемъ, отчасти дѣйствительно касаются самого существа научнаго знанія.

Недоразумѣніе заключается въ томъ, что Ю. О. Самаринъ смѣшиваетъ положительное научное знаніе съ такъ-называемымъ позитивизмомъ и принимаетъ первое за послѣдній. Но они не совсѣмъ одно и то же, и смѣшеніе ихъ можетъ подать поводъ къ весьма серьезнымъ ошибкамъ. Чтобы правильно понять значеніе позитивизма, необходимо, мнѣ кажется, строго различать въ немъ научную методу и классификацію отъ философской доктрины. Заслуги позитивизма относительно научнаго метода и классификаціи признаются всѣми направленіями и едва ли могутъ быть оспорены. Позитивизмъ выяснилъ задачи науки, освободилъ ее отъ разныхъ несвойственныхъ ей примѣсей, точно указалъ ея границы и тѣмъ опредѣлилъ ея специфическое значеніе, о которомъ я говорилъ выше. Другое дѣло—система позитивной философіи. Для послѣдней точкою отправленія послужили математическія и естественныя науки; зародилась она и выработалась въ борьбѣ естествовѣдѣнія съ схоластикой и метафизикой, на которыя всецѣло и до сихъ поръ опирается римско-католическое вѣроученіе. Вотъ что придадо позитивной философіи, въ ея первоначальномъ видѣ, односторонность и исключительность, которыя бросаются въ глаза. Но то, что теперь называется позитивизмомъ, представляетъ болѣе или менѣе удачныя примѣненія превосходнаго научнаго метода и научной классификаціи Огюста Конта, а совсѣмъ не его философской системы, пропитанной отрицаніемъ, дышащей борьбой, и на которой потому нельзя ничего построить. Мнѣ кажется, что Ю. О. Самаринъ не обратилъ должнаго вниманія на это существенное различіе и смѣшалъ методъ Огюста Конта съ его философскими воззрѣніями, приписалъ положительной наукѣ вообще то, что относится только къ ея известному историческому возрасту, обусловленному известными историческими обстоятельствами. Ошибка позитивизма вовсе, мнѣ кажется, не въ научномъ обращеніи съ психиче-

скими явленіями, а въ тѣхъ предпосылкахъ, которыя произвольно вносятся въ ихъ изслѣдованіе, и отнимаютъ у нихъ научный характеръ. На этомъ вертятся всѣ упреки, которые я дѣлаю въ моей книгѣ господствующимъ въ наше время воззрѣніямъ. Имъ я вездѣ противопоставлю точную, положительную науку, отъ которой эти воззрѣнія отступаютъ въ весьма существенныхъ пунктахъ, благодаря естественно-историческимъ предпосылкамъ, вносимымъ въ психологическія изслѣдованія контрабандой, незамѣтно и часто безсознательно, подъ фирмою положительной науки. Все, что въ этомъ смыслѣ говоритъ Ю. О. Самаринъ о позитивизмѣ, къ сожалѣнію, совершенно справедливо. Лишь изрѣдка здѣсь и тамъ начинаютъ выступать тѣ вопіющія несообразности и нелѣпости, которыя неизбежно вытекаютъ изъ смѣшенія науки и ея выводовъ съ произвольной перетасовкой аксіомъ, относящихся къ совершенно различнымъ группамъ явленій. Конечно, пройдетъ еще много времени, пока для всѣхъ станетъ яснымъ, что нельзя, наперекоръ фактамъ, подводить одни явленія подъ законы другихъ.

Повторяю, нельзя считать позитивизмъ тождественнымъ съ положительной наукой. Позитивизмъ есть только первая серьезная попытка создать положительную науку, но попытка сильно еще запечатлѣнная односторонностью реалистическихъ воззрѣній. Чтобы оцѣнить и вполне понять позитивизмъ, не слѣдуетъ забывать, что онъ проложилъ себѣ путь съ боя и потому естественно носить на себѣ живые слѣды борьбы, посреди и подъ вліяніемъ которой выработался. Но намъ до этихъ его историческихъ предпосылокъ нѣтъ никакого дѣла. Мы должны взять только выработанные имъ результаты, насколько они выясняютъ вопросы научнаго знанія и отбросить случайные его наросты, въ которыхъ нѣтъ ничего научнаго. Такія поправки необходимы вездѣ и во всемъ и онѣ дѣлаются безпрестанно, на нашихъ глазахъ. Сколько учреждений еще недавно считались революционными только потому, что возникли во время и подъ вліяніемъ революціи, а на дѣлѣ оказались самыми охранительными! Тоже самое будетъ, рано или поздно, и съ позитивизмомъ. Случайная связь въ немъ положительной науки съ философскою доктриной не можетъ и не должна умалять его цѣны и значеніе его метода.

Другое важное недоразумѣніе со стороны Ю. О. Самарина состоитъ въ томъ, что онъ подозрѣваетъ позитивизмъ, а вмѣстѣ съ нимъ и меня, въ особенномъ предрасположеніи къ явленіямъ, подлежащимъ внѣшнимъ чувствамъ. По его словамъ, позитивизмъ опредѣляетъ степень достовѣрности явленія степенью приближенія его къ матеріальному факту. Въ мысли, что положительная наука имѣетъ дѣло лишь съ осязаемою, внѣшнею стороною людскихъ убѣжденій,

Ю. О. Самаринъ видитъ подтвержденіе своихъ подозрѣній. Мысль эта, по его мнѣнію, противорѣчитъ тому, что я говорю о дѣйствительности и реальности психическаго начала. Допуская въ область положительной науки одни внѣшнія, осязательныя явленія, я будто бы отрицаю дѣйствительность психическихъ фактовъ и признаю ее только за явленіями матеріальными, подлежащимъ чувствамъ. Отсюда Ю. О. Самаринъ очень послѣдовательно выводитъ, что психическій фактъ можетъ быть предметомъ не научнаго знанія, а одного личнаго убѣжденія, личнаго сознанія; если же это такъ, то на какомъ основаніи, спрашиваетъ онъ, вводятся въ науку истины, доступныя только сознанію, какъ, напримѣръ, въ моей книгѣ, свобода воли? Не очевидно ли здѣсь произвольное предрасположеніе къ однимъ и такое же произвольное отвращеніе къ другимъ истинамъ, съ ними равноправнымъ? Поступая такимъ образомъ, такъ-называемая положительная наука, или позитивизмъ оказывается такимъ же матеріализмомъ, только скрытымъ подъ другой формой.

Съ этими замѣчаніями Ю. О. Самарина трудно согласиться. Онъ неправъ, приписывая позитивизму предрасположеніе къ однимъ явленіямъ, нерасположеніе къ другимъ. Напротивъ, великая заслуга позитивизма въ томъ именно и состоитъ, что онъ далъ психическимъ явленіямъ право гражданства въ наукѣ, наравнѣ съ матеріальными, подлежащими чувствамъ. Можно не соглашаться съ выводами новѣйшихъ психологовъ,—Вундта, Тэна, Бэна, Дж. Ст. Милля и другихъ, но никакъ нельзя упрекнуть ихъ въ томъ, что они относятъ психическіе факты къ числу субъективныхъ явленій и мѣряютъ ихъ достоинство масштабомъ явленій матеріальныхъ, подлежащихъ чувствамъ. Напротивъ, каждое новое изслѣдованіе психическихъ явленій, выполненное въ духѣ положительнаго знанія, болѣе и болѣе удаляетъ позитивистовъ отъ такъ-называемой позитивной философіи, и выводы Бэна, въ новомъ его сочиненіи, подъ заглавіемъ: „Душа и тѣло“, служатъ тому убѣдительнымъ подтвержденіемъ. Психическія явленія давно уже перестали быть фактами чисто личными. Наука сѣмѣла и въ нихъ подмѣтить и опредѣлить внѣшнія, объективныя, такъ сказать осязательныя признаки, по которымъ эти явленія сдѣлались такимъ же объективнымъ предметомъ научнаго изученія и изслѣдованія, какъ явленія матеріальной природы. Если мнѣ возразятъ, что психическія явленія потому суть предметы личнаго знанія, что они, въ концѣ-концовъ, покоятся на сознаніи, фактъ по преимуществу личномъ и субъективномъ, то я напомню, что и внѣшнія впечатлѣнія, посредствомъ которыхъ мы знакомимся съ явленіямъ матеріальнаго міра, точно также покоятся, въ концѣ-концовъ, на личномъ, субъективномъ сознаніи. Съ этой точки зрѣнія, и тѣ и другія явле-

нія совершенно равноправны и достовѣрность ихъ совершенно одинакова. Значить, если положительное научное знаніе психическихъ явленій, какъ фактовъ субъективныхъ, невозможно, то по той же самой причинѣ невозможно и научное знаніе матеріальныхъ явленій, и наоборотъ: познанныя возможность изслѣдовать внѣшнюю природу, какъ объективный фактъ, указываетъ на возможность смотрѣть точно также объективно и на явленія психическаго міра. Приемы изученія, разумѣется, будутъ другіе, приспособленные къ свойствамъ предмета изученія, но методъ останется одинъ и тотъ же. Критическая разработка матеріала также необходима въ естествоислѣдѣніи, какъ и въ психологіи, и какъ въ первой, такъ и въ послѣдней, она ведетъ къ классификаціи явленій не по субъективному признаку сознанія, а по объективнымъ признакамъ, одинаково доступнымъ всѣмъ и каждому, кто выучился и умѣетъ наблюдать и изучать тѣ или другіе факты. Только въ этомъ смыслѣ я и говорю о внѣшности, осязательности психическихъ фактовъ. Въ этомъ же самомъ смыслѣ мы называемъ юридическій законъ внѣшней стороной правды и справедливости, называемъ ту или другую истину очевидной, ощутительной, осязательной, — не думая соединять съ этими выраженіями буквального смысла, примѣнимаго только къ предметамъ, которые подлежатъ внѣшнимъ чувствамъ. Только на основаніи признаковъ внѣшнихъ, осязательныхъ въ этомъ смыслѣ, положительная наука принимаетъ въ свой кругъ одни факты, не принимаетъ другихъ, относя послѣдніе къ числу личныхъ, субъективныхъ.

Все сказанное подробно изложено въ „Задачахъ Психологіи“. Ю. О. Самаринъ, повидимому, не обратилъ вниманія на тѣ страницы, гдѣ говорится объ объективности психическихъ явленій и ихъ отношеніи къ міру реальному. Поэтому мнѣ остается припомнить здѣсь въ общихъ чертахъ тѣ главные положенія, на которыхъ я основываю возможность научной психологіи.

Психическія явленія могутъ стать предметами научнаго, объективнаго изученія лишь съ той минуты, когда они обнаружатся въ реальныхъ фактахъ. Но реальные факты мы узнаемъ только посредствомъ внѣшнихъ чувствъ, и потому Ю. О. Самаринъ, съ перваго взгляда, какъ-будто правъ, говоря, что положительному знанію доступны только матеріальныя явленія. На самомъ же дѣлѣ, это не совсѣмъ такъ. Непосредственной связи между психическими и матеріальными явленіями мы не знаемъ. Несмотря на всѣ усилія, мы пока сумѣли подмѣтить между матеріальнымъ и психическимъ только постоянное соотвѣтствіе и правильное отношеніе. Тоже самое должно сказать и объ обнаруженіяхъ психическихъ явленій въ реальномъ мірѣ. Первые не воплощаются во внѣшнихъ предметахъ, какъ вы-

ражались еще недавно, а только приурочиваются къ матеріальнымъ фактамъ, или, правильнѣе, къ различнымъ сочетаніямъ реальныхъ фактовъ. Вотъ почему всѣ внѣшніе факты, въ которыхъ обнаруживаются психическія явленія имѣютъ двѣ стороны: какъ матеріальные, они подлежатъ законамъ природы и составляютъ предметъ изслѣдованія естественныхъ наукъ; какъ значки, символы психическихъ явленій, которыя къ нимъ приурочены, они служатъ матеріаломъ для психологическихъ изслѣдованій. Такъ смѣхъ, мелодія, письмо, памятникъ архитектуры, любое орудіе или машина представляютъ, въ одно и то же время, и физиологическое, физическое, механическое и т. п. явленіе, и психическое движеніе, выраженіе чувства или мысли, творческое созданіе. Только какъ символъ психическаго явленія, матеріальный фактъ дѣйствуетъ на насъ психически; какъ матеріальное явленіе, онъ вовсе не имѣетъ психическаго значенія. Такъ, напримѣръ, извѣстныя движенія лицевыхъ мускуловъ, сами по себѣ, не производили бы на насъ никакого психическаго дѣйствія, еслибы мы не знали, что къ нимъ приурочены тѣ или другія психическія движенія.

Пока психическій фактъ не приуроченъ къ какому-нибудь сочетанію матеріальныхъ фактовъ, онъ есть предметъ личнаго сознанія; но лишь только онъ имѣетъ свой внѣшній значокъ, свой символъ, онъ становится доступнымъ для внѣшнихъ чувствъ и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлается предметомъ точнаго, объективнаго, научнаго изслѣдованія и повѣрки, наравнѣ съ предметами естествознанія. Читая письмо или книгу, рассматривая художественное произведеніе, мы только потому узнаемъ мысли писавшаго, образъ, носившійся передъ художникомъ, что ихъ психическія движенія приурочены къ тѣмъ внѣшнимъ явленіямъ, которыя мы рассматриваемъ. Въ этомъ смыслѣ, конечно, справедливо, что положительная наука можетъ имѣть дѣло только съ фактами матеріальнаго свойства и ни съ какими другими, и что безъ такихъ фактовъ никакое психическое явленіе ей недоступно; но несправедливо, будто бы исключительнымъ предметомъ ея изученія можетъ быть только матеріальный фактъ самъ по себѣ или, будто бы, наука осуждена сводить всѣ явленія на факты матеріальнаго свойства. При изученіи психическихъ явленій она пользуется матеріальными данными только какъ значками, символами первыхъ, и знаетъ, что вслѣдствіе приуроченія психическихъ фактовъ къ матеріальнымъ, первые не переходятъ въ послѣдніе и не становятся сами матеріальными. Но точно также наука знаетъ, что, кромѣ психическихъ фактовъ, приуроченныхъ къ внѣшнимъ явленіямъ, могутъ быть и такіе, которые не обнаруживаются въ объективныхъ признакахъ, остаются удѣломъ личнаго сознанія того, въ комъ они проис-

ходить и потому навсегда остаются недоступными для ея наблюдений. Наконецъ, положительная наука знаетъ, что есть психическіе факты, обнаружившіеся во внѣшнемъ мірѣ, которые, несмотря на самое тщательное изслѣдованіе, остаются пока необъясненными, точно такъ же, какъ есть многое множество такихъ фактовъ и въ области естествознанія.

Ю. Ѳ. Самаринъ упрекаетъ меня въ томъ, что, признавая чаянія и убѣжденія, доступныя одному личному сознанію, за субъективныя истины, подлежащія научному изслѣдованію и повѣрѣнью, я однако не прямо отрицаю ихъ. Но допуская субъективныя убѣжденія, истинныя по существу, и которыхъ научнымъ путемъ нельзя ни доказать, ни опровергнуть, я не могу отнести къ нимъ такихъ, которыя противорѣчатъ дознаннымъ научнымъ истинамъ. На міръ субъективныхъ убѣжденій я смотрю какъ на необходимое дополненіе къ научному знанію и не допускаю мысли, чтобы первыя могли быть съ послѣдними въ противорѣчій. Положительная наука далеко не непогрѣшима; выводы ея, конечно, могутъ оказаться ошибочными; но къ такому заключенію можетъ привести лишь критика, повѣрка; въ принципѣ же никакъ нельзя признать, что субъективное убѣжденіе можетъ противорѣчить научному знанію. Если положительное научное изслѣдованіе приводитъ къ выводу, что субъективное убѣжденіе неправильно объясняетъ какой-нибудь психическій фактъ, то не можетъ, мнѣ кажется, быть никакого сомнѣнія въ томъ, что научному объясненію должно быть дано предпочтеніе передъ субъективнымъ, личнымъ взглядомъ.

Наконецъ, Ю. Ѳ. Самаринъ говоритъ, что индукція только показываетъ, а доказываетъ—дедукція. Не знаю, чтѣ именно имѣлъ въ виду почтенный критикъ. Не хотѣлъ ли онъ этимъ сказать, что положительная наука не вправѣ требовать доказательствъ, такъ какъ сама она ничего не доказываетъ, а только показываетъ, индукція же не есть доказательство. Если такова его мысль, то онъ едва ли правъ. Современная наука не имѣетъ готоваго синтеза и отыскиваетъ его. Для этого есть только одинъ путь — путь индукціи; дедукція же предполагаетъ выработанный синтезъ, который прилагается къ явленіямъ и которымъ они только повѣряются. Слабая сторона дедукціи, по крайней мѣрѣ какъ она практиковалась въ метафизическихъ ученіяхъ, заключается въ томъ, что готовый синтезъ принимается за истину, подлежащую повѣрѣнью и если явленіе подъ него не подходитъ, то ошибка предполагается въ пониманіи явленія, а не въ синтезѣ. Индукція есть результатъ сомнѣнія въ непогрѣшимости синтеза, и усилій провѣрить его явленіями. Такимъ образомъ, въ дедукціи исходной точкой служитъ общее начало, въ индукціи—

явленіе. Въ наше время противопоставлять оба метода, какъ дѣлаетъ Ю. О. Самаринъ, едва ли возможно. Современная наука смотритъ на оба метода только какъ на два способа повѣрки, какъ на перекрестный допросъ, производимый съ двухъ противоположныхъ точекъ зрѣнія, чтобы убѣдиться, въ какой мѣрѣ общее начало строго выведено изъ фактовъ, имъ соотвѣтствуетъ, и въ какой мѣрѣ, наоборотъ, факты отвѣчаютъ общему началу или синтезу. Слѣдовательно, дедукція и индукція не исключаютъ, а дополняютъ другъ друга, работаютъ другъ другу въ руку, содѣйствуя, каждая, съ своей стороны, къ установленію правильнаго, точнаго отношенія между явленіемъ и мыслью. Оба и доказываютъ и показываютъ. Про дедукцію тоже можно сказать, что она не доказываетъ, а показываетъ, когда сравниваетъ явленіе съ началомъ и указываетъ, что первое отвѣчаетъ послѣднему. Въ свою очередь и индукція доказываетъ, а не показываетъ, выводя общее начало изъ сопоставленія и сравненія явленій.

Перейдемъ теперь къ другому вопросу, по поводу котораго мы также расходимся съ Ю. О. Самаринымъ, а именно: что такое психическій міръ, и какъ понимать его реальность?

Б. Кавелинъ.



## ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-е мая, 1875.

Преобразование въ церковномъ управленіи и устройствѣ.—Отношенія церкви и государства.—Отчетъ оберъ-прокурора св. синода за 1873 годъ.—Древніе польскіе архивы въ Россіи.—Вопросъ о передачѣ польской метрики.—Дѣло Карлова и Казыненко и приговоры присяжныхъ.—Вопросъ о дуэли.—Оговорка о росписи на 1875 годъ.

Событія послѣднихъ годовъ въ Германіи, Австріи, Англіи, отчасти и въ Америкѣ показали, какое значеніе продолжаютъ имѣть въ жизни государствъ вопросы церковные, то-есть, какъ вопросъ объ отношеніяхъ государства къ церкви, такъ и вопросъ о внутреннемъ устройствѣ въ самыхъ церквахъ. Совершились два замѣчательныхъ, неожиданныхъ событія: одно изъ консервативнѣйшихъ правительствъ увлечено было въ борьбу съ церковью, къ которой принадлежитъ треть его подданныхъ; самое либеральное—въ точномъ смыслѣ слова—законодательное собраніе явило давно невиданный примѣръ внимательства въ самую обрядность богослуженія церкви господствующей, между тѣмъ, какъ церкви диссидентскія продолжаютъ въ той же странѣ пользоваться полной независимостью. Вопросъ объ отношеніяхъ государства къ церкви рѣшенъ или рѣшается въ разныхъ государствахъ самымъ различнымъ образомъ. Отъ Экваторской республики, которая недавно ввела у себя таможенную цензуру, чтобы не пропускать книгъ, неодобряемыхъ католическимъ духовенствомъ, до британскаго королевства, въ которомъ парламентъ охраняетъ „чистоту богослуженія“ въ англиканской церкви отъ самихъ пасторовъ—разстояніе, повидимому, огромное: тамъ полное подчиненіе государства церкви, здѣсь полное подчиненіе церкви государству. Но, съ извѣстной точки зрѣнія, разстояніе, отдѣляющее эти два положенія дѣлъ, вовсе не такъ велико. И здѣсь, и тамъ выражается, весьма различно, одна и та же основная мысль—смищеніе духовнаго

союза, какимъ есть церковь, съ юридическою и матеріальною сферой государственной власти. Весьма рельефной формулой такого смѣшенія могло бы служить недавнее заявленіе германскаго канцлера, что онъ не преслѣдуетъ католическую церковь, но защищаетъ евангеліе въ католической же церкви противъ папы. Вотъ къ какому логическому результату приводитъ смѣшеніе двухъ вопросовъ: объ отношеніяхъ государства къ церкви и о внутреннемъ устройствѣ самихъ церквей.

У насъ, въ Россіи, вопросы эти не возникали; мы говоримъ о современности. Они давно рѣшены извѣстнымъ образомъ, и хотя нельзя, конечно, сказать, что въ сферѣ ихъ не предвидится необходимости нѣкоторыхъ улучшеній, но улучшенія эти, когда будетъ признано удобнымъ осуществить ихъ, не могутъ стать предметомъ спора или затрудненій. Правда, вопросъ о преобразованіи духовнаго суда вызвалъ въ области свѣтской и духовной мнѣнія весьма различныя. Но вѣдь и это произошло собственно потому, что для одной стороны рѣшеніе этого вопроса было безразлично, хотя для другой онъ былъ важенъ. Стало быть, готовой извѣстной рѣшимости не было, а собственно потому и могли высказаться два мнѣнія, иначе по всей вѣроятности высказалось бы одно. Говоря такъ, мы нисколько не сожалѣемъ о томъ, что различіе мнѣній въ этомъ случаѣ могло проявиться. Если бы даже вслѣдствіе такого различія во взглядахъ этотъ вопросъ не получилъ никакого рѣшенія, мы все-таки должны бы были признать правильною и постановку его, и въ особенности тотъ способъ, которымъ поведено было его обсужденіе. Подобныхъ вопросовъ, которые касаются внутренняго устройства церкви и отношеній между ея служителями, лучше вовсе не рѣшать, чѣмъ рѣшать ихъ односторонне свѣтскимъ законодательствомъ.

Извѣстно, что нынѣшнее положеніе церкви въ государствѣ установлено Петромъ. Было бы бесполезно разсуждать о томъ, представлялось ли такое установленіе въ то время плодомъ дѣйствительной необходимости. Ясно одно, что, по личному убѣжденію Петра, оно было однимъ изъ неизбѣжныхъ условій той диктатуры, которую онъ взялъ надъ русскимъ народомъ, во имя его интересовъ, его духа и историческихъ стремленій, для того, чтобы совершить преобразованіе. Во всякомъ случаѣ, легко допустить, что Петру могло быть необходимо подчинить себѣ единственную сколько-нибудь самостоятельную силу въ московскомъ государствѣ, для того, чтобы совершить то политическое и вмѣстѣ общественное преобразованіе, которое имъ было предпринято, чѣмъ, напр., Бисмарку—для довершенія единства Германіи, мысль о которомъ сознана всѣмъ народомъ и въ дѣйствительности уже осуществлена. Но, въ какой бы мѣрѣ мы ее

ни допустили, необходимость, представившаяся уму Петра, была во всякомъ случаѣ только временная, а между тѣмъ условія, имъ созданныя, такъ и остались, такъ и оцѣненѣли. По самому свойству этихъ условій, іерархія уже не могла дѣлать никакихъ усилій, даже никакихъ заявленій въ смыслѣ возвращенія себѣ болѣе самостоятельности. Разрозненная въ себѣ, лишенная связи съ высшимъ обществомъ, она замыкалась въ своей средѣ, которая дальше верхнихъ слоевъ общества оставалась чуждою европейскимъ идеямъ, ставшимъ въ Россіи правящими, политическими. Отсюда естественно произошло, что, уже не говоря объ условіяхъ, среди которыхъ она была поставлена и которыя могли препятствовать какимъ-либо усиліямъ съ ея стороны, она скоро отвыкла и отъ самой мысли о самостоятельныхъ усиліяхъ. Ей были чужды воззрѣнія, нравы, самый языкъ, которые стали господствовать. Правда, семейное положеніе свѣтскаго духовенства производило особое наслѣдственное духовное сословіе, которое проникало въ службу, усваивало себѣ новую жизнь наравнѣ съ другими классами общества и оказало ему не малыя услуги, подкрѣпляя собою его контингентъ грамотныхъ, способныхъ къ службѣ людей, а иногда, давая ему даже замѣчательныхъ дѣятелей. Но это была, такъ-сказать, эмиграція изъ духовнаго званія, не имѣвшая уже ничего общаго съ духовной властью. Когда мы говоримъ объ этой власти или о церкви въ тѣсномъ смыслѣ, мы должны разумѣть только іерархію. Она освоилась съ тѣми условіями, въ какія была поставлена, и скоро перестала даже думать о какой-либо самостоятельности. Мы говоримъ такъ потому, что до первой четверти нынѣшняго столѣтія съ ея стороны не обнаруживалось ничѣмъ подобной мысли; да и въ ту эпоху, о которой сейчасъ упомянуто мимоходомъ, если съ извѣстной стороны и обнаружилась какая-либо мысль, то это была мысль о дѣйствіи свѣтской рукою для достиженія духовныхъ цѣлей, но не о приобрѣтеніи какого-либо простора для внутренняго самоуправленія въ церкви. Само собою разумѣется, что при отсутствіи мысли о болѣе самостоятельности въ самой іерархіи, не нашлось другой стороны, которая сама задалась бы такою мыслью.

Отмѣняя санъ патріарха, Петръ объяснилъ это такъ: „понеже въ единой персонѣ не безъ страстей бываетъ“; хотя даѣе (въ томъ же манифестѣ) онъ указывалъ откровеннѣе на истинную причину — на необходимость полнаго простора для власти, которую онъ употребилъ на исполненіе величайшаго предпріятія, когда-либо взятаго на себя однимъ человекомъ во всей исторіи. Но высказанное имъ между прочимъ ожиданіе, что при условіяхъ, какими онъ оставилъ церковное управленіе, дѣятельность іерархіи „будетъ безъ страстей“,

вполнѣ оправдалось, оправдалось болѣе, чѣмъ онъ, быть можетъ, ожидать. Быть, замкнутый въ себѣ самымъ своимъ свойствомъ и вмѣстѣ лишенный самостоятельности оградившими его условіями, остался не только „безъ страстей“, но и безъ живой, дѣятельной силы. Дѣло было не въ томъ только, что отмѣнено было званіе патріарха и замѣнено „соборнымъ правительствомъ“, по выраженію Петра; но въ томъ особенно, что „правительство“ это и въ церковныхъ дѣлахъ ничѣмъ похожимъ на правительство не было. Оно стало такимъ же органомъ свѣтской власти, какъ сенатъ; поставленное параллельно съ этимъ учрежденіемъ, оно отчасти раздѣляло его судьбы; подобно ему—чтобы указать одинъ примѣръ—было подчинено однажды верховному тайному совѣту и одинаково съ сенатомъ лишено даже титула „правительствующаго“ безъ малѣйшаго затрудненія. Впослѣдствіи найдено было нужнымъ возстановить этотъ титулъ, но внутреннее положеніе осталось неизмѣнно. Характеристично было указаніе Петра при самомъ началѣ, чтобы въ оберъ-прокуроры выбрать „изъ офицеровъ добраго человѣка, чтобы имѣлъ смѣлость и могъ управленіе синодскаго дѣла знать“. Кратковременное существованіе министра духовныхъ дѣлъ при императорѣ Александрѣ I, поставленнаго выше оберъ-прокурора, не измѣнило сущности устройства, хотя въ учрежденіи этомъ проглядывала мысль иная: не самостоятельности церковной, но подчиненія свѣтскаго элемента.

Противъ одного выраженія, употребленнаго выше, намъ могутъ сдѣлать возраженіе изъ вполнѣ уважительныхъ мотивовъ. Намъ могутъ спросить: справедливо ли говорить объ отсутствіи живой силы въ такомъ установленіи, которое въ теченіи полутора вѣка дѣло однако же продолжало исполнять великую, плодотворную миссію? Необходимо устранить самую возможность подобнаго недоразумѣнія. Мы говоримъ не о религіи съ ея свѣтлыми утѣшеніями и ея плодотворнымъ вліяніемъ на нравственность массъ. Говоря объ условіяхъ, созданныхъ Петромъ въ виду той необходимости, которая представлялась собственно ему, мы разумѣемъ свѣтскія условія, которыми была направлена, а стало быть и ограничена духовная дѣятельность. Насколько плодотворна она могла бы быть безъ этихъ условій, ясно а priori для всякаго, кто понимаетъ, что такое есть дѣятельность въ нравственной сферѣ вообще, какая полнота жизни и какая свобода нужны для того, чтобы дѣятель въ этой сферѣ могъ въ самомъ дѣлѣ подчинять себѣ умы и прочно вносить въ нихъ все то, что въ состояніи дать его вѣрованія или идеалы.

Преобразованія въ духовной сферѣ въ Россіи были бы сравнительно легки именно вслѣдствіе тѣхъ условій, среди которыхъ церковная среда у насъ находится со времени реформы Петра. Преобра-

зованія эти могли бы имѣть цѣлью именно предоставленіе церкви возможно болѣе самостоятельности, для того, чтобы собственныя ея усилія къ достиженію ея высокихъ цѣлей могли стать еще плодотворнѣе, однимъ словомъ, съ цѣлью сообщить ея дѣятельности болѣе внутренней силы, болѣе жизни, и вмѣстѣ съ тѣмъ освободить и свѣтское законодательство и свѣтскую власть отъ такихъ устарѣлыхъ законовъ и требованій, которые по свойству своему чужды свѣтской области и стѣсняютъ разумную свободу, которая должна принадлежать членамъ свѣтскаго общества. Понятно, что при совершеніи такихъ преобразованій государству пришлось бы именно, пользуясь полнотою своихъ правъ по отношенію къ церкви, отказываться постепенно отъ этихъ правъ, какъ бесполезныхъ нынѣ и только могущихъ стѣснять внутреннюю силу духовной среды въ сферѣ чисто-церковной. Но, съ другой стороны, государству слѣдовало бы вмѣстѣ съ тѣмъ избѣгать и проведенія преобразованій по его усмотрѣнію въ самой духовной средѣ, каково было, напримѣръ, предположенное преобразование духовнаго суда; подобныя преобразованія безъ согласія іерархіи производить неудобно, и всего раціональнѣе предоставить ихъ исполнѣ на усмотрѣніе самой церкви. Возраженіе, что государству надлежитъ заботиться объ участи низшаго духовенства, объ охраненіи его правъ, не убѣдительно; оно исходитъ изъ той категоріи понятій, которая прямо ведетъ къ смѣшенію общихъ властей, общихъ сферъ дѣятельности, смѣшенію, которое стѣсняетъ одновременно и церковь, и государство. Не надо упускать изъ виду, что никто не принуждается закономъ ни вступать въ духовное сословіе, ни оставаться въ немъ вопреки своему желанію. Стало быть, о „безвыходности положенія“ не можетъ быть рѣчи, если только государство отмѣнитъ всякія ограниченія въ правахъ лицъ, выходящихъ изъ духовнаго званія.

Преобразованія новѣйшаго времени коснулись отчасти и области церковной, но коснулись собственно только общественнаго быта свѣтскаго духовенства, отношеній государственной власти къ раскольникамъ и образованія, доставляемаго духовенству вообще его спеціальными школами, и матеріальнаго быта приходскаго духовенства; затѣмъ, какъ уже упомянуто, возбужденъ былъ вопросъ о преобразованіи духовнаго суда на началахъ суда свѣтскаго, на началахъ общихъ судебныхъ уставовъ. Изъ этихъ преобразованій первыя два, то-есть отмѣна наслѣдственности духовнаго званія въ 1869 году, наставленіе 1868 года относительно дѣйствій свѣтскихъ властей по дѣламъ раскольниковъ, дополненное закономъ 1874 года о признаніи расколичныхъ браковъ и введеніи у раскольниковъ метрическихъ книгъ, могли совершенно раціонально быть произведены

одностороннимъ рѣшеніемъ свѣтской власти, такъ какъ они касались исключительно свѣтскихъ правовыхъ отношеній. О мѣрахъ къ обезпеченію матеріальнаго быта приходскаго духовенства, на основаніи положенія 1869 года, опредѣлившаго штатный составъ причтовъ, уже нельзя сказать того же, но нельзя не допустить, что пока соединеніе властей существуетъ и государство не отдѣлило особаго фонда для духовнаго бюджета, на немъ лежитъ временная обязанность заботиться о матеріальномъ положеніи духовенства. Что же касается начатаго въ 1867 и 1869 годахъ и нынѣ уже близкаго къ окончанію преобразованія духовныхъ училищъ низшихъ и высшихъ, и въ особенности вопроса о судебной реформѣ въ церкви, теперь еще обсуждаемаго, то эти двѣ реформы уже рѣшительно относились къ области чисто-духовной и едвали можно сомнѣваться, что при полной самостоятельности духовной среды, предполагая, конечно, что она располагала бы достаточнымъ денежнымъ фондомъ, іерархія могла бы сама сдѣлать то и другое, руководствуясь единственно преданіями церкви и дѣйствительными ея потребностями. Специальные денежные средства духовное вѣдомство имѣетъ и нынѣ, но ихъ недостаточно для всѣхъ потребностей; государство отпускаетъ духовному вѣдомству ежегодно, изъ своихъ бюджетныхъ средствъ, до 10 милл. рублей. Для того, чтобы сдѣлать объ власти вполне самостоятельными, одну по отношенію къ другой, достаточно было бы принять эту сумму 10 милл. рублей за постоянную норму и отпускать ее въ видѣ огульной суммы, идущей въ дополненіе специальныхъ средствъ духовнаго вѣдомства, но безъ утвержденія смѣты законодательнымъ порядкомъ, въ полное распоряженіе св. синода, съ тѣмъ, чтобы онъ самъ окончательно утверждалъ свои смѣты и отчеты собственного своего контроля по исполненію ихъ. Но еще лучше было бы прямо образовать, путемъ внутренняго займа, фондъ для погашенія этого ежегоднаго кредита. Съ упраздненіемъ всѣхъ государственныхъ должностей, связанныхъ съ духовнымъ вѣдомствомъ, сумма 10 милл. рублей могла бы значительно сократиться, такъ что займа въ 150 милл. рублей было бы совершенно достаточно для составленія вполне самостоятельнаго духовнаго капитала, который находился бы въ полномъ распоряженіи духовнаго правительства. Онъ представлялъ бы собою вознагражденіе за духовныя имущества, нѣкогда взятая въ казну, и окончательно освободилъ бы свѣтскую власть отъ всякихъ расходовъ на устройство духовныхъ училищъ, содержаніе духовныхъ должностныхъ лицъ, отъ заботъ объ обезпеченіи матеріальнаго быта духовенства и о содержаніи и о постройкѣ монастырей и церквей. Духовная власть получила бы въ распоряженіи этимъ фондомъ и своими специальными средствами

полную возможность обезпечить всѣ церковныя потребности, матеріальный бытъ и всѣ сферы духовной дѣятельности такъ, какъ сама признала бы за лучшее. А кто же можетъ быть лучшимъ ея судьей въ этомъ дѣлѣ, кто хранитель истинныхъ преданій церкви, кому ближе забота о плодотворной въ ней дѣятельности, чѣмъ ей самой, ея представителямъ?

Само собою разумѣется, что мы при этомъ не имѣемъ притязанія составить проектъ со всей точностью, необходимой для приложения на практикѣ. Мы только указываемъ главную мысль, которая представляется намъ единственно раціональною для того, чтобы служить основою въ окончательномъ устройствѣ отношеній между государствомъ и церковью. Другая реформа, вытекающая изъ первой, состояла бы въ исключеніи изъ свѣтскаго законодательства всѣхъ законоположеній, имѣющихъ духовно-принудительную силу, въ установленіи надлежащей религіозной свободы, которая необходима для того, чтобы наше общество окончательно стало на уровеньъ европейскихъ обществъ.

Только тогда, когда духовная среда получила бы полную самостоятельность, можно было бы съ увѣренностью ожидать, что въ ней зацвѣтетъ плодотворная жизнь, столь необходимая для нравственнаго благосостоянія народа. Тогда, разсуждая по-мірски, духовная карьера, въ глазахъ образованныхъ людей, могла бы стать привлекательною, въ духовной средѣ могли бы проявиться новыя дѣятели, носители тѣхъ же древнихъ, освященныхъ ученій, но дѣятели, одушевленные независимостью и той полнотою жизни и энергіи, которую независимость сообщаетъ; поднялся бы уровеньъ высшаго образованія въ духовенствѣ, съ рвеніемъ и охотою раздалось бы плодотворное, освобожденное слово проповѣдниковъ.

Въ отчетахъ по духовному вѣдомству, которые намъ приходится обозрѣвать годъ за годомъ, нельзя и ожидать большихъ перемѣнъ, быстрыхъ шаговъ къ обновленію и улучшенію потому, что они могутъ сообщать свѣдѣнія о примѣненіи только тѣхъ реформъ, какія были совершены и о дѣятельности духовенства только среди тѣхъ условий, въ какихъ оно нынѣ находится и которыя съ году на годъ мало въ чемъ измѣняются. Такъ, въ подлежащемъ намъ отчетѣ оберъ-прокурора св. синода за 1873 годъ, мы находимъ свѣдѣнія о постепенномъ примѣненіи положеній 1869 года о причтахъ и о преобразованіи духовныхъ училищъ. Положеніе 1869 года о составѣ причтовъ получило въ 1873 году примѣненіе въ 18-ти епархіяхъ, причѣмъ утверждены были составленные для этихъ епархій губернскими по обезпеченію духовенства присутствіями новыя росписанія прихо-

довъ и причтовъ. Въ этихъ 18-ти епархіяхъ положено образовать самостоятельныхъ приходовъ 7,818 (вмѣсто 9,810), и въ нихъ имѣть въ причтахъ священно- и церковно-служителей 24,121 лицо, менѣе противъ бывшаго состава причтовъ на 14,701 лицо, то-есть съ сокращеніемъ мѣстъ гораздо болѣе чѣмъ на треть прежняго числа. Преобразование 1869 года духовныхъ академій уже окончено, такъ что съ 1873—1874 учебнаго года всѣ духовныя академіи пережили уже переходное время реформы. Примѣненіе преобразования семинарій и низшихъ духовныхъ училищъ продолжается.

Относительно же утвержденія вѣры и благочестія въ православномъ населеніи Россіи въ отчетѣ сообщаются свѣдѣнія объ обзрѣніи епархій архіереями и попеченіяхъ ихъ о благоустройствѣ храмовъ, о побужденіи священниковъ къ произнесенію проповѣдей, къ увѣщаніямъ народа противъ пьянства и т. д. Специально относительно проповѣди, которая представляетъ, съ мірской точки зрѣнія, важнѣйшее средство для духовенства дѣйствовать на улучшеніе народной нравственности, показаніе отчета за 1873 годъ почти буквально одинаково съ показаніями прежнихъ отчетовъ; архіереи продолжали одобрять священниковъ, ревностныхъ къ дѣлу проповѣди, и побуждать нерадивыхъ, а священниковъ, неимѣющихъ достаточнаго богословскаго образованія для составленія собственныхъ проповѣдей, обязывали читать въ церкви, для назиданія своихъ прихожанъ, поученія, изданныя печатно—дѣятельность весьма скромная.

Числа лицъ, обратившихся въ православіе въ 1873 году, показаны въ отчетѣ слѣдующія: изъ раскола 2,774 чел. (въ 1872 году ихъ было 2,900), въ томъ числѣ безусловно 1,497 (въ 1872—1,697) и на правилахъ единовѣрія 1,277 (въ 1872—1,203); католиковъ—1,853 (въ 1872 г.—2,105, въ 1871 г.—2,610), протестантовъ—746 (789), армянъ 7 (13), евреевъ—493 (410), магометанъ—557 (1,943), язычниковъ—3,119 (3,551). Всѣхъ присоединившихся къ православію въ 1873 году было 9,549 (въ 1872 г.—10,508, въ 1871 г.—11,565). Весьма сильно подвигались мѣры по устройству православныхъ церквей въ западномъ краѣ и царствѣ польскомъ, и также устройство церковно-приходскихъ школъ въ западныхъ губерніяхъ. Въ 1873 году въ западномъ краѣ построено и освящено 86 церквей; для постройки православныхъ церквей въ царствѣ польскомъ съ 1867 года отпускается изъ государственнаго казначейства по 100 т. рублей ежегодно, но по 1873 годъ ихъ окончательно устроено только 8, которыя обошлись въ 360 т. р., несмотря на то, что двѣ изъ нихъ были только перестроены, а двѣ устроены главнымъ образомъ на счетъ добровольныхъ пожертвованій. Расходъ по этому предмету первоначально предполагался въ 800 т. р., такъ какъ кредитъ въ 100 т. р.

былъ разрѣшенъ на 8 лѣтъ; но въ 1873 году исходатайствовано продолженіе этого ассигнованія еще на восьмилѣтній срокъ, такъ что весь расходъ казны на постройку церквей въ царствѣ польскомъ составитъ 1 м. 600 т. рублей.

Что же касается церковно-приходскихъ школъ, то въ 9-ти западныхъ губерніяхъ ихъ состояло 3,273 съ 77,340 учащихся обоюго пола. Все число церковно-приходскихъ школъ въ имперіи показано въ нынѣшнемъ отчетѣ свыше 8,000, съ 198,000 учащихся. Такимъ образомъ, на долю 9-ти западныхъ губерній приходилось гораздо болѣе трети и недалеко отъ половины ихъ. При этомъ случаѣ мы должны повторить замѣчаніе, уже не разъ нами сдѣланное, а именно, что число содержащихся духовенствомъ народныхъ школъ, т.-е. школъ церковно-приходскихъ, въ каждомъ послѣдовательномъ отчетѣ оберъ-прокурора показывается значительно ниже, чѣмъ въ предшествующемъ; такъ въ отчетѣ за 1872 г. приводились слѣдующія соотвѣтствующія цифры: школъ до 9,059, учащихся 228,036.

Въ Прибалтійскомъ краѣ въ 1873 году окончены постройкой православныя церкви въ 33 приходахъ; затѣмъ, къ 1874 году, изъ 146 приходовъ рижской епархіи уже въ 120 приходахъ имѣлись постоянныя храмы. Вновь построенныя церкви снабжались утварью и другими принадлежностями отъ министерства внутреннихъ дѣлъ и отъ частныхъ жертвователей.

Излагая внѣшнія отношенія русской церкви въ 1873 году, отчетъ относится благопріятно къ перемѣнѣ, происшедшей въ патріархіи константинопольской. Патріархъ Анѣимъ VI-й, при которомъ происдѣлъ въ Константинополѣ въ 1872 году соборъ, объявившій самостоятельную болгарскую церковь схизматическою, не находя достаточной поддержки даже въ своемъ синодѣ, оставилъ свой престолъ и патріархомъ былъ избранъ вновь Іоакимъ II, который уже носилъ этотъ высокій санъ въ 1860—1863 годахъ. Нашъ синодъ оставилъ безъ отвѣта сообщеніе прежняго патріарха относительно схизмы; изъ нынѣшняго отчета мы узнаемъ, что еще нѣкоторые самостоятельныя православныя церкви также уклонились отъ отвѣта или выразили сожалѣніе о постановленіи собора, какъ церкви сербская и румынская. Новый константинопольскій патріархъ въ декабрѣ 1873 г. обратился къ нашему св. синоду съ посланіемъ о восшествіи на престолъ, и изъ этого посланія синодъ усмотрѣлъ желаніе патріарха о восстановленіи церковнаго мира, а потому въ январѣ 1874 г. послалъ патріарху поздравленіе по телеграфу и затѣмъ привѣтственное посланіе, въ которомъ между прочимъ выражалъ такое желаніе, чтобы патріархъ, „забывая всѣ земныя цѣли, а имѣя въ виду только славу Божию и вѣчное спасеніе ближнихъ“, преодолѣлъ всѣ трудности и

возстановилъ миръ въ православной церкви. Между тѣмъ, первымъ послѣдствіемъ константинопольскаго собора, еще до перемѣны, происшедшей въ патріархіи константинопольской, была такая же перемѣна въ патріархіи іерусалимской. Патріархъ іерусалимскій Кирилль, бывшій противникомъ объявленія о схизмѣ, признанъ былъ за это „измѣнникомъ національному греческому дѣлу“ и низложенъ съ престола, а вмѣсто его былъ избранъ патріархъ Проконій, который также увѣдомилъ русскій синодъ о своемъ восшествіи посланіемъ. Въ этомъ посланіи и приложенной къ нему запискѣ излагались событія, вызвавшія іерархическую перемѣну въ іерусалимскомъ патріархатѣ, и излагались съ такой точки зрѣнія, съ которой синодъ согласиться не могъ. Не желая въ своемъ отвѣтѣ возстановлять факты въ ихъ истинномъ смыслѣ, синодъ предпочелъ оставить посланіе іерусалимскаго патріарха безъ отвѣта, какъ оставлено имъ было безъ отвѣта посланіе прежняго константинопольскаго патріарха по поводу схизмы.

Въ отчетѣ оберъ-прокурора описываются и важнѣйшія фазы движенія старо-католиковъ въ 1873 году. Наше высшее церковное управленіе не входило съ ними въ непосредственныя сношенія. Объ этомъ отчетъ выражается такъ: „при такомъ направленіи старо-католическаго движенія (заявленное сочувствіе къ воссоединенію церквей), не оставалась къ нему безучастною отечественная церковь, хотя и не было съ ея стороны никакихъ заявленій или сношеній, имѣющихъ officialный характеръ. Частныя сношенія съ старо-католиками велись открытымъ въ 1872 году „петербургскимъ отдѣломъ общества любителей духовнаго просвѣщенія“. По порученію отдѣла, на констанцскомъ старо-католическомъ конгрессѣ присутствовали члены этого отдѣла, два священника, изъ которыхъ одинъ — предсѣдатель учебнаго комитета при св. синодѣ.

Въ одномъ изъ высшихъ государственныхъ учреждений, въ послѣднее время, обсуждался и, кажется, еще не рѣшенъ доселѣ вопросъ, весьма интересный по тому предмету, до котораго онъ относится: дѣло идетъ о судьбѣ одной изъ частей государственнаго архива прежняго польскаго государства. Извѣстно, что при одномъ изъ департаментовъ сената въ Петербургѣ состоитъ „польская метрика“; это есть часть двухъ государственныхъ архивовъ прежняго польскаго правительства, архива Короны, то-есть королевства польскаго и Литвы. Архивы эти, вывезенные изъ Польши, были раздроблены. Малая часть польскаго архива осталась въ Варшавѣ, часть была привезена въ Петербургъ и помѣщена въ сенатѣ, а важнѣйшая часть архива передана была въ 1828 году въ московскій ар-

хивъ министерства иностранныхъ дѣлъ. При польской метрикѣ, находящейся въ здѣшнемъ сенатѣ, состояли метрикантъ съ помощникомъ. Обязанностью ихъ было не только сохранять акты и книги, входящія въ составъ архива, но и выдавать по просьбамъ частныхъ лицъ выписи и копии, а также свидѣтельствовать предъявляемые въ метрику, для сличенія съ ея актами, документы, со взысканіемъ за это пошлины. Метрики хранились въ сенатѣ болѣе 70-ти лѣтъ, въ помѣщеніи неудобномъ и сыромъ, и подверглись порчѣ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ возникъ вопросъ о перемѣщеніи ея. Казалось бы проще всего перемѣстить ее въ московскій архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, такъ какъ тамъ находится важнѣйшая — въ политическомъ отношеніи — часть прежняго польскаго государственнаго архива. Соединеніе документовъ, относящихся къ одной исторіи, очевидно, наилучшимъ образомъ обезпечивало бы удобства для ученыхъ трудовъ по самой русской исторіи, для которой метрика представляетъ важные источники. Между тѣмъ возникло совершенно иное предположеніе: передать сенатскую польскую метрику въ здѣшнюю Публичную библіотеку, учредивъ при библіотекѣ „метрическій архивъ“, съ завѣдующимъ и помощникомъ. Дѣло это возникло въ 1869 году, и въ настоящее время, какъ мы слышали, будетъ окончательно обсуждаться въ законодательномъ порядкѣ, причемъ проектъ рѣшенія, съ которымъ согласились вѣдомства, участвовавшія въ первоначальной перепискѣ, состоялъ именно въ томъ, чтобы передать здѣшнюю метрику въ Публичную библіотеку. Но затѣмъ, при предварительномъ обсужденіи дѣла, высказаны были съ разныхъ сторонъ мнѣнія весьма различныя. Сколько извѣстно, первоначальной мысли о передачѣ метрики въ Публичную библіотеку продолжало держаться неотступно одно только министерство народнаго просвѣщенія, въ вѣдѣніи котораго библіотека находится. Мнѣніе это основывается главнымъ образомъ на томъ соображеніи, что акты и книги метрики въ настоящее время представляютъ уже интересъ преимущественно историческій, а въ Публичной библіотекѣ они были бы доступны для ученыхъ изслѣдователей. Высказано было, какъ говорятъ, со стороны вполне компетентной, такое предположеніе, что метрику лучше всего оставить при третьемъ департаментѣ сената, какъ она теперь находится, но съ тѣмъ, чтобы дать лучшее помѣщеніе. Это мнѣніе основано на фактѣ, что метрика нужна сенату для справокъ; между тѣмъ, при первоначальномъ направленіи этого дѣла такого мнѣнія повидимому не заявлялось, такъ какъ еслибы министерство юстиціи, отъ котораго направленіе дѣла прямо зависѣло, первоначально желало такого мнѣнія, то очевидно, что самый вопросъ о передачѣ метрики не могъ бы возникнуть въ законодательномъ порядкѣ.

онъ сводился бы на перенесеніе метрики изъ однихъ комнатъ въ другія, что вполне зависѣло отъ министерства. Есть, говорятъ, въ виду и такое соображеніе, чтобы передать судебную метрику изъ Петербурга въ московскій юридическій архивъ. Мы не слышали о предположеніи, на которое было указано въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, и по которому будто бы предполагается передать въ здѣшнюю Публичную бібліотеку не только сенатскую метрику, но и ту политическую метрику, которая находится въ московскомъ архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ. Быть можетъ, предположеніе это и появилось только въ умахъ публицистовъ названной газеты въ видѣ опасенія, какъ бы не было сдѣлано нѣчто такое, что будто бы можетъ „дразнить польскихъ мечтателей“, опасенія, которое эта газета высказываетъ съ обычнымъ ей указаніемъ на интригу, готовую „посягнуть на часть народной сокровищницы“. Но мнѣнія, дѣйствительно высказанныя по этому вопросу, не исчерпываются тѣми предположеніями, которыя мы уже привели. При предварительномъ обсужденіи, какъ слышно, указано было и на самое простое, повидимому, рѣшеніе вопроса: если акты и книги, хранящіеся въ здѣшней польской метрицѣ, имѣютъ нѣкій интересъ преимущественно для ученыхъ изслѣдователей, то для удобства ихъ работъ лучше всего было бы помѣстить сенатскую метрику въ московскомъ архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ. Для удобства справокъ весьма важно соединеніе источниковъ по одному предмету въ одномъ мѣстѣ. А такъ какъ акты и книги сенатской метрики все-таки не утратили окончательно юридическаго значенія и бываютъ нужны для справокъ самому сенату, то естественнѣе оставить ихъ на храненіи въ правительственномъ же архивѣ, чѣмъ въ бібліотекѣ, существующей исключительно для публики.

Для того, чтобы уяснить выгоды такого рѣшенія, а также въ виду научнаго интереса, представляемаго самымъ дѣломъ, мы познакомимъ читателей съ самымъ составомъ тѣхъ частей прежнихъ государственныхъ архивовъ Польши и Литвы, которыя въ настоящее время находятся въ Москвѣ и въ Петербургѣ. Обѣ метрики были доступны для многихъ ученыхъ и частныхъ лицъ, отыскивавшихъ свои права въ старыхъ документахъ, и свѣдѣнія, ими переданныя, при всей неизбѣжной неполнотѣ, могутъ дать приблизительное понятіе о важности юридическаго и историческаго матеріала, хранящагося въ обѣихъ метрикахъ—московской и петербургской.

Политическая метрика, хранящаяся въ главномъ архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ, въ Москвѣ, включаетъ бѣльшую и важнѣйшую часть собственно короннаго государственнаго архива, то-есть архива польскаго королевства. Здѣсь находятся, между про-

чимъ, бумаги послѣдняго польскаго короля Станислава-Августа и Костюшки, акты, относившіеся къ положенію православной церкви въ Польшѣ, собраніе актовъ по сношеніямъ Польши съ иностранными державами, затѣмъ бумаги собственно-дипломатическаго архива Короны и Литвы; бумаги политическаго свойства по внутреннимъ дѣламъ Польши за послѣднія времена до перваго раздѣла и между раздѣлами: инструкціи чиновникамъ и эмиссарамъ, донесенія о возстаніяхъ и безпорядкахъ, воззванія къ возстанію 1794 года и т. д. По слухамъ, къ этому собственно польскому государственному архиву присоединены были впослѣдствіи и нѣкоторыя важныя бумаги русскаго правительства по польскимъ дѣламъ, какъ-то: акты разграниченія при раздѣлахъ, переписка между тремя правительствами, участвовавшими въ раздѣлахъ, и вообще бумаги по польскимъ дѣламъ за конецъ прошлаго столѣтія.

Та польская метрика, которая находится въ Петербургѣ при сенатѣ, также содержитъ въ себѣ часть архива короннаго, т.-е. собственно польскаго, а главнымъ образомъ обнимаетъ архивъ великаго княжества литовскаго. Здѣсь находятся также документы по внѣшнимъ сношеніямъ Литвы и Польши, дѣла, относившіеся ко внутреннему управленію страной, подлинныя грамоты королей и разныхъ учреждений, съ XIII столѣтія, составляющія драгоцѣннѣйшій историческій матеріалъ, акты по судебнымъ дѣламъ, по сдѣлкамъ частныхъ лицъ, по пожалованіямъ королей, акты о генеалогіи дворянскихъ родовъ, нѣсколько книгъ, напечатанныхъ въ теченіи перваго вѣка съ открытія книгопечатанія и т. п.

Изъ этого краткаго обзора содержанія обѣихъ метрикъ ясно, что соединеніе ихъ въ одномъ архивѣ было бы всего полезнѣе для научныхъ изслѣдованій, такъ какъ разрозненныя части метрикъ, соединенныя вмѣстѣ, дополняли бы одна другую. Напримѣръ, объясняя какое-либо внутреннее распоряженіе или постановленіе въ прежнемъ польскомъ государствѣ, историкъ можетъ встрѣтить надобность въ тѣхъ судебныхъ актахъ, которые относятся къ тому же дѣлу и въ самомъ распоряженіи упоминаются; или же при ссылкѣ на тотъ или другой порядокъ, подтверждаемый актами короннаго архива, историкъ важно справиться, не было ли чего подобнаго въ Литвѣ, и съ этой цѣлью справиться съ литовскимъ архивомъ, большая часть котораго находится въ сенатской метрицѣ. Мысль о передачѣ сенатской метрики въ Публичную бібліотеку первоначально было высказана комиссіею, которая осматривала эту метрику въ 1871 году и въ числѣ членовъ которой былъ помощникъ директора Публичной бібліотеки. Но изъ всѣхъ аргументовъ, которыми была подкрѣплена эта мысль, можно признать нѣкоторое значеніе за двумя. Одинъ изъ

нихъ состоятъ въ томъ, что Публичная бібліотека „соединяетъ въ себѣ всѣ условія для занятій въ ней ученыхъ изслѣдователей“, т.-е., иными словами, что она доступна, чѣмъ государственный архивъ. Другой аргументъ, не лишенный значенія, тотъ, что сама здѣшняя Публичная бібліотека была образована изъ польской бібліотеки графа Залускаго, и вслѣдствіе того, а также и позднѣйшихъ однородныхъ приобрѣтеній, въ ней „находится богатый историческій матеріалъ, могущій служить важнымъ пособіемъ при ученыхъ занятіяхъ въ метрическомъ архивѣ“. Но можно сдѣлать, какъ сейчасъ увидимъ, всѣскія возраженія и противъ принятія этихъ главныхъ аргументовъ, будто бы говорящихъ въ пользу соединенія метрики съ бібліотекою.

Начать съ того, что понятіе о „большей доступности“ актовъ въ Публичной бібліотекѣ, чѣмъ въ московскомъ государственномъ архивѣ, есть понятіе весьма относительное. Московскій архивъ въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ во всякомъ случаѣ доступенъ для ученыхъ изслѣдователей, получающихъ разрѣшеніе директора; сверхъ того, по особымъ высшимъ разрѣшеніямъ, нѣкоторые ученые допускаются и къ разсмотрѣнію всѣхъ безъ исключенія дѣлъ архива. Въ числѣ лицъ, занимавшихся въ архивѣ въ прошломъ году, можно было встрѣтить не только профессоровъ московскаго университета, но и редакторовъ нѣкоторыхъ изданій, духовныхъ лицъ разныхъ исповѣданій, частныхъ лицъ, которымъ нужны были нѣкоторыя справки, даже иностранцевъ. Много ли доступно были бы акты метрики и въ самой Публичной бібліотекѣ? Вѣдь ихъ нельзя бы было требовать въ читальную залу, и на разсмотрѣніе ихъ все равно пришлось бы испрашивать особаго разрѣшенія директора бібліотеки. Но скажемъ, въ какомъ смыслѣ акты метрики, поступивъ въ бібліотеку, стали бы доступны. Соединенные съ ея сокровищами, въ особомъ отдѣленіи, они, конечно, были бы сравнены съ прочими рукописями и рѣдкоестями, находящимися въ бібліотекѣ. Завѣдывающіе метрикою и бібліотекари могли бы брать ихъ къ себѣ на домъ и давать ихъ для занятій въ домѣ такимъ ученымъ, въ благонадежности которыхъ былъ бы порукою кто-либо изъ бібліотекарей. Такая льгота относительно рукописей и рѣдкихъ книгъ бібліотеки, имѣющихъ чисто-историческое, научное значеніе, можетъ быть иногда цѣлесообразна и рациональна, но она была бы совершенно несообразна съ важностью такихъ бумагъ и книгъ, которыя представляютъ значеніе юридическихъ доказательствъ. Утрата цѣнной книги есть потеря для ученыхъ изслѣдованій; но утрата какого-нибудь акта или книги, на которыхъ могутъ основываться права состоянія многихъ частныхъ лицъ, была бы такою перспективой, самая возможность которой ни въ какомъ случаѣ не должна быть допущена. Государственные и юриди-

ческие акты, переданные въ библіотеку, обратились бы просто въ рукописи, принадлежащія библіотекѣ, между тѣмъ какъ они должны имѣть совсѣмъ иное значеніе. Сама первоначальная коммиссія высказала мысль, что библіотекѣ, когда метрика будетъ ей передана, должно быть „предоставлено заняться, по своему усмотрѣнію, отдѣленіемъ отъ архива всего, что оказалось бы лишеннымъ всякаго значенія“. Здѣсь подразумѣваются разныя менѣе важныя бумаги метрики, нѣкоторыя хранящіяся въ ней черновыя и т. п. Но удобно ли предоставить уничтоженіе какихъ-либо бумагъ, составляющихъ часть сенатскаго, то-есть государственнаго архива, на усмотрѣніе библіотекаря, который будетъ смотрѣть на нихъ съ точки зрѣнія пользы интереса Публичной библіотеки? Намъ скажутъ: главный интерес сенатской метрики въ настоящее время все-таки преимущественно—историческій; сенатъ уже въ сравнительно рѣдкихъ случаяхъ нуждается въ извлеченіяхъ изъ нихъ. Пусть такъ; но и эти сравнительно рѣдкіе случаи могутъ представлять собою такой интересъ, который ни въ какомъ случаѣ не долженъ зависѣть отъ усмотрѣнія библіотекарей. Что было бы, еслибы случилось, что на запросъ сенатомъ справки по какой-нибудь бумагѣ метрики, начальство библіотеки нашлось бы вынужденнымъ отвѣтить, что, къ сожалѣнію, бумага та, бывъ признана лишевною всякаго значенія для пользы Публичной библіотеки, давно уничтожена?

Въ самой коммисіи, осматривавшей метрику (впрочемъ, въ лицѣ одного только изъ своихъ 5-ти членовъ), двое членовъ признали необходимымъ отдѣлить отъ метрики и передать въ московскій архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, а не въ библіотеку, государственный актъ неоспоримой вѣрности, именно находящійся въ метрикѣ подлинный актъ люблинскаго сейма 1569 года, о соединеніи Литвы съ Польшею. Положимъ, другіе акты метрики не представляютъ того значенія и той высокой цѣны, какія принадлежать этому акту, но все-таки имѣютъ ихъ, хотя въ меньшей степени, а потому должны быть хранимы въ государственномъ архивѣ, а не въ Публичной библіотекѣ, на томъ же самомъ основаніи, какъ и люблинскій актъ, то-есть потому именно, что они — документы, а не простыя рукописи, имѣющія только археографическое значеніе. Вѣдь не приходитъ никому въ мысль передать въ Публичную библіотеку хранящихся въ московскомъ архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ свитковъ, статейныхъ списковъ, столбцовъ и т. п. древнихъ документовъ, которые практически также представляютъ нынѣ уже значеніе по преимуществу историческое. Возраженіе, что это — документы русскіе, а то — польскіе, не имѣло бы никакого смысла, такъ какъ Польша нынѣ составляетъ часть русскаго государства, и ея государственныя

акты должны составлять собственность русскаго государства, а не той или другой публичной библіотеки, не того или другого музея въ Россіи. Вопросъ этотъ, впрочемъ, разрѣшается самимъ законодательствомъ. Въ положеніи 1853 года, о состоящемъ при московскомъ архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ государственномъ древлехранилищѣ, не сдѣлано никакого различія между актами разныхъ частей русской имперіи, но наравнѣ съ собственно русскими документами упомянуты и уставныя грамоты всѣхъ областей, вошедшихъ въ составъ имперіи, и ихъ печати, въ томъ числѣ печати царства польскаго, которыя находятся и на актѣ люблинскаго сейма, и на разныхъ актахъ сенатской метрики, и наконецъ даже и вообще документы, имѣющіе важное значеніе въ русской исторіи, и рукописи, любопытныя по своей древности.

Уже на основаніи самыхъ соображеній комиссіи, высказавшейся за передачу сенатской метрики въ Публичную библіотеку, можно предвидѣть, что первымъ результатомъ такой передачи было бы частное раздробленіе этой метрики, чего во всякомъ случаѣ, въ видахъ интересовъ сенатскаго дѣлопроизводства и самой науки, слѣдовало бы избѣгнуть. Люблинскій актъ былъ бы переданъ въ московскій архивъ, книги древней печати были бы включены прямо въ другія отдѣленія библіотеки, а затѣмъ, по усмотрѣнію лицъ, имѣющихъ уже новый взглядъ, взглядъ, основанный на пользахъ Публичной библіотеки, было бы отдѣлено отъ метрики и уничтожено все то, что, по усмотрѣнію библіотекарей, оказывалось бы «лишнимъ всякаго значенія». Но и на этомъ раздробленіе метрики, по всей вѣроятности, не остановилось бы. Въ комиссіи ссылались на храненіе въ Публичной библіотекѣ библіотеки графа Залускаго, изъ которой она была первоначально образована. Но самый этотъ примѣръ далеко не говорить въ пользу передачи метрики въ библіотеку или соединенія съ нею подъ общимъ управленіемъ. Пусть бы спросили Публичную библіотеку, сохранена ли въ ней въ цѣльности библіотека Залускаго, какъ она была первоначально передана? Не было ли значительное число книгъ Залускаго продано въ качествѣ дублетовъ и обмѣнено на другія изданія, болѣе цѣнныя съ точки зрѣнія Публичной библіотеки? Отвѣтить на этотъ вопросъ мы не въ состояніи. Мы знаемъ только одно, именно, что нѣтъ въ Петербургѣ такой частной коллекціи рѣдкихъ книгъ, въ которой не нашлось бы хоть одной книги съ извѣстною мѣткою Залускаго. Если это было сдѣлано, то не можетъ быть сомнѣнія, что сдѣлано было это съ пользою для пополненія Публичной библіотеки другими рѣдкостями. Но нельзя не согласиться, что этотъ примѣръ не говорить въ пользу соединенія съ

библіотекою метрики, которой значеніе прежде всего обусловливается ея цѣльностью.

Ко всѣмъ этимъ соображеніямъ слѣдуетъ присоединить еще два. Такъ какъ сенатская метрика, и съ присоединеніемъ въ бібліотекѣ, все-таки осталась архивомъ, который бываетъ нуженъ сенату для его дѣлъ и частнымъ лицамъ, для доказательства ихъ правъ, то получилось бы довольно странное положеніе дѣла: при Публичной бібліотекѣ, учрежденіи исключительно ученомъ, состояло бы одно такое отдѣленіе, которое имѣло бы въ извѣстномъ смыслѣ права юридическія, нотаріальныя: выдавало бы сенату и частнымъ лицамъ копія, выписи и справки, имѣющія значеніе юридическихъ документовъ, и даже взимало бы при этомъ государственный налогъ, то-есть пошлину; на этихъ юридическихъ актахъ, имѣющихъ силу въ дѣлопроизводствѣ по удостовѣренію правъ состоянія, а иногда и въ спорахъ о принадлежности имущества, была бы подпись директора *ученаго* учрежденія и печать *Публичной бібліотеки* (такъ именно, какъ говорятъ, предполагено было въ проектѣ!). Затѣмъ, едва ли можетъ быть сомнѣніе, что въ новомъ зданіи архива министерства иностранныхъ дѣлъ въ Москвѣ, документы метрики были бы еще безопаснѣе отъ огня, чѣмъ въ Публичной бібліотекѣ. Не говоря о расположеніи обоихъ зданій, замѣтимъ, что для предохраненія главнаго государственнаго архива, во всякомъ случаѣ, можно ожидать еще болѣе дѣйствительныхъ мѣръ, чѣмъ для предохраненія Публичной бібліотеки.

Итакъ, со всевозможныхъ точекъ зрѣнія, оказывалось бы безспорно предпочтительнымъ передать польскую метрику, нынѣ состоящую при сенатѣ, въ полномъ ея составѣ (и ни въ какомъ случаѣ не отдѣляя отъ нея книгъ въ пользу Публичной бібліотеки, потому только, что онѣ — типографическія рѣдкости) въ московскій архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ. Для ученыхъ изслѣдованій и лицъ, отыскивающихъ свои права, она будетъ доступна и тамъ, съ разрѣшенія, какъ была бы доступна и въ Публичной бібліотекѣ, но сохранность ея въ Москвѣ вѣрнѣе была бы обезпечена. Въ архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ на ея акты, бумаги и книги будутъ смотрѣть съ точки зрѣнія свойственной государственному архиву, а не съ точки зрѣнія, приличной Публичной бібліотекѣ: ихъ не будутъ сортировать по усмотрѣнію, ни отыскивать въ нихъ «лишенное всякаго значенія», для «отдѣленія по усмотрѣнію», то-есть для сдачи вонъ, ни трепать ихъ для показа посѣтителямъ, ни давать ихъ на домъ хотя бы самымъ благонадежнымъ ученымъ, ни мѣняться ихъ рѣдкостями на другія почему-либо еще болѣе интересныя, такъ какъ интереса «приращенія» въ архивѣ не существуетъ, а въ бібліотекѣ

онъ стоитъ на первомъ планѣ. Однимъ словомъ, на акты метрики въ архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ будутъ смотрѣть, какъ на акты, принадлежащіе государству, съ которыми никто по своему усмотрѣнію распоряжаться не въправѣ. А между тѣмъ, при соединеніи такимъ образомъ обѣихъ метрикъ въ одномъ архивѣ получится большое удобство и для ученыхъ и для юридическихъ изслѣдованій, такъ какъ онѣ взаимно пополняютъ одна другую. Справки для сената въ московскомъ архивѣ совершенно также были бы удобны, какъ и здѣсь въ Петербургѣ, будь то въ Публичной библіотекѣ или хотя бы въ самомъ зданіи сената! Вѣдь все равно, для вытребованія справки надо составлять бумагу и, посылая справку, составлять другую бумагу. Затѣмъ, пройдетъ ли каждая изъ этихъ бумагъ лишніи сутки, ровно ничего не значить въ дѣлѣ архивныхъ справокъ, на которыя требуется мѣсяцъ, если не болѣе. А между тѣмъ, сенатъ можетъ быть увѣренъ, что въ архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ все, что сенатомъ передано, будетъ всегда отдаваться въ цѣльности. Сенатъ и частныя лица будутъ получать копіи, засвидѣствованныя тѣмъ самымъ начальствомъ, которое высылаетъ министерству иностранныхъ дѣлъ копіи съ государственныхъ трактатовъ и грамотъ, а не дирекцію ученаго учрежденія. Наконецъ, самое вниманіе сбора государственнымъ архивомъ менѣе странно, чѣмъ вниманіе налога Публичною библіотекой.

„Снисходительность присяжныхъ“ почти-что вошла у насъ въ поговорку, благодаря нѣкоторымъ тенденціознымъ вѣщунамъ, и несмотря на положительныя опроверженія, какія представляетъ уголовная статистика. Но прошлый мѣсяцъ представилъ фактъ, надъ которымъ имъ было бы полезно поразмыслить. Варшавскій военно-окружной судъ есть судебное мѣсто, дѣйствующее безъ присяжныхъ; передъ нимъ явился подсудимый, который для того, чтобы „смыть кровь“ нанесенное ему оскорбленіе, черезъ три мѣсяца послѣ факта оскорбленія, по собственному признанію, стремился къ тому, чтобы убить своего противника при встрѣчѣ; съ этой цѣлью даже передѣлалъ воротникъ на своемъ мундирѣ, чтобы не быть узаннымъ издали, сталъ за кустъ на проселочной дорогѣ, по которой врагъ его долженъ былъ проѣхать, и изъ-за куста подстрѣлилъ этого, безоружнаго, ничего не подозревавшаго человѣка, а потомъ убилъ въ упоръ раненаго, упавшаго на землю. Варшавскій военно-окружной судъ призналъ тѣмъ не менѣе, что убійство съ заранѣе обдуманымъ намѣреніемъ здѣсь не доказано, и нашелъ подсудимаго виновнымъ только въ убійствѣ въ запальчивости и раздраженіи. Поэтому, судъ постановилъ лишить обвиненнаго особенныхъ правъ и пре-

имущество и сослать его на житье въ Сибирь; но при этомъ принявъ во вниманіе еще особыя уваженія къ смягченію такого наказанія, постановивъ ходатайствовать о замѣнѣ его — заключеніемъ на два года въ крѣпость, безъ всякаго ограниченія правъ и безъ лишенія знаменъ отличія. Этого простого указанія на фактъ совершенно достаточно. Мы не будемъ напоминать обстоятельства, при которыхъ подсудимый рѣшился на столь исключительное дѣйствіе, потому что за состоявшимся приговоромъ суда не можемъ нравственно квалифицировать этого дѣйствія. Считаемо излишнимъ приводить тѣ обстоятельства, которыя служили бы къ нѣкоторому извиненію убійства, потому что не можемъ разсматривать, насколько обстоятельства, при какихъ убійство было совершено, служили бы, по нравственному своему характеру, къ устраненію всякаго извиненія. И нашъ военно-судебный уставъ, и *le respect de la chose jugée* — какъ выражаются во Франціи, удерживаютъ насъ отъ подобнаго разсмотрѣнія. Мы даже не сдѣлали бы и простой ссылки на фактъ, еслибы противники суда присяжныхъ не позволяли себѣ, безъ всякой самосдержанности, составлять настоящіе обвинительные акты послѣ приговоровъ присяжныхъ и произносить приговоры надъ этими приговорами.

Но въ дѣлѣ штабсъ-капитана Карлова, по убіенію имъ комиссара Казыненко, есть другая сторона, лично не относящаяся ни до подсудимаго, котораго участь рѣшена судомъ, ни до самаго судебного рѣшенія. Сторона эта раскрывается тѣми понятіями, которыя представлялись преобладающими, понятіями, которымъ подчинялись всѣ стороны, и оправдывавшая, и даже обвинявшая. Никакой законъ, какъ извѣстно, не допускаетъ нелѣпаго принципа о „возстановленіи чести“ насиліемъ, о „смываніи“ обиды кровью. Еслибы какой-либо законъ допустилъ это, то это было бы концомъ всякой теоріи права, такъ какъ право обратилось бы въ право кулачное. Юристы столь же мало могутъ допустить богохульное понятіе о „судѣ божіемъ“ для возстановленія чести, какъ они могутъ допустить замѣну судебного слѣдствія „судомъ божіимъ“ въ видѣ поставленія подсудимаго на раскаленную желѣзную плиту или погруженія его въ рѣку, со связанными руками, для испытанія его невинности или виновности. Никакой современный законъ не допускаетъ ни „возстановленія чести“ насиліемъ, ни самоуправства. А между тѣмъ, чтó же оказывается изъ настоящаго дѣла и другихъ ему подобныхъ? Оказывается, что понятія, закономъ непризнаваемые, осуждаемые, являются преобладающими надъ всѣми принципами юридической теоріи и положительнаго законодательства. О понятіяхъ этихъ даже не говорится какъ о вредныхъ предразсудкахъ, къ сожалѣнію, еще дер-

жащихся въ нѣкоторыхъ сферахъ нѣкоторыхъ странъ (въ Англіи они положительно отвергнуты и презираются всѣмъ обществомъ), о предразсудкахъ, которые могутъ отчасти быть принимаемы во вниманіе при опредѣленіи степени виновности, подобно тому, какъ дикое изуверство, побудившее фанатика поджечь домъ, для спасенія душъ въ немъ обитающихъ, могло бы быть принимаемо въ нѣкоторое соображеніе. Нѣтъ, въ настоящемъ дѣлѣ, понятія, о которыхъ мы говоримъ, всѣми сторонами допускаются безусловно, безъ оговорокы противъ нихъ, возводятся прямо въ цѣлый нравственный кодексъ, такъ что все происходило въ дѣйствительности въ виду этого особаго кодекса, закономъ отвергаемаго. Самъ представитель обвинительной власти, въ своей рѣчи, занимался только рѣшеніемъ вопроса о томъ: „имѣлъ ли подсудимый достаточно данныхъ считать себя окончательно вынужденнымъ совершить это преступленіе.“ Затѣмъ, по буквѣ закона положительнаго, обвиняя подсудимаго въ убійствѣ съ заранѣе обдуманномъ намѣреніемъ, прокуроръ находилъ, что „личность подсудимаго, возбуждающая полную къ себѣ симпатію, не можетъ не заслуживать полнѣйшаго къ себѣ вниманія“; что человѣкъ этотъ, „совершившій преступленіе подъ вліяніемъ жестокаго оскорбленія“, лишилъ судъ возможности видѣть „оправданіе его дѣйствій въ тѣхъ чувствахъ, которыя имъ руководили“, собственно потому только, что онъ „поступилъ неправильно, не выдержалъ характера и поторопился“. Впрочемъ, прокуроръ допускалъ все-таки, что и при такой неправильности эти чувства могутъ имѣть послѣдствіемъ снисхожденіе къ его участи. Спрашивается, къ какому нравственному кодексу относятся понятія, внушившія такіа слова самому прокурору? Къ тому ли, который служитъ основаніемъ положительному закону, въ силу котораго прокуроръ требовалъ наказанія подсудимаго за обдуманное убійство, или къ тому, который допускаетъ оправданіе чувствъ, требующихъ возстановленія чести, если не дуэлью, то хотя бы убійствомъ изъ-за куста? Поставленное въ необходимость соблюсти букву закона и вмѣстѣ признавать нравственные понятія, закономъ отвергаемыя, обвиненіе становится по своему смыслу въ противорѣчіе съ своими словами. Требовать серьезно каторжной работы за одну „неправильность“ въ дѣйствіяхъ, очевидно, нельзя. Изъ двухъ взаимно-противорѣчащихъ вещей одна неизбѣжно приносится въ жертву другой, которую мы считаемъ болѣе нужною, болѣе неприкосновенною.

Повторяемъ, въ этомъ дѣлѣ наименѣе важенъ фактъ о смягченіи участи подсудимаго. Фактъ этотъ имѣетъ значеніе для насъ только въ томъ смыслѣ, что онъ представляетъ матеріалъ для полученія противниковъ суда присяжныхъ. Что касается самаго исхода

дѣла, то можно полагать, что подсудимый перенесъ немалую нравственную пытку, что онъ уже наказанъ; думать, что во всемъ виновать мертвый, особенно утѣшительно, потому что это даетъ возможность облегчить участь человѣка живого. Но нельзя не призадуматься надъ тою стороною дѣла, которая указана нами. Спрашивается, какое впечатлѣніе должны вынести десятки тысячъ людей, которые могутъ ожидать, что имъ придется встрѣтиться въ жизни съ несчастными обстоятельствами, болѣе или менѣе похожими на тѣ, о которыхъ здѣсь шла рѣчь, о которыхъ здѣсь всѣ стороны согласно говорили, какъ о чемъ-то неотразимомъ, роковомъ, неизбежно ведущемъ, вынуждающемъ человѣка къ преступленію? Лица, принадлежащія къ многочисленному классу, читаютъ, что свидѣтель, бригадный начальникъ, говорилъ объ особомъ самолюбіи, „томъ самолюбіи, которое служить гарантіею корпоративнаго духа офицеровъ“, и хотя „не совѣтовалъ и не могъ совѣтовать подсудимому сдѣлать такъ, какъ онъ сдѣлалъ, но съ своей стороны не знаетъ никакого легальнаго пути выдти изъ положенія, въ которомъ находился Карловъ“. Слова эти не могутъ имѣть иного смысла, какъ тотъ, что порядочному человѣку, по мнѣнію свидѣтеля, нельзя было не сдѣлать того, что сдѣлалъ Карловъ. Иного смысла они имѣть не могутъ потому, что если понимать употребленное начальникомъ Карлова выраженіе „легальный“ въ смыслѣ обыкновенномъ, то Карлову не только представлялся легальный путь, чтобы выдти изъ положенія человѣка, угнетаемаго чувствомъ оскорбленія, но даже два безспорно легальныхъ способа: или удовлетвориться формальнымъ приговоромъ товарищей, которые, въ виду уклоненія Казыненка отъ дуэли, признали оскорбленіе тѣмъ самымъ снятымъ съ Карлова и равнымъ „укушенію собаки“; или—обратиться къ суду для наказанія оскорбителя. Если свидѣтель тѣмъ не менѣе не находилъ никакого „другого легальнаго пути“, кромѣ того, какой былъ избранъ подсудимымъ, то такое заявленіе со стороны начальника едва ли можетъ имѣть полезное вліяніе; военные читатели видятъ, что и прокуроръ и адвокатъ подсудимаго только и говорили о „законахъ чести“, совершенно игнорируя законъ положительный при нравственной оцѣнкѣ страшнаго дѣйствія, совершеннаго подсудимымъ. Спрашивается, какое же нравоученіе будетъ выведено ими изъ всего этого, и не способны ли подобныя увлеченія сторонъ, участвующихъ въ преніяхъ, вызывать самое вредное вліяніе на нравственные понятія многочисленнаго класса, даже прямо увеличивать шансы несчастій и нарушеній положительныхъ законовъ, ограждающихъ спокойствіе гражданъ и воспрепятствующихъ въ государствѣ самоуправство?

Нельзя достаточно настаивать на томъ, что дуэль есть предразсудокъ не только вредный, но совершенно нелѣпый въ наше время. Въ Англіи дуэль считается мальчишествомъ, недостойнымъ порядочнаго человѣка всѣми согласно, въ томъ числѣ и военными; а между тѣмъ, никто еще не замѣчалъ, чтобы англійскіе офицеры были менѣе „джентльмены“, чѣмъ офицеры любой европейской арміи. Да и вообще о всемъ англійскомъ образованномъ обществѣ никакъ нельзя сказать, чтобы оно было даже въ свѣтскомъ отношеніи менѣе щепетильно, менѣе гордо, чѣмъ континентальныя общества; скорѣе наоборотъ. Воззрѣніе англичанъ на дуэль основано на томъ безусловно вѣрномъ убѣжденіи, что честь не можетъ быть „возстановлена“ дуэлью. Понятіе о „возстановленіи чести дуэлью“ есть нелѣпая форма, оставшаяся отъ обстоятельствъ, которыя исчезли; оно имѣло нѣкогда смыслъ, но теперь оно бессмысленно. Оно возникло въ тѣ времена, когда нравственныя понятія были такъ шатки, что рыцари не считали для себя безчестнымъ грабить купцовъ на большихъ дорогахъ. При непрерывныхъ войнахъ, внѣшнихъ и внутреннихъ, когда государство существовало только въ видѣ временнаго лагеря, когда былъ безсиленъ законъ,—единственной доблестью рыцаря была храбрость. Обвинить кого-либо въ присвоеніи чужого имущества, въ убійствѣ—не значило нарушить его „честь“. Ее можно было нарушить только однимъ обвиненіемъ, касавшемся единственной доблести, которую признавалъ рыцарь—мужества; назвать кого-либо трусомъ, обвинить кого-либо, что онъ бѣжалъ съ поля сраженія, значило отвергнуть въ немъ единственное нравственное свойство, которое онъ считалъ почетнымъ, значило лишить его чести. Тогда, вполне логическимъ путемъ для возстановленія чести обиженнаго былъ съ его стороны вызовъ обидчика на поединокъ. Побѣдою на поединкѣ онъ „смывалъ кровью“ оскорбленіе, но и самымъ появленіемъ на единоборство онъ, хотя бы былъ побѣжденъ, возстановлялъ въ дѣйствительности свою честь, потому что снималъ съ себя обвиненіе въ трусости, удостовѣрялъ свое мужество. А такъ какъ въ самомъ писанномъ законѣ допускался „судъ божій“, судъ чрезъ испытаніе физическое, то ясно, что идея дуэли соотвѣтствовала самому духу того безсильнаго и вмѣстѣ варварскаго закона.

Что же общаго между тѣми обстоятельствами, тѣми идеями, среди которыхъ возникло понятіе о возстановленіи чести дуэлью, и обстоятельствами, идеями современности? Въ рыцарское время были примѣры, что короли вызывали другъ друга рѣшать поединкомъ вопросы о международной чести, и это было вполне логично, вполне согласно съ духомъ того времени. Но мыслимо ли, чтобы владѣтели въ настоящее время стали разрѣшать дипломатическія столкновенія

этимъ путемъ, и почему же для частныхъ лицъ можетъ оставаться нравственно-обязательнымъ тотъ обычай, который отброшенъ, какъ нецѣлесообразность для людей, стоящихъ во главѣ государствъ? Вѣдь для столкновений частныхъ лицъ существуетъ судъ, котораго нѣтъ для споровъ владѣтелей. Какимъ образомъ, если *А* взвелъ на честь *Б* обвиненіе въ мошенничествѣ, *Б* могъ бы снять съ себя это обвиненіе, убивъ *А* на дуэли? Развѣ пролитая кровь или готовность подвергнуть себя личной опасности будетъ служить удостовѣреніемъ, что *Б* въ самомъ дѣлѣ не мошенникъ? Пусть онъ не только убьетъ *А*, но перебьетъ еще всѣхъ его секундантовъ, и тогда все-таки онъ останется мошенникомъ въ глазахъ тѣхъ, кто повѣрилъ словамъ *А*. Совсѣмъ иное было въ то время, когда единственно тяжкимъ пятномъ для рыцаря былъ недостатокъ мужества; мужество свое онъ совершенно правильно могъ удостовѣрить дуэлью и тѣмъ возстановить свою честь. И въ настоящее время мы поняли бы, что въ средѣ военной, гдѣ мужество остается однимъ изъ главныхъ нравственныхъ условий, дуэль можетъ имѣть нѣкоторый смыслъ для возстановленія чести именно въ случаѣ обвиненія въ трусости. Но во всѣхъ прочихъ случаяхъ смѣшно и говорить о „возстановленіи чести“ порядочныхъ людей посредствомъ драки между ними, каковы бы ни были ея послѣдствія: прострѣленное сердце, или только подбитый глазъ. Если же допускать специальное ученіе, что оскорбленіе смывается только кровью, то самое логическое примѣненіе этого принципа требовало бы, чтобы человѣкъ, получившій пощечину, разбилъ противнику лицо или хотя бы носъ тѣмъ же орудіемъ, которымъ нанесено было оскорбленіе, то-есть рукою, кулакомъ, и, помазавъ добытою кровью врага своего оскорбленную ланиту, „возстановилъ свою честь“, способомъ совершенно равнымъ тому, какимъ она, согласно этому ученію, могла быть нарушена. Во всякомъ случаѣ, нельзя не признать, что всякія заявленія, могущія имѣть вѣсъ въ глазахъ многочисленнаго класса людей, могущія приниматься имъ какъ нѣчто обязательное, должны бы дѣлаться со всевозможной осторожностью, избѣгая всего, что могло бы усилить вліяніе предразсудка, потерявшаго всякій смыслъ и неудачно напоминающаго рыцарство послѣ того, какъ весь свѣтъ уже два съ половиною вѣка смѣется надъ донъ-Кихотомъ.

Излагая въ мартовскомъ обзорѣннн взглядъ на характеръ и значеніе нашихъ росписей, мы доказывали, что документы эти, уклоняясь отъ дѣйствительности, какъ она оказывается изъ отчетовъ контроля, на около 26 милл. рублей какъ въ суммѣ расходовъ, такъ въ суммѣ доходовъ, тѣмъ самымъ лишаются значенія строго-обя-

зательной нормы, ограничивающей расходы. Мы доказывали возможность постепеннаго уменьшенія расходовъ сверхсѣтныхъ, и необходимость предвидѣть ихъ въ самомъ бюджетѣ, принявъ ихъ сумму на первый разъ въ около 19 милл. р. въ видѣ максимума, распоряженіе которымъ и предоставить государственному совѣту, возвысивъ въ то же время и бюджетную цифру ожидаемыхъ доходовъ до размѣра вѣроятнаго въ дѣйствительности, а не произвольно уменьшаемаго для оставленія неопредѣленнаго запаса въ непоказанной цифрѣ дохода, для покрытія неизбѣжной цифры сверхсѣтныхъ требованій. Только при этихъ условіяхъ государственная роспись могла бы приблизиться къ дѣйствительности и не быть заранѣе осужденною на неизбѣжное нарушеніе ея въ значительной мѣрѣ. Все это безусловно вѣрно, и оспаривать этихъ выводовъ, которые составляли весь предметъ нашей статьи, нельзя, такъ какъ нельзя оспаривать основного факта, на которомъ они основаны, а именно, что, по отчетамъ контроля, ежегодно и сумма доходовъ, и сумма расходовъ оказывается гораздо большею, чѣмъ тѣ итоги, которые предвидятся въ росписи. Такъ, по отчету за 1873 годъ, доходовъ въ дѣйствительности поступило болѣе противъ исчисленія росписи на 25.958,580 рублей; въ то же время и расходовъ было дѣйствительно произведено на 26.367,822 рубля болѣе, чѣмъ было предвидѣно по росписи на 1873 годъ. Итакъ, *выводы*, для которыхъ написана упоминаемая часть нашего обозрѣнія, вовсе не могутъ даже подлежать спору. Но желая уяснить для читателя нить нашего разсужденія, выражаясь цифрами, мы сдѣлали тогда примѣрный расчетъ. Несмотря на примѣрность цифръ, употребленныхъ нами для ясности изложенія, несмотря на то, что даже ошибка въ цифрахъ, выведенныхъ нами, нисколько не ослабляла бы значеніе тѣхъ выводовъ, для которыхъ написана была статья, и которые основаны не на нашихъ примѣрныхъ цифрахъ, но на положительныхъ цифрахъ отчета государственнаго контроля, мы считаемъ все-таки желательнымъ избѣгнуть, чтобы ошибочность даже цифръ примѣрныхъ не дала повода возникнуть какимъ-либо недоразумѣніямъ насчетъ правильности всего сужденія. Вотъ почему мы возвращаемся къ этому предмету, для исправленія сдѣланнаго нами, въ видѣ примѣра, расчета. Но, и исправивъ цифры этого расчета, мы, разумѣется, не можемъ придти къ иному заключенію о значеніи нынѣшнихъ росписей и необходимости приближенія ихъ къ дѣйствительности, чѣмъ то, какое нами было высказано на основаніи не нашихъ примѣрныхъ цифръ, но на основаніи цифръ контроля. Дѣло въ томъ, что въ нашемъ предположеніи сумма дохода на 1875 годъ была выведена изъ дѣйствительнаго дохода 1873 года—538 милл. р., къ которому мы присоединили большую

часть суммы государственного сбора (17 м. р. изъ 21.397,548 р.), и еще возрастаніе дохода за два года по 11 м. р. въ годъ, т.-е. 22 м. р. за два года. Такимъ образомъ, мы получили цифру дохода на 1875 годъ въ 577 м. р. (вмѣсто бюджетныхъ 551 м. р.). Цифру расходовъ, вмѣстѣ съ сверхсметными (по примѣру 1873 г. съ равнымъ уменьшеніемъ сверхсметныхъ расходовъ на  $7\frac{1}{2}$  м. р., подобно тому, какое было достигнуто въ 1873 году противъ 1872 года), мы выводили въ 567 милл. руб. (вмѣсто 548 м. р., предполагаемыхъ росписью на 1875 г.). Такимъ образомъ, въ нашемъ расчетѣ получался излишекъ дохода въ 10 м. р., вмѣсто  $3\frac{1}{4}$  милл. рублей, предполагаемыхъ росписью 1875 года. Эта разница отъ 6 до 7 м. р. и представляла ошибочность нашего расчета. По провѣркѣ его, мы не могли бы принять излишка доходовъ, значительно ббльшаго противъ того, какой показанъ въ росписи на 1875 годъ. Само собой разумѣется однако, что по самому размѣру этой разницы—въ 6 или 7 м. р.—она не можетъ имѣть существеннаго значенія по отношенію къ итогу дохода, предполагаемому нами въ 577 м. р. Сверхъ того, въ томъ, что касается измѣненія баланса, необходимо имѣть въ виду, что и уменьшивъ цифру предполагаемаго нами дохода на 7 м. р., мы все-таки, во-первыхъ, получили бы тотъ же примѣрно излишекъ дохода, какой предполагень въ росписи (около 3 м. р.), а во-вторыхъ,—и это главное—покрывали бы суммою 570 м. р. доходовъ 19 милл. рублей сверхсметныхъ расходовъ, которые въ росписи вовсе не предвидятся, между тѣмъ, какъ извѣстно, что они совершенно неизбежны. Объяснимъ теперь, отчего произошла ошибочность нашего примѣрнаго расчета. Изъ суммы 21.397,548 р. государственнаго земскаго сбора, впервые слитаго съ росписью 1875 года, мы принимали 17 м. р. вошедшими въ нее вновь, въ сравненіи съ прежними росписями, и притомъ считали, что остальные 4.397,548 р. не были включены въ нее, между тѣмъ, какъ въ дѣйствительности въ прежнія росписи входили тѣ же пособия и расходы изъ земскаго сбора, которые представляются нынѣ всею суммою земскаго сбора, и сумма его включена въ роспись 1875 г. полностью, въ 21.397,548 р., а не въ 17 м. р. только. Такимъ образомъ, для исправленія нашего примѣрнаго расчета, мы къ 538 м. р. дѣйствительнаго дохода за 1873 г. не должны прибавлять 17 милл. изъ земскаго сбора, но, съ другой стороны, не должны ограничиваться и 11-ти-милліоннымъ приращеніемъ дохода въ годъ, а за 2 года—22 милліонами. Дѣло въ томъ, что въ теченіи 1870—1873 годовъ средняя цифра возрастанія суммы доходовъ съ году на годъ составляла 17.593,272 р. Допустивъ, что доходъ нынѣ уже не можетъ возрастать въ прежней степени, мы должны принять цифру годового возвышенія произвольно

ниже, положимъ, уменьшивъ ее противъ дѣйствительнаго средняго размѣра, бывшаго доселѣ, на сумму дефицита, оказавшагося по контрольному отчету за 1873 г., т.-е. на 1.198,014 р. Такимъ образомъ, мы получимъ цифру вѣроятнаго возрастанія дохода въ 1874 и 1875 годахъ въ 16.395,258 р., въ годъ, или въ два года 32.790,516 р.; короче — 32<sup>3</sup>/<sub>4</sub> м. р., а не 22 м. р., какъ мы слишкомъ пессимистски считали. Тогда сумма дѣйствительнаго дохода 1873 года 538 м. р. въ соединеніи съ 32<sup>3</sup>/<sub>4</sub> м. р. дастъ намъ вѣроятный доходъ 1875 года въ 570<sup>3</sup>/<sub>4</sub> м. р., вмѣсто 577, которые мы сперва принимали для этого расчета. Эта разница въ 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub> м. р. противъ прежняго расчета и уменьшить нашъ излишекъ дохода съ 10 милл. р., какъ мы считали прежде—до 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> м. р., который и будетъ почти равенъ излишку, показанному въ бюджетѣ въ 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> м. р. Но притомъ все-таки не надо упускать изъ виду главнаго различія нашего примѣрнаго расчета отъ расчета росписи, и именно того, что въ нашемъ расчетѣ оказывается возможнымъ приготовить впередъ ясный и опредѣленный источникъ въ самомъ бюджетѣ для покрытія 19 милл. р. сверхсмѣтныхъ расходовъ. Въ этомъ и заключался смыслъ нашего разсужденія. Оно неоспоримо, каковы бы ни были примѣрныя цифры, при помощи которыхъ мы разсуждаемъ. Дѣло въ томъ, что въ теченіи пятилѣтія сверхсмѣтные расходы ежегодно достигаютъ отъ 5 до 8% всей бюджетной суммы расходовъ, а между тѣмъ при исполненіи оказываются средства покрывать ихъ излишнимъ противъ бюджета поступленіемъ дохода. Стало быть, каковы бы ни были тѣ цифры, которыя мы вывели для ясности разсужденія, смыслъ его отъ нихъ не зависитъ и не можетъ даже подлежать спору; до тѣхъ поръ, пока роспись не будетъ насколько возможно приближаться къ дѣйствительности, какъ она потомъ удостоверяется контрольными отчетами, роспись останется тоже *примѣрнымъ расчетомъ*, а не *обязательною нормою*, строго опредѣляющею государственное хозяйство года.



## КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ ИЗЪ ЛОНДОНА.

10-го (22-го) апрѣля.

## АНГЛІЯ НА ПОКОѢ.

Цезарь Августъ, по словамъ историка Флора, рѣшился, наконецъ, семьсотъ лѣтъ спустя послѣ основанія Рима, запретить храмъ двуличаго Януса. До него это случалось всего два раза, при царѣ Нумѣ и послѣ первыхъ побѣдъ надъ кареагенянами. Дизраэли также рѣшительно запретъ храмъ Януса: я говорю о Янусѣ политическомъ, о богѣ борцовъ партій и внутреннихъ раздоровъ, о которомъ древній Янусъ можетъ дать лишь самое неполное понятіе. Все безмолвствуетъ; либералы бездѣйствуютъ, радикалы молчатъ, а консерваторы, владыки дня, остерегаются нарушить это изумительное согласіе. Все это было бы понятно три мѣсяца тому назадъ; но съ первыхъ чиселъ февраля парламентъ засѣдаетъ въ Вестминстерѣ, и при всемъ томъ необыкновенное спокойствіе удерживается въ городѣ и въ странѣ.

Неужели нѣтъ никакихъ вопросовъ, требующихъ разрѣшенія? Неужели Англія осуществила всѣ радости обѣтованной земли? Или же, напротивъ того, слѣдуетъ вѣрить предсказаніямъ новаго пророка, возвѣщавшаго всякія бѣдствія, и чья страшная проза взволновала Соединенное королевство <sup>1)</sup>. Дѣло въ сущности и не такъ блистательно, и не такъ плачевно. Правда же заключается въ томъ, что въ послѣднія пятьдесятъ лѣтъ важный переворотъ совершился въ Англіи, переворотъ, въ которомъ хорошенько не отдають себѣ отчета даже сами англичане. Бездѣятельность, полное затишье, царствующія въ настоящую минуту, вполнѣ законны и, откровенно говоря, слѣдуетъ признать, какъ то, что Англія отдыхаетъ, такъ и то, что она шибко работала. Вѣглый обзоръ пройденнаго пути дастъ намъ понятіе о совершенномъ трудѣ и ключъ къ современному положенію.

Ставъ на чисто-политическую точку зрѣнія, слѣдуетъ прежде всего замѣтить, что въ этомъ направленіи многіе сильно заблуждаются. Напримѣръ, принято причислять англійскую систему управленія къ олигархіямъ. Монархія, говорятъ объ Англіи, просто лишь мистификація, и аристократія всесильна, владѣя землей. Кто такъ рассуждаетъ, конечно, доказываетъ уже нѣкоторую проницательность, и, говоря откровенно, это было совершенно справедливо до 1831 г. Поверхностные умы, интересующіеся больше безплодными умозрѣніями, нежели внимательнымъ наблюденіемъ фактовъ, одни могли принять за нѣчто серьезное теорію англійской конституціи, изложенную Мон-

<sup>1)</sup> „Rocks ahead!“ or the warnings of Cassandra, by W. R. Greg. London. 1874.

тескѣ въ XI книгѣ „*Esprit des Lois*“. Не взирая на знаменитое „равновѣсіе“, власть безусловно сосредоточивалась въ рукахъ аристократіи: аристократіи рожденія съ одной стороны (палата лордовъ), и денежной аристократіи съ другой (палата общинъ). Благодаря организации избирательныхъ округовъ и посредствомъ „гнилыхъ мѣстечекъ“, лорды и „сквайры“ въ дѣйствительности одни избирали парламентъ. Кто читалъ „*Клариссу Гарлоу*“ или хотя бы „*Уэкфильскаго священника*“ можетъ составить себѣ понятіе о характерѣ и вліятельности этихъ богатыхъ деревенскихъ джентльменовъ, не въ примѣръ болѣе тиранническихъ, чѣмъ „ноблмены“ по рожденію: Ловеласъ и сквайръ Торичиль останутся ихъ неизгладимымъ типомъ. На дѣлѣ, англійское правленіе, со времени реставраціи и по 1832 годъ, являло міру примѣръ наилучше организованной олигархіи, которая когда-либо существовала: олигархіи замаскированной, само собой разумѣется, виѣшними формами конституціонной и либеральной монархіи.

Сущность современныхъ политическихъ учреждений заключается въ томъ, что они усложняются безчисленными побочными элементами, и надо умѣть устранить ихъ, чтобы добраться до настоящей сути дѣла: этого не существовало въ древности, гдѣ всякій встрѣчный могъ назвать Аѣины демократіей, а Спарту олигархіей, несмотря на ея королей. Никто, конечно, не станетъ опровергать того, что Англія развивалась и процвѣтала при этой системѣ. Къ чести англійской аристократіи, по крайней мѣрѣ извѣстной части ея, надо сказать, что она чужда предразсудковъ, свойственныхъ обыкновенно привилегированнымъ классамъ. Виги въ извѣстной степени руководили движеніемъ при Георгахъ, и въ тотъ самый моментъ, когда французская революція, въ силу реакціи, поставила торіевъ во главѣ управленія, аристократія, представляемая консервативнымъ элементомъ, начала катиться по роковому склону, окончившемуся переворотомъ 1832 г. Революція 1830 г. оказала рѣшительное вліяніе на это событіе. Но тогда какъ іюльскія событія свернули и пронеслись какъ метеоръ, *Reform Bill* 1832 г. измѣнилъ въ корнѣ англійскія учреждения. Реформа 1867 г. довершила это преобразование.

Позвольте привести нѣсколько цифръ для уясненія сказаннаго. Въ 1832 г., до примѣненія закона о реформѣ, число избирателей въ Англіи и Уэльсѣ было 653,000, изъ которыхъ 283,000 приходились на города и 370,000 на графства. Въ 1869 г., послѣ двухъ реформъ, цифра избирателей доходила до 2-хъ милліоновъ, изъ которыхъ 1,200,000 приходилось на города, а 800,000 на графства. Въ 1874 г. общая цифра избирателей для всего Соединеннаго королевства дошла до 2,800,000!

Я уже подробно говорилъ объ этихъ реформахъ въ прошлыхъ письмахъ, а потому не стану вновь толковать о нихъ. Ограничусь

тѣмъ, что уважу на значительную разницу въ числѣ гражданъ, имѣющихъ право голоса. Авторъ „Rocks ahead“, упомянутый выше, законченный консерваторъ, имѣетъ однако нѣкоторое основаніе восклицать: „отнынѣ мы въ рукахъ численнаго большинства, и по всей вѣроятности это большинство будетъ состоять на весьма долгій періодъ времени изъ трудящихся классовъ, изъ тѣхъ, которые въ подавляющемъ числѣ живутъ трудомъ рукъ своихъ“<sup>1)</sup>. Таковъ политическій подводный камень, о который въ воображеніи м-ра Грегга Англія должна разбиться. Но дѣло не въ этомъ: фактъ, который я констатирую вмѣстѣ съ нимъ, это—коренная перемѣна системы. Приходится вѣрить м-ру Греггу и фактамъ: найдемъ ли это мы печальнымъ или радостнымъ, а англійская олигархія умерла, она готовится уступить мѣсто демократіи. Они это предчувствовали, тѣ бѣдные лорды, которые съ 1830 по 1832 г. въ теченіи двухъ лѣтъ сопротивлялись введенію Reform Bill, несмотря на сильное волненіе, царствовавшее въ Соединенномъ королевствѣ, несмотря на бунты и пожары. Но ничто не могло предотвратить рокового событія. Восторгъ, возбуждаемый реформой, былъ такъ силенъ, радикальное большинство въ парламентѣ 1833 г. такъ значительно, что многими овладѣлъ панический страхъ: многіе начали опасаться, чтобы церковь, аристократія и всѣ великія учрежденія прошлаго не были сметены бурей. Каждый могъ съ тѣхъ поръ успокоиться, но „великимъ учрежденіямъ“ нанесенъ ударъ, который долженъ рано или поздно привести къ ихъ окончательному паденію.

Серьезное опасеніе, возбужденное этимъ наводненіемъ демократіею англійской конституціи, это—невѣжество новыхъ гражданъ. Вотъ тотъ подводный камень, о который разбилась Франція послѣ двадцатилѣтней системы всеобщей подачи голоса, то-есть безтолковаго прижизненія демократическихъ принциповъ. Эта опасность не существуетъ здѣсь, гдѣ не въ обычаяхъ дѣйствовать скачками. Во Франціи цифра избирателей *сразу* возрасла 24-го февраля 1848 г. съ 230,000 до девяти милліоновъ. Результатъ оказался бѣдственный, и люди, отличающіеся бѣлой проницательностью, чѣмъ тѣ, которые стояли тогда во главѣ управленія, легко могли это предсказать. У насъ, въ Англіи, потребовалось 40 лѣтъ времени и двѣ послѣдовательныя реформы, чтобы возвысить цифру гражданъ съ 700,000 до 3-хъ милліоновъ. Прибавьте къ этому, что вслѣдъ за избирательнымъ закономъ 1867 г. введена новая система народнаго образованія, которая, не будучи совершенствомъ, много однако содѣйствуетъ распространенію образованія.

Итакъ, пока Англія не дастъ сразу право голоса всѣмъ безъ исключенія, боязливые люди могутъ успокоиться: а такой образъ дѣй-

<sup>1)</sup> „Rocks ahead“, p. 12.

ствій не въ ея правахъ. Въ настоящее время страна желаетъ только одного: чтобы ей дали нѣсколько успокоиться, въ ожиданіи новыхъ реформъ, которыя повлекутъ расширеніе избирательнаго права, а въ болѣе отдаленномъ будущемъ — упраздненіе палаты лордовъ. Это послѣднее событіе гораздо менѣе важно, чѣмъ это воображаютъ: съ 1832 г. власть пэровъ стала призрочной, и лорды благоразумно примирились съ этимъ.

Въ ожиданіи того, консерваторы палаты общинъ забавляются тѣмъ, что поднимаютъ вопросъ о политическихъ правахъ женщинъ. 7-го апрѣля, въ Вестминстерскомъ дворцѣ происходило слѣдующее любопытное зрѣлище: 132 члена подали голосъ за политическое равенство женщинъ, противъ 187. Итакъ, все дѣло стало только за 35 голосами. Какъ справедливо замѣчаетъ „*Spectator*“, право голоса, дарованное женщинамъ, ознаменуетъ ихъ вступленіе въ политическую жизнь и, дѣйствительно, вопросъ былъ поставленъ такимъ образомъ: авторы проекта желали, чтобы, въ виду нынѣ дѣйствующей системы *Household suffrage*, въ силу которой каждый арендаторъ дома имѣетъ право голоса, это право распространили и на женщинъ незамужнихъ и находящихся внѣ всякой опеки и арендующихъ домъ. Предложеніе было скромное, но чреватое послѣдствіями, и большинство отступило.

Во всякомъ случаѣ это удивительное голосованіе было въ сущности не чѣмъ инымъ, какъ уплатою избирательнаго долга. Я уже говорилъ въ свое время, что консерваторы цѣплялись за всякія соломки во время министерства Гладстона, а поэтому выставляли себя адвокатами то „трактирщиковъ“, то „женскихъ правъ“. Одержавъ верхъ, пришлось расквитаться. Первымъ дарованы лишніе полчаса на открытіе ихъ заведеній. Женщинъ почтили меньшинствомъ 132 голосовъ, хорошо зная впрочемъ, что законъ не пройдетъ. Другого объясненія не придумаешь этому сліянію радикаловъ съ консерваторами, съ присоединеніемъ нѣсколькихъ либераловъ, которые нѣсколько дней тому назадъ обсуждали и вотировали самымъ безтолковымъ образомъ вопросъ крайней философской и общественной важности.

Это маленькое отступленіе, совершенно случайное, отвлекло насъ отъ главнаго вопроса. Итакъ, мы видѣли, что избирательное право отнюдь не тотъ подводный камень, о который разобьется Англія. Не будетъ ли такимъ камнемъ вопросъ экономическій? Послушать м-ра Грегга, такъ подумаешь, что вотъ гдѣ тотъ роковой и страшный рифъ. По его мнѣнію и по мнѣнію многихъ другихъ, промышленное паденіе Англіи неминуемо, и это по тремъ причинамъ. Во-первыхъ, вслѣдствіе истощенія каменноугольныхъ копей. Нужды нѣтъ, что количество горючаго матеріала, зарытаго въ почвѣ Великобританіи, доходитъ еще до 146,000 милліоновъ тоннъ, и этого запаса хватитъ еще на

1200 лѣтъ. Во-первыхъ, цифра не вполне вѣрна: потребление можетъ удвоиться, утроиться и пр. Но главное то, что, кажется, нельзя дальше рассчитывать на дешевизну каменнаго угля. Между тѣмъ, если горючій матеріалъ вздорожаетъ, промышленность Англіи погибнетъ: желѣзные издѣлія, бумажныя и пр. Англичане утрачиваютъ возможность удерживать низкія сравнительно цѣны, позволявшія имъ до сихъ поръ наводнять Европу своими произведеніями.

Вторая причина промышленнаго упадка заключается, будто бы, въ ухудшеніи работы англійскаго работника какъ со стороны качества, такъ и со стороны количества. Несомнѣнно одно, что на фабрикахъ рабочіе часы сокращены съ 72-хъ часовъ на 34 часа въ недѣлю. Во многихъ отрасляхъ промышленности, гдѣ существуютъ рабочіе союзы, *девятнадцасовое* движеніе увѣнчалось успѣхомъ: былъ даже внесенъ въ парламентъ билль м-ромъ Мунделлой о признаніи девятнадцасоваго срока обязательнымъ для всѣхъ отраслей труда безъ исключенія. Наконецъ, прибавляютъ, что англійскій рабочій усвоилъ себѣ поведеніе континентальнаго рабочаго; что онъ сталъ лѣнивей на работѣ, больше прежняго гоняется за праздниками и развлеченіями.

Третья причина, наконецъ, — это сравнительное уменьшеніе англійскихъ капиталовъ, въ томъ смыслѣ, что капиталъ въ своей общей сложности остался прежнимъ, между тѣмъ какъ капиталъ другихъ странъ, Германіи, Италіи и пр., значительно возросъ.

И совсѣмъ тѣмъ, не взирая на эти мрачныя предсказанія, подтверждаемыя болѣе или менѣе солидными доказательствами, я совѣтую заинтересованнымъ сторонамъ, то-есть странамъ, соперничающимъ съ Великобританіей, не предаваться неумѣренной радости въ надеждѣ на близкую катастрофу. Каменный уголь, это сокровище страны, далеко еще до истощенія; въ теченіи многихъ сотенъ лѣтъ онъ будетъ обезпечивать громадное преимущество за англійскою промышленностью. Со временемъ, то-есть черезъ нѣсколько вѣковъ, кто можетъ сказать, какаѣ судьба постигнетъ Англію, и по какимъ причинамъ?

Что касается труда рабочихъ, можно допустить, что увеличеніе стоимости производства повлечетъ за собою повышеніе на продукты при современномъ экономическомъ порядкѣ. Но далеко не доказано, чтобы сокращеніе рабочихъ часовъ повлекло за собою увеличеніе стоимости производства. Вотъ для примѣра несомнѣнный фактъ: парижскій работникъ работаетъ несравненно быстрее, чѣмъ англійскій. Ничто не мѣшаетъ думать, что со временемъ послѣдній сравняется съ первымъ въ этомъ отношеніи, когда досугъ, выпадающій ему на долю съ сокращеніемъ рабочихъ часовъ, позволитъ ему приобрести умственное развитіе, желательное во всѣхъ отношеніяхъ. Что касается сравнительнаго уменьшенія англійскаго капитала, то

это не кажется серьезно, въ особенности когда въ подтвержденіе приводятъ большія сбереженія, сдѣланныя Франціей!

Въ заключеніе, если сравнимъ цифру вывоза и ввоза въ Англію за эти послѣднія десять лѣтъ, то найдемъ, что въ 1861 г. общая сумма простиралась до 377 милліоновъ фунтовъ стерлинговъ, а въ 1870 г. до 547 милліоновъ. Утверждаютъ, правда, будто дѣйствіе причинъ къ упадку еще не дало себя почувствовать. Надо однако согласиться, что результатъ промышленной жизни указываетъ на несомнѣнное дѣйствіе причинъ, обуславливающихъ постоянный ростъ благосостоянія въ Англіи. Пусть заинтересованныя стороны не обманываютъ себя на этотъ счетъ: иллюзіи—худшія изъ золъ въ дѣлѣ международной политики. Иностранныя державы впадутъ въ большую ошибку, если станутъ придавать преувеличенное значеніе тревожному воплю челоуѣка, вообще говоря просвѣщеннаго, англичанина и патриота, но увлекающагося предразсудками партій.

Я могу, слѣдовательно, повторить здѣсь, съ точки зрѣнія внутренней политики, то, что говорилъ въ моей послѣдней корреспонденціи по поводу международныхъ сношеній: не вѣрьте въ упадокъ Англіи. Отвѣтъ на приглашеніе русскаго правительства участвовать въ конференціи, собирающейся въ Петербургѣ, точно нарочно данъ въ подтвержденіе моихъ словъ. Но только Сентъ-Джемскій кабинетъ могъ бы лучше выбрать свое время. Въ сущности, эта несвоевременная выходка по случаю гуманной мѣры—не что иное, какъ довольно дѣтское проявленіе досады, возбужденной успѣхами въ Туркестанѣ. Мѣры предосторожности необходимы, это несомнѣнно.

Поэтому не слѣдуетъ заблуждаться на счетъ смысла фразы „Англія на покой“, которую я употребилъ, чтобы охарактеризовать настоящую корреспонденцію. Это не затишье политической жизни, не тяжелый сонъ истощеннаго народа; это—восстановительный отдыхъ путешественника, послѣ совершеннаго пути, необходимый привалъ, послѣ котораго онъ, съ запасомъ новыхъ силъ и отдохнувшими членами, пустится въ дальнѣйшій путь. Продолжительность такого сна была бы опасна, но въ Англіи этого нѣчего бояться.

Само собою разумѣется, что парламентская машина идетъ своимъ ходомъ, и палата ведетъ свои дебаты въ положенные часы. Но все смотрять на это какъ на одну проформу, и дебаты не интересуютъ, ни публику, ни тѣхъ, кто ихъ ведетъ. Это сознается по всеобщей скукѣ. Поэтому, два мѣсяца тому назадъ, оппозиція, вынужденная послѣ отставки м-ра Гладстона избрать себѣ вождя, выставила ничтожнаго маркиза Гартингтона, будущаго герцога Девонширскаго и вига стараго закала. Единственная похвала, которою газеты сжумѣли встрѣтить этотъ выборъ, заключалась въ повтореніи хорошо извѣстной фразы: „этотъ челоуѣкъ менѣе, чѣмъ кто другой, можетъ насъ пос-

сорить". Во всемъ чувствуется временной порядо́къ, отсутствіе настоящей жизни и невольно вспоминаешь о томъ лицѣ изъ *Virgile travesti* Скаррона, который рассказываетъ о своемъ нисхожденіи въ Аидъ, гдѣ онъ видѣлъ:

... l'ombre d'un valet,  
Qui de l'ombre d'une brosse  
Frottait l'ombre d'un carrosse.

Хотѣли-было поднять шумъ въ концѣ февраля по поводу одного закона, внесеннаго правительствомъ и разрѣшающаго обмѣнъ между офицерами различныхъ полковъ (The Army Exchanges Bill). Оппозиція утверждала, что это значить косвенно возстановлять покупку чиновъ, упраздненную при управленіи Гладстона. Дѣло совсѣмъ не такъ важно. Самымъ рельефнымъ послѣдствіемъ новаго закона, нынѣ принятаго, будетъ слѣдующій: отнынѣ офицеръ полка, назначеннаго къ отъѣзду въ Индію, можетъ, если средства ему это позволяютъ, нанять, съ разрѣшенія главнокомандующаго, болѣе бѣднаго собрата и послать его за себя подъ палашею солнцу Индіи.

Это, конечно, и недемократично и несправедливо, но видѣть въ этомъ фактѣ возстановленіе продажи чиновъ, значить играть словами. Это маленькое удовлетвореніе, которое позволили себѣ торіи и, откровенно говоря, если они будутъ держаться такихъ границъ, то нѣтъ еще основанія упрекать ихъ за ихъ образъ дѣйствій. Шумъ вскорѣ улегся, и воцарились спокойствіе и безмолвіе.

Затишье было однако нарушено отголоскомъ ссоръ между церковью и имперіей. „Religious Rock“—одинъ изъ подводныхъ камней, указанныхъ м-ромъ Греггомъ въ его книгѣ предсказаній: и если я не настаиваю на этомъ, то лишь потому, что уже слишкомъ часто высказывался по этому вопросу. Несомнѣнно, что разладъ между просвѣщеннымъ меньшинствомъ и вѣрованіями большинства обозначается съ каждымъ днемъ все сильнѣе. М-ръ Грегъ наблюдаетъ вѣрно, когда указываетъ на то, что вліяніе церкви на нравы грозитъ исчезнуть, вліяніе, которое онъ, не обвиняясь, приравниваетъ къ тому, какое имѣютъ полиція и армія, что, впрочемъ, преувеличено, потому что до сихъ поръ ни одна религія не имѣла такой непосредственной силы, какъ корпусъ жандармовъ или констэблей.

Съ легкой руки м-ра Гладстона, брошюры о религіозномъ и католическомъ вопросахъ сыплются градомъ. Я не стану перечислять ихъ. Достаточно сказать, что недавно эксъ-премьеръ резюмировалъ и опровергъ нападки своихъ безчисленныхъ противниковъ въ брошюрѣ, озаглавленной „*Vaticanisme*“. Это слово войдетъ въ языкъ и вѣроятно сообщится отъ англичанъ къ французамъ: въ непродолжительномъ времени будутъ говорить *vaticanisme*, какъ говорятъ *socialisme* и *népotisme*.

Въ числѣ защитниковъ папской власти я долженъ упомянуть объ

одномъ, который въ этотъ критическій моментъ получилъ красную шапку, прославленную тремя кардиналами: Ришельё, Мазарини и аббатомъ Дюбуа. Я говорю о монсиньорѣ Маннингѣ, архіепископѣ Вестминстерскомъ и примасѣ католической церкви въ Англіи. Кардиналъ Маннингъ, бывший англиканскій пасторъ, перешелъ въ католичество въ 1831 г. Поставленный священникомъ, онъ оставался въ Римѣ до 1834 г. и вошелъ въ милость папы и іезуитовъ. По смерти кардинала Уиземана, Пій IX назначилъ его на тотъ постъ, который онъ занимаетъ и понынѣ. На соборѣ 1870 г. онъ былъ однимъ изъ самыхъ ревностныхъ поборниковъ непогрѣшимости и однимъ изъ самыхъ ретивыхъ ораторовъ этого необычнаго собранія. Теперь онъ получилъ свою награду. Нельзя впрочемъ утверждать, чтобы производство его въ кардиналы было преждевременнымъ: ему въ настоящее время 67 лѣтъ. Это костлявый старикъ, съ довольно почтеннымъ лицомъ, но не отличающійся особымъ талантомъ, какъ проповѣдникъ или писатель. Онъ замѣчательнъ лишь усердіемъ, каковымъ всегда отличаются ренегаты. Во всякомъ случаѣ назначеніе его не будетъ пріятно г. Бисмарку.

Между кардиналомъ Маннингомъ и Муди и Санни цѣлая пропасть, и однако намъ надобно перешагнуть ее. Видѣли ли вы Муди и Санни?—таковъ всеобщій крикъ въ послѣдніе два мѣсяца, какъ въ салонахъ, такъ и въ тавернахъ. Полчища въ 12,000 человекъ наводняютъ каждый вечеръ громадную залу сельско-хозяйственнаго музея въ Ислингтонѣ, а днемъ незанятую залу оперы въ Гаймаркетѣ; весь Лондонъ тамъ перебивалъ. Два вышеназванныхъ лица приняли ни больше, ни меньше какъ обратитъ метрополию на путь истинный. Ихъ выслала намъ Америка (само собой разумѣется, Соединенные Штаты). Одинъ говоритъ, другой поетъ. Первый, Муди, во время-оно унитарій и торговецъ обувью въ Чикаго, оставилъ въ одно прекрасное утро свою профессію, чтобы сдѣлаться апостоломъ. Онъ соединился съ м-ромъ Санни, одареннымъ довольно хорошимъ голосомъ, какъ говорили, и весьма любимымъ въ рааныхъ конгрегацияхъ. Оба принялись обходить землю, провозглашая вѣсть о спасеніи и обращая язычниковъ на путь истинный. Говорю—провозглашая вѣсть о спасеніи, потому что они хвалятся тѣмъ, что признаютъ одно только евангеліе и отвергаютъ даже вращеніе, или по крайней мѣрѣ не считаютъ его необходимымъ.

Какъ бы то ни было, а они въ модѣ здѣсь: всѣ бѣгутъ на нихъ поглядѣть, не исключая пэровъ, герцоговъ и членовъ парламента. Я тоже полюбопытствовалъ взглянуть на нихъ, хотя и не имѣю чести принадлежать ни къ одной изъ перечисленныхъ высокопочтенныхъ категорій. На-дняхъ, въ двѣнадцать часовъ ровно, я явился въ

театръ ея величества въ Гаймаркетъ: театръ, на которомъ, говоря мимоходомъ, еще не давалось никакихъ представлений. Онъ былъ только выстроенъ въ 1867 г. послѣ пожара; но итальянская труппа, именующая себя „Оперой Ея Величества“, продолжала давать свои представленія на Дрюриленскомъ театрѣ. Громадная зала была полна до верху: въ назначенный часъ оба „Reformers“ появились на сценѣ, обращенной въ эстраду. М-ру Муди на видѣ лѣтъ 38; у него голова низкороднаго ассирійца—по бородѣ—сутуловатое и приземистое туловище, плечи выше ушей—вотъ каковъ ораторъ на видѣ. Онъ усаживается на трибунѣ; пониже, за фортепиано, или, вѣрнѣе, за органомъ помѣщается Санки. Этотъ послѣдній „кроткій, милый и нѣжный, какъ и тѣ вещи, которыя онъ поетъ“,—такъ выражается о немъ одинъ изъ духовныхъ журналовъ.

Но рѣшительно, какъ и Альфредъ-де-Мюссе:

„Je suis venu trop tard dans un monde trop vieux“—

потому что, какъ ни стараюсь вызвать въ себѣ слезы умиленія, но не могу этого добиться. М-ръ Муди говоритъ вульгарно; жесты его таковы же, какъ и рѣчи: онъ повидимому все еще воображаетъ, что обращается къ своимъ соотечественникамъ изъ Огіо или Арканзаса. Напримѣръ: желая объяснить, что такое благодать, онъ говоритъ, что это вовсе не та отсрочка, которую дѣлаетъ заимодавецъ неисправному должнику, — какъ это обыкновенно воображаютъ! Забудьте, что публика принадлежитъ почти исключительно къ образованному, высшему классу общества. Онъ объявляетъ затѣмъ, что человѣкъ можетъ спастись единственно благодатью, а не дѣлами: теорія, удивительно подходящая къ ученію евангельскому, христіанскому и кальвинистскому. Все это со включеніемъ отрицанія необходимости крещенія. Вотъ каковъ ораторъ. Что касается „кроткаго“ Санки, пѣвца, то я никакъ не могъ открыть въ немъ ничего, кромѣ довольно сильнаго и непріятнаго голоса, съ полнымъ отсутствіемъ истиннаго выраженія и музыкальности. Совсѣмъ тѣмъ нѣкоторые изъ присутствующихъ кажутся растроганными; такихъ, правда, немного. Когда молитва окончена, два-три джентльмена изъ публики встаютъ и рассказываютъ про чудесные случаи обращенія на путь истинный ихъ самихъ или другихъ лицъ. Одинъ изъ нихъ сообщаетъ объ одномъ молодомъ человѣкѣ, который, послушавъ м-ра Муди, обрѣлъ Христа (*found Christ*), побѣждалъ въ себѣ и сказалъ объ этомъ своей матери, которая обратилась на путь истинный въ тотъ же вечеръ. На другой день, идя въ свою контору, онъ встрѣтилъ знакомаго полисмена, сказалъ ему два слова, и вотъ, полисменъ тоже обращенъ! Счастливый полисменъ! счастливый молодой человѣкъ! двое обращенныхъ отправляются къ одному атеисту, который выгоняетъ ихъ за дверь. Выйдя на улицу, они встрѣчаютъ собрата, который

говорить имъ: „вернитесь! а я пойду пока, помолюсь.“ Они возвращаются къ атеисту, и тотъ бросается имъ на шею и обращается на путь истинный!

Нѣкоторыя дамы плакали вокругъ меня, и это было тѣмъ жалче, что нѣмны изъ нихъ были хорошенькія. Какъ бы то ни было, не смотря на шумъ и на покровительство высокопоставленныхъ лицъ, нельзя слишкомъ вѣрить этому евангельскому обновленію, *christian revival*, какъ они его называютъ. Тутъ играетъ главную роль мода и любопытство, вотъ и все. По крайней мѣрѣ надо на это надѣяться, потому что какъ бы то ни было, а для такого человѣка, какъ Вестминстерскій деканъ, для м-ра Стенли, обидно имѣть конкурентовъ въ лицѣ двухъ чудаковъ изъ Чикаго.

Впрочемъ, Лондонъ, какъ и всякій большой городъ, нуждается въ балаганѣ: Муди и Санки замѣнили Тичборна. Но вотъ какъ разъ объ этомъ послѣднемъ снова заходить рѣчь, и—что всего страннѣе—въ самомъ парламентѣ, въ засѣданіи палаты общинъ. Въ Парижѣ, говорятъ, готовятся поставить на сцену драму, основанную на *дѣлѣ Тичборна*,—первоначальное заглавіе, которое французская цензура замѣнила другимъ: *дѣло Коверми*. Но вотъ неудобство такихъ преждевременныхъ театральныхъ представлений: теперь оказывается, что надо было бы присоединить новый эпизодъ, и ничто не дастъ права думать, что онъ будетъ послѣднимъ. И даже этотъ эпизодъ могъ бы послужить сюжетомъ для цѣлой пьесы какого-нибудь фарса или оперы-буффъ, для развлечения зрителей послѣ катастрофы съ *Беллой* и сценами Вага-Вага въ Австраліи.

Первая картина представляетъ городъ Стокъ-на-Трентъ, въ поискахъ за кандидатомъ въ парламентъ. Д-ръ Кинели, ужасной памяти, ретивый адвокатъ Тичборна, котораго его собратья изгнали изъ *Gray's Inn* за его поведеніе послѣ процесса, выступаетъ кандидатомъ. Онъ избранъ большинствомъ 6 тысячъ голосъ противъ 4 тысячъ, высказавшихся за его противника, либерально-радикальнаго кандидата. Единственными правами его есть защита Артура Ортона и безусловная вѣра населенія въ тожество этого мясника съ настоящимъ сэромъ Роджеромъ Тичборнъ. Городъ Стокъ-на-Трентъ празднуетъ это блистательное доказательство ума его жителей, либералы начинаютъ коситься на тайную подачу голоса за эту новую шалость.

Второй актъ переноситъ насъ въ Лондонъ, въ большую залу Вестминстерскаго дворца, въ засѣданіе 18-го февраля 1875 г. Дѣло происходитъ ночью, обычное время засѣданій англійскаго парламента. Всѣ члены на мѣстахъ. Спикеръ засѣдаетъ въ своемъ допотопномъ парикѣ. Дизраэли, вѣчно юный, сидитъ на правительственной скамьѣ. Появляется д-ръ Кинели безъ всякаго другаго спутника.

кромѣ громаднаго зонтика; каждый немедленно вспоминаетъ о другомъ подобномъ—о зонтикѣ короля ашантиевъ, любезно поднесенномъ ея величеству королевѣ начальникомъ побѣдоносной экспедиціи. Тутъ возникаетъ любопытный эпизодъ; всякій новый членъ парламента долженъ, чтобы занять мѣсто въ парламентѣ, явиться въ сопровожденіи двухъ патроновъ. Президентъ напоминаетъ объ этомъ обстоятельстве доктору, который, повидимому, чувствуетъ себя достаточно ловко въ обществѣ своего зонтика. Но съ англійскими обычаями шутить нельзя; вотъ уже цѣлые вѣка, что они обѣдаютъ здѣсь ростбифомъ и отварными овощами, и если упорно отвергаютъ всякое кулинарное нововведеніе, то не затѣмъ, чтобы допускать перевороты нарушеніемъ парламентскихъ традицій. Но Дизраэли припоминаетъ о „Юной Англіи“; Коннингсби не отступить передъ этимъ нововведеніемъ. Запрещеніе снято: докторъ Кинели занимаетъ мѣсто съ своимъ зонтикомъ. Третій актъ; та же декорация. Дѣло происходитъ 22-го апрѣля. Палата общинъ биткомъ набита и никогда, говорятъ, не было такого большого спроса на входные билеты, какъ въ этотъ день со стороны лордовъ. Докторъ долженъ держать рѣчь своимъ собратамъ; онъ появляется, такой же величественный, какъ и въ былое время, въ тѣ вѣчно памятные дни, когда онъ, стоя возлѣ своего громаднаго кліента, всласть громилъ главнаго судью Кокберна и его ассессоровъ. Онъ требуетъ, чтобы назначена была слѣдственная коммиссія изъ среды обѣихъ палатъ, для разбора нѣкоторыхъ неправильностей, допущенныхъ въ дѣлѣ „королевы“ противъ *Кастро* (Ортонъ тожь, Тичборнъ тожь). Онъ развиваетъ эту тему въ теченіи двухъ часовъ; голосъ все также твердъ, но далеко не такъ дерзокъ, какъ во время-бно. Дизраэли возражаетъ и защищаетъ „англійскія учрежденія“. Возражаетъ и м-ръ Джонъ Брайтъ, защищающій судъ присяжныхъ. Наконецъ, переходятъ къ голосованію, и 433 голоса высказываются противъ предложенія доктора; одинъ голосъ за него. Рукоплесканія, продолжительный смѣхъ. Занавѣсъ падаетъ.

Будемъ надѣяться, что на долго! Фарсъ этотъ—историческій фактъ. Городъ Стокъ-на-Трентъ, зонтикъ доктора, его одинокій приверженецъ въ парламентѣ, люди, кричащіе о настоящемъ Тичборнѣ—все это существуетъ, волнуется, раскрывается (я говорю о зонтикѣ) и выходитъ изъ себя. Новое доказательство, еслибы таковое требовалось, тупости англійскихъ массъ, которыя еще не испытали благодѣтельнаго дѣйствія закона объ элементарномъ обученіи. Мотивъ, руководящій ими, превосходный; это чувство справедливости и симпатіи къ угнетеннымъ, всегда живущее въ народѣ. Вся бѣда въ томъ, что это выпадаетъ на долю этому толстому потребителю сигаръ, джина и хереса, котораго недавнія несчастія не заставили еще замѣтно похудѣть. Не взирая на все это, не взирая на единодушіе

палаты, вы увидите, что на будущихъ выборахъ докторъ Кинели будетъ снова „Тичборнскимъ“ членомъ парламента за мѣстечко Стокна-Трентъ.

Другой процессъ, о которомъ я не могу умолчать, это процессъ владѣтельнаго князя Гуйквара <sup>1)</sup> Бародскаго, обвиненнаго, какъ я сообщалъ въ послѣднемъ письмѣ, въ намѣреніи отравить англійскаго резидента <sup>2)</sup>. Коммиссія, судившая его, состояла изъ шести членовъ: трехъ индусовъ и трехъ англичанъ, громкое доказательство безпристрастія. Мульгаррао или Мулгаръ Рао — такъ зовутъ маратскаго князя, пригласилъ въ защитники, за скромное вознагражденіе въ 4 тысячи фунтовъ стерлинговъ, адвоката перваго разряда Баллантейна, защищавшаго самозванца Тичборна въ первомъ процессѣ. Показанія свидѣтелей не носили того характера подавляющей очевидности, какого заставлялъ ожидать образъ дѣйствія остъ-индскаго правительства. Довнано было, что служители Гуйквара покунали ядъ, что князь зналъ объ этомъ, и что, наконецъ, полковникъ Файръ заболѣлъ разстройствомъ желудка, проглотивъ сорбетъ. Рѣшеніе коммисіи было таково, какого и можно было ожидать: три англичанина осудили Мульгаррао; три соотечественника оправдали его. Тутъ вдругъ безпристрастіе, выказанное при выборѣ судей, исчезло. Раздѣленіе голосовъ въ англійскихъ судахъ равняется оправданію подсудимаго. Но здѣсь было не такъ: прокламація, изданная не такъ давно отъ имени вице-короля Индіи, лишаетъ власти владѣтельнаго бародскаго князя и объявляетъ его и его потомство лишенными всякихъ правъ на это княжество.

Лордъ Нортбрукъ, вице-король, утверждаетъ, что рѣшеніе его основывается на фактахъ, не имѣющихъ ничего общаго съ процессомъ, въ виду того, что мнѣнія судей раздѣлились. Онъ выставляетъ причиною низложенія князя его скандальное поведеніе, худое управленіе и неспособность. Конечно, многое можно сказать противъ фамиліи Гуйкваръ. Такъ, въ царствованіе Кундеррао, брата и предшественника низложеннаго принца, нисколько не стѣснялись продавать правосудіе, а деньги употреблять на содержаніе танцовщицъ, на безумныя фейерверки, бои дикихъ звѣрей и другія забавы этого рода. При дворѣ Кундеррао позволилъ себѣ разъ такую потѣху: выдать замужъ одну изъ женщинъ своей свиты за ручного навіана со всѣмъ церемоніаломъ и пышностью королевской свадьбы. Чтò касается Мульгаррао, то невиннѣйшимъ изъ его злодѣяній было похи-

<sup>1)</sup> *Гуйкваръ* или *Гуйковаръ* значитъ *пастухъ*. Это прозвище царствующаго Бародскаго дома указываетъ на его скромное происхожденіе. Основатель династіи, Пиладжи, пастухъ, былъ сыномъ крестьянина и пасъ коровъ, прежде чѣмъ сдѣлаться королемъ.

<sup>2)</sup> См. „В. Е.“, февраль 1875 г.

щеніе женъ его подданныхъ, когда онѣ имѣли честь ему поправиться. Все это прекрасно; но, во всякомъ случаѣ, было бы несравненно лучше дѣйствовать откровенно и низложить принца до его процесса, если имѣлись къ тому поводы. Это одна изъ политическихъ ошибокъ, которыя такъ часто повторялись въ Индіи: принцъ, оправданный на дѣлѣ, прослыветъ въ глазахъ своихъ подданныхъ мученикомъ и жертвой. Хотя лордъ Нортбрукъ и объявляетъ, что правительство ея величества не намѣрено присоединять Бароду, княжество величиною съ Голландію вмѣстѣ съ Бельгіей, но дѣйствіе, произведенное этимъ объявленіемъ, неудовлетворительно. Вдова Кундерао или Кундеръ Рао приглашается выбрать кого-нибудь изъ членовъ королевской фамиліи въ преемники Мульгаррао. Послѣдній долженъ избрать въ британскихъ владѣніяхъ мѣсто для своей резиденціи, и вице-король будетъ давать на его содержаніе незначительную часть доходовъ княжества. Дѣло, быть можетъ, не совсѣмъ еще кончено и дожидаетъ новыхъ вѣстей.

Всѣ эти серьезныя дѣла не дали мнѣ упомянуть до сихъ поръ о происшествіи, взволновавшемъ весь міръ спорта: о хожденіи по морю капитана Бойтона. Этотъ послѣдній замѣнилъ „as triplex“ Горация „тройнымъ“ каучукомъ, полнымъ костюмомъ изъ этой матеріи съ пятью придатками или резервуарами съ воздухомъ, передъ ногами, на спинѣ, на груди, и позади головы, въ видѣ подушки. Съ весломъ въ рукѣ, парусомъ, укрѣпленнымъ у ногъ и шеи и съ сигарой во рту, капитанъ пустился изъ Дувра по морю въ 3 часа утра, съ твердымъ намѣреніемъ дойти до Булони. Тысячи зрителей на набережной провожали его громкимъ ура! и на самомъ дѣлѣ предпріятіе чуть было не увѣнчалось успѣхомъ. Можно даже сказать, что успѣхъ былъ настоящій, если не совершенный, потому что искусный путникъ прошелъ пятьдесятъ миль по морю въ теченіи пятидесяти часовъ. Онъ вышелъ изъ воды лишь въ шесть часовъ вечера, въ шести миляхъ отъ берега, и вслѣдствіе настоятельныхъ требованій лодмана, отряженного сопровождать его и который, видя, что наступаетъ ночь, хотѣлъ избѣжать ответственности. Докторомъ было засвидѣтельствовано, что температура тѣла капитана почти не понизилась, несмотря на пятнадцатичасовое пребываніе въ водѣ. Капитанъ Бойтонъ, также какъ и Муди съ Санки, присланъ намъ Америкой.

Англія утратила еще одного изъ своихъ великихъ людей. Сэръ Чарльзъ Лайель, величайшій изъ современныхъ геологовъ, умеръ 22 февраля, на 77 году своей жизни. Онъ получилъ образованіе въ Оксфордскомъ университетѣ и сначала былъ адвокатомъ, но потомъ занялся естественными науками и издалъ въ 1833 г. свои „Начала Геологій“, которыя составили его славу. Обладая обширнымъ и возвышеннымъ умомъ, великой проницательностью, онъ придавъ необычно-

венное развитіе геологін. Свободный отъ всякихъ предвзятыхъ идей, онъ принималъ безъ заднихъ мыслей всѣ выводы науки и значительно расширилъ область знанія. Открытія Дарвина и теорія постепеннаго развитія нашли въ немъ жаркаго защитника. Въ своей неоцѣненной книгѣ, „*Древность человека*“, онъ доказываетъ неопровержимыми доказательствами существованіе человѣка въ томъ періодѣ, который онъ называетъ послѣтретичнымъ. Въ этомъ сочиненіи главнымъ образомъ развиваетъ онъ, по поводу древней философіи и соотношенія геологін съ исторіей человѣчества, взгляды, значеніе которыхъ не было, быть можетъ, оцѣнено какъ слѣдуетъ. Смерть его не произвела того впечатлѣнія, какого заслуживала. Деканъ Стенли произнесъ ему похвальное слово, королева прислала вѣнокъ изъ камелій и гиадинтовъ на его могилу. Но, вообще, пресса мало занималась этой смертью и это, право, скандалъ послѣ того шума, которымъ сопровождалась смерть Ливингстона, превознесеннаго выше всякой мѣры.

Но за то Лайель удостоился чести быть похороненнымъ въ Вестминстерскомъ аббатствѣ, откуда изгнанъ лордъ Байронъ. И такъ какъ я уже упоминалъ объ этомъ доказательствѣ англійскаго фарисейства, то нахожу нужнымъ занести фактъ, въ которомъ можно видѣть желаніе загладить отчасти несправедливое отношеніе къ поэту. Извѣстно, что когда рѣзецъ Торвальдсена вырѣзалъ на мраморѣ черты поэта, то для него не нашлось мѣста ни въ аббатствѣ, ни на общественныхъ площадяхъ, ни въ „Poet's Corner“. И статуя, пробывъ въ таможенѣ цѣлые годы запакованною, обрѣла наконецъ убѣжище въ одной изъ коллегій Кембриджа. Тотъ, кто такъ трогательно изливалъ свою душу на гробницѣ Цециліи Метеллы, кто воспѣвалъ въ безсмертныхъ стихахъ другія гробницы, составляющія славу міра: Аѳины, Римъ и Венецію, тотъ былъ лишенъ даже скромнаго памятника въ бѣдной церкви виллы, гдѣ покоятся его останки. И недавно еще Массачусетская старуха <sup>1)</sup> осыпала его ядовитѣйшими упреками, какіе только могутъ взорести на умъ пуританки и синяго чулка.

Поэтому пріятно было встрѣтить въ газетахъ текущей недѣли объявленіе о составленіи комитета, назначеннаго для сбора суммъ, необходимыхъ для сооруженія памятника на могилѣ поэта въ церкви Нѣкпелъ-Торкорда, близъ Ньюстедскаго аббатства. Предсѣдатель этого комитета Дизраэли, а въ числѣ членовъ, кромѣ именъ Теннисона и Уильяма Коллинза, замѣчаются еще имена лорда Гутона и архидіакона Троллопа. Монументъ въ этой деревушкѣ — это конечно еще не Пантеонъ. Но все же первый шагъ сдѣланъ, и

<sup>1)</sup> Авторъ „*Хижина дяди Тома*“, памфлетъ которой на лорда Байрона одно изъ отвратительнѣйшихъ литературныхъ преступленій, когда-либо совершившихся.

остается пока довольствоваться и этимъ. И если великій человѣкъ, умершій въ Миссолонги, насчитываетъ, какъ это несомнѣнно, жаркихъ почитателей въ странѣ, гдѣ будутъ прочтены настоящія строки, то нельзя не пригласить ихъ принять участіе въ этомъ заповѣдаломъ выраженіи симпатіи. Будемъ надѣяться, что наступаетъ время, когда, согласно трогательному желанію поэта, чувство, чуждое пошлыхъ страстей, подобно послѣднему эхо разбитой лиры, овладѣетъ смягченными умами —

... and move

In hearts all rocky now the late remorse of love <sup>1)</sup>.

R.

## ПАРИЖСКІЯ ПИСЬМА.

### II \*).

ПАРИЖЪ ВЪ АПРѢЛѢ.

Какой несносный и безсодержательный мѣсяцъ апрѣль въ Парижѣ! Въ апрѣлѣ зима уже кончилась, а весна все еще не начиналась: сѣрый, вялый, тошный, нескончаемый мѣсяцъ! Мнѣ было бы безконечно трудно выжать изъ этого противнаго мѣсяца какой-нибудь интересный разсказъ, еслибы счастливая звѣзда не прикомандировала меня къ одной миленькой баронессѣ, прелестной женщинѣ, двадцати-восьмилѣтней вдовѣ, возвращающейся въ большомъ свѣтѣ. Мнѣ стоило только быть ея вѣрнымъ спутникомъ въ теченіи одной недѣли, чтобы людей посмотреть и себя показать. Теперь мнѣ остается только занести на бумагу видѣнное и слышанное мною, и вы узнаете, какъ живутъ люди въ Парижѣ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ.

### I.

*Понедѣльникъ.*

Погода дивная. Проснувшись поутру, баронесса Жоржетта крайне удивлена: она усмотрѣла на своей постелѣ лучъ солнца, пробравшійся сквозь скважину въ ставняхъ и занавѣсахъ. Наканунѣ, возвращаясь домой въ часъ ночи, съ одного танцевальнаго вечера, она слышала, какъ потоки дождя обливали ея карету. Она легла спать вся иззябшая, хотя на нее не попало ни одной капли воды, благодаря ла-

<sup>1)</sup> И пробудить въ сердцахъ, нинѣ окаменѣлыхъ, позднее сожалѣніе любви.

<sup>\*)</sup> См. первое письмо: „Новый академикъ“—мартъ, 441 стр.

кею, раскрывшему надъ ней два зонтика, когда она вышла изъ кареты.

Въ то время, какъ горничная Лиза причесываетъ ее, она спрашиваетъ:

— Итакъ, погода разгулялась, Лиза?

— Точно такъ, сударыня.

— Это изумительно. Вчера я рѣшила пролежать весь сегодняшний день въ постели, чтобы не видѣть этого отвратительнаго неба: отъ него у меня дѣлается мигрень. Но такъ какъ погода хороша, я выйду. Скажите, чтобы запрягли экипажъ въ три часа.

И послѣ полудня баронесса отправляется въ Булонскій лѣсъ. Она одна въ своей каретѣ, и забила въ уголъ, прислонясь спиною къ мягкимъ подушкамъ. Какъ только карета миновала рѣшетку, она опустила стекло и выставила лицо на теплый воздухъ, обдавший ея щеки какъ-бы солнечной пылью; экипажей столпилось такое множество, что вскорѣ лошадямъ пришлось идти шагомъ. Громада экипажей, колеса которыхъ словно цѣплялись другъ за друга, медленно катятся вокругъ озера съ непрерывнымъ и глухимъ рокотомъ низвергающагося потока. Тихая ѣзда въ покойномъ экипажѣ убавливаетъ баронессу, и на губахъ ея бродитъ неопредѣленная улыбка удовольствія.

Нѣтъ ничего слаще перваго весенняго дня. Однако баронесса сожалеетъ, что тепло такъ быстро наступило. Она заказала накануне платье изъ чернаго бархата и синяго шелка, и была бы въ отчаяннѣ, еслибы ей не удалось его надѣть. Она надѣется, что холодъ возьметъ свое завтра, но пока подставляетъ лицо весеннему вѣтерку, какъ-бы ласкающему ея щеки. Вода въ озерѣ блѣдно-голубая и вся залита трепетнымъ свѣтомъ; деревья островковъ, красныя отъ почекъ, отличаются счастливымъ видомъ выздоравливающихъ. И когда баронесса высовываетъ голову въ окно кареты, кивая проѣзжающей пріятельницѣ, она чувствуетъ теплое дыханіе солнца у себя на шеѣ, и отъ этой сладкой ласки легкая дрожь пробѣгаетъ по ея членамъ.

Въ боковыхъ аллеяхъ съ нею раскланиваются всадники. Весь Парижъ тутъ. Проѣзжаютъ амазонки съ длинными, развѣвающимися вуалями. Много великолѣпныхъ лошадей, богатыхъ экипажей. Это торжественный поѣздъ, выставка изумительной роскоши. Баронесса, слышавшая накануне толки о политикѣ, подумала, что дѣла должны идти гораздо лучше, чѣмъ говорятъ, иначе не видать бы столько людей, которымъ повидимому такъ хорошо живется. На что можно пожаловаться? При имперіи лошади не были красивѣе, экипажи многочисленнѣе и лица веселѣе. До остальнаго нѣтъ дѣла. Къ тому же, баронесса не любитъ серьезныхъ размышленій. Ей кажется, что

уже наступилъ іюнь мѣсяцъ, когда ей необходимо будетъ оставить Парижъ. Куда поѣдетъ она этотъ годъ? На водахъ убійственно скучно. Нормандскіе морскіе берега грозятъ превратиться въ толкучій рынокъ. Что же касается того, чтобы скорониться въ замкѣ, которымъ владѣетъ одинъ изъ ея дядей на Луарѣ, то это было бы просто самоубійствомъ. Въ концѣ-концовъ, она все-таки предпочитаетъ морскія купанья. Она поѣдетъ, разумѣется, въ Біаррицъ. Тутъ она задумывается о костюмахъ, которые ей придется взять съ собою; двѣнадцати платьевъ будетъ довольно, если она толково ими распорядится.

Когда баронесса приходитъ въ себя, то чувствуетъ, что вся дрожитъ. Солнце садится, воздухъ посвѣжѣлъ, бѣлый паръ поднимается надъ сѣрыми водами пруда. Теперь длинная вереница экипажей быстрее катится, между тѣмъ какъ лѣсъ, которымъ снова завладѣваетъ зима, погружается въ холодную спячку. Виною всему проклятое стекло, которое она забыла поднять; оно пропускаетъ къ ней весь этотъ холодъ. Она положительно замерзла. Она жалѣетъ, что не надѣла шубы. Нѣтъ ничего коварнѣе прекрасныхъ апрѣльскихъ дней съ ихъ живымъ и вредоноснымъ солнцемъ. Теперь же какъ разъ царствуетъ гриппъ, долго ли схватить насморкъ. Но вотъ, она подняла стекло и снова согрѣлась. Она глядитъ, какъ убѣгаютъ деревья лѣса по двумъ сторонамъ аллеи.

Возвратный путь по Елисейскимъ полямъ великолѣпенъ. Цѣлая рѣка экипажей бурно несется, какъ вихрь, отъ Триумфальной арки къ площади Согласія, и это въ теченіи двухъ часовъ, такъ что пѣшеходу нѣтъ никакой возможности перейти улицу. Гуляющіе пѣшкомъ медленными шагами спускаются по боковымъ аллеямъ. Солнце, опустившееся до самаго горизонта, окрашиваетъ небо розовымъ лучомъ, разстилающимся вдали надъ городомъ. И всѣ эти колеса точно будто приносятъ съ собою свѣжій воздухъ, запахъ деревьевъ, свѣжесть водъ, ширь пространства.

Баронессой Жоржеттой снова овладѣваетъ тревога на счетъ ея платья. Не переменить ли ей черныя бархаты на черныя атласы? И она приказываетъ кучеру завернуть въ улицу Рояль, по дорогѣ домой. Тамъ живетъ ея портниха. Она никогда не хотѣла, чтобы ее одѣвалъ мужчина. У женщинъ, говоритъ она, больше изящества въ фасонѣ.

У портнихи она проходитъ въ маленькую пріемную для совѣщаній, и начинаются длинныя пренія.

— Итакъ, вы думаете, что атласъ будетъ слишкомъ легокъ? Я думала, что съ широкими сборами...

— Нѣтъ, баронесса, это невозможно! Это же будетъ нарядно. Надо, чтобы шелкъ не обвисалъ.

— Но что же мы выберемъ въ такомъ случаѣ?.. Бархатъ такъ тяжелъ!

Часъ проходить въ совѣщаніи о матеріяхъ. Затѣмъ поднимается вопросъ объ отдѣлкѣ, на счетъ которой мнѣніе баронессы тоже еще не установилось! Наконецъ, послѣ почти двухъ часового всесторонняго обсужденія вопроса о туалетѣ, она уѣзжаетъ, говоря:

— Хорошо!—оставьте какъ было, это рѣшено. Оставьте бархатъ и отдѣлку... Если, однако, мнѣ что-нибудь придетъ въ голову, то я заѣду.

Вернувшись домой, баронессѣ приходится живо переодѣться. Она обѣдаетъ сегодня вечеромъ у своей крестной матери, графини М.... Къ счастью, графиня принимаетъ только стариковъ и старухъ. Поэтому баронесса не церемонится. Она надѣваетъ лиловое платье, въ которомъ ее видѣли уже въ трехъ домахъ.

— Ахъ! моя бѣдная Лиза, — говоритъ она въ то время, какъ горничная подаетъ ей перчатки и вѣеръ, — вы очень счастливы, что можете рано ложиться спать. Моя мечта — проспять цѣлую недѣлю.

Въ довершеніе всего она проводитъ нестерпимый вечеръ. Пріѣхавъ къ своей крестной, она находитъ въ гостиной одну изъ своихъ монастырскихъ подругъ, которая косится на лиловое платье. Эта подруга уже видѣла его въ трехъ домахъ. Баронесса, разъяренная, не слушаетъ графини М...., объясняющей ей, что она хотѣла сдѣлать ей сюрпризъ этой пріятной встрѣчей. Обѣдъ неважный. Затѣмъ нескончаемый вечеръ, съ нескончаемыми толками о м-г Каро, который былъ принятъ въ прошломъ мѣсяцѣ во Французскую Академію.

М-г Каро — другъ дома. М-ше де М.... принимаетъ много академиковъ и не одно избраніе было рѣшено въ ея домѣ, у камина. Одинъ старый господинъ находитъ рѣчь м-г Каро замѣчательною. Тутъ расточаются похвалы этому послѣдователю Кузена, этому философу-спиритуалисту, специальность котораго заключается въ томъ, чтобы дѣлать Бога удобнымъ для свѣтскихъ людей. Хвалятъ его изящный и сдержанный слогъ; превозносятъ его приличные манеры, крѣпкую вѣру, прелесть его академическихъ рѣчей и самое его лицо, лицо самодовольнаго бель-ома. Никогда еще Нормальная школа не производила болѣе роскошнаго оранжерейнаго цвѣтка.

Баронесса прозѣвала весь вечеръ, прикрываясь вѣеромъ. Она такъ наскучалась, что проснала всю дорогу, возвращаясь домой. Она спитъ и въ то время, какъ горничная раздѣваетъ ее и укладываетъ спать.

— Прикажете разбудить васъ, сударыня, завтра утромъ?

— Боже васъ сохрани, Лиза! я вамъ запрещаю будить меня... Въ двѣнадцать часовъ вы придете мнѣ сказать, хороша ли погода.

И баронессѣ снится, что она катается въ какомъ-то идеальномъ паркѣ, въ зеркальной каретѣ, какія бывають на свадьбахъ королей. Она катится безъ конца мимо голубыхъ водъ, весеннимъ утромъ.

## II.

*Вторникъ.*

Сегодня представленіе въ Comédie-Française. М-г Перрентъ, бывшій директоръ оперы, съ тѣхъ поръ какъ взялъ въ свое управленіе Comédie-Française, вздумалъ устроить для beau-monde'a одно представленіе въ недѣлю. Мода помогла ему. Вторники Comédie-Française посѣщаются такъ же усердно, какъ и субботы оперы.

На баронессѣ прелестный туалетъ: шелковая свѣтло-лиловая юбка съ длиннымъ шлейфомъ; передникъ изъ бѣлаго тюля, унизанный стеклярусомъ; корсажъ-броня тоже унизанный стеклярусомъ. Когда она появляется въ ложѣ, легкій шопотъ восторга пробѣгаетъ по залѣ. Напротивъ нея нѣсколько лицъ сдержанно раскланиваются съ ней улыбкой. Затѣмъ она сто разъ усаживается на свое мѣсто. Надо прежде всего ей освободиться отъ вѣера и бинокля. Всего же болѣе стѣсняеть ее букетъ изъ розъ, который ей вздумалось притачить съ собою. Наконецъ, она не знаетъ, какъ втащить шлейфъ своего платья въ ложу, не слишкомъ измѣвъ его. Дядя ея, старый генералъ de С...., съ которымъ она пріѣхала, попробовалъ-было подтолкнуть платье кончикомъ сапога; но юбка такъ унижена воланами, что онъ рѣшается, чтобы не разорвать матеріи, поднять ее руками, обтянутыми перчатками. Капельдинершѣ можно наконецъ затворить дверь ложи. Баронесса усѣлась. Генералъ, отступя назадъ, оглядываетъ залу.

— Вы знаете, что сегодня даютъ, дядюшка?—спрашиваетъ баронесса черезъ нѣсколько минутъ.

— Нѣтъ.

И они прислушиваются съ минуту. На сценѣ какой-то рыцарь произноситъ длинную тираду звучныхъ стиховъ.

— Это *Дочь Роланда*,—говоритъ генералъ, наклоняясь.

— А!—отвѣчаетъ баронесса, уже разсѣянно.

Она увидѣла одну изъ своихъ пріятельницъ, ту самую, которая обѣдала съ нею наканунѣ у графини де М.... и позволила себѣ покоситься на ея лиловое платье. Бѣдная женщина очень не авантажна сегодня вечеромъ; она одѣлась въ зеленое съ ногъ до головы и походить на попугая. Право, когда любишь зеленый цвѣтъ и носишь корсажи мѣшкомъ, то не слѣдовало бы смѣяться надъ другими! Баронесса торжествуетъ. При каждомъ ея движеніи стеклярусъ, украшающій ея корсажъ, сіяетъ какъ звѣзда.

— Идетъ кажется второй актъ, — начинается генераль. — Ты знаешь содержаніе пьесы?

— Нѣтъ, дядюшка.

— Хочешь, я тебѣ его передамъ? Я читалъ разборъ въ своей газетѣ.

И генераль передаетъ содержаніе пьесы. Когда Роландъ умираетъ при Ронсевалѣ, измѣнника Ганелона, предавшаго его сарацинамъ, привязываютъ къ хвосту дикой лошади, по приказанію Карла Великаго. Но его спасаетъ монахъ, и между тѣмъ, какъ всѣ считаютъ его мертвымъ, онъ живетъ въ уединеніи въ одномъ изъ замковъ на берегу Рейна, подъ именемъ Амори. Терзаемый угрызениями совѣсти, онъ воспитываетъ своего сына Жеральда въ невѣдѣніи его настоящей фамиліи и дѣлаетъ изъ него безукоризненнаго рыцаря. Затѣмъ, Жеральдъ спасаетъ дочь Роланда, Берту, племянницу Карла Великаго, и влюбляется въ нее со всѣмъ пыломъ двадцатилѣтняго юноши.

— Ты понимаешь, — продолжаетъ генераль, — что Ганелонъ употребляетъ всѣ усилія, чтобы разлучить сына съ дочерью Роланда. Въ этой любви онъ видитъ какъ-бы небесную кару...

Тутъ баронесса перебиваетъ его, говоря:

— Поглядите-ка, дядюшка, вонъ туда... Это кажется тотъ самый молодой человѣкъ, который только-что назначенъ аудиторомъ въ государственный совѣтъ, протезѣ моей крестной... Онъ очень недурень.

Тутъ она осматриваетъ всю залу, и генералу приходится называть ей кучу народа. Зала блестяща. Вся аристократія, весь финансовый міръ, весь свѣтскій Парижъ тутъ присутствуетъ. Внизу толпятся фраки. Въ галлереяхъ сіяютъ нарядные туалеты, брилліанты, кружева, цвѣты, издающіе удивительные ароматы. Во всѣхъ ложахъ болтаютъ вполголоса и съ улыбкой. Лишь нѣсколько солидныхъ господъ слушаютъ пьесу. Достаточно, что пріѣхали сюда; бонтоны не требуютъ, чтобы дамы слѣдили за ходомъ представленія. И, въ виду любезнаго равнодушія залы, актеры съ примѣрной убѣдительною произносятъ свои трескучія фразы.

Между тѣмъ баронесса навела бинокль на m-lle Сару Бернгардъ, находящуюся на сценѣ. На актрисѣ надѣтъ костюмъ, скопированный со стариннаго рисунка того времени.

— Какъ смѣшно одѣвались въ то время! — бормочетъ баронесса.

Затѣмъ переходитъ къ г. Муне-Сюлли, который играетъ роль Жеральда съ чрезвычайнымъ жаромъ и страстью. Въ этотъ моментъ Жеральдъ, какъ разъ, объясняется въ любви Бертѣ великолѣпными стихами. Это декларация поэта, изобилующая громкими словами.

— Ну, что бы ты сказала, — поддразниваетъ генераль: — если бы какой-нибудь господинъ объяснился тебѣ въ любви въ этомъ стилѣ?

Баронессу очень забавляетъ эта мысль.

— Да я выпшвырнула бы его за дверь!—отвѣчаетъ она.

— Развѣ позволительно говорить такія вещи женщинѣ въ салонѣ. Это неприлично.

Во время антракта ложа баронессы наполняется посѣтителями. Много толкуютъ о продажѣ брилліантовъ, которую должна назначить на будущей недѣлѣ одна актриса театра „Variétés“. Потомъ соболѣзнуютъ о несчастіи другой дѣвицы, у которой имущество только-что сгорѣло, и перечисляютъ богатства, обращенныя въ пепелъ: кружевное платье въ тридцать тысячъ франковъ, шубу въ двадцать тысячъ франковъ, ковры, обои, всего суммою около милліона.

— Ба! — говоритъ генераль: — она скоро вернетъ свой милліонъ.

Баронесса слегка краснѣетъ. Но занавѣсъ поднимается, представленіе идетъ дальше. Карлъ Великій на сценѣ съ своими палачинами. Мобанъ очень хорошъ въ роли Карла Великаго. Онъ гримировался, согласно легендѣ, весьма эффектно. Это Карлъ Великій, какъ онъ изображается на картахъ, король съ длинной бѣлой бородой. То не торжествующій, но престарѣлый императоръ, чувствующій, какъ его царство трещитъ подъ его ногами. Третій актъ весь проникнутъ героизмомъ; одинъ сарацинскій эмиръ, обладающій шпагою Роланда, вызываетъ на поединокъ французскихъ рыцарей, обѣщая отдать шпагу тому изъ нихъ, кто его побѣдитъ. Но онъ уже свалилъ съ ногъ четверыхъ изъ нихъ, и Карлъ Великій, проливая слезы ярости, толкуетъ уже о томъ, что пойдетъ сразиться съ нимъ самъ, но тутъ выступаетъ Жеральдъ. Онъ поклялся заслужить руку Берты какимъ-нибудь геройскимъ поступкомъ. Само собой разумѣется, что онъ вызываетъ эмира, побѣждаетъ его и отнимаетъ у него шпагу Роланда, которую повергаетъ къ ногамъ Берты.

Когда занавѣсъ падаетъ, баронесса, слушавшая все время, сдержанно аплодируетъ. Ее тронула сильная любовь Жеральда, и она размышляетъ, что никто еще не дрался за нее.

— Что?—авторъ молодой человѣкъ? — спрашиваетъ она у дяди.

— М. де-Борнье? Ну, нѣтъ, ему добрыхъ пятьдесятъ лѣтъ,—отвѣчаетъ генераль. — Я его знаю. Это маленькій человѣчекъ, съ очень кроткимъ лицомъ. Онъ служитъ библіотекаремъ гдѣ-то, въ арсеналѣ, кажется.

Баронесса корчитъ маленькую гримасу. Она вообразила, что авторъ долженъ быть молодъ и хорошъ. Поэтому она не слушаетъ дяди, продолжающаго сообщать ей разныя подробности о г. де-Борнье. Лѣтъ двадцать сряду поэтъ аккуратно представлялъ, черезъ каждые полтора года, драму въ стихахъ въ театральнй комитетъ „Comédie-Française“. Комитетъ неизмѣнно отвергалъ драму. Взаимнъ того,

онъ заказывалъ автору какое-нибудь à propos въ стихахъ, на случай годовщины смерти кого-нибудь изъ нашихъ классиковъ, Корнеля, Мольера или Расина. Но, наконецъ, съ теченіемъ времени комитетъ тронулся настойчивостью г. де-Борнье, и не напелъ въ себѣ силы отказать, когда этотъ послѣдній принесть „Дочь Роланда“. Когда пьеса была принята, никто не рассчитывалъ на ея успѣхъ. Ее держали елико возможно долѣе въ портфель. Но, наконецъ, пришлось таки ее дать, и оказалось, что пьеса заслужила настоящій успѣхъ.

— Пьеса, конечно, не изъ веселыхъ, — заключилъ генераль: — но она исполнена возвышенныхъ чувствъ... Она явилась встати, и это объясняетъ ея успѣхъ.

Въ залѣ вѣера тихо колыхаются. Баронесса, утомленная, прислоняется къ перегородкѣ ложи. Въ театрѣ очень жарко. Наступилъ тотъ моментъ лихорадочнаго ожиданія въ послѣднемъ антрактѣ, когда женскія лица блѣднѣютъ отъ нетерпѣнія знать развязку. Теперь передъ нами уже не развѣянная и улыбающаяся зала первыхъ актовъ. Весь этотъ эпическій міръ, эти рыцари въ кирасахъ, этотъ легендарный императоръ, эта сверхъестественная любовь навѣяли на ложи немного серьезности. Современный высшій свѣтъ задумался о великомъ минувшемъ свѣтѣ. Какъ это давно было! Молодая дѣвушка въ розовомъ, на балконѣ, улыбается подъ направленными на нее биноклями. Поутру узнали, что она выходитъ замужъ и что за ней миллионъ двѣсти тысячъ приданаго. Послѣдній потомокъ одной изъ нашихъ знаменитыхъ фамилій, маленький, жиденькій, тоненькій молодой человѣкъ, играетъ флакономъ съ солами, который нюхаетъ время отъ времени, и это человѣкъ, предки котораго работали мечомъ въ битвахъ. Тутъ присутствуетъ и развѣнчанный король, и даже бровью не поведетъ, слушая рыданія Карла Великаго, оплакивающего поражение своихъ близкихъ. Развѣ не героизмъ уже одно то, что они пріѣхали въ „Comédie-Française“ слушать стихи, содѣйствовать успѣху г. де-Борнье и прилично скучать, когда можно было бы ѣхать и похохотать въ театрѣ „Буфф“ или въ театрѣ „Возрожденія“?

— Женится ли Жеральдъ на Бертѣ, дядюшка? — спрашиваетъ баронесса.

И когда генераль раскрываетъ ротъ, чтобы отвѣтить:

— Нѣтъ, нѣтъ, лучше не говорите, — добавляетъ она. — Я лучше подожду. Боже мой! какъ эти антракты долго длятся!

Къ ней приходятъ въ ложу еще два или три господина. Одинъ изъ нихъ, молодой человѣкъ тридцати-двухъ лѣтъ, получилъ крестъ въ послѣднюю войну; онъ выступилъ волонтеромъ въ зуавы и выказалъ много храбрости въ Луарскую компанію. Она особенно любезна съ нимъ. Сегодня вечеромъ ей правятся герои.

Но, вотъ наступаетъ четвертый актъ. Жеральдъ узнаетъ, что онъ сынъ измѣнника Ганелона. Онъ чувствуетъ, что Берта навѣки потеряна для него, хотя Карлъ Великій и его пѣры собираются на судъ чести, поочередно произнося свое сужденіе, и объявляютъ, что онъ достоинъ дочери Роланда; но онъ, движимый непреклоннымъ чувствомъ чести, не можетъ примириться съ мыслью, что сынъ измѣнника женится на дочери жертвы измѣны и, простившись съ Бертой твердымъ голосомъ, уходитъ съ отцомъ геройски, спокойно сложить голову на какомъ-нибудь далекомъ долѣ брани.

Занавѣсъ падаетъ, публика медленно расходится, подъ впечатлѣніемъ этой смѣлой развязки, величіе которой удивляетъ; баронесса Жоржетта изумлена, почти разсержена; въ то время какъ генераль совершаетъ чудеса ловкости, чтобы дать ей возможность выйти изъ ложи, не разорвавъ шлейфа, она восклицаетъ:

— Ну, нѣтъ, онъ наконецъ слишкомъ идеаленъ!... Онъ просто смѣшонъ.

### III.

*Среда.*

Дождь снова льетъ. Парижъ, обдаваемый ливнемъ, жалокъ съ своими желтыми улицами, по которымъ снуетъ трудовой людъ. Баронесса должна присутствовать на проповѣди въ церкви Св. Рока. Проповѣдь назначена въ три часа. Дорогою, такъ какъ еще безъ четверти три, ей пришло въ голову, что она успѣетъ заѣхать на минутку къ своей портнихѣ. И вотъ, она приказываетъ кучеру ѣхать въ улицу Рояль. Ничего нѣтъ смѣшнѣе какъ пріѣхать первой въ церковь.

Дѣло въ томъ, что она придумала нѣчто необыкновенное; а именно: унизать корсажъ платья стальнымъ бисеромъ; это будетъ подражаніемъ древней кольчугѣ и, конечно, произведетъ оригинальный эффектъ, тѣмъ болѣе, что наканунѣ она замѣтила, что дѣйствующія лица въ „Дочери Роланда“ очень эффектны въ кольчугахъ.

— Ну! чтó скажете объ этой идеѣ,—спрашиваетъ она у портнихи.

Послѣдняя сдѣлалась весьма серьезна.

— Боже мой! это, конечно, идея! Это можетъ быть очень оригинально. Но надо поглядѣть, это очень важно...

Тутъ онѣ начинаютъ обсуждать фасонъ кольчуги. Портниха предлагаетъ маленькую четырехугольную баску; баронесса предпочитаетъ круглую, и въ концѣ-концовъ одерживаетъ верхъ. Затѣмъ обсуждаютъ, будетъ ли корсажъ застегиваться сзади. Важный вопросъ. Да, онъ будетъ застегиваться сзади, но посредствомъ совсѣмъ особыхъ застѣжекъ, въ родѣ тѣхъ, какія бываютъ у корсетовъ.

— Боже мой! три съ половиной часа!—вдругъ вскрикиваетъ баронесса.—Я опоздаю къ проповѣди.

Она спускается съ одного этажа, но снова поднимается, чтобы сказать одно слово портнихѣ.

— Знаете. Не бойтесь, если платье будетъ нѣсколько тяжело. Зима вернулась. Я хочу быть потеплѣе одѣтой... И пришлите мнѣ платье не позже субботы. Я ѣду на званый обѣдъ.

Кучеръ мчитъ ее во весь опоръ въ улицу Сентъ-Оноре. На поворотѣ въ улицу Кастильонъ, онъ попадаетъ какъ разъ въ толкотню экипажей. Скоро нельзя ѣхать,—ни назадъ, ни впередъ. Тутъ столпились и фіакры, и омнибусы, и фуры, и рѣшительно загромождали всю улицу. Въ эту самую минуту разражается дождь; кучера, обливаемые его потоками, ругаются, щелкаютъ бичами, посылаютъ другъ другу крѣпкія словца. И баронессѣ приходится пробить тутъ добрыхъ десять минутъ, среди всего этого гвалта, подъ градомъ ругательства, которыя она какъ будто не слышитъ. Она забила въ уголъ кареты, немного испуганная; затѣмъ, мало по-малу, забываетъ, гдѣ она находится и не видитъ больше гадкой улицы, гдѣ течетъ рѣка грязи, зонтики несутся вдоль тротуаровъ съ тяжелымъ и испуганнымъ полетомъ большихъ черныхъ птицъ, а городскіе сержанты пробираются между колесъ, стараясь высвободить экипажи. Она мысленно вернулась къ портнихѣ и размышляетъ, не слѣдовало ли ей приказать украсить корсажъ-кольчугу двумя стальными пуговицами на груди, какъ она это видѣла на картинкахъ *Освобожденнаго Иерусалима*, на кирассахъ прекрасныхъ героинь Тасса. Но, пожалуй, это было бы чересчуръ оригинально. Да, конечно, это было бы чересчуръ оригинально!

Наконецъ, карета останавливается передъ церковью Св. Рока. Уже три часа тридцать пять минутъ; баронесса поспѣшно входитъ въ церковь. Она такъ торопится, что забываетъ взять святой воды. Большая церковь полна народа. Отецъ Матиньонъ на каедрѣ, и наполняетъ своды раскатомъ своего сильнаго голоса. Однако баронесса не хочетъ оставаться назади, у дверей. Не стоило пріѣзжать, если ее никто не увидитъ. Къ тому же, у ней есть свое опредѣленное мѣсто, передъ клиросомъ, возлѣ первой колонны. И вотъ, она начинаетъ осторожно пробираться между стульями. Она скользитъ съ граціей, которая производитъ сенсацию; мужчины подбираютъ ноги, сжимаютъ колѣни, чтобы пропустить ее, улыбаясь шороху ея юбокъ, нѣжному какъ ласка; женщины менѣе любезны. Никогда баронесса не производила такого эффекта. Всѣ на нее смотрятъ. Самъ отецъ Матиньонъ приостанавливается на минуту. Она въ восторгѣ.

Въ церкви носится запахъ ладона. Небо покрыто тучами, и окна пропускаютъ слабый, таинственный свѣтъ, мало по-малу потухающій. Баронессѣ остается миновать только одинъ рядъ стульевъ. Тутъ ее внезапно озаряетъ солнечный лучъ, проникающій въ большое круглое

окно, надъ порталомъ. На ней солидный костюмъ, приличный церкви, сѣрое платье въ два тона, убранное кружевами Шантильи. И она прелестна, окруженная трепещущей золотой пылью солнца, проникающего сюда какъ будто нарочно для нея одной. Солнце гаснетъ, баронесса наконецъ усаживается на своемъ обычномъ мѣстѣ, передъ клиросомъ, у первой колонны.

Тутъ отецъ Матиньонъ возвышаетъ голосъ. Онъ проповѣдуетъ на тему объ обязанности набожныхъ особъ поддержать „Пріютъ для бѣдныхъ молодыхъ дѣвушекъ“. Этотъ пріютъ основанъ недавно, и цѣль его—воспитывать извѣстное число молодыхъ дѣвушекъ, принадлежащихъ къ рабочему классу, награждать ихъ приданнымъ и выдавать замужъ. Принимаются предпочтительнѣе сироты, оставшіяся безъ пріюта, на мостовой Парижа, и которыхъ сторожить развратъ. То будутъ души, вырванные у порока.

Въ эту минуту, отецъ Матиньонъ, красивый мужчина съ величественными жемами, кричитъ во все горло:

— Роскошь, роскошь, безъ мѣры и удержа — вотъ гдѣ соблазнить, вотъ гдѣ постоянный позывъ къ грѣху. Бѣдныхъ дѣвушекъ губить постыдная выставка богатствъ, которую Парижъ ежечасно устраиваетъ на своихъ улицахъ. Возможно ли, чтобы эти несчастныя не мечтали о богатствѣ, хотя бы купленнымъ цѣною позора, когда онѣ хороши собою и когда имъ стоить только сказать слово, чтобы сѣсть въ экипажи, забрасывающіе ихъ грязью. Онѣ дрожатъ отъ холода въ своихъ худенькихъ платьишкахъ; ноги ихъ изранены въ истоптанныхъ башмакахъ, и онѣ возвращаются къ себѣ домой съ грѣзами о счастливомъ мірѣ; имъ по цѣлымъ ночамъ снятся тѣ красивыя женщины, которыя проѣзжали мимо ихъ. И вотъ когда сатана забираетъ ихъ въ свои когти!..

Послѣ этого ораторскаго эффекта онъ останавливается и проводить по губамъ платкомъ, который съ минуту малъ въ рукахъ. Баронесса, спокойно откинувшись на спинку стула, наслаждается его краснорѣчіемъ. Онъ правъ. Ужасно, должно быть, видѣть нарядныхъ женщинъ, когда сама плохо одѣта. Она пытается перенестись на мѣсто этихъ бѣдныхъ дѣвушекъ, и представить себѣ, что бы она испытывала на ихъ мѣстѣ, и содрагается. Право, она не поручилась бы за себя.

День потухаетъ. Она оглядывается вокругъ себя, стараясь разглядѣть своихъ сосѣдокъ. Вотъ маркиза Л... съ своими двумя дочерьми. Боже милостивый! какъ эти бѣдняжки дурны собой! Ужъ конечно не онѣ толкнули на путь погибели кокетливыхъ работницъ, потому что мать одѣваетъ ихъ безъ всякаго вкуса. Она видитъ также м-ше П..., жену своего нотаріуса. Эта хорошо одѣта, слишкомъ хорошо. Для кого это пріѣхала она въ Сентъ-Рокъ, вырядившись въ

темно-зеленое платье, все покрытое бѣлыми кружевами. Тутъ пахнетъ интрижкой, тѣмъ болѣе, что жена нотариуса бросаетъ вокругъ себя нѣжные взгляды. Потомъ, тѣнь сгущается, и баронесса никого больше не различаетъ. Ей сладко затеряться въ этомъ трепетномъ мракѣ. Все въ ней какъ-бы замираетъ. Она различаетъ вдали между колоннами однѣ лишь лампы, мерцающія какъ звѣзды. Минутами мелькаетъ золотой отблескъ распятія или подсвѣчника, или бѣлый стихарь священника, уходящаго въ ризницу. Ей кажется, что присутствующіе замерли въ томъ сладкомъ забытіи, которое оковываетъ ея собственные члены.

— Знаете-ли какой жертвы требуетъ отъ васъ Господь?—начинаетъ отецъ Матиньонъ, снова повышая голосъ.—Онъ требуетъ отъ васъ больше простоты въ одеждѣ, больше скромности въ вашихъ нарядахъ, больше сдержанности въ походкѣ и въ выраженіи лица. Примѣръ долженъ идти выше. Вся эта роскошь грѣховна. Надо принести публичную жертву добродѣтели и отказаться отъ богатыхъ тканей, кружевъ и драгоценностей. Когда бѣдныя дѣвушки будутъ васъ видѣть скромными и просто одѣтыми, ихъ не будутъ больше волновать злыя страсти. Вы сами станете красивѣе....

Баронесса одобряетъ и эти рѣчи. Боже мой! Ей припоминается простенькое гренадиновое платье, которое стѣбало ей пустяки, какихъ-нибудь двѣсти франковъ, и въ которомъ она была прелестна. Самые дорогіе туалеты не всегда идутъ всего болѣе къ лицу. Отецъ Матиньонъ также правъ, отвергая драгоценности. Нѣтъ ничего безобразнѣе какъ увѣшаться золотомъ и драгоценными камнями, точно икона. Мода допускаетъ только фантастическія украшенія, да и то нужно, чтобы они были древніе. Онъ очень хорошо знакомъ съ требованіями моды, этотъ проповѣдникъ!

Тутъ въ умѣ баронессы наступаетъ пробѣлъ. Быть можетъ, она заснула. Она не помнитъ хорошенько; она думала о покупкахъ, которыя ей нужно сдѣлать въ непродолжительномъ времени, и ей показалось, что она входитъ къ своему парфюмеру, а громкій голосъ отца Матиньона рекомендуетъ ей вервену, модные духи. Когда она пришла въ себя, въ церкви слышался шорохъ юбокъ. Всѣ дамы становились на колѣни. Каеэдра опустѣла. Священникъ, у престола, надѣляетъ благословеніями. Она проситъ Бога дать ей силу привести въ исполненіе мудрыя слова, которыя она только-что слышала.

Публика расходится очень медленно. Много женщинъ, и шлейфы увлекаютъ за собой стулья, и опрокидываютъ ихъ съ громкимъ шумомъ. Баронесса останавливается на минуту у дверей и разговариваетъ съ м-ше П., женой своего нотариуса.

— Вы будете завтра на балѣ у графини?—спрашиваетъ она у этой послѣдней.

— Да, я не рассчитывала ѣхать, но потомъ рѣшилась. Говорятъ, балъ будетъ великолѣпный.

И такъ какъ въ эту минуту онѣ стоятъ у кропильницы, то любовно подносятъ другъ другу святую воду.

## IV.

*Четвергъ.*

Въ десять часовъ, стоя посреди́хъ своей уборной, озаренная свѣтомъ двадцати свѣчей, баронесса изучаетъ въ большомъ трюмо свой туалетъ изъ розоваго атласа. Она уже совсѣмъ готова, и Лиза пробуетъ, крѣпко ли застегнуть надъ густымъ шиньономъ золотой обручъ, надѣтый какъ діадема.

— Вы сегодня очаровательны, сударыня,—бормочетъ горничная.

Баронесса улыбается себѣ въ зеркало. Ея сильно обнаженные плечи и руки кажутся молочной бѣлизны въ розовомъ платьѣ. Она такъ свѣжа, такъ бѣлокура, такъ изящна и граціозна, что ее невольно сравниваешь съ одной изъ статуетокъ саксонскаго фарфора, съ тонкой улыбкой идеальныхъ маркизъ.

Лиза провожаетъ ее до самаго подъѣзда и помогаетъ сѣсть въ карету, не измѣвъ юбки. Карета просторная, но юбка наполняетъ ее всю. Она вся покрыта воланами, bouillonés, рюшами, кружевами, среди которыхъ баронесса какъ-бы теряется. Она сидитъ очень смиренно, даже не глядитъ въ окна на Парижъ, отходящій ко сну, на лавки, гдѣ тушатъ газъ, на пустынные тротуары, на извозничихъ лошадей, возвращающихся на покой безъ заднихъ ногъ. Затѣмъ, когда кучеръ останавливается на бульварѣ Гаусманна у дверей графини, она съ безконечными предосторожностями высаживается изъ экипажа.

Изъ сѣней уже слышенъ оркестръ. Графиня—очень милая женщина, мужъ которой занималъ очень высокое положеніе при имперіи. Ее обвиняютъ въ томъ, что она интригуетъ въ пользу бонапартовской реставраціи. Какъ бы то ни было, но политика вовсе не даетъ себя чувствовать у нея. Несомнѣнно только то, что она принимаетъ нѣсколько смѣшанное общество, набирающееся изъ того парижскаго люда, который любитъ повеселиться. Въ ея салонахъ попадаются даже республиканцы; быть можетъ, она привлекаетъ ихъ лишь затѣмъ, чтобы соблазнить?

Когда баронесса входитъ въ первый салонъ, она невольно слегка щурится: такъ внезапно переходъ отъ мрака грязныхъ улицъ къ яркому освѣщенію, нарядамъ, брилліантамъ, наполняющимъ залу. Очень жарко. Запахъ духовъ носится въ воздухѣ. И баронесса испытываетъ тѣ же ощущенія, что и накануне, когда она входила

въ церковь Сенъ-Рока, и ее охватила смутная нѣга церковнаго воздуха, пропитаннаго запахомъ ладона. Въ церкви господствовалъ мракъ, но голосъ отца Матиньона ласкалъ ее такъ же, какъ и оркестръ, и она находитъ ту же таинственную прелесть въ перспективѣ длиннаго ряда залъ, гдѣ вдали мелькаютъ пары танцующихъ.

Первое лицо, на которое она натывается—это м-ше де-П..., жена нотаріуса, та особа, съ которой она обмѣнялась любезностями у кропильницы.

— Какъ вы поздно пріѣхали!—говоритъ ей эта послѣдняя:—уже всѣ въ сборѣ.

И дѣйствительно, она видитъ на одной изъ козетокъ марензу Л.... съ ея двумя дочерьми, затѣмъ множество дамъ, которыхъ она видѣла у проповѣди. На нихъ нѣтъ больше темныхъ платьевъ, приличныхъ для церкви; онѣ декольтированы до половины спины и спокойно обмахиваются лѣнивой рукой, въ то время какъ мужчины проходятъ мимо, искоса поглядывая на нихъ. Многія держатъ въ рукахъ флаконъ съ солями, какъ вчера держали молитвенники.

Наконецъ, оркестръ умолкаетъ, вальсъ оконченъ. Баронесса можетъ медленно обойти залы. Она отказывается отъ руки одного изъ своихъ кузеновъ, бросившагося ей на встрѣчу. Мужчина стѣсняется, когда шлейфъ нѣсколько длиннѣе; кромѣ того, онъ маскируетъ туалетъ и все мнетъ. Она хочетъ идти одна во всей своей славѣ. Начинается триумфальное шествіе, среди улыбокъ, маленькихъ сдержанныхъ поклоновъ, словечекъ, произносимыхъ шепотомъ и скороговоркой. Она слышитъ при своемъ приближеніи ропотъ восторга и оставляетъ позади себя борозду восхищенныхъ фразовъ. Путь ея усыпается комплиментами. О! какое счастье быть красавицей и постоянно выслушивать это! Какъ сладко встрѣчать на всѣхъ устахъ одну и ту же похвалу!

Балъ прелестенъ. Ковры такъ мягки, что ноги тонутъ въ нихъ. Цвѣтовъ масса; они опережаютъ весну и превращаютъ залы въ боскеты. Душистый воздухъ полонъ сладкой нѣги. Оркестръ, по временамъ, замедляетъ темпъ, и музыкальныя фразы его очаровательно мягки; вздохи флейты возбуждаютъ дрожь въ нервахъ женщинъ. Здѣсь царствуетъ какъ-бы ароматъ богатства, блаженство разлито въ воздухъ, точно тутъ живутъ высшія существа, болѣе красивыя, болѣе великія, чѣмъ остальные смертныя. Яркій свѣтъ напоминаетъ сіяніе свѣтила, какое-то солнце, встающее по ночамъ для однихъ счастливицевъ міра сего. И среди этого моря свѣта можно отыскать укромные уголки, уголки, лишь слегка оваренные какъ-бы луннымъ свѣтомъ, въ глубинѣ маленькихъ гостинныхъ, скромныхъ и уютныхъ, какъ альковъ.

Баронесса проводитъ очаровательную ночь. Она мало танцуетъ;

танцы возбуждаютъ испарину и пертятъ цвѣтъ лица. Къ тому же, только молодымъ дѣвушкамъ могутъ нравиться эти скучныя кадрили, во время которыхъ обмѣниваешься фразами о погодѣ. Когда баронесса танцуетъ, она избираетъ польку или вальсъ, одинъ изъ тѣхъ сладострастныхъ танцевъ, въ которыхъ женщина носится въ объятіяхъ мужчины. Но всего охотнѣе она разгуливаетъ на свободѣ, переходитъ изъ одной залы въ другую, прислушивается однимъ ухомъ къ разговорамъ, бросаетъ на лету словечко-другое. Она вездѣ, она переживаетъ балъ во всѣхъ его изгибахъ.

Около полуночи баронесса проводитъ три-четверти часа въ одномъ уединенномъ салонѣ, въ обществѣ пріятельницы, которую исповѣдуетъ. Вѣдная женщина очень несчастлива съ мужемъ; она пересказываетъ обо всѣхъ гадостяхъ своего супруга: о любовницахъ, которыхъ онъ содержитъ, о деньгахъ, которыя онъ проигрываетъ въ карты, о равнодушіи, съ какимъ онъ къ ней относится послѣ трехлѣтняго супружества. Баронесса жалѣетъ ее. Вѣдняжка, какъ она должна страдать! Слеза среди бала, когда оркестръ играетъ подъ сурдиной польку поцѣлуевъ, царское угощеніе. Потомъ она переносится мысленно въ свое прошлое, вспоминаетъ о своемъ покойномъ мужѣ; онъ былъ вдвое старше ея, и за нимъ водились очень крупныя недостатки. Боже мой! какое счастье быть свободной! И она утѣшаетъ свою пріятельницу, говоря:

— Надо терпѣть, моя милочка. Даже лучший изъ мужей несносенъ, будь увѣрена! Устрой себѣ уголокъ счастья.

Около часу, баронесса въ другомъ маленькомъ салонѣ, на противоположномъ концѣ дома. Она встрѣтила стараго герцога де-В..... и согласилась опереться на его руку. И они, какъ добрые товарищи, дошли до этого уголка. Герцогъ собирается рассказать ей одну изъ тѣхъ скромныхъ исторій, которыя онъ умѣетъ передавать съ такимъ неподражаемымъ мастерствомъ, искусно лавируя между подводными скалами и останавливаясь какъ разъ во-время. Дѣйствительно, онъ напоминаетъ ей о приключеніи одной молодой англичанки, въ Булонскомъ лѣсу, два года тому назадъ. Она такъ неловко упала съ лошади, что юбки накрыли ей голову, и молодой работникъ, садовникъ, какъ говорили тогда, прибѣжавшій на помощь, увидѣлъ необыкновенное зрѣлище. Что же! эта молодая англичанка дала потомъ блестящее образованіе садовнику и вышла за него замужъ, для того, чтобы только одинъ ея мужъ могъ похвастаться, что видѣлъ у ней родинку повыше колѣна. Герцогъ передаетъ этотъ анекдотъ очень бойко и смѣло. Баронесса хохочетъ отъ души, прикрываясь вѣеромъ и испуская легкіе крики испуганной скромности, когда рассказчикъ поясняетъ нѣкоторыя фразы слишкомъ точнымъ жестомъ. Превесело!

Около половины второго, баронесса соглашается протанцовать

вальсѣ. Ея танцоръ — молодой аудиторъ государственнаго совѣта, который всю зиму вертѣлся около нея. Она забавляется тѣмъ, что заставляетъ его краснѣть, прислоняется къ его плечу, такъ что блѣдный мальчикъ блѣднѣетъ и испытываетъ безумное желаніе покрѣпить поцѣлуями блѣдныя пряди волосъ на ея вискахъ.

Въ два часа ночи, баронесса съ своимъ танцоромъ сидитъ въ амбразурѣ окна. Они полузакрыты оконными занавѣсами. Въ залѣ такъ жарко, что они пріотворили окно, насмѣшливая улыбочка исчезла съ лица баронессы. Она немного запыхалась, и очень блѣдна и такъ смущена, что позволила молодому человѣку взять ее за руку, и забыла отнять ее. Онъ неожиданно подноситъ ее къ губамъ. Они не говорятъ ни слова. Въ эту минуту, услышавъ шорохъ позади себя, она оборачивается и спокойно говоритъ старой дамѣ, которую видитъ у себя за спиной:

— Неправда ли, какъ жарко? мы освѣжаемся у окна.

Въ три часа, баронесса ужинаетъ. Двери въ столовую открыты. Ужинъ превосходный, и сервировка стола великолѣпная. Громадная лососина, салатъ изъ омаровъ по-американски, холодныя мяса, трюфелей вдоволь. У баронессы отличный аппетитъ. Она не похожа на тѣхъ молодыхъ женщинъ, которыя кокетничаютъ тѣмъ, что у нихъ птичій аппетитъ. Напротивъ того, она тщеславится своей жадностью и умѣетъ ѣсть какъ артистка, не забывая улыбаться. Она даже пьетъ шампанское, очень весело, зная, что вино придаетъ голубымъ глазамъ бархатную мягкость.

Около четырехъ часовъ, баронесса философствуетъ въ кругу мужчинъ. Она утверждаетъ, что нельзя любить два раза. Тѣмъ временемъ цвѣты увядаютъ, свѣчи какъ будто блѣднѣютъ, оркестръ засыпаетъ на тихой жалобѣ скрипокъ.

Въ половинѣ пятаго, баронесса уѣзжаетъ съ бала. Она даже не взглянетъ на своего вальсера. Онъ поступаетъ въ разрядъ приятныхъ аксессуаровъ бала, наравнѣ съ ужиномъ. Она совсѣмъ спокойна. Она очень веселилась.

## V.

### Пятница.

Баронессу давно уже тревожитъ глупая фантазія. Ей хотѣлось бы присутствовать на засѣданіи національнаго собранія, въ Версалѣ. Всѣ ея пріятельницы побывали тамъ. Онѣ говорили ей, что это убійственно скучно, но она хочетъ имѣть право повторить то же, что и онѣ! Ей досадно, что она не знаетъ, что такое политика.

Дядя ея, генералъ, друженъ съ однимъ депутатомъ умѣренной правой, и условился ѣхать съ нею въ Версаль въ пятницу. Они отправляются съ поѣздомъ въ половинѣ перваго. Путешествіе очень

ее забавляетъ, потому что она сидитъ въ вагонѣ съ семьёю мужчинами, весело болтающими о кулисахъ, о послѣднемъ балѣ англійскаго посольства, о приключеніи одной княгини, давшей пощечину одному молодому дипломату, съ которымъ мужу пришлось драться на пистолетахъ. Дядя называетъ ей всѣхъ семерыхъ господъ, находящихся тутъ, и она съ изумленіемъ слышитъ имена извѣстныхъ и непримиримыхъ противниковъ. Здѣсь присутствуетъ одинъ радикальный депутатъ, два депутата республиканскихъ, два орлеаниста, одинъ бонапартистъ и одинъ легитимистъ. Черезъ нѣсколько времени они угощаютъ другъ друга сигарами.

По пріѣздѣ въ Версаль начинается дождь. Ни одной приличной кареты. Баронесса и генераль принуждены взять жалкій фіакръ, пробитый со всѣхъ сторонъ и куда вода проходитъ какъ сквозъ рѣшето. Аллеи пусты, городъ какъ-бы вымеръ съ его улицами, на которыхъ растетъ трава, и маленькими запертыми наглухо домиками, въ окнахъ которыхъ время отъ времени появляется блѣдное лицо испуганнаго буржуа.

Наконецъ, слава-Богу! баронесса благополучно достигла мѣста назначенія. Она выходитъ изъ фіакра въ улицѣ Резервуаровъ, передъ маленькой дверцей дворца, гдѣ генералу приходится вступить въ переговоры съ приставомъ въ красномъ жилетѣ. Надо сказать, что генераль пріѣхалъ наудачу, рассчитывая на услужливость своего друга депутата. У него нѣтъ билета. Ихъ пропускаютъ однако до залы *Perdus*. Но тамъ останавливаютъ и не пускаютъ дальше, и генераль рѣшается послать свою карточку знакомому депутату. Онъ сердится, шумитъ. Баронесса, одѣвшаяся солидно въ черный шелкъ, густо отдѣланный чернымъ стеклярусомъ, начинаетъ жалѣть, что пріѣхала.

Около трехъ-четвертей часа они дожидаются на скамейкѣ, обитой потертымъ бархатомъ. Наконецъ маленькій человѣкъ, очень жирный, очень красный, прибѣгаетъ, весь запыхавшись. Это депутат правой умѣренной, другъ генерала. Баронесса закусываетъ губы, чтобы не расхохотаться, такимъ онъ ей кажется безобразнымъ. У него жидкій, пискливый голосокъ, напоминающій дребезжаніе битого стекла.

— Я въ отчаяніи! въ отчаяніи! — повторяетъ онъ больше двадцати разъ. — Вамъ слѣдовало меня предупредить. У меня нѣтъ билета, сегодня не мой день получать ихъ... Боже мой! какъ это досадно.

Наконецъ, однако, благодаря обязательности одного квестора, распыающагося въ любезностяхъ передъ баронессой, ихъ вводятъ въ залу засѣданій. Корридоры такъ узки, что юбки молодой женщины проходятъ лишь съ большимъ трудомъ. Наверху ей приходится наклониться, чтобы пройти въ маленькую дверь, которую передъ

ней раскрываютъ. Она усаживается у колонны, въ первомъ ряду ложи, и кладетъ свои руки, обтянутыя перчатками на бортъ, обитый краснымъ бархатомъ. Она даже вынимаетъ бинокль изъ кармана. Но дядя наклоняется къ ней и говорить ей вполголоса:

— Послушай, мы вѣдь не въ театрѣ. Бинокли запрещены.

Половина третьяго. Зала еще пуста. Однако президентъ, д'Одиффре-Пакьё, уже у бюро. Онъ разговариваетъ съ нѣсколькими депутатами, стоящими позади него. На скамейкахъ, обтянутыхъ краснымъ бархатомъ, помѣщается человекъ полтораста депутатовъ, раздѣлившихся на маленькія группы. Одни читаютъ газеты, другіе разговариваютъ и громко смѣются; большинство дремлетъ съ открытыми глазами. Баронесса дивится множеству плѣшивыхъ головъ, виднѣющихся въ залѣ; онѣ выдѣляются бѣлыми пятнами. Потомъ ее неприятно поражаетъ некрасивость политическихъ дѣятелей. Это ее просто смущаетъ. Тогда она старается заняться самой обстановкою, этой старинной театральной залой, столь роскошно отдѣланной Людовикомъ XV-мъ, гдѣ во время-оно раздавалось такъ много любовныхъ вздоховъ и гдѣ въ настоящее время кипитъ столько злобы. Дядя объясняетъ ей, что всѣ украшенія сдѣланы изъ точенаго и вызолоченнаго дерева. Но вдругъ останавливается:

— А! засѣданіе начинается.

Одиффре-Пакьё, дѣйствительно, звонитъ. Но звонокъ его заглушается разговорами депутатовъ между собою. Ни одинъ депутатъ не пошевелился. Они продолжаютъ читать, болтать, спать, съ прежней флегмой. Баронесса, наклоняющаяся впередъ и заглядывающая во всѣ уголки залы, наконецъ улыбается. Она увидѣла депутата молодого и съ волосами. Онъ стоитъ внизу трибуны, устремивъ на нее глаза. Онъ толкаетъ локтемъ одного собрата. Собрать смотреть. Скоро ихъ собирается цѣлая кучка, и всѣ они смотреть на нее. Она, вся вспыхнувъ, обмахивается вѣеромъ.

— Видишь ли, это вносятъ законопроекты, — объясняетъ ей дядя на-ухо.

Господа поднимаются на трибуну, бормочатъ нѣсколько словъ и сходятъ внизъ. Она не понимаетъ ни единого слова. Это длится полчаса. Затѣмъ маленький, тоненькій человекъ обсуждаетъ какой-то финансовый вопросъ такимъ слабымъ голосомъ, что до нея долетаютъ однѣ только цифры. Когда онъ приводитъ цифру, то возникаетъ голосъ, и въ ушахъ баронессы звенятъ миллионы, за которыми она тщетно старается услѣдить и отъ которыхъ у ней наконецъ разбалливается голова. Дядя, сзади ея, качаетъ головой, точно понимаетъ. Это длится добрыхъ полчаса.

— Это очень важный вопросъ: налогъ на биржевыя бумаги,—бормочетъ генераль.

Спусти еще полчаса, баронесса становится безпокойна. Такъ какъ то, что происходитъ на трибунѣ, ее нисколько не занимаетъ, она проситъ дядю назвать ей извѣстныхъ депутатовъ. Онъ охотно исполняетъ это желаніе и наклоняется, оглядываетъ скамейки и обозначаетъ членовъ въ такихъ выраженіяхъ: „вонъ тотъ, толстопузый,—вотъ этотъ, карапузикъ, смахивающій на кота,—вотъ тотъ, тощій, который сидитъ между депутатомъ съ краснымъ, какъ у пьяницы, носомъ и тѣмъ, что въ грязной рубашкѣ,—вотъ этотъ, старый, носъ котораго здороваается съ ртомъ,—вотъ этотъ, молодой, такой расчесанный, который глядится въ маленькое зеркальце. Баронесса отлично слѣдитъ за этими указаніями. Тѣрь удивляетъ ее своимъ простодушнымъ выраженіемъ. Гамбетта слегка разочаровываетъ ее; она воображала его страшнымъ, нечесаннымъ, съ черной кожей, и находить, что у него слишкомъ буржуазная наружность. Де-Броли вызываетъ у ней гримасу; онъ не похожъ на герцога, у него пошлый видъ. Руэръ, котораго она знала раньше, кажется ей какъ-бы мизернѣе, когда она смотритъ на него сверху внизъ. И должно быть остальные также мало удовлетворяютъ ее, потому что она качаетъ головой, при каждомъ новомъ лицѣ, которое ей называется дядя. Ее трогаетъ только тонкій профиль бѣлокурого депутата.

— А вотъ тотъ, дядюшка, бѣлокурый, съ правильнымъ лицомъ, кто онъ такой?

— Ну, вотъ этого-то я и не знаю. Онъ неизвѣстенъ. Онъ никогда не говоритъ.

Уже два часа баронесса сидитъ здѣсь. Она глядитъ въ окно. Дождь барабанитъ въ стекла. Еслибы не это, она предложила бы прогуляться по парку. Тутъ она дѣлаетъ послѣднее усиліе заинтересоваться засѣданіемъ. Началось большое движеніе. Предстоитъ голосованіе. Начинается церемоніаль. Урну ставятъ на трибуну, депутаты выходятъ по лѣстницѣ справа, кладутъ свой бюллетень и спускаются по лѣстницѣ слѣва. И это безъ конца.

— Мы кажется попали неудачно,—бормочетъ генераль. — Засѣданіе могло бы быть интереснѣе.

Баронесса улыбается смиренно, точно мученица. Шествіе возобновляется съ прежнимъ церемоніаломъ. Послѣ перваго голосованія, начинается второе. Все то же самое: господа поднимаются по лѣстницѣ, бросаютъ бюллетени и сходятъ внизъ. Теперь зала совсѣмъ опустѣла. Депутаты толпятся вокругъ бюро. Къ тому же, они только подають голосъ и немедленно уходятъ въ корридоры и въ буфетъ. Баронесса подавляетъ зѣвоту, и глядитъ на публику, потѣшающуюся

напротивъ нея въ трибунахъ. Но тамъ видѣются только провинціальныя семейства, ожидающія, чтобы депутатъ ихъ департамента началъ говорить. Обитатели Версаля думаютъ о своемъ обѣдѣ; есть адвокаты въ потертыхъ сюртукахъ, елери, распушенные на каникулы, съ блѣдными лицами, снѣдаемые политическимъ честолюбіемъ.

— Не уйти ли намъ?—спрашиваетъ тихонько генераль.

Приступаютъ къ третьему голосованію, но баронесса, съ упорствомъ женщины, остающихся до конца спектакля, хотя бы и умирали со скуки, остается глуха къ предложенію генерала. Она все еще надѣется на какое-нибудь интересное событіе. Тогда потихоньку генераль выходитъ изъ ложи и спускается на минуту въ залу des Pas-perdus. Тамъ онъ узнаетъ про важное событіе. Кажется, что какъ разъ въ это утро возникло столкновеніе между гг. Бюффэ и Дюфоромъ. Передаются разныя подробности. Въ корридорахъ и въ буфетѣ настоящая революція. Большое волненіе царствуетъ за парламентскими кулисами: всѣ толкуютъ о кризисѣ, послѣдствія котораго неисчислимы. Генераль немедленно, черезъ двѣ ступеньки, поднимается по лѣстницѣ съ смутнымъ ожиданіемъ, что въ залѣ совершится какая-нибудь необычайная катастрофа. Но онъ находитъ залу пустою, голосованіе все еще продолжается; депутаты дефилируютъ среди убійственной скуки. Едва вдали легкій шорохъ возвѣщаетъ о волненіи, овладѣвшемъ собраніемъ.

И когда, наконецъ, г. Одиффре-Пакбѣ закрываетъ засѣданіе, генераль говоритъ баронессѣ:

— Видишь ли, засѣданіе происходило сегодня не въ залѣ, а въ жорридорахъ.

Молодая женщина презрительно улыбается.

— Все равно!—отвѣчаетъ она,—я хотѣла знать, что такое политика. Теперь я это знаю!

## VI.

### *Суббота.*

Сегодня дѣловой день. Баронесса посвящаетъ субботу своимъ поставщикамъ. Она уѣзжаетъ тотчасъ послѣ завтрака и ѣздитъ по городу до вечера. Ея карета простаиваетъ цѣлыя часы у дверей бабмачнива, парфюмера и модистки.

Конечно, баронесса нисколько не стѣсняется беспокоить людей. Свою бѣловшивку она заставляетъ бѣгать къ себѣ по три раза въ недѣлю. Но ей нравится рыскать по магазинамъ, рыться на оконныхъ выставкахъ и переворачивать вверхъ дномъ товаръ на прилавкахъ. Она видитъ тутъ всѣ модныя новинки и проводитъ веселое утро.

Надо сказать, что сегодня она взбѣшена на своего башмачника. Она заказала слишкомъ двѣ недѣли тому назадъ туфли, вышитыя золотомъ и шелкомъ, и онъ до сихъ поръ не доставилъ ихъ ей, несмотря на обѣщанія. Поэтому она входитъ къ нему съ приподнятымъ вуалемъ и свергающими глазами. О чемъ онъ думаетъ? Онъ кажется смѣется надъ ней? Башмачникъ, почтительно согнувшись передъ баронессой и улыбаясь, не взирая на упреки, увѣряетъ ее, что ей доставятъ ихъ сегодня же вечеромъ. Работница, вышивающая ихъ, виновата въ этомъ замедленіи. И онъ пододвигаетъ стулъ своей посѣтителниці, которая не хочетъ садиться, потому что ей ничего не надо. Но онъ показываетъ ей модель маленькихъ ботинокъ, такихъ хорошенекъ, съ высокимъ каблучкомъ, гусарской формы, что она кончаетъ тѣмъ, что заказываетъ двѣ пары. Ей нужны также ботинки для морскихъ купаній и экскурсій.

Оттуда она ѣдетъ къ парфюмеру. Она любитъ этотъ магазинъ, гдѣ такъ хорошо пахнетъ. Она усаживается передъ прилавкомъ и разглядываетъ каталогъ, гдѣ духи разсортированы такъ, какъ двѣти въ партерѣ. Къ тому же, ей нуженъ цѣлый запасъ мыла, духовъ, разной помады и пудры. Въ теченіи добраго часа, двѣ продавщицы завертываютъ для нея товары. Банки, коробки, склянки образуютъ цѣлую гору, такъ что приходится призвать прикащика, чтобы снести все это въ карету баронессы.

У модистки баронесса объявляетъ, что хочетъ только взглянуть на шляпы сезона. Она еще не знаетъ, что будутъ носить. Ей показываютъ двадцать различныхъ фасоновъ. Когда ей понравится который-нибудь, она проситъ отложить его въ сторону. Это продолжается добрыхъ три-четверти часа. Она изучаетъ расположение лентъ, длину тульи, форму полей. Потомъ, по окончаніи осмотра, оказывается, что передъ ней семь различныхъ фасоновъ, которые ей понравились и которые она велѣла отложить. Вотъ когда она въ затрудненіи. Она сначала откидываетъ двѣ шляпы; но затѣмъ опять беретъ и объявляетъ даже, что онѣ лучше другихъ. Проходитъ еще три-четверти часа, а она все еще не рѣшилась, такъ что модистка говоритъ, наконецъ, съ улыбкой:

— Возьмите всѣ семь.

Баронесса протестуетъ:

— Но я ничего не хочу заказывать. Я только хотѣла поглядѣть, чтобы получить понятіе.

И, уходя, небрежно прибавляетъ:

— Знаете, сдѣлайте-ка для меня всѣ семь. Я должна ѣхать въ будущемъ мѣсяцѣ. Не могу же я ѣхать безъ шляпы.

Баронессѣ предстоитъ еще пропасть дѣла. Она заѣзжаетъ за

вѣеромъ, который отдала въ починку. Покупаетъ двѣнадцать паръ перчатокъ. Заѣзжаетъ къ бумажному фабриканту и заказываетъ ему новый вензель, и тутъ же покупаетъ бумагу цвѣта *feuille-morte*, который въ модѣ въ настоящую минуту. Она приказываетъ кучеру остановиться передъ магазиномъ рѣдкостей, и торгуетъ китайскую вазу, которая ей давно нравится. Она поочередно заходитъ къ цвѣточницѣ, къ корсетницѣ, къ бѣлошвейкѣ, къ золотыхъ дѣлъ мастеру, къ дантисту. И мало по-малу карета заваливается пакетами. Теперь ей трудно влѣзть въ нее. Покупки лежатъ и за спиной, и подъ ногами, и спереди, и съ боковъ и даже на ея колѣняхъ.

Когда бьетъ пять часовъ, баронесса чувствуетъ волчій аппетитъ. Она говоритъ кучеру:

— Жанъ, на Биржевую площадь.

И кучеръ понимаетъ. Онъ везетъ ее къ пирожнику, гдѣ она имѣетъ обыкновеніе кушать устричные пирожки по субботамъ. Она не любитъ сладостей. Ей подаютъ три маленькихъ пирожка на хрустальной тарелкѣ и стаканъ бургонскаго вина, Помаръ, ея любимаго. Она ѣстъ и глазѣтъ на народъ, проходящій по улицѣ. Съѣвъ три пирожка, она велитъ подать себѣ четвертый. До пятаго она еще не доходила.

Наконецъ, баронесса, отправляющаяся вечеромъ въ оперу, рѣшается вернуться домой. Когда карета ея проѣзжаетъ по бульварамъ, она напоследокъ велитъ ей остановиться передъ книжной лавкой. Она имѣетъ обыкновеніе читать нѣсколько страницъ на сонъ грядущій. Къ тому же, ей не хочется молчать, какъ дурѣ, когда при ней заговариваютъ о какой-нибудь новой книгѣ. Но сегодня ни одно заглавіе не прельщаетъ ее. Она всегда выбираетъ книги по заглавіямъ. Она любитъ заглавія, гдѣ говорится о любви, женщинахъ, любовникахъ, или такіа, которыя обѣщаютъ всякіе страхи. Она переворачиваетъ книги, взвѣшиваетъ ихъ, обнюхиваетъ, и качаетъ головой съ недовѣрчивымъ видомъ. Наконецъ, не смѣя выйти, ничего не купивъ, рѣшается взять раскрашенную азбуку, намѣреваясь подарить ее племянницѣ своей кухарки.

Вечеромъ, въ оперѣ, баронесса вовсе не кажется утомленной отъ своей каторжной утренней работы. Она вернулась совсѣмъ безъ ногъ. Но послѣ обѣда, какъ только одѣлась, то почувствовала себя свѣжей. Ничто не дѣйствуетъ такъ успокоительно на баронессу, какъ сознаніе своей красоты. Сегодня вечеромъ она вся въ бѣломъ, и чувствуетъ себя такой счастливой въ этомъ туалетѣ, что не ощущаетъ никакой усталости и сознаетъ въ себѣ силы провести всю ночь въ атмосферѣ восторга, который она возбуждаетъ.

Даютъ *Фаворитку*, но что за дѣло! Никто не пріѣзжаетъ для пьесы. Поэтому пѣвцы не церемонятся. Въ то время, какъ они

поютъ, публика оглядываетъ залу. Изъ тысячи-восемьсотъ человѣкъ, находящихся въ залѣ, три-четверти пріѣхали съ тѣмъ, чтобы поглядѣть на позолоту и живопись. Здѣсь много иностранцевъ, много также провинціаловъ. Со времени открытія новой оперы весь свѣтъ считаетъ нужнымъ перебивать въ ложахъ и въ креслахъ.

Баронесса знаетъ залу. Она ей была знакома даже раньше, чѣмъ ее открыли для публики. Она принадлежитъ къ тому міру, которому все доступно раньше толпы и для котораго Парижъ бережетъ свои новинки. Въ послѣднее царствованіе, императоръ въ ея присутствіи положилъ первый камень зданія. Позднѣе, когда возведены были стѣны, министръ художествъ былъ такъ любезенъ, что возилъ ее смотрѣть ихъ вмѣстѣ съ нѣсколькими другими лицами, и она помнитъ, что ей было очень весело, среди известки и кирпичей. Еще позднѣе, она ѣздила смотрѣть живопись, скульптурныя украшенія и бронзы. Затѣмъ присутствовала при всѣхъ опытахъ, при испытаніи газоваго освѣщенія, акустики, репетиціяхъ, происходившихъ въ присутствіи нѣсколькихъ сотенъ избранныхъ. Поэтому, она въ оперѣ, какъ у себя дома. Она сроднилась съ этимъ зданіемъ, выросшимъ у нея на глазахъ. Оно выстроено для нея, для ея красоты, ея удовольствія. Проводя въ немъ нѣсколько часовъ каждую субботу, она царитъ въ немъ госпожей; она наслаждается истраченными милліонами, мастерскими твореніями, которыя знаменитые музыканты написали для услажденія ея слуха, артистическими богатствами, собранными единственно лишь затѣмъ, чтобы услаждать ея чувства.

Въ оперѣ баронесса сознаетъ себя во всемъ своемъ блескѣ парижанки. Этотъ субботній вечеръ составляетъ какъ-бы апофеозъ цѣлой недѣли. Остальные дни, при всемъ ихъ счастьи, служатъ лишь введеніемъ въ этотъ день окончательнаго торжества. У нея ложа въ бель-этажѣ; она озаряетъ ее своими бѣлокурыми волосами, которые завиты и усыпаны брилліантами. Обыкновенно она прислоняется къ лѣвой перегородкѣ, повернувшись слегка спиной къ сценѣ. Такъ какъ у ней тонкій профиль античной камеи, то она любитъ показываться въ такой позѣ, съ слегка наклоненной шеей, розовымъ ушкомъ, затылкомъ, позолоченнымъ маленькими, непослушными волосками. Обнаженная рука въ длинной перчаткѣ лежитъ на бархатномъ бортѣ ложи. И по временамъ она поворачивается спиной къ публикѣ необыкновенно граціознымъ движеніемъ, чтобы улыбнуться какому-нибудь невидимому посѣтителю, въ глубинѣ ложи.

Антракты очень веселы. Со времени открытія новой оперы, самыя приличныя дамы взяли привычку посѣщать фойе. Въ былое время, въ улицѣ Лепелетье, хорошій тонъ требовалъ, чтобы женщина не выходила изъ ложи. Фойе предоставлялся однимъ фракамъ.

На бульварѣ Капуциновъ было бы жалъ встрѣчать одни фраки въ роскошныхъ салонахъ, на грандіозныхъ лѣстницахъ, въ богатыхъ корридорахъ. Эта дворцовая роскошь требуетъ длинныхъ шлейфовъ, волочащихся по коврамъ, обнаженныхъ плечъ, роскошныхъ куафюръ знатныхъ дамъ. Когда ложы пустѣютъ, а фойе и главная лѣстница наполняются блестящей толпой, и въ нихъ толпятся нарядныя женщины, то кажется будто видишь передъ собой оживившуюся картину Веронеза, праздничный дворецъ, съ рядомъ колоннъ, съ отдаленными галереями, съ величественными и нескончаемыми лѣстницами.

Баронесса также проводитъ третій антрактъ въ фойе. Она встрѣтила стараго герцога де-В...., этотъ злой языкъ, и подсмѣивается вмѣстѣ съ нимъ надъ нѣсколькими провинціалками, жалкіе туалеты которыхъ представляютъ рѣзкій контрастъ съ проходящими мимо царственными костюмами. Англичанки лежать въ креслахъ, опрокидываются на спины и рассматриваютъ въ большіе бинокли живопись потолоковъ. Разбогатѣвшіе лавочники, пытая въ своихъ черныхъ фракахъ, трогаютъ пальцемъ бархатъ обой и золото рамокъ, чтобы убѣдиться, что все это не раскрашенный картонъ. И одни только привычные посѣтители, которые здѣсь у себя дома, такъ же, какъ и баронесса, сидятъ совершенно спокойно, сохраняя мирную и слегка равнодушную улыбку любезныхъ хозяевъ, принимающихъ гостей въ своемъ домѣ.

— Баронесса, кажется, звонили, — говоритъ герцогъ де-В....

Но она безпечно пожимаетъ плечами. Она предпочитаетъ оставаться здѣсь, у окна, которое проситъ герцогъ притворить. Съ бульвара доносится свѣжій воздухъ и стукъ экипажей. И когда толпа покидаетъ фойе, она чувствуетъ себя счастливой; ей кажется, что она у себя въ гостиной и слушаетъ скандальныя анекдоты герцога; между тѣмъ какъ по временамъ до нея доносятся музыкальныя фразы, легкія, какъ вѣтерокъ, фіоритуръ, отдаленные хоры, замирающіе мало по-малу, какъ тѣ хоры крестьянъ, которые слышишь въ деревнѣ.

— Знаете ли, вотъ именно какъ я люблю слушать музыку, — говоритъ баронесса, улыбаясь. — Я люблю ее, когда она превращается въ сновидѣніе.

## VII.

### *Воскресенье.*

Что за нестерпимый день! Улицы переполнены разряженной толпой; магазины заперты, Парижъ безлюденъ, мертвъ, мраченъ. Какъ разъ въ тотъ день, который предназначенъ для веселья, умираешь съ тоски. И что за невыносимая давка на тротуарахъ, какая тол-

котня жалкихъ фіакровъ на гуляньяхъ. Всякое безобразіе выползло на солнце. Поэтому, баронесса не выходитъ изъ дому въ этотъ день. Она запирается въ самую отдаленную гостиную своего дома и старается даже не слышать шарманокъ, которыя приходятъ играть подъ ея окнами.

Но въ это воскресенье баронесса придумала нѣчто лучшее. Давно уже ей хочется проспять цѣлый день. Это, конечно, освѣжить ее и благотворно отзовется на цвѣтъ лица.

— Слушайте, Лиза,—говоритъ она своей горничной, ложась спать около часу ночи по возвращеніи изъ оперы;—слушайте, не будите меня, оставьте меня спать, пока я не позволю.

И въ то время, какъ горничная оправляетъ ея одѣяло, прибавляетъ:

— Благодарствуйте, оставьте меня. Какая недѣля выдалась, Боже мой! Я просто не чувствую ногъ подъ собою... Завтра вечеромъ я обѣдаю у княгини. Если я засплюсь до шести часовъ, то разбудите меня.

И она засыпаетъ на своей большой кровати, подъ теплымъ одѣяломъ. И спать, спать. Она чувствуетъ, какъ спать, и находитъ это прелестнымъ. Ей снятся сны, заставляющіе ее улыбаться. Ахъ! она слишкомъ счастлива одна на своей большой кровати, чтобы ей когда-нибудь пришло въ голову выйти во второй разъ замужъ. Какъ жаль, что мужъ не можетъ быть въ родѣ украшенія, брошки, напримѣръ, которую прикалываютъ на нѣсколько часовъ къ груди и затѣмъ бросаютъ въ ящикъ, когда она больше не нужна.

Вдругъ баронессу будятъ самымъ непріятнымъ образомъ. Горничная стоитъ передъ ней и поднимаетъ одѣяло, до половины спустившееся на полъ.

— Что случилось?.. Какъ! неужели уже шесть часовъ?

— Никакъ нѣтъ, сударыня, еще только половина одиннадцатаго.

Баронесса, разъяренная, завертывается въ одѣяло и, повернувшись къ горничной, кричитъ:

— Половина одиннадцатаго, а вы меня разбудили! Вы глупы. Оставьте меня!

Горничная улыбается, ни мало не смущаясь. Она возражаетъ:

— Я думала, что надо васъ разбудить, сударыня. Принесли ваше платье.

Тогда баронесса садится на кровати и третъ глаза, распухшіе отъ сна.

— Платье, лепечетъ она; ахъ! принесли платье. Ну, такъ что же вы мнѣ этого тотчасъ не сказали? Вы глупы. Я сейчасъ встану.

И въ одно мгновеніе одѣвается. Она хочетъ примѣрить платье, прежде чѣмъ портниха уйдетъ. Вотъ уже мѣсяца два, какъ ей не

доводилось вставать въ половинѣ одиннадцатаго, да еще въ воскресенье, когда она собиралась спать до вечера!

Швея, принеся платье, дожидается въ уборной. Ей поручено передѣлать платье, если понадобится. Лиза помогаетъ, вмѣстѣ съ ней суетится вокругъ баронессы. И обѣ вскрикиваютъ: какое прелестное платье! Черный бархатъ и синій шелкъ чудесно подходятъ одинъ къ другому. Кольчуга изъ стального бисера оригинальна и изящна. Между тѣмъ баронесса, стоя у зеркала, строитъ очень глубокомысленное лицо. Она медленно поворачивается, оглядываетъ себя со всѣхъ сторонъ. Ей что-то не нравится. Вдругъ брови ея наморщиваются. Она перебиваетъ похвалы горничной и модистки, и кричитъ:

— Это платье отвратительно сшито! Я въ немъ точно въ мѣшкѣ... Вотъ, глядите, видите эту складку на плечѣ.

Модистка клянется, что это ничего. Что воздухъ разгладитъ это. И въ самомъ дѣлѣ, складка едва примѣтна. Но баронесса сердится все больше и больше. Она открываетъ двадцать другихъ складокъ; она ни за что не надѣнетъ такого мѣшка.

— Ваша хозяйка,—повторяетъ она,—должно быть вообразила, что она шьетъ чехолъ на будку!

Наконецъ соглашается, чтобы швея передѣлала рукава. Маленькую гостиную превращаютъ въ мастерскую. Она еще два раза примѣриваетъ платье, и заставляетъ два раза передѣлывать рукава, которые возбуждаютъ въ ней настоящую ненависть. То ей видятся складки, то впадины. И до самого вечера она не выходитъ изъ маленькой гостиной, мучается больше, чѣмъ сама швея, портя себѣ кровь, потому что непремѣнно хочетъ ѣхать въ этомъ платьѣ на обѣдъ къ княгинѣ. Наконецъ, въ шесть часовъ, когда ей остается всего полчаса на то, чтобы одѣться, она соглашается наконецъ, что платье не очень худо сидитъ.

Затѣмъ, около полуночи баронесса возвращается отъ княгини, вся сіяющая. Туалетъ ея имѣлъ сумасшедшій успѣхъ.

— Вамъ бы слѣдовало, сударыня, отдыхать всю будущую недѣлю,—говоритъ Лиза, раздѣвая ее.

— Отдыхать!—вскрикиваетъ баронесса.—Съ какой стати! Я вовсе не устала!

И слѣдующую недѣлю она проведетъ такимъ же образомъ, и такъ пройдетъ вся ея жизнь.

Е. Z-1-

## НѢСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ

ПО ПОВОДУ ПИСЬМА ПРОФ. ВАГНЕРА О СПИРИТИЗМѢ \*).

Гдѣ чудеса, тамъ мало снѣгу.

Горѣ отъ ума.

М. г. Надѣюсь, что вы не откажетесь помѣстить въ своемъ журналѣ нѣсколько мыслей, которыя, по моему мнѣнію, должно возбуждать письмо проф. Н. П. Вагнера по поводу спиритизма, напечатанное въ апрѣльской книжкѣ „Вѣстника Европы“. Г. Вагнеръ, правда, требуетъ не однихъ мыслей отъ своихъ оппонентовъ: „я желалъ бы одного—говорить онъ въ заключеніе своего письма—чтобы всѣ *невырѣяніе* моимъ словамъ *доказали фактами*, настолько же *вѣскими*, какъ и тѣ, которые заставили меня придти къ убѣжденію въ существованіе медиумическихъ явленій“. Но, во-первыхъ, г. Вагнеръ, вѣроятно, не замѣтилъ при этомъ, что отъ противниковъ онъ требуетъ собственно больше, чѣмъ даетъ самъ: въ томъ-то и весь вопросъ—дѣйствительно ли приводимые имъ въ статьѣ факты *вѣски*, какъ ему угодно ихъ называть, или они *вѣски* только въ собственныхъ его глазахъ? Это—большая разница! Во-вторыхъ, г. Вагнеръ, обращаясь подобнымъ образомъ къ *невырѣяніи*, не сдержалъ имъ же даннаго слова: онъ взялся за статью съ единственною цѣлью—„констатировать факты“ (875 стр.), а назвавъ ихъ „*вѣскими*“, онъ разрѣшилъ себѣ квалифицировать ихъ. Въ-третьихъ, г. Вагнеръ, „придя къ убѣжденію“, самъ колеблется—чего не слѣдовало бы дѣлать въ виду „*вѣскихъ*“ фактовъ—и это видно изъ его же словъ, которыми онъ заканчиваетъ статью: „если они (т.-е. медиумическія явленія)—говоритъ онъ, становясь на весьма вѣроятную точку зрѣнія—принадлежать даже къ области психіатріи, то тѣмъ болѣе наша обязанность *противодѣйствовать* распространенію ихъ, *разоблачать* ихъ сущность и бороться съ тѣми ребяческими, суевѣрными толкованіями, которыя стараются придать имъ спириты“. Г. Вагнеръ, очевидно, не сожигаетъ кораблей, и не отвергаетъ возможности того, что видѣнныя имъ явленія могутъ быть отнесены и къ области психіатріи—науки о душевныхъ болѣзняхъ; но его, видимо, затрудняетъ такая перспектива для спиритизма, и онъ спѣшитъ поставить спиритизмъ подъ защиту уже не „*вѣскихъ*“ фактовъ, а Шекспира, напоминая намъ знаменитую его фразу: „есть много вещей, другъ Горацио, которыя и не снились нашимъ мудрецамъ!“ Но, замѣтимъ мимоходомъ г. Вагнеру, Шекспиръ

\*) Мы получили не одно заявленіе о намѣреніи отвѣчать на письмо пр. Вагнера; но своевременно поступила въ редакцію только настоящая статья; къ числу опоздавшихъ принадлежитъ и отвѣтъ профессора медицинской физики въ Кіевскомъ университетѣ, А. С. Шеляревскаго. Это—до будущей книги журнала. — *Ред.*

нигдѣ не отвергаетъ другой возможности, а именно, что есть также не мало вещей, которыя снились и теперь еще могутъ сниться— даже и мудрецамъ.

Намъ не случилось присутствовать на спиритическихъ сеансахъ; но мы въ этомъ видимъ даже особенную выгоду для себя, за которую считаемъ долгомъ принести благодарность г-ну Вагнеру; еслибы намъ случилось попасть разъ, другой, на подобный сеансъ, то г. Вагнеръ тотчасъ же возразилъ бы намъ, что мы недостаточно ознакомились съ дѣломъ; но теперь предъ нами лежитъ цѣлый рядъ наблюдений, которыя г. Вагнеръ обязанъ признать вполне добросовѣстными и обстоятельными. И дѣйствительно, статья написана съ такими подробностями, что чтеніе ея ставитъ насъ въ положеніе очевидцевъ; еслибы мы даже и засѣдали вмѣстѣ съ г. Вагнеромъ, то мы чрезъ то ничего бы не выиграли, и, конечно, видѣли бы то же, что онъ видитъ, и слышали бы то, что ему было слышно: зачѣмъ намъ самимъ слышать, какъ, напримѣръ, звонить звонокъ за ширмою, гдѣ сидитъ связанный по рукамъ и ногамъ медиумъ? Если г. Вагнеръ говоритъ, что звонокъ звонилъ, — мы ему вѣримъ въ *этомъ*, какъ самимъ себѣ. Г. Вагнеръ грѣшитъ вовсе не тѣмъ, что онъ будто бы утверждаетъ то, что ему могло послышаться; звонокъ, безъ всякаго сомнѣнія, издавалъ звуки, какъ то пишетъ г. Вагнеръ, и даже билъ въ тактъ игравшей въ это время гармоникѣ, *въ этомъ* мы вѣримъ показаніямъ г. Вагнера безусловно, какъ и онъ былъ бы обязанъ повѣрить намъ безусловно, что мы, напримѣръ, видѣли своими глазами, какъ въ этомъ великомъ посту господа Беккеръ и Баллакини (извѣстные претидижитаторы) видѣли неувѣроятныя и необычныя вещи. Но г. Вагнеръ остановилъ бы насъ тотчасъ, или улыбнулся бы весьма иронически, еслибы мы вздумали назвать факты, видѣнные нами въ театрѣ, „вѣскими“ и выразили бы еще на основаніи того убѣжденіе въ существованіи медиумическихъ или тому подобныхъ явленій. То же самое мы обязаны сдѣлать и въ отношеніи г. Вагнера. Мы ему вполне вѣримъ, что онъ видѣлъ и слышалъ все прочтенное нами въ его статьѣ, вѣримъ такъ, какъ будто мы сами присутствовали вмѣстѣ съ нимъ,—но мы никакъ не согласимся сдѣлать за этимъ какое нибудь *salto mortale*.

Корень ошибки г. Вагнера лежитъ не въ фактахъ и явленіяхъ, которыя онъ видѣлъ и наблюдалъ, и которыя, нѣтъ сомнѣнія, *совершались*; но въ томъ отношеніи, въ которое онъ сталъ, весьма добродушно и добровольно, къ этимъ фактамъ и явленіямъ. Онъ самъ говоритъ, что эти факты и явленія „заставили меня придти къ убѣжденію въ существованіи медиумическихъ явленій“. Напрасно г. Ваг-

неръ позволилъ *заставитъ* себя придти къ такому убѣжденію. Это была его добрая воля, и съ этой-то „доброй волей“ наблюдателя, а вовсе не съ самими фактами и явленіями намъ приходится имѣть дѣло. Положимъ, у подъѣзда раздается звонокъ; мы съ пріятелемъ быстро отворяемъ дверь и никого не находимъ; осматриваемъ все кругомъ и около—никого нѣтъ! Черезъ минуту повторяется то же, и т. д. Тутъ вопросъ не можетъ быть о томъ, слышали ли мы звонокъ или нѣтъ; конечно, слышали; разойтись съ нашимъ пріятелемъ мы можемъ только по поводу вопроса, какъ отнестись къ такому несомнѣнному факту: долженъ ли этотъ фактъ „заставить“ насъ придти къ убѣжденію о существованіи, на примѣръ, домовыхъ? Положимъ, что нашъ пріятель поддался такому искушенію; въ такомъ случаѣ, спрашивается, можетъ ли онъ требовать отъ своего собесѣдника, чтобы онъ *фактами* доказалъ ему противное? Какимъ образомъ я могу доказывать фактами, и притомъ вѣскими, не-существованіе домовыхъ? Еслибы я и покусился на это, то непременно попалъ бы на ложную дорогу, что мой противникъ принялъ бы непременно за основаніе къ торжеству. Но дѣло въ томъ, что нашему противнику только кажется, что онъ будто пришелъ къ своему убѣжденію въ существованіи домовыхъ путемъ факта; это было съ его стороны фантастическое умозаключеніе, совершившееся въ немъ самомъ, при послышкахъ, которыя одному ему только кажутся достаточными. Вотъ, гдѣ корень зла. Въ приведенномъ нами примѣрѣ должно было, и болѣе справедливо, придти только къ одному заключенію: если звонокъ подъѣзда звонитъ, а я не могу никого тамъ замѣтить, то, слѣдовательно: ловкость того, кто звонитъ, превышаетъ мою ловкость къ открытію всяческихъ ловкостей. Вотъ на чемъ всегда долженъ остановиться простой здравый смыслъ, и вотъ какой выводъ представится каждому непредубѣжденному изъ подобнаго рода фактовъ. Спириты же начинаютъ съ того, что сначала назовутъ фактъ необъяснимымъ, а вслѣдъ за тѣмъ, незамѣтно для себя, впадаютъ въ противорѣчіе собою: они называютъ такой фактъ „медіумическимъ“, т.-е. объясняютъ его, указывая на медіума, какъ на источникъ силы особеннаго рода. Развѣ такое объясненіе—не гипотеза, лишенная всякаго основанія? если же дѣлать гипотезы, то почему не предпочесть болѣе простую: когда я не понимаю такъ-называемаго медіумическаго факта, то это значитъ, что „медіумъ“ съ успѣхомъ преодолѣлъ всѣ препятствія, изобрѣтенныя мною для ограниченія его физической ловкости и находчивости ума. Вотъ и все!

На все это г. Вагнеръ отвѣчаетъ: „я надѣюсь, что тѣ условія при которыхъ были поставлены наши опыты, вполнѣ устраняютъ всякія подозрѣнія“—но въ чемъ? только въ искренности самого г. Ваг-

нера и нѣкоторыхъ изъ его окружавшихъ; съ этимъ мы согласны;— главное же и существенное подозрѣніе, а именно въ томъ, что „условія“, т.-е. мѣры противъ ловкости „медіума“, все-таки могли оставаться далеко позади этой ловкости, это подозрѣніе не можетъ быть уничтожено ничѣмъ; скажемъ больше: такое подозрѣніе даже не есть подозрѣніе, это—неумолимое требованіе здраваго человѣческаго смысла. Самъ г. Вагнеръ, заявивъ объ устраненіи имъ всякихъ подозрѣній, тотчасъ же колеблется и прибавляетъ: „но, съ другой стороны, невозможно допустить, чтобы какое-то ни было естественное явленіе могло быть вызвано безусловно, помимо тѣхъ законовъ, которые ими управляютъ“. Дѣйствительно невозможно, — а въ такомъ случаѣ несомнѣнно то, что весь вопросъ сводится всегда къ вопросу о томъ, кто кого одолѣетъ: моя ли ловкость наблюденія, или ловкость „медіума“ ускользаетъ отъ наблюденій. Читая рассказы г. Вагнера, мы не могли не замѣтить, что медіумы вообще не пренебрегаютъ средствами для ограниченія нашей ловкости наблюденія, а именно, требуютъ темноты для глаза и музыки для развлеченія слуха. Проф. Вагнеръ, безъ сомнѣнія, обратился бы къ содѣйствію дворника дома, еслибы какой-нибудь шарманщикъ вздумалъ „содѣйствовать“ его наблюденіямъ въ области зоологіи и расположился съ своимъ ужаснымъ инструментомъ подъ окномъ его кабинета; а тутъ, этотъ же г. Вагнеръ не имѣетъ ничего ни противъ темноты, ни противъ музыки, и вѣроятно, самъ усерднѣйше тушить лампу.

„Медіумъ“, имѣя такимъ образомъ дѣятельныхъ союзниковъ въ ослабленіи главныхъ органовъ наблюденія, пользуется еще однимъ драгоцѣннымъ преимуществомъ предъ фокусниками: при малѣйшей неудачѣ, другими словами, при встрѣчѣ съ назойливою находчивостью наблюдателя, онъ не имѣетъ надобности сдаваться и объявлять себя побѣжденнымъ; напротивъ того, неудачу онъ превращаетъ въ новое торжество: онъ объявляетъ своей публикѣ, что медіумическія явленія чрезвычайно капризны, что въ обществѣ есть личности, которыя не нравятся „духу“, что ихъ нужно удалить, и въ заключеніе назидательно объявить вамъ: „еслибы медіумъ былъ простой фокусникъ, то ему всегда удавался бы сеансъ, какъ то бываетъ у фокусниковъ; неудача же именно доказываетъ, что это—явленія чрезвычайныя“. Обвиняютъ при этомъ иногда даже барометръ: говорятъ, что сегодня-молъ въ атмосферѣ есть что-то препятствующее явленіямъ!

По всему вышесказанному нами, мы не находимъ причинъ отказываться отъ тѣхъ весьма здравыхъ мыслей самого г. Вагнера, которыя возбуждались въ немъ первоначально сеансами г. Юма. Вотъ что говорилъ себѣ г. Вагнеръ, несмотря на то, что предъ его гла-

зами совершались диковинныя вещи: изъ-подъ скатерти на столѣ поднималось нѣчто въ родѣ кулака, а гармоника висѣла на воздухѣ, какъ, по убѣжденію многихъ правовѣрныхъ, висѣлъ на воздухѣ гробъ Магомета:

„Изъ всѣхъ видѣнныхъ явленій я вынесъ одно ясное, неопровержимое убѣжденіе: движеніе стола и стуки дѣйствительно существуютъ... Но далѣе слѣдуетъ, казалось мнѣ, другая сторона этихъ явленій. При особенномъ настроеніи всѣхъ присутствующихъ и въ особенности медиума, который представляетъ нѣчто въ родѣ камертона въ засѣдающемъ кружкѣ,—эти явленія переходятъ незамѣтно въ субъективныя, въ область галлюцинацій, паники, психіатріи. Вотъ почему въ этихъ явленіяхъ сильно играетъ мистическій элементъ и тѣ странныя толкованія, которыя приписываютъ имъ спириты. Нѣсколько разъ во время послѣдняго засѣданія Юмъ спрашивалъ присутствующихъ: не видятъ ли они что-то бѣлое, что стоитъ впереди его передъ столомъ? Но этотъ предметъ былъ видѣнъ только для Юма, или, лучше сказать, онъ существовалъ только въ его воображеніи. Нѣтъ ничего удивительнаго, что еслибы особенное, загадочное нервное настроеніе, которое можетъ эпидемически распространяться, охватило насъ, то и мы стали бы участниками этой галлюцинаціи, и мы точно также увидали бы это нѣчто бѣлое, которое при дальнѣйшемъ развитіи болѣзненнаго настроенія могло бы принять форму человѣческой фигуры. Точно также могли показаться объективными тѣ кажущіяся прикосновенія, которыя ощущали нѣкоторые изъ присутствующихъ. Я самъ чувствовалъ, какъ что-то касалось моего колѣна, но ощущеніе было такъ слабо, такъ неопредѣленно, что я нисколько не затруднился принять его за чисто субъективное. Мнѣ казалось, что рядъ спиритическихъ явленій начинается всегда съ объективныхъ, совершенно реальныхъ, выраженныхъ болѣе или менѣе опредѣленно стуками и движеніями стола. Затѣмъ, когда присутствующіе, съ одной стороны утоматся долгимъ сидѣньемъ, а съ другой—нервная система ихъ начнетъ приходить въ особенное возбужденное состояніе, въ это время начинается рядъ тѣхъ обманчивыхъ явленій, которыя всѣ спириты признаютъ за дѣйствительныя“.

Ко всему этому намъ остается прибавить немного—чѣмъ мы и заключимъ. Въ спиритизмѣ могутъ быть любопытны не факты и явленія, а то отношеніе, въ которое иногда становятся къ нему отдѣльныя лица. Потому, всѣ усилія опровергать спирита фактами останутся напрасны. Убѣжденія спирита вызываются не фактами; такъ-называемые факты находятъ въ немъ для себя уже готовую почву; факты, какъ весьма вѣрно выразился г. Вагнеръ, только „за-

ставляютъ "приходить къ убѣжденію; необходимости въ этомъ нѣтъ никакой, такъ какъ мы, подѣ впечатлѣніемъ описаній г. Вагнера, видимъ всю возможность придти къ болѣе простому убѣжденію, а именно, что до тѣхъ поръ, пока медіумъ не будетъ обличенъ, мы обязаны признавать только превосходство его ловкости и находчивости надъ нашимъ искусствомъ затруднять его; съ другой стороны, медіумъ никогда не допуститъ насъ до окончательнаго торжества, такъ какъ кодексъ спиритовъ имѣетъ на такой непріятный случай непреодолимое возраженіе: „это-моль помѣшаетъ операціямъ духа“, — и баста!

Что же касается до надежды г-на Вагнера на то, что „продолжительныя, усидчивыя изслѣдованія прольютъ, вѣроятно, въ этой (спиритической) темной области такой же свѣтъ, какъ и въ другихъ областяхъ человѣческаго знанія“ — то такая надежда намъ кажется слишкомъ преувеличенною: „другія области человѣческаго знанія“ не требуютъ отъ наблюдателя ни музыки, ни мрака; пролитіе же свѣта на спиритизмъ, особенно если оно случится совсѣмъ неожиданно, можетъ только надѣлать непріятностей медіуму — тѣмъ и кончится дѣло.

По причинамъ, надѣмся, понятнымъ для читателя, мы совсѣмъ не коснулись тѣхъ медіумическихъ явленій, которыя г. Вагнеръ называетъ „удивительными“. Это — стологовореніе. „Столъ, — объявляетъ г. Вагнеръ, — представлялъ очевидно (?) орудіе какой-то *интеллектуальной* силы, которая болѣе или менѣе опредѣлительно и вполне осмысленно отвѣчала на наши вопросы, или говорила съ нами“. Правда, описавъ подробно эти бесѣды со столомъ, г. Вагнеръ заключаетъ такъ: „эти бесѣды мнѣ удивительно напоминаютъ тѣ спутанные, безалаберные разговоры, которые часто ведутся во снѣ“. Но тѣмъ не менѣе удивительное остается удивительнымъ; мы съ г. Вагнеромъ, конечно, разойдемся только въ вопросѣ: что именно тутъ удивительно? Непредубѣжденный читатель самъ, безъ сомнѣнія, замѣтилъ разъясненіе г. Вагнера, какъ совершается процессъ стологоворенія: „по предварительному соглашенію (со столомъ!) одинъ ударъ (стола) принимался за отрицаніе, два за сомнѣніе, три за утвержденіе“. Едва ли отъ насъ потребуютъ откровеннаго признанія, что мы должны думать о бесѣдахъ со столомъ, основанныхъ на „предварительномъ съ нимъ соглашеніи“. Г. Вагнеръ весьма благоразумно поступилъ, самъ отказавшись говорить о нѣкоторыхъ явленіяхъ спиритизма, „для *безыскусственности* которыхъ онъ не имѣетъ доказательствъ“; жаль одно, что къ такимъ явленіямъ онъ не отнесъ и пресловутаго стологоворенія. Очевидно, и онъ самъ знаетъ, что нѣкоторыя явленія спиритизма не могутъ осуществиться „безыскус-

ственно"; слѣдовало бы и бесѣды со столомъ отнести къ этой категоріи, а не обвинять человѣчество въ какомъ-то коснѣніи упорномъ консерватизмѣ, которое будто бы мѣшаетъ успѣхамъ спиритизма; если мы и кажемся г-ну Вагнеру консерваторами, то это тотъ консерватизмъ, въ силу котораго мы дѣйствительно упорствуемъ и на этотъ разъ вмѣстѣ съ г. Вагнеромъ, выходимъ въ дверь, а въ окно. Г. Вагнеръ любитъ также приравнивать исторію спиритизма къ исторіи великихъ открытій и изобрѣтеній ума человѣческаго; онъ намекаетъ на то, что эти послѣднія также сначала вызвали скептицизмъ, но истина позже восторжествовала. Нѣчто подобное думаетъ г. Вагнеръ предвидѣть и для спиритизма. Но подъ эгиду подобныхъ размышлений можно поставить и рассказы о дѣшнихъ и демоновыхъ. Мы согласны съ г. Вагнеромъ, что область открытій новыхъ силъ еще огромна, но спиритизмъ-то отъ того ничего не выигрываетъ, такъ какъ разумъ человѣка имѣетъ уже и теперь право, при всей громадности области неизвѣстнаго, признавать нѣкоторое абсолютно-невозможнымъ. Какъ бы г. Вагнеръ поступилъ при извѣстїи, напримѣръ, о томъ, что у одного господина есть баранъ, декламирующий стихи Гёте въ оригиналѣ, и что, на основаніи этого факта, явилось уже и особое ученіе о новой силѣ, названной, положимъ, баранизмомъ? Безъ сомнѣнія, г. Вагнеръ пренебрегъ бы этимъ ученіемъ, отказался бы серьезно изслѣдовать самый фактъ, и вовсе не считалъ бы свой скептицизмъ вреднымъ для науки; точно также и мы нисколько не удивимся, если натуралисты не возьмутъ на себя труда изслѣдовать стологовореніе—во имя вполне законныхъ правъ человѣческаго разума признавать нѣкоторое абсолютно-невозможнымъ, а слѣдовательно, и недостойнымъ серьезнаго изслѣдованія. Въ томъ-то и дѣло, что всѣ великія открытія были всегда новымъ подтвержденіемъ силы и законовъ человѣческаго ума; а спиритизмъ прямо начинается съ отрицанія всѣхъ правъ ума—абсурдъ назвать абсурдомъ. Г. Вагнеръ попытался намъ представить еще результатъ спиритическаго *suffrage universel*, и сообщилъ внушительную цифру однихъ американскихъ спиритовъ: 11 милліоновъ, или почти одинъ изъ трехъ общаго населенія Штатовъ. Мы не сомнѣваемся въ этой цифрѣ только потому, что помнимъ того солдата, который отвѣчалъ, что на небѣ 500,000 звѣздъ, а усомнившемуся предложилъ повѣрить его показаніе.

B. I

Москва.—12-го апрѣля, 1875.

М. Стасюлевичъ.

# БИБЛОГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТОКЪ.

**Александръ Святославъ Грибовдовъ.** Русская Библиотека, томъ V. Портреты, биографія, изъ критики Вилинского и Пушкина. Спб. 1875. Стр. 88 и 260. Ц. 75 к. въ бум. и 1 р. въ пер.

Первыя четыре книги „Русской Библиотеки“ представляли избранныя сочиненія Пушкина, ермоновъ, Гоголя и Жуковскаго. Пятая книга, посвященная Грибовдову, можетъ быть названа торжественнымъ собраніемъ его сочиненій, такъ какъ, кромѣ комедій „Горь отъ ума“, сюда вошли и многія другія его сочиненія, разсказы о журналистѣ, а также извлеченіе изъ переписки съ друзьями. Текстъ главной комедіи дополненъ вставками, являющимися въ первый разъ въ печати, и снабженъ вариантами и историческими объясненіями. Биографія составлена вновь А. Н. Веселовскимъ на основаніи документовъ, опубликованныхъ въ послѣднее время. Грибовдовымъ заключилась первая серия „Русской Библиотеки“, обнимавшая собою лучшее изъ произведеній пяти первоклассныхъ писателей нашей эпохи, окончившихъ свою деятельность. Главную цѣль изданія—общедоступность, можно считать достигнутою: пять книгъ, на хорошей глянцеванной бумагѣ, изъ которыхъ каждая занимаетъ до 400 страницъ, съ портретами, биографіею и извлеченіями изъ лучшаго критика нашего времени, обходятся читателю 3 р. 75 к., а училща могутъ имѣть это же самое за 3 рубля. Настоящій опытъ долженъ доказать на дѣлѣ: действительно ли дороговизна книгъ служить у насъ главнымъ препятствіемъ къ распространенію образованія, или на то могутъ быть и другія причины.

**Англійскіе поэты въ биографіяхъ и образцахъ.** Состав. Ник. Вас. Гербель. Спб. 1875. Стр. 448. Ц. 2 р. 50 к.

При ослабленіи, въ послѣднее время, знаній у насъ, путемъ школы, съ новѣйшими языками и литературами, изданіи, подобныя настоящему, весьма полезны, какъ удобное средство къ самообразованію, послѣ школы. Сверхъ хрестоматій изъ 34 старыхъ и новыхъ поэтовъ Англій и Америки (изъ живущихъ только двое: Лонгфелло и Теннисонъ), читатель найдетъ для руководства историческій очеркъ англійской поэзіи, составленный главнымъ образомъ по классическому труду Ип. Тэна. Между именами переводчиковъ встрѣчаются имена Пушкина, Жуковскаго, Лермонтова, Дружинина. Вѣроятно, издатель не остановится на первомъ опытѣ, и дастъ намъ со временемъ подобныя же сборники для поэзіи другихъ европейскихъ народовъ.

**Записки Имп. Рус. Геогр. Общества. По общей географіи.** Т. V. Спб. 1875. Стр. 620. Съ 3 картами и таблицами.

Настоящій выпускъ посвященъ Восточной Сибири, сопредѣльнымъ частямъ Китая и Тяньшаню; кромѣ очерковъ орографіи Восточной Сибири и матеріаловъ для нея, г. Кропоткина, помѣщены гипсометрическія и географическія опредѣленія тоцетъ, на основаніи новѣйшихъ путешествій по с. Китаю, Монголіи и Примури-

еюму краю, и матеріалы по географіи Тяньшаня, собранныя бар. Каульбарсомъ. Для нашей торговли съ Китаемъ особенно важны помѣщенный отчетъ Булутъ-Тохойской экспедиціи, кап. Сосновскаго, съ картою всей долины Чернаго Иртыша, впадающаго въ оз. Зайсанъ.

**Ученіе о слуховыхъ ощущеніяхъ, какъ физиологическая основа для теорій музыки.** Г. Гельмгольца. Перев. съ 3-го нѣм. изд. М. Пѣтухова. Спб. 1875. Стр. 594. Ц. 5 р.

Классическій трудъ проф. Гельмгольца является въ первый разъ въ русскомъ переводѣ, съ приложеніемъ, изъ французскаго перевода Геру, двухъ статей самого переводчика. Цѣль автора состояла въ томъ, чтобы установить связь между двумя науками, развивавшимися до сихъ поръ независимо другъ отъ друга, а именно, между физическою и физиологическою акустикой, съ одной стороны, и съ другою—музыкальною наукою и эстетикою. Сообразно тому, первые два отдѣла посвящены звуку, какъ явленію природы, помимо всякихъ эстетическихъ соображеній; третій отдѣлъ переноситъ насъ на эстетическую почву, гдѣ рождаются въ первый разъ различія національнаго и личнаго вкуса, въ силу однако вышеназложенныхъ законовъ физическихъ и физиологическихъ. Однимъ словомъ, это—самая блестящая попытка ближайшаго приобщенія опытныхъ наукъ къ теоріи искусства. Предоставляемъ судить специалистамъ о достоинствѣ русскаго перевода, гдѣ терминологія играетъ важную роль. Переводчикъ старался держаться въ этомъ отношеніи примѣра, каковой онъ находилъ въ прежнихъ русскихъ сочиненіяхъ этой же области.

**Отдыхъ.** Два разсказа для дѣтей. Е. Васильевской. Спб. 1874.

Одинъ разсказъ оригинальный, другой—переводъ съ англійскаго. Первый задуманъ авторомъ весьма счастливо: украинка изъ семьи богатаго помѣщика цыганами дѣвушка двухъ лѣтъ попадаетъ въ крестьянскую семью, и только 14 лѣтъ находитъ свою мать; исторія ея разлитія въ новой средѣ, куда она была поставлена внезапно, могла бы дать хорошему тему, но, къ сожалѣнію, авторъ тутъ-то ограничивается почти однимъ извѣщеніемъ, что она была увезена матерью въ Лозанну и оттуда возвратилась превращенною. Вообще, недостатки оригинальнаго разсказа всего легче усмотрѣть при сравненіи съ приведеннымъ тутъ же превосходнымъ разсказомъ съ англійскаго: „Крофтонская школа“, гдѣ въ изображеніи дѣтскаго міра не видно ни аффектаціи, ни поддѣлки подъ дѣтскіе нравы и дѣтскій умственный уровень. Въ оригинальномъ разсказѣ, напротивъ, часто видно, какъ устами ребенка говоритъ самъ авторъ. Но уровень нашей дѣтской литературы не таковъ, чтобы этотъ недостатокъ могъ имѣть на насъ рекомендовать „Отдыхъ“, какъ книжку весьма пригодную для дѣтскаго досуга; если для нея невыгодно сравненіе съ подобными же англійскими книжками, то за то она много выигрываетъ при сравненіи съ тѣми, что у насъ часто называютъ дѣтскими книжками.

Съ 1-го марта 1875 г.

# ГЛАВНАЯ КОНТОРА „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“

въ С.-Петербургѣ, Васил. Остр., 2 л., 7.

Подписная цѣна на годовой экземпляръ журнала, 12-ть книгъ:

Городскіе въ С.-Петербургѣ:	{ 15 р. 50 коп. безъ доставки. 16 р. — „ съ доставкою на домъ.
Иногородные въ Москвѣ и губерніи:	{ 17 р. съ пересылкою чрезъ Газетную Экспедицію С.-Петербургскаго Почтамта.
Иностранные:	{ Германия и Австрія—19 р.; Бельгія, Нидерланды и Придунайскія княжества—20 р.; Франція и Данія—21 р.; Англія, Швеція, Испанія, Португалія, Турція и Греція—22 р.; Швейцарія и Италія—23 р.; Азія—24 р.; Америка—25 рублей.

Книжные магазины пользуются при подпискѣ обычною уступкою

КОММИССИОНЕРЫ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“:

С.-Петербургъ	{ Базуновъ, Нев. пр., 30. Исаковъ, Гос. Дв., 24. Черкесовъ, Нев. пр., 50. Магаз. для Иногор., Нев. пр., 27.	Москва	{ Соловьевъ, Страсти. Бульв. Центр. Книжн. магаз., Слав. Базаръ.
		Одесса	: Черкесовъ, Преображ. ул.
		Харьковъ:	Черкесовъ, Москов. ул., 6.

Отъ редакціи. Редакція отвѣчаетъ вполнѣ за точную и своевременную доставку журнала городскимъ подписчикамъ Главной Конторы, и тѣмъ изъ иногороднихъ и иностранныхъ, которые выслали подписную сумму по почте въ Редакцію „Вѣстника Европы“, въ Спб., Галеріал., 20, съ сообщеніемъ подробнаго адреса: имя, отчество, фамилія, губернія и уѣздъ, почтовое учрежденіе, гдѣ (NB) *допущена* выдача журналовъ.

О *перемѣнѣ адреса* просить извѣщать своевременно и съ указаніемъ прежняго мѣстожительства; при перемѣнѣ адреса изъ городскихъ въ иногородние доплачивается 1 р. 50 к.; изъ иногороднихъ въ городскіе—50 к.; и изъ городскихъ или иногороднихъ въ иностраніе—недостающее до вышеуказанныхъ цѣнъ по государствамъ.

Жалобы выносятся исключительно въ Редакцію, если подписка была сдѣлана въ вышеуказанныхъ мѣстахъ, и, согласно объявленію отъ Почтоваго Департамента, не позже, какъ по полученіи слѣдующаго номера журнала.

## ГОДЪ ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ

ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Томъ второй: 1873-74 гг. Стр. 746. Въ трехъ частяхъ, съ приложеніями документовъ и Каталогами книгъ русскихъ и иностранныхъ за 1874 г. Стр. 746+39.

Цѣна: ДВА рубля съ пересылкою.

Издатель и отвѣтственный редакторъ: М. Стасюлевичъ.

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“:

Спб., Галерная, 20.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА ЖУРНАЛА:

Вас. Остр. 2 л. 7.

ЭКСПЕДИЦІЯ ЖУРНАЛА:

Вас. Остр. Академ. пер., 9.

**POLY**

4-3 E

**III.**

11-  
 12-  
 13-  
 14-

It

E.

11  
12

THE  
LAW  
OF  
THE  
STATE  
OF  
NEW  
YORK

